Чарлз
УИЛЬЯМС

Аденауэр.
Отец новой
Германии



Историческая
библиотека

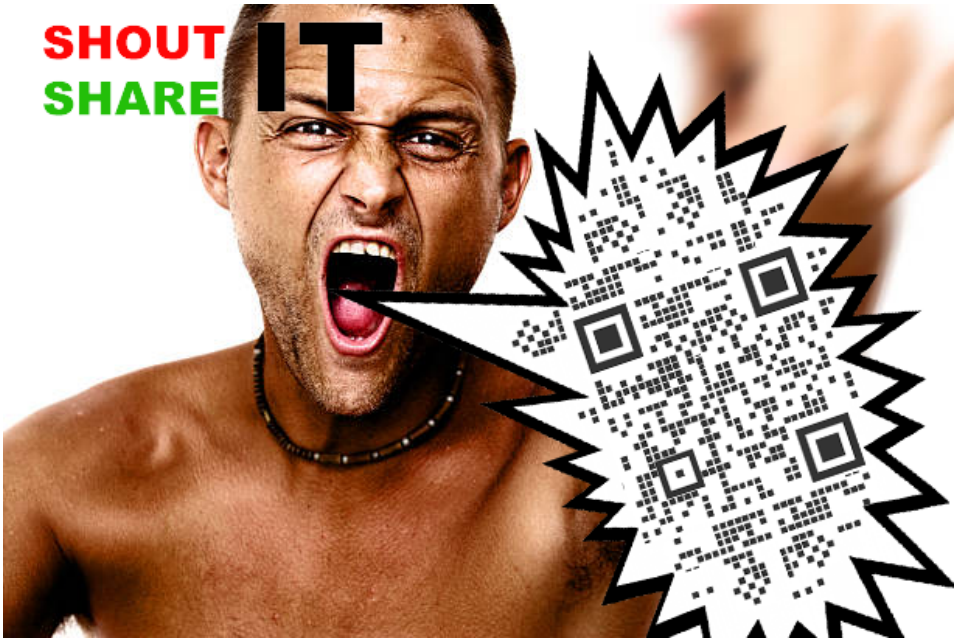
Чарлз
УИЛЬЯМС



Аденауэр. Отец новой Германии

«...нет сомнений, что это была большая историческая величина, человек с выдающимися качествами политического лидера».




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Конрад Аденауэр…

Один из крупнейших политических лидеров XX столетия…

Первый канцлер ФРГ, не только преобразивший свою страну, но и повлиявший на изменение политического ландшафта всей Европы…

Человек, благодаря энергии и созидательному дару которого после Второй мировой войны Германия добилась ошеломляющих успехов, по праву названных «экономическим чудом». Один из тех, кому удалось НЕВОЗМОЖНОЕ — в неправдоподобно короткие сроки «поднять» побежденную, лежавшую в руинах страну до уровня самых богатых, благополучных и могущественных держав мира…

- Чарльз УИЛЬЯМС
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ЧАСТЬ I.
    - ГЛАВА 1.
    - ГЛАВА 2.
    - ГЛАВА 3.
    - ГЛАВА 4.
    - ГЛАВА 5.
    - ГЛАВА 6.
  - ЧАСТЬ II.
    - ГЛАВА 1.
    - ГЛАВА 2.
    - ГЛАВА 3.
    - ГЛАВА 4.
    - ГЛАВА 5.
    - ГЛАВА 6.
    - ГЛАВА 7.
    - ГЛАВА 8.
  - ЧАСТЬ III.
    - ГЛАВА 1.
    - ГЛАВА 2.
    - ГЛАВА 3.
    - ГЛАВА 4.
    - ГЛАВА 5.
    - ГЛАВА 6.
  - ЧАСТЬ V.
    - ГЛАВА 1.
    - ГЛАВА 2.

        - ГЛАВА 3.
        - ГЛАВА 4.
        - ГЛАВА 5.
        - ГЛАВА 6.
        - ГЛАВА 7.
        - ГЛАВА 8.
        - ГЛАВА 9.
        - ГЛАВА 10.
        - ГЛАВА 11.
        - ГЛАВА 12.
        - ГЛАВА 13.
        - ГЛАВА 14.
    - ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30

- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

Чарльз УИЛЬЯМС
АДЕНАУЭР.
ОТЕЦ НОВОЙ ГЕРМАНИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Посвящаю Джейн

Конрад Аденауэр… Политик, повлиявший на ход истории и ставший объектом меняющихся исторических интерпретаций. Какие ассоциации, сравнения, размышления вызывает его биография? Прежде всего напрашивается аналогия с рекой, давшей название его исторической родине — Рейнланду. Те же загадки, те же вопросы. Где искать точку, за которой отдельные истоки-ручейки становятся могучей полноводной рекой? Откуда такие мощь и размах, которые, кажется, готовы смести все на своем пути? И почему, перед тем как раствориться в морских просторах, поток вдруг иссякает, мелеет, теряет ориентиры, распадаясь на множество рукавов и заводей?

Другая группа проблем и поводов для раздумий: как соотносится личная судьба нашего героя с судьбой его страны? Аденауэр стал свидетелем и участником беспрецедентной ломки сложившихся традиций и форм национального бытия немцев: буквально на его глазах в пределах менее чем полувека последовательно рухнули вильгельмовская монархия, Веймарская республика и Третий рейх Гитлера, а к 1945 году будущее Германии как государства и нации оказалось под вопросом. Какую роль сыграл во всей этой трагической цепи событий он сам и как они повлияли на него? Ответы здесь имеются самые разнообразные.

Наконец, остается и загадка личности. Это был человек, к которому многие, очень многие испытывали антипатию — не в последнюю очередь из-за его, мягко говоря, сложного характера — и который при всем при том уже на склоне лет сумел найти достаточно сил, воли, умения, чтобы коренным образом изменить вектор движения своей страны, превратив ее из, казалось бы, вечной парии в неотъемлемую часть цивилизованного мира, новой Европы, основанной на принципах свободы личности, взаимной терпимости и демократии как высшей и непререкаемой ценности.

События недавнего прошлого дают возможность по-новому подойти к личности и исторической роли Конрада Аденауэра. Падение Берлинской стены в ноябре 1989 года, последовавшее объединение Германии и конец холодной войны открыли новые пласты ранее засекреченных архивных первоисточников. Историческая дистанция открыла новые перспективы для беспристрастного анализа. На этой основе имеет смысл

попытаться объединить разные аспекты «аденауэроведения», разные оценки этой исторической фигуры в одно историографическое целое, в единый контекст. Ныне нет сомнений, что это была большая историческая величина, человек с выдающимися качествами политического лидера. Что придало ауру величия этой очень и очень неоднозначной личности, еще предстоит исследовать. Именно эту цель и преследует моя книга.

Пант-и-Рив Апрель 2000 г.

ЧАСТЬ I.
ГЕРМАНИЯ КАЙЗЕРА

ГЛАВА 1.
КЁЛЬН, 1876 ГОД

«Что заложено родительским домом, то и определяет жизненный путь человека»[1]

Конрад-Герман-Йозеф Аденауэр родился в половине четвертого утра 5 января 1876 года. Это был четверг, канун того отмечаемого католиками дня, когда волхвы принесли свои дары Господу нашему Иисусу Христу (именно так, с подчеркнутым благолепием выражался, когда речь шла об имени Господнем, наш герой в зрелом возрасте). Свидетельство о рождении констатирует, что младенец появился на свет — а свет этот был наверняка от масляной лампы — в доме своих родителей по адресу: Кёльн, Балдуинштрассе, 6. Время для родов оказалось не очень удобное, но в остальном все прошло нормально: будущий канцлер Федеративной Республики Германии, третий ребенок в семье, родился здоровым и возвестил о себе бодрым криком.

Уже на следующий день, 6 января, отец новорожденного, Иоганн-Конрад, поспешил внести его имя в книгу записей актов гражданского состояния. Скорее всего он сделал это после того, как отстоял мессу, особенно долгую по случаю праздника. Читатель может спросить: как же так, праздничный день, а чиновники-регистраторы работают? В этом как раз и была специфика политической культуры прусской провинции, в которую входил Кёльн: католические праздники, какими бы важными они ни были по церковному календарю, не признавались государством, и пышные церемонии в соборах сосуществовали с рутиной будничных бдений в официальных конторах.

Свидетельство о рождении было выписано в соответствии с правилами прусской бюрократии, зачитано отцу и подписано им в удостоверение подлинности содержания. Отныне Конрад Аденауэр числился подданным Пруссии, отпрыском родителей католической религии (это слово предписывалось применять вместо обычного «вероисповедание») и жителем города Кёльна. Уже в этом самом первом документе, полученном Аденауэром на второй день после рождения, проявился парадокс, который будет сопровождать его всю жизнь: с одной стороны, глубокая привязанность к родному городу и к католичеству, а с другой — не менее глубокое чувство лояльности к германскому государству, фундаментом которого была по преимуществу

протестантская Пруссия.

Впрочем, парадокс этот возник еще раньше: его воплотили в себе уже родители будущего канцлера. Отец, Иоганн-Конрад, убежденный католик, в возрасте восемнадцати лет добровольцем вступил в прусскую армию, явно предпочтя военную карьеру, притом под началом короля-протестанта, гражданской. Впрочем, перспективы последней были довольно-таки сомнительными: семейное дело — булочную в Бонне — пришлось незадолго до того продать за долги. Мать Конрада, Елена, урожденная Шарфенберг, называла себя коренной жительницей Кёльна; и действительно, свидетельство о рождении ей было выписано именно там, однако семья ее происходила из местечка Бад-Сакса в саксонском Гарце, дед ее, гобоист полкового оркестра, осел в Кёльне, можно сказать, по воле случая. Отец Елены, Август Шарфенберг, был вообще протестантом, и хотя он женился на добропорядочной католичке, дочери боннского лавочника, не может быть и речи о том, что все предки Конрада Аденауэра были «чистокровными рейнландцами», как он это утверждал впоследствии.

Уже будучи канцлером, Аденауэр всячески расписывал военные подвиги своего отца: то его «вытащили из-под груды убитых и раненых, сжимающим в руках захваченный австрийский флаг», то ему «присвоили звание лейтенанта за храбрость на поле боя». Сохранившиеся документы военных архивов содержат более сухую и не столь патетическую информацию: за пятнадцать лет в армии Иоганн-Конрад дослужился до унтер-офицерского чина; в составе 7-го Вестфальского полка он принял участие в прусско-австрийской войне 1866 года, был тяжело ранен в битве при Садовой, во время штурма сильно укрепленной деревни Проблус. За эту битву он в числе многих получил военную медаль 2-го класса и был демобилизован по «временной инвалидности». Увольняемому, как это обычно делалось, было присвоено следующее звание — так унтер-офицер действительной службы стал лейтенантом запаса. Причиной повышения было, таким образом, ранение, а не храбрость, хотя, конечно, нет оснований подозревать Иоганна-Конрада Аденауэра в отсутствии таковой. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. отец Аденауэра снова был призван в армию, уже на нестроевую должность в тылу. После окончания этой войны он получил окончательную отставку. Еще одна медаль и скромная пенсия — вот все, с чем он начал гражданскую карьеру.

Ее перспективы выглядели не блестяще. Образование Иоганна-Конрада ограничивалось несколькими классами начальной школы. Кроме армейской муштры, он ничего не знал.

Сюда добавлялись еще последствия ранения. Тем не менее ему удалось устроиться на должность писаря в суде и, постепенно поднимаясь по бюрократической лестнице, за тридцать лет добраться до должности начальника канцелярии кёльнского суда высшей инстанции, получив вдобавок почетный титул «канцлайрата».

Выше чиновник без университетского или какого-либо иного диплома подняться уже не мог, и сам достигнутый статус был плодом чрезвычайного усердия и самоотдачи в работе, характер которой — монотонное бумаготворчество — был таков, что не каждый мог ее выдержать. «Это был суровый человек, — писал об Аденауэре-старшем один из его современников, — не особенно симпатичный, но очень ответственный и добросовестный». В награду за добросовестность он получил в 1891 году орден Красного орла 4-го класса. По чиновничьим критериям это было не слишком много, но сотрудникам технического аппарата, к которому, по существу, принадлежал Иоганн-Конрад, и такое отличие не часто давали. В 1903 году он стал кавалером Ордена короны 3-го класса — нечто уж настолько выдающееся, что это было сочтено достойным упоминания на его надгробной плите. В общем, можно сказать, что его гражданская карьера вполне оправдала те ожидания, которые он сам с ней связывал.

Внешне Иоганн-Конрад Аденауэр выглядел как типичный прусский чиновник: строгий костюм, нафабренные усы, бородка клинышком, накрахмаленный воротник, подпирающий подбородок, плотно сжатые губы. Трудно представить себе этого человека улыбающимся. В глазах — скрытая горечь: чувствуется, что его сердце осталось в армии, а на гражданском поприще он просто тянет лямку. Судя по всему, у него было только две отдушины от рутины нелюбимой работы: его религия и его семья.

Он был истовым католиком. Каждый день в семье начинался и заканчивался молитвой. По пути домой после службы Иоганн-Конрад непременно заходил в церковь Черной Мадонны на Купферштрассе, чтобы еще раз воздать хвалу Господу. Молитва предшествовала каждому завтраку, обеду и ужину. По воскресеньям вся семья отправлялась на утреннюю мессу в церковь Святых апостолов, во второй половине дня отстаивала обедню. Разговоры дома вращались вокруг тем смертного греха, геены огненной и мук чистилища. Можно представить себе, какое воздействие это оказывало на детские души.

Иоганн-Конрад не терпел никаких уклонений от раз и навсегда заведенных правил семейного быта; он был раздражителен, порой бывали и припадки бешенства. При всем при том он был заботливым отцом и для детей оставался

непререкаемым авторитетом. Конраду было тридцать лет, когда отец умер; и, пока тот был жив, сын не пропустил ни одного дня, чтобы не навестить его по пути со службы; портрет отца неизменно украшал его спальню. Была ли это сыновняя любовь или просто внушенное традициями почтение к главе семьи? Трудно сказать.

Иоганн-Конрад очень хотел, чтобы его дети получили хорошее образование и с ним те предпосылки для успешной карьеры, которых был лишен он сам. Он скопидомствовал, это верно, но ради того, чтобы дать детям возможность учиться. Помимо денег, важно было, чтобы его дети с самого начала смогли выделиться среди одноклассников своими знаниями, поэтому отец сам занимался с ними с пятилетнего возраста чтением, письмом и счетом.

Обстоятельства знакомства Иоганна-Конрада со своей будущей женой и матерью его детей, Еленой, покрыты завесой тайны. Скорее всего это случилось в 1864 году, когда его полк стоял в Кёльне. Ему тогда был тридцать один год, ей — пятнадцать. Предложение он сделал спустя семь лет, после франко-прусской войны и окончательного увольнения из армии. Судя но всему, со стороны родителей Елены возражений против брака не было, социальный статус жениха и невесты был примерно одинаков: он — судейский чиновник, она — дочь банковского служащего. Правда, родители Елены не могли дать большого приданого — факт, который Конрад Аденауэр, уже будучи канцлером, использовал для создания еще одной легенды о своем отце: якобы тот мог бы успешно продолжить свою военную карьеру, если бы не женился на бедной девушке. В его авторизованной биографии, вышедшей в 1955 году, содержится целый рассказ на тему о том, что офицеры в кайзеровской армии должны были выбирать жен с солидным приданым, а поскольку «лейтенант Аденауэр не получил бы разрешения вступить в брак с бесприданницей», именно поэтому ему и пришлось подать в отставку. Хотя Аденауэр сослался на то, что слышал эту историю от матери, скорее всего речь идет о сознательном приукрашивании сыном образа отца — показательный пример того, как свободно мемуарист может обходиться с истиной. На деле, как мы помним, обстоятельства увольнения Аденауэра-старшего из армии выглядели совсем не так.

Брак Иоганна-Конрада Аденауэра и Елены Шарфенберг не был мезальянсом ни для одной из сторон, но он не был и образцом семейной гармонии. Елене было двадцать два года, кроме родительского дома, она в жизни ничего не видела. Иоганн-Конрад был намного старше (ему было тридцать восемь

лет), и жизнь его к тому времени уже здорово потрепала. Елена не была красавицей, у нее было простое лицо саксонской крестьянки — крупные черты, широкий, слегка приплюснутый нос, — но ее красили хорошая улыбка и веселый, жизнерадостный нрав. «Она всегда пела, когда что-то делала по дому», — вспоминал Аденауэр. Наверняка ей было нелегко с суровым и педантичным мужем.

Семья, как уже говорилось, снимала дом на Балдуин-штрассе. По сути, это была даже не улица, а узенький переулок в центральной части Кёльна. Под окнами было всегда шумно и грязно не только от многочисленных прохожих, но и от мусора, который жильцы, не задумываясь, выбрасывали из окон. Дом Аденауэров был трехэтажный, на улицу выходили три окна. Комнатушки маленькие — «девять-десять квадратных метров». Единственным преимуществом был маленький дворик за домом. Там росло дерево, два виноградных куста, было несколько овощных грядок и немного травы, на которой расстилали простыни для просушки. При некотором воображении это можно было принять за газон. Маленькому Конраду было выделено две грядки — одна для цветов, другая для редиски. «Первые уроки я получил от земли», — писал позднее Аденауэр.

По тогдашним масштабам дом был достаточно просторный, однако семья жила очень скученно: весь верхний этаж и большая часть второго сдавались квартирантам. В результате маленькие дети оставались в спальне родителей, а старшим приходилось даже спать в одной кровати. Елена еще и подрабатывала шитьем. За детьми не всегда удавалось уследить, старшие норой обижали младших, те оглашали дом ревом, словом, дым стоял коромыслом.

Но вернемся к январским дням 1876 года. Через три недели после рождения Конрада крестили. С обрядом несколько задержались. Почему — трудно сказать. Может быть, раньше не смогли оповестить родственников, может быть, были сложности с выбором крестных родителей. Имени крестной матери не сохранилось, что касается крестного отца, то известно, что его звали Конрад Тонгер и что это был один из квартирантов, холостяк, сколотивший, но слухам, кое-какое состояние перепродажей старых вещей. Он подарил крестнику золотые часы и завещал все свое имущество его родителям на воспитание детей. Он умер, когда Конраду было всего три года. Тридцать тысяч марок, оставшиеся после него, быстро испарились: отец Аденауэра, как это часто бывает со скуповатыми людьми, не сумел правильно распорядиться неожиданно свалившейся крупной суммой, вложив деньги в сомнительные предприятия.

Остались только золотые часы, которые Конрад бережно хранил всю жизнь.

Крещение состоялось в четверг 25 января 1876 года в ближайшей церкви Святого Маврикия. Здание церкви было недавней постройки; оно было воздвигнуто архитектором Винцентом Штатцем на месте старой (и более привлекательной по внешнему виду) церкви романского стиля, снесенной в 1859 году. Особой эстетической ценности новая церковь не представляла, и, сравнительно благополучно пережив бомбежки Второй мировой войны, была, в свою очередь, в 50-е годы снесена, уступив место более модернистскому творению (одной из ее нынешних достопримечательностей является бронзовый колокол — подарок от канцлера Аденауэра, сделанный в 1959 году).

После церковной церемонии родители не устроили никакого домашнего угощения: очевидно, не хватало средств. Прокормить три рта (Конрада и его старших братьев, Августа и Ганса) было не так-то легко. В один из предрождественских месяцев дети согласились обойтись несколько выходных дней без мяса, чтобы на сэкономленные деньги родители могли купить елку и свечи. Младшие, естественно, донашивали одежду старших. Конрад Аденауэр припомнил однажды, как в пять лет начал зарабатывать деньги, вытаскивая булавки из сшитых матерью вещей: «Я получал один пфенниг за каждый фартук или юбку». Лишь изредка рабочий ритм в семье прерывался: летом, обычно в пору сенокоса, они выезжали в Мессдорф, под Бонном, где старый приятель Иоганна-Конрада содержал что-то вроде постоялого двора.

Словом, жизнь была нелегкая, хотя, надо сказать, такие обычные для того времени беды, как голод, болезни, младенческая смерть, в общем, до поры до времени обходили семью Аденауэров стороной. Все три сына росли относительно здоровыми; с четвертым ребенком, родившимся весной 1879 года — девочкой, названной Эмилией-Еленой-Марией-Луизой (обычно ее звали просто Лили) — тоже все обстояло благополучно. Только пятый ребенок — это была тоже девочка, родившаяся в 1882 году и названная Элизабет, — принес семье тяжелое испытание. В четырехмесячном возрасте малышку постиг серьезный недуг. Вызвали доктора — само по себе нечто экстраординарное для семьи Аденауэров. Приговор звучал неутешительно: у девочки менингит, и она вряд ли выкарабкается, более того, даже если она понравится, то скорее всего останется умственно неполноценной.

Конрад, который наверняка вместе с братьями подслушивал за дверью, вспоминает, что, когда отец вернулся в дом, проводив

доктора, «лицо его было бледным как смерть». Семья, как обычно, собралась для вечерней трапезы, была прочитана обычная молитва; под конец ужина Иоганн-Конрад призвал всех помолиться еще «за нашу маленькую Элизабет». Все опустились на колени. Отец начал: «Боже милостивый, возьми же к себе этого младенца. Избавь его от жестокой участи — жить в земном мире лишенным разума человеческого. Яви, Господи, милость свою!» Дети повторяли за ним, не особенно вдумываясь в смысл его слов, и только Елена вдруг поняла, за что молится ее супруг: не за здравие, а за упокой их еще живой дочери. Для матери это было слишком — она разразилась рыданиями, выбежала из комнаты, заперлась в спальне и проплакала там всю ночь и весь следующий день. Еще через день девочка умерла. Елена отказалась идти на кладбище и вообще как будто окаменела.

Можно только догадываться, как эта трагедия повлияла на отношения между супругами. Детей, во всяком случае, больше не было. Дело было даже не в смерти ребенка; наверняка не меньшей травмой для женщины был тот бесчеловечный рационализм мужа, который он пытался навязать и ей. Что касается ее третьего сына, будущего великого политика, то, но его собственному признанию, реакция матери оказалась для него совершенно непонятной. Пожалуй, единственное, что он тогда усвоил, — это значение слов «да исполнится воля Твоя» из «Отче наш». Урок полезный, но недостаточный, чтобы проникнуться переживаниями женщины и посочувствовать им. Семья вскоре переехала: очевидно, слишком многое в старом доме напоминало о несчастье; Конрад был недоволен: он лишился своих грядок.

Что происходило в это время за пределами семейного круга четы Аденауэров? Город, в котором они жили, быстро менялся. Первое время после 1815 года, когда Рейнская провинция оказалась в составе прусского королевства, эти изменения сводились главным образом к тому, что на площадях появлялись все новые и новые конные статуи прусских монархов — сначала Фридрих Вильгельм III, потом Фридрих Вильгельм IV… Эти «шедевры» скульптуры стали предметом постоянных шуток, которые во время традиционных кёльнских карнавалов превращались в настоящий поток антипрусской сатиры. Власти предпочитали не реагировать, к тому же, по новому городскому уложению 1856 года, жители Кёльна получили право сами избирать городской совет, члены которого, в свою очередь, могли избирать бургомистра; роль короля свелась к формальному утверждению решений совета. Бургомистр стал, по существу, полновластным хозяином в городе: верфи и порты, строительные площадки и школы, здравоохранение и культура — все

сосредоточилось в его руках.

Плоды этой новой системы власти — с одной стороны, практически независимый от центра бургомистр, с другой — текущие из центра субсидии — со всей силой проявились после провозглашения Германской империи в 1871 году. Апогеем строительного бума стало открытие Кёльнского собора, строительство которого началось еще в раннем средневековье, в XV веке было прервано и возобновлено в 1842 году. В октябре 1880 года семейство Аденауэров стало свидетелем одной из самых пышных церемоний в истории Кёльна: на освящение собора прибыл сам кайзер. Улицы были заполнены восторженными толпами, бурно приветствовавшими своего монарха, который не преминул охарактеризовать все происходящее как новое подтверждение единства и мощи империи. Наверняка это театрализованное представление прочно запечатлелось в памяти четырехлетнего Конрада Аденауэра.

Кёльн обогатился не только новым собором. В начале 80-х годов вокруг города было построено оборонительное кольцо из двенадцати крупных фортов, соединенных валами и траншеями. В самом городе размещен 12-тысячный воинский гарнизон. Мотив «Вахты на Рейне» стал обычным для города. Улицы его были полны людьми в мундирах.

И еще одно новшество: в Кёльн пришел железнодорожный век. У подножия собора возник огромный вокзал, поезда с которого шли по всем направлениям: через Рейн, по вновь построенному мосту Гогенцоллернов, на восток, в далекий незнакомый Берлин, вверх по Рейну — в Бонн и Кобленц, вниз по течению, в Дюссельдорф и к промышленным центрам Рура…

Конечно, город еще не начал расти вширь, основным видом транспорта оставалась конка; экипажам было тесно на узких улочках — беспрерывно возникали пробки, стихийно возникавшие торговые ряды и рынки усугубляли толчею и беспорядок, пышным цветом распустилась уличная преступность. Город нуждался в твердой руке, чтобы направить в одно русло бьющую через край энергию. Время для этого еще не пришло.

«Отец не очень много рассказывал про это время», — вспоминает сын Конрада Аденауэра, Макс. Это можно понять. Воспоминания детства зачастую туманны. Кроме того, повторим: это было нелегкое детство. В многочисленных интервью Аденауэр всячески пытался подчеркнуть, как сильно он любил своих родителей (хотя и подчеркивал строгость отцовской дисциплины). Однако при этом всегда интонации его голоса становились еще суше, чем обычно. Чувствовалось, что это для него трудная, даже неприятная тема. Порой он признавал, что

родители порой ссорились: оба были вспыльчивые. Но это самое большее, что он был готов признать, в остальном почти механически повторяя набор добродетелей, характерных для его отца: чувство долга, честность, трудолюбие и т.п.

Несомненно, все это присутствовало; иначе его отцу не сопутствовал бы успех в карьере. Но все это добродетели, направленные вовне. Много говорилось о родительском кодексе поведения, мало — о родительской любви. Это, конечно же, не случайно. Прусская дисциплина, а вовсе не рейнское эпикурейство правила бал в доме отца. Тем более Аденауэр считал необходимым подчеркивать свою рейнскую идентичность. Как бы то ни было, отец хорошо подготовил его к жесткому миру прусской действительности, с которым он столкнулся уже в школе. Но вот все ли сделали отец с матерью, чтобы развить в ребенке способности беззаботно смеяться, быть откровенным в, любви и дружбе, не заискивать, но и не навязывать свою волю другим? Тут уместно сомнение. Добрый юмор и открытые чувства редко посещали дом 6 по Балдуинштрассе.

ГЛАВА 2. «GAUDEAMUS IGITUR JUVENES DUM SUMUS» [2]

«Шлютер был моим настоящим и единственным другом»[3]

Первый день в школе — это всегда психологическая травма для ребенка. Внезапно он оказывается один в чужом окружении, с ним по-другому говорят, к нему предъявляют совсем другие требования. Иоганн-Конрад по-своему готовил сына к новому этапу его жизни: он заранее прошел с ним всю программу первого класса народной школы, так что Конрад смог сразу поступить во второй, обогнав своих сверстников на один год. Но это натаскивание не могло заменить психологической подготовки школьника к переходу от семейного к общественному воспитанию. Такой подготовки малыш Конрад явно не получил, и это, конечно, немало осложнило его адаптацию к новым условиям. В начальной школе у него не было друзей, он отличался болезненной застенчивостью и впоследствии не любил вспоминать об этих трех годах своего раннего детства.

Помимо всего прочего, отец поставил перед сыном такие сложные задачи, решения которых не смогли к тому времени найти и взрослые. Короче говоря, речь шла о том, чтобы шестилетний ребенок сумел совместить освоение программы обучения в государственной школе с глубокой и страстной приверженностью католической церкви, отношения которой к государству были далеки от гармонии. 70-е годы XIX века стали свидетелем острого конфликта в политической жизни Германии, который получил название «культуркампфа». Канцлер Бисмарк, используя тот аргумент, что католическая церковь представляет собой «государство в государстве», провел секуляризацию школ. Священники были лишены нрава преподавать и сами должны были сдавать что-то вроде государственного экзамена на политическую лояльность.

Если говорить о главном изменении в системе образования, оно заключалось в том, что если ранее, когда школы были под контролем церковников, там больше заботились о том, чтобы ученики познавали вечные духовные ценности, и лишь во вторую очередь — правила немецкой грамматики, то отныне шкала приоритетов оказалась перевернутой. Результат оказался в целом позитивным. Постановка школьного дела в Пруссии с ее

всеобщим обязательным обучением для всех мальчиков с шести до четырнадцати лет стала предметом восхищения самых рьяных радикалов в западном мире. На практике все выглядело, конечно, не так хорошо, как на бумаге: в сельской местности в классах было по восемьдесят учеников, да и в городах условия были неравны в зависимости от того, о каких кварталах шла речь. Тем не менее фактом было резкое повышение образовательных стандартов в преимущественно католической Рейнской провинции.

Ко времени, когда шестилетний Конрад пошел в школу, крайности «культуркампфа» были уже позади, и официальная программа отражала некий компромисс: в ней фигурировали и «богобоязненное поведение», и «любовь к отечеству» (в немецком лексиконе это более сильное понятие, чем простой патриотизм), и, наконец, «приверженность существующим государственным и общественным установлениям». Всю эту эклектику отец Аденауэра пытался вдолбить сыну, но для школьника-первогодка это было нелегко переварить, чем тоже можно объяснить масштабы того стресса, который он тогда испытал.

Как бы то ни было, сразу после пасхальных праздников 1882 года Конрад Аденауэр впервые переступил порог мужской школы Святых апостолов. Она была недалеко от церкви Святых апостолов, поблизости от дома. Формы для учеников не предусматривалось: очевидно, учитывалось, что не каждая семья могла себе позволить такую покупку. В классе было не меньше пятидесяти учеников, хотя поступление сразу во второй класс давало некоторые преимущества.

Уроки шли но шесть часов шесть дней в неделю, начиная с восьми часов утра. Ученики должны были держать руки перед собой на парте: удары линейкой но пальцам были излюбленным приемом наведения дисциплины в классе. К следующему утру каждый ученик должен выполнить домашние задания; по возвращении с работы отец их тщательно проверял, и только после этого дети могли пойти погулять на улице или у находившегося поблизости крепостного вала.

Физическая и психологическая перегрузка приносила неприятные последствия: у маленького Конрада появились проблемы с легкими — что-то вроде туберкулеза в легкой форме; он переболел всеми обычными детскими болезнями. Мальчик быстро вытянулся, и кости не выдерживали нагрузки — полтора месяца ему пришлось пролежать' в гипсе, а потом какое-то время носить корсет.

Все было подчинено подготовке к экзамену на поступление в гимназию, который предстояло сдавать после окончания

трехлетнего обучения в начальной школе. Обычный конкурс в те годы составлял десять человек на одно место. Игра, однако, стоила свеч: гимназия, и только она, открывала дорогу в университет и соответственно в более высокие социальные слои. Природные способности (и, может быть, даже больше — отцовские увещевания) свершили чудо: Конрад успешно сдал экзамен, и после Пасхи 1885 года (обычное время начала учебного года в тогдашней Пруссии) стал учеником гимназии Святых апостолов. Это был новый мир, новое общество, новая культурная среда. Даже внешне все выглядело по-другому: форма, фуражки, воротнички, галстуки. Здание гимназии было относительно новым; оно было построено, когда старая гимназия Святого Марцеллина стала слишком тесной; торжественный акт открытия состоялся в 1860 году, в день рождения монарха.

Девятилетнему Конраду до гимназии от дома было не намного дальше, чем до начальной школы, но это была уже другая дорога — через сплошную строительную площадку, в которую превратился к тому времени центр Кёльна. В 1886 году бургомистром Кёльна стал Вильгельм Беккер, которого члены городского совета переманили с должности бургомистра Дюссельдорфа. Они наверняка не раз пожалели о своем выборе: новый бургомистр был фанатиком перемен, его новшества стоили немалых денег, и городским толстосумам пришлось раскошеливаться. Он начал с того, что расширил границы города, включив в него промышленные районы, расположенные на правом берегу Рейна, — Дейц, Мюльхейм, Полль и Мерхейм. Был снесен крепостной вал, окружавший старый город, сносились целые кварталы, закладывались парки, и крупнейший из них — Штадтвальд (буквально: «городской лес»), прокладывались транспортные магистрали.

Росла и гимназия Святых апостолов: к середине 80-х годов там было уже свыше двухсот пятидесяти учеников. Последствия «культуркампфа» еще сказывались, но старые католические традиции уже отвоевали себе кое-что из утраченного в 70-е годы. Участие гимназистов в ежегодных крестных ходах с хоругвями в руках отныне не приветствовалось, однако каждый четверг все должны были отстаивать мессы, которые проводили священники из соседней церкви Святых апостолов. Директор гимназии, Август Вальдайер, открывая учебный год, произнес несколько напыщенных фраз о синтезе католического гуманизма и имперского патриотизма. Трудно сказать, кому предназначались эти слова — собравшимся ученикам или присутствовавшим представителям власти, скорее последним. Синтез был больше на словах, чем на деле, поскольку официальное католичество в то

время, сохраняя обрядный консерватизм, стало подчеркивать социальную ответственность церкви, тогда как государство считало не только социал-демократию, но и «христианское социальное учение» опасной ересью. Кёльнский архиепископ, во всяком случае, выступил на стороне государства, осторожно отмежевавшись от Ватикана. Разумеется, и в кёльнской католической гимназии на первом месте стояла лояльность империи и лишь на втором — христианский гуманизм, что бы там директор ни говорил о плодотворном «синтезе».

Что собой представлял Конрад Аденауэр как гимназист? Он был старательным учеником, но, как говорится, звезд с неба не хватал. Чтение, перевод и заучивание наизусть греческих и латинских текстов, немецкая грамматика, германская и французская история, физические опыты, занятия в гимнастическом зале — Аденауэр везде был в первой шестерке, но никогда не был первым. Неожиданно хорошо пошло дело с физкультурой, и что уж совсем неожиданно — у него оказались отличный музыкальный слух и приятный голос. Одноклассники относились к нему неплохо, но он оставался как-то на отшибе. За все девять лет у него был только один приятель, некий Ильдефонс Хервеген, но тот ушел из гимназии, не окончив ее, их дружба прекратилась, а никакого нового друга Конрад себе так и не завел. Он увлекся книгами, читал быстро и много; особенно ему нравился Жюль Берн, заинтересовал его и Диккенс: но его собственным словам, он четыре раза перечитал «Дэвида Копперфилда».

В мае 1890 года, в возрасте четырнадцати лет, он прошел обряд конфирмации. На сделанной в этот день фотографии перед нами болезненно худой подросток, для своего возраста довольно высокий, с короткой прусской стрижкой, в темном тесном костюмчике с бутоном и ленточкой в петлице; судя но всему, он попытался улыбнуться, но это не очень у него получилось — в общем, вид не слишком радостный.

Да и чему было радоваться? Отныне он должен был регулярно исповедоваться, а список вопросов, к которым следовало подготовиться, едва помещался на трех страницах, напечатанных мелким шрифтом. «Не согрешил ли я в моих помышлениях? Не согрешил ли я нечистыми взглядами, словами или песнопениями? Не согрешил ли нечистыми деяниями, один или вместе с другими?» — это лишь избранные фрагменты из этого вопросника. А ведь суровый священник мог добавить что-нибудь еще.

Учителя-предметники были тоже не сахар. Оплеухи ученикам считались нормальным средством воспитания, известен но

крайней мере случай, когда у одной из жертв лопнула ушная перепонка. В гимназии были две темные камеры, которые использовались как карцеры. Сам Аденауэр однажды отозвался о своей гимназии как о «лавке ужасов», но справедливости ради стоит заметить, что Пруссия в этом отношении не была исключением, в тогдашних английских школах садизма было не меньше. В гимназии Святых апостолов по крайней мере давали определенный набор знаний но программе. Правда, в основе было механическое заучивание. Крайне плохо обстояло дело с изучением иностранных языков.

Аденауэр с благодарностью вспоминал только одного своего учителя: это был историк Эрнст Петит, знакомый Генриха Шлимана, первооткрывателя древней Трои. По воскресеньям он приглашал учеников к себе домой, показывал им фотографии археологических находок и, по словам Аденауэра, сумел возбудить в нем интерес не только к древностям, но и к искусству вообще. Нельзя сказать, чтобы наш герой когда-либо в жизни как-то особенно интересовался искусством, так что и в данном случае его утверждения нужно воспринимать с изрядной долей скепсиса, но насчет благотворного влияния на учеников таких учителей, как Петит, — это он вряд ли придумал.

Весной 1894 года Аденауэру предстояло сдавать выпускные экзамены. Это экстраординарное событие обнаружило неожиданную авантюрную и организаторскую жилку в характере восемнадцатилетнего Конрада. Все началось с того, что один из выпускников раздобыл список тем для сочинения и текст, который нужно было перевести на латынь. Весь класс — двадцать один человек — собрался в укромном кабинете ресторанчика, чтобы обсудить план действий. Несколько человек было выделено, чтобы подготовить шпаргалки к сочинению, но с латинским переводом возникла проблема. Ведь если бы оказалось, что все представили один и тот же безупречный текст, то это сразу бы вызвало подозрение. Аденауэр предложил гениальное решение: каждому из экзаменуемых нужно было сделать несколько ошибок в подготовленном заранее образце перевода, причем характер и число этих ошибок должны были примерно соответствовать уровню его знаний: положим, один имел твердое «хорошо», значит, ему надо было всего лишь в двух-трех местах перепутать какую-нибудь букву, а другой всегда был троечником, ему следовало неправильно перевести или вообще не перевести несколько предложений. Тот же принцип должен быть применен и к сочинению.

Это было, конечно, жульничество чистой воды, но главное, что все прошло как по маслу. Более того, класс выпуска 1894 года

был признан лучшим за десятилетие. Сочинение самого Аденауэра — довольно сентиментальное эссе на тему «Тассо и два женских персонажа в пьесе «Торквато Тассо» Гёте» — получило оценку «удовлетворительно», хотя обычно он никогда не опускался ниже «хорошо». Утешением ему, вероятно, было сознание того, что никто его не выдал и вся операция оказалась успешной. Рассказал ли он о своем подвиге на исповеди — об этом можно только гадать.

Как бы то ни было, отныне перед юным выпускником гимназии был открыт путь в университет. Он давно решил, что будет поступать на юридический факультет. Но тут его ждало разочарование. Двое старших братьев уже были студентами, и на третьего денег не было. Отец объявил об этом в самых недвусмысленных выражениях, и Конрад принял это как должное — так же как и предложение пойти на работу в банковский дом Зелигманов («Это старая надежная фирма», — утешил сына Иоганн-Конрад). Так 1 апреля 1894 года началась трудовая деятельность нашего героя.

«Я должен был утром первым быть на месте, открыть сейфы, разложить папки по столам, готовить и разносить кофе для служащих, бегать на почту, вообще был мальчиком на побегушках» — так сам он вспоминал о своей первой работе. Было, пожалуй, только два плюса в этом сплошном минусе: он понял, что это такое, когда труд ничего не дает ни уму, ни сердцу, и узнал изнутри, как функционирует банковская система — а Зелигманы действительно принадлежали к числу наиболее известных еврейских финансовых династий. В будущем этот опыт пригодился.

Но это в будущем, а пока Аденауэр не испытывал ничего, кроме тоски и отвращения, и не особенно скрывал свои эмоции, возвращаясь вечерами в родительский дом. Очевидно, для отца с матерью это было слишком тяжелое зрелище, и через две недели Иоганн-Конрад, пригласив сына для серьезного разговора, сообщил ему приятную новость: они с матерью решили, что могут еще ужаться и дать ему возможность все-таки поступить в университет, вдобавок есть возможность получить стипендию от фонда Кремера (это была благотворительная организация, которая помогала нуждающимся детям родителей из среднего сословия). Конрад был на вершине счастья.

К тому времени его внешность слегка изменилась. Он физически окреп, хотя в лице его можно было по-прежнему заметить выражение некоторой неуверенности (если судить по выпускной фотографии класса, на обороте которой начертано «Тони» — почему-то так звучало уменьшительное от «Конрад»).

Возможно, именно желанием обрести уверенность в себе объясняется тот факт, что молодой человек выбрал для обучения университет, расположенный далеко от его родного города, — Фрейбургский.

Городок Фрейбург-Брейсгау расположен на крайнем юго-западе Германии, в земле Баден, на южных склонах Шварцвальда, в большой излучине Рейна, где русло реки поворачивает с запада на север. В 1894 году это был тихий и безмятежный уголок Германии, по духу ближе к Франции, чем к Пруссии, и еще полный ностальгии по четырем столетиям австрийского правления. Здесь была резиденция архиепископа верхнего Рейна, имелся собор изящной архитектуры; покрытые лесом горы в окрестностях придавали дополнительную привлекательность пейзажу.

Оренбургский университет издавна привлекал студентов из северного Рейнланда. Учреждение было безупречно католическим, но атмосфера — более расслабленной; считалось, что семестр во Фрейбурге — это почти каникулы по сравнению с таким же семестром в кёльнской гимназии. Неудивительно, что у Конрада остались об этом периоде времени самые светлые воспоминания.

Там он вступил, как это было принято, в католическую студенческую корпорацию, носившую название «Брисговия». Основное занятие корпорантов заключалось в устройстве пикников и пирушек но воскресеньям. По моде того времени Конрад отрастил маленькие усики. По воспоминаниям его тогдашних компаньонов, у него были деньги на выпивку, но он всегда знал меру (интересно бы знать, что под этим имелось в виду?) и в понедельник ровно к восьми часам уже был на своем месте в аудитории. Такая педантичность отчасти могла раздражать его однокурсников, но в то же время внушала уважение. Аденауэра выбрали кем-то вроде казначея студенческой «черной кассы»; он собирал взносы из тех небольших сумм, которые его однокурсникам присылали родители, и потом выдавал им каждый день на пропитание; таким образом, молодые люди избегали искушения потратить все деньги сразу. Никакие претензии но поводу неправильного расхода средств не принимались; с другой стороны, никто никогда не заподозрил казначея в растрате.

В этот свой первый студенческий семестр Аденауэр впервые нашел себе настоящего друга. Это был отпрыск простой крестьянской семьи из Вестфалии, но имени Раймунд Шлютер. Неразговорчивый, с бледным, болезненным лицом, в больших круглых очках, он представлял собой странную фигуру. Его мать,

все братья и сестры умерли от чахотки, остался только отец, который с горя продал хозяйство и переселился в Кёльн. Денег, которые он посылал сыну, едва-едва хватало на жизнь. Вдобавок Раймунд был страшно застенчив. Возможно, как раз все эти качества юноши и привлекли Аденауэра: ведь он и сам не мог позволить себе особой роскоши, а что касается застенчивости, то Конрад, опять-таки по воспоминаниям тех, кто знал его тогда, при любом случае «краснел, как девушка» — особенно когда речь шла о том, чтобы заговорить с особой противоположного пола.

По окончании семестра они вдвоем решили оставить Фрейбург и продолжить обучение в Мюнхене. Такие переходы из одного университета в другой были тогда правилом. Считалось, что это способствует расширению кругозора студентов. Мюнхен, где друзья провели два семестра, дал им множество новых впечатлений: Старая Пинакотека с богатой коллекцией картин, Резиденцтеатр, Государственная онера, где все еще дышало мелодиями Вагнера (композитора уже несколько лет как не было в живых, но мода на него не проходила).

Помимо всего прочего, жизнь там была тогда недорогая: на еду и квартиру уходило примерно тридцать марок из ежемесячной родительской субсидии в девяносто марок, так что хватало не только на театры, но и на путешествия. Друзья объездили всю Баварию, побывали в Швейцарии, Австрии, а летом после окончания семестра отправились в Италию. Они посетили Венецию, Равенну, Ассизи и Флоренцию; ночевали на сеновалах, если удавалось договориться с кем-либо из местных крестьян, а если нет — то просто на лавках в станционных залах ожидания. Несмотря на экономию на гостиницах и транспорте (большую часть пути они проделали пешком), шесть недель в Италии полностью опустошили их карманы.

Возможно, наш герой решился попросить родителей о дополнительном вспомоществовании, а возможно, просто послал им открытку с итальянским штемпелем; и того, и другого было достаточно, чтобы привести отца в ярость: он не для того отказывает себе во всем, чтобы сын развлекался на берегах Адриатики. Строгое послание из Кёльна содержало недвусмысленные требования: представить полный отчет о расходах и немедленно уехать из Мюнхена. Многие студенты получали и получают подобные ультиматумы от разгневанных родителей, но не все беспрекословно их принимают. Конрад даже не пытался перечить; он отчислился из Мюнхенского университета и начал свой четвертый семестр в Бонне. До Кёльна было рукой подать, и родительский контроль над образом жизни «блудного сына» можно было считать восстановленным. Было и

другое важное обстоятельство, обусловившее этот новый переезд: чтобы получить право на юридическую практику в Пруссии, надо было окончить прусский университет; Бонн удовлетворял этому условию, Мюнхен и Фрейбург — нет.

Конрад дал отцу торжественное обещание, что завершит свой курс за три оставшихся семестра. Выполнить это обещание было нелегким делом. Развлечения были отодвинуты в сторону. Правда, Аденауэр вновь вступил в католическую студенческую корпорацию (в Бонне она называлась «Арминия»), участвовал во всех ее ритуальных действах: выпускных вечерах после каждого семестра, легких возлияниях в бадгодесбергских пивных, воскресных вылазках на Семигорье. Сохранилась фотография, где он запечатлен в традиционном крестьянском наряде среди участников костюмированного бала. Но все это были редкие отклонения от главного — учебы, или, вернее говоря, зубрежки.

В позднейших воспоминаниях Аденауэр почти с мазохистским увлечением живописал, как он просиживал ночи напролет за рабочим столом, опуская время от времени ноги в таз с ледяной водой, чтобы не заснуть. Результат не вполне соответствовал усилиям: выпускные экзамены он сдал со средним баллом «хорошо», получив диплом, дававший ему право практиковать в прусских судебных учреждениях, но без права на вознаграждение. В двадцать один год Аденауэр после трех лет учебы и но крайней мере полутора лет упорного труда (Фрейбург и Мюнхен в этом смысле можно исключить) вновь оказался на иждивении своих родителей. И все-таки он попал в число двух процентов избранных, которые могли надеяться на успешную карьеру государственного чиновника; правда, перспективы на реализацию открывающихся возможностей были весьма туманными, но остальные 98 процентов его сверстников не имели и этого.

Ни одна современная биография не обходится без того, чтобы не посвятить хотя бы пару абзацев юношеским сексуальным приключениям героя. Увы, в случае с Аденауэром нет возможности написать но этому поводу хотя бы строчку. Современники, когда их спрашивали «про это», не могли скрыть своего удивления: «Что? Это вы про Аденауэра? Шутите?» Сам он от подобных нескромных вопросов отделывался сухим «ничего не могу сказать».

Конечно, некоторые подозрения вызывают его уж слишком тесные отношения с Раймундом Шлютером (который, кстати сказать, покорно последовал за своим другом из Мюнхена в Бонн). Такого рода аффектированная привязанность друг к другу молодых людей была нередким явлением в Германии (как,

впрочем, и в Англии) конца XIX — начала XX века, и это, несомненно, связано со строгим общественным табу на ранние половые связи с противоположным полом. Однако этот латентный гомосексуализм чаще всего сублимировался в религиозное рвение, не более того. Как друзья справлялись с естественными желаниями и потребностями, свойственными ранней юности, на этот счет можно только строить предположения.

Период сразу после окончания университета был для Аденауэра полон особых переживаний и фрустраций. Возвращение в родительский дом без гроша в кармане, полная зависимость от отца, которого он уже намного перерос и по культурному уровню, и по знанию современного мира, — это была глубокая психологическая травма для молодого человека. Она объясняет и его неожиданное увлечение модным религиозным течением, что в глазах родителей, правоверных католиков, не могло восприниматься иначе, как опасная ересь. Это привело к первому серьезному конфликту в семье Аденауэров.

ГЛАВА 3.
ЮНОСТЬ ОКОНЧЕНА

«И да поможет мне Бог»[4]

Вскоре после сдачи экзамена на звание младшего советника юстиции я пережил религиозный кризис» — это все, что сказано самим Аденауэром но поводу одного из самых загадочных эпизодов его ранней биографии. Говорится это мимоходом, как о чем-то, не заслуживающем особого внимания: мол, каждый в молодости склонен подвергать сомнению мудрость отцов. На самом деле характер и причины аденауэровского «мятежа» имели более глубокую основу, тесно связанную со спецификой того времени.

Католицизм родителей Аденауэра был слепым и нерассуждающим: Господь являет себя в виде Святого духа, воплощаясь в учении церкви, все, что сверх того, — от лукавого. Ватиканский собор 1871 года с его догматом о непогрешимости паны расколол церковь, породив сомнения относительно соответствия этого новшества каноническому праву; эти сомнения получили особое распространение среди католиков Северной Европы.

Третий отпрыск семьи Аденауэров явно разделял эти сомнения, усиливавшиеся вдобавок знакомством с достижениями современной науки. Чарлз Дарвин незадолго до этого выдвинул теорию эволюции, его немецкий последователь Эрнст Геккель сформулировал ее еще в более резкой и бескомпромиссной форме. Столкновение модерна и традиции, вероятно, получило в семье Аденауэров особую остроту ввиду того факта, что старший брат Конрада, Ганс, как раз в это время готовился стать священником.

Очевидно, ни ему, ни родителям никак не импонировало то, что младший Аденауэр нашел себе пророка в лице Карла Хильти — протестантского теолога, последователя Цвингли. Выходец из швейцарского кантона Сент-Галлен (он родился там в 1833 году), Хильти получил образование в Париже и Лондоне и сделал неплохую карьеру как юрист и политик: профессор права Бернского университета, депутат Национального совета (швейцарского парламента), главный аудитор швейцарской армии и, наконец, первый представитель Швейцарии в Международном арбитражном суде в Гааге. Международную известность он получил, однако, как автор двух книг,

посвященных проблемам практического приложения заповедей христианства к повседневной жизненной практике. Эти две книги — «Счастье» и «Что такое вера?» — произвели на молодого Аденауэра, судя но всему, сильнейшее впечатление; испещренные пометками и подчеркиваниями, они всегда были при нем, вплоть до глубокой старости.

Разумеется, ныне заповеди Хильти звучат несколько тривиально, если не сказать — наивно. Он восхваляет «искусство организации труда»; цель жизни в его понимании заключается не в поиске удовольствий, а в том, чтобы сделать ее «продуктивной». Нетрудно заметить заимствования из философии стоиков (разумеется, в христианском обрамлении): выбор идеального героя для подражания, лаконизм речи (ровно столько слов, сколько необходимо — не больше), презрение к роскоши, половое воздержание вне уз брака. Несколько странно звучит рекомендация: «Вступая в разговор, подумай, как вели бы себя в данной ситуации Сократ или Зенон».

Как ни странно, «Счастье» — три солидных тома — стало чуть ли не бестселлером на рубеже веков; к 1910 году было распродано ни много ни мало — сто тысяч экземпляров. Одним из самых первых читателей — и почитателей — этого шедевра стал и Конрад Аденауэр. Его рукой подчеркнуты такие, например, афоризмы: «Надо ненавидеть не людей, а явления», «Оставайтесь холодными, если кто-то хочет вас унизить», «Неудача — неизбежный спутник жизни», «Поставьте себе цель и не отклоняйтесь от нее». Особенно жирно выделена фраза: «Не бойтесь одиночества — это необходимая предпосылка для безмятежного духовного развития и счастья».

Все эти этические заповеди, разумеется, вполне соответствовали аскетическому настрою, характерному для семьи Аденауэров, но все же они скорее носили отпечаток протестантизма. Конрад оставался верным внешней стороне католицизма: он регулярно посещал мессы, постился в положенные сроки, ходил на исповеди, и все же… «Он в глубине души — протестант» — так отзывались уже об Аденауэре-канцлере те, кто его хорошо знал[5]. Наверное, здесь есть зерно истины.

Были и другие причины для трений и конфликтов в семье, не последнее место среди них занимала финансовая зависимость Аденауэра-младшего от отца. В мае 1897 года он начал рассчитанную на четыре года стажировку, после которой мог держать экзамен на звание «асессора». Однако предварительно ему пришлось испросить у отца письменное обязательство предоставить ему на эти четыре года «содержание,

соответствующее его положению». Процедура была довольно унизительная; слава Богу, к тому времени старшие дети уже закончили образование, и финансовая нагрузка на главу семьи ослабла; в конечном счете соответствующий документ был подписан и принят властями.

1 июня 1897 года на заседании Кёльнского суда по гражданским делам Аденауэр принял торжественную присягу на верность «его королевскому величеству, королю Пруссии». Текст присяги включал в себя обязательство добросовестно исполнять свои служебные обязанности и хранить верность конституции, он заканчивался традиционной формулой «И да поможет мне Бог». Это был торжественный момент, и Конрад наверняка отнесся к нему со всей серьезностью. Компромисс между католической верой и лояльностью к протестантскому государству получил юридическое оформление.

Служебная карьера Аденауэра началась с весьма скучной рутины. Стажер был прикреплен к окружному суду в городке Бенсберг, который был расположен в лесах Кенигсферста, километрах в пятнадцати к востоку от Кёльна. Единственной достопримечательностью была гостиница (кстати, единственная в городке), названная по именам героев братьев Гримм — «Хензель и Грета». Каждое утро, кроме воскресений, Конрад пересекал Рейн и, минуя пригороды Кёльна, Дейц и Кальк, поднимался в гору, на противоположном склоне которой и приютился Бенсберг. В крохотном зале суда он занимал место рядом с председателем, выполняя разные его поручения. К вечеру он совершал тот же маршрут в обратном направлении. Так повторялось день за днем на протяжении девяти месяцев.

Потом последовал перевод в Кёльн. Шесть недель в окружном суде в качестве протоколиста, месяц — в Четвертом уголовном суде, пять месяцев — во Втором гражданском, два — в Четвертом гражданском, два месяца — в Первой палате Коммерческого суда, четыре месяца — в прокуратуре, шесть месяцев — в конторе старшего стряпчего, еще шесть — в нотариате и еще шесть — судебным исполнителем… Молодого юриста бросало как щепку в круговерти новых лиц и поручений. Возможно, какой-то психологический комфорт он нашел в том, что рядом снова был друг: Шлютер проходил аналогичную стажировку и тоже в Кёльне. Тем не менее можно понять, с каким вздохом облегчения Аденауэр наконец подал заявление на имя председателя Королевского окружного суда города Кёльна с просьбой допустить его к сдаче экзамена на звание асессора. Это произошло 30 мая 1901 года.

Заявление ушло в Министерство юстиции в Берлин —

решение принималось там. Сопроводительное письмо содержало в целом положительную характеристику кандидата: «Отличается примерным поведением на работе и в быту». Однако небольшая приписка, сделанная от руки председателем суда, бросала легкую тень на личность соискателя: «Воинскую повинность не отбыл, зачислен в запас». Разумеется, Аденауэр не был отказником, просто из-за своих хронических бронхитов он был признан негодным к военной службе в мирное время. То же самое было с его братом Августом, который, правда, во время Первой мировой войны был все-таки мобилизован. Конрад так и остался на всю жизнь «шпаком».

В глазах прусских властей это был существенный недостаток для будущего чиновника, католическое вероисповедание которого и без того делало его чуть ли не подозрительным субъектом. К экзамену он был допущен, но полученный им в октябре 1901 года выпускной балл «удовлетворительно» был равнозначен почти провалу. Вместо оплачиваемой должности в кёльнском суде высшей инстанции, куда он мог бы попасть, получив «отлично», перед ним вновь оказалась перспектива тянуть лямку в каком-нибудь провинциальном городишке, причем по-прежнему без какого-либо вознаграждения. На его счастье, в это время обнаружилась временная вакансия в прокуратуре, и в январе 1902 года в возрасте двадцати шести лет Конрад впервые смог перейти из категории иждивенцев в категорию самодеятельного населения (хотя жалованье ему положили более чем скромное). По-видимому, он сумел проявить себя с наилучшей стороны (может быть, помогли заповеди Хильти?) и уже в мае того же года получил постоянную должность младшего прокурора.

Первый карьерный успех был несколько омрачен расставанием с другом: Раймунд Шлютер одновременно с Аденауэром сдавал государственный экзамен, тоже получил звание асессора, но работы в Кёльне найти не смог; вакансия для него нашлась в суде небольшого городка Гмюнд, расположенного в отрогах Эйфеля. Они продолжали время от времени встречаться, но неразлучной дружбе пришел конец. «Береги себя, Шлот!» — «И ты не перетруждайся, Тони!» — «Пиши!» — «Конечно, если будет о чем» — так Аденауэр уже в преклонном возрасте описывал их расставание (Шлотом он ласково называл своего друга).

На смену мужской дружбе пришел интерес к женскому обществу. В конце 1901 года Аденауэр вступил в один из кёльнских теннисных клубов, которые имели уже сложившуюся репутацию своеобразной ярмарки невест. Разумеется, там не было места никакой фривольности: девушки носили длинные юбки и

кофты с высоким воротом, мужчины позволяли себе оставаться без сюртуков только на самом корте. Членов аденауэровского клуба называли «мокрыми щенками»: они выходили на корт в любую погоду, даже в проливной дождь. Там Конрад и встретил свою будущую жену. Ее звали Эмма, она была отпрыском весьма уважаемой в Кёльне семьи Вейеров. Дед Эммы с отцовской стороны был главным архитектором города, под его началом проходила реставрация соборов, пострадавших от французской оккупации в период Наполеона, осуществлялось строительство здания биржи, городской больницы и ряда новых школ. Он был знатоком и ценителем живописи; в его коллекции насчитывалось свыше трехсот картин Кранаха, Дюрера, Гольбейна, Мемлинга, Ван-Дейка, Рембрандта и Рубенса. Правда, большую часть коллекции пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами: как и многие члены кёльнского высшего общества, Вейер пустился в биржевые спекуляции и прогорел. Это печальное обстоятельство не сказалось, однако, на репутации семьи.

В генеалогическом древе матери Эммы сплелись еще более респектабельные династии Бергхаузов (по материнской линии) и Вальрафов (по отцовской). Увы, на долю семьи выпали тяжелые испытания. Отец Эммы разбился насмерть, упав с лошади, на мать неожиданная гибель мужа подействовала так сильно, что она даже собиралась стать монахиней. Очевидно, ее удержало чувство долга по отношению к двум дочерям (вторую звали Миа) и сыну, однако с лица ее не сходила маска глубокой печали. Детям, естественно, приходилось приноравливаться к этой эмоциональной обстановке: смех и веселье в доме были табу.

Внешне Эмму нельзя было назвать ни красивой, ни даже особенно элегантной. Однако по природе она отличалась веселым нравом, и это придавало ей определенный шарм. Теннис был, пожалуй, единственной отдушиной для нее от тягостной атмосферы в семье; мать как будто не возражала против этого развлечения дочери, имея в виду, разумеется, перспективу, что она найдет себе там подходящего жениха: ведь все воспитание девушки сводилось в то время к тому, чтобы подготовить ее к роли покорной супруги, которая призвана обеспечить семейный уют.

Мы не знаем, как развивался роман Конрада и Эммы. Судя по его фотографии, относящейся к этому периоду его жизни, он стал особенно следить за собой: наверняка стоило немало усилий так завить и вытянуть усики; в глазах впервые появился какой-то живой блеск, и вообще все лицо отражает некое довольство собой — то, чего не было раньше. Причины таких изменений очевидны: появилась девушка, которая принадлежала к более высокой

социальной группе (что полезно) и которой он понравился (что приятно).

В середине 1902 года, во время пикника на Роландсбогене (в излучине Рейна), где Конрад и Эмма были вместе в компании его сослуживцев, он делает ей формальное предложение. Эмма, веселая, возбужденная, в сбившейся набок широкополой шляпке, украшенной вишенками, немедленно отвечает согласием — как представляется, к некоторому удивлению соискателя, — и бежит сообщить об этом брату, тоже участнику пикника. Остаются формальности, но отнюдь не простые. Предстоит испросить материнское благословение. В ближайшее воскресенье молодой асессор, в соответствующем строгом костюме, появляется в доме Вейеров, чтобы получить таковое. Разговор, как можно предположить, был трудный. Не говоря уже о разнице в социальном происхождении, предстояло выяснить вопрос, на какие средства Аденауэр рассчитывает содержать свою жену. Двухсот марок, которые он получал в прокуратуре, было явно недостаточно.

Аденауэр, по всей вероятности, прибег к элементарному блефу. Он заявил будущей теще, что в ближайшее время его годовой доход будет составлять шесть тысяч марок. Оснований для такого оптимизма, вообще говоря, было немного, но госпожа Вейер предпочла не требовать доказательств. По-видимому, дочь успела провести с ней определенную работу, и согласие на помолвку было получено.

Влюбленность преобразила Эмму. Она буквально расцвела. «Вся сияет», — отозвался о ее состоянии немало удивленный такой трансформацией брат. Почти каждый день она отправляет жениху любовные послания, часто в стихах. Конрад более сдержан; правда, его усики еще более приподнялись и вытянулись — почти до мочек ушей (такова была мода, но, чтобы следовать ей, требовалась определенная мобилизация духовных сил!); однако, если Эмма обращается к нему со страстным «ты», в его ответных почтовых отправлениях неизменно фигурирует более формальное «вы».

От помолвки до свадьбы прошло полтора года. Все это время Аденауэр провел в бесплодных поисках лучше оплачиваемой работы. Однажды всплыл проект переезда в Гельзенкирхен: Аденауэр собрался было баллотироваться там на должность городского советника; это был первый случай, когда с его стороны проявился интерес к политической борьбе; он даже набросал что-то вроде избирательной программы (естественно, в духе католического социального учения), попытался выяснить реальность своих планов через одного из старых знакомых-

корпорантов; очевидно, ответ был малоутешительным,' и проект остался нереализованным.

В другой раз его захватила идея уехать нотариусом в какой-нибудь маленький городок: с его любовью к природе и тягой ко всяким усовершенствованиям он сможет создать свое хозяйство, сад и огород дадут дополнительный доход, и таким образом все устроится. Это звучало не очень убедительно, и сам Конрад, видимо, отдавал себе в этом отчет. На почве стрессов ухудшились дела со здоровьем — довольно частыми стали невыходы на работу по болезни.

Все изменилось к лучшему осенью 1903 года. В октябре этого года Аденауэру был предоставлен годичный отпуск, и он получил возможность заняться адвокатурой — делом гораздо более прибыльным и перспективным, чем служба в прокуратуре. Речь шла на первых порах о временной вакансии: один из членов кёльнской гильдии адвокатов, Герман Каузен, уходил в длительный отпуск для поправки здоровья, и Аденауэр должен был на этот срок его заместить. Адвокатская контора Каузена не была самой крупной в городе, но ее владелец был местным руководителем католической партии Центра, которая имела большинство в городском совете. Аденауэр таким образом вплотную приближался к рычагам политической машины. Другим важным преимуществом было то, что в новом качестве он мог гораздо ярче проявить накопленные им знания и навыки юриста. Его манера ведения дел не отличалась внешними эффектами; он сам признавал впоследствии, что действовал на судей как «осенний дождь», имея в виду, естественно, манеру спокойного разбора аргументов обвинения, подмывающего их убедительность. Это сравнение можно, однако, толковать и в том смысле, что своей монотонной речью он просто-напросто усыплял и судей, и оппонентов, лишая их всякого желания спорить. Как бы то ни было, новый адвокат довольно быстро сумел создать себе репутацию. Женитьба на девушке из «хорошей семьи» не выглядела теперь уже как наглая попытка выскочки пробраться в высшее общество.

Брак был официально зарегистрирован 26 октября 1904 года в конторе записи актов гражданского состояния района Кёльн-Линденталь — но месту жительства невесты. Это было во вторник, а через два дня, в четверг, состоялась гораздо более пышная и более значимая для обеих семей церемония — венчание в местном приходском храме. Наверняка невеста была в белом платье с длинным шлейфом, жених — во фраке и белой манишке; твердых свидетельств на этот счет, впрочем, не имеется; от помолвки остались фотографии, от бракосочетания —

нет: ни от официальной церемонии регистрации, ни от венчания в церкви. В этом есть какая-то странность.

После венчания все собрались в ресторане расположенного поблизости отеля «Великий курфюрст», был дан обед, а вечером состоялся бал. Новобрачные были первой парой, открывшей танцы. Наверняка всем заправляли родственники невесты, родственники жениха были на заднем плане. Возможно, их присутствие просто терпели как некое неизбежное зло. Ближайший друг — Раймунд Шлютер, который, очевидно, не получил приглашения на свадьбу, прислал поздравительную телеграмму весьма формального характера. Первую брачную ночь молодожены провели в гостинице в Бонне и сразу отправились в свадебное путешествие.

Как прошел медовый месяц? Родители Конрада могли быть довольны: их сын в полной мере проявил воспитанные в нем качества настоящего пруссака — каждый вечер он аккуратно записывал суммы произведенных за день расходов, в Монте-Карло он решительно пресек намерение супруги в третий раз попытать счастья за игорным столом; небольшая разница между первым выигрышем и первым проигрышем была, разумеется, тоже тщательнейшим образом внесена в дебет. Но, видимо, было не только это, иначе Эмма не оставила бы таких экзальтированно-восторженных записей в своем дневнике.

Записи эти вряд ли способны заинтересовать любителей изящной словесности, но искренность и глубина выраженных в них чувств не могут не впечатлять. Первое утро в Бонне выдалось явно пасмурным и промозглым (такова обычная погода в середине тамошней зимы), однако вот как это выглядит в дневнике Эммы: «Легкий туман струится над Рейном… Над водой летают чайки… На душе у нас легко и безмятежно. Давно так не было». Или запись, сделанная в Швейцарии, по пути в Монтре: «Ветер гонит стаи белых чаек… Мы катимся на санях вниз по склону. Над нами синее небо, под нами широкая гладь Женевского озера… Можно ли представить себе более чудесное зрелище? Сани ускоряют свой бег, наши щеки все краснее и краснее. Какая прелесть! Чувствуем себя как дети посреди этой бесконечной красы».

И дальше в том же духе. В Женеве их встречают «нежные струи дождя» (в другом настроении можно было бы написать просто, что хлестал ливень), в долине Роны ей кажется, что «все залито нежным светом, исходящим как будто прямо из земли», в Марселе «мягкий весенний воздух выманил нас вечером на улицу». Ей там не очень понравилось, что «девушки-торговки в местных нарядах слегка грязноваты», но эта легкая критическая

нотка исчезает, как только они прибывают в Монте-Карло, а затем продолжают путешествие уже но итальянской Ривьере. А потом еще были Генуя и Милан, созерцание «Тайной вечери» Леонардо да Винчи — и обратно, через швейцарские Альпы в родной Кёльн. Наверняка к тому времени они уже несколько утомились от разнообразия впечатлений: медовый месяц фактически длился около сотни дней.

Обычно такое длительное пребывание молодоженов наедине друг с другом заканчивается либо кризисом их отношений (а иногда и началом их конца), либо, напротив, цементирует первое, еще наивное и робкое чувство. У четы Аденауэров явно произошло последнее. Новая семья начала счастливую самостоятельную жизнь в небольшой, но уютно обставленной квартире но Клостерштрассе — в том же районе Кёльн-Линденталь, где Эмма жила до замужества, не слишком далеко, но и не чересчур близко от дома матери.

В их путешествии был лишь один момент, который напомнил им о печальном: в Монтре молодожены встретили большое количество постояльцев с явными признаками чахотки. «Бедняжки, — пишет Эмма в своем дневнике, — они, конечно, надеются на чудо, но на лицах у них уже печать смерти». Возможно, Конрад при этом подумал о своем друге Шлютере и о судьбе, которая постигла его семью. В сентябре того же года из Гмюнда пришла телеграмма, в которой Шлютер сообщал, что он тоже женится, невеста его — дочь местного лекаря. Тут же была отправлена поздравительная телеграмма, Аденауэр стал уже собираться в дорогу, в горы Эйфеля, на свадьбу друга, и вдруг новое известие, на этот раз трагического характера: Раймунд Шлютер скоропостижно скончался.

Вместо свадьбы Конраду вместе с еще одним общим знакомым но «Брисговии» пришлось ехать на похороны. Аденауэр всю дорогу молчал, отделываясь от вопросов попутчика односложными ответами, зачастую невпопад. В Гмюнде их встретил несостоявшийся тесть, который с трудом сдерживал слезы. Он поведал странную историю: Шлютер никогда не скрывал от него плохой наследственности и накануне помолвки попросил его освидетельствовать. Лекарь согласился, не нашел в будущем зяте никаких признаков болезни и шутя пригрозил наказанием за симуляцию. Однако через несколько дней, за две недели до даты бракосочетания, у жениха ночью открылось легочное кровотечение, и его утром нашли в постели мертвым. На столике у кровати лежал открытый молитвенник: на следующий день Шлютер собирался в Кёльн на исповедь. Во время этого рассказа, на отпевании в церкви и стоя у могилы Аденауэр не

проронил ни одного слова, из глаз его не выкатилось ни одной слезинки.

Смерть друга стала рубежным событием в жизни нашего героя. Пуповина, связывавшая его с прошлым — радостями и горестями юных лет, — была порвана. Наступило время зрелости.

ГЛАВА 4.
НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

«Я ведь ничуть не хуже других»[6]

Переломным для Аденауэра был 1906 год. Ему тридцать лет, он начинает новую карьеру, переезжает на новое место жительства, теряет отца и сам в первый раз становится отцом. Вдобавок этот год начался с того, что врачи вынесли Конраду почти что смертный приговор: диагноз звучал «диабет». Симптомы этой болезни были известны еще в древности; Артей Каппадокийский, живший во втором веке нашей эры, оставил яркое их описание: «Плоть и кость тают и превращаются в мочу… Больной непрерывно ее извергает… Мучения ужасны, но, к счастью, кратковременны… Человек постоянно хочет пить, но коль скоро желудок наполнен, все выходит наружу со рвотой, смерть приходит как желанное избавление…» В наше время инъекции инсулина не только избавляют диабетиков от такого ужасного конца, но и обеспечивают им более или менее нормальную жизнь, однако в начале века об этом лекарстве еще не знали, и строгая диета была единственным рецептом предотвращения развития болезни. Об излечении речи вообще не шло (кстати, и поныне радикального средства против диабета не найдено).

Но был ли Аденауэр действительно диабетиком? Обратимся к фактам. Осенью 1905 года анализ показал избыток сахара в организме. Конрад тут же испросил и незамедлительно получил месячный отпуск для поправки здоровья. Врач посадил его на бессахарную диету, которую пациент добросовестно соблюдал в течение пятнадцати лет. А потом — потом все прошло. Бесследно и окончательно. С медицинской точки зрения случилось чудо — от диабета полностью никогда не выздоравливают. Но поскольку чудес не бывает, логично предположить, что на рубеже тридцатилетия у Аденауэра произошло просто-напросто временное нарушение обмена веществ — явление вполне обычное для человека, подверженного стрессам и к тому же крайне мнительного. Помимо хронических бронхитов, о чем уже говорилось, Аденауэр часто жаловался на головные боли, бессонницу и прочие неприятные вещи. Его сын вспоминает, как в 1914 году отец устроил настоящую истерику по поводу небольшого лопнувшего сосуда на ноге. «У меня тромб, он наверняка попадет в мозг, и мне конец», — взволнованно

сообщил он домочадцам, созванным но этому случаю на своеобразный домашний консилиум. На детей это произвело сильное впечатление, тем более что их нянька постоянно увещевала их вести себя хорошо и не расстраивать «больного папу», он, мол, даже не смог застраховать свою жизнь: настолько врачи не уверены в состоянии его здоровья. Позднейший комментарий сына может показаться несколько саркастическим: «Папин тромбоз прошел, а вот мама умерла». В самом деле после случая с лопнувшим сосудом Аденауэр прожил еще ни много ни мало — пятьдесят три года и в самом преклонном возрасте поражал жизненной энергией, которой не могли похвастаться люди намного его моложе.

Возможно, возникновение некоего синдрома на рубеже 1905–1906 годов было вызвано тем обстоятельством, что временная вакансия в конторе Каузена к тому времени закрылась и Аденауэру пришлось вновь вернуться на государственную службу. Предложенное ему место помощника судьи в кёльнском окружном суде было опять-таки временным, и наш герой наверняка чувствовал себя не лучшим образом. И тут подвернулся случай. Вакантной оказалась должность помощника бургомистра. Таких помощников было всего двенадцать, каждый из них руководил одним из департаментов городского самоуправления (если считать бургомистра главой правительства города, то их можно назвать министрами), они подлежали избранию пленумом городского собрания.

Претендовать на такой пост рядовому судейскому чиновнику без какого-либо опыта в управлении городским хозяйством было, мягко говоря, довольно дерзким предприятием. Но именно такое предприятие тщательно спланировал и блестяще реализовал наш лжедиабетик. Преимущества новой карьеры были очевидны: оклад составлял шесть тысяч марок (что-то около шестидесяти тысяч по нынешнему курсу) — именно такую цифру, вспомним, называл Конрад своей будущей теще, когда просил руки ее дочери. Судейская рутина к тому времени Аденауэру уже изрядно наскучила, а должность одного из двенадцати высших городских чиновников открывала радужные перспективы на будущее.

Аденауэр все точно рассчитал. В городском собрании в этот период доминировали две партии — либералы и Центр, причем фракцию Центра, как уже говорилось, возглавлял не кто иной, как бывший работодатель Аденауэра, Герман Каузен. Он же был председателем комиссии но отбору кандидатов на замещение штатных должностей в городском самоуправлении. К нему и отправился Аденауэр. Каузен был человеком довольно грубым и вспыльчивым, к тому же у него уже была наготове кандидатура —

судья из Саарбрюккена. При прочих равных условиях он бы скорее всего просто выгнал наглеца из своего кабинета. Однако этого не произошло. Возможно, стареющего политика покорила прямота, с которой его бывший протеже изложил свою просьбу: «Почему бы вам не взять меня, господин юстицрат? Я ведь ничуть не хуже других». Во всяком случае, после консультаций с начальником отдела личного состава Каузен сделал именно то, о чем просил Аденауэр: выставил его кандидатуру но списку партии Центра.

Здесь Аденауэр вбросил еще один козырь: дядя Эммы, Макс Вальраф, занимал видное положение в местной организации либеральной партии. Через него кандидатуре Аденауэра была обеспечена поддержка второй главной фракции городского собрания, тем более что по неписаным правилам регламента очередь на замещение вакансии была за представителем Центра. Получить согласие бургомистра Беккера было уже делом техники. В результате на состоявшихся 7 марта 1906 года довыборах за Аденауэра было подано тридцать пять бюллетеней из тридцати семи (при двух недействительных). Недолгая и не особенно примечательная юридическая карьера нашего героя закончилась, началась блестящая карьера политика.

Наверное, самые сильные эмоции испытал его отец. Его мечты сбывались. «Конрад, — обратился он к сыну, узнав о результатах голосования, — теперь следующая цель — стать бургомистром». Вероятно, пережитые волнения сильно подействовали на старика: через три дня с ним случился удар. Конрада срочно вызвали с заседания суда, где он отрабатывал свои последние дни перед уходом. Он опоздал: отец был уже мертв. Смерть была легкой: на лице усопшего не было следов страдания, казалось, он даже слегка улыбается.

Как и у гроба своего друга Шлютера, Аденауэр не проронил ни слова, ни слезинки. Он никому и никогда не рассказывал о том, что он тогда чувствовал. То же самое повторилось и при похоронах матери в ноябре 1919 года. Философию стоиков наш герой, судя но всему, усвоил хорошо.

Спустя две недели он приступил к исполнению своих новых обязанностей в городском правительстве. Новичку всегда сложно освоиться в новой среде, к тому же ему неожиданно пришлось заниматься совсем другими делами, нежели те, к которым он готовил себя: вакансия была в отделе строительства, однако бургомистр предпочел перевести туда прежнего руководителя налогового отдела, а Аденауэра посадить на освободившееся место. Это вызвало некоторое недовольство, говорили о межпартийных дрязгах, об усилении влияния юристов в ущерб

влиянию технических специалистов и т.н.

Сложности новой работы более чем компенсировались связанными с ней материальными преимуществами. Молодая семья переехала со старой квартиры в новый дом в том же Линдентале, но в более престижном квартале, на Фридрих-Шмиттштрассе. Его мать с Лили переехали к ним. Конрад показал себя заботливым сыном: матери было тяжело подниматься но лестнице, а на первом этаже было слишком шумно и пыльно, поэтому ей с Лили был выделен второй этаж, а покои супругов оказались как бы разделенными на две части. Наверняка Эмму раздражали присутствие свекрови, необходимость то и дело выслушивать ее замечания, вновь и вновь выражать сочувствие и скорбь по случаю недавней утраты. Свекрови, особенно недавно овдовевшие, не лучшие из квартирантов. Однако супруга Конрада сносила все героически. Кроме того, она была воспитана в том духе, что жена должна знать свое место и не жаловаться.

В это время Эмма дохаживала последние месяцы беременности. Семья уже могла позволить себе прислугу: в доме был повар и две служанки (одна из них присматривала исключительно за хозяйкой), так что физической работой будущей матери не приходилось себя перегружать. Тем не менее беременность протекала с осложнениями, тяжелыми были и роды. 21 сентября 1906 года в семье появился первенец — его назвали тоже Конрадом, как и счастливого отца. Все омрачало состояние роженицы: у нее не проходили сильные боли, и ни акушерка, ни врач не могли установить их причину.

В этой ситуации ее супруг проявил себя с самой лучшей стороны. В те времена мужчины считали для себя зазорным вникать в интимные женские проблемы. Аденауэр стал в этом смысле исключением. По его настоянию Эмма легла в больницу на обследование, были вызваны лучшие специалисты, которые в конце концов вынесли неутешительный вердикт: что-то не в порядке с нижним отделом позвоночника, отсюда — проблемы с почками. Самое главное, врачи не могли предложить никакого средства исцеления — рекомендовались лишь строгая диета и покой. Практически медицина расписалась в своем бессилии.

Недуг Эммы наложил свой специфический отпечаток на семейный быт. Боли то отступали, то вновь возвращались, женщина переносила их мужественно, норой ей удавалось скрыть свое состояние от окружающих, но это было уже не прежнее веселое и романтичное создание. В доме бывали гости, младенец Коко рос крепышом и радовал родителей, однако от выездов на разного рода балы и рауты пришлось отказаться, о чем, впрочем, глава семейства, судя по всему, не очень сожалел. Ему хватало

служебных забот и обязанностей по отношению к семье.

Для жены и ребенка у него всегда находилось время: речь шла не только о том, что каждое лето они отправлялись на отдых в Шварцвальд или швейцарские Альпы; в середине каждого рабочего дня Конрад неизменно два часа проводил дома. Вообще говоря, это был не совсем обычный распорядок дня для начинающего администратора, но на службе не возражали: Аденауэр быстро приобрел репутацию «трудоголика». Того же он требовал от подчиненных, что далеко не всегда вызывало энтузиазм с их стороны; когда он, например, распорядился, чтобы каждый чиновник через каждые две недели представлял ему список не законченных производством дел, это было воспринято как причуда молодого карьериста. В его голосе появились командные нотки, в глазах — некая железная твердость, к этому времени он уже избавился от своих комичных усиков и от привычки носить монокль. Его рабочий день начинался в девять утра и заканчивался не ранее восьми часов вечера. Во время сессий собрания, когда в любой момент от его отдела могла понадобиться срочная справка, он засиживался и до полуночи. Дома, однако, это был совсем другой человек: ничего общего с образом сухаря чиновника. Он был неизменно внимателен с матерью, сестрой, что касается жены, то ради нее он, но словам знакомых семьи, «был готов сделать все, что угодно». Нежность и забота, очевидно, произвели свое действие, в состоянии Эммы наступило временное улучшение; судя по всему, возобновились и нормальные супружеские отношения.

Для Аденауэра время было нелегкое, именно тогда он стал особенно часто жаловаться на приступы головной боли, но, видимо, надежды на лучшее он не оставлял. И не зря: в его карьере наметился новый неожиданный взлет.

Все началось с того, что примерно в то же время, как в семье Аденауэров появилось прибавление, осенью 1906 года, Высший административный суд в Берлине отменил результаты выборов городских советников Кёльна в части, относящейся к голосованию но второй избирательной курии[7]. Между, тем именно от этого голосования всегда зависело распределение мест в собрании: в первой курии всегда побеждали либералы, в третьей — Центр; на последних выборах Центр победил и во второй курии, обеспечив себе незначительный перевес в числе депутатов. И вот теперь в результате решения берлинской инстанции большинство — в один голос — оказалось уже за либералами.

Каковы были последствия? Либералы, естественно, пожелали, чтобы бургомистром стал член их партии. Действующему бургомистру Беккеру, срок пребывания которого в должности

истекал только через два года, мягко порекомендовали подать в отставку. Претендентов на его место оказалось четверо: от либералов — Вильгельм Спиритус, занимавший в то время пост бургомистра в Бонне, от Центра — первый помощник (фактически заместитель) действовавшего бургомистра Вильгельм Фарвик и двое «независимых», одним из которых был не кто иной, как дядюшка Эммы, Макс Вальраф.

Развернулся оживленный торг. Один из лидеров либералов, Йозеф Паули, крупный земельный магнат и, между прочим, тесть Макса Вальрафа, заявил, что, с его точки зрения, бургомистром Кёльна может быть только тот, кто в нем родился и живет, а кроме того, поскольку два предыдущих бургомистра были протестантами, теперь очередь за католиком. С другой стороны, он категорически отказался голосовать за официального кандидата Центра. Спиритус, Фарвик и один из «независимых» но этим критериям автоматически отпадали. Оставался единственный кандидат — Макс Вальраф. Для либералов он оказался приемлемым, потому что был зятем Паули, для фракции Центра — потому что был католиком, и для тех, и других — потому что был отпрыском одной из самых патрицианских семей Кёльна. В этой ситуации никого не удивило, что 13 июля 1907 года Вальрафа единогласно избрали новым бургомистром Кёльна. Таковы были правила политической игры в тогдашнем прусском королевстве.

Чем это все обернулось для Аденауэра? Поначалу, как ни парадоксально, угрозой снятия с поста руководителя налогового департамента. Старый бургомистр, пытаясь завоевать благосклонность большинства либералов, решил сократить число чиновников, попавших в администрацию с подачи деятелей Центра, и Аденауэр оказался в числе потенциальных жертв. Однако осуществление этого плана было заморожено впредь до выборов нового бургомистра, а новый, естественно, не стал обижать родственника. Правда, жена Вальрафа, тетка Эммы, терпеть не могла ее супруга, так что отношения между новоизбранным главой администрации и старым начальником налогового департамента были далеко не простыми.

Пожалуй, большее значение с точки зрения карьерных интересов Аденауэра имело то обстоятельство, что Вальраф не слишком утруждал себя исполнением служебных обязанностей. Скорее всего он рассматривал новую должность как некую синекуру после долгих лет, проведенных в Кобленце в качестве высокопоставленного чиновника администрации Рейнской провинции. Он любил охоту, любил щегольнуть элегантным, а то и вызывающим нарядом, у него был неплохо подвешен язык.

Порой ему изменяло чувство меры: одна из газет обвинила его в том, что специально к приезду кайзера он оборудовал в ратуше туалет из мрамора, намного перерасходовав общественные фонды. При всем том он пользовался известной популярностью, тем более что распорядился вывешивать на ратуше рядом с имперским еще и традиционный флаг Кёльна. К тому же город стал оправляться от последствий экономического кризиса, поразившего Германию в 1903 году. Разумеется, Аденауэр не упускал случая указать на заслуги своего департамента в уменьшении дефицита городского бюджета, и бургомистр, как представляется, не отрицал того факта, что его новый родственник — чиновник старательный и неглупый.

Тем не менее, весьма вероятно, наш герой так и не поднялся бы выше статуса руководителя департамента, если бы не еще одна счастливая случайность. Фарвик, кандидат Центра на выборах 1907 года, так и не смог смириться с тем, что ему приходится быть в подчинении у своего тогдашнего соперника; он считал себя незаслуженно обойденным, к тому же его безмерно раздражали экстравагантные манеры и действия нового бургомистра. Через два года его терпение истощилось, и он решил уйти в частный сектор; учитывая то, что уже на протяжении многих лет именно он, а не его номинальное начальство фактически управлял городом, ему было нетрудно найти теплое местечко. Он стал исполнительным директором Шаффхаузенбанка. Место первого заместителя бургомистра оказалось вакантным.

Политический ландшафт в городском собрании к тому времени изменился. Центр вновь добился большинства, и на этот раз его победа была бесспорной. Естественно, руководители фракции хотели сохранить пост заместителя бургомистра за представителем своей партии. Со своей стороны, либералы заявляли, что, поскольку речь идет о чиновничьей должности, партийные соображения здесь не должны присутствовать. Сам Вальраф воздержался от высказывания своего мнения. Все поняли это так, что он считает само собой разумеющейся кандидатуру Аденауэра и просто не хочет лишний раз давать повод для разговоров о непотизме.

В конечном счете осталось только два кандидата: Аденауэр и Бруно Мацерат, чиновник, работавший в администрации еще до его прихода. После долгой дискуссии фракция Центра приняла решение в пользу Аденауэра. Его избрание на пост первого заместителя бургомистра было, таким образом, предрешено. Фракция либералов, хотя и не выдвинула альтернативной кандидатуры, отказалась поддержать Аденауэра. Ее

представители прямо намекали, что речь идет о беспринципном сговоре. Консенсуса, который был практически достигнут при выдвижении кандидатуры Аденауэра на пост руководителя департамента три года назад, на этот раз не получилось. И тем не менее 22 июля 1909 года в городе появилось новое второе лицо — при первом, которое явно не горело желанием особенно вникать в дела управления. Фактически оно оказалось в руках Аденауэра.

Многие сочли случившееся скандалом. Никогда еще такой ответственный пост в Кёльне не занимал столь молодой (Аденауэру было тогда всего тридцать три года) и, как считалось, неопытный чиновник. Выскочка, хладнокровный махинатор, использующий семейные связи больной жены, — эти и подобные обвинения были самой распространенной темой салонных разговоров. Тетушка прямо высказала ему мнение местной элиты: не строй иллюзий, ты всего лишь пешка в нашей игре.

Как бы то ни было, новая должность принесла семье Аденауэров подлинное благосостояние — даже по стандартам кёльнского патрициата. Его годовой оклад достиг восемнадцати тысяч марок (что-то около трехсот шестидесяти тысяч в нынешнем масштабе цен). При сравнительно низком уровне цен на землю (последствия кризиса 1903 года) ему удалось совершить удачное приобретение — участок на Макс-Брухштрассе, рядом с городским парком, в одном из самых престижных районов города. С помощью дешевого кредита он строит там импозантный дом. В 1911 году выросшая семья — мать, сестра, сам Конрад, Эмма, Коко и родившийся год назад второй сын Макс (на этот раз роды прошли легче и не вызвали таких последствий, как при рождении первенца) — празднует новоселье.

Растет и благосостояние города в целом. С 1909 года в германской экономике начался быстрый подъем. Кайзеровская программа вооружений сыграла при этом немалую роль. Сталь, станки, двигатели, химия — все это потоком хлынуло с заводов Дейца и Мюльхейма, пригородов Кёльна, включенных недавно в его состав. Золотой дождь пролился и над кёльнскими банками. Дефицит городского бюджета, составлявший в 1907 году полтора миллиона марок, был ликвидирован, бюджет на 1910 год впервые оказался полностью сбалансированным. Второй мост через Рейн, новые районы правобережья, создание муниципальной кредитной системы, развитие транспорта и коммунальных служб — перед городом, казалось, открывались самые радужные перспективы.

Однако процветание покоилось на непрочной основе. Мир катился к катастрофе. В 1859 году дочь английской королевы Виктории, принцесса Викки, писала матери о своем первенце,

будущем германском императоре Вильгельме II (ему тогда исполнился месяц): «Ваш внук очень беспокойный: когда не спит, за ним нужен глаз да глаз». Выдав Викки замуж за наследника прусского престола, английский двор надеялся, что она сумеет «цивилизовать» династию Гогенцоллернов, однако из этого ничего не вышло. Оказалось, что с Вильгельма действительно нельзя спускать глаз, и не только в первые месяцы его жизни: беспокойный младенец вырос в опасного международного авантюриста. Близкие родственные связи с британским королевским домом (Георг V был его двоюродным братом) не гарантировали нормальных отношений между обеими странами. Программа строительства гигантских дредноутов, которые должны были бросить вызов британской морской гегемонии, оживила экономическую конъюнктуру в Германии, особенно в Рейнской провинции, но гонка вооружений была чревата непредвиденными последствиями.

До поры до времени немцы закрывали глаза на эскапады своего императора. Когда он появлялся в Кёльне, его встречали приветствиями и патриотическими гимнами. Во всяком случае, у нашего героя не возникало никаких сомнений в мудрости верховного правителя своей страны. Позднее он говорил, что война 1914–1918 годов — это плод всеобщей глупости. Тем самым но крайней мере косвенно он дезавуировал свои собственные позиции и взгляды довоенного периода. Тогда он руководствовался принципом: если интересы империи требуют войны, да здравствует война! Как и многие из его соотечественников, Аденауэр был глубоко обеспокоен перспективой «окружения» в результате развития военного сотрудничества между Францией и Россией. Он был за приобретение новых колоний, притом любой ценой. Его никак нельзя было отнести к пацифистам либо даже к сторонникам компромиссного решения международных споров.

Судя по всему, приближение военного пожара Аденауэра не слишком беспокоило. В личном плане ему ничего не грозило: к 1914 году ему было уже тридцать восемь лет, он был высокопоставленным государственным чиновником и призыву, естественно, не подлежал ни при каких обстоятельствах. Наверняка он так или иначе принимал участие в подготовке мероприятий военного характера, которые осуществлялись в Рейнланде: в конце концов, это была пограничная провинция, плацдарм развертывания ударных дивизий немецкой армии, нацеленных на Францию и Бельгию; через Кёльн проходили важнейшие коммуникации, обеспечивавшие снабжение войск. Конкретных данных по этой стороне его деятельности как

заместителя бургомистра, фактически исполнявшего большую часть обязанностей своего номинального шефа, в нашем распоряжении, к сожалению, нет.

Что нам точно известно: в то время как мир и Европа двигались к величайшей трагедии в своей истории, в семье Аденауэров назревала своя трагедия. В 1912 году на свет появился третий ребенок — дочь Мария (ее обычно называли просто «Рия»). Роды на этот раз были исключительно тяжелыми — гораздо более тяжелыми, чем даже первые. Последствия тоже были несравнимо более серьезными. На Эмму было страшно смотреть. Она с трудом могла встать. Симптомы явно указывали на самое худшее — рак. Муж пытался отвлечь ее от мыслей о болезни, с напускной веселостью болтал с ней о всяких пустяках. Но ее было трудно провести. Снова и снова она заводила разговор о будущем: когда ее не станет, что будет тогда с ним, с детьми? Выдержка начала изменять Аденауэру. Однажды сын услышал от него сдавленный стон: «За что?» Война принесла Германии горечь поражения, а семье Аденауэров — еще и невосполнимую горечь утраты самого близкого человека.

ГЛАВА 5.
ВРЕМЯ ДРАМ И ТРАГЕДИЙ

«… Жизнь превратилась в ад»[8]

В письме, которое один немецкий офицер послал семье перед отправкой на фронт в августе 1914 года, о войне говорится как о долгожданном рождественском празднике. Через три недели автора этого восторженного послания уже не было в живых: шальной снаряд разорвал его на части еще до того, как он успел добраться до переднего края. Заблуждения, иллюзии, суровая расплата за них — как в капле воды отразилось все это в маленьком эпизоде «великой войны». Взрыв коллективного милитаристского психоза в первые дни войны выглядит тем более странным, что на протяжении всего июльского кризиса, начавшегося после убийства в Сараеве наследника австрийского престола Франца Фердинанда, антивоенное движение, как казалось, росло и крепло. Еще 29 июля Берлин был охвачен массовыми рабочими демонстрациями под лозунгами «За мир, против военных авантюр». Все изменилось, когда кайзер объявил о начале мобилизации, добавив, что «отныне он не знает никаких партийных различий, он знает только немцев».

Чем объяснить такой поворот, такое воодушевление, которое внезапно охватило широкие круги населения во всех воюющих странах? Причин было много. Это и неведение по поводу того, что означает война в условиях, когда средства уничтожения уже впитали в себя последние достижения науки и техники. Это и чувство, известное каждому, кто впервые подходит к игорному столу, — психологическая реакция на скуку повседневной рутины, желание испытать себя случаем, надежда на то, что вдруг повезет и можно будет разом решить все проблемы, которые накапливались годами и решение которых все откладывалось и откладывалось на неопределенное будущее. Ну и конечно, каждая из сторон считала, что борется за правое дело, что с нею Бог. Для церкви в каждой из воюющих стран это создавало определенные проблемы: как же так — Бог один, а Божьи правды разные? Но до норы до времени эта проблема оттеснялась в подсознание, тем более что Ватикан благоразумно предпочел не становиться на чью-либо сторону, ограничившись вознесением молитвы за мир.

Кёльн отнюдь не был исключением из общей атмосферы военного психоза, охватившего всю Германию. Газеты кричали о том, что главным виновником войны является Англия, что она

попирает принцип нейтралитета, о том, что Бельгия стала орудием антинемецкого заговора и т.н. По улицам колонна за колонной двигались войска. На запад! На запад! Солдаты горланили «Нет смерти лучше, чем на поле боя» — мрачная философия вагнеровского эпоса с непременной гибелью благородного героя все-таки, видимо, отражала какие-то тайные струны немецкого национального характера. Старики, женщины, дети толпились на тротуарах, приветствуя проходящие колонны. Даже больная Эмма поднялась с постели, чтобы выйти на улицу и попотчевать солдат первым, что оказалось под рукой, — это был малиновый сок, наверняка не самый подходящий к случаю напиток. Сам глава семейства занимался более серьезными делами: через мост Гогенцоллернов с интервалом в десять минут шли и шли на запад воинские эшелоны, в обратном направлении стали приходить санитарные поезда, Кёльн превратился в гигантский госпиталь, надо было организовать снабжение войск и раненых, не говоря уже об оставшемся гражданском населении, промышленность — перестроить на военные рельсы; символичным актом стало снятие с собора пятитонного колокола: он был переплавлен на патроны.

На первый план выступила продовольственная проблема. Аденауэр взял ее под свой личный контроль. Уже в августе 1914 года было издано распоряжение, запрещающее вывоз продуктов питания из города. Одновременно началось накопление резервных запасов муки, риса, чечевицы и гороха. Вдоль Рейна, в районе доков, возникли ряды складских помещений. В Голландии были произведены массовые закупки молочных коров. Пастбищ не хватало, и стада молодых бычков наелись в городских парках. Владельцам фирм было дано указание организовать «добровольные» пожертвования со стороны служащих на военные нужды города. Члены городского автомобильного клуба обязывались предоставить свои машины для перевозки раненых. На группу итальянских журналистов, посетивших Кёльн в ноябре 1914 года, должное впечатление произвела постановка дела с наглядной агитацией: над воротами одного из заводов висел огромный транспарант, призывающих рабочих отдать все силы фронту. Для бургомистра, который лично устроил своеобразный брифинг для журналистов, такого рода пропагандистские ухищрения явно были предметом особой гордости.

Однако эффективность их оставалась весьма сомнительной: в массовых настроениях сдвиги шли скорее в сторону растущей озабоченности продолжением войны и связанными с ней лишениями. Аденауэр всячески демонстрировал личную скромность и непритязательность: воздержание от курения и

алкоголя, самая простая одежда — как у самого обыкновенного служащего, ботинки, заношенные до такой степени, что их носки задирались вверх. Раз в две недели — стрижка наголо, которую производил не профессиональный парикмахер, а один из муниципальных чиновников, так сказать в порядке дополнительной нагрузки; той же процедуре подвергались и оба уже подросших сына. С эстетической точки зрения результат получался, мягко говоря, спорный, но у первого заместителя бургомистра в данном случае наготове был решающий аргумент: «Это гигиенично и недорого».

В условиях военного времени у Аденауэра развилась страсть к изобретательству, зачатки которой проявились еще раньше. Первая его попытка внести свой вклад в дело технического прогресса относится к 1904 году: тогда он предложил некое усовершенствование в конструкцию автомобиля. Следующая его идея даже воплотилась в материальную форму: это была шпилька для волос, которая, как он утверждал, не могла потеряться; испытание готового изделия было проведено на супруге. Эмма, судя но всему, это испытание героически выдержала, однако на этом все и кончилось.

Растущие продовольственные трудности направили изобретательские усилия нашего героя в новое русло. Первым плодом его творчества стала «кёльнская сосиска» — нечто малоаппетитное на основе соевой муки; за ней последовал «кёльнский хлеб» — смесь кукурузы, ячменя и риса; Аденауэр был так горд разработанной им лично рецептурой, что даже решил ее запатентовать. Продукт этот, по правде говоря, не пользовался особой популярностью и до 1916 года отпускался без ограничений. Однако после вступления в войну. Румынии поставки кукурузы фактически прекратились, и «кёльнский хлеб» тоже стали выдавать но карточкам. Здесь уже Аденауэр решил попробовать себя в сфере маркетинга: по его распоряжению булочникам было запрещено продавать свежий хлеб; торговать следовало исключительно черствым — не менее чем двухдневной давности; идея состояла в том, что, поскольку в черством виде аденауэровское изобретение имело еще более отвратный вкус и еще менее могло возбудить интерес потребителя, спрос и предложение оказывались сбалансированными. Успех этой акции можно считать но меньшей мере сомнительным. То же самое относится и еще к одному предприятию, придуманному Аденауэром, — устройству специальных фабрик-кухонь в рабочих кварталах Кёльна, где по рекомендованной им технологии изготовлялось некое варево, отличавшееся неприятным вкусом, но зато вроде бы повышенной питательности. Заместитель

бургомистра попробовал себя и в сфере публицистики. В серии статей, опубликованных в 1915 году на страницах местной «Кёльнише цейтунг» (газеты, отнюдь не отражавшей точку зрения руководства партии Центра), он пропагандировал необходимость контроля над торговлей продовольствием; осуществлять этот контроль должны были, по его мнению, местные власти при минимуме вмешательства из Берлина. Позднее берлинское издательство «Конкордия» выпустило эти статьи в виде отдельной брошюры под заголовком «Новые правила для системы нашего продовольственного снабжения».

Разумеется, все это были изыски, никак не способные ни решить проблему дефицита продовольствия, ни противостоять растущей стихии черного рынка. В рационе потребителя говядина все больше заменялась кониной, картофель и прочие овощи — брюквой, натуральный кофе — суррогатом из ячменя и цикория. Репутация Аденауэра стала падать, тем более что его официальный начальник, бургомистр Вальраф, не упускал случая приписать себе то, что могло считаться заслугами в деле организации снабжения, и свалить на заместителя ответственность за явные провалы.

В этой сложной обстановке Аденауэр сделал ловкий ход: он решил организовать нечто, что позднее стало называться «большой коалицией». Ранее все политические комбинации в Кёльне разыгрывались между представителями двух партий: с одной стороны, это были национал-либералы, партия крупной промышленной и торговой буржуазии, с другой — партия Центра, представлявшая менее социально гомогенные слои католического населения. Социал-демократия, выражавшая интересы неимущего промышленного пролетариата, оставалась при этом за бортом; между тем ее политическое влияние значительно усилилось — особенно после включения в городскую черту Кёльна промышленных районов правого берега Рейна. Аденауэр, как это и положено правоверному католику, всегда считал социал-демократов некими исчадиями ада, однако ради укрепления своих личных позиций решился пойти на контакт с ними.

Ему повезло: вместо агрессивных марксистских фанатиков он, к своему немалому удивлению, обнаружил во главе кёльнской организации СДПГ людей, вполне благонамеренно настроенных, расположенных к кайзеру и выступавших в принципе за поддержку военных усилий Германии. Недаром лидер местных социал-демократов Вильгельм Зольман удостоился со стороны одного из высших чиновников империи характеристики, в которой присутствовали такие эпитеты, как «замечательный, мужественный, смелый, прямой» и т.п.

Зольман был примерно одного возраста с Аденауэром. Он родился в 1881 году в Тюрингии, был подмастерьем в Кёльне, одно время даже посещал гимназию, но бросил ее на том основании, что тамошнее образование мало что может дать ему для реальной жизни. Он был абсолютным трезвенником и сектантом (отколовшаяся от традиционного лютеранства группа, к которой он принадлежал, носила несколько таинственное название «добрых храмовников»). При этом он в качестве редактора местной хроники в «Рейнише цейтунг» потчевал читателей весьма ядовитыми комментариями на злобу дня на основе вполне марксистского идейного инструментария. В 1913–1914 годах он стал ведущей фигурой в скандале, связанном с разоблачением и последующим осуждением группы коррумпированных служащих кёльнской полиции. При общем мнении о нем как о «приличном человеке», это, казалось бы, был вряд ли подходящий партнер для такого католика-консерватора, как Аденауэр.

И тем не менее они нашли друг друга и договорились. По условиям этой договоренности социал-демократам гарантировались три места в городском собрании созыва 1918 года, признавалась необходимость ликвидации антидемократической трехклассной избирательной системы в Пруссии, Аденауэр отметил особые заслуги, беднейших слоев кёльнского населения в поддержании благосостояния города и торжественно обещал в будущем обратить особое внимание на их нужды. На основе этих трех пунктов Зольман от лица СДПГ выражал готовность вплоть до окончания войны лояльно сотрудничать с властями. Фактически это означало, что такую же позицию займут и местные профсоюзы.

Между тем в кругах Центра и национал-либералов продолжались старые партийные дрязги. Новые лидеры местной организации партии Центра — юрист Гуго Меннинг, человек жесткий и неразборчивый в средствах (в этом отношении он напоминал Германа Каузена, о котором речь шла выше), и бывший типографский служащий Йоханнес Ринге, представлявший «производственное» крыло партии, — не особенно симпатизировали Аденауэру, он казался им неким аскетом, чиновником-сухарем, тем не менее они признавали за ним качества добросовестного администратора и были готовы до поры до времени терпеть его как компромиссную фигуру на местном политическом Олимпе.

Либералы не имели такой жесткой иерархической структуры в партийном руководстве, однако если говорить о неформальном лидерстве в этой группе политиков, представлявших крупную

буржуазию, в особенности же те ее слои, которые нажились на военных поставках, то эту роль, несомненно, играл банкир Луис Хаген. Отпрыск старинного еврейского семейства Леви (он изменил фамилию, женившись на дочери промышленника-католика; по этому случаю он сменил и вероисповедание), Хаген уже к началу войны был очень богатым человеком: он входил в советы директоров ряда компаний — общим числом тридцать девять (!), был президентом кёльнской Торговой палаты, признанным меценатом (от университета до зоопарка — все были облагодетельствованы его дарами). Приглашение в его дом считалось высшей честью для любого кёльнского политика. Формальный лидер местных либералов, Бернхард Фальк, был фактически его креатурой. Некоторую суверенную базу последнему обеспечивали руководящее положение в местной еврейской общине и тот факт, что его супруга имела аналогичный статус в системе женских организаций города.

В общем, можно сказать, что политику в Кёльне определяли пять человек: Меннинг, Ринге, Хаген и Фальк на авансцене плюс Зольман за кулисами. Примерно с февраля 1916 года в рамках этой неформальной группы начали обсуждаться сценарии предстоявшей в 1919 году избирательной кампании. Меннинг и Ринге категорически выступили против идеи переизбрания Вальрафа на новый срок (по общему мнению, он наверняка стал бы этого добиваться). Их аргументы были достаточно сильны и убедительны: Валь-раф не принадлежал к партии Центра, которая располагала большинством в городском собрании; ситуация, имевшая место в 1906 году и продиктовавшая его выдвижение как компромиссной фигуры, кардинально изменилась. Фактически это означало по крайней мере косвенную поддержку кандидатуры Аденауэра.

Неожиданный поворот внесла ситуация, создавшаяся в одном из крупнейших городов Рейнской провинции, бывшей резиденции Карла Великого — Аахене. Тамошний бургомистр, Филипп Фельтман, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Местная организация партии Центра обратилась к Аденауэру с предложением выставить свою кандидатуру на освободившееся место, причем исход голосования в его пользу стопроцентно гарантировался. Предложение было весьма лестным и заманчивым. Аахен был достаточно спокойным местом, Аденауэр становился там полновластным хозяином и мог спокойно выжидать вплоть до окончания срока пребывания Вальрафа на посту бургомистра Кёльна; помимо всего прочего, на протяжении этих трех лет он получал бы жалованье вдвое большее, чем на посту заместителя бургомистра, — сорок тысяч марок вместо

двадцати.

Вопреки всем этим, казалось бы, очевидным преимуществам Аденауэр отклонил предложение аахенцев. Почему? Вполне вероятно, что Меннинг и Фальк со товарищи намекали ему на то, что ему, возможно, не придется ждать трех лет, чтобы стать наконец и формально первым лицом в Кёльне. Доподлинно известно, что и сам Вальраф всячески убеждал Аденауэра не покидать Кёльна. Мотив был очевиден: без незаменимого заместителя действующий бургомистр просто не потянул бы. Однако об этом Вальраф, естественно, не говорил, приводя иные соображения: масштабы Аахена слишком ограниченны для Аденауэра, на кёльнских выборах 1919 года Аденауэр был бы единственной реальной кандидатурой (свою дальнейшую карьеру Вальраф рассчитывал продолжить в Берлине, о чем тогда действительно ходили слухи), тогда как отъезд Аденауэра в Аахен расчистит путь к посту бургомистра Кёльна для Вильгельма Фарвика, который, уйдя с политической сцены, не оставил надежд туда вернуться; кёльнской организации Центра в отсутствие Аденауэра просто не останется другого выхода, как выдвинуть кандидатуру Фарвика. Вместе с тем Вальраф не собирался высказать то, что больше всего хотел услышать от него Аденауэр, а именно обещания уйти и освободить место для своего заместителя еще до окончания официального срока, в 1917 или 1918 году.

Как зачастую бывает, вмешался случай. В начале мая Вальраф отправился на отдых в санаторий, расположенный в окрестностях Фрейбурга. Отдых завершился охотой, во время которой приклад ружья при отдаче сорвался с плеча и сильно повредил физиономию бургомистра. Несчастный случай отнюдь не улучшил его способность вести рациональный диалог. В письме Аденауэру он просто повторил свою старую аргументацию в духе того, что «аахенская атмосфера будет вряд ли подходящей для него и для Эммы» (при чем тут супруга Аденауэра, трудно сказать). Между тем уже наступил июль, и дольше тянуть с ответом было нельзя. Аденауэру пришлось отказаться от соблазнительного предложения, не получив достаточных гарантий насчет своих перспектив в Кёльне. Был только один плюс: пост бургомистра Аахена получил Фарвик, и, таким образом, возможный конкурент на предстоявших выборах в Кёльне вышел из игры.

Во всей этой истории есть еще один, прямо скажем, не особенно приятный привкус: достаточно мелкая политическая интрига развертывалась на фоне крупнейшей в истории человечества трагедии, однако ни в переписке кёльнских и

аахенских политиков, ни в газетных комментариях по поводу перипетий борьбы за кресла бургомистров в обоих городах мы не находим ни малейшего упоминания о кровавой жатве, которая в это время собирала свои жертвы всего в двухстах милях к западу. Как будто войны и не было!

Между тем как раз в феврале 1916 года, когда Аденауэр получил первое приглашение из Аахена, немецкая армия начала наступление под Верденом. Началась десятимесячная мясорубка самого кровавого в истории человечества сражения. Бессмысленность этой стихии взаимного уничтожения подчеркивается тем фактом, что успехи и неудачи измерялись несколькими метрами выжженной и изувеченной земли. Фактически к концу сражения обе противостоящие армии вернулись на свои исходные позиции: центральный пункт французской обороны форт Дуамон в марте 1916 года был взят немцами, а в октябре вновь отвоеван французами. К этому моменту на данном участке фронта солдаты уже не могли рыть траншеи: земля была сплошь покрыта трупами — в. несколько слоев.

Кёльн был одним из главных пунктов, куда свозили тех, кому посчастливилось выбраться из верденской мясорубки калеками, ранеными или контуженными. Госпитали были переполнены жертвами военного безумия — слепыми, обожженными. Нашлось ли у кёльнских нотаблей, целиком погруженных в планы будущей избирательной кампании, хотя бы несколько часов, чтобы посетить эти юдоли печали, утешить страждущих, поддержать дух врачей и сестер, навести порядок, разобраться со злоупотреблениями? Ни в их переписке, ни в воспоминаниях нет об этом ни слова. Может быть, такие посещения имели место, просто они не зафиксированы документально? Может быть, а может быть, и нет. Если так, то это поистине печальная глава в биографиях ведущих кёльнских политиков того времени, включая, разумеется, и биографию Аденауэра.

Для нашего героя было по крайней мере одно смягчающее обстоятельство: госпиталь был у него на дому. К началу 1916 года Эмма уже практически не вставала. Главе семьи пришлось взять на себя все обязанности но воспитанию детей (их, напомним, было трое) и но уходу за больной женой. Эмма отказалась от сиделки, и все ее обязанности перешли к Конраду, включая регулярные перевязки но нескольку раз в день (у Эммы на теле к тому времени открылись глубокие незаживающие язвы). Вечера заботливый супруг проводил у постели больной, нежно поглаживая ее руку, пока она не засыпала. По воскресеньям, если погода позволяла, он отправлялся с детьми на природу, в

Семигорье, рассказывая им всякие истории о своем детстве, о деревьях и цветах, которые им попадались но пути. Все было очень скромно, еду брали с собой, если и покупали что но дороге, то какую-нибудь мелочь. Это была разрядка и для детей, и для самого главы семьи. Его старший сын вспоминает, что отец был способен норой даже весело пошутить, не вставал в позу ментора и вообще вел себя с ними как со взрослыми.

Увы, это были не более чем просветы в мрачной атмосфере неуклонно приближавшейся развязки. В сентябре 1916 года состояние Эммы стало быстро ухудшаться: она буквально таяла на глазах. Она вообще уже не поднималась с постели, боли не отпускали ее ни на минуту. Именно в этот момент Аденауэр был срочно вызван на какое-то совещание в Берлин. В его отсутствие произошла беда: семья отравилась грибами. У детей все ограничилось обычными в таких случаях расстройствами, но для ослабленного организма Эммы удар оказался роковым: у нее окончательно отказали почки. Она скончалась 16 октября 1916 года в возрасте тридцати шести лет.

Смерть жены сильно подействовала на Аденауэра. Он долго сидел у тела усопшей, машинально перебирая розы, покрывавшие одеяло, под которым лежала покойница. На панихиде и на похоронах он ни на минуту не отходил от гроба; по его настоянию обычный годичный траур был продлен еще на шесть недель. Воскресные вылазки на Семигорье прекратились, вместо этого Конрад проводил время в душеспасительных беседах с братом Гансом (он, напомним, был священником). Все домашние дела легли на плечи престарелой матери. Она, очевидно, пыталась делать все, что могла, но возраст брал свое. В доме происходили постоянные стычки со слугами, которых Елена обвиняла в воровстве. Поистине «жизнь превратилась в ад», как позднее отзывался об этом времени сам Аденауэр.

Зима 1916–1917 годов вообще была тяжелой. Верденская мясорубка к тому времени прекратилась, зато развернулась битва на Сомме, и поток раненых вновь захлестнул Кёльн. Работы и забот Аденауэру прибавилось. Старший сын Конрад вспоминает, что отец тогда несколько раз ходил с ним кататься на санках в Семигорье, но прежнего веселья уже не было. На фотографии, сделанной в этот период, Аденауэр выглядит неважно: глаза глубоко запали, на лице печать какой-то с трудом сдерживаемой ярости. Он сильно похудел, волосы заметно поредели.

Беда никогда не приходит одна. В один из мартовских дней 1917 года глава семейства в положенное время не явился к обеду. Через два часа — звонок из госпиталя Святой Троицы: заместитель бургомистра попал в автомобильную аварию и в

данный момент находится на операционном столе; обстоятельства аварии неизвестны, о состоянии пострадавшего им сообщат. Можно себе представить, какое впечатление эта новость произвела на домочадцев. Бабушка принялась обзванивать всех: полицию, врачей, предполагаемых свидетелей… Постепенно картина выяснилась: водитель Аденауэра, но всей вероятности, заснул за рулем, и машина врезалась в проходящий трамвай. Шофер практически не пострадал, зато пассажиру не повезло: выброшенный силой инерции с заднего сиденья, он пробил лицом стеклянную перегородку, отделявшую его от водителя, нос и лицевые кости оказались переломанными, нижняя челюсть выбитой, осколками стекла были повреждены оба глаза.

На месте происшествия мать и сын Аденауэра не обнаружили разбитой машины: вызванная пожарная бригада ее уже успела убрать. Остались только лужа крови и осколки стекла. Хозяин ближайшей лавки, все еще не пришедший в себя от случившегося, кое как сумел рассказать им о том, чему был свидетелем: «Страшный удар, как будто снаряд разорвался. Машина — всмятку. Я думал, даже мышь не выберется. Вдруг — человек вылезает, выпрямился и пошел, пошел, как кукла заводная какая-то. Кровь из него хлещет. Ба, да это же наш заместитель бургомистра, Аденауэр! А водитель, целехонький, тот сразу на носилки улегся».

Действительно, Аденауэр пришел в госпиталь сам. Врачу, чтобы остановить кровотечение, пришлось сшивать края ран, не тратя время на анестезию. Пациент выдержал все стоически, и только когда первичная обработка ран закончилась, он потерял сознание.

Спустя три дня матери и сыну Аденауэра разрешили посетить пациента. «Когда мы его увидели, — вспоминает сын, — первым побуждением было повернуться и бежать прочь. С подушки на нас смотрел человек, мало того, что жутко изуродованный, — это было лицо незнакомца». В самом деле травма и последующие пластические операции изменили физиономию Аденауэра до неузнаваемости. От рождения высокие скулы стали еще выше, глазные впадины — уже, губы — тоньше, подбородок — острее. Вдобавок все было в шрамах, синяках и опухолях. Вообще говоря, хирурги сделали все возможное, но прежнего облика жертве аварии они вернуть не могли.

Первую неделю в госпитале Аденауэр провел, по его собственным словам, «на грани жизни и смерти». Наверное, здесь налицо некоторое преувеличение, но он действительно часто терял от боли сознание и к тому же первое время плохо видел. С

другой стороны, он же впоследствии характеризовал это время, как дни, «полные духовного покоя и умиротворенности — нечто, чего я не испытывал с лета 1913 года, с момента, когда понял, что моя жена серьезно больна». Очевидно, он хотел этим сказать, что смерть представлялась ему тогда желанным избавлением от скорбных мыслей об Эмме, предвестником новой встречи с ней на том свете.

Странным образом мысли об уходе в потусторонний мир посетили Аденауэра — если верить его воспоминаниям — как раз в тот момент, когда сбылось то, о чем он, как и его покойный отец, мечтал на этой грешной земле: сын простого канцеляриста стал-таки бургомистром Кёльна. События развивались следующим образом: после нескольких недель, проведенных в госпитале, Аденауэр отправился долечивать свои раны в Шварцвальд, в санаторий Сент-Блазин. И тут в начале августа действующий бургомистр получил долгожданное приглашение в Берлин, ему был предложен пост статс-секретаря в Министерстве внутренних дел. Вальраф не раздумывая дал свое согласие. Дальше все пошло с молниеносной скоростью: 8 августа появилось официальное сообщение о переходе Вальрафа на новое место, на следующий день в ратуше был дан прощальный банкет, и город остался без бургомистра.

Упомянутая пятерка ведущих кёльнских политиков принялась за работу. Аденауэр был естественной кандидатурой, однако встал вопрос о последствиях его травмы: имелись сомнения насчет того, как у него теперь с головой. Для выяснения истины в санаторий отправилась делегация в составе двух руководителей кёльнской организации партии Центра. Это были все те же Меннинг и Ринге. Вначале они встретились с лечащим врачом, который дал позитивную оценку состояния умственных способностей пациента. Затем состоялась беседа с ним самим. Аденауэр уже знал о том, что произошло в его отсутствие в Кёльне. Хаген написал ему подробное письмо о возникшей дилемме. Он догадывался также и о характере визита; после двухчасового обмена мнениями по вопросам погоды, хода военных действий, положения с городскими финансами Аденауэр решил поставить все точки над i. «Господа, — заявил он без обиняков, — вид у меня, конечно, как у ненормального, но это только внешне». Все засмеялись — визитеры, по-видимому, слегка смущенно. Выдвижение кандидатуры Аденауэра от фракции Центра было предрешено.

Оставалось обработать фракцию национал-либералов. Она была в меньшинстве и не могла в принципе заблокировать избрание Аденауэра, однако повторение ситуации 1909 года,

когда пост первого заместителя бургомистра достался ему исключительно благодаря голосам Центра, было нежелательным. Лидера либеральной фракции Фалька убеждать было не нужно, он и без того отзывался об Аденауэре достаточно позитивно, отмечая его «терпимость к инакомыслящим, открытость и прогрессивные взгляды». Однако были во фракции и сомневающиеся, которые считали недостатком кандидата его партийную ангажированность. Здесь за дело взялся Луис Хаген; используя свои связи в мире финансовой аристократии, напоминая об оказанных в прошлом одолжениях и раздавая обещания на будущее, он сумел переубедить потенциальных диссидентов и обеспечить Аденауэру поддержку подавляющего большинства городских советников.

Оставался открытым вопрос жалованья новому бургомистру. Аденауэра не удовлетворяла сумма в двадцать пять тысяч марок, которую получал его предшественник. С учетом инфляции городское собрание готово было увеличить оклад до сорока тысяч; это была максимальная ставка для данной должности, во всей империи ее имел только обер-бургомистр Берлина, но ведь то была столица. Аденауэр требовал еще: столько предлагали ему аахенцы, но это было год назад, притом обязанности и ответственность там были несравненно меньшими. Между Кёльном и Сент-Блазином завязалась оживленная переписка но этому вопросу. В конце концов сошлись на том, что Аденауэр будет получать основной оклад в сорок две тысячи марок с надбавкой в десять тысяч марок от компании «Рейнише Браунколен АГ» (ставка члена совета директоров). Это был щедрый подарок новому бургомистру.

18 сентября 1917 года состоялись выборы. Аденауэр получил пятьдесят два голоса из пятидесяти четырех при двух воздержавшихся. В этот же день окружной президент привел его к присяге. Торжественная церемония проходила в Ганзейском зале ратуши. Были речи — многословные и выспренние. Меннинг, выступая от фракции Центра, напомнил, что Кёльн послал сто тысяч своих сыновей сражаться за дело фатерланда (о том, сколько раненых и изувеченных лежит в кёльнских госпиталях, он предпочел умолчать). Фальк, представлявший не только фракцию национал-либералов, но и еврейскую общину города, заявил, что, если бы ему предложили выбор — жить, потеряв родину, или умереть немцем, он предпочел бы последнее (в свете последующей судьбы немецких евреев эта тирада приобретает несколько странное звучание). Сам президент в своем приветствии сделал упор на светлом будущем, которое ожидает Германию после окончания войны.

Речь, с которой выступил новоиспеченный бургомистр, не выбивалась из общего фона. Он подчеркнул неразрывную связь судеб города с судьбой империи, высказал несколько высокопарных фраз о ее величии, плавно перейдя затем к теме трудового энтузиазма и организации производства (прямо почти буквально по Хильти, хотя, разумеется, без упоминания источника). Когда же он в заключение заговорил о соотечественниках, сражающихся на фронте, патетика достигла максимума: «Мы, рейнландцы, особенно высоко ценим их ратный подвиг: ведь именно наша провинция и наш город являются первым и главным объектом захватнических помыслов наших врагов. Нет лучшего способа отметить сегодняшнее событие, чем вновь и вновь повторить нашу клятву верности нашему кайзеру и нашей империи!» Как обычно в таких случаях пишется в газетных отчетах: «Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают». Это было уже не поведение ответственного государственного служащего, а скорее азартного политикана.

ГЛАВА 6.
КРАХ ИМПЕРИИ

«Ваше превосходительство, мне не о чем больше с вами говорить»[9]

К концу 1917 года наш герой имел все основания быть довольным собой. В сорок один год он стал первым лицом в одном из крупнейших городских центров Германии, и притом самым молодым бургомистром во всем прусском королевстве. По должности он становился также депутатом законодательного собрания Рейнской провинции и членом высшей палаты прусского ландтага. Отныне он мог на равных общаться с крупнейшими политиками, промышленниками, торговцами и банкирами. Он почти оправился от последствий автомобильной аварии, оставались только шрамы на лице (чтобы скрыть их, он вновь отпустил усы), были некоторые проблемы со зрением, и сотрясение мозга давало о себе знать периодическими головными болями. Но в целом он стал выглядеть даже более импозантно, чем раньше, — высокая, стройная фигура в темном (траур еще продолжался), каждому видно было, что это человек, привыкший отдавать приказы и требовать их неукоснительного исполнения.

А счастья, счастья-то и не было… Напротив, судя по дневниковым записям конца 1917 года, Аденауэр чувствовал себя глубоко несчастным, можно даже сказать, был на грани отчаяния. «Этот год, — пишет он, и мы почти явственно слышим сдерживаемый стон, — был для меня тяжелым, очень тяжелым, годом физических и душевных мук. Боль, страдания, мысли о моей любимой жене… Работа была наркотиком, чтобы отвлечься от всего этого… Мне, наверное, завидуют, но ведь мне так плохо, так все беспросветно!»

Нет оснований сомневаться в искренности этих строк. Телесные раны быстро затянулись, но душевные рубцы от утраты любимого человека остались на всю жизнь.

Что в это время происходило за пределами личного мира нового бургомистра? Урожай в 1917 году выдался хороший, и это, казалось, должно было уменьшить продовольственные трудности, которые испытывало население Кёльна. Однако, с другой стороны, если в первые годы войны люди еще могли использовать кое-что из припасов, накопленных в мирное время, теперь они уже были полностью израсходованы, и все, что появлялось на рынке, мгновенно расхватывали. Ситуация обострилась, когда в

декабре — январе ударили сильные морозы. «И как это мы умудряемся выжить?» — вопрошала «Кёльнише фольксцейтунг» в одном из ноябрьских номеров. Вопрос был чисто риторический. Каждый выживал как мог. Аденауэр формализовал этот принцип, распорядившись передать систему снабжения в руки квартальных и домовых общин; городские власти, таким образом, умыли руки. Теперь никто не мог жаловаться на то, что бездушные бюрократы морят народ голодом; однако такая децентрализация и дерегуляция была на пользу более обеспеченным слоям населения, имевшим доступ к черному рынку, выиграли также всякого рода спекулянты. Данные в свое время Зольману и профсоюзам обещания проявить особую заботу о городской бедноте были забыты.

Несколько более благоприятно для Германии складывалась ситуация на фронтах войны. Французское наступление весной 1917 года, спланированное генералом Нивеллем, кончилось позорным провалом, во французской армии начались мятежи. Английский экспедиционный корпус безнадежно завяз в болотах Пашендейла в южной Бельгии. Итальянская армия потерпела катастрофическое поражение под Каноретто. Бывший министр иностранных дел Великобритании, маркиз Лэнсдаун, открыто призвал правительство искать пути к началу мирных переговоров. А в далекой России власть захватили большевики, которые, не ограничиваясь призывами к миру, предприняли радикальные меры к выходу из войны.

Как сам Аденауэр оценивал в то время перспективы войны и мира? В общем и целом можно сказать, что его взгляды были весьма противоречивы, неустойчивы, в разные периоды и разным людям он высказывал разные мнения, порой прямо противоположные. Судя но его собственным воспоминаниям, еще в январе 1918 года в разговоре со своим предшественником, Максом Вальрафом, он высказал мысль, что «война проиграна и монархия тоже долго не протянет». Однако к тому же времени относится его публичное заявление, согласно которому «для нас сейчас создалась самая благоприятная с начала войны ситуация, которая открывает благоприятную перспективу заключения хорошего, почетного мира».

Действительно, в то время у него имелись основания для оптимистических прогнозов. Все ждали весеннего наступления германской армии на Западном фронте. Его успех казался предопределенным. Во главе германского верховного командования стояли опытные военачальники — фельдмаршал Гинденбург и генерал Людендорф, которые в 1914 году одержали блестящую победу над русскими войсками, вторгшимися в

Восточную Пруссию. Выход России из войны высвободил значительные силы немецкой армии, ранее задействованные на Восточном фронте. Все зависело от того, успеют ли Гинденбург и Людендорф нанести решающее поражение англо-французским войскам до того, как на Европейский континент начнут прибывать части американского экспедиционного корпуса (США объявили войну Германии еще в апреле 1917 года, но для создания боеспособной армии амери-канцам требовалось время).

Все, включая Аденауэра, понимали, что речь идет о последней попытке закончить войну на условиях, благоприятных для Германии. Понимали и другое: альтернативой может стать повторение того, что произошло в России, — нечто беспрецедентное и ужасное (напрашивающаяся аналогия с Великой французской революцией немецкого обывателя могла лишь еще больше напугать). Не очень утешало и то соображение, что ничего подобного не может случиться с такой дисциплинированной нацией, как немецкая. Аденауэр в своей позднейшей авторизованной биографии привел ядовитое замечание одного русского автора по поводу того, что, «если немецкие революционеры захотят захватить вокзал, они сначала встанут в очередь за перонными билетами», но вряд ли он знал об этом высказывании в далеком 1918 году, а если бы и знал, то вряд ли тогда с ним согласился. Он был в достаточной степени реалистом, чтобы сделать иной вывод: голод, антивоенные настроения, классовая ненависть, рост самосознания женщин, в массовом порядке вовлекаемых в производственный процесс на заводах и фабриках, — все эти факторы, которые породили насильственную революцию в России, присутствуют и в его родном Кёльне.

Для Аденауэра такого рода ход событий был кошмаром не в последнюю очередь потому, что он обернулся бы новыми испытаниями для католической церкви: радикалы-атеисты, конечно, не стали бы с ней считаться. Он понимал, что нужно сделать все, чтобы этого не допустить. Но как? Простая консервация статус-кво не решала проблемы. К тому же статус-кво и не могло быть сохранено. Сам Аденауэр в выступлении перед пленумом городского собрания 6 марта 1918 года признал, что «после войны все будет по-иному, чем до нее. Война приведет к полной и необратимой трансформации не только отношений между отдельными государствами, но и политических, экономических и социальных реалий внутри каждого из них». Единственно, на что он надеялся, — это что процесс изменений можно направить по пути эволюции, а не революции. В практическом плане это выразилось в выдвинутой им идее

создания института социальных исследований, в задачу которого входила бы разработка конкретных рекомендаций для политиков. Идея была не слишком оригинальная, и к тому же технократическая. Здесь в Аденауэре еще говорил государственный чиновник; для политика не подлежало сомнению, что такого рода методы социальной инженерии неспособны удержать под контролем ни теми, ни даже направление развития исторического процесса.

Спасение пришло от лидеров германской социал-демократии. Они были далеки от того, чтобы планировать в Германии переворот тина того, что большевики осуществили в России. Была ли эта позиция правильной? Вероятно, да. Впрочем, иной она и не могла быть: у тогдашней социал-демократической верхушки не было того внутреннего стержня, который был определяющей чертой характера таких личностей, как Ленин или Троцкий. Достаточно сказать, что руководство СДПГ так и не решилось занять четкую антивоенную позицию, а напротив, фактически безоговорочно поддерживало официальный лозунг о «защите отечества». При всем при том было отнюдь не очевидно, что рядовые социал-демократы будут послушно следовать за своими лидерами. Дело было даже не в антивоенных настроениях и голодных бунтах в тылу. Российский опыт однозначно свидетельствовал о том, что революции начинаются тогда, когда война становится чреватой поражением и когда это начинают осознавать в действующей армии, причем раньше всего революционное брожение захватывает флот. Что будет, если весеннее наступление германской армии захлебнется?

Аденауэр наверняка обсуждал этот и связанные с ним вопросы как с лидерами местных социал-демократов (известный нам Зольман на том же мартовском заседании городского собрания даже похвалил бургомистра за интерес к проблеме влияния войны на общество), так и с представителями большого бизнеса. Это был прежде всего все тот же Луис Хаген, который, оставаясь в национал-либеральной партии, все больше сближался с Центром, появились и новые партнеры по диалогу: магнаты тяжелой промышленности Рура Август Тиссен, Гуго Стиннес, Альберт Феглер. Однако, пожалуй, самые доверительные беседы Аденауэр в то время вел с двумя деятелями, которые, с точки зрения кёльнской элиты, были аутсайдерами; один был берлинцем, другой — вообще брюссельцем (хотя и соотечественником но паспорту).

Берлинца (впрочем, родился он тоже в Кёльне) звали Йохан Хамшпон. Они познакомились друг с другом в 1907 году. Тогда Аденауэр был, как мы помним, помощником бургомистра,

начальником налогового департамента, а Хамшпон возглавлял местную электрическую компанию «Унион электрицитетсгезелльшафт» (УЭГ), являвшуюся филиалом известного концерна АЭГ (но должности Хамшпон входил и в совет директоров АЭГ). Оба были чем-то вроде восходящих звезд в своей области. Между ними завязались тесные деловые и личные связи, не прервавшиеся и после того, как удачливый бизнесмен перешел на работу в центральный офис компании. Во всяком случае, каждый раз, когда Аденауэр приезжал в Берлин, он непременно навещал Хамшпона и даже останавливался на его вилле в престижном пригороде Ваннзее. В отличие от Аденауэра Хамшпон имел широкие международные связи и охотно выступал своего рода консультантом кёльнского бургомистра но вопросам европейской и мировой политики. Неудивительно, что примерно с 1917 года — именно с того момента, когда у Аденауэра проснулся интерес к проблемам послевоенного будущего, — контакты между ним и его берлинским приятелем активизировались: личные встречи, переписка.

С помощью Хамшпона Аденауэр завязал полезные знакомства в еврейской общине Кёльна; через него он вышел и на Дании Хейнемана, который стал тем вторым доверенным лицом, с которым у нашего героя установились прочные и длительные отношения, вылившиеся со временем в настоящую зрелую мужскую дружбу. Хейнеман был немного старше Аденауэра, он родился в 1872 году в городке Шарлотт, штат Северная Каролина, США. Его прадед по отцовской линии был одним из представителей той многочисленной еврейской диаспоры, которая хлынула в Новый Свет с началом промышленной революции в Европе. Семья сохранила строгую приверженность канонам иудаизма; сыновья должны были жениться не просто на еврейках, а на чистокровных еврейках, каковые, как считалось, могли найтись исключительно в Германии; соответственно, невеста для будущего отца Дании была специально подобрана в еврейской общине Бремена и, так сказать, наложенным платежом доставлена жениху за океан. Первые семь лет детства Дании провел в идиллической атмосфере американской провинции, однако отец скоропостижно скончался, и мать с двумя сыновьями решила вернуться на родину.

Пройдя курс обучения в Брауншвейге и Ганновере и получив диплом инженера-электрика, Хейнеман нашел работу в кёльнской УЭГ. Его начальник — а им был как раз упомянутый Хамшпон — обратил внимание на способного и старательного сотрудника. Последовали длительные командировки, в том числе и зарубежные: Хейнеман руководил работами но переоборудованию

конки на трамвай в таких городах, как Льеж и Неаполь (из германских городов можно упомянуть Кобленц). Везде и все он выполнял с блеском. В 1905 году он уходит из УЭГ и становится одним из трех первых служащих — совладельцев небольшой инвестиционной компании в Брюсселе, которую, не мудрствуя лукаво, они назвали просто «Международным финансовым обществом» (Сосьете энтернасиональ э финансьер — СОФИНА). Компания неизменно процветает, несмотря на все повороты международной жизни: когда в 1955 году Хейнеман покидает ее но достижении предельного возраста, штат насчитывает сорок тысяч человек. Это уже мощный промышленный концерн.

Хейнеман и Аденауэр быстро поладили, хотя бизнесмен отнюдь не был легким человеком в общении. Небольшого роста, кругленький, лысоватый субъект, он не скрывал своей глубочайшей антипатии к двум социальным группам — банкирам и политикам. Для Аденауэра он сделал явное исключение; того, в свою очередь, в Хейнемане привлек острый аналитический ум, отточенный в той космополитической среде, где вращался молодой бизнесмен и которую наш герой совершенно не знал. Современники отмечали в Хейнемане также «разносторонность интересов, социальную ответственность и страсть к искусству». Насколько важны были для Аденауэра именно эти последние качества, трудно сказать. Как бы то ни было, взаимная симпатия между этими двумя очень разными людьми оказалась настолько сильна, что пережила долгие годы тяжелых испытаний и неожиданных поворотов судьбы. Именно Хейнеман пришел на помощь будущему канцлеру в самый тяжелый момент его жизни. К этому мы еще вернемся.

После оккупации Бельгии немецкой армией Хейнеман оказался в сложном положении: бельгийские коллеги вполне могли рассматривать его как вражеского агента, немецкие власти — как предателя, служащего интересам врага. Коммерсант проявил гибкость, сохраняя определенную дистанцию по отношению к оккупационной администрации и в то же время не давая никаких поводов для обвинений в нелояльности империи. Вместе с Аденауэром они начали обдумывать планы превращения Кёльна в некий центр притяжения для исторически родственных народов Бельгии и Голландии. При этом особый упор делался на общности религии. Кёльн, как считал Аденауэр, мог бы стать инициатором процесса «послевоенного возрождения культурных и экономических связей с соседними странами». Представления эти были абсолютно нереалистичными. В Бельгии в то время к немцам не испытывали ничего, кроме жгучей ненависти. Бельгийцы, равно как и французы, думали тогда вовсе не о

развитии культурных и экономических связей с немцами, будь то даже соседи-единоверцы из Рейнланда, а о репарациях и изменении границ в свою пользу. Аденауэр мог заблуждаться но неведению, но как таким иллюзиям мог предаваться Хейнеман, который непосредственно общался с бельгийцами и знал их настроения, — это загадка.

Между тем Кёльн, которому его молодой бургомистр отводил столь значительную роль в послевоенном европейском устройстве, в реальной обстановке последнего года войны быстро катился к упадку. Росла преступность — воровство и фабежи стали обычным явлением не только на улицах и в продуктовых лавках, но и на промышленных предприятиях. В округе весной 1918 года насчитывалось около двадцати тысяч дезертиров, многие из них были вооружены. Всерьез рассматривался вопрос о создании отрядов гражданской самообороны — не против каких-нибудь вражеских лазутчиков, а против своих собственных солдат.

21 марта началось долгожданное генеральное наступление на Западном фронте. Удар был нанесен по британским позициям между городами Сан-Квентин и Аррас в северной Франции. Поначалу немецкой пехоте, поддержанной мощным артиллерийским шквалом, удалось потеснить 3-ю и 5-ю британские армии, причем отступление последней приняло даже характер бегства. Немецкие войска вышли к верховьям Соммы, вбив клин на стыке французского и британского секторов. Дорога на Париж, казалось, была открыта. Однако развить успех Людендорфу не удалось: резервы были исчерпаны, а противник во все больших масштабах ста;: получать подкрепления в виде передовых частей американского экспедиционного корпуса, постепенно осваивающихся с условиями современной войны.

К середине апреля Людендорф понял, что прямой бросок на Париж невозможен. Его дальнейшие действия приняли характер лихорадочных метаний, за которыми трудно было обнаружить какой-либо продуманный план. Вначале направление главного удара было перенесено на бельгийский участок фронта, однако англичанам удалось удержать свои позиции на Ипре; затем последовали атаки на французские позиции между Суассоном и Реймсом. В первые дни июня немецкие войска форсировали Марну, оказавшись поблизости от тех мест, где в сентябре 1914 года разыгралось первое крупное сражение войны. Все как бы вернулось на круги своя.

В Кёльне, как и повсюду в Германии, за военными событиями на Западном фронте следили со смешанными чувствами надежды и страха — в зависимости от того, какие слухи превалировали.

Огромный ноток раненых, вновь обрушившийся на кёльнские госпитали, подсказывал худшее; сами раненые не считали нужным держать при себе то, что официально считалось военной тайной, а именно тот факт, что наступление явно захлебнулось. Все это сказалось на массовых настроениях. Никто уже не верил в победу. Более того, все большее распространение стала получать точка зрения, что Германия сама виновата в возникновении военного пожара. Простые немцы постепенно начали задумываться над тем, что уже давно было ясно каждому непредвзятому наблюдателю: война возникла не из-за того, что французы, бельгийцы или англичане вторглись в Германию, а, напротив, из-за немецкого вторжения в Бельгию и затем во Францию; не немецкие города и села превращаются в щебень и пепелища, а французские и бельгийские.

8 августа началось контрнаступление британской и французской армий на участке к востоку от Амьена. Бои шли с массированным применением нового рода вооружений — танков. К началу сентября немецкая армия отступала по всему фронту: британские войска продвигались на Сомме, французские — в Шампани, приближаясь к Арденнам, американские — в секторе Мез-Аргонь. В портах западного побережья Франции непрерывно шла разгрузка транспортов, доставлявших подкрепление из Америки. К концу сентября даже Людендорф понял, что развязка неминуема. Он сообщил Гинденбургу, что шансов на победу больше нет и надо добиваться перемирия. Гинденбург обратился в Берлин с настоятельной рекомендацией кайзеру начать мирные переговоры, иначе поражение не за горами.

Панические настроения в верхах скоро стали достоянием общественности. Неожиданный переход в пропаганде от бравурной риторики к жалобным причитаниям окончательно подорвал остатки доверия к правительству. Старый кабинет был отправлен в отставку. Это тоже была идея Людендорфа: он рассчитывал на то, что новому правительству, сформированному на основе широкого блока представленных в рейхстаге партий, удастся добиться более выгодных условий перемирия. Правительство, которое возглавил принц Макс Баденский, пользовавшийся репутацией либерала, провело ряд законов, принятия которых давно требовали социал-демократы, прогрессисты и депутаты Центра. Была отменена трехклассная избирательная система в Пруссии (и таким образом реализовано то, что Аденауэр в свое время обещал Зольману), кабинет отныне был ответственен перед рейхстагом, и, наконец, было принято постановление, согласно которому любые распоряжения кайзера, касающиеся вооруженных сил, подлежали обязательному

визированию со стороны гражданского министра; без такой визы они были недействительны.

Октябрьские реформы Макса Баденского, возможно, смогли бы удержать ситуацию под контролем, если бы не идиотские фантазии кайзера, который возомнил себя спасителем нации и, продолжая цепляться за свой уже закачавшийся трон, решил сам взять в руки командование вооруженными силами.

В начале ноября 1918 года германский флот, большая часть которого уже более года находилась на стоянке в кильской гавани, получил приказ главы адмиралтейства, адмирала фон Шпее, поднять пары, выйти в море и дать бой в открытом море превосходящим силам английских линейных кораблей. Для немецких моряков выполнение этого безумного приказа означало верную гибель. Погибать они не хотели и исполнять приказ отказались. Начальство сделало то, что обычно делается в подобных случаях: арестовало зачинщиков. Это еще более подогрело матросов: они создали свой Совет, потребовав не только освобождения арестованных товарищей, но и немедленного заключения перемирия и, более того, отречения кайзера.

Мятеж перерос в восстание. Макс Баденский в панике обратился к одному из лидеров социал-демократов, Густаву Носке, умоляя его срочно выехать в Киль и попробовать уговорить матросов успокоиться. Носке согласился, но, приехав в Киль, сам стал во главе матросского Совета, объявив о готовности вести переговоры с властями уже в качестве представителя нового легитимного органа общественного самоуправления. Примерно по такому же сценарию развивались события и в других местах: матросский Совет установил контроль над другой крупнейшей военно-морской базой Германии — Вильгельмсхафеном; в Гамбурге матросы и рабочие устроили шествие к ратуше и потребовали передать созданному ими Совету функции распределения продовольствия; в Ганновере произошло самое настоящее восстание, в ходе которого комендант местного гарнизона был арестован и помещен в тюрьму; бурные события развернулись в Мюнхене. Дело не ограничивалось отдельными изолированными выступлениями: повстанцы стремились расширить свою базу. Группа революционных матросов из Киля прибыла в Брауншвейг и арестовала тамошнего начальника полиции. Оттуда до Кёльна было рукой подать.

Город, где правил в это время наш герой, жил своими заботами. Во второй половине октября там разразилась эпидемия гриппа, которая за неделю унесла жизни более чем трех сотен жителей. 45-тысячный гарнизон был в состоянии брожения; его

комендант, генерал-лейтенант фон Круге, был в растерянности и явно не знал, что предпринять. Единственная надежда была на социал-демократов, на Зольмана — только он мог удержать рабочих под контролем. Зольман не подвел. Заводы и фабрики продолжали работать как обычно.

Но оставалась опасность извне. 6 ноября Аденауэр получил неприятное известие: к Кёльну двигается эшелон с матросами из Киля. Бургомистр бросился в штаб гарнизона: пусть комендант вышлет навстречу солдат, пусть они остановят поезд. Комендант звонит президенту железнодорожной компании, тот отвечает, что нет ни паровоза, ни машинистов, — явно никто не хочет брать на себя ответственности. Вдобавок бургомистр и комендант получают еще одну «приятную» информацию: поезд из Киля уже на подходе и прибудет на главный вокзал точно по расписанию.

«Что же вы собираетесь предпринять, ваше превосходительство?» — нервно осведомляется бургомистр. «Добавлю патрулей на вокзале и прикажу не выпускать в город никого с красным бантом в петлице», — следует ответ. «И это все?» «Это все, что я могу сделать при сложившихся обстоятельствах», — почти со слезой в голосе отвечает комендант. «Ваше превосходительство, мне не о чем больше с вами говорить». — Побледнев от ярости, Аденауэр поворачивается и уходит.

Через несколько часов центральная часть Кёльна — уже в руках прибывших кильских матросов: чтобы не спорить с патрулями, они просто при выходе с вокзала на время поснимали свои красные банты. Началось братание с солдатами гарнизона. Не прошло и суток, как на площади перед собором при большом стечении народа было торжественно объявлено о том, что монархия свергнута и отныне в стране устанавливается республиканская форма правления. Кёльн даже опередил столицу: в Берлине решающие события — отречение кайзера, отставка Макса Баденского, переход власти к Совету народных уполномоченных и провозглашение республики — пришлись на 9 ноября.

Что происходило в это время на международной арене? Германское правительство решило добиваться перемирия не через нейтральных посредников типа Швейцарии, что было бы самым логичным шагом, а путем завязывания тайных контактов с той державой противостоящего блока, которая, как представлялось, более склонна к компромиссу. Именно в этом духе были истолкованы известные «14 пунктов», которые президент США Вудро Вильсон обнародовал еще в январе 1918 года. Соответственно 4 октября 1918 года в Вашингтон из

Берлина была послана депеша с выражением готовности начать переговоры о мире на основе «14 пунктов». Американцы не спешили информировать о полученном предложении своих союзников. Трудно сказать, во что все это вылилось бы, если бы французским криптографам не улыбнулась удача: они расшифровали телеграмму и поделились информацией с англичанами.

Результат был предсказуем: недоверие к лояльности заокеанского союзника и страх перед «большевистской угрозой» в побежденной Германии (упомянутые события начала ноября в Киле, Вильгельмсхафене, Мюнхене, а затем практически и во всех крупных центрах империи только укрепили этот страх) побудили британского премьера согласиться с доводами своего французского коллеги Жоржа Клемансо и союзного главнокомандующего маршала Фердинанда Фоша относительно необходимости «временной» оккупации хотя бы части германской территории, а именно Рейнской области.

Ранее британская сторона упорно противилась такому решению на вполне разумных основаниях: содержание крупного воинского контингента после окончания военных действий не соответствовало массовым настроениям англичан; британская армия тогда не была наемной, и все, что хотели солдаты и их родственники в Англии, — это скорейшей демобилизации. Помимо того, как аргументировал командующий британским экспедиционным корпусом генерал Дуглас Хейг, уход немецкой армии за Рейн лишь- усилит ее оборонительный потенциал; растянуть ее боевые порядки вдоль границы 1870 года было бы, с его точки зрения, оптимальным решением, ибо такую завесу союзникам было бы легче прорвать. Можно, конечно, упрекнуть Хейга в чрезмерном увлечении гипотетическими сценариями: в реальной обстановке 1918 года немецкая армия не могла бы противостоять союзникам ни при каком раскладе, но он был, безусловно, прав, когда назвал доводы Клемансо и Фоша в пользу оккупации левого берега Рейна чистой политикой (имея в виду скорее простое политиканство).

Дело в том, что французы, особенно Фош (впрочем, с молчаливой поддержкой Клемансо), уже тогда преследовали цель отторжения Рейнской области от Германии и превращения ее в формально независимое, но ориентирующееся на Францию государство. Единства в определении военных целей между союзниками не было. Для англичан самым важным была нейтрализация, а лучше всего просто ликвидация германского военно-морского флота; американцы выступали за общую демократизацию и возвращение к границам 1870 года на западе и

к границам 1914 года на востоке (последнее было явным нонсенсом ввиду создания ряда новых независимых государств в регионе Восточной и Центральной Европы). После ряда острых дискуссий между тремя основными союзниками к 4 ноября была выработана общая платформа: условия перемирия, которые должны были быть предъявлены немецкой стороне, включали в себя немедленную передачу французам Эльзас-Лотарингии, союзническую оккупацию всей территории, расположенной к западу от Рейна, создание демилитаризованной зоны на правом берегу; у городов Майнц, Маннгейм и Кёльн оккупанты получали право разместить свои войска в эксклавах и по другую сторону Рейна. В общем и целом победила французская точка зрения.

И все-таки Фош допустил одну тактическую ошибку: первоначально он настаивал на том, чтобы оккупация осуществлялась объединенными контингентами союзнических войск; однако, когда Хейг категорически воспротивился принципу создания смешанного командования, французский главнокомандующий счел за благо уступить. Для каждой армии были выделены свои сектора. Кёльн с прилегающим районом достался англичанам, и это решение имело далеко идущие последствия для судьбы Рейнланда и не в последнюю очередь для судьбы и карьеры нашего героя.

7 ноября 1918 года условия перемирия были доведены до сведения германского правительства. Его дни, однако, были уже сочтены. В тот же самый день, 7 ноября, под руководством молодого журналиста-радикала Курта Эйснера развернулись революционные события в Мюнхене; Бавария фактически порвала с имперским центром. 9 ноября подало в отставку и центральное правительство Макса Баденского; уходящий канцлер передал свои полномочия лидеру социал-демократов Фридриху Эберту; предусматривалось, что в ближайшее время состоятся выборы в Учредительное собрание, которое должно будет выработать новую конституцию. Вечером того же. дня Вильгельм II, смирившись с неизбежным, пересек германо-голландскую границу, превратившись из императора в политического эмигранта. Кайзеровский рейх рухнул еще до того, как *был* подписан акт о капитуляции Германии. На рассвете 11 ноября военные действия на Западном фронте прекратились.

Окончание долгой и изнурительной войны было встречено общим ликованием; однако если говорить о политиках, то вряд ли можно назвать хоть одного, кто был бы полностью удовлетворен ее исходом. Пожалуй, наиболее довольны были французы, но их никак не радовало то обстоятельство, что Кёльн оказался в руках англичан. Американцы думали только о том,

чтобы «вернуть наших ребят домой», и поскорее. Мысль об участии в европейских делах, тем более если ради этого пришлось бы брать на себя какие-то обязательства, была им глубоко чужда. Наверное, менее всего были довольны англичане. На заседании военного кабинета 10 ноября, за день до подписания Комньенского перемирия, Ллойд-Джордж мрачно заметил, что «ввести войска в Германию — это все равно что ввести их в район холерной эпидемии. Сами немцы попробовали это в России и подхватили бациллу большевизма». Уинстон Черчилль со своей стороны высказал мысль, что «нам придется, возможно, позаботиться о сохранении мощи германской армии: Германию надо поддержать как барьер против большевистской угрозы». Словом, решение о посылке контингента оккупационных войск на левый берег Рейна было принято не без сомнений. Как весьма нереалистичные были восприняты те директивы для гражданского населения оккупируемой территории, которые были разработаны в штабе Фоша. Чувство юмора редко посещало Хейга, но тут он не удержался, чтобы не сострить: «Для немца единственный способ ничего не нарушить — это не вставать с постели; да и там он может провиниться — если, к примеру, слишком громко захрапит».

Впрочем, никто в британском кабинете не имел ни малейшего представления о том, что в действительности происходит в Кёльне или каком-либо другом городе развалившейся империи. Можно предположить, что, если бы там получили более или менее объективную информацию на этот счет, сомнения только возросли бы. В самом деле, как развивались события в том же Кёльне после упомянутого выше акта провозглашения «республики»?

Никто не знал, что делать, каковы должны быть первоочередные меры, каковы последующие. На 9 ноября была назначена массовая демонстрация, но под какими лозунгами она должна проходить, к чему надо призывать народ — по этим вопросам не было никакой ясности. Опять-таки выручил Зольман со своей командой. Он убедил социал-демократов Мюльхейма (там была наиболее сильная партийная организация) принять программу из четырех пунктов: освобождение политзаключенных (обычный лозунг всех революций), немедленное отречение Гогенцоллернов, всеобщие выборы в Национальное собрание и образование всегерманской социалистической республики (последний пункт допускал, естественно, самые разные толкования, в чем и было его преимущество).

Зольман рассчитал все очень точно. Перечить безумным идеям партийных низов не было смысла. Важнее было добиться

всеобщего признания того, что социальные преобразования не должны вести к анархии, что нельзя допускать социального взрыва. Это удалось: в мюльхеймской платформе подчеркивалось, что «революционное движение в Кёльнском регионе развивается без кровопролития или каких-либо нарушений общественного порядка». Между прочим, при ее обсуждении было внесено предложение о том, что надо силой открыть двери тюрем, однако оно было отвергнуто большинством.

Что в это время делал бургомистр? Судя по всему, он еще не оставил мысли о том, что самым действенным методом сохранения законности и порядка в городе является применение военной силы. Когда к вечеру 7 ноября толпы солдат, матросов, рабочих и вообще любопытствующих, размахивая красными флагами, выкрикивая революционные лозунги, требуя ареста офицеров и т.д., заполонили центр города, Аденауэр вновь обратился к коменданту (молчаливо взяв назад свое решение не иметь с ним больше никаких дел). Сняв телефонную трубку, тот получил от бургомистра ценное указание: во дворе гимназии Святых апостолов расположена батарея полевой артиллерии, почему бы не шарахнуть но этим бандитам?

К счастью для Аденауэра (как и для будущего Кёльна, и, вероятно, всей Германии), комендант проигнорировал этот демарш. Сухо поблагодарив бургомистра за информацию, он сообщил, что ничего сделать нельзя. Это не было трусостью. Профессионал-военный понимал то, чего не мог постичь человек глубоко гражданский, хотя и впавший в воинственный раж: одна батарея не сможет рассеять возбужденную массу, неминуемые жертвы лишь вызовут жажду мести; если бургомистр хочет, чтобы его разорвали на части, это его дело, что касается самого коменданта и его подчиненных, то их такая перспектива не очень прельщает. Упомянутая батарея, как и остальные воинские подразделения, находившиеся вне мест постоянной дислокации, получили приказ туда незамедлительно вернуться.

К чести нашего героя, он в конце концов пришел к разумному выводу, что надо заняться не героическими безумствами, а серьезными переговорами.

Время торопило. Солдаты уже начали срывать погоны с офицеров, на улицах появились освобожденные узники — еще в тюремной одежде. На стихийном митинге была принята резолюция о создании Совета рабочих и солдатских депутатов; в его состав были избраны по пять представителей от солдат и рабочих; в числе этой десятки оказался и Зольман; солдаты, собравшиеся в одном из залов ратуши, встретили появление на трибуне своих новых вождей бурными аплодисментами.

Еще целый день оставался до того, как стало известно об официальном отречении кайзера, Аденауэр еще был формально связан присягой на верность династии, однако благоразумно решил, что это уже не столь важно. Он вступил в диалог с «мятежниками». Объединенными усилиями ему с Зольманом удалось предотвратить взрыв анархии. Однако для нашего героя это было все, что угодно, только не победа. Он впервые — нет, не упал, а просто споткнулся — на дороге вверх и выше, которая до этого момента была в общем и целом сравнительно гладкой. Он остался бургомистром, но исключительно но милости тех сил, которые он никоим образом не мог контролировать. Его город был в состоянии хаоса. Он потерял любимую женщину. Его страна потерпела поражение. Надвигалась оккупация. Ему было за сорок, и будущее не казалось особенно светлым. Впрочем, ни он, ни кто-либо другой не мог предвидеть тогда, насколько мрачным это будущее будет не только для него лично, но и для всей Германии.

ЧАСТЬ II.
ВЕЙМАРСКАЯ ГЕРМАНИЯ

ГЛАВА 1.
ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ ПОРАЖЕНИЯ

«Я выполню ваш приказ, но так, как это мне подскажет моя совесть»[10]

Поражение — это всегда тяжелое испытание для нации. Тем более когда оно сопровождается крахом старого порядка и старых привычных представлений о мире и своем месте в нем. Так это было в России в 1917 году, то же самое мы видим в Германии 1918 года. Неудивительно, что на территории того, что ранее называлось германской империей, воцарился хаос.

Нормализации обстановки отнюдь не способствовало то, что союзники-победители, каждый из которых в ходе войны преследовал свои собственные цели, долгое время никак не могли договориться между собой об условиях мира, которые должны были быть предъявлены побежденной Германии. Однако главные причины хаоса были внутригерманские. Кайзер, как уже говорилось, позорно бежал; в Баварии династия Виттельбахов была свергнута в результате упоминавшейся революционной акции, организованной Куртом Эйснером; аналогичная судьба постигла и остальных немецких владетельных князей; все властные структуры оказались, таким образом, разрушенными.

Новому канцлеру Фридриху Эберту досталась незавидная миссия — восстановить элементарный порядок в ситуации, когда сама легитимность его правительства вызывала немалые сомнения (многие считали, что Макс Баденский просто не имел права назначать себе преемника), когда в стране перестала даже нормально функционировать связь и до Берлина с большим запозданием доходили — если вообще доходили — известия о том, что происходит, положим, в Мюнхене или том же Кёльне, когда не по дням, а но часам росла активность крайне левых сил, прежде всего приверженцев «Союза Спартака», которые требовали дальнейшего развития революции. Вся страна была охвачена стачками и бунтами; на улицах происходили столкновения вооруженных групп. Угрозу со стороны «спартаковцев» удалось нейтрализовать только к середине января 1919 года; методы, которые при этом были применены, включая убийство без суда и следствия двух наиболее популярных лидеров «Союза Спартака» — Карла Либкнехта и Розы Люксембург, — были, разумеется, более чем сомнительны.

В Кёльне до таких драматических событий дело не дошло. Из

центра — от правительства и от военного командования — поступали какие-то директивы, зачастую противоречащие друг другу, но на них никто не обращал внимания. Бургомистр оказался полновластным хозяином города, если не считать, конечно, городского собрания и расплодившихся как грибы Советов рабочих и солдатских депутатов. Депутаты собрания, похоже, сами не знали, что им делать в новых условиях, и не особенно мешали бургомистру, иное дело — Советы. Это были потенциальные очаги насильственной революции, «спартаковцы» там пользовались непререкаемым авторитетом, правда, их влияние ограничивалось в основном рабочими кварталами правобережья. Впрочем, и в центре города, перед ратушей, собирались тысячные толпы недовольных, требовавших хлеба, порой они врывались в кабинеты, наводя ужас на чиновников.

Аденауэр проявил себя в этой обстановке с лучшей стороны. По его инициативе был создан некий «Комитет общественного блага», в который были приглашены участвовать представители городского собрания, государственных служб, промышленников, банкиров, профсоюзов и, разумеется, Советов. Сам бургомистр, возложивший на себя функции председателя этого пестрого по составу органа, демонстративно стал носить на рукаве повязку члена Совета.

Одним из первых мероприятий, которое бургомистру удалось провести через «Комитет», было решение о создании в городе гражданской милиции. Задачей ее было предотвращение грабежей и вооруженных стычек на улицах. Пенсионеры и демобилизованные солдаты, составлявшие большинство новоиспеченных милиционеров, не могли, конечно, полностью справиться с порученной им миссией, но начало было положено.

Главная цель создания «Комитета» состояла, впрочем, в обуздании революционной волны: участие представителей Советов рабочих и солдатских депутатов в решении практических, рутинных задач управления городом должно было отвлечь их от утопических мечтаний, погасить их революционный пыл. Если таков был расчет Аденауэра, то он блестяще оправдался. Как лучше использовать портовые сооружения, как быстрее организовать репатриацию иностранных рабочих, как бороться со вшами, что делать с местными борделями — эти и подобные вопросы не укладывались в схему «класс против класса»; занимаясь ими, самые ярые революционеры приходили к выводу, что простых лозунгов и рецептов типа «долой буржуазию» здесь недостаточно.

В пользу сил «порядка», которые воплощали Аденауэр и его единомышленники, стал вскоре действовать еще один

сильнейший фактор. Считать ли это выражением патриотизма или национализма (о терминах можно спорить), но, когда стали известны продиктованные союзниками условия перемирия, это вызвало у населения почти единодушную реакцию возмущения. Прежде всего общее мнение сводилось к тому, что они несправедливо жестоки: в Кёльне, как и в Германии в целом, немцы в массе своей явно не отдавали себе отчет в том, насколько сильно упала их репутация в глазах других народов. Для жителей Кёльна сюда добавлялась еще и обида на то, что их предали: именно их город оказался под пятой оккупантов, тогда как, положим, берлинцы остались при своих интересах, хотя если уж говорить о том, кто вовлек страну в эту несчастную войну, то это были как раз те, кто сидел в Берлине. С этой точки зрения преданной следовало считать и немецкую действующую армию. Кёльнцы, таким образом, оказались уже внутренне подготовленными к тому, чтобы встретить солдат, возвращающихся с фронта, если не как героев, то как товарищей по несчастью.

С точки зрения бургомистра, это было весьма благоприятное стечение обстоятельств: меньше всего он хотел бы, чтобы между гражданским населением и соединениями 6-й и 7-й армий, маршрут следования которых с фронта в фатерланд проходил через Кёльн, возник какой-либо конфликт. Между тем основания для опасений имелись: деморализованная солдатская масса (целых четыре корпуса!) могла легко выйти из-под контроля; всех надо было накормить (и это в условиях, когда продовольствия не хватало самим местным жителям!) да еще и выплатить выходное пособие. Помимо всего прочего, подлежавшие демобилизации части нужно было побыстрее, до прибытия британского оккупационного контингента, отправить дальше на восток, иначе их могли объявить военнопленными. Аденауэр и здесь проявил здравый смысл: прежде всего он распорядился ликвидировать имевшиеся запасы спиртных напитков; под покровом темноты семьсот пятьдесят тысяч литров спирта и немалое количество коньяка были слиты в Рейн. Было предусмотрено, что по прибытии в Кёльн солдаты начнут сдавать свое личное оружие.

Первый эшелон с фронта прибыл 21 ноября. Ему была устроена торжественная встреча. Вокзал был увешан флагами (в том числе и старыми кайзеровскими!), звонили колокола, толпа выкрикивала здравицы в честь своих воинов. Можно было подумать, что Германия не проиграла, а выиграла войну. Кёльн превратился в огромный военный лагерь. Повсюду дымились полевые кухни, из которых свои порции получали и гражданские. С санкции своего «Комитета» Аденауэр организовал широкую

распродажу военного имущества: грузовики, легковые машины, лошади — все, кроме винтовок и пушек, пошло с молотка. Официальной целью было выручить средства для пропитания солдат; разумеется, вся операция была незаконной, воротилы черного рынка сильно нагрели на ней руки, однако другого выхода не было.

Аденауэр в этой обстановке, пожалуй, впервые столь эффективно, смог применить свои способности публичного политика. Его речь в городском собрании, произнесенная в день прибытия первого эшелона с «нашими доблестными воинами», показала, что ради нужного воздействия на аудиторию наш герой без колебаний был готов пойти на явное передергивание очевидных фактов. Он заявил, например: «Наши братья в серых шинелях возвращаются теперь домой… Они в течение четырех лет грудью защищали нас, наши очаги, наши жилища… Они возвращаются не побежденными, не покорившимися врагу». Типичная демагогия: кому-кому, а уж Аденауэру ли было не знать, что никто не покушался на очаги и жилища немцев и что германская армия разбита и небоеспособна. Увы, демагогия — норой непременный спутник политики. В данном случае это была, помимо всего прочего, крайне опасная демагогия, ибо рождала у немцев мысли о реванше, а французам диктовала еще более жесткую линию по отношению к побежденным. Но для Аденауэра важнее всего был краткосрочный пропагандистский эффект. Он был достигнут.

Ради того же эффекта Аденауэр устроил торжественный прием в честь уцелевших солдат и офицеров 65-й дивизии, которая до войны была расквартирована в Кёльне. Его речь на приеме опять-таки была полна псевдопатриотической риторики. «Мы никогда не забудем о том, что вы сделали для Германии, для нас, рейнландцев», — высокопарно вещал бургомистр.

При этом думал он скорее совсем о другом: как бы отвлечь массы от мыслей о революции, а офицеров — от мыслей о контрреволюции; судя но настроению последних, они были не прочь устроить кровавую баню «тыловым крысам», которые нанесли «удар в спину» сражающейся армии. Ради предотвращения экстремистских тенденций слева и справа некоторое искажение истины представлялось меньшим злом.

Во всяком случае, со стороны некоторых очевидцев событий действия тогдашнего кёльнского бургомистра получили самую высокую оценку. Можно привести, в частности, мнение капитана Отто Швинка, выполнявшего функции офицера связи между отступавшими немецкими войсками и приближавшимися частями союзников: «Конрад Аденауэр — одна из самых мужественных

фигур, которые мне когда-либо встречались». Вообще говоря, настоящее мужество предполагает готовность признать свои ошибки, свою вину, свою ответственность не только в личном плане, но и от лица своей страны. Сомнительно, чтобы такая готовность когда-либо присутствовала у нашего героя. Как уже говорилось, тезис о войне как «общей глупости» — самое большее, что он был готов признать. По его мнению, немецкая армия доблестно сражалась и стала жертвой предательства со стороны… своего верховного главнокомандующего, кайзера Вильгельма, совершившего «необъяснимый, позорный и роковой побег». О германском вторжении в Бельгию и во Францию он предпочел забыть. Спустя полтора года он уже прямо заявлял, что Франция всегда ненавидела Германию, а немцы всего лишь хотели создания стабильной Европы, которая обеспечила бы им условия для продуктивной деятельности. По-видимому, сказывалось то, что, кроме своих путешествий со Шлютером и медового месяца с Эммой, Аденауэр не выезжал больше за пределы Германии, ему не довелось еще увидеть верденский пейзаж. Ограниченность воспитания и личного опыта не позволила ему, мягко говоря, в должной мере оценить катастрофические реалии четырехлетнего военного кошмара.

Между тем части демобилизуемой немецкой армии, уже разоруженные, постепенно покидали Кёльн. 3 декабря уходил последний полк. На площади перед собором состоялся прощальный парад. «Пел детский хор, — вспоминает капитан Швинк. — Слабые голоса сливались с шумом дождя. Все перекрывали возгласы: «Ура! Живи, Германия!» Шеренги перестроились в колонны, грянул марш. «До свидания! До свидания!» — раздавалось из детских рядов. Взрослые стояли молча, внутренне еще отказываясь верить, что это на самом деле конец истории, сердца разрывались от боли». Толпа, впрочем, не столь большая, разошлась. Похороны империи наконец состоялись.

За день до этого авангардные части 2-й британской армии под командованием генерала Герберта Плюмера перешли немецко-бельгийскую границу в районе Мальмеди. Они шли на Кёльн. Невзирая на слухи о немецких снайперах, укрывающихся в лесах, войска шли почти что в парадном строю — с музыкой и развевающимися знаменами. Генералы больше боялись не мифических немецких партизан, а возможных эксцессов со стороны собственных солдат по отношению к местному населению. Генерал Ричард Хейкинг, английский представитель в комиссии по перемирию, ярко охарактеризовал проблему в письме маршалу Хейгу: «Наши люди за четыре года привыкли

убивать, и шлепнуть любого встречного немца для них, что муху прихлопнуть».

Оккупация Кёльна началась с неприятного инцидента. 6 декабря примерно около 11 часов утра перед ратушей остановился броневик, из которого неторопливо вышли два молоденьких британских офицера и на ломаном немецком потребовали у вахтера пропустить их к бургомистру. Собственно, они явились но его просьбе: Аденауэр, опасаясь, что в условиях военного вакуума революционеры могут беспрепятственно захватить власть в городе, незадолго до этого отправил англичанам депешу, чтобы они ускорили свое продвижение или хотя бы символически обозначили свое присутствие. Однако он явно не ожидал, что джентльмены,' вошедшие в его кабинет, не ожидая приглашения, бухнутся в кресла, закурят и — о, ужас! — начнут стряхивать пепел прямо на дорогой ковер. Ледяным тоном Аденауэр попросил служителя принести пепельницы и, не говоря ни слова, погрузился в свои бумаги. Молодые люди смутились и несколько подобрались. Худшего начала для деловых контактов трудно было придумать.

Спустя час к ратуше подтянулась колонна из шести броневиков 2-й кавалерийской бригады, в которой находился и ее командир, бригадный генерал Алджернон Лоусон. Атмосфера изменилась: Аденауэр был польщен, что теперь он имеет дело не с какими-то нахальными юнцами, а с высокопоставленным военачальником, который к тому же отличался изысканными манерами (питомец Харроу!) и отдавал себе отчет в деликатности своей миссии.

Они поладили, хотя сразу возникло много проблем. Лоусон потребовал роспуска местной милиции и заявил, что не потерпит никакого вмешательства в дела города со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Последнее, вероятно, вполне устраивало Аденауэра, однако он дал понять, что на всякий случай оккупантам неплохо было бы устроить демонстрацию силы: нельзя ли организовать в Кёльне парад британских авангардных подразделений? Лоусон счел, что это не входит в его полномочия; он опасался возможных нападений на солдат со стороны местной молодежи. Лучше подождать прибытия главных сил, заявил он Аденауэру. Тот поинтересовался их предполагаемой численностью: ведь ему надо распорядиться о расквартировании прибывающих войск. Лоусон уклонился от ответа, шутливо заметив, что его эскадрон — это так, легкая закуска, а потом будет первое, второе, жаркое, пудинг и т.д.

Фактически в город были введены три полностью укомплектованные британские дивизии. Военным губернатором

стал генерал Чарльз Фергюсон. 11 декабря его штаб въехал в отель «Монополь», из которого предварительно были бесцеремонно выброшены на улицу остававшиеся там постояльцы и гостиничная мебель; взамен прибыло несколько грузовиков с канцелярскими столами. К 14 декабря английские войска полностью заняли предназначавшиеся им эксклавы на правом берегу Рейна и приступили к оборудованию контрольно-пропускных пунктов, установке по периметру проволочных заграждений и созданию системы огневых точек. Было объявлено, что любые акты саботажа или неисполнение приказов оккупационных властей будут караться по законам военного времени. Аденауэр попытался протестовать: мол, население Кёльна — это нечто отличное от «прочих германских племен», оно заслуживает более мягкого обращения. Фергюсон отрезал: англичане поступают точно так же, как немцы поступали с бельгийцами во время войны. Характер британского оккупационного режима метко определила лондонская «Таймс»: «Начинается мягко, как падающий снег, а потом твердеет, как смерзшийся лед».

Правда, кое в чем оккупанты отступали от жестких норм: комендантский час, официально начинавшийся в 7 часов вечера и длившийся до 5 часов утра, фактически никем не соблюдался; недолго действовал и заимствованный из практики немецкой оккупационной администрации в Бельгии приказ, обязывавший всех взрослых местных жителей мужского пола снимать головные уборы перед английскими военными. Однако оккупация есть оккупация: местная полиция была поставлена под начало присланного из Англии констебля, всем жителям были выданы удостоверения личности (это было нечто неслыханное в истории города), которые они должны были постоянно носить при себе и предъявлять патрулям по первому требованию.

Вместе с тем, с точки зрения местных нотаблей, оккупация принесла с собой очевидные плюсы: угроза революции была снята, воцарилась стабильность. Советы рабочих и солдатских депутатов были сведены до чисто декоративной роли. Англичане строго придерживались того принципа, что они будут иметь дело только с «законно созданными органами власти», о чем генерал Фергюсон без обиняков сообщил Аденауэру при первой же беседе, которая состоялась 12 декабря. Бургомистр на всякий случай распорядился, чтобы обмен мнениями был запротоколирован. «В заключение беседы губернатор сообщил о своем решении действовать исключительно через меня, поскольку я, и только я, несу ответственность за исполнения всех его распоряжений», — читаем мы в тексте сделанной от первого лица записи беседы. По

просьбе Аденауэра протокол был заверен лично Фергюсоном, который от себя добавил, уже в третьем лице: «Губернатор предпочел бы иметь дело непосредственно с бургомистром».

Это важнейшее политическое заявление практически нейтрализовало любые попытки нарушить сложившееся статус-кво в Рейнской области, откуда бы они ни исходили — будь то революционеры-«спартаковцы» или антипрусски настроенные сепаратисты. Между тем сепаратистские тенденции в условиях иностранной оккупации резко усилились. Они подпитывались из двух источников. С одной стороны, это были французские военные круги, или, конкретно говоря, маршал Фош и его люди. С другой — пестрая группировка журналистов и политиков в самом Рейнланде. Трудно сказать, был ли между этими двумя силами контакт с самого начала или он установился позднее, однако со временем объединенные усилия этих двух группировок привели к формированию достаточно мощного движения в пользу отделения Рейнской области от Германии.

Если говорить об идеях и замыслах Фоша, то они были очень просты: в своем меморандуме на имя Клемансо от 28 ноября 1918 года он изложил план, согласно которому на левом берегу Рейна создавался пояс марионеточных государств, которые должны были бы вступить в нерасторжимый военный союз с Бельгией, Люксембургом и, естественно, Францией. Государства этого пояса стали бы постоянно действующим буфером против любой новой прусско-германской агрессии. Клемансо в принципе одобрил этот план, выразив, однако, сомнения в целесообразности всеобщей воинской повинности для граждан «Рейнских республик». При этом он разумно заметил, что вряд ли англичане и американцы с энтузиазмом поддержат этот проект. И в самом деле, когда в начале декабря в Лондоне начались первые переговоры на высшем уровне по поводу будущего мирного договора, ни глава английского правительства Ллойд-Джордж, ни лидер консерваторов Эндрю Бонар-Лоу не проявили к нему особого интереса. В ответ на заверения Фоша о том, что он не собирается создавать «Эльзас-Лотарингию наоборот» и постарается максимально учесть чувства и пожелания рейнландцев, Бонар-Лоу сухо заметил: «Немцы говорили то же самое, и, более того, мы сами таким же образом уже много лет пытаемся решить проблему умиротворения ирландцев».

В унисон Фошу (а но некоторым данным, в прямом сговоре с ним) газета «Кёльнише фольксцейтунг» развернула кампанию за образование «Рейнской республики». На митинге в центре Кёльна, состоявшемся 4 декабря — в промежуток времени, когда немецкие войска уже ушли, а британские еще не пришли, старый

деятель партии Центра Карл Тримборн выступил с программной речью. Он говорил о том, что империя уже фактически распалась на свои составляющие и жители каждого из этих территориальных фрагментов должны теперь сами определить свое будущее. Он прямо не призвал к созданию сепаратного государства, но именно таков был смысл его высказываний. Против решительно выступили социал-демократы, которые 6 декабря устроили контрмитинг, что, однако, лишь усилило привлекательность идеи «Рейнской республики» для деловых кругов города; они рассуждали просто: если левые «против», значит, мы должны быть «за». На сцене вновь появились старые знакомые из местного руководства Центра — Меннинг и Ринге. В ходе доверительной беседы с Аденауэром, состоявшейся еще до подписания Компьенского перемирия, они пытались убедить его в том, что создание сепаратного Рейнского государства, независимого от Пруссии, представляет собой единственную альтернативу аннексионистским замыслам Франции. Аденауэр предпочел не ангажироваться и сообщил о разговоре Зольману и Фальку (последний, напомним, принадлежал к партии национал-либералов). Консенсус был достигнут на той основе, что этот план следует рассматривать как крайнее средство на тот случай, если действительно возникнет непосредственная угроза прямой аннексии Рейнланда Францией.

Условия перемирия показали, что эта угроза по крайней мере на время отпала. Соответственно отпал и аргумент в пользу создания сепаратного Рейнского государства. Теперь будущее этой идеи зависело от того, удастся или нет французам гальванизировать идею отторжения левого берега от Германии на межсоюзнических переговорах по выработке условий мира. Как уже отмечалось, на лондонских переговорах, которые длились с декабря 1918 года но февраль 1919-го, Клемансо не удалось пробить свою точку зрения. Началась Парижская конференция. Там французская сторона попробовала реализовать план в более замаскированном виде. В меморандуме от 25 февраля они предложили провести западную границу Германии по Рейну, сохранить на неопределенное время оккупационный режим на левобережье (включая эксклавы на правом берегу), не «навязывая», однако, тамошнему населению какого-либо определенного политического статуса. Означало ли это сохранение за рейнландцами нрава когда-либо в будущем решить голосованием вопрос о возвращении в состав германского государства? Французский план оставлял этот вопрос без ответа, английская сторона исходила из того, что положительный ответ на него подразумевается. Вместе с тем для Великобритании

оставался абсолютно неприемлемым принцип постоянного или долговременного военного присутствия в Рейнской области.

Лорд Керзон отвергал его с порога, Остин Чемберлен заявлял о готовности держать там войска только «на период выплаты репараций и реституций», а Уинстон Черчилль вообще считал, что лучшим способом обеспечения безопасности Франции было бы прорытие туннеля под Ла-Маншем, так чтобы британский экспедиционный корпус мог быстро и без помех оказаться на континенте для отражения возможной немецкой агрессии. Французов все это, разумеется, не устраивало. 11 марта французский делегат на новой межсоюзнической конференции Андре Тардье выступил с заявлением, согласно которому «граница по Рейну, создание независимого Рейнского государства и контроль союзников над мостами через Рейн — это те три опоры, на которых зиждется французский план; лишить его хотя бы одной — значит обрушить всю конструкцию». На англичан красноречие Тардье не особенно подействовало, а американцам вся эта канитель уже изрядно надоела.

После месяца бесплодной дискуссии Клемансо уступил. Вопреки яростной оппозиции со стороны Фоша он пошел на компромисс, который включал в себя англо-американские гарантии безопасности Франции, пятнадцатилетнюю оккупацию южного сектора Рейнланда, десятилетнюю — центрального и пятилетнюю — северного. В последнем, напомним, находился и Кёльн.

Его бургомистр с неослабевающим вниманием следил за ходом этих переговоров. Главной его целью было избежать аннексии со стороны Франции. Чем реальнее представлялась эта угроза, тем позитивнее было его отношение к идее сепаратного Рейнского государства, и, естественно, наоборот. В конце декабря 1918 года перспектива прямого присоединения левобережья Рейна к Франции казалась почти неизбежной — Аденауэр считал, что правительство Эберта в Берлине ничего не делает и не сделает, чтобы помочь соотечественникам по ту сторону Рейна. Именно поэтому он пошел тогда на тесный контакт с «Кёльнише фольксцейтунг» и ее редактором Йозефом Фробергером, который был главным мотором пропагандистской кампании сепаратистов. Аденауэр встретился также с лицом, занимавшим ранее должность прокурора Висбадена. Речь шла об Адаме Дортене. Эта встреча была самой большой ошибкой нашего героя, за которую ему впоследствии пришлось дорого заплатить.

Дортен был не просто сепаратистом, у современников почти не было сомнений, что он являлся платным агентом французских оккупационных властей, контролировавших южный сектор

Рейнланда, куда входили Майнц и Висбаден. Впоследствии много говорилось о том, что Дортен усыпил бдительность Аденауэра разговорами о своей тетушке, которая якобы жила воспоминаниями о их встрече где-то в 1900 году. Лидер кёльнских национал-либералов Фальк привел даже некое психологическое объяснение неожиданного решения солидного политика пойти на диалог с человеком, чья репутация была, мягко говоря, подмочена: Аденауэр, мол, при всей его недоверчивости порой оказывался жертвой авантюристов, способных пустить пыль в глаза, это быстро проходило, но все же… Эти доводы представляются несколько наивными. Речь для Аденауэра шла исключительно о соображениях политической целесообразности.

Именно эти соображения толкнули его на то, чтобы пойти еще на одну акцию, за которую ему впоследствии также неоднократно ставили лыко в строку. Он разослал приглашения ряду ведущих политиков Рейнланда прибыть к 1 февраля в Кёльн на совещание для обсуждения текущего момента и разработки планов на будущее. В числе приглашенных были только что избранные депутаты Национального собрания, которое вот-вот должно было собраться в Веймаре для выработки новой конституции, чины старой, прусской администрации, еще действовавшей в Рейнской области, и, наконец, бургомистры ряда городов левобережья — Аахена, Бонна, Трира, Менхенгладбаха, Нейсса, Рейдта, Саарбрюккена и Кобленца.

В день открытия совещания «Кёльнише фольксцейтунг» выступила с прямым призывом к созданию Рейнской республики. Считалось, что газета отражает позиции Аденауэра и партии Центра, так что у сепаратистов был повод для ликования: их политическая база вроде бы явно расширялась. Однако сам Аденауэр в своей программной речи, которая длилась три часа, а может быть, и больше, занял несколько иную, более гибкую (или, если угодно, более двусмысленную) позицию. Значительная ее часть была посвящена анализу политики союзников. Франция, констатировал Аденауэр, явно желает, чтобы Рейн стал ее «стратегической границей», что можно понять, учитывая тот факт, что совсем недавно Германия руководствовалась той же логикой в отношении Бельгии: контроль над этой страной или даже ее аннексия рассматривались именно в контексте создания «стратегической границы» между Германией и Францией. Великобритания все еще никак не может сделать выбор между традиционной политикой баланса сил, которая диктовала бы поддержку более слабой в данной момент континентальной державы, то есть Германии, и линией на признание и поддержку

интересов Франции против реваншистских устремлений Германии. Америка вообще склонна умыть руки.

Что в этой ситуации должны делать немцы? Аденауэр предложил неожиданное и оригинальное решение: нужно создать федеративное государство и в качестве его интегральной части — «Западногерманскую республику», которая охватывала бы территорию по обоим берегам Рейна.

Участники совещания были ошеломлены, но, видимо, такого эффекта и добивался главный оратор. Постепенно приходя в себя, делегаты выдвинули ряд веских доводов против аденауэровской идеи: во-первых, восточная часть Германии без более богатой западной просто не выживет экономически, во-вторых, создание «Западногерманской республики» было бы воспринято французами как ясный сигнал, что рейнландцы вполне готовы порвать узы, связывающие их с Пруссией, и, в-третьих, не преследует ли Аденауэр своим предложением сугубо личные цели, поскольку ясно, что именно свою кандидатуру он имеет в виду на роль главы проектируемого государственного образования? Последний контраргумент, естественно, не формулировался прямо, он фигурировал лишь в виде намеков, но «далеко идущие личные амбиции» кёльнского бургомистра не были секретом даже для его новых знакомых из английской оккупационной администрации.

Конкретным результатом совещания было формирование комитета, которому поручалось «подготовить планы создания «Западногерманской республики» в конституционных рамках Германского рейха и на основе тех конституционных положений, которые будут выработаны германским Национальным собранием». Председателем комитета стал, разумеется, наш герой. По сути, речь шла о том, что, пока все остается в подвешенном состоянии, возможны любые варианты, но время для выбора какого-нибудь одного еще не пришло.

Пока рейнландцы обсуждали свою повестку дня, союзники-победители спорили о своей. Речь шла об условиях продления перемирия. Англичане считали, что надо сосредоточиться на задаче разоружения Германии. Как выразился Ллойд-Джордж, «нужно отнять у немцев пушки, тогда и нам не нужно будет держать большие армии». Французы, со своей стороны, делали упор на максимально длительном сохранении оккупационного режима и соответствующего уровня военной готовности. Американцы предложили компромиссное решение в виде создания временной межсоюзнической Военно-контрольной комиссии. Это предложение было принято, и комиссия действовала на территории Германии до 1927 года. Перемирие

было продлено.

Аденауэр воспользовался этим моментом, чтобы убедить англичан в необходимости смягчить оккупационный режим. Речь шла не о той или иной степени ограничения личных прав и свобод населения. В этом плане ситуация была хоть и не совсем приятной, но терпимой. Хуже было то, что оккупированная территория за Рейном оказалась отрезанной от кузницы Германии — Рура. Результатом были ухудшение экономического положения, рост безработицы, голод. В ходе беседы с Фергюсоном, кёльнский бургомистр вовсю расписывал перспективы «большевистского переворота». Присутствовавший на беседе председатель Кёльнской торговой палаты, все тот же Луис Хаген, поддержал эту тему.

Это не был простой шантаж. Наличие революционных настроений у кёльнских пролетариев подтверждается донесениями английской разведки. Еще в декабре, в первые дни оккупации, доклады британских служб отмечали, что выпекаемый в местных булочных хлеб представляет собой «отвратительное месиво, в котором трудно заподозрить наличие муки или сахара» (наверняка имелся в виду продукт, запатентованный Аденауэром и представлявший предмет его гордости), и что дети, толпящиеся вокруг офицерских столовых в надежде поживиться объедками, выглядят как скелеты. К концу февраля ситуация еще более ухудшилась. Начальнику штаба оккупационного контингента, генералу Сиднею Клайву, бросилось в глаза, что «школьники, которых мы встречаем по пути на службу, уже не бегают, не шалят, а движутся как тени, чуть ли не держась за стены». В этой ситуации непосредственный начальник Клайва, генерал Фергюсон, принимает нестандартное решение: он посылает прикомандированного в январе к его штабу советника по финансовым и коммерческим вопросам (его имя Фрэнк Тиаркс, он из банковских кругов Сити) прямо к премьер-министру с целью убедить последнего в необходимости оказания срочной гуманитарной помощи голодающему населению Кёльна.

Дело оказалось далеко не простым. Прежде всего пришлось преодолевать сопротивление французов; те придерживались мнения, что немецкие агрессоры получают то, что заслужили, и если в Рейнланде осталась валюта, то она должна идти на репарации, а не на закупки продовольствия. Помимо того, не ясно было, кто и как будет распределять гуманитарную помощь. В британском гарнизоне наметился упадок дисциплины. Судя по еженедельным докладам органов цензуры, которые перлюстрировали солдатские письма, еще в январе моральное состояние войск не внушало опасений; в феврале налицо уже

резкий рост случаев пьянства и неповиновения приказам. Причина была очевидна: солдаты хотели домой. Между тем оккупационная армия была единственным механизмом, который мог обеспечить порядок при приемке, сохранении и выдаче продовольствия для немцев.

Британский кабинет принял соломоново решение: продовольствие выделить, распределение возложить на британский воинский контингент, но провести его полную замену: старослужащих демобилизовать, а взамен прислать новобранцев. Идея была, возможно, неплохая, но результатом стал настоящий административный хаос. Он выразился в том, что двести тысяч тонн картофеля и прочих продуктов из армейских складов, выделенных для британского и американского секторов по директиве от 14 марта 1919 года и прибывших в немецкие порты в апреле, долгое время оставались неразгруженными — картошка так и сгнила в трюмах.

Оккупационный режим обнаруживал явную слабость, но не меньшую слабость демонстрировали.и немцы. Центральное правительство в Берлине вначале заявило о категорическом отказе даже рассматривать условия мирного договора, которые были представлены ему союзниками 8 мая; раздавались призывы к возобновлению военных действий, а кончилось все полной капитуляцией. Текст проекта договора и впрямь содержал положения, унизительные для немцев: армия сокращалась до ста тысяч человек, запрещалось строить военные суда водоизмещением свыше десяти тысяч тонн, подводные лодки, танки и авиация запрещались полностью, на Германию налагались большие репарации, император и верхушка генералитета подлежали выдаче и суду за нарушения законов и правил ведения войны.

Представители немецкого правительства попытались выговорить уступки от победителей, по возможности смягчить условия мира. Те ответили ультимативным требованием подписать документ не позднее 23 июня. Для усиления аргументации союзники ввели дополнительные подкрепления на свои плацдармы-эксклавы но правому берегу Рейна; все выглядело так, что в случае отказа немецкой стороны подписать договор войска союзников немедленно вторгнутся на еще не оккупированную территорию Германии. В последний момент правительство рейха осознало, что реальной альтернативы принятию продиктованных ему победителями условий попросту нет. Версальский мир стал политической реальностью. Союзники торжествовали, немцы бессильно сжимали кулаки.

В Рейнской области между тем развертывались свои

драматические события. 30 мая состоялось первое и последнее заседание того комитета, который был создан в феврале по инициативе Аденауэра и главой которого он стал. Предметом обсуждения были результаты встречи кёльнского бургомистра с французскими военными, где рассматривался его план «Западногерманской республики», а также ход конституционных дебатов в веймарском Национальном собрании. Было констатировано, что ни на одном из форумов каких-либо позитивных результатов достигнуто не было и что аденауэровский проект фактически мертв. А на следующий день произошло нечто сенсационное: с молчаливой поддержки главнокомандующего французской оккупационной зоны, генерала Шарля Манжена, Дортен совершил то, чего никто не ждал даже от него, — прокламации, выпущенные одновременно в Висбадене и в Майнце, возвестили о создании независимой «Рейнской республики».

Для Аденауэра, как и для его британских патронов, это было крайне неприятное известие. За несколько дней до этого акта Клайв специально предупредил своего коллегу, начальника штаба французского контингента, о желательности воздерживаться от каких-либо акций политического характера. «Мы находимся здесь с целью поддержания порядка, не более того», — говорилось в его послании. До этого он специально съездил в Париж, чтобы получить инструкции от находившегося там Ллойд-Джорджа. Реакция премьера была однозначной: Англия не будет поддерживать никаких шагов по созданию сепаратного Рейнского государства. Однако одновременно Клайв получил директиву не допускать осложнения отношений с французами. В этой обстановке он выбрал, как представляется, самый разумный путь: по его распоряжению кёльнские газеты информировали читателей о событиях в Майнце и Висбадене, воздержавшись, однако, от каких-либо комментариев по этому поводу; затем последовало официальное разъяснение, что без санкции британских оккупационных властей на территории, находящейся под их юрисдикцией, никакие изменения конституционного характера не будут иметь места. Все было поставлено на свои места: без Кёльна не могло быть и речи о существовании сепаратного Рейнского государства, а Кёльн не мог предпринять чего-либо сам без согласия англичан. Авантюра Дортена явно провалилась — во всяком случае, пока.

Клайв информировал Аденауэра о своих шагах, и, более того, сами эти шаги, вероятно, предпринимались не без влияния рекомендаций бургомистра. Во всяком случае, висбаденские сепаратисты думали именно так и отзывались о нем как о

предателе дела независимости Рейнланда. «Революционный трибунал» в Кобленце обвинил Аденауэра в измене родине и приговорил его к смертной казни. «Этот приговор, — заявлял Аденауэр позднее, — был для меня ценнее любого ордена». Он был прав: инвективы со стороны сепаратистов в значительной степени нейтрализовали обвинения по поводу его прошлого участия в сепаратистских проектах. Впрочем, политические последствия тех или иных акций Аденауэра в те драматические дни сказались намного позднее. Трудно сказать даже, думал ли он тогда о них и думал ли он тогда вообще о политике в первую очередь. 1919-й стал годом крутого поворота в его личной жизни.

ГЛАВА 2.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Германия еще непременно поднимется…»[11]

На фотографиях того времени, где Аденауэр запечатлен во внеслужебной обстановке, выражение его лица выдает глубоко скрытую, но явную боль и какую-то меланхолическую грусть. Он постарел, волосы поредели, на висках появилась седина, под глазами мешки — отчасти следствие произведенных ранее пластических операций. На службе, впрочем, его лицо превращается в непроницаемую маску, за которой невозможно определить, какие эмоции испытывает этот человек и есть ли они у него вообще. Прямая фигура, строгий темный костюм, высокая шляпа — само воплощение достоинства и солидности, как это и пристало первому лицу в администрации. Но вечером, когда он возвращается в свою печальную обитель, маска спадает, и перед нами вновь черты лица человека, для которого душевный покой — это далекая и вряд ли достижимая цель.

Вообще говоря, веселье и в лучшие времена было редким гостем в доме Аденауэров. Эмма по характеру своему была не менее, чем ее супруг, склонна к известному аскетизму. В особняке, который они построили, было просторно; кабинет хозяина дома — во флигеле, остальную площадь занимали покои супругов и матери Конрада, детские комнаты, множество гостиных, обставленных даже с известной претензией на роскошь… За домом обширный участок земли — одновременно сад, огород и детская площадка. Словом, идеальный семейный очаг для семьи правоверных католиков, но не хватало какого-то внутреннего тепла.

После смерти Эммы ощущение внутренней пустоты только усилилось. Приходили и уходили гувернантки, сильно сдавшая Елена старалась внести свою лепту в воспитание подраставших внуков, но те явно чувствовали себя не слишком комфортно в доме, стремясь при каждом удобном случае вырваться из его, по правде сказать, мрачноватой атмосферы.

Отдушину они находили у соседей. Глава семьи — Фердинанд Цинссер был полной противоположностью нашему герою. По вероисповеданию он был лютеранин, по характеру — человек «веселый, открытый, душа нараспашку», как отзывался о нем позднее сам Аденауэр. Фердинанду нравилась музыка, он любил вечерком посидеть с друзьями, поболтать обо всем и ни о

чем — нечто, совершенно немыслимое в доме Аденауэров. Семья приобрела участок примерно в то же время, что и Аденауэры, одновременно и по сходным проектам они строили и свои особняки. Однако в отличие от обстановки замкнутости и одиночества, царившей у соседа, дом Цинссеров всегда был полон гостей, шума, шуток и розыгрышей. Часто там появлялись заезжие артисты и художники. Цинссер любил детей, часто развлекал их сказками и фокусами.

У четы Цинссеров было трое детей, как и у Аденауэров, только в отличие от них — две дочери и один сын. Все трое — Августа (обычно ее звали просто Гусей), Лотта и Эрнст — учились музыке: Гусей играла на скрипке, Лотта — на фортепиано, а Эрнст — на виолончели. Соседи дружили, музыкальные вечера поочередно проходили то в одном, то в другом доме. Когда началась война и старший Цинссер был призван в армию, представления стали чаще устраиваться у Аденауэров, тем более что это было удобнее для Эммы, которая к тому времени уже почти не выходила из дома. Качество исполнения, которым трио услаждало слушателей, наверняка оставляло желать лучшего, но вечера теперь не казались такими мрачными и беспросветными. Иногда Аденауэр просил девушек спеть для него что-нибудь не очень сложное, типа народной песни, они охотно откликались на эти просьбы. Без всяких просьб с его стороны обе помогали в работе но дому, когда Эмме стало совсем плохо. В свою очередь, госпожа Цинссер не испытывала никаких сложностей в обеспечении своего хозяйства углем для отопления: Аденауэр не то чтобы злоупотреблял своим служебным положением, но, во всяком случае, все-таки использовал его, чтобы помочь семье соседа.

После смерти Эммы все контакты с соседями на время прекратились. Аденауэр замкнулся в траурном одиночестве. Дети, однако, быстро возобновили живое общение, а после мартовской аварии 1917 года, когда Коко, Макс и Рия уже почти подготовили себя к участи сирот, они стали вообще дневать и ночевать в доме Цинссеров. Была, конечно, проблема разницы в возрасте: Гусей, старшая из молодого поколения Цинссеров, была 1895 года рождения, а первенец четы Аденауэров, Коко, как мы помним, родился в 1907 году, двенадцатью годами позже. Но это не мешало юным отпрыскам обеих семей находить общий язык и даже иметь свои маленькие тайны.

Отношения соседей приняли новый оборот в ситуации, когда кёльнский бургомистр принял тайное, но твердое решение заняться устройством своей личной жизни. Оставаться неженатым при его должности значило бы давать повод для всякого рода

сплетен и пересудов — это Аденауэр хорошо понимал и не мог допустить. Дело было за малым — найти невесту. Это было не так легко. Теннисный клуб, который помог ему пятнадцатью годами ранее, естественно, отпадал: вдовцу, да еще высокопоставленному чиновнику, искать свое счастье на корте среди юных созданий — это не шло ни в какие ворота. Сад и огород — другое дело. Дитя урбанизации, он всегда инстинктивно тянулся к земле (хотя официальные биографы, вероятно, преувеличивают силу этой тяги). Со временем он особенно заинтересовался разведением роз. После смерти Эммы к этому интересу добавилось еще и желание отвлечься от жизненной суеты, найти некое отдохновение от тяжелых мыслей, поразмышлять о круговороте природных сил. Расцвет, увядание, новый расцвет и опять увядание — наблюдения над естественным циклом растительного мира как нельзя лучше иллюстрировали заповедь «И это пройдет…».

Родственную душу он нашел в старшей дочери соседей, Гусей. В свои двадцать три года она была в душе еще ребенком. Молодые люди — сверстники ее как-то не привлекали, да к тому же перспективных женихов было не так уж и много: одни остались лежать на полях Первой мировой войны, другие вернулись физически или душевно искалеченными. Ее нельзя было назвать красавицей, но она не была и дурнушкой; с неплохой фигурой, круглолицая, большеглазая (в глазах сверкали задорные искорки: казалось, вот-вот расхохочется от всей души), она умела произвести впечатление — тем более на истосковавшегося по женской ласке вдовца. У нее был легкий характер: она могла легко рассмеяться и так же легко всплакнуть, а через минуту опять быть веселой и беззаботной. Она остро чувствовала переживания и горе других и была способна сопереживать им. Одевалась просто, но со вкусом, всегда следила за собой, была подтянутой и деловитой.

Их отношения начались с того, что однажды, отправляясь на службу, Аденауэр дал соседке несколько советов по окучиванию кустов картофеля — та в это время с увлечением занималась именно этим производственным процессом на своем участке. Инструктаж несколько затянулся. Примерная дочь не преминула доложить родителям: «Сегодня у меня был долгий разговор с доктором Аденауэром». Через несколько дней — новая серия полезных советов. Разговоры через забор становились все более длительными. Мать начала проявлять признаки беспокойства, дочь ее успокоила: они обсуждают исключительно проблемы садоводства и огородничества.

Госпожа Цинссер была, разумеется, не настолько наивна,

чтобы принять эти слова за чистую монету. Ее подозрения оправдались: Гусей как бы между прочим объявила родителям о своем желании перейти в католичество. Все было ясно: их дочка влюбилась, и дело зашло, видимо, достаточно далеко, очевидно, сосед уже сделал что-то вроде предложения, оговорившись, что не может вступить в брак с лютеранкой. Это не очень походило на признание в любви, но для Гусей было все равно. «Он самый умный, самый деликатный, самый-самый мужчина из всех», — объявила она изумленной сестре, добавив после некоторого раздумья: «Он, ну и папа, конечно». «Как же это ты о пане вспомнила?» — не без яда отреагировала Лотта. Гусей всерьез обиделась.

Супруги Цинссеры (отец к тому времени благополучно вернулся из армии) начали обсуждать возникшую проблему. Мать предложила радикальное решение: Гусей надо поскорее отправить куда-нибудь подальше, чтобы образумилась. Доктор Аденауэр — это, конечно, друг семьи, большой человек, он приложил руку к тому, чтобы Фердинанд получил звание профессора и кафедру дерматологии в только что созданном Кёльнском университете (наверняка последнее было сказано вполголоса, может быть, даже шепотком: и стены имеют уши; возможно, при этом посплетничали и на тот счет, что сам бургомистр, инициатор и главная движущая сила в деле организации университета, не упустил случая получить от его ученого совета степень почетного доктора). Все это хорошо и говорит в пользу соискателя руки их дочери, но есть и препятствия: он почти вдвое старше, он никогда не сможет забыть покойной Эммы — ведь он так ее любил; их Гусей никогда не сможет ему ее заменить, да к тому же его дети никогда не примут ее в качестве матери. И наконец, разные конфессии: как их дочь, воспитанная в духе протестантского либерализма, сможет приспособиться к жестким канонам католичества?

Отец не возражал; было решено, что Гусей по крайней мере на полгода уедет из Кёльна, за это время она остынет и, Бог даст, найдет себе подходящего жениха. Родственники были в Вене и в Висбадене; ей предложили самой выбрать, куда ехать. Она остановилась на Висбадене. Все, казалось бы, шло, как было задумано. И тут произошло неожиданное: не прошло и нескольких недель, как Гусей вновь объявилась в доме родителей и, набравшись храбрости, сказала то, что и следовало ожидать от молодой влюбленной: «Я не могу без него». Родители больше не сопротивлялись. Последовала помолвка, затем обряд перехода в католичество; ее новым духовным пастырем стал брат Конрада Ганс. Гусей сразу активно включилась в женское католическое

движение.

Свадьба состоялась 25 сентября 1919 года. Церемония была подчеркнуто скромной: она состоялась не в каком-либо из кёльнских соборов, а в маленькой часовне госпиталя Святой Троицы; священником был все тот же Ганс Аденауэр, невеста была не в белом, а в скромном серебристо-сером платье, на последовавшее скромное угощение был приглашен только узкий круг ближайших родственников. Разговоры вращались вокруг темы возраста новобрачных: ему было сорок три, ей еще не исполнилось двадцати четырех.

Медового месяца не было: молодая пара провела всего два дня в бадгодесбергском отеле. Даже на это время Аденауэр не мог полностью отвлечься от дел: несколько раз к ним в отель приезжали чиновники из Кёльна с неотложными поручениями. «Лучше бы он перешел в садовники», — вздыхала новобрачная. По возвращении в Кёльн она вообще практически оказалась одна: муж целыми днями пропадал на работе, да еще частые поездки в Берлин.

Прислуга не хотела слушаться указаний «этой девчонки», а хуже всего было то, что поведение детей Конрада от первого брака, казалось, оправдывало наихудшие предсказания ее родителей. Теперь они должны были по идее звать своих прежних подружек Гусей и Лотту «мамой» и «тетей», однако ни Коко, ни Макс не собирались следовать этому правилу. «Я ее помню школьницей с ранцем за спиной, какая она мне мама?» — резонно высказался однажды старший. Вдобавок они не считали, что их мачеха отличается особым интеллектом, и предпочитали общаться с сестрой Эммы. «Миа и была наша приемная мать» — эти слова внук Аденауэра, Конрад, неоднократно слышал от своего отца.

Словом, брак начинался не на самой гармоничной ноте. Кто знает, что из этого всего вышло бы, если бы не характер Гусей. Терпение, тепло души, доброта — все это помогло ей справиться с проблемами, неожиданно обрушившимися на нее — именно неожиданно, поскольку соискатель ее руки не дал себе труда предупредить Гусей о них или как-то подготовить к трудностям, которые ее ждали. Таков уж был его обычный стиль. А что касается Гусей, то один из друзей семьи отозвался о ней следующим образом: «Меньше всего она думает о себе. В основном о Боге. А порой даже меньше о Боге, а больше о муже. Во всяком случае, в сердце на нервом месте уж точно муж». И впрямь: в страстном чувстве любви и обожания, которое она испытывала к Конраду, было что-то сказочное. Утром она не отходила от окна, пока его служебный автомобиль не скроется за

поворотом; не менее чем за полчаса до его предполагаемого возвращения к обеду или к ужину, она бросала все дела, делала заново прическу, тщательно подкрашивалась, обязательно надевала свежее платье или блузку. Вся жизнь ее была подчинена одному — ублажить супруга, сделать ему приятное.

Это была нелегкая задача. Прежде всего глава семьи не терпел никаких нарушений раз и навсегда определенного распорядка дня. Утром — завтрак вдвоем с Гусей, затем пятнадцатиминутная прогулка с собакой (Аденауэр ненавидел кошек, но любил собак; вначале у него была овчарка, но кто-то сказал ему, что это пошло, и он завел ротвейлера). Ровно в 8.45 машина отвозила его в ратушу. Ровно в 13.45 он приезжал на обед — на этот раз за столом должны были присутствовать и дети. После еды он обычно полчаса дремал — в спальне или на террасе, смотря по погоде. В 14.45 — снова на машине в ратушу до восьми вечера, порой он задерживался и дольше, в частности когда был какой-нибудь прием или банкет. Спать ложились не позднее 11 часов.

В родительском доме Гусей не привыкла к такой жесткой регламентации, в современной семье тем более ни одна жена не смогла бы выдержать такого режима, но молодую супругу Аденауэра это, видимо, устраивало. Хуже были резкие смены настроения у главы семейства. Он мог быть то добрым и благодушным, то вдруг становился придирчивым и злым до бешенства. Это он унаследовал от отца, который обычно вымещал свои служебные неприятности на домочадцах. У его сына, во всяком случае, поводов для стрессов и волнений было никак не меньше.

Пожалуй, меньше всего забот доставляли ему оккупанты. Трения, конечно, были. Губернатор и его люди реквизировали для своих нужд лучшие особняки и отели города, около сотни школьных зданий было занято под казармы. В гарнизоне процветало пьянство, особенно отличался в этом смысле младший командный состав. Однажды в январе 1919 года группа сильно выпивших молодых офицеров, громко гогоча, забралась на постаменты памятников кайзера Вильгельма и императрицы Августы, на головы скульптур были водружены ночные горшки. Имелись случаи грабежей, дорожных происшествий из-за несоблюдения правил движения военными водителями, стрельбы по мирным гражданам: патрули не церемонились в случаях, когда кто-нибудь медлил с выполнением команды «стой».

В условиях оккупации такого рода инциденты неизбежны, для их расследования и ликвидации в ратуше по инициативе Аденауэра был создан специальный отдел. Это было разумное

нововведение. К лету 1919 года отношения между оккупантами настолько улучшились, что визитеры из Лондона характеризовали их даже как «относительно дружественные». Свою роль сыграла отмена в июле существовавшего до того времени запрета на внеслужебные контакты с немцами. Солдаты, возвращавшиеся домой, говорили, что рейнландцы относились к ним не просто по-дружески, но и «тепло». В докладе, представленном британской администрацией министру иностранных дел лорду Керзону 24 марта 1922 года, отношения, сложившиеся с аппаратом бургомистра, определяются как «в целом удовлетворительные и гармоничные». Конечно, особой любви между оккупантами и оккупируемыми быть не может по определению, а в данном случае продовольственные трудности и рабочие волнения являли собой дополнительные причины для конфликтов.

Положительную роль сыграло образование гражданского Верховного комиссариата в Кобленце — межсоюзнического органа, в задачу которого входило наблюдение над деятельностью военных администраций во всех зонах оккупации. Одновременно с подписанием Версальского договора 26 июня 1919 года вошло в силу «Рейнское соглашение», которое предусматривало создание механизма консультаций между представителями оккупирующих держав и местными немецкими властями. Оно не содержало никаких гарантий гражданских прав местного населения или ограничений на свободу действий оккупантов, но все же это был прогресс.

Между англичанами и французами оставались серьезные разногласия, усилившиеся после того, как сенат США отказался ратифицировать Версальский договор и начался вывод американского оккупационного контингента. Французы поспешили занять их место и попытались даже добиться разрешения от англичан разместить часть своих войск в Кёльне: там, мол, имеются пустые казармы. Англичане ответили отказом, к радости бургомистра, который позволил себе выступить с открыто антифранцузским интервью парижскому журналу «Эклер». Это интервью привлекло к себе внимание составителей ежедневных обзоров прессы, предназначенных для британского правительства. В бюллетене от 24 марта 1920 года отмечено, в частности: «Он (Аденауэр) сказал, что Франция в отличие от такой политической (?) страны, как Англия, не хочет прийти к взаимопониманию с Германией… Франция просто ненавидит Германию как таковую».

Достигнув относительной стабильности во взаимоотношениях с оккупационными властями, Аденауэр

обращает свою энергию (а она теперь так и брызжет из него) на разработку генерального плана реконструкции и развития Кёльна. Выше уже упоминалось о создании университета, по мысли бургомистра он должен был стать достойным конкурентом прославленной Боннской альма-матер. Но его замыслы этим не ограничивались, тем более что, как ни парадоксально, поражение Германии в войне открыло для его родного города неожиданные благоприятные перспективы.

Победители потребовали разрушить фортификационные сооружения вокруг Кёльна. Аденауэр решил воспользоваться этим, чтобы реквизировать занимаемые ими участки в пользу города и создать «зеленый пояс» в дополнение к тому, что когда-то был создан при его предшественнике Беккере на месте снесенной городской стены. Победители объявили незаконными субсидии, которые выдавались государством железным дорогам, чтобы удерживать на низком уровне тарифы на грузовые перевозки к портовым терминалам Гамбурга и Бремена. Аденауэр понял, что появилась возможность превратить Кёльн в главный центр не только речной, но и морской торговли, через который пойдет основной ноток немецкого экспорта из Рейнланда, надо лишь построить новый большой порт, углубить рейнский фарватер, создать соответствующую инфраструктуру и т.д. Эти два больших проекта — «зеленый пояс» и новый порт — были связаны с третьим, который предусматривал включение в городскую черту еще одного района правобережья — Воррингена; Аденауэр исходил опять-таки из правильного прогноза о том, что главный вектор экономического развития кёльнского региона в послевоенный период будет направлен не на запад, а на восток.

Размах плана требовал опытного и творчески мыслящего архитектора. Аденауэр решил пригласить на эту роль Фрица Шумахера — человека, ранее посвятившего себя развитию городского хозяйства Гамбурга, но ныне лишенного возможностей применить свои способности на благо родного города (как уже отмечалось, из-за навязанных победителями условий приморские порты Германии были обречены на упадок). Шумахер принял переданное ему предложение и согласился перевести свое бюро в Кёльн — пока временно, на три года. Аденауэр не скрывал от него возможных препятствий к реализации намеченных планов: последнее слово принадлежит англичанам, налицо высокая безработица, ресурсы Рура остаются вне пределов досягаемости, марка начинает падать… Шумахер позднее признавал, что ему самому представлялось, что он имеет дело не с реальным проектом, а с чем-то напоминающим мыльные пузыри. И все-таки он решился — и не пожалел.

Проблемы не заставили себя ждать. Заседавший в Кобленце Верховный комиссариат союзников упорно настаивал на том, чтобы развалины взорванных фортов не; убирались, а были оставлены на месте в качестве назидания потомкам. После того, как удалось переубедить оккупантов, поднялась местная оппозиция: на лакомые куски земли нашлось немало охотников. Из Берлина шли директивы, одна противоречивее другой. Единственным позитивным моментом оказалась контролируемая инфляция: в 1920-м — первой половине 1921 года марка еще не рухнула, а постепенно дешевела, что делало германские активы привлекательными для иностранных инвесторов.

8 июня 1920 года Аденауэр опубликовал в «Кельнер штадтанцейгер» программную статью с изложением своего видения будущего города. Альтернатива была сформулирована четко и убедительно: Кёльн станет либо «гигантской каменной пустыней», либо «городом, где жители будут вести жизнь, достойную человеческого существа». Однако оппозиция не унималась. Тон выступлений в городском собрании изменился: если раньше Аденауэра называли «утопистом», то теперь уже о нем отзывались как о «безответственном игроке», «спекулянте», «самом расточительном из всех немецких бургомистров». Против него и Шумахера выступали не только те, кто представлял интересы частных торговцев недвижимостью; когда он объявил о плане строительства большого стадиона на западной окраине города, в Мюнгерсдорфе, многие стали задавать резонные вопросы типа того, а не лучше ли употребить средства на закупку продуктов и на строительство жилья. Аденауэр гнул свое, не обращая внимания на критиков. Шумахер позднее говорил, что в прежние времена Аденауэр вполне мог бы стать одним из отцов церкви; во всяком случае, он не уступал первым христианским проповедникам ни силой характера, ни уверенностью в правоте своего дела.

Почти фанатичная увлеченность Аденауэра урбанистическими проектами тем более поражает, что ник его активности на этом направлении совпал с периодом трудных испытаний, которым подверглась его новая семья. Весной 1920 года Гусей, находившуюся тогда на последних месяцах беременности, постиг неожиданный и серьезный недуг. Врач поставил неутешительный диагноз: почечная недостаточность. Словно какой-то рок висел над семьей: то же самое нашли в свое время и у Эммы. К счастью, все обошлось, приступ удалось купировать. 4 июня Гусей родила мальчика, но новорожденный оказался очень слабеньким, практически нежизнеспособным. Его поспешили окрестить, сестра Гусей, Лотта, сама медицинская

сестра; переехала к ним, чтобы помочь в уходе за маленьким Фердинандом (так назвали новорожденного, очевидно, в честь тестя) и матерью, еще тоже не оправившейся от родов. Сам Конрад был готов просиживать у постели жены дни и ночи, но ему то и дело приходилось отлучаться: дела в ратуше не отпускали.

Всего через три дня наступила печальная развязка. Вернувшись вечером домой, Аденауэр обнаружил уснувшую рядом с колыбелькой маленького Фердинанда сиделку. Он отослал отдохнуть явно уставшую женщину и сам присел на ее место. К полуночи ребенок стал задыхаться. Аденауэр позвонил врачу, попросил срочно приехать, тот дал понять, что приехал бы, если бы от этого была хоть какая-то польза. Отец вернулся к колыбели, взял ребенка на руки. Через некоторое время его дыхание оборвалось, все было кончено. Жена, полностью обессиленная, спала в соседней комнате, вернее сказать, временами проваливалась в забытье. Она проснулась, когда муж появился на пороге. Он не произнес ни слова. Гусей сама выговорила, полуутвердительно-полувопросительно: «Умер». Аденауэр кивнул, сел на край ее постели и взял ее за руку. Оба молчали.

Утром несколько раз приезжали курьеры из ратуши: срочно требовалось его присутствие. В конце концов он уехал. Было утро 8 июня 1920 года, и это был момент, когда в политической жизни Германии наступил крутой поворот. Двумя днями раньше, 6 июня, состоялись первые выборы в рейхстаг по новой, лишь полтора года назад принятой конституции Веймарской республики. Всего за несколько месяцев до этого был ратифицирован Версальский договор. Политическое положение в стране обострилось. Армия не могла смириться с унизительными условиями мира. Правительство Эберта, которое пыталось более или менее лояльно выполнять эти условия, стало мишенью всевозможных нападок и заговоров. Возник так называемый «фрейкор» — незаконные вооруженные формирования, если выражаться современным языком.

В марте 1920 года напряженность переросла в первый серьезный политический кризис. Два отряда «фрейкора» — балтийская бригада и 2-я морская бригада — должны были немедленно самораспуститься; приказ об этом был издан правительством по требованию союзников, грозивших санкциями за нарушение условий мира. Командующий «морской бригадой», капитан Герман Эрхардт фон Дебериц, отказался повиноваться и обратился за поддержкой к командующему берлинским военным округом генералу фон Люттвицу. Отличавшийся

непредсказуемостью генерал вместе с неким восточнопрусским политиком по имени Вольфганг Капп, личностью темной и отнюдь не семи пядей во лбу, приняли оригинальное решение: предпринять марш на Берлин. Осуществить его должна была упомянутая бригада Эрхардта, который не колеблясь согласился исполнить возложенную на него миссию.

Столица была захвачена заговорщиками без единого выстрела. Генерал Сект, фактический главнокомандующий рейхсвера, заявил, что немецкие солдаты ни при каких обстоятельствах не будут стрелять в своих фронтовых товарищей. Эберт в этих условиях сделал самое разумное: правительство покинуло Берлин, переехав вначале в Дрезден, а затем в Штутгарт. Оттуда оно обратилось к правительственным служащим и рабочему классу с призывом к всеобщей забастовке в защиту республики. Далеко не все чиновники последовали этому призыву, зато рабочий класс проявил редкое единодушие. Стачка парализовала страну. Поскольку ни Капп, ни Люттвиц не имели ни малейшего понятия о том, как распорядиться оказавшейся в их руках властью, все кончилось трагикомедией. Правительство национального единства, образованное 13 марта, не продержалось и четырех дней. Однако армия стачечников, воодушевленная успехом, начала приобретать черты армии в подлинном смысле слова. К 20 марта части «Красной Армии» захватили главные центры Рура и распространили свой контроль вплоть до пригородов Дюссельдорфа. Генерал Сект, который не допускал и мысли об использовании армии против правых повстанцев, без колебаний бросил войска для подавления левых мятежников. «Красноармейцы» были разгромлены. Урок очевиден: армия проявила себя не как орудие гражданской власти, а как независимая сила, готовая вмешаться тогда и только тогда, когда это диктовалось ее собственными представлениями об ответственности перед обществом.

В нормальных обстоятельствах электорат должен был, казалось, сплотиться вокруг правительства, подвергшегося столь грубому насилию и успешно отразившего попытку государственного переворота. Но ситуация была, увы, далека от нормальной. Выборы показали, что правители не пользуются доверием народа. Социал-демократическая партия Эберта, представители которой возглавляли до этого все кабинеты веймарского периода, потерпела сокрушительное поражение: если в 1919 году за ее кандидатов было подано 11,5 млн. голосов, то в середине 1920-го их электорат упал до 6,1 млн. Новым канцлером стал один из старейших деятелей партии Центра, Константин Фе-ренбах.

Кёльнский бургомистр внимательно следил за этими тектоническими сдвигами в общегерманской политике, и даже рождение и смерть ребенка не могли отвлечь его от размышлений о том, что они означают для его собственной карьеры. После того как стало известно, что правительство будет возглавлять представитель той партии, к которой принадлежал он сам, бургомистр одного из крупнейших городов Германии, наш герой сделал напрашивающийся вывод: нора выходить на общегерманскую сцену.

ГЛАВА 3.
РЕПАРАЦИОННЫЙ КРИЗИС

«Вы слишком торопитесь, господин Мейер, к цели вас это не приблизит»[12]

В архивных делах английского МИДа сохранился любопытный документ, никогда ранее не привлекавший внимания исследователей: датированная 18 маем 1921 года «информация о беседе между представителем Комиссариата в Кёльне и обер-бургомистром Кёльна д-ром Аденауэром». Информация, снабженная препроводительным письмом британского Верховного комиссара Арнольда Робертсона, пошла «на самый верх» — не кому-либо, а самому министру иностранных дел лорду Керзону. Робертсон так же, как и его предшественник, лорд Гарольд Стюарт, хорошо знал немецких политиков и знал, на кого опереться в борьбе против французов, пытавшихся навязать свою линию в вопросах германской политики. Именно в этом аспекте его заинтересовала поступившая из Кёльна запись беседы.

Керзон, со своей стороны, не только внимательно прочитал присланный документ, но и счел его содержание настолько важным, что решил ознакомить с ним членов кабинета и даже короля Георга V. Более того, он лично написал к нему аннотацию, в которой зафиксированные там высказывания Аденауэра получили не столь часто встречающуюся характеристику «примечательного признания». Министр иностранных дел даже несколько усилил формулировку, которую употребил автор записи беседы — руководитель кёльнского представительства аппарата Верховного комиссара Джулиан Пиггот; тот не употреблял эпитета «примечательное». Что же такого сенсационного высказал Аденауэр, чтобы вызвать такую реакцию в высших лондонских кругах?

Кёльнский бургомистр, как обычно, жаловался на французов, но это уже было не ново, как и его попытки посеять рознь между победителями. «Самым интересным моментом в беседе, — отмечает Пиггот, — было откровенное признание со стороны д-ра Аденауэра того факта, что Германия за последние два года не приложила достаточно усилий, чтобы выполнить обязательства, наложенные на нее мирным договором». Причина этого — крайняя слабость сменявших друг друга кабинетов центрального правительства. «Единственное спасение для Германии состоит в

создании правительства, которое располагало бы почти диктаторскими полномочиями» — так передает британский дипломат мысли своего немецкого собеседника. Хорош патриот, который играет роль доносчика на собственное правительство! Хорош демократ, который взывает к диктатуре!

Впрочем, чтобы получше понять контекст, на фоне которого происходила эта поистине «примечательная» беседа, нам придется поподробнее рассмотреть сложившуюся тогда в германском вопросе ситуацию. Обязательства, которые имел в виду Аденауэр, — это были, по сути, обязательства Германии платить союзникам репарации за ущерб, понесенный ими от развязанной немцами войны. Проблема размеров и методов платежей была предметом острых дискуссий между победителями и побежденными. Более того, единства по этому вопросу не было и между союзниками, что выявилось еще во время работы Парижской мирной конференции. По словам одного американского наблюдателя, «некоторые делегаты хотели вообще уничтожить Германию, некоторые — добиться от нее репараций, а некоторые — и того, и другого сразу. Некоторые хотели взять с Германии больше, чем она физически могла дать, некоторые вообще предлагали оригинальную схему, по которой вначале Германия должна была отдать весь свой капитал, все активы, а лишь потом следовало начать обсуждать размер репараций, хотя какие выплаты можно было бы ожидать от нищей страны?»

В конечном счете комиссия по репарациям, образованная в августе 1919 года, к маю 1920 года представила доклад с рекомендациями относительно порядка и метода платежей репараций. Впредь до установления окончательной суммы Германия должна была выплатить 20 миллиардов золотых марок (привязанных к доллару в соотношении 4,1 марки за доллар) в виде первого взноса. Часть платежа союзники изъявляли готовность получить в виде товарных поставок — угля, химикатов, строевого леса. В принципе это было приемлемое решение, однако капповский путч и последовавшая забастовка вызвали перерыв в поставках. К середине 1920 года Германия находилась в состоянии фактического дефолта. Для поисков выхода из положения была созвана международная конференция. Она проходила в июле 1920 года в бельгийском городе Спа и закончилась полным фиаско.

Порой такой исход объясняют плохой подготовкой конференции и отсутствием единства не только между союзниками, но и внутри каждой делегации. Действительно, если говорить о британской, то ее руководители, премьер Ллойд-Джордж и министр иностранных дел Керзон, были полной

противоположностью друг другу; первый был олицетворением «торгашеской бесцеремонности», второй — «аристократического достоинства» (впрочем, эта характеристика, принадлежащая биографу Керзона, несколько пристрастна). При всем при том оба все же сумели выработать что-то вроде общей позиции, которая сводилась к тому, что с немцами надо найти какой-то компромисс. Французская позиция тоже была не столь железобетонной, как ранее: у руля руководства тогда был Александр Мильеран, который считался приверженцем мягкого курса: он сам подчеркивал отличие своих взглядов от тех, которые были характерны для Клемансо или Пуанкаре. Правда, не ясно было, сможет ли Мильеран достаточно твердо провести этот свой курс. Тем не менее перспективы на взаимоприемлемое решение имелись.

Все испортила германская делегация. Один вид ее чего стоил: к канцлеру Ференбаху и министру иностранных дел Вальтеру Симмонсу особых претензий не было, но зачем-то включенный в делегацию генерал Сект и сопровождавшая его группа военных демонстративно явились в полной парадной форме с орденами, полученными за свои «подвиги» в последней войне. Для союзников это было как красная тряпка для быка. Мало того, прибывший в Спа в качестве эксперта известный рурский магнат Гуго Стиннес не нашел ничего лучшего, как выступить с длинной речью по поводу того, что победители, мол, совсем обнаглели и т.п. Если учесть еще манеру, в которой Стиннес изложил эти свои, мягко говоря, упреки — он скорее не говорил, а рявкал, как строгий учитель на провинившихся школьников, — то можно понять реакцию англичан и французов. С их стороны последовало заявление, что, если дефицит в поставках угля не будет погашен в течение семидесяти двух часов, они попросту оккупируют Рур. Последовал шумный обмен взаимными обвинениями и угрозами; в конечном счете ультиматум был отозван, однако климат на конференции был безнадежно испорчен, почвы для компромисса уже не было.

Последовал еще ряд бесплодных конференций, на которых не удалось добиться какого-либо сближения взглядов.

В конце апреля 1921 года комиссия по репарациям представила новый доклад. Содержавшиеся в нем рекомендации предусматривали удовлетворение репарационных претензий победителей путем выпуска трех видов облигаций с разными сроками погашения и на разные — но равным образом чудовищно огромные — суммы. Схема была исключительно сложна, и в ней было нелегко разобраться даже эксперту. Смысл ее заключался, в общем, в том, что Германия должна была выплатить в общей

сложности 12,5 миллиарда долларов, что по тогдашнему курсу составляло 750 миллиардов марок. Представляя этот счет германскому правительству 5 мая 1921 года, союзники потребовали не только его безоговорочного принятия, но и немедленного (в течение 25 дней) перевода на их счета 250 миллионов долларов. Правительство Ференбаха обратилось к США с просьбой о посредничестве, но Вашингтон ответил отказом. Немцам пришлось срочно покупать доллары на свободном рынке и занимать их у собственных банков; ослабленная марка не могла выдержать такого давления, инфляция приняла катастрофические масштабы. Правительство, не желая брать ответственность за последствия своего решения принять требования союзников, подало в отставку.

Для Аденауэра эта ситуация обернулась таким образом, что он чуть-чуть не стал канцлером — за двадцать восемь лет до того, как это действительно случилось. События развертывались следующим образом: 9 мая фракция Центра в рейхстаге собралась для обсуждения кандидатуры преемника Ференбаха. Это было логично: ушедший канцлер был членом их партии, и они имели право первыми высказать свое мнение о том, кто должен стать следующим. Правда, Центр вместе с Баварской народной партией имел всего 85 мандатов из 452, так что речь могла идти только о коалиционном правительстве. Вопрос был, с кем идти на коалицию. С социал-демократами? Но их фракция была больше — 102 мандата. Пойдут ли левые на то, чтобы поддержать католиков, не подомнут ли их под себя, воспользовавшись тем, что их больше? С правыми? Их партии — Национально-народная и просто Народная (наследница старой Национал-либеральной) — имели каждая в отдельности менее сильные фракции (соответственно 71 и 65 мандатов), но, взятые вместе, они опять-таки оставили бы Центр в меньшинстве. Выбор был нелегким.

С идеологической точки зрения Центр тоже был как бы на распутье. Официальная его доктрина объединяла приверженность порядку с принципом социальной ответственности; первое роднило их с правыми, второе — с левыми. Партия Центра стала как бы осью, вокруг которой шло коловращение политической сцены Веймарской республики. Первый такой поворот как раз и пришелся на май 1921 года.

Тогда руководство Центра выбрало все-таки левоцентристский вариант. Выступивший на упомянутом заседании фракции 9 мая Генрих Брауне, который в правительстве Ференбаха занимал пост министра труда (и который был, кстати, родом из Кёльна), предложил образовать правительство в коалиции с социал-демократами и поручить его

формирование не кому иному, как Конраду Аденауэру. Это не было импровизацией: Аденауэр, который в это время тоже оказался в Берлине, на обеде, состоявшемся до заседания фракции, уже был проинформирован об этой идее и согласился ее обдумать.

На следующее утро в игру вступил сам президент Эберт. До него дошли слухи, что его собственная партия, социал-демократическая, не склонна идти на коалицию с Центром в том виде, как это имел в виду Брауне. Он попытался переубедить руководителей СДПГ: Германии нужно правительство, и немедленно, если они будут артачиться, он просто подаст в отставку.

Трудно сказать, чем бы это все могло кончиться, если бы не странное поведение самого кандидата в канцлеры. Конечно, заявил он после некоторых размышлений, он был бы готов принять предложение канцлерства, это большая честь, но… Аденауэр был вообще большой мастер на эти «но», и в данном случае постарался нагромоздить столько предварительных условий своего окончательного согласия, что это обрекло весь план на неудачу. Более того, он умудрился испортить отношения со всеми. Он заявил, что канцлер должен иметь полную свободу в подборе министров, и это не очень понравилось его собственной партии. Он заявил, что «надо прекратить всякие разговоры о социализации», и это соответственно не могло понравиться социал-демократам. Наконец, он заявил, что ради сбалансированного бюджета следовало бы пойти на замену восьмичасового рабочего дня девятичасовым, а это не понравилось уже вообще никому.

Кандидатура Аденауэра отпала сама собой. Коалиционное правительство с участием социал-демократов возглавил другой представитель партии Центра — Йозеф Вирт. Тем не менее вряд ли можно говорить о том, что Аденауэр потерпел поражение. Он теперь получил возможность выстроить для себя неплохой имидж: честный политик, способный откровенно излагать неприятные истины, не стремящийся к власти любыми методами, не гоняющийся за дешевой популярностью. Конечно, против такой самохарактеристики имелись и контраргументы, но какое-то воздействие на общественность она могла оказать. Помимо всего прочего, просто хотя бы на какое-то время котироваться в качестве возможного главы германского правительства — это было для провинциального политика огромным прорывом. Думается, внутренне Аденауэр был даже счастлив, что канцлерство в тех условиях ему не досталось. Он не был большим специалистом в экономике, но и полный профан не мог не

понимать, что состояние дел таково, что пока лучше не брать на себя тяжелый груз ответственности за управление страной.

Кстати сказать, того, ради чего Аденауэр тогда приехал в Берлин, он как раз и добился. Он был избран председателем Государственного совета Пруссии — крупнейшего государственного образования из тех, что составляли федеральную структуру Германского рейха. Это был новый орган власти, заменивший собою старую верхнюю палату, именовавшуюся при Вильгельме «Палатой господ». Государственный совет ежегодно переизбирался, но не прямым голосованием избирателей, а собранием представителей прусских провинций, из расчета один депутат на 500 тысяч человек при минимальном составе делегаций в три человека. Общая численность палаты колебалась в пределах 75–80 человек, заседали они в старом здании «Палаты господ», недалеко от Потсдамер-платц.

По сути, этот представительный орган мало что решал. «Юридическая конструкция без плоти и крови» — так отзывался о нем один из комментаторов. Проблемы обсуждались сугубо прусские, отнюдь не общегерманские, резолюции принимались расплывчатые, декларативные. Тем не менее сессии проходили регулярно, по два — пять дней каждый месяц, это давало отличную возможность членам совета, особенно из руководящей верхушки, наладить полезные контакты с власть имущими.

Выборы председателя Государственного совета прошли 7 мая 1921 года. Им предшествовала довольно активная закулисная борьба. Социал-демократы располагали относительным большинством, но его недоставало, чтобы претендовать на пост председателя. Бургомистр одного из крупнейших городов, давний деятель партии Центра, Аденауэр представлялся идеальной фигурой, вокруг которой мог сплотиться правый картель. Он легко получил необходимый вотум голосов и впоследствии столь же легко проходил процедуру ежегодных перевыборов, оставаясь на этом посту на протяжении последующих двенадцати лет.

Примечательный разговор с Джулианом Пигготом, о котором шла речь в начале главы, состоялся как раз сразу после возвращения нашего героя в Кёльн после описанной берлинской интермедии. Содержание его высказываний отражало сложившиеся у него опасения по поводу возможной оккупации Рура союзниками и представления о том, на кого в данной ситуации можно было бы опереться. Франция явно отпадала: она больше всего была заинтересована в ресурсах Рура, в том, чтобы переориентировать его экономику на себя и на Бельгию. Кёльн в этом случае оказался бы банкротом. Единственное спасение

Аденауэр видел в англичанах: только они могли воспрепятствовать жесткому курсу в отношении Германии, и только они могли бы оказать помощь Кёльну в условиях, если бы этот курс все-таки стал реальностью. Поэтому он готов был пойти достаточно далеко в признании того, что вина за обострение напряженности лежит на немецкой стороне, что союзники, «как и весь остальной мир, имеют основания не доверять доброй воле Германии». Англичан следовало любым способом улестить, а что касается своего собственного центрального правительства, то оно было настолько слабо, что ожидать от него какой-либо поддержки не приходилось, репрессий тоже, так что можно было вполне безнаказанно возводить на него какую угодно хулу. Аденауэр при этом прозрачно намекал, что он распорядился бы властью гораздо лучше, чем главы сменявших друг друга берлинских кабинетов.

В Кёльне на вернувшегося из Берлина бургомистра снова обрушился груз повседневных проблем. Оккупационный режим, казалось бы, нормализовался. В политическом отчете за 1921 год, подготовленном в аппарате британского Верховного комиссара в Кобленце, говорится, в частности: «Обер-бургомистр Кёльна д-р Аденауэр является компетентным чиновником… Его действия лишь в редких случаях давали основания для выражения недовольства с нашей стороны… Германские чиновники и граждане Кёльна демонстрируют значительный потенциал доверия к британским властям, чему способствует примерная дисциплинированность британских военнослужащих и корректное поведение британского гражданского персонала».

Нетрудно заметить несколько покровительственное отношение автора или авторов отчета (подписан он был заместителем Верховного комиссара полковником Райаном) к Аденауэру, да и описание отношений между оккупантами и местными жителями грешит некоторой лакировкой. До ратификации Версальского договора общение между английскими военными и горожанами имело крайне ограниченный, а потому и малоконфликтный характер. Гарнизон жил своей жизнью, отгороженный от.внешнего мира: свои футбольные матчи, свои крикетные площадки и т.п. Однако затем стали прибывать семьи. Это отразилось на облике города. Он приобрел специфические черты английского образа жизни. На улицах появились отряды бойскаутов (и их девичьи эквиваленты), на Франкштрассе начала действовать английская школа, на Хоэштрассе — большой магазин для англичан. Возникли специфически английские питейные заведения и булочные с традиционным британским ассортиментом. К началу 1921 года британская колония насчитывала уже около пятнадцати тысяч

человек и начались естественные трения, как это всегда бывает при столкновении разных культур.

Особенно много конфликтов возникало на почве жилищного вопроса. Английские семьи обычно располагались во временно реквизированных помещениях особняков или больших квартир. Их хозяева при этом либо выселялись, либо «уплотнялись». Это само по себе не вызывало восторга с их стороны, но хуже того: аккуратные немки просто-таки не могли вынести, как жильцы обращаются с их мебелью и кухонной утварью. «Бюро но делам оккупации» было буквально завалено жалобами на вандализм оккупантов и членов их семей. Что касается солдат, то они просто изнывали от безделья, и это соответственно сказывалось на нравах. «Эти зеленые юнцы напиваются до посинения», — для Корбетт Эшби, присланной из Лондона инспектировать медсанчасть гарнизона, это было самое яркое впечатление. Угрожающие размеры приняла проституция. Были и чрезвычайные происшествия: то чиновник оккупационной администрации зарезал любовницу-немку, то офицер ни с того ни с сего открыл огонь по группе ребят, один из которых был смертельно ранен, а в мае 1921 года один прохожий, немец, который попытался разнять дерущихся парней, попал под арест за «нападение на сына сержанта британской армии».

Единственным выходом было по возможности изолировать английскую колонию от населения. С одобрения английских властей Аденауэр начал строительство специального военного городка, куда предполагалось заселить семьи офицеров гарнизона и чиновников оккупационной администрации. Решение не вызвало со стороны кёльнцев особого восторга: к тому времени в городе было около двенадцати тысяч бездомных, и многие говорили, что жилище надо строить именно для них, а не для оккупантов. Кстати сказать, примерно две с половиной тысячи британских военнослужащих, подлежавших демобилизации, объявили о своем решении остаться в Кёльне и не возвращаться на родину, и это тоже создало определенную проблему. Наконец, появилась еще одна странная категория населения — англизированные репатрианты. Речь шла о тех, кто провел несколько лет в английском плену и, общаясь с англичанами, успел за это время даже подзабыть родной язык; во всяком случае, эти репатрианты, образовавшие в Кёльне своеобразное землячество, разговаривали между собой исключительно по-английски и в основном о том, как там было и что там сейчас «дома», то есть в Великобритании. Между ними и местными патриотами тоже возникали конфликты, и бургомистру приходилось ими заниматься.

Ухудшились его отношения с местными социал-демократами. Когда до тех дошли слухи об условиях, которые Аденауэр выставил при обсуждении своей кандидатуры на канцлерство, особенно о его требовании отменить восьмичасовой рабочий день, это вызвало бурю возмущения. Профсоюз трамвайщиков охарактеризовал высказывания Аденауэра как «объявление войны германскому пролетариату», социал-демократическая фракция в городском собрании потребовала от бургомистра объяснений. Аденауэр счел, что лучший вид обороны — это наступление: трамвайщики, заявил он, проявили недисциплинированность; они городские служащие, он их непосредственный начальник, они должны были прийти к нему и обсудить беспокоящие их проблемы, а не заниматься демагогией. Что касается удлинения рабочего дня, то как иначе Германия сможет выплатить репарации? По его словам, «германский рабочий класс заинтересован прежде всего в том, чтобы была сама Германия», и ради нее должен пойти на временную модификацию пункта о восьмичасовом рабочем дне.

1919–1923 годы были для Кёльна периодом строительного бума. Быстрыми темпами претворялась в жизнь программа, которую бургомистр разработал вместе с архитектором Шумахером: университет, музыкальная школа, внутреннее городское кольцо, выставочный комплекс в Дейце, новый порт в пригороде Кёльна Ниле. Заложен был «зеленый пояс» — предмет особой гордости Аденауэра. Приток инвестиций способствовал созданию новых промышленных предприятий и расширению уже существующих.

Чтобы обеспечить финансовые вливания в регион, Аденауэр всячески обхаживал рейнских промышленных баронов: Клекнера, Тиссена, ну и, конечно, старого своего спонсора Луиса Хагена. Он даже рискнул пойти на тесный контакт с такой, мягко говоря, неоднозначной фигурой, как Гуго Стиннес. Выше уже упоминалось о нетактичном поведении этого магната на конференции в Спа. Его репутация еще раньше была подмочена откровенными призывами к широким аннексиям бельгийской территории, с которыми он громогласно выступал во время войны. Однако Аденауэра привлекала идея интеграции угольной и сталелитейной промышленности Рура, Саара, Люксембурга, Бельгии и восточной Франции, которую также пропагандировал Стиннес (из всех его идей эта была действительно, пожалуй, наименее безумная). Кёльн оказывался как бы естественным центром такого объединения, и это объясняет интерес его бургомистра к подобного рода планам. Для социал-демократов это была еще одна причина для атак на Аденауэра: Стиннес был в

их представлении настоящим исчадием ада, чем-то вроде воплощения мирового зла.

Впрочем, несмотря на все обхаживания олигархов, денег не хватало, особенно если учесть набиравшую теми инфляцию. Финансовые проблемы города обострились в результате проведенной в конце войны налоговой реформы. Новая система переносила центр тяжести с косвенных на прямые налоги, причем ставки их определял центр, и туда же поступала вся собранная денежная масса. Из этого централизованного фонда, составлявшего примерно 60% всех налоговых поступлений, шло затем финансирование отдельных земель и общин. Явные недостатки системы состояли в том,, что она вела к бесконечным спорам между центром и регионами о том, сколько кому выделить, а кроме того, поскольку квоты каждый год определялись заново, никто не мог быть уверен в стабильности своего бюджета.

Для рейнландцев инфляция на первых порах обернулась известными преимуществами: к ним хлынул поток визитеров из-за рубежа, которые спешили обменять свои деньги на марки и скупали на них местные товары. Курс обмена был для них выгоден, рост цен слегка отставал от темпа инфляции, и они делали на этих операциях неплохой гешефт. Местный бюджет, в свою очередь, пополнялся за счет налога с продаж. Разумеется, приток зарубежных покупателей зависел от колебаний курса марки; в общем, она падала (в июле 1921 года за доллар давали 76,6 марки, к январе — уже 191,8), но были и периоды, когда падение приостанавливалось и марка на время даже «тяжелела». В ноябре, когда был зафиксирован самый низкий ее курс, Кёльн подвергся настоящему нашествию голландцев, бельгийцев и датчан, которые буквально сметали все с полок. Власти с согласия Верховного комиссариата ввели ограничения на отпуск иностранцам продовольственных товаров и одежды, чтобы предотвратить дефицит или скачкообразный рост цен, но эта мера имела и обратную сторону: уменьшились поступления от налога с продаж.

Поступлений от таможенных сборов не было вовсе; таможня всегда подчинялась центральной власти, но на оккупированной территории ее юрисдикция не действовала. Дефицит местного бюджета теоретически должен был покрываться займами от Рейхсбанка, но никогда нельзя было сказать наверняка, когда поступят субсидии из центра, в каком количестве и поступят ли вообще. Именно финансовые проблемы города побудили Аденауэра выступить со своей первой отчетливо антипрусской речью. Объясняя депутатам городского собрания причины

плачевного состояния городского бюджета, он заявил, в частности: «Пруссия планирует новое наступление на финансы общин. Что она сделала? Она отдала рейху все железные дороги — отрасль весьма прибыльную, зато оставила за собой обязательство платить за них их долги. А чтобы их заплатить, она повысила в свою пользу процент отчисления от подоходного налога». В результате, продолжал Аденауэр, ему нечем оплачивать жилищное строительство, и вообще существующую систему финансовых отношений между Берлином и регионами «нельзя далее терпеть». «Самое лучшее в нынешних условиях — это купить имение и стать прусским помещиком», — съязвил он под конец. В устах председателя Государственного совета Пруссии это была весьма смелая шутка.

Речь Аденауэра произвела фурор. Она дала дополнительные аргументы тем, кто утверждал, что все беды Рейнланда идут от Пруссии, что стоит только разорвать связывающую с ней пуповину, как сразу все волшебно переменится: оккупанты уйдут, и вместо этого на провинцию прольется золотой дождь зарубежной помощи. Именно такими идеями руководствовались по крайней мере промышленные магнаты Рейнланда. Они, эти идеи, получили особо широкое хождение после того, как во главе французского правительства в январе 1922 года оказался явный «ястреб» — Раймон Пуанкаре. Он не оставил никаких сомнений, что будет добиваться беспрекословного выполнения немцами всех без исключения статей Версальского договора — от первой до последней. Неудачный исход Генуэзской конференции и падение в ноябре того же года кабинета Вирта, казалось, подтверждали правоту олигархов. Как было отмечено в очередной сводке составлявшихся в Форин офис «Обзоров ситуации в Центральной Европе» за 2 ноября 1922 года, «директор крупнейшего вестфальского промышленного концерна выразил обоснованное мнение, что не позднее чем через год французы добьются реализации своей цели — создания буферного государства в Рейнланде». Характерно, что авторы обзора не просто воспроизвели это мнение, но и назвали его обоснованным.

Политики двигались как но тонкому льду: одно неловкое движение могло вызвать катастрофические последствия. Между тем особой ловкости от нового главы центрального германского правительства, Вильгельма Куно, бывшего директора судоходной компании ГАПАГ, было трудно ожидать. Близилась развязка.

Разные представители немецкой деловой и политической элиты предлагали разные рецепты противодействия французским замыслам. В донесении, направленном в Лондон 12 декабря 1922 года, упомянутый Джулиан Пиггот сообщал о трех таких

рецептах, которые были изложены ему их авторами в ходе трех доверительных бесед, состоявшихся за день до этого. Первый был представлен д-ром Карлом Мюллером, председателем Союза работодателей Рейнланда. В записи Пиггота это выглядело так: «Перед лицом предстоящей оккупации Рура французами, которая наверняка вызовет бурю возмущения в Германии, рейх должен будет сосредоточиться на восстановлении России, чтобы затем повести «освободительную войну» совместно с ней». Мюллер заявил о том, что немцы вынуждены будут с этой целью вступить в переговоры с Советами. За этими идеями вряд ли скрывался какой-либо серьезный план, скорее речь шла о том, чтобы попугать союзников.

Другой вариант изложил близкий друг Стиннеса, д-р Пауль Сильверберг. По его мнению, оккупация Рура в конечном счете «привела бы к достижению взаимопонимания между французскими и немецкими промышленниками — без Англии и против нее». Он сам, Стиннес и Клекнер готовы в любой момент выехать в Париж и «вступить в прямые переговоры относительно репараций». Проект отдавал явно авантюрным духом: два-три олигарха вряд ли сумели бы распутать туго затянутый политиками узел.

Третий выход предложил наш герой. Он констатировал, что целью французской политики является «расчленение Германского рейха», и в качестве единственного средства противодействия этим замыслам выдвинул свою старую идею, сформулированную еще в 1919 году: создать в рамках рейха Рейнско-Вестфальское государство. Аденауэр посоветовал Пигготу использовать все его влияние, чтобы побудить президента Эберта и правительство Куно выступить с соответствующей инициативой: только это сможет остановить Пуанкаре.

Для самого Пиггота наиболее важным представлялось то, что, по его мнению, объединяло все три проекта: «большое значение, которое все три моих собеседника придавали сохранению британской оккупации Кёльна». Английские гарнизоны — это «последний оплот западных немцев против наполеоновских планов французского правительства». Верно: англичане не имели оснований для одобрительного отношения к агрессивной антигерманской политике Пуанкаре, однако они не собирались портить с ним из-за этого отношения, тем более что в это время в Лозанне проходили весьма деликатные переговоры по Ближнему Востоку.

В результате Пуанкаре получил зеленый свет, хотя даже бельгийцы, столь пострадавшие от немецкого нашествия, испытывали сомнения в мудрости радикального решения.

События развивались в убыстряющемся темпе, и их нельзя было ничем остановить. 2 января 1923 года правительство Куно выступило с примирительным жестом: оно заявило о готовности выплатить двадцать миллиардов золотых марок (около пяти миллиардов долларов) при условии предоставления рассрочки и международного стабилизационного займа. В ответ на это союзники должны были немедленно вывести свои войска из Дюссельдорфа, Дуйсбурга, Рурорта и гарантировать последующий их вывод со всей территории Рейнской области. Было уже поздно: еще 26 декабря репарационная комиссия констатировала невыполнение Германией ее обязательств. Пуанкаре предпочел проигнорировать новый демарш немцев. 9 января вердикт репарационной комиссии был утвержден правительствами Франции, Бельгии и Италии. 11 января французские и бельгийские войска вторглись в Рур.

ГЛАВА 4.
1923 ГОД

«Если имперское правительство берет на себя

смелость списать целые куски германской территории,

пусть оно откровенно скажет об этом народу»[13]

Франко-бельгийская оккупация Рура вызвала в Германии, по словам швейцарского историка Э. Эйка, «вопль возмущения и ярости». Нация снова была едина, как в августе 1914 года. Пожалуй, единственный диссонанс был внесен высказыванием тогда никому не известного экс-ефрейтора из австрийского городка Браунау, которого звали Адольф Гитлер: взобравшись на стол в одной из мюнхенских пивных, он заявил, что нужно кричать не «Долой Францию», а «Долой берлинских предателей». Но в основном гнев нации обрушился на победителей.

Вообще говоря, такая реакция была оправданной. Официальный мотив акции был попросту высосан из пальца: речь шла якобы о защите группы французских, бельгийских и итальянских инженеров, которые должны были надзирать за деятельностью угольного синдиката по выполнению репарационных поставок и за ликвидацией недопоставки телеграфных столбов (из 200 тысяч было получено лишь 65 тысяч).

В Руре прошла волна стихийных стачек против оккупантов. Пресса широко их освещала, общественное мнение было на стороне забастовщиков. В этих условиях на заседании кабинета, проходившем под председательством президента Эберта, было принято решение начать «пассивное сопротивление». Другими словами, рабочие Рура не должны были работать на оккупантов. Это решение было встречено всеобщим одобрением. Чего, очевидно, не учли, так это необходимости государственного субсидирования участников «пассивного сопротивления»: им надо было как-то компенсировать потерю заработной платы, а это создавало огромную нагрузку на бюджет. Печатный станок заработал на полную мощность, инфляция приняла неконтролируемый характер. В Кёльне ситуация подтвердила наихудшие опасения его бургомистра. Начались перебои с продовольствием. Увеличилась безработица: сказался разрыв

экономических связей с Руром, продукция которого, произведенная на шахтах и заводах, где рабочие места немцев заняли иностранцы, шла теперь прямиком во Францию.

На этот тяжелый период пришлось событие в личной жизни нашего героя, которое при прочих условиях должно было бы стать поводом для большого семейного торжества. 18 января 1923 года у него родился сын. На этот раз-все прошло благополучно: беременность Гусей проходила без осложнений, мальчик, которого назвали Паулем, родился здоровым и крепким, даже с некоторым превышением средних показателей в весе. Впрочем, то же самое можно было сказать и о счастливой матери: Гусей сильно пополнела, мало что напоминало ту стройную симпатяшку, какой она была до замужества. В глазах еще порой сверкали задорные искорки, но в общем и целом она уже была на пути превращения в солидную даму, типичную немецкую домохозяйку. Такая эволюция была неизбежной: муж всегда занят, интересов, выходящих за рамки домашних дел, почти нет, общение ограничено дамами ее круга, а поскольку это общение происходит, как правило, в кёльнских кафе, где трудно устоять от соблазна съесть пару-другую пирожных, то это соответственно влияет и на фигуру.

Супруг ее, напротив, в это время сильно потерял в весе. Заботы и хлопоты, связанные с его должностью и амбициями, брали свое. Черты лица заострились, он перестал носить усики, и твердая линия крепко сжатых губ еще сильнее бросалась в глаза; модный цилиндр не очень подходил к узкому продолговатому овалу его лица, с которого не сходило выражение раздражения и усталости. Беременность Гусей и рождение сына не затронули каких-то чувствительных струн в его душе. Раз все нормально, значит, нет повода для эмоций — таким соображением определялось, видимо, его поведение, вполне обычное для немецкого отца семейства, характер которого формировался в кайзеровском рейхе.

В чем нельзя упрекнуть Аденауэра, так это в небрежении обязанностями кормильца. Он позаботился о том, чтобы уберечь семью от воздействия того финансового хаоса, в который все быстрее погружалась страна. Аденауэр всегда отличался расчетливостью (некоторые называли это даже скупердяйством), но в своих отношениях с городской казной он, можно сказать, побил все рекорды но части обеспечения себя всевозможными льготами и привилегиями. Еще при вступлении на пост бургомистра в 1917 году он отказался от полагавшейся ему бесплатной, но весьма скромной квартиры в центре, но зато добился того, что город взял на себя все расходы но содержанию

особняка на Макс-Брухштрассе, включая даже ремонт и замену садовых скамеек. На этом он здорово сумел сэкономить. Еще больше ему принесло постановление городского собрания, позволявшее ему во изменение прежнего правила полностью присваивать себе тантьемы, полагавшиеся бургомистру как представителю города в советах директоров расположенных в Кёльне компаний (ранее они должны были сдаваться, по крайней мере частично, в бюджет). Все выплаты, которые получал Аденауэр, разумеется, индексировались в соответствии с ростом цен. Его служебной машиной стал большой шестилитровый «мерседес-бенц».

В качестве иллюстрации того, как эти привилегии выглядели в количественном выражении, приведем только один пример: ремонт особняка (необходимость его Аденауэр объяснил тем, что ему приходится устраивать в нем официальные приемы) обошелся городскому бюджету в 103 тысячи неденоминированных марок. Более того, городу пришлось купить три участка земли, прилегающих к особняку Аденауэра, чтобы тот мог расширить свой сад, и согласиться выплачивать проценты по кредиту, который бургомистр взял для обустройства новоприобретенной площади. Бургомистр представлял к оплате всевозможные счета для покрытия представительских расходов, причем всегда требовал вернуть оригиналы обратно, чтобы ни у кого не возникало вопросов, на что, собственно, были истрачены деньги. Короче говоря, он доил городскую казну как мог.

Материальное благосостояние семьи благотворно сказалось и на отношениях внутри ее. Дети Конрада от первого брака несколько изменили свое отношение к мачехе: теперь они уже видели в ней кого-то вроде старшего друга или сестры, а не хищницу, обманом пробравшуюся в их дом; только Коко продолжал держаться настороженно. Сказались два обстоятельства: естественное обаяние Гусей и ее умение вести домашнее хозяйство. В доме был повар и две служанки, но Гусей предпочитала сама ходить за покупками. На ее плечах лежал также уход за садом и огородом. Она сама и доила козу, которую завели, чтобы у ребенка всегда было свежее молоко. Словом, семейный тыл был обеспечен, и Аденауэр мог посвятить все свои силы политике, тем более что в этой сфере проблем было более чем достаточно.

Вначале у него теплилась надежда на англичан: они выступят посредниками в германо-французском конфликте либо так или иначе придут на помощь. Однако англичане не хотели вмешиваться. 11 января из Форин офис Верховному комиссару в Кобленц поступила инструкция, где говорилось, в частности: «В

намерения правительства его величества входит снижение до минимума, поскольку это зависит от него, того отрицательного эффекта, который односторонняя французская акция оказала на состояние англо-французских отношений». Соответственно, с английской стороны не последовало каких-либо протестов или контрмер.

Аденауэр, однако, не терял надежды. Английское присутствие как минимум исключало перспективу французской оккупации и обеспечивало беспрепятственное поступление в город по речному пути какого-то количества продовольствия и топлива. Это уже было что-то. Кроме того, он видел, что отношения между двумя союзниками далеки от сердечности прежнего времени. Англичане и французы вели диалог, но, так сказать, с зубовным скрежетом. Даже такие мелкие вопросы, как транзит через Кёльн французских воинских эшелонов, вызывали споры и конфликты. Для немецкой стороны это открывало определенные возможности.

В разговорах с англичанами Аденауэр старался делать упор на исторических аналогиях, которые явно были способны вызвать у собеседников неприятные ассоциации. В ответ за заданный ему Пигготом вопрос о том, как он оценивает ситуацию (дело было в марте 1923 года), бургомистр заявил: «Для Германии вряд ли можно представить себе что-либо худшее». Прогноз его звучал не менее мрачно: «Франция покончит с Германией; Европа вернется к наполеоновским временам; главными государствами останутся Англия, Франция и Россия». С точки зрения английского дипломата, такая перспектива также могла восприниматься не иначе, как катастрофическая, однако, вполне вероятно, тот воспринял изложенный ему алармистский сценарий просто как тактический прием, рассчитанный на то, чтобы подтолкнуть англичан к активным контрдействиям.

По мысли Аденауэра, англичане могли выдвинуть перед французами идею перемирия. Франция вывела бы из Рура свои войска, но могла бы оставить там своих гражданских чиновников; в свою очередь, Германия прекратила бы «пассивное сопротивление». Страсти с обеих сторон улеглись бы, и можно было бы начать серьезные переговоры по вопросу о Руре и репарациях. В мире, основанном на доводах разума, эта схема имела свои достоинства. Увы, тогдашний мир был далек от господства разума: все стороны вели себя иррационально. Американцы в знак протеста против франко-бельгийской акции вывели остатки своего оккупационного контингента, к вящей радости французов, опять-таки охотно заполнивших создавшийся вакуум. Правительство Куно в Берлине, казалось, было больше

озабочено угрозой со стороны Польши, чем событиями в Руре, и вообще быстро теряло контроль над событиями в стране.

Но менее всего рациональности было в действиях и публичных выступлениях Пуанкаре. «Германия тщетно будет ждать от нас малейших колебаний, — заявил он под бурные аплодисменты собравшихся на открытие военного мемориала в Дюнкерке. — Франция пойдет избранным ею путем до конца». Немецкая пресса как в оккупированной, так и в неоккупированной частях Германии была настроена крайне националистически; но поводу репараций мнение было единодушным: «Мы не заплатим ни пфеннига». В этих условиях компромиссный план Аденауэра не имел никаких шансов на успех.

В апреле официальный Лондон решился наконец сказать свое слово. Выступая в палате лордов, Керзон, тщательно выбирая выражения, чтобы сохранить флер беспристрастности, предложил передать репарационный вопрос на арбитраж нейтральной стороне. Правительство рейха выразило одобрение этой идее, рассматривая ее как косвенную поддержку своей позиции. Однако Куно и здесь умудрился все испортить: он заявил, что его страна примет услуги арбитра, но только в том случае, если в его мандат будет входить исключительно рассмотрение вопроса о снижении суммы репараций. Заранее ограничить свободу мнения арбитра — это было нечто новое в международном праве, неудивительно, что никто не принял ответ Куно всерьез. Он только сыграл на руку жесткой линии Пуанкаре, который заявил, что не будет рассматривать вообще никаких предложений немецкой стороны до тех пор, пока она не прекратит «пассивное сопротивление». Керзон в частном порядке выразил недовольство французским премьером: он «не способен ни на благородный жест, ни на разумную идею», — но этим все и ограничилось. Тупик был полный. К концу мая Аденауэр окончательно отчаялся в своих попытках добиться каких-либо подвижек на уровне высокой политики.

Он решил сосредоточиться на городских делах. Через своего старого спонсора Луиса Хагена он сумел организовать поставку овощей и фруктов из Голландии и баварских владений в Пфальце. Через Гуго Стиннеса он начал переговоры о поставках угля. С англичанами он договорился, что те обеспечат беспрепятственное прохождение предназначенных для Кёльна грузов по Рейну. Он действовал при этом как настоящий диктатор. В 1923 году в повестке дня городского собрания одиннадцать раз фигурировали пункты о «дефиците» — порой просто, порой с эпитетами тина «острый», «растущий» и т.д.

Аденауэр редко брал там слово, предпочитая переносить дискуссии в разного рода комиссии и комитеты: его устраивало отсутствие гласности. Когда он все-таки выступал, это были» как правило, резкие отповеди депутатам. В середине июня, например, когда обсуждался вопрос о повышении тарифов на пользование банями и на больничное обслуживание, он отмел все доводы против: можете сколько угодно возмущаться, но если вся финансовая система рушится, то это не может не сказаться и на банях с больницами, сухо констатировал он.

Кстати сказать, ситуацию в Кёльне в сравнении, например, с тем, что творилось в Руре, можно было считать относительно терпимой. Зарплату и жалованье выдавали теперь каждый день, а с апреля, когда гиперинфляция пошла но нарастающей, даже дважды в день. Рабочие и служащие получили право на специальный перерыв в середине рабочего дня, чтобы успеть отовариться, пока полученные денежные знаки еще сохраняют какую-то покупательную способность. Кёльн, как и ряд других городов, получил от Рейхсбанка право самому печатать банкноты в размерах, необходимых для поддержания денежного оборота. Печатные станки работали вовсю, выпуская бумажки, ценность которых непрерывно падала; на каждой из них красовалась зато личная подпись бургомистра. Аденауэр развернул программу общественных работ, захватившую не только общественный, но и частный сектор.

В Кёльне воцарилась атмосфера своеобразного пира во время чумы. Деньги, коль скоро они появлялись, надо было побыстрее истратить, и все, что оставалось от обеда, торопились спустить в ресторанчиках, кафе или просто забегаловках, которые буквально усеяли набережную. В моду вошел завезенный из Америки чарльстон; шлягеры отличались фривольным подтекстом: «Да, с бананами сегодня туговато», «Мой попугай не ест крутые яйца»; особенной популярностью пользовался глупейший набор рифм под названием «Мейер в Гималаях». Бургомистр неодобрительно относился к такому упадку нравов.

Впрочем, эта картина беззаботного прожигания жизни скрывала за собой печальные факты: средний класс потерял все свои сбережения, медицинская помощь стала недоступной роскошью, кривая самоубийств резко пошла вверх, обычными стали случаи смерти от голода и дистрофии. В конце октября 30 тысяч кёльнцев получали бесплатные обеды — эта благотворительная акция была организована по специальному распоряжению бургомистра.

Однако были и те, кому создавшаяся катастрофическая ситуация давала шансы на быстрое обогащение. К числу таковых

принадлежал и один из новых спонсоров и почитателей Аденауэра, упоминавшийся уже магнат Гуго Стиннес. Его метод был очень прост: используя в качестве залога свои шахты, он брал большие кредиты, на которые скупал активы фирм, испытывавших финансовые трудности, банки, органы печати, под эти приобретения брал новые кредиты, расплачиваясь из них за старые обесцененной валютой и продолжая скупать все, что попадалось под руку, и так далее, причем чем больше была инфляция, тем быстрее вращалась эта карусель, тем богаче становился Стиннес. Когда в 1924 году он неожиданно умер, обнаружилось, что, помимо шахт, в его империю входило 150 газет и журналов, 69 строительных компаний, 66 химических, бумагоделательных и сахарных заводов, 57 банковских и страховых обществ, 83 железнодорожные и пароходные компании и еще более сотни различных предприятий. По случаю его смерти немецкий юмористический журнал «Симплициссимус» поместил карикатуру, на которой святой Петр в ужасе взывает к архангелам: «Стиннес у ворот! Не зевайте, ребята, а то через неделю он станет нашим хозяином!»

Насколько быстро и напористо действовал Стиннес, настолько неповоротливо и неэффективно работала финансовая система рейха. Сложная цепочка Рейхсбанк — земельные банки — региональные казначейства была создана, казалось, с единственной целью — кормить огромный бюрократический аппарат и поелику возможно тормозить прохождение перечисляемых средств. В условиях инфляции это приводило к многочисленным курьезным ситуациям. К примеру, в начале 1923 года Прусский государственный банк выделил четыре миллиарда марок в качестве аванса для уплаты процентов по облигациям, которые еще только планировались к выпуску. Тратить их было нельзя, и они легли мертвым грузом, пока их не сожрала инфляция. С другой стороны, банк согласился принимать кредитные сертификаты, которые выпускались местными властями, используя их затем в качестве залога, чтобы брать кредит у местных казначейств, которые, в свою очередь, не имели никаких иных средств, кроме тех, которые получали от того же центрального банка. Получалось, что взаймы брали у самих себя!

Выход из этого замкнутого круга был один — печатный станок. Уже к концу весны 1923 года фабрики, выпускавшие банкноты, перешли на круглосуточный режим работы, без праздников и выходных. Ежедневная потребность для Кёльна и -округи составляла восемь — десять миллиардов марок, местных мощностей для их выпуска не хватало, приходилось целыми вагонами доставлять марки из Берлина. Для того чтобы уплатить

репарационной комиссии за транзит, понадобилось семь служащих, которые перетаскивали коробки с банкнотами. Зарплату уносили в ведрах и мешках. Зато британские солдаты обнаружили, что могут себе позволить бутылку шампанского меньше, чем за два пенса.

К середине июля за доллар давали уже четыре миллиарда марок, и ее курс продолжал быстро падать. К этому времени французы заподозрили, что марки, которые Кёльн получал из Берлина, тайным образом переправляются в Рур для оплаты тех, кто осуществлял «пассивное сопротивление». Английскому представителю в Верховном комиссариате с трудом удалось предотвратить введение эмбарго на транзит поездов с денежными знаками из Берлина в Кёльн. Кстати, в сентябре выяснилось, что правительство рейха действительно подпитывало «пассивное сопротивление», используя весьма хитроумную схему: на самолетах британской компании «Инстоун Эрлайнс» банкноты доставлялись в Амстердам, оттуда переправлялись в банки Трира, Кобленца и Аахена, через которые но тайным каналам они попадали, наконец, в Рур. Разумеется, накладные расходы на такие операции были чудовищно велики, и это еще больше перенапрягало германскую экономику.

К концу лета экономическая ситуация в Кёльне еще более ухудшилась. Новый урожай не принес облегчения: цены, даже с учетом индексации, непрерывно росли, особенно на картофель. На оккупированной территории вспыхивали волнения, полиция не справлялась; в Золинген для наведения порядка пришлось послать роту английских солдат. Последней каплей стала стачка берлинских печатников в начале августа. Станки остановились, банкноты из центра перестали поступать в Кёльн, и местные служащие, трамвайщики, строители, медсестры, не получившие своей ежедневной зарплаты, тоже отказались выходить на работу. Это была катастрофа. В городе начали циркулировать слухи, что для Кёльна лучше всего было бы получить статус «вольного города» по типу того, что был предоставлен Данцигу, и что этот проект вот-вот станет реальностью. Аденауэр выступил с официальным опровержением, но это не помогло. В остальном Рейнланде вновь оживились сепаратисты. В архиве британской части Верховного комиссариата сохранилась датированная 25 августа запись беседы с представителем немецкой полиции; тот сообщил, что «не может предсказать, что будет даже через две недели; если марка еще упадет, рост мятежей неизбежен».

В Берлине, впрочем, ситуация была не лучше. 11 августа социал-демократы в рейхстаге выразили недоверие правительству Куно. Оно пало.

Новым канцлером стал Густав Штреземан. Для президента Эберта это был отнюдь не очевидный выбор. Штреземан был хорошим оратором, умевшим в своей риторике использовать разные регистры — от острого сарказма до возвышенного пафоса, — но он возглавлял самую немногочисленную фракцию Германской народной партии. Помимо всего прочего, он был берлинец до мозга костей (его отец был владельцем небольшого пивного заведения в рабочем квартале на Кепеникштрассе), и его чисто берлинский юмор порой не всеми воспринимался адекватно. У него была крайне невыразительная внешность: маленький лысый человечек, некоторые говорили, что он похож на стареющего официанта-итальянца.

В его прошлом было немало темных пятен. До войны он входил в партию национал-либералов, открыто выступал в поддержку империалистических притязаний Германии, а во время войны не только требовал аннексии Бельгии, но настолько апологетически вел себя в отношении военного командования, что заслужил характеристику «приказчика при Людендорфе». При всем при том ему было суждено стать самым успешным политиком Веймарской республики. До самой своей смерти, последовавшей в 1929 году, он не отказался от своих сугубо националистических убеждений, но был достаточно прозорлив, чтобы понять: Германия сможет достичь того, чего она желает, только убедив соседей, что они могут не опасаться германской агрессии. В осуществлении своего курса Штреземан проявлял необходимую политическую смелость.

Таким смелым актом, первым в его роли канцлера, было обнародованное 26 сентября решение прекратить «пассивное сопротивление». Когда в прессу проникли первые утечки о еще находившемся в стадии подготовки решении, это вызвало бурю протестов и обвинений в адрес нового канцлера. Ответ Штреземана апеллировал к разуму: денежная система практически перестала функционировать, средний класс разорен, города выпрашивают милостыню, правительство просто не имеет ни возможностей, ни средств, чтобы продолжать прежнюю политику. Министр финансов Ганс Лютер получил от него поручение подготовить в течение нескольких месяцев денежную реформу, которая покончила бы с гиперинфляцией; пока же был объявлен режим строгой экономии.

Для Рейнланда первые шаги нового правительства обернулись худшей стороной: Лютер дал понять, что там не должны больше рассчитывать на автоматическое продление субсидий, и, хуже того, информация об изменившейся позиции центра попала в прессу. Еще до этого Аденауэр всерьез

подумывал о возрождении идеи Рейнско-Вестфальской автономии внутри рейха. Он даже имел встречу с французским Верховным комиссаром Полем Тираром но вопросу о возможной эмиссии особой валюты для Рейнланда; правда, инициатива этой встречи исходила не от него, а от английской стороны, притом Аденауэр заранее проинформировал об английской инициативе Штреземана и получил от него добро. Однако демарш Лютера менял всю ситуацию: рейнландцев буквально толкали в объятия сепаратистов.

В этот сложный момент Аденауэра подвел воспалившийся аппендикс, его срочно госпитализировали, обнаружилась опасность перитонита, была сделана срочная операция. Конечно, к первому лицу в городе медики отнеслись с особым вниманием. Это обстоятельство, а также здоровый образ жизни, который сказался на общем тонусе пациента, быстро поставили его на ноги. Он провел в больнице две недели, затем взял отпуск на восемь дней, с 15 но 23 октября, который провел с Гусей в монастыре Мариахильф в Бад-Нейенаре, после чего вернулся, еще не вполне в форме, к исполнению своих служебных обязанностей.

За время его отсутствия произошло немало драматических событий. Штреземан успел уже подать в отставку и через три дня вновь обрести канцлерство. Новое правительство, пост министра финансов в котором вновь получил Лютер, приняло в качестве основы для будущей денежной реформы проект, разработанный политиком националистического толка Карлом Гельферихом: предусматривалось создание особого Рентного банка, который должен был получить права на ипотеку со всех земель сельскохозяйственного и промышленного пользования, общая стоимость ипотечной ренты образовала бы его уставный капитал, этот капитал, в свою очередь, должен был стать финансовым обеспечением для выпуска «рентной марки», призванной заменить собой обесцененные денежные знаки, циркулировавшие в стране. Правда, Гельферих намеревался привязать курс марки к цене ржи — основной культуры в германском сельском хозяйстве. Эта идея была довольно нелепой, и Лютер вместе с Ялмаром Шахтом, тогда еще владельцем небольшого банка в провинциальном Дармштадте, вскоре взлетевшим до поста президента Рейхсбанка, внесли небольшую, но существенную поправку — привязали марку к золотому стандарту. Схема оказалась удачной. 15 октября Рентный банк начал свою деятельность, на середину ноября было намечено введение рентной марки. Дни инфляции были сочтены.

Все эти тонкости прошли мимо Аденауэра. Если бы он вник в них, то скорее всего одобрил действия Штреземана и Лютера, но

не будем гадать. В то время все для него затмил фейерверк политических новостей. 21 октября люди из «Движения за свободный Рейнланд» под руководством Лео Деккера захватили аахенскую ратушу и провозгласили «Рейнландскую республику». Через два дня два других авантюриста, Йозеф-Фридрих Маттес и Адам Дортен, организовали захват общественных зданий в Висбадене и Трире, затем последовали аналогичные акции в Майнце и в Бонне. Беспорядки охватили Кобленц — резиденцию верховных комиссаров. В Кёльне, согласно донесению местного военного коменданта, «все было спокойно», но и там ситуация приближалась к точке кипения. По всему Реинланду появились плакаты, извещавшие о французской поддержке сепаратистского движения (что ни у кого и без того не вызвало сомнений) и о том, что Тирар лично утвердил конституцию и временное правительство Рейнланда (вот это уже было искажением истины: на такой открытый акт французский Верховный комиссар все-таки не решился).

22 октября представители всех политических партий, действовавших на оккупированных территориях, собрались в Кёльне, чтобы обсудить возникшую ситуацию. В отсутствие Аденауэра роль председателя форума взял на себя его коллега по партии Центра Меннинг. Единственным результатом дискуссии было приглашение канцлеру немедленно прибыть в Рейнланд для личной встречи. Штреземан немедленно ответил согласием: было не до вопросов престижа. Встреча должна была состояться 25 октября.

Что следовало сказать канцлеру, о чем просить, что требовать? Для выработки общей позиции по этому вопросу решено было созвать еще одно совещание. Оно состоялось накануне встречи со Штреземаном в городке Бармен. В нем приняли участие пятьдесят три представителя оккупированных территорий. Председательствовавший, бургомистр Дуйсбурга Карл Яррес, выдвинул идею независимого Рейнского государства, которое должно быть создано явочным порядком, без каких-либо предварительных консультаций с рейхом или французами и вопреки их возможным возражениям. Прибывший на совещание буквально с больничной койки Аденауэр предложил другой вариант: независимое Рейнское государство действительно следует создать, но по возможности не порывая связей с рейхом и путем переговоров с французами; немецкая сторона должна добиваться прекращения оккупации, ликвидации Верховного комиссариата и признания демилитаризованного статуса нового государства. Рейнландцам должны быть предоставлены неограниченные полномочия на ведение переговоров с

оккупантами.

Инициатива Аденауэра вызвала бурную полемику. Социал-демократы и представители Германской демократической партии обвинили его в неприкрытом сепаратизме: ведь кёльнский бургомистр прямо высказался в том смысле, что «в крайнем случае следует иметь в виду и полное отделение от рейха». Были и те, кто его поддержал. Никакой общей позиции выработать так и не удалось. Впрочем, в Берлине было то же самое: на заседании кабинета, которое проходило в то же время, что и совещание в Бармене, все, в общем, признавали, что оккупированные территории — это уже отрезанный ломоть, но никто не мог предложить удовлетворительного ответа на вопрос, как это оформить. Штреземан ограничился постановкой задачи: «Мы не можем дальше продолжать борьбу, наша цель — разойтись полюбовно, без скандала».

Местом его встречи с рейнландцами был избран Хаген — неприглядный шахтерский городок, расположенный в нескольких километрах к югу от демаркационной линии, отделявшей оккупированную часть Германии от неоккупированной. Это был своеобразный символический жест: мол, немцы не собираются обсуждать свои проблемы под пятой оккупантов. Впрочем, это был своего рода бунт на коленях: все участники встречи осознавали бессилие центра. Вызов ему бросили не только рейнландцы; в конфронтации с ним были местные власти в Баварии, Саксонии и Тюрингии. Лютер остался в Берлине, поручив Штреземану неприятную миссию согласовать с участниками встречи точные сроки прекращения выплаты субсидий из центра. Об их сохранении не могло быть и речи. Аденауэр мрачно предвещал конец рейха.

Совещание приняло странную форму: каждый говорил о своем, никто ни с кем не соглашался, все друг друга обвиняли во всех смертных грехах. Яррес, сохранивший за собой председательское кресло, открыл совещание длинной речью, главной темой которой была растущая угроза сепаратизма, о чем, впрочем, и так все знали. Штреземан, выступивший вторым, констатировал тот очевидный факт, что как Рейнланд, так и Германия в целом находятся в состоянии кризиса, но отозвался о планах создания сепаратного Рейнского государства как о химере: он ни при каких обстоятельствах не допустит такого хода развития событий. Возражая Ярресу, он отметил, что предпринимать что-либо без ведома, а тем более вопреки Франции равнозначно денонсации мирного договора, такой шаг лишь оттолкнет англичан. Что касается аденауэровскои идеи нейтрализации Рейнланда, то это тоже чистой воды спекуляция:

Франция ни за что не откажется от размещения своих вооруженных сил но Рейну. В заключение он высказал нечто, произведшее эффект взорвавшейся бомбы: субсидии из центра оккупированным территориям не только не будут прекращены, напротив, они будут увеличены.

Это было поворотом на сто восемьдесят градусов от прежней линии Берлина, и неудивительно, что никто не поверил заявлению Штреземана, сочтя его пустым посулом. Между тем поворот действительно имел место. Перед самым выступлением Штреземану передали срочную депешу от Лютера, где министр финансов сообщал, что старые экономические прогнозы были чрезмерно пессимистическими, новая экспертиза обнаружила наличие ранее неизвестных резервов в государственной казне, так что деньги для рейнландцев найдутся. Аденауэр упорствовал: перечисления из центра если и продлятся, то недолго, а неопределенность ситуации только сыграет на руку сепаратистам; рейнландцам должна быть предоставлена полная свобода в переговорах с французами. Между Штреземаном и Аденауэром последовала перепалка, в ходе которой каждая сторона обвиняла другую в лицемерии. Совещание закончилось на весьма неопределенной ноте: Штреземан согласился с тем, что рейнские лидеры создадут «Комитет пятнадцати», который сможет вступить в переговоры с французами, однако сам предмет переговоров остался как бы за кадром. У канцлера после всего этого случился сердечный приступ. Аденауэр же в письме своему берлинскому другу Хампшону жаловался на то, что водоворот споров, в который он попал, еще как следует не долечившись, «истощил его душевные и физические силы». Впрочем, его можно было понять и так, что он сам осознавал слабость своей аргументации и искал этому обстоятельству объяснение в том, что не совсем оправился после болезни.

Как бы то ни было, председателем «Комитета пятнадцати» оказался именно наш недолечившийся пациент. 26 октября Тирару было направлено послание с просьбой об экстренной аудиенции. Письмо подписали сам Аденауэр, председатель объединения профсоюзов оккупированных территорий Артур Мейер, Луис Хаген и еще пятеро членов городского собрания Кёльна. К их удивлению и негодованию, Тирар отказался их принять. Они, естественно, были в неведении о том, что за день до этого французский Верховный комиссар получил жесткую директиву Пуанкаре: сепаратисты, и только они, должны отныне пользоваться неограниченной поддержкой французской администрации. Мосты к представителям рейнландского нобилитета были таким образом сожжены.

Правда, 3 ноября Пуанкаре прислал Тирару другую директиву более гибкого характера: очевидно, сказалось влияние англичан, недовольных жесткой тактикой французов. Аденауэр, явно получив информацию об изменении французской позиции, направил к Тирару в Кобленц Луиса Хагена. Тот вполне определенно употреблял формулу «будущее государство» в применении к Рейнланду, однако поставил ряд условий, при которых оно могло быть создано: во-первых, должно быть покончено с сепаратистским движением, а во-вторых, над новым образованием должен быть признан суверенитет рейха. Как бы между прочим он обронил, что главой нового государства должен стать не кто иной, как нынешний бургомистр Кёльна. Тирар вежливо выслушал собеседника, но этим все и ограничилось.

8 ноября парламент Рейнской области принял решение о создании Рейнландского эмиссионного банка при тридцатипроцентном французском участии; учитывая, что квота для иностранных банков определялась в 45%, французское влияние оказывалось доминирующим. Неудивительно, что Пуанкаре и Тирар приветствовали это решение. Лондон демонстрировал полную незаинтересованность, что вызвало несколько раздраженную реакцию со стороны местных оккупационных властей: Пиггот выразил ее в завуалированной форме в депеше от 17 ноября, направленной прямо на имя Керзона. Сильверберг, основываясь на своих беседах с английскими представителями в Кёльне, писал Аденауэру: «Англичане полностью капитулировали перед французами». И вправду, английский Верховный комиссар позволил своему французскому коллеге заблокировать введение «рентной марки» на оккупированных территориях под тем предлогом, что этот вопрос требует более тщательного рассмотрения в комиссариате.

Вместо этого получила хождение так называемая «чрезвычайная марка», которая печаталась по-прежнему несколькими специально уполномоченными банками в Рейнланде, но принималась к учету и Рейхсбанком. Аденауэру удалось добиться, чтобы срок действия этой «валюты» (и ее поддержки центром) был продлен до января 1924 года. Без нее Кёльн давно обанкротился бы. Впрочем, ситуация оставалась отчаянной. Инфляция продолжалась: только в ноябре в Кёльне было напечатано семь триллионов «чрезвычаек», безработица на оккупированных территориях превысила отметку в два миллиона, в общественном секторе вообще перестали платить жалованье, закон и порядок никем не соблюдались, сепаратизм набирал силу.

Аденауэр решился сам вместе с членами своего «Комитета

пятнадцати» отправиться в Берлин на встречу с высшими руководителями рейха, чтобы открыть им глаза на происходящее. Однако состоявшееся 13 ноября совещание с членами кабинета принесло не больше результатов, чем встреча в Хагене. У Штреземана опять случился сердечный приступ, Лютер, снова совершив поворот на сто восемьдесят градусов, заявил, что выплата субсидий с сегодняшнего дня прекращается, на что Аденауэр отреагировал соответствующим образом, обвинив министра финансов в том, что он хочет решить проблему репараций и стабилизации валюты за счет интересов рейнландцев. Прусский министр-президент Браун на вопрос о том, готов ли он взять на себя ответственность за утрату двух провинций, просто пожал плечами. Президент Эберт только и смог промолвить: «Бедная Германия». Аденауэру и его коллегам оставалось сделать напрашивающийся вывод: рейх бросает их на произвол судьбы, и, значит, надо продолжать искать контакт с Тираром.

На сей раз французский Верховный комиссар, хотя и неохотно, согласился встретиться с возглавляемой Аденауэром группой рейнских политиков. Причины отсутствия энтузиазма со стороны Тирара очевидны: во-первых, у него были свои идеи насчет политического будущего Рейнланда, во-вторых, он знал; что через его голову группа промышленников — Луис Хаген, Гуго Стиннес и Альберт Феглер — пытается в это время завязать контакты прямо в Париже, причем Аденауэр не только знает об этой миссии, но и является ее инициатором, и наконец, в-третьих, Тирар считал Аденауэра человеком англичан, а их отношение к французскому союзнику все более воспринималось как враждебное, особенно после того, как в 1921 году Робертсона на посту Верховного комиссара сменил лорд Килмарнок. Неудивительно, что переговоры начались в атмосфере взаимного недоверия и шли довольно вяло.

Между тем события приняли новый неожиданный оборот. 23 ноября социал-демократы отказали правительству Штреземана в поддержке. Оно пало. Поспешно было сформировано новое правительство, во главе которого встал Вильгельм Маркс, политик довольно заурядный и не обладавший какой-либо харизмой. С точки зрения Аденауэра, новый канцлер был более приемлемой фигурой: Маркс принадлежал к партии Центра, он был уроженец Кёльна, и, самое главное, это был не Штреземан. Надеясь на поддержку нового правительства, Аденауэр активизировал переговоры с Тираром, однако, когда обе стороны раскрыли свои карты, выяснилось, что почвы для компромисса нет: Аденауэр твердо держался за проект единого Рейнского

государства в рамках рейха, тогда как его французский собеседник имел в виду конфедерацию нескольких государств, каждое из которых должно было бы иметь собственный парламент, валюту и администрацию.

Со стороны Берлина Аденауэра тоже ждал удар: новое правительство распустило «Комитет пятнадцати», заменив его более аморфным «Комитетом шестидесяти», члены которого должны были быть избраны всегерманским рейхстагом. Маркс оказался не меньшим централистом, чем Штреземан. Аденауэровская идея «суверенный Рейнланд в рамках рейха» была обречена. «Теоретически неплохо, практически неприемлемо», — лаконично отозвался о ней новый канцлер.

ГЛАВА 5.
«КЁЛЬН ВНОВЬ СВОБОДЕН!»

«Принять должность канцлера — это было бы для меня очень тяжелое решение»[14]

Год 1924-й начался для Аденауэра неважно. Его переговоры с Тираром топтались на месте. Запасной вариант с поездкой в Париж группы рейнских промышленников и банкиров, которые, как предполагалось, должны были использовать свои личные контакты, чтобы спасти аденауэровский проект «государства в государстве», тоже, по существу, провалился. Найти желающих поехать в Париж с такого рода неофициальной миссией было нетрудно: это были все те же известные нам Стиннес, Феглер, Сильверберг, Хаген и Хейнеман. Однако наш герой, не располагавший к тому времени большими познаниями ни в сфере международной дипломатии, ни в сфере бизнеса, не учел ряда существенных факторов. Он сильно ошибался, полагая, что сможет использовать бизнесменов для своих политических целей, скорее бизнесмены использовали его как политика для своих сугубо эгоистических целей. Он ошибался, думая, что французская сторона будет вести серьезные переговоры с лицами, не имеющими какого-либо официального статуса. Французам уже изрядно поднадоела ситуация, когда их осаждали разного рода посредники, которые в разное время и в разных случаях предлагали всякие широковещательные планы, которые затем оказывались пустышками. Во всяком случае, Тирар, когда узнал о миссии рейнских магнатов, просто-таки был вне себя от бешенства. Наконец, Аденауэр ошибся, полагая, что с уходом Штреземана с поста канцлера он получит большую свободу действий. Штреземан сохранил за собой пост министра иностранных дел и придерживался вполне обоснованного мнения, что именно в его компетенцию входит ведение переговоров с представителями другого государства; рейнские промышленники в качестве дипломатов поведут себя скорее всего как слоны в посудной лавке, и, во всяком случае, отстаивать они будут главным образом свои собственные финансовые интересы. Соответственно он наложил вето на план поездки Стиннеса и Феглера в Париж. «Нас спросят, на основании какого мандата мы предоставили концерну Стиннеса полномочия вести переговоры с Францией», — предупреждал он в письме Марксу от 16 января. Со своей стороны, Тирар в разговоре с Аденауэром, который

состоялся три дня спустя, 19 января, прямо заявил, что французское правительство согласится вести переговоры со Стиннесом и Феглером только при условии, если они будут фигурировать в качестве официальных представителей правительства рейха, а именно этот статус Штреземан категорически отказывался им предоставить. Аденауэр наконец все понял: 24 января он отправил послание канцлеру, в котором обещал от своего имени и от имени своих рейнских коллег, что они в будущем будут воздерживаться от каких-либо попыток вторжения в сферу международной дипломатии. Это было признание поражения.

Та же участь ожидала и проект Рейнландского эмиссионного банка. 2 января Шахт, уже в качестве президента Рейхсбанка, прибыл в Лондон. В ходе визита ему удалось убедить управляющего Английским банком Монтегю Нормана, что при наличии Рентного банка в Берлине выпускаемая им рентная марка будет привязана к золотому стандарту, существование аналогичного института в Рейнланде попросту излишне. Норман согласился. Он ответил отказом на приглашение французского «Банк де Пари э де Паи Ба» стать соучредителем Рейнланд-банка, напротив, пообещал Шахту найти пять миллионов для его берлинского банка и провел соответствующую работу с другими банкирами, чтобы убедить их последовать его примеру. «С Рейнским банком теперь покончено», — заверил он Шахта и в этом оказался на сто процентов нрав. Хаген и Шредер — два немецких банкира, ранее поддерживавшие идею создания Рейнского банка, поняли, что игра проиграна, и соответственно информировали своих французских партнеров.

Собственно, и с французской стороны уже имелось понимание того, что почвы для переговоров, по существу, нет, рычаги, на которые могла опереться ее дипломатия, уже не работали. Рейнский сепаратизм шел на спад. Франк оказался под угрозой девальвации. С другой стороны, новая атмосфера в англо-французских отношениях диктовала переход к более мягкому курсу. Керзон к тому времени ушел в отставку вместе со всем кабинетом консерваторов, к власти пришло правительство лейбористов во главе с Макдональдом, о политике которого французский посол в Лондоне Шарль де Бонуаль де Сан-Олер отзывался почти в восторженном духе. «Я должен сказать, что никогда не встречал таких проявлений доброй воли со стороны английского правительства», — писал он в донесении своему министерству иностранных дел от 11 февраля 1924 года. Новый подход со стороны могучего союзника не следовало оставлять без ответа — это понимал даже Пуанкаре. Тон его агрессивной

риторики несколько спал. К тому же все указывало на то, что его дни у власти сочтены: в мае предстояли всеобщие выборы, и шансы на победу в них Пуанкаре с его жестким курсом были ничтожны.

Наконец, последнее по счету, но не по значению: 14 января начал свою работу Комитет экспертов, в задачу которого входило нахождение путей к сбалансированию германского бюджета. Фактически это означало пересмотр репарационного вопроса. Председателем комитета стал американец, чикагский банкир (имевший к тому же чин генерала) Чарльз Дауэс, французы имели там всего двух представителей из десяти, но заранее согласились подчиниться его рекомендациям. Теперь решение всех вопросов отношений Германии с победителями зависело от этого нового форума, оставалось ждать его решений и не суетиться.

Таким образом, первая попытка Аденауэра выйти на паркет международной дипломатии потерпела явное фиаско. Она выявила по крайней мере две его слабые стороны. Первая — незнание иностранных языков (он с трудом мог связать пару фраз по-французски) и как результат — полная неспособность разобраться в реалиях окружающего мира и, соответственно, склонность к выдвижению идей и проектов в лучшем случае утопических, в худшем — просто идиотских. Вторая его слабость заключалась в чрезмерном преклонении перед сильными мира сего. Кучка самых преуспевающих семейств кёльнского света — главным образом банкиры и промышленные магнаты — в его представлении являла собой нечто вроде высшей касты рода человеческого. Члены этой группы были уверены в том, что именно они правят городом, кто бы там ни занимал место бургомистра. Аденауэр, по сути, не подвергал это мнение ни малейшему сомнению; он лишь стремился сам стать признанным членом этой касты.

Не удалось пожать лавров на международной арене — наш герой перешел к попыткам свершить нечто грандиозное в городе, так чтобы об этом заговорили по всей стране. 11 мая состоялось торжественное открытие Кёльнской торговой ярмарки в новых, специально построенных павильонах на правом берегу Рейна. На церемонию были приглашены президент Эберт, канцлер Маркс, министры общегерманского и прусского кабинетов. Огромный зал главного павильона был полон. Эберт произнес примечательную речь, в которой наряду с ритуальными комплиментами в адрес устроителей ярмарки прозвучала неприкрытая критика Версальского договора. Президент подчеркнул, что «условия мирного договора стали тяжелым бременем для развития германской промышленности; нигде это не ощущается так

сильно, как в Рейнской области и в Руре — тех двух регионах, которые являются сердцем нашего хозяйственного организма». Все дружно зааплодировали, естественно, за исключением присутствовавших французских и английских наблюдателей. Один из последних, не кто иной, как сам Верховный комиссар лорд Килмарнок в донесении, направленном премьеру Макдональду, счел нужным отметить, что Эберт «перешел рамки того, что могло считаться дозволенным на территории, находящейся под юрисдикцией оккупационных властей». Аденауэр еще повысил планку, заявив, что население всех оккупированных территорий полностью поддерживает политику рейха, если в этом имеются какие-то сомнения, то можно было бы позволить немецкому народу высказать свое слово путем голосования. Снова — бурные аплодисменты.

После окончания церемонии президент и бургомистр совершили обход павильонов, окруженные растущей как снежный ком толпой. Они представляли собой забавную пару: Эберт, приземистый, круглолицый, как колобок, в потертом плащике, мешковатых брюках, с помятым котелком в руках, и Аденауэр, возвышающийся над ним как башня, худой как спичка, в новом с иголочки сером дождевике, брюки безупречно отглажены, тросточка, перчатки и модная шляпа в одной руке, другая рука покровительственно приветствует окружающих. Оба улыбаются, но Эберт — тепло и добродушно, а Аденауэр — как-то холодно, даже с легким оттенком неодобрения. И вправду, он многим остался недоволен, после всего он составил длинный список упущений, допущенных организаторами церемонии, и подверг их суровому разносу.

Аденауэру и самому пришлось выслушать немало нелицеприятных слов от английского резидента в Кёльне, своего старого знакомого Джулиана Пиггота: как же так, ведь ему были даны заверения, что президент не будет касаться в своей речи политических вопросов, а что получилось? Аденауэр не смутился: англичане должны понять, что президент обязан думать о сохранении своего авторитета в широких кругах немецкого народа: «если бы он ходил вокруг да около, на него обрушился бы шквал обвинений и протестов». Французы поставили вопрос об инциденте в повестку дня очередного заседания Верховного комиссариата, но на этом все и кончилось.

Чего не могли уловить ни англичане, ни французы, так это нового поворота в настроениях, которые захватили всю Германию — и неоккупированную, и оккупированную ее части. Налицо было пробуждение чувства уверенности в себе, в своих силах. Марка стабилизировалась и даже стала расти по отношению к

стерлингу и франку. Даже в Рейнланде, где Тирар воспротивился введению рентной марки, Шахту удалось удержать постоянный курс обмена бумажной марки на новую в соотношении один миллиард за одну. Стали снижаться цены, уменьшились очереди перед пунктами бесплатной раздачи пищи. В апреле комиссия Дауэса обнародовала свой доклад, где излагался вполне разумный, по крайней мере на первый взгляд, план решения сложных проблем, связанных с репарациями. На выборах во Франции, состоявшихся в мае, Пуанкаре, как и ожидалось, потерпел поражение, и главой правительства стал более склонный к примирительному курсу Эдуард Эррио. Короче говоря, все складывалось для немцев наилучшим образом. Соответственным образом это отразилось в прессе и общественном мнении.

Доклады английских оккупационных властей констатировали рост случаев «вызывающего поведения» по отношению к ним со стороны жителей Кёльна; отмечены были «презрительные высказывания относительно слабости фунта и девальвации французского и бельгийского франка». Типичным для изменившейся ситуации стал инцидент в деревушке Медерат, обычно мирном и сонном местечке. Четырехлетний малыш швырнул камень в проезжавшую машину британского офицера. Тот выскочил из машины и бросился за хулиганом, который не преминул юркнуть за дверь своего дома. Офицер ворвался в дом, схватил обидчика и попытался увезти его с собой в комендатуру. Высыпавшие из домов жители бросились на его защиту. Для усмирения был вызван наряд солдат. Все кончилось тем, что две сотни местных жителей оказались за решеткой и на десять дней в деревне был введен комендантский час.

В августе 1924 года на конференции в Лондоне «план Дауэса» получил официальное одобрение. Штреземан и Эррио договорились о том, что иностранные войска будут в течение года выведены из Рура. На январь 1925 года было намечено окончание английской оккупации Кёльна и прилегающего региона. Казалось, ничто не предвещало осложнений, но тут произошло событие, которое спутало все карты. В ноябре того же года Военно-контрольная комиссия союзников обнародовала свой предварительный доклад по результатам инспекции германских предприятий и военных объектов, проведенной вскоре после принятия «плана Дауэса» рейхстагом. Доклад констатировал грубые нарушения германской стороной своих обязательств по Версальскому договору. Повышенное внимание, которое союзники, особенно французы, стали уделять в своих отношениях с Германией именно в этот период военным вопросам, было

неслучайным: в условиях, когда старые рецепты тина установления «стратегической границы» но Рейну или изъятия огромных репараций отпали, сохранение строгих ограничений на немецкий военный потенциал оставалось последней надеждой на нейтрализацию угрозы с востока. Можно сказать, что «план Дауэса» парадоксальным образом заранее запрограммировал создание конфликтной ситуации между рейхом и его западным соседом.

Реакция союзников на доклад комиссии была вполне предсказуемой: правительство Эррио просто не могло не потребовать от англичан отсрочки эвакуации Кёльнской зоны, а британское правительство, которое вновь возглавили консерваторы и где новым министром иностранных дел стал Остин Чемберлен, политик весьма жесткого толка, не имело иного выбора, как согласиться с требованием французской стороны.

Решение о переносе на более поздний срок окончания оккупации вызвало бурю возмущения в германской печати, которая на протяжении января — февраля 1925 года, казалось, вообще ни о чем другом и не писала. Немцы могли себе позволить так распоясаться, поскольку ощущали определенное сочувствие к своей позиции со стороны некоторых кругов в Лондоне: немецкое посольство в Великобритании информировало свой МИД, что, по мнению многих (англичан), «с Германией поступили несправедливо, причем она пострадала из-за какой-то мелочи». В Кёльне по общему решению всех политических партий было решено организовать митинги протеста. Приближалось время традиционного рейнского карнавала, и Аденауэр, опасаясь, что подвыпившие горожане не ограничатся словесными аргументами, распорядился закрыть все пивные и уменьшить число карнавальных представлений. Однако если говорить о массовом возмущении, то оно было вызвано как раз этими запретительными мерами, а не какими-то мотивами высокой политики, впрочем, особых инцидентов во время карнавала не последовало.

В Германии явно ощущалось отсутствие твердой, но примиряющей руки президента Эберта. В феврале 1925 года он скоропостижно скончался. Началась кампания по выборам нового президента. Страсти еще более накалились. Это явно отразилось в тоне речей кёльнского бургомистра. Во время визита в город нового канцлера (им стал Лютер; Маркс выдвинул свою кандидатуру на пост президента) он уже говорил об оккупации как о «совершенно нетерпимом» факте; население, по его словам, «изнывает под гнетом неволи». Касаясь последней из

употребленных Аденауэром фигур речи, заместитель английского Верховного комиссара полковник Райан сухо заметил в адресованном Чемберлену докладе: «Ввиду бурного карнавального веселья, царящего сейчас на улицах, это заявление представляется несколько странным». В английских архивах сохранилось немало такого рода ядовитых комментариев по поводу публичных выступлений нашего героя в описываемое время.

В ходе президентской кампании Аденауэру пришлось испытать немало неприятных минут, объясняя свое поведение в событиях 1923 года. Яррес, тогда бургомистр Дуйсбурга, а теперь один из кандидатов на президентское кресло, заявил, что его коллега из Кёльна в критический момент «пассивного сопротивления» выступил с капитулянтским предложением о начале переговоров с французами относительно создания автономного Рейнского государства вне рамок рейха. Аденауэр в речи, произнесенной 23 марта, потребовал от Ярреса доказательств и заявил, что может назвать несколько «хорошо известных имен» тех, кто способен защитить его доброе имя против клеветнических выпадов. Конкретно он апеллировал к самому канцлеру Лютеру — предать гласности подоплеку событий, только тогда нация сможет вынести свой приговор, кто выступал за капитуляцию и кто против. Имелся в виду, естественно, эпизод с барменским совещанием 24 октября 1923 года. Как мы помним, у каждого из тогдашних ораторов нос был в пушку. Если говорить об Аденауэре, то он тогда, безусловно, качнулся в сторону сепаратизма, другое дело, что он быстро отошел от этой позиции, однако отмазаться от прошлых грехов было нелегко. Эмоциональность реакции Аденауэра на обвинения со стороны Ярреса только усиливала подозрения в его адрес.

Как бы то ни было, ни этот скандал, ни иные штучки Ярресу не помогли. Выборы принесли результат, которого никто не ожидал: президентом был избран фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, семидесятисемилетний старец, которого чуть ли не в инвалидном кресле выкатила на политическую арену группа его почитателей под красиво звучащим лозунгом «национального единства». Он победил с незначительным отрывом от занявшего второе место экс-канцлера Маркса. С точки зрения Аденауэра, такой исход вряд ли мог быть назван оптимальным; с прежним президентом у него установились вполне рабочие отношения, хотя тот и был социал-демократом; можно ли надеяться на их продолжение, когда в президентское кресло уселся заскорузлый вояка, к тому уже мало во что способный вникнуть?

Жизнь, однако, продолжалась, и кёльнский бургомистр по-

прежнему не упускал случая привлечь к себе всеобщее внимание. Летом 1925 года он устроил в городе выставку «Тысяча лет Рейнланда». Исторические основания для выбора юбилейной даты были, конечно, более чем сомнительны, но главное было создать рекламу Кёльну и его бургомистру. Личное приглашение, естественно, послали и новому президенту. Это был прямой афронт оккупационным властям: Гинденбург формально все еще числился в списке военных преступников. Первым импульсом со стороны Чемберлена было вообще запретить какие-либо официальные мероприятия в Кёльне. Однако после того, как приглашение Гинденбургу было отозвано, британский министр иностранных дел смягчился. Германское посольство в Лондоне с плохо скрытым торжеством комментировало ситуацию: «Воспрепятствовать населению провести безобидные торжества после долгих лет репрессивного режима оказалось нелегким делом». 16 мая состоялась пышная церемония открытия выставки: присутствовал рейхсканцлер, было много речей, в том числе выступил в своем, теперь ставшем обычном стиле и сам бургомистр.

Постепенно становилось ясно, что время британской оккупации идет к концу. В марте началось резкое сокращение гарнизона и обслуживающего персонала. Были закрыты английская школа и четыре питейных заведения; филиалы банков «Баркли» и «Ллойд» разослали извещения клиентам с просьбой ликвидировать свои счета. До конца оккупации оставалось меньше года.

В феврале 1925 года появился наконец окончательный вариант отчета Военно-контрольной комиссии. Его формулировки явились плодом компромисса между английской и французской точками зрения, и их можно было трактовать и так, и эдак. Все лето государственные мужи переваривали содержание этого документа, пытаясь прийти к однозначному ответу на ключевой вопрос: можно ли доверять Германии? Вывод напрашивался явно отрицательный, но тут Штреземан выдвинул хитроумную схему многостороннего пакта, в который должны были войти Франция, Великобритания, Бельгия, Италия и Германия и который предусматривал взаимные гарантии безопасности его участников. Англичане, уже фактически принявшие политическое решение об эвакуации Кёльнской зоны, ухватились за этот проект, чтобы убедить французов, что теперь им не нужно беспокоиться относительно возможности нарушения демилитаризованного статуса Рейнской области или прямой агрессии со стороны Германии; по условиям пакта в таком случае все его остальные члены придут на помощь Франции. К началу мая в Лондоне был

подготовлен проект договора, на 5 октября намечался созыв конференции, где текст договора должен был быть парафирован делегациями заинтересованных стран. Местом конференции избрали итальянский городок Локарно.

Официальная английская точка зрения заключалась в том, что вопросы разоружения Германии и эвакуации Кёльнской зоны «никак не связаны с ходом переговоров по проекту пакта безопасности», однако в частном порядке, естественно, признавалось, что все три вопроса представляют собой, по сути, единый пакет. Локарнская конференция прошла в обстановке полного единодушия, поскольку все существенные принципы соглашения были обговорены заранее. Трудная и длительная дискуссия последовала уже после окончания конференции; союзники настаивали, что перед тем, как пойти на свертывание своего военного присутствия в Германии, они должны получить твердые доказательства немецкой лояльности, Штреземан призывал их отнестись снисходительно к «якобы имеющим место» нарушениям военных статей Версальского договора со стороны Германии и назвать точную дату окончания оккупации Кёльнской зоны. Он добился своего: 16 ноября союзники информировали правительство рейха, что вывод английских войск начнется 1 декабря.

Эвакуация затянулась до конца января 1926 года. Одной из причин задержки были трудности с размещением английского контингента в районе Висбадена (англичане не ушли из Германии, они просто сменили французов в южной зоне оккупации, последние подразделения английской армии покинули территорию Германии только в 1930 году). Были и еще две причины, пожалуй, даже более существенные. Союзников беспокоил явно раздутый штат кёльнской полиции. Еще год назад французский генерал Нолле отмечал, что она «многочисленна и хорошо вооружена, представляя очень серьезную угрозу нашей безопасности». Другим тревожным фактором была деятельность нацистской партии; до января 1925 года она была запрещена, но затем запрет был снят, и нацисты создали в городе сильную военизированную организацию.

В конце концов все эти проблемы кое-как решили, или, вернее, предпочли считать их решенными, и 30 января 1926 года в 3 часа пополудни британский флаг, символ военной оккупации города, был спущен. Этому предшествовала краткая церемония в штаб-квартире британского контингента.

Во время спуска флага приглашенные но этому случаю представители немецкой общественности дружно что-то скандировали. «Ничего оскорбительного в наш адрес», — не

преминул отметить автор посланного на следующий день в Лондон отчета о событии. Уходящие части прошли но улицам церемониальным маршем — солдаты с примкнутыми штыками, офицеры — сабли наголо — через соборную площадь на вокзал. Было морозно, но на тротуарах толпился народ, в окнах виднелись лица любопытствующих; полицейские кордоны оцепили привокзальную площадь. Опять что-то скандировали, махали платками. В 3.10 началась погрузка в эшелон. В 3.30 на флагшток, где до этого семь лет развевался Юнион Джек, был поднят флаг Кёльна. Британская оккупация закончилась.

Немецкие комментаторы характеризовали атмосферу проводов как вполне достойную. Можно было бы даже назвать ее дружественной. В отчете разведотдела британского штаба говорится, в частности, о том, что британские солдаты, совершавшие накануне вечером свой последний обход кёльнских кафе, «встречали исключительно теплый прием… Немецкие посетители приглашали солдат посидеть с ними за их столом… В одном заведении немцы даже заперли дверь, чтобы англичане не ушли слишком рано». Что тут скажешь: рейнское гостеприимство, помноженное на радость от того, что «гости» наконец убираются восвояси.

В полночь на площади перед собором начался «фестиваль освобождения». Площадь была забита людьми до отказа, с прилегающих улиц подходили и подходили новые толпы. Этот момент нельзя было упустить, и наш герой использовал его по максимуму. Когда раздался последний, двенадцатый удар соборных часов, он медленно стал подниматься но ступеням западного портала, остановился на той самой ступени, с которой в 1880 году к народу обратился кайзер, повернулся к толпе и провозгласил: «Слушайте все! Кёльн снова свободен! Настал час, которого мы все так ждали. Заря свободы воссияла над нами! Возблагодарим от всего сердца Господа нашего всемогущего… Нам пришлось долгие семь лет терпеть тяжкое бремя под железным кулаком победителя… Мы страдали все вместе, мы пережили и вынесли все это вместе… Так давайте поклянемся, что сохраним это единство и в будущем, сохраним ту же верность нашей нации, ту же любовь к нашему отечеству! А теперь все вместе: «Германия, дорогая Германия! Ура! Ура! Ура!» Толпа дружно откликнулась на призыв. На присутствовавшего на этом действе видного деятеля партии Центра Рудольфа Амелюнксена, судя по его мемуарам, особое впечатление произвели звуки «нового, пятитонного колокола церкви Святого Петра, самого большого колокола в Германии», которые завершили торжество.

С позиции сегодняшнего дня риторика Аденауэра может,

конечно, показаться примитивной. Но тогда это так не казалось. Во всяком случае, краткое и страстное выступление бургомистра выгодно отличалось от последовавшей длинной и пустой речи министра-президента Пруссии Отто Брауна. К чести нашего героя, он высказал и нечто вроде комплимента оккупантам: «Будем справедливы: несмотря на все, что выпало на нашу долю, давайте признаем, что в сфере большой политики наш противник, с которым мы сейчас расстались, вел себя по-честному». Браун вообще не удостоил англичан ни одним словом. В целом все было довольно трогательно. Сам Аденауэр считал, что это был «самый счастливый момент в его жизни» — так по крайней мере пишет один из его биографов[15].

Торжества но случаю ухода оккупантов на этом не закончились. 21 марта в город с официальным визитом прибыл сам президент Гинденбург. К тому времени страхи насчет того, что престарелый фельдмаршал даст волю своим монархическим и ультрареакционным симпатиям, несколько улеглись, глава государства вроде бы доказал свою верность

Веймарской конституции. Соответственно, его появление в городе не только не вызвало каких-либо протестов, а, напротив, вылилось во всеобщий праздник. Победителю битвы под Танненбергом были оказаны почти королевские почести. В отличие от своего предшественника Эберта новый президент очень следил за своим внешним видом, он еще сохранял военную выправку, седые усы торчали, как у настоящего пруссака. Когда он проезжал в открытом лимузине (бургомистр, разумеется, был рядом), картина была впечатляющая: совсем старый, а как держится, вот что значит военная косточка… Все дружно приветствовали «отца нации».

При новом президенте нечто новое появилось и в облике кёльнского бургомистра. Это был уже не тот Аденауэр образца 1923 года, «страшно печальный» и «довольно усталый» вид которого бросился в глаза его английскому собеседнику, и не тот худощавый и мрачноватый спутник Эберта на кёльнской ярмарке в 1924-м; он пополнел, посолиднел, на губах все чаще стала появляться улыбка, не слишком широкая, но все же не такая, как раньше. Ему явно нравилась та аура всеобщего почитания, которой он теперь был окружен, хотя это почитание и не означало, что бургомистр пользуется всеобщими симпатиями.

Вернемся, впрочем, к визиту президента. Банкет, устроенный бургомистром в зале ратуши, по размаху и пышности превосходил все мыслимые рамки. Список приглашенных включал свыше шестисот имен. Каждому была послано роскошно выполненное письмо-приглашение, каждого гостя на столе ждал

флакон с кёльнской парфюмерией, меню поражало изобилием, и в заключение каждому присутствовавшему было предложено по сигаре, на обертке которой они могли лицезреть миниатюрный портрет самого бургомистра. Вкус здесь явно подвел нашего героя, но в целом это было достойное продолжение тех государственных приемов, которые давались в этом же зале для Габсбургов и Гогенцоллернов. Сам он, во всяком случае, был в восторге от того, как все получилось, о чем не преминул подробно расписать в послании Хампшону; возможно, это утешило умиравшего в Берлине друга.

Аденауэр явно разошелся, и это сказалось не только в экстравагантных излишествах на банкете. В ходе торжественного заседания, состоявшегося утром в день прибытия в город Гинденбурга, в ответном слове после краткой и политически вполне корректной речи президента, нашего героя, что называется, понесло. Он начал с лирических воспоминаний о том, как из Кёльна на восток уходил последний полк германской армии и с каким тяжелым чувством он ожидал прихода оккупантов (которых он, напомним, на самом деле торопил с вступлением в город во избежание «революции»). «Невыносимой», по его словам, была для него «надменность победителей» и даже их полковая музыка. Дальше пошли обороты типа «железный кулак оккупантов», «тяготы и духовные муки многочисленных семей», «произвол оккупационной юстиции». Он даже предложил почтить намять «немалого количества мужчин и женщин, ставших невинными жертвами британских оккупантов». Под конец оратор подвел итог: он говорит обо всем этом, «не взывая к мести и не из-за чувства злобы, просто наш долг перед историей — сказать открыто и правдиво всему миру, что иностранная оккупация никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть инструментом достижения мира и взаимопонимания… Долой этот источник зла, долой оккупационный режим!»

Для присутствовавшего при этом лорда Килмарнока это было уже слишком. Он был человек по природе мягкий и к тому же всегда выступал на стороне немцев и реинландцев против французов, а норой и против своего лондонского начальства. И вот благодарность! Почтенного лорда чуть не хватил удар. Его эмоции ярко отразились в донесении, которое он отправил 23 марта на имя министра иностранных дел Остина Чемберлена. Здесь уже нет и следа от прежних позитивных оценок личности и политики кёльнского бургомистра, его репутация в глазах английского эмиссара была непоправимо подорвана. Килмарнок говорит о «цинизме» Аденауэра: «Хорошо известно, что он сам отправил генералу Плюмеру телеграмму с просьбой ускорить

ввод войск в Кёльн». Не меньше возмутило лорда и то, как сам Аденауэр объяснил ему мотивы, побудившие его прибегнуть к такого рода риторическим красотам: «Лицемерие его отговорок напоминает известный прием авторов порнографической продукции: они, мол, так подробно и со смаком все описывают с единственной целью — чтобы снять эффект «запретного плода», лишить порок ореола новизны и таинственности». Донесение Килмарнока было должным образом замечено в Лондоне: досье Аденауэра в Форин офис обогатилось новым ярким документом. Несомненно, его содержание сыграло свою роль в событиях, которые разыгрались двадцатью годами позже и о которых мы еще поговорим.

Впрочем, чем больше росли недоверие и неприязнь к Аденауэру со стороны англичан, тем больше становилась его популярность в Кёльне и в Германии в целом. Разыгравшийся в это время политический скандал создал благоприятную возможность для нового взлета его политической карьеры. Все началось с вопроса о национальной символике. По Веймарской конституции, официальным флагом стал черно-красно-золотой, с которым шли на бой против монархии революционеры 1848 года. Вместе с тем флагом торгового флота оставался старый, императорский — черно-бело-красный. И вот 5 мая'1926 года появился декрет президента, завизированный канцлером, согласно которому во всех германских посольствах и консульствах за пределами Европы и в европейских портовых городах должен был отныне вывешиваться исключительно флаг торгового флота, то есть старый, кайзеровский, а не новый, республиканский.

Приверженность нового президента старой символике была широко известна, но, пока это касалось его лично, никто особенно не принимал это близко к сердцу. Другое дело, когда это выразилось в официальной директиве, получившей юридическую силу в результате согласия с ней канцлера. Демократы подняли крик. Ситуация еще больше обострилась, когда было обнародовано послание Гинденбурга канцлеру Лютеру от 9 мая, где говорилось о том, что он не намеревается самолично менять национальный флаг, однако возникшая дискуссия свидетельствует о том, насколько «угрожающим и опасным для нашей нации стала нерешенность вопроса о флаге». Итак, вопрос о государственной символике объявлялся открытым. Отсюда логично следовало, что либо конституция для президента вообще не указ, либо надо менять конституцию.

11 мая в рейхстаге состоялась бурная дискуссия. Лютер не. сумел найти правильного тона в ответах на критические

выступления в адрес позиции правительства. Принятая большинством голосов резолюция, как ни странно, одобрительно оценивала намерения Гинденбурга по «мирному разрешению» спора, но зато содержала резкую критику канцлера, «который своими действиями затруднил поиски окончательного решения и который по неосмотрительности дал почву для нового конфликта». Лютеру не оставалось иного выхода, как подать в отставку. Одному из своих коллег он удивленно заметил: «Не понимаю, как можно из-за такого пустяка свергать правительство», — на что тот метко возразил: «То, что вы таких важных вещей не понимаете, — это не пустяк».

Без четверти одиннадцать утра в четверг 13 мая Аденауэр получает телеграмму из Берлина, подписанную двумя его коллегами по партии Центра, Теодором фон Герардом и Адамом Штегервальдом, в ней его срочно просят выехать в столицу. Адресат хорошо понимает, о чем идет речь: его собираются убедить согласиться с выдвижением его кандидатуры на пост рейхсканцлера. Он решает потянуть время. По телефону он сообщает Штегервальду, что телеграмма пришла поздно и сегодня он уже выехать не сможет, скорее всего — завтра. Пока он отправляется обсудить все с супругой.

Понятно, почему он решил выслушать совет Гусей. Стать канцлером означало расстаться с постом бургомистра Кёльна, с домом на Макс-Брухштрассе, со всеми доходами и привилегиями, которые делали жизнь семьи легкой и беззаботной. Конечно, престиж и положение первого лица в германской политической жизни несравненно выше, но обратного пути уже не будет, кресло бургомистра ему никто не вернет, а кто может поручиться, что его канцлерство продлится дольше нескольких месяцев? И что ему потом делать? Искать место в правлении какого-нибудь банка или промышленной компании? Для политической карьеры перспектив уже не будет.

Гусей была за то, чтобы рискнуть, но Аденауэр избрал более осторожный вариант. Было решено, что они вдвоем отправятся в Берлин на разведку. Скорее всего он уже тогда пришел к твердому мнению, что примет предложение только в том случае, если сможет опереться на широкую и устойчивую коалицию — от социал-демократов до Народной партии. В разговорах с Герардом и Штегервальдом, которые проходили в отеле «Кайзерхоф», где Аденауэр обычно останавливался, будучи в столице, выяснилась неутешительная картина: ни социал-демократы, ни лидеры Народной партии не проявляли энтузиазма но поводу его кандидатуры. Германская национальная народная партия, со своей стороны, не хотела и слышать о коалиции с Народной

партией и Центром. Наконец, если говорить о личностях, то Штреземан заявлял, что ни при каких обстоятельствах не согласится быть министром, если правительство возглавит Аденауэр.

Четыре дня шли нелегкие переговоры, которые кончились ничем. Решающий удар нанес Штреземан. Ему приписывают слова, сказанные после окончания решающего заседания фракции Народной партии: «Сегодня мы преградили Аденауэру путь к канцлерству».

В изображении самого Аденауэра главной причиной враждебности к нему Штреземана и того, что он не стал тогда канцлером, было его хорошо известное отрицательное отношение к Локарнским соглашениям — детищу Штреземана. Этот тезис звучит странно, поскольку два месяца назад, во время визита Гинденбурга в Кёльн, бургомистр высказался о них вполне позитивно, и было непонятно, когда и почему он изменил с тех пор свое мнение. Аденауэр уклонился от ответов, укрывшись за туманными фразами о том, что его беспокоит не само общее направление германской политики, а конкретные методы ее ведения. Целил он при этом, естественно, в того же Штреземана.

Аденауэр неожиданно выступил с критикой «плана Дауэса», заявляя, что Германия не в силах выполнить предусмотренные там квоты репарационных платежей. Утверждение звучало неубедительно: ни как бургомистр Кёльна, ни как председатель прусского Государственного совета он не имел допуска к закрытым статистическим данным о финансовом состоянии рейха. Истина заключалась в том, что Аденауэр и Штреземан не выносили друг друга и никак не могли бы сотрудничать в качестве соответственно канцлера и министра иностранных дел; между тем Аденауэр отдавал себе отчет в том, что замены на этом посту для Штреземана в данное время нет.

Единственным выходом было похоронить проект переезда в Берлин. Аденауэр так и сделал, соответствующим образом информировав коллег но партии и президента Гинденбурга. В результате новым канцлером вновь стал Вильгельм Маркс, неудачливый соперник Гинденбурга на президентских выборах, Штреземан сохранил пост министра иностранных дел. Это был тринадцатый веймарский кабинет, до конца республики их сменилось еще шесть. Тогда, впрочем, никто не мог знать, что дни Веймарской республики уже сочтены. Чета Аденауэров, не особенно горюя по поводу берлинского фиаско, вернулась в свой дом на Макс-Брухштрассе.

ГЛАВА 6.
СЕМЬЯ И КАРЬЕРА

«Если вам нужны мрачные тени для моего образа, обратитесь к господину Герлингеру. Он вас ими обеспечит с избытком»[16]

Некогда, в VII веке до нашей эры, известный афинский мудрец и государственный деятель Солон, как говорят, дал дельный, хотя и не особенно ободряющий совет лидийскому царю Крезу: «Пока человек еще жив, не называй его счастливым, скажи, что ему сопутствует удача». К биографии нашего героя этот афоризм имеет прямое отношение. 5 января 1926 года ему исполнилось пятьдесят лет, и он был вправе сказать, что до сих пор ему действительно сопутствовала удача в том смысле, что жизнь подбрасывала ему неплохие возможности и шансы на продвижение вверх, а он, в общем, довольно неплохо их использовал. В его жизненном балансе был, разумеется, не только актив, но и пассив, однако в целом кредит явно превышал дебет. Был ли он счастлив? Если доверять свидетельству его сына, то, во всяком случае, «в 1926–1929 годах он чувствовал себе счастливее, чем в какой-либо другой отрезок жизни, если не считать, конечно, того периода, когда он стал канцлером ФРГ». Что было к тому времени у Аденауэра в активе? Он должным образом зарекомендовал себя в качестве бургомистра одного из крупнейших мегаполисов Германии, приобрел на этом посту немалый авторитет; его планы развития города и его инфраструктуры получили самую высокую оценку, особенно когда все увидели первые результаты их осуществления; он проявил известное дипломатическое искусство в своем общении с оккупационными властями; то, что он дважды получал приглашение возглавить общегерманское правительство, говорило о всеобщем признании его способностей как политика; ему очень помогла его юридическая подготовка, аргументы из области теории и практики права часто присутствовали в его речах, что компенсировало их обычную суховатость и прямолинейность. Он не любил идти на уступки, но, как правило, отстаивал свою точку зрения, апеллируя к здравому смыслу оппонентов, а не к эмоциям. Лишь иногда они прорывали броню холодной сдержанности. Так случилось в ночь «фестиваля освобождения» 30 января 1926 года, но такое искреннее проявление ранее тщательно скрываемых чувств тоже работало на

его репутацию.

Дома тоже все складывалось как нельзя лучше. Гусей оказалась почти идеальной женой для публичного политика. Ее не тяготили обязанности сопровождать мужа на разного рода мероприятия и приемы, она, казалось, всегда была в хорошем настроении, умела поддержать светский разговор, всем своим видом внушала к себе симпатию. Их брак не был основан на страстной любви до гроба, в нем присутствовали скорее естественное взаимное влечение стареющего мужчины и молодой женщины в сочетании с чувством глубокого уважения, которое они испытывали друг к другу. Гусей была достаточно разумна, чтобы понять, что она никогда не сможет занять в сердце супруга то место, которое занимала Эмма. Но ей хватало того, что она имела.

Что же составляло пассив? Одна из самых ярких отрицательных черт личности Аденауэра отражалась в его отношении к подчиненным. Он третировал их как мальчишек и не стеснялся выплескивать на них свое раздражение. С не меньшей бесцеремонностью обходился он и с депутатами городского собрания. Город к этому времени здорово залез в долги (ниже мы остановимся на этом подробнее), однако бургомистр с порога отметал всякую критику по этому поводу, порой прибегая к довольно грубым приемам полемики. Все должны беспрекословно повиноваться шефу — таков был его принцип, который он железной рукой проводил в жизнь.

Тот же принцип господствовал и в семье. Все шло но раз и навсегда заведенному распорядку: ровно в девять утра он выходил из дома, десять минут прогулки но парку, затем — в машину и в ратушу. Дети в это время расходились но своим школам: старшие, Конрад и Макс, — в гимназию Святых апостолов, Рия — в лицей № 3 (образование тогда было раздельным для мальчиков и девочек), Пауль — в начальную школу. Младшая дочь, Лотта, появившаяся на свет в 1925 году, была, естественно, дома с матерью. К двум часам дня глава семейства приезжал домой на обед. Дети к этому времени уже возвращались из школы; перед трапезой и после нее читалась молитва, а затем наступал самый неприятный для молодого поколения момент: они должны были отчитаться о своих успехах в школе. «Удовлетворительно» уже было поводом для серьезного выговора. Когда кто-то набирался храбрости напомнить пане, что он сам не часто получал более высокую отметку, следовал аргумент, который и до сих пор охотно используется родителями в такого рода душеспасительных беседах: раньше требования были выше.

Отведя душу в наставлениях отпрыскам, наш герой отправлялся соснуть, а дети принимались за уроки. Около четырех он вновь отправлялся на работу, возвращался около восьми, если, разумеется, не было какого-либо официального приема. Затем ужин на скорую руку в компании с супругой — и за бумаги. Порой он требовал, чтобы дети продемонстрировали ему свои достижения в игре на фортепиано. Достижения не могли быть особенно большими, учитывая тот факт, что они занимались с учителем музыки всего по четверть часа раз в неделю, причем учитель был отнюдь не гением педагогики, а его ученики в перерывах между занятиями если и подходили к инструменту, то не больше, чем на пару минут.

Старшие — Коко, Макс и Рия — предпочитали проводить время вне дома. Летом они ходили на корт, но там была обычно такая очередь желающих, что больше четверти часа поиграть редко удавалось. Глава семьи сам никаким видом спорта не увлекался; если дети хотят, пусть занимаются, он не против — такова была его позиция. Против чего он был решительно настроен — так это, чтобы дети приводили в дом друзей. В результате в доме образовалась какая-то пустота.

На официальных приемах Аденауэр, по словам тех, кто его знал, не проявлял особой склонности к неформальному общению, светским разговорам и тем более к излишествам в еде и напитках. Как правило, ему хватало одного бокала на весь вечер, а порой он даже наливал в него воду вместо вина, надеясь, что никто не заметит подмены. Есть он предпочитал часто и понемногу — так лучше для собственного здоровья, о состоянии которого он проявлял исключительную заботу. Приемы он поэтому рассматривал как неизбежное зло. Его самого с Гусей раза четыре-пять в год приглашали на свои приемы представители финансово-промышленной элиты города — этим ограничивалась светская жизнь четы Аденауэров.

Аскетизм бургомистра порой казался чрезмерным, так, во всяком случае, наверняка считали его дети. Сладости они получали но строго соблюдаемому графику и тщательно отмеренными порциями. На день святой Варвары, 4 декабря, утром их обычно ждали туфельки с конфетами, но через два дня, 6 декабря, на святого Николая, квота оказывалась уже сильно урезанной — каждому доставалось всего по несколько штук. Если они проявляли недовольство, следовало строгое внушение: они уже и так получили достаточно на святую Варвару, а кроме того, тремя неделями раньше, в праздник святого Мартина, они с другими ребятишками обходили соседей с песнями и тоже получили от них гостинцы — хватит.

Строгому ритуалу подчинялось и празднование Рождества. Утром наряжали елку, потом Гусей, как правило, заходила к родителям, там снова собиралось семейное трио — она, сестра и брат, устраивался маленький концерт, как до ее замужества. Главное торжество в доме Аденауэров начиналось ровно в пять часов вечера: вся семья собиралась вокруг елки. Дети (естественно, за исключением маленькой Лотты) должны были прочесть какой-нибудь стишок и сыграть пьеску на фортепиано (в 1926 году на смену скромному пианино пришел огромный рояль). Потом пели все хором, что наверняка доставляло детишкам немало веселых минут: мама с папой безбожно фальшивили, певческие способности, за которые Конрад-школьник неизменно получал высший балл, были, очевидно, полностью утрачены.

На следующее утро вся семья в половине одиннадцатого отправлялась на торжественную мессу в церковь Святых апостолов. Служба шла на латыни и обычно затягивалась, но Аденауэры добросовестно отстаивали не только ее, но и две следующие малые мессы. До церкви и обратно шли пешком: Аденауэр отказывался пользоваться по этому случаю служебной машиной: «Мой шофер тоже имеет право на Рождество».

За Рождеством следовал Новый год. Он справлялся уже более скромно: сочельник тоже был отмечен в церковном календаре, но это был праздник, несравнимый с Рождеством, тем не менее никто не ложился спать до полуночи, и с последним, двенадцатым ударом часов все обменивались новогодними пожеланиями. После этого город сразу же начинал готовиться к карнавалу. Война и послевоенные бедствия прервали эту традицию, но к 1926 году она уже возродилась, и празднества приняли прежний размах. С начала января отдельные общины (ранее они состояли из прихожан одного и того же храма, но с течением времени конфессиональные рамки оказались размытыми) начинали устраивать свои мини-карнавалы, снимая для этого залы тех или иных пивных или ресторанов. Пиком торжеств был костюмированный парад-шествие по улицам города в «Розенмонтаг», буквально — «розовый понедельник» накануне великого поста. В наше время любой бургомистр считает своим долгом принять личное участие в шествии и представлениях. Аденауэра же с трудом удавалось уговорить хотя бы постоять на балконе ратуши и осенить своей десницей участников карнавала. Младшие члены семьи — другое дело, они радовались от души столь редкому в их жизни развлечению.

Позволить себе расслабиться и насладиться радостями жизни Аденауэр мог только во время отпуска. Обычно он брал его в августе или начале сентября. В первые послевоенные годы семья

не выезжала дальше Эйфеля (чтобы бургомистра можно было экстренно вызвать на место службы). В 1921–1922 годах Аденауэры провели отпуск в Шварцвальде, подальше от Кёльна, но все еще в пределах Германии: в условиях инфляции о поездках за рубеж нечего было и мечтать. Первая возможность выезда за границу представилась только в июле 1924 года, глава семьи выбрал Швейцарию, возможно, в намять о своем медовом месяце с Эммой. Они обосновались в маленькой деревушке Шандолен, высоко в горах, добраться туда можно было только пешком или верхом на муле. С точки зрения Аденауэра, в этом было большое преимущество: его никто не мог побеспокоить. Как он сам говорил своему биографу: «Свои обязанности перед людьми я выполнил. В отпуске я никого не хотел бы видеть».

Семья приезжала в Шандолен несколько лет подряд. Процессия отдаленно напоминала странствия Моисея по пустыне. Впереди — оба супруга, за ними вереница детей, которую замыкала няня с Лоттой на руках (пока та была совсем маленькой, позже она тоже заняла свое место в караване), и, наконец, двенадцать мулов со скарбом, подгоняемых нанятыми носильщиками.

Целью путешествия была маленькая гостиница, с претензией названная «Гранд-отелем». Каждый год семья снимала одни и те же номера, каждый спал в той же постели, что и в предыдущий раз, ели за теми же столами и те же блюда. Как и дома, каждый раз при этом читалась молитва, только сидя и про себя, руки под столом, чтобы не привлекать внимания посторонних. Каждый день — пешие прогулки, глава семьи — впереди, с альпенштоком в руках, время от времени напевая что-то своим неверным баритоном и отпуская всякого рода шуточки. Любимым развлечением для него было подцепить на кончик альпенштока засохшую коровью лепешку и метнуть ее в одного из сыновей. «Отцу здесь повеселее, чем в Кёльне», — констатировала Рия в письме дяде, написанном в отпускной сезон 1928 года. Еще бы!

По возвращении на него вновь обрушивалась рутина повседневных дел. Не все шло так, как ему хотелось бы. Популярность его, весной 1926 года достигшая максимума, пошла на спад. Усилилась борьба фракций в городском собрании. Оппозиция обрела агрессивного лидера в лице депутата от социал-демократической партии Роберта Герлингера.

Это был выходец из обычной рабочей семьи, чем немало гордился. Он прошел большую школу работы в профсоюзах, численность и влияние которых после войны резко увеличились. Невысокого роста, внешне неказистый, он никоим образом не уступал Аденауэру в умении «срезать» оппонента. После

Штреземана это был второй человек, к которому у Аденауэра развилось чувство активной личной неприязни — это чувство было вполне взаимно.

Какое-то время Аденауэр мог себе позволить просто не обращать на Герлингера внимания. Он с увлечением продолжал заниматься своими престижными проектами. Однажды его стремление быть всегда в центре событий чуть не обернулось бедой: на празднике открытия нового кёльнского аэродрома он сам забрался в кабину самолета и совершил круг над городом. Летчику с трудом удалось приземлиться на еще как следует не разровненную посадочную полосу. Затем бургомистр с головой ушел в разработку амбициозных планов постройки новых корпусов для Кёльнского университета, бесконечной чередой шли банкеты для иностранных инвесторов, желавших вложить свои капиталы в развитие промышленных пригородов.

Проектам не было конца, и депутатов собрания — отнюдь не только одного Герлингера, все больше занимал вопрос: откуда бургомистр достает деньги на все это? В условиях инфляции методика была простая: марки можно было напечатать или взять в долг, а потом погасить его новыми обесцененными марками. Стабилизация валюты, начавшаяся с 1924 года, перекрыла этот канал. Центральное правительство, действуя но рекомендации главного банкира страны Ялмара Шахта, отказалось финансировать аденауэровские проекты. Оставалось одно — брать взаймы. Дефицит городского бюджета стал быстро расти: в 1924 году он составлял 180 миллионов золотых марок, в 1926-м — 262 миллиона и в 1927-м — уже 280 миллионов.

Первое сражение в войне Аденауэра против городского собрания развернулось по вопросу о строительстве Мюльгеймского моста. Разногласия были не в том, нужен или не нужен новый мост через Рейн, все были согласны, что да, нужен. Дело было даже не в проблеме финансирования. Как ни странно, полемика развернулась по вопросу, казалось бы, сугубо техническому: строить ли обычный многопролетный мост на нескольких опорах или создать модерновую подвесную конструкцию без промежуточных опор. В 1926 году собрание утвердило экспертную комиссию в составе пяти архитекторов и четырех представителей от города (включая самого бургомистра). Комиссия разумно решила провести тендер. Его выиграла компания Круппа, предложившая проект арочного моста с опорами, которые предполагалось возвести кессонным способом. За этот проект проголосовали семеро из членов комиссии, против было два голоса, включая голос бургомистра, который тщетно пытался убедить большинство в эстетических прелестях

подвесной — и намного более дорогой — конструкции. Пленум собрания значительным большинством утвердил решение комиссии. Вопрос, казалось, был окончательно решен.

Не тут-то было. Аденауэра не так легко было заставить смириться с волей большинства. В ход пошел целый набор хитроумных трюков. Депутаты, один за другим, стали получать приглашения от бургомистра заглянуть в его кабинет или даже домой, посидеть вдвоем, распить по бокалу и «поболтать». Последнее означало, естественно, выслушать длинную лекцию хозяина о преимуществах подвесного моста. После такой промывки мозгов депутат долго не мог прийти в себя: оказывается, бургомистр вовсе не такой бука, а главное, раз он меня уважает и ценит мое мнение, так не стоит ли уважить и его?

Другим объектом обработки стали профсоюзы. Метод убеждения здесь был прост до гениальности: Крупп — это не кёльнская фирма, а вот у нас в городе есть фирма «Фельтен и Гийом», которая вполне могла бы получить заказ, если бы был принят проект подвесного моста; он, бургомистр, больше всего озабочен тем, как бы обеспечить рабочие места для кёльнцев, чтобы не было безработицы… Аргументация подействовала: рабочий совет «Фельтена и Гийома», где были сильны коммунисты, потребовал от коммунистической фракции собрания голосовать за подвесной мост. Еще легче было убедить представителей христианских профсоюзов.

Наконец, Аденауэр сумел организовать соответствующее экспертное мнение.- Нашелся архитектор, который выразил сомнение относительно крупповского проекта. Бургомистр дал ему задание — срочно перепроверить все содержавшиеся там данные и расчеты. Был выходной в середине карнавального сезона, но архитектору было сказано, что он не уйдет из мастерской до тех пор, пока не представит нужного результата. Результат действительно оказался таким, как было нужно: конструкция слишком утяжелена, грунт на дне реки ее не выдержит. Когда доклад об этой экспертизе был зачитан удивленным депутатам на сессии собрания в апреле 1927 года, они дружно проголосовали за отмену своего прежнего решения, а затем — за проект подвесного моста. Строители тут же принялись за работу.

Случай с Мюльгеймским мостом был не единственным примером того, как ловко наш герой научился манипулировать демократически избранным народным представительством. Публичные инвективы, лесть и всевозможные посулы в частных беседах, соответствующий выбор рычагов влияния и оптимального момента, чтобы привести их в действие, — во всем

этом он достиг уровня виртуоза. «Решение принимает собрание, и оно же отвечает за последствия своего решения, а я отвечаю за то, чтобы принимались такие решения, которые я считаю правильными» — это высказывание Аденауэра сделало бы честь любому представителю ордена иезуитов.

Действия бургомистра одобрялись далеко не всеми. Чувства ряда депутатов ярко выразил упомянутый Герлингер. В адресованном лично Аденауэру письме от 14 декабря 1927 года он упрекал его в «излишней спешке, с которой проталкиваются различные проекты», не связанные «единой целью», указывалось, что ничего не делается, чтобы решить вопрос об общественном транспорте в пригородной зоне, в городе налицо «транспортная катастрофа». В более общем плане бургомистру бросалось обвинение в том, что он превратил депутатов в высокооплачиваемых чиновников своего аппарата и т.п.

Упреки были справедливы, более того, они шли не только от Герлингера и его коллег по социал-демократической фракции. Даже со стороны представителей его собственной партии высказывались критические замечания. Особые опасения вызывало слишком вольное обращение бургомистра с городскими финансами. Видный политик Центра Йоханнес Ринге в личном письме Аденауэру от 26 февраля 1928 года пытался привести старого знакомого в чувство: «Если не прекратить все эти проекты, случится непоправимое».

Аденауэр — уже не в первый раз — решил, что лучший вид обороны — это нападение. Обращение Герлингера он просто проигнорировал, зато Рингса в ответном письме буквально размазал но стенке: он не ожидал такого от своего единомышленника; вместо того, чтобы прийти и в дружеской атмосфере обсудить все проблемы, ему направляют письмо, «полное совершенно фантастических цифр и основанных на них фантастических выводов», — он чувствует себя «глубоко оскорбленным».

В качестве ответа на критику но поводу перенапряжения городского бюджета бургомистр предлагает простое средство — сокращение социальных расходов. Еще в марте 1927 года он критиковал центральное правительство за то, что оно полностью возложило на город бремя выплат по социальной поддержке населения. Теперь он уже прямо требует их сокращения или даже прекращения для всех, кроме тех, кто сможет доказать отсутствие у них каких-либо иных источников пропитания. Он требует вдобавок повышения тарифов на газ и электричество. Конечно, он отдает себе отчет в том, Что эти меры встретят бурную реакцию со стороны социал-демократов и либерально настроенных

представителей партии Центра. Он снова делает ловкий ход: он готов взять назад свои предложения по социальной сфере, если собрание пойдет ему навстречу в вопросе о тарифах. Депутаты соглашаются и тем самым подрывают свой авторитет в глазах населения, всеобщее возмущение направляется против городского собрания, бургомистр остается в стороне.

Осложняются зато его отношения с берлинским центром. В 1928 году задолженность Кёльна выросла еще на 40 миллионов марок. Председатель Рейхсбанка Шахт выступает с открытой критикой, к ней присоединяется и министр иностранных дел Штреземан: экстравагантные траты кёльнского бургомистра подрывают позиции германской стороны на переговорах но поводу уменьшения репарационных платежей, мы жалуемся, что не можем платить, а нам говорят: смотрите, как у вас сорят деньгами… Мало того, что огромные суммы ушли на строительство выставочного комплекса в Дейце, так речь теперь идет о новом здании университета, да еще каком-то Рейнском музее в старых казармах кирасиров… У Шахта особое возмущение вызвал тот факт, что на финансирование этих проектов идет валюта, доллары. Пока экономика на подъеме и марка на должном уровне, это еще приемлемо, но если конъюнктура ухудшится, что вполне вероятно, то это приведет к катастрофе.

Между тем раз начатые проекты остановить уже трудно. Аденауэр, со своей стороны, и не собирается их свертывать. Напротив, 23 мая 1928 года на верфи во Вильгельмсхафене происходит закладка крейсера «Кёльн»; 21–28 июля в Кёльне проходит Всегерманский слет гимнастов, и, наконец, с 12 мая по 14 октября в выставочном комплексе в Дейце действует Международная выставка прессы. Все это оплачивается из городской казны.

Особенно дорогостоящим оказалось последнее мероприятие. Только на прием зарубежных гостей было выделено 800 тысяч марок. Даже Советский Союз прислал свою делегацию, что, кстати, вызвало бурные протесты со стороны правой прессы и местных нацистов. Из Франции прибыл Эдуард Эррио, тогда занимавший пост министра образования, естественно, в сопровождении огромной свиты чиновников.

Во время банкета в честь высокого французского гостя Аденауэр выступил с большой речью, в которой призвал к примирению между нациями. Это было для него нечто новое. Верно: в его речах начала 20-х годов тоже присутствовали высказывания в пользу франко-германского сотрудничества, но это было чем-то вроде гарнира к его авантюрным проектам завязывания неофициальных контактов с Парижем. В частных

беседах, в том числе с английскими представителями, он не скрывал своего крайне критического отношения к сменявшим друг друга французским кабинетам и к политике Франции в целом. Теперь его выступление за «мир и примирение» было, казалось, вполне искренним. «Многие в Германии, и я в их числе, вначале с большим сомнением и скепсисом воспринимали эти идеи, но ныне они стали частью наших общих убеждений» — эти его слова из упомянутой речи на приеме в честь Эррио сильно отличались от того, что было им сказано по поводу Локарнского пакта всего два года назад. Впрочем, в политике постоянство взглядов никогда не бывало предпосылкой успеха. Наш герой, во всяком случае, никогда не стеснялся выступать то с одной, то с прямо противоположной точкой зрения на один и тот же предмет при условии, что разные высказывания будет разделять достаточный промежуток времени.

Политическая ситуация в Кёльне готовила ему в это время новое испытание. В ноябре 1929 года предстояли выборы нового состава городского собрания, которое затем должно было переизбрать бургомистра. Перспективы сохранить свой пост на новый срок представлялись Аденауэру отнюдь не столь уж очевидными. Он стал усиленно работать на свой имидж. Важно было, в частности, показать, что его знают не только в Германии, но и за рубежом. Весной 1929 года он посетил Лондон; это был, правда, неофициальный визит: Конрад решил проведать старшего сына Коко, который там учился. Но, например, в Амстердам осенью того же года он прибыл уже как официальный представитель Кёльна, эта поездка широко освещалась в прессе и, соответственно, стала неплохой рекламой для его избирательной кампании.

Главные усилия были сконцентрированы на обработке местных кёльнских политиков. Методика была обычная, опробованная еще во время истории с Мюльгеймским мостом; разница была, пожалуй, лишь в том, что на сей раз сеть была заброшена пошире, захватывая не только действующих депутатов, но и более или менее перспективных кандидатов, которые могли занять их место в новом составе собрания. Естественно, все оплачивалось из городского бюджета, но тогда это было общепринятой практикой.

Даже Герлингер, главный соперник Аденауэра на предстоящих выборах, не мог скрыть своего невольного восхищения виртуозной тактикой действующего бургомистра. «Он не забыл ни одного дня рождения, ни одной траурной даты.

Он спешил первым поздравить нужного человека с чем-нибудь приятным и первым выразить соболезнование по поводу

какой-либо неприятности, он быстро и по существу отвечал на поступающие ему письма избирателей» — в устах непримиримого оппонента эти признания звучат особенно убедительно. В ход шли также небольшие презенты и обещание теплых местечек в городском управлении. Что касается техники частных бесед за бокалом вина, то ее применение распространялось даже на политических противников. Гостем бургомистра стал однажды и его главный конкурент Герлингер. Вспоминая об этой встрече, он сокрушенно заметил: «После нее я понял секрет политического успеха Аденауэра». Социал-демократ явно не ждал такого «теплого и дружеского» обращения со стороны того, кто обычно либо обливал его грязью, либо вообще предпочитал не замечать. Разумеется, Герлингер поспешил отметить, что он не дал себя обмануть, он понимал, что речь идет о сплошном лицемерии, что стоит пройти выборам, и все вернется на круги своя. Но, заметим, все это было сказано Герлингером намного позже, и наверняка на многих обходительные манеры Аденауэра оказывали нужное воздействие.

Ситуацию неожиданно осложнил мировой экономический кризис, начавшийся с краха на нью-йоркской бирже в «черную пятницу» 24 октября 1929 года. Как и предполагал Шахт, долларовая задолженность тяжелым камнем повисла на городском бюджете, поступления в который резко сократились, а расходная часть — прежде всего на выплату пособий безработным — столь же резко увеличилась. В полной мере эти тенденции еще не успели сказаться за то время — меньше месяца, которое оставалось до выборов, хотя в прессе успело появиться несколько критических статей о бургомистре. «Рейнише цейтунг» сравнила его с тиранами периода Возрождения типа Медичи, «Кёльнише цейтунг», говоря о нерешенных проблемах города, предпочитала не называть конкретно имени Аденауэра, но каждому было ясно, в чей огород целят выпускаемые стрелы.

Состоявшиеся 17 ноября выборы принесли следующие результаты: Центр получил 25 мандатов, на 4 больше, чем на выборах 1924 года; социал-демократы — 21 мандат, чуть больше, чем в прежнем составе собрания; коммунисты уменьшили свое представительство, их фракция сократилась до 13 депутатов; немецкая Народная и Демократическая партии вместе располагали теперь всего 10 мандатами, их союзники — либералы — еще тремя; восемь мандатов завоевали независимые кандидаты, и четыре места досталось нацистам.

Судьба кресла бургомистра буквально висела на волоске. Социал-демократы и коммунисты наверняка проголосовали бы за Герлингера. Аденауэр как кандидат Центра оказывался в

меньшинстве: 25 против 34. Все зависело от того, удастся ли Аденауэру привлечь на свою сторону голоса депутатов от Народной партии, от демократов и от либералов. Как проголосуют нацисты, сказать было трудно, напротив, насчет независимых можно было почти с уверенностью предположить, что они не поддержат кандидатуру Герлингера.

Бургомистр в отчаянной попытке удержаться у власти пошел на крайнюю меру: он заявил, что отдает в пользу городской казны свои тантьемы, которые он получал как член совета директоров компаний «Рейниш-Вестфалише электрицитетсверке» и «Дейче банк» (соответственно 9200 и 10 700 марок в год). Читатель может возразить: ну какая же это крайняя мера — старшие дети к этому времени уже готовы были сами стать на ноги, без этих денег Аденауэр легко мог обойтись; надо, однако, знать, насколько трепетно наш герой относился к любому пфеннигу, попадавшему ему в руки, чтобы оценить масштабы жертвы, которую он решился принести на алтарь общественного блага.

Помогла ли эта жертвенность или что другое, но Аденауэр сумел набрать необходимое большинство. Правда, едва-едва: против него проголосовали только депутаты от социал-демократов, коммунистов и нацистов; остальные поддержали его; решающий голос за него подал его заместитель Бруно Мацерат, имевший мандат по должности. За Аденауэра было подано сорок девять бюллетеней, за Герлингера — сорок семь.

Победа была не особенно убедительной, но главное, что пост бургомистра Аденауэр таки за собой сохранил. Если следовать афоризму Солона, ему сопутствовала удача. Но, как предупреждал тот же Солон, удача и счастье — вещи разные. Последовавшие годы стали самыми несчастливыми в жизни нашего героя.

ГЛАВА 7.
СОМНИТЕЛЬНЫЕ МАНЕВРЫ

«Меня преследовал какой-то злой рок»[17]

Проигравший — плохой судья победителю. Однако Роберт Герлингер, неудачливый соперник Аденауэра в политической гонке 1929 года, наверное, и сам не подозревал, насколько он был нрав, когда спустя много лет отозвался о нашем герое одним словом «игрок». Имелась в виду его склонность к авантюре, готовность все поставить на карту, не задумываясь о моральных ограничителях или возможных последствиях. Вообще говоря, политик не может не быть в какой-то мере игроком, он обязан идти на риск; в случае с Аденауэром это был, как правило, рассчитанный риск, и он приносил желательные результаты. В этом смысле пущенная Герлингером стрела пролетела мимо цели. И все-таки, узнай Аденауэр пораньше об этой характеристике, он бы наверняка почувствовал себя глубоко уязвленным.

Дело в том, что азартный и удачливый игрок в политике оказался столь же азартным, но абсолютно беспомощным игроком на поле большого бизнеса. Коротко говоря, если бы его вовремя не выручили влиятельные союзники, Аденауэру пришлось бы примерно к середине 1930 года объявить себя банкротом, что означало бы, разумеется, и бесславный конец его политической карьеры. К счастью для него, ни Герлингер, ни кто-либо иной из его политических оппонентов об этом в то время даже и не подозревали.

Обратимся к фактам. К концу 1927 года Аденауэр имел солидный портфель ценных бумаг общей стоимостью около 1,3 миллиона марок. Как он сумел накопить такой капитал, трудно сказать, с уверенностью можно утверждать только, что в него входило и приданое Гусей. Но это в данном случае не столь важно. Был и пассив: незадолго до этого он взял банковский кредит на сумму примерно 300 тысяч марок. Это была большая сумма, но, учитывая солидное положение клиента, ничего необычного или рискованного тут не было. Некоторые, правда, считали, что бургомистру вообще не стоило бы брать такие ссуды, тем более от «Дейче банк», где он сам был членом совета директоров. Но это, в общем, было мнение меньшинства. Как бы то ни было, финансовое положение семьи Аденауэров могло считаться вполне здоровым: кредит превышал дебет на целый миллион, ликвидность пакета его ценных бумаг была достаточно

высокой. Не будем забывать, кстати, и об особняке на Макс-Брухштрассе, который сам но себе представлял немалую ценность.

От «Дейче банк» Аденауэр не только получил выгодный заем, он поручил банку и управление своими финансовыми активами. На них должны были приобретаться особо надежные облигации и акции; под «надежными» имелись в виду, естественно, такие, относительно которых он сам или банк располагали внутренней конфиденциальной информацией. В письме, которое 31 июля 1924 года Аденауэр направил своему менеджеру в «Дейче банк», Альберту Ану, в числе подходящих объектов вложения капитала назывались, в частности, предприятия, производящие «крановое оборудование, краски (Эльберфельд), станки (Дюссельдорф), газовый завод (Кёльн)». Все это были солидные компании, расположенные поблизости, деятельность которых он сам и банк могли эффективно контролировать.

При столь осторожной инвестиционной политике трудно понять, как могло случиться, что к концу 1929 года рыночная стоимость его ценных бумаг снизилась до 1,1 миллиона марок, тогда как его задолженность банку выросла до чудовищной суммы в 1,9 миллиона. Пассив составил, таким образом, ни много ни мало — 800 тысяч марок. Это была катастрофа. А произошла она потому, что наш обычно осторожный и расчетливый герой на протяжении двух лет, 1928-го и 1929-го, с головой окунулся в мир азартных финансовых спекуляций и умудрился в результате спустить все свое накопленное к тому времени немалое состояние.

Беда была в том, что Аденауэр попытался выйти на международный уровень финансовой игры, располагая лишь тем опытом, который он накопил на внутригерманском рынке ценных бумаг; не он один допустил аналогичную ошибку, от расплаты не ушел никто. Печальная история была, по существу, очень проста. К весне 1928 года Аденауэр решил изменить свою инвестиционную стратегию: наблюдая резкий рост курса акций на мировых рынках, он посчитал целесообразным расширить свой портфель как в географическом плане, за счет акций американских компаний, так и в отраслевом, направляя вложения в новые компании, создававшиеся под выпуск синтетических волокон. Один из его коллег по правлению «Дейче банк», д-р Фриц Блютген, был главным управляющим одной из таких компаний, расположенной в Кёльне, «Ферейнигте Гланцштофверкек Ранее он дал Аденауэру ряд ценных советов по поводу того, как привлечь частные фонды к финансированию строительства новых зданий Кёльнского университета, и было вполне естественно обратиться к нему за консультацией но

поводу того, куда лучше вложить свой собственный капитал. Аденауэр так и сделал.

Блютген посоветовал ему вложить деньги в два дочерних предприятия собственной фирмы, которые он как раз открыл в США. Аденауэр не сразу принял это предложение, он решил сперва проконсультироваться у исполнительного директора местного филиала «Дейче банка», д-ра Антона Брюнинга. Тот заверил осторожного клиента: в разумности идеи Блютгена нет оснований сомневаться, и более того, если Аденауэру нужны живые деньги, то банк готов ему их ссудить. Наш герой решился: он поручил банку продать почти весь свой портфель и на вырученную сумму купить акции двух американских филиалов фирмы «Гланцштофверке». Поручение было выполнено, хотя возникли и некоторые затруднения: акции обоих филиалов на немецком рынке ценных бумаг не котировались, их пришлось приобретать чуть ли не из-под полы в Амстердаме.

Игра явно начала увлекать Аденауэра. В октябре 1928 года одна из компаний, в которую он инвестировал свои средства, произвела новый выпуск акций, и наш герой решил консолидировать свой пакет, отдав в обмен на эти новые акции свою долю участия во второй компании. Обменять акции оказалось делом технически непростым, но Аденауэр, что называется, завелся. Он телеграфирует Блютгену в Нью-Йорк с просьбой, даже требованием «сделать все, чтобы добыть для меня транш нового выпуска». Одних акций для этой операции не хватает, нужны наличные, и Аденауэр снова использует кредитную линию «Дейче банка».

Все улаживается, но тут акции «Американ Гланцштоф» начинают падать. Поначалу Аденауэр даже рад этому: он активно скупает подешевевшие акции, увеличивая свою долю участия в предприятии. К весне 1929 года он начинает проявлять некоторые признаки беспокойства, но Блютген заверяет его, что оснований для беспокойства нет: надо продолжать скупку акций. Он даже предлагает значительную часть своих собственных активов в качестве залогового обеспечения под новый заем, который Аденауэр берет у того же «Дейче банка» (правда, блютгеновские активы находятся в Голландии и заведены в нарушение немецкого законодательства, но банк закрывает на это глаза). Вряд ли Блютген сознательно вводил Аденауэра в заблуждение, он, похоже, искренне верил в перспективы своего американского холдинга, иначе не вкладывал бы в него свой собственный капитал.

Между тем конъюнктура все более ухудшалась. Крах на нью-йоркской бирже, случившийся 24 октября 1929 года, полностью

обесценил акции «Американ Гланцштоф», не помогло и слияние обеих дочерних компаний в одну. На ноябрьские выборы Аденауэр шел, будучи уже на грани банкротства, что он, разумеется, тщательно скрывал. В декабре финансовое положение вновь переизбранного на новый срок бургомистра представлялось абсолютно безнадежным.

Аденауэр был в отчаянии. В голове его роились самые экстравагантные идеи о том, как снасти себя и свою репутацию. В письме к Дании Хейнеману он возлагал всю вину за свои несчастья на Блютгена, но один бизнесмен, разумеется, взял другого под защиту: тот ведь хотел как лучше, кто мог знать, что так получится. То же самое говорил Аденауэру и Луис Хаген. Последний вдобавок вовремя сумел отговорить бургомистра от безумного плана вчинить иск «Дейче банку» за то, что он позволил ему брать такие большие кредиты. Вместе с тем в правлении банка прекрасно отдавали себе отчет в том, что пойти на официальное объявление банкротом не кого-нибудь, а самого кёльнского бургомистра, да к тому же еще и председателя прусского Государственного совета, — значит вызвать публичный скандал, который отрицательно отзовется на репутации солидного финансового учреждения. Аденауэра надо было спасать. План спасательной операции разработали все тот же Хаген совместно с его кёльнским банковским партнером Робертом Пфердменгесом (читатель должен запомнить эту фамилию).

План не был лишен элегантности, хотя его юридическая чистота могла вызвать некоторые сомнения. Как бы то ни было, Хаген с Пфердменгесом сумели убедить одного из директоров правления «Дейче банка», Оскара Шиллера (жил он в Берлине, но родом был, конечно же, как читатель уже догадался, из Кёльна), завести особый депозитный счет в центральном офисе банка, куда переводилось все, что к тому времени составляло кредит и дебет нашего героя: обесцененные американские акции, то, что оставалось от немецких активов вкупе с нелегальным портфелем Блютгена и, разумеется, с его, Аденауэра, собственными долговыми обязательствами. Этот счет открывался на неопределенное время, до него не мог бы добраться никакой аудитор, и все было, таким образом, шито-крыто. Разумеется, была и другая сторона медали: отныне из всего состояния у Аденауэра реально оставался только дом с мебелью. Жить теперь предстояло на одну зарплату. Жить и содержать семью, в которой тем временем произошло очередное прибавление: в 1928 году Гусей родила девочку, которую назвали Либет.

Как ни печальна была ситуация, в которой оказалось

семейство Аденауэров, это было ничто в сравнении с той, в которой оказались городские финансы. Долларовые кредиты иссякли, кредиторы требовали их срочного возврата, капитал утекал за границу, а расходы на пособия безработным и неимущим росли не но дням, а по часам. Всю первую половину 1930 года Аденауэр провел в лихорадочных поисках займов. Рейнский «Провинциальбанк», прусский «Ландесбанк» — отказы. В отчаянии он обращается к Дании Хейнеману с просьбой вложить капитал в местную электрическую компанию, тот согласен, но только на условии перехода к нему контрольного пакета. На это бургомистр не решается пойти. Ему удается заполучить заем все от того же «Дейче банка» под вексель от прусского кооперативного общества. Оно в принципе не имело права этот вексель выдавать, а банк его принимать, но никому уже нет дела до этих юридических тонкостей. И все-таки Аденауэр понимает, что без поддержки центральных властей не обойтись.

Худшего времени для обращения к правительству рейха трудно было выбрать. Оно само находится в состоянии перманентного кризиса. Четвертый кабинет Маркса пал еще весной 1928 года, на смену ему пришла непрочная коалиция, которую возглавил социал-демократ Герман Мюллер. Этот кабинет не пользовался особым авторитетом, все рассматривали его как некий переходный этап. К чему? Это был большой вопрос.

В условиях ухудшавшейся экономической конъюнктуры правые и левые экстремисты, коммунисты и нацисты, собирали все больше голосов на местных выборах. Между их вооруженными отрядами то и дело вспыхивали уличные потасовки, а то и самые настоящие сражения. К концу 1929 года Вильгельм Тренер, министр обороны в правительстве Мюллера, издал приказ но рейхсверу против проникновения в его ряды «политической заразы». Солдаты и офицеры должны помнить, говорилось в приказе, что армия воплощает собой «самое глубокое выражение национальной воли и единства». Имелось в виду, что военные должны были стать той силой, которая предотвратит гражданскую войну, которая, как считал Тренер, была уже на пороге.

Фактически на рубеже 1929–1930 годов Тренер совместно с руководителем политического отдела министерства, генералом Шлейхером, составили нечто вроде антиправительственного заговора. Из них двоих Шлейхер был поумнее, но, в общем, оба были едины в том, что нынешнее правительство должно быть заменено другим, которое не было бы связано узкопартийными интересами, а воплощало собой национальную идею.

Подразумевалось, что такое правительство проявит и большую щедрость в плане ассигнований на армию. Обычные генеральские бредни, но в обстановке тогдашней Германии на них работало но крайней мере три немаловажных фактора.

Первый — и, пожалуй, самый важный — авторитет президента. Гинденбург к тому времени стал уже совсем плох, у него развилась странная привычка всплакнуть на публике, но это был их человек, и у него была большая власть. Второй — полнейшая неспособность правительства Мюллера справиться с уличными беспорядками и ростом экстремизма. Третий — наличие подходящей кандидатуры, которую можно было поставить во главе такого правительства, которое новело бы политику в духе, угодном для военных кругов. Речь шла о Генрихе Брюнинге.

Он молод и энергичен. Ему еще нет и сорока пяти, а он уже лидер фракции Центра в рейхстаге. Герой войны: доброволец, командир пулеметной роты, награжден Железным крестом первой степени. Человек глубоко верующий. Не любит социал-демократов. Интеллектуал — качество, которым не мог похвастаться ни один канцлер Веймарской республики, кроме, пожалуй, Штреземана. Разбирается в экономике и финансах. Словом, почти идеал. В разговоре с друзьями Тренер отозвался о нем с неподдельным восторгом: он не встречал «ни одного государственного деятеля, канцлера, министра или генерала, который бы так много знал, имел такие четкие политические взгляды и был таким обходительным, как Брюнинг». Им восхищались не только немецкие генералы. Американский посол информировал Вашингтон, что «Брюнинг — это то открытие, которое совершила Европа, это по-настоящему великий человек».

Правительство Мюллера, едва не рухнувшее после кончины Штреземана 3 октября 1929 года, смогло протянуть только до следующего марта. За это время Шлейхер успел убедить Гинденбурга в достоинствах нового кандидата. 27 марта президент вызвал к себе Брюнинга, чтобы вручить ему судьбу страны. Брюнинг поставил условие: он примет канцлерский пост, если ему будут предоставлены чрезвычайные полномочия, которые по конституции мог взять на себя только президент. Гинденбург принял условие, оговорившись, что делегирует свои полномочия «в той мере, в какой это соответствует конституции, на верность которой я присягнул перед Богом». Логика была странная, но, как бы то ни было, Брюнинг отныне располагал почти диктаторской властью.

У Аденауэра, казалось, не было никаких причин быть недовольным сменой кабинета или личностью нового канцлера. В

конце концов у руля оказался лидер его партии, сторонник сильной руки, как и он сам. Увы, отношения между обоими политиками к тому времени уже были слегка подпорчены. В 1929 году кёльнский бургомистр пригласил своего партийного босса посетить город. Брюнинг ответил отказом, причем не в слишком вежливой форме. Аденауэр был глубоко уязвлен.

После того, как Брюнинг стал канцлером, их отношения еще более охладели. Повод был, вообще говоря, пустяковый, речь шла всего лишь об обыденных церковных делах. Скорее это был даже и не повод, а симптом — симптом глубокого недоверия Брюнинга к Аденауэру и наоборот. О чем шла речь? Аденауэр хотел, чтобы новым настоятелем Кёльнского собора стал лидер правого крыла партии Центра Людвиг Каас. Желание это выглядело на первый взгляд довольно странным: у Кааса действительно был сан священника, но он давно ушел в политику (насколько это ему позволяло увлечение коллекционированием; в поисках предметов древнего искусства он часто и подолгу находился в отъезде). Даже внешне это была личность далеко не импозантная: невысокого роста, с неизменным котелком и тощим личиком за толстыми линзами очков он напоминал владельца второразрядного ломбарда. Вместе с тем это был прожженный политикан, который сумел в конце концов занять высший пост в партийной иерархии, — в сочетании с руководящей ролью в духовной иерархии Трирского диоцеза это было кое-что. С точки зрения Аденауэра, к этим достоинствам добавлялись еще два: Каас был рейнландцем, и он был в фаворе у Ватикана, там хорошо запомнили его громогласное одобрение в 1929 году конкордата между папой Пием XI и Муссолини. Побудительные мотивы, которыми руководствовался Аденауэр, проталкивая кандидатуру Кааса, таким образом, очевидны. Столь же очевидны были мотивы, побудившие Брюнинга выступить против. Сам родом из силезского Бреслау, он считал, что коалиция Аденауэр — Каас означает новый заговор рейнских сепаратистов против рейха, может представлять угрозу его собственному положению в партии и, следовательно, обоих его конкурентов следует поприжать. Адэнауэровская кампания в пользу Кааса, длившаяся с ноября 1929 года по апрель 1930-го, кончилась ничем.

В контексте этого конфликта понятна крайне холодная реакция канцлера на адресованное ему 9 июля 1930 года личное послание кёльнского бургомистра, в котором тот живописал бедственное положение городской казны. Если правительства рейха и Пруссии не окажут экстренной помощи, возникнут «самые серьезные беспорядки». Страх перед революционными потрясениями с 1918 года не переставая преследовал Аденауэра.

Брюнинг не разделял этих страхов. Более того, он считал, что если кёльнцы испытывают трудности, то они виноваты в этом сами. Его политика была проста до прямолинейности: оздоровление финансов рейха путем строжайшей экономии. Месяц назад он представил в рейхстаг экономическую программу, которая предусматривала повышение налогов и сокращение социальных расходов. «Он хочет удержать валютный курс, отшвырнув прочь вожжи политики», — ядовито заметил по этому поводу Аденауэр, очевидно, запамятовав, что и сам недавно пытался поправить кёльнский бюджет аналогичным образом.

Депутаты рейхстага отвергли большую часть пунктов программы Брюнинга. Тот решил прибегнуть к своим чрезвычайным полномочиям. Рейхстаг принял в ответ резолюцию, отменяющую действие брюнинговских декретов. Брюнингу оставалось только распустить рейхстаг и назначить выборы. Они должны были состояться 14 сентября 1930 года, это была самая поздняя дата в рамках того предусмотренного конституцией периода, когда правительство могло управлять без парламента.

Выборы стали поворотным пунктом в истории Веймарской республики. Сам Брюнинг писал, что они стали «плебисцитом по вопросу о чрезвычайных декретах и одновременно битвой между неразумным парламентаризмом и здравым демократизмом». В результате проигравшей стороной оказались и парламентаризм, и демократия как таковые. Неожиданную победу одержала нацистская партия (или, если употреблять ее официальное наименование, «Национал-социалистская немецкая рабочая партия» — НСДАП). Из 35 миллионов принявших участие в голосовании, что составляло 82% всего электората, за нацистов проголосовали 6,4 миллиона, избирателей. Их фракция в рейхстаге выросла с 28 до 107 депутатов. В день открытия сессии нового рейхстага они устроили настоящее представление, явившись на заседание все как один в коричневых рубашках. На улицах Берлина в этот день толпы штурмовиков громили еврейские лавки, а сборище на Потсдамер-платц шумно скандировало: «Германия, пробудись», «Еврей, удавись!», «Хейль-хейль!» Очевидцу все это напомнило канун ноябрьской революции: «Те же толпы, те же типы, как будто из цицероновского описания заговора Каталины».

Впервые наш герой столкнулся с нацизмом как мощной политической силой. Его реакция была, как ни странно, довольно спокойной. Через три дня после того, как были объявлены результаты голосования, он писал Хейнеману: «Я не думаю, что итог наших выборов так уж плох, как это видится со стороны. Во многих отношениях это не так». Верно: в Кёльне Центр удержал

свои позиции, а процент голосов, полученных нацистами, оказался ниже, чем средний по Германии. И все же по сравнению с местными выборами, состоявшимися в ноябре 1929 года, он вырос почти в четыре раза — с 4,6 до 17,6.

Прирост никак не мог быть назван незначительным. В чем же были причины оптимизма Аденауэра? Очевидно, его порадовало, что нацисты обогнали коммунистов — пусть немного, всего на полпроцента (те получили 17% голосов кёльнских избирателей), но все же… Аденауэр явно рассматривал коммунистов в качестве главной угрозы и ради ее нейтрализации был готов на сотрудничество с нацистами. Он никак не мог понять, что нацисты не собираются придерживаться каких-либо правил традиционной политической игры.

Он скоро почувствовал это на себе. Местная газета нацистов «Вестдейчер беобахтер» («Западногерманский наблюдатель») развернула против него бешеную кампанию черной пропаганды. Темы ее напрашивались сами собой: непомерно высокое жалованье и представительские расходы бургомистра, отпуска в Швейцарии, его самореклама и, конечно, прошлые грехи по части поддержки рейнского сепаратизма. Но главное — его связь с кёльнской еврейской общиной. В Кёльне она составляла значительную часть экономической, культурной и академической элиты города, и бургомистр, естественно, всячески ее поддерживал. Он вступил, кстати, по совету Людвига Кааса в общество «За Палестину», которое помогало немецким евреям, желавшим вернуться на «землю обетованную». Этого было достаточно, чтобы получить от нацистских пропагандистов характеристику «грязного жида».

На всю эту грязь — так же как и на атаки со стороны коммунистов, менее неприличного свойства, надо сказать, — Аденауэр отвечал ледяным молчанием. Он их как бы не замечал, руководствуясь той посылкой, что не стоит обращать внимания на демагогов, влияние которых непременно сойдет на нет, коль скоро экономика войдет в нормальное русло. Вопрос был в том, как направить ее в это русло. В правящей элите страны и в его собственной партии единства но этому вопросу не было. Брюнинг твердо продолжал курс на сокращение социальных расходов. Другие, в их числе Аденауэр и ставший его союзником бывший канцлер Лютер, выдвигали широкую программу общественных работ, которая должна была смягчить безработицу.

В декабре 1930 года между рейхсканцлером и кёльнским бургомистром произошел открытый конфликт. Брюнинг обнародовал декрет, который снижал потолки расходов по ряду статей государственного бюджета. Правительство Пруссии

соответственно сократило бюджетные ассигнования своим субъектам, включая город Кёльн. Декрет должен' был вступить в силу с 20-го числа. В этой ситуации Аденауэр без какой-либо консультации с центром вводит для Кёльна новые, повышенные ставки налогообложения. Формально он имел на это право, но эта акция противоречила духу брюнинговского Декрета и постановлений властей Пруссии, а ведь Аденауэр был председателем ее Государственного совета! Даже в своих послевоенных мемуарах Брюнинг не смог сдержать своих эмоций по поводу аденауэровской нелояльности. В то время канцлер просто оставил без ответа личное письмо кёльнского бургомистра, где тот пытался объясниться. Зато на отчаянное послание Аденауэра с просьбой о финансовой поддержке Кёльна со стороны Рейхсбанка, отправленное почти годом позже, в сентябре 1931-го, последовал короткий и холодный отказ.

Ситуация в городе тогда была действительно отчаянной. К концу 1931 года в Кёльне насчитывалось около 100 тысяч зарегистрированных безработных. Почти четверть жителей жила на пособия. В августе 1932 года истекал срок платежей по краткосрочным займам, нужно было срочно найти ни много ни мало — 40 миллионов марок, а казна была практически пуста. Для города стали привычными сцены уличного насилия и даже убийств, совершаемых бандитами со свастикой на рукавах. Промышленники стали поеживаться: стоит ли им и дальше делать ставку на такую партию; Гитлер в речи, произнесенной им в дюссельдорфском клубе промышленников, попытался их успокоить: партийное руководство будет действовать в рамках законности, — однако никаких мер к обуздания разгула штурмовиков и эсэсовцев принято не было.

Что же делал бургомистр? Если сказать одним словом — ничего. Он как-то ушел в тень. По-прежнему главное место в его мыслях занимал призрак коммунизма. Его, судя по всему, не очень обеспокоили новые успехи нацистов: во время второго тура президентских выборов в апреле 1932 года за Гитлера проголосовали 13,4 миллиона немцев (в первом туре, который состоялся месяцем раньше, ни один из кандидатов не получил необходимого большинства; во втором туре победил Гинденбург, получивший 19,4 миллиона голосов); на состоявшихся через две недели выборах в прусский ландтаг нацисты едва не получили абсолютного большинства. Аденауэр не реагировал. Семейные заботы? Год назад у них с Гусей появился последыш, сына назвали Георгом; теперь Аденауэр был отцом семерых детей; в свои пятьдесят шесть лет он вполне мог прийти к тому выводу, что мир большой политики уже не для него. Однако он не мог не

понимать и другого: его положение в обществе и благополучие семьи зависят от того, удержится ли он в кресле бургомистра, а это, в свою очередь, зависело от того, в какую сторону пойдет политическое развитие страны в целом. Беда была в том, что опасность он видел только слева.

Между тем события развивались с головокружительной быстротой. Брюнинг отреагировал на избирательные успехи нацистов решительной акцией — запретом СА и СС. Это была его роковая ошибка: Гинденбург отказался визировать декрет и вообще стал проявлять все большее недовольство деятельностью кабинета. 29 марта он прямо заявил Брюнингу, что лишает его чрезвычайных полномочий. Тому не оставалось ничего другого, как подать в отставку.

За кулисами этого политического кризиса (как и большинства политических интриг того периода) стоял Шлейхер. Именно он и убедил Гинденбурга назначить новым канцлером Франца фон Папена. Аргументы были внешне вполне убедительны: аристократ, католик, в прошлом офицер императорской гвардии, представитель правого крыла партии Центра, жена — дочь крупного саарского промышленника. Гинденбургу он нравился: их объединяли общие монархические убеждения. Для Шлейхера эта кандидатура имела еще то неоспоримое преимущество, что Папен был не очень умен. Много позднее, в октябре 1946 года, в письме графине Фюрстенберг-Хердрингер сам Аденауэр дал ему весьма нелестную характеристику: «Интеллект феноменально ограниченный; к сожалению, многих вводили в заблуждение его хорошие манеры и выспренняя речь[18]. Шлейхер позаботился о том, чтобы заполучить себе в кабинете Папена пост министра обороны; он рассчитывал стать главой правительства де-факто. В общем, так оно и было. Именно Шлейхер добился от Гитлера обещания поддержать новый кабинет. Цена этой поддержки было, однако, очень высокой: проведение новых выборов в рейхстаг и снятие запрета на СА и СС

Тот же Шлейхер убедил Папена совершить фактический государственный переворот в Пруссии. Правительство, которое возглавляли социал-демократы, было отправлено в отставку, и Папен сам назначил себя рейхскомиссаром с неограниченными полномочиями. Предлогом была неспособность прежнего правительства поддержать общественный порядок, а непосредственным поводом — кровавое побоище в пригороде Гамбурга Альтоне между коммунистами и нацистами (зачинщиками выступили последние). Акция была явно неконституционной, однако сопротивления практически не

последовало. Социал-демократы, отдавая себе отчет в том, что военная сила не на их стороне, ограничились обращением в суд; профсоюзы, столь успешно проявившие себя во время каиповского путча 1920 года, не могли повторить прежний сценарий, поскольку были ослаблены массовой безработицей. Аденауэр, председатель прусского Государственного совета, предпочел никак не комментировать случившееся. На частном совещании ведущих деятелей партии Центра имели место высказывания но поводу того, что Гитлера надо бы как-то остановить, но ничего конкретного не было решено. Кем-то была выдвинута идея переноса столицы Пруссии из Берлина в Кёльн, Аденауэр вроде бы ее «активно поддержал», но дальше слов дело не пошло.

Более того, после того как стали известны результаты очередных выборов, которые состоялись 31 июля 1932 года и позволили нацистам удвоить свою фракцию в рейхстаге, наш герой пришел к неожиданному выводу: единственная альтернатива режиму прямого правления «рейхскомиссара» в Пруссии — это включение в ее правительство… нацистов. Более того, та же схема предлагалась и для формирования центрального правительства рейха.

Эти идеи обсуждались на встрече ведущих политиков Центра, которая состоялась 2 августа в доме кёльнского банкира Курта фон Шредера. Упомянутый Шредер был партнером в респектабельном банковском доме Штейнов и в глазах Аденауэра являлся как раз тем человеком, к мнению которого следовало прислушаться. Проблематичными были только два обстоятельства: сам Шредер придерживался запредельно правых взглядов, а его супруга была вообще откровенной нацисткой. На это, впрочем, Аденауэр предпочел закрыть глаза. Резюме дискуссии Аденауэр набросал на листке бумаги из шредеровского блокнота. Текст сохранившейся записки достаточно красноречив: если удастся создать коалиционное правительство с участием представителей Центра, немецкой Национально-народной партии и национал-социалистов (!), он, Аденауэр, «был бы готов поддержать его и оценивать его деятельность без всякой предубежденности, исключительно но его делам».

Из этой схемы ничего не вышло: на встрече между Папеном, Шлейхером и Гитлером, состоявшейся 13 августа, последнему был предложен всего-навсего пост вице-канцлера в новом правительстве Папена. Гитлеру этого было мало, и 12 сентября он заявил о переходе в решительную оппозицию. Результатом был роспуск рейхстага и объявление даты новых выборов — 6 ноября.

Аденауэр как будто сознательно игнорировал

ответственность момента. Как ни в чем не бывало, вся семья в середине августа отправилась в отпуск; целый месяц они провели, как обычно, в Шандолене. Между тем не только дела рейха и Пруссии, но и самого города, в котором Аденауэр продолжал занимать кресло бургомистра, были таковы, что его отсутствие выглядело, мягко говоря, странно, больше напоминая бегство. Крайний срок платежей по кредитам истек, и с точки зрения закона наступил дефолт. В июне был принят новый бюджет, но он отражал совершенно нереальные представления о соотношении доходов и расходов; в нем была заложена цифра дефицита в 25 миллионов марок, но уже в августе он превысил отметку в 30 миллионов. Начались трудные переговоры с банками о реструктуризации долгов. А бургомистр, которого многие считали главным виновником создавшегося положения, в это время наслаждается красотами швейцарских Альп!

Грядущие выборы открывали три возможных варианта на будущее: если Гитлер добьется абсолютного большинства или хотя приблизится к этому, он образует правительство из одних своих сторонников, может быть, с чисто символическим участием других правых партий. Если нацисты потерпят решительное поражение, тогда правительство будет создано без них. Если результаты не будут особо отличаться от июльских, то останется правительство Папена, куда придется взять и национал-социалистов.

В общем, события развивались скорее в сторону третьего варианта. Нацисты потеряли около двух миллионов голосов и тридцать четыре мандата. Для них это не была победа, но это не было и окончательное поражение. И тут Папен взорвал политическую бомбу. Он предложил ввести декретом президента совершенно новую конституцию, которая отменяла бы демократическое устройство и вручала бы бразды правления группе олигархов. По сути, это был возврат к юнкерскому феодализму.

Шлейхер не имел никакого понятия о том, какой план созревал в голове его протеже. «Ну и выдал фортель наш маленький Франц», — только и смог он сказать, когда, не веря своим ушам, услышал откровения Папена. Фортель или не фортель, а Гинденбургу план понравился. Шлейхер понял, что от действующего канцлера надо, пока не поздно, избавляться. С точки зрения тактики соответствующая операция была задумана и проведена блестяще. В недрах его министерства был срочно подготовлен меморандум, из которого вытекало, что реализация плана Папена неизбежно приведет к гражданской войне, рейхсверу придется подавлять рабочие волнения, восточная

граница останется оголенной и поляки смогут без труда захватить Берлин. Это была чистая фантазия, но на Гинденбурга она могла подействовать — и подействовала. Прочтя 2 декабря этот меморандум, он залился слезами. Папен получил немедленную отставку. «Я слишком стар, чтобы брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны, — только и сумел вымолвить президент. — Пусть с Божьей помощью господин Шлейхер попытает счастья».

Единственно, на что мог надеяться Шлейхер, так это на раскол в нацистской партии. С августа 1932 года он поддерживал тайные контакты с заместителем Гитлера Грегором Штрассером. Занимая ключевой пост в организационной структуре НСДАП, Штрассер был хорошо осведомлен о брожении в ее рядах и подробно информировал об этом Шлейхера. Штрассер даже намекнул, что он может выйти из НСДАП и увлечь за собой значительную часть ее рядовых членов. На основе этой информации новый канцлер и выстроил свой план широкой коалиции, которая опиралась бы на поддержку профсоюзов и части разочаровавшихся в Гитлере нацистов.

Не имея никакого понятия о плане Шлейхера, руководство партии Центра собралось 8 декабря на заседание, чтобы обсудить возможный план действий. Протокола либо не велось, либо не сохранилось, но главные моменты дискуссии отражены в письме, которое Аденауэр 12 декабря отправил Каасу. Для истории партии Центра и для биографии Аденауэра наверняка было бы лучше, если бы этот документ вообще никогда не попал на глаза исследователям. Строки письма говорят сами за себя: Аденауэр считает долгом всех «ответственных лиц» добиваться того, чтобы «в Пруссии так скоро, как это позволит политическая обстановка, было создано правительство с участием национал-социалистов… По моему мнению, такого рода вариант не только не помешал бы ходу последующих переговоров с национал-социалистами относительно их участия в центральном правительстве рейха, но и облегчил бы их ведение. Я также думаю, что это будет правильно для самих национал-социалистов начать с Пруссии как менее опасного места и показать, что они действительно в состоянии справиться с задачами отправления властных полномочий на таком высоком уровне».

Что бы там ни говорили апологеты Аденауэра, какие бы доводы ни приводили в его защиту, вывод очевиден: председатель прусского Государственного совета был за то, чтобы в Пруссии было создано правительство, которым будут руководить нацисты (Аденауэр прекрасно понимал, что на меньшее, чем на пост министра-президента, они не пойдут и что этот пост займет не

кто иной, как ближайший сподвижник Гитлера Герман Геринг); более того, он рассматривал это правительство как подготовительный этап к переходу власти в руки нацистов на уровне всего рейха с Гитлером в качестве канцлера. Даже наиболее расположенный к Аденауэру биограф пишет в этой связи, что тот допустил «огромную ошибку». Но почему? Любая ошибка требует объяснений. Самое мягкое — это его слепой антикоммунизм: все, что угодно, только не «большевистский» переворот. Но возможно и другое объяснение, которое не имеет никакого отношения к мотивам защиты гуманности и католических ценностей; речь шла о личном выживании, о том, как избежать банкротства, для этого надо было любой ценой сохранить пост бургомистра, и ради этого он был готов пойти на союз даже с самим дьяволом. Это была опасная игра, но Аденауэр действительно был но натуре своей игрок, и, как всякий игрок, он думал, что выигрыш будет на его стороне.

ГЛАВА 8.
КОНФРОНТАЦИЯ

«Поистине трудно, зная людей, не презирать их»[19]

Игра не получилась. Дело было не в том, что дьявол, то есть Гитлер, как-то особенно плохо относился к нашему герою и отметал всякую возможность сотрудничества с ним. Напротив, есть свидетельства, что фюрер отзывался об Аденауэре как о «человеке способном», хвалил его за «упорство», чуть ли не восхищался его градостроительными проектами и даже выражал сожаление, что «политическая некомпетентность» кёльнского бургомистра помешала развитию конструктивных отношений между ними. Правда, в данном случае речь идет об источнике не вполне надежном: эти высказывания Гитлера приводятся в мемуарах нацистского преступника Альберта Шиеера, написанных в период, когда он по приговору Нюрнбергского трибунала отбывал наказание в тюрьме Шпандау. С другой стороны, какой резон был Шиееру выдумывать?

Как бы то ни было, пути Аденауэра и Гитлера так никогда и не скрестились не только в плане налаживания политического взаимодействия, но и в самом буквальном, обыденном смысле слова. Хотя Гитлер в начале 1933 года дважды посетил Кёльн, а Аденауэр регулярно бывал в Берлине на заседаниях прусского Государственного совета, они ни разу не встретились не только наедине, но даже в какой-нибудь общей компании. Между тем возможности для такой встречи были.

Первая вполне могла состояться уже 4 января 1933 года, когда Гитлер прибыл в Кёльн для переговоров с экс-канцлером Папеном. Визит никоим образом не был секретным. Нацисты устроили по случаю прибытия фюрера шумную манифестацию. Город превратился, по словам очевидца, в «море флагов», естественно, со свастикой. Полиции с трудом удавалось поддерживать хоть какую-то видимость порядка. Не было тайной и место переговоров — дом банкира Курта фон Шредера, того самого, чьим гостем недавно был и сам Аденауэр.

Чтобы понять, зачем Гитлер приехал в Кёльн и о чем шла речь на его переговорах с Папеном, следует коротко вернуться к событиям, которые последовали после прихода к власти кабинета Шлейхера. Усилия нового канцлера но созданию широкой коалиции без участия нацистов уже к декабрю 1932 года зашли в

тупик. Лидеры профсоюзов, как социал-демократических, так и христианских, поначалу обнаружили некоторый интерес, но затем, очевидно, вспомнив, что именно Шлейхер убедил Панена разогнать демократически избранное правительство в Пруссии, отказали ему в доверии. Со своей стороны, Штрассер не сумел или не захотел сделать то, что обещал, — мобилизовать диссидентов внутри НСДАП на поддержку плана Шлейхера; в самый критический момент он не нашел ничего лучшего, как отправиться на отдых в Италию. Комбинация истерической риторики и холодного использования административного ресурса позволила Гитлеру навести порядок в партийных рядах: на посту заместителя фюрера Штрассера сменил Рудольф Гесс — верный паладин Гитлера.

Здесь, возможно, с ведома Гинденбурга на политическую авансцену вновь выступила фигура Панена. Во всяком случае, когда Шлейхер в конце января 1933 г. оказался вынужденным подать в отставку, он прямо объявил себя жертвой тайного сговора между президентом и своим предшественником на посту канцлера. Папен в отличие от Шлейхера делал ставку на договоренность с Гитлером.

Повестка дня кёльнской встречи была очевидна. Папен хотел обсудить условия, при которых можно было допустить Гитлера к власти, имея в виду, разумеется, что правительство, которое он возглавит, будет коалиционным и что таким образом удастся приручить и «нейтрализовать» нацистов и их фюрера. Со своей стороны, Гитлер отдавал себе отчет в том, что взять власть путем путча не представляется возможным: армия подчиняется приказам президента, и, стало быть, ему надо любым способом добиться, чтобы сам Гинденбург вручил ему мандат на формирование правительства.

Интересный вопрос: почему переговоры в Кёльне прошли без участия первого лица города? С точки зрения Гитлера, присутствие Аденауэра сулило определенные преимущества: он был не только бургомистром Кёльна, но и председателем прусского Государственного совета, и заручиться его поддержкой не помешало бы. С точки зрения Аденауэра, доводов «за» было никак не меньше: он сам выступал за включение нацистов в правительство — сначала Пруссии, а затем и всего рейха, так что имело смысл познакомиться и завязать отношения с тем, кто, как предполагалось, станет главной фигурой будущей германской политики. Кроме того, лично встретить прибывшего в его город крупного политического деятеля было бы проявлением вежливости со стороны бургомистра. Шредер вряд ли возражал бы, достаточно было простого телефонного звонка, чтобы все

устроить. Неизвестно, был ли такой звонок, но если даже и был, это ничего не дало.

Вполне вероятно, что Гитлер все-таки решил, что ему стоит иметь дело только с Папеном, а присутствие Аденауэра просто ни к чему. В конце концов, именно Папен мог обеспечить Гитлеру доступ к Гинденбургу, а у Аденауэра отношения с президентом ограничивались поверхностным личным знакомством; кроме того, Папена можно было соблазнить постом вице-канцлера (и рейхскомиссара Пруссии), Аденауэр же, вполне вероятно, потребовал бы чего-то большего — он вообще был переговорщиком пожестче. Как бы то ни было, Аденауэр в данном случае оказался за бортом.

Всё прошло так, как Гитлер и рассчитывал. Шлейхер, узнав о ведущихся за его спиной закулисных переговорах, посчитал, что за всем этим стоит сам президент, затеявший интригу против действующего канцлера, и 28 января 1933 года подал в отставку. Гинденбург все еще предпочитал, чтобы бразды правления вновь взял на себя Папен, но тот отказался. 30 января президент неохотно дал свое согласие на предложенный Папеном вариант: Гитлер будет канцлером, сам Папен — вице-канцлером и рейхскомиссаром Пруссии, Альфред Гугенберг, глава огромной империи прессы и кино, лидер Национально-народной партии, — министром экономики. Кроме Гитлера, в кабинете была еще всего пара нацистов: Вильгельм Фрик, получивший пост министра внутренних дел, и Герман Геринг — министр без портфеля в качестве куратора министерства внутренних дел Пруссии. «Мы его надули!» — восторженно воскликнул кто-то из папеновского окружения, имея в виду, разумеется, Гитлера.

Это было одно из самых глупейших высказываний в богатой глупостями истории человечества. Папен и его единомышленники явно оказались неспособными понять, насколько чужда Гитлеру идея соблюдения каких-то договоренностей или норм поведения и насколько умело он может манипулировать людьми. Еще до принесения присяги в качестве канцлера он сумел уговорить членов нового кабинета поддержать его инициативу о роспуске рейхстага и назначении новых выборов. Упорное сопротивление он встретил только со стороны Гугенберга, который понимал, что его партия станет главной жертвой: ее электорат скорее всего перейдет на сторону нацистов. Но и он вынужден был уступить. Гинденбург, который поначалу также и слышать не хотел о новых выборах — уже пятых за год (если считать и два тура президентских), — тоже смирился: по конституции он не мог в данном случае оспорить единогласного решения кабинета. Президентский декрет был

подписан. Новый рейхстаг предстояло избрать 5 марта 1933 года.

Началась одна из самых грязных, изобиловавших актами произвола и насилия избирательных кампаний в современной европейской истории. Правительственный аппарат, находившийся целиком и полностью в руках сподвижников Гитлера, полностью контролировал политический процесс. Особенно жестким это контроль был в Пруссии, где Геринг развернул разнузданный террор против политических противников. На полную мощность заработала пропагандистская машина нацистов, которая получила в свое распоряжение все средства и возможности государственных органов.

У нас есть «воля и сила» для решительных действий, заявил Гитлер в речи 1 февраля, главным содержанием которой было разоблачение политики Веймарской республики. 3 февраля он произнес очередную речь — на этот раз перед высшими чинами рейхсвера, убеждая их в том, что «жесточайшее авторитарное правление» — это необходимая предпосылка для того, чтобы навсегда избавиться от коммунизма, пацифизма и «гнета Версаля». За словами следовали дела: по указанию Геринга были уволены четырнадцать высших служащих прусской полиции и был назначен «комиссар но особым поручениям», каковые заключались в проведении чистки полицейских кадров от «нежелательных элементов». 17 февраля последовал декрет, обязывавший прусскую полицию сотрудничать с СА и СС в борьбе с коммунистами; декретом предписывалось «неограниченное применение вооруженной силы», естественно, с лицемерной оговоркой «в случае необходимости». Поясняя суть этого распоряжения для тех, кто мог питать какие-то сомнения, Геринг провозгласил: «Каждая нуля, которая вылетит из дула пистолета полицейского, — это моя пуля. Если вы назовете это убийством, ну что ж, значит, я убийца, я отдал приказ, и я за него отвечу». На практике это означало, что любой осмелившийся выступить с критикой нацистов оказывался мишенью для молодчиков из СА и «вспомогательной полиции».

Именно тогда, в первые дни февраля 1933 года, Аденауэр, как представляется, наконец осознал иллюзорность своих представлений о том, что с нацистами можно найти общий язык. Акции нового правительства явно лишали его почвы. под ногами. 4 февраля декретом Папена было распущено городское собрание Кёльна. 12 марта, спустя неделю после общегерманских выборов, жители Кёльна должны были проголосовать за новый состав высшего органа местного самоуправления; новые депутаты должны были выбрать и нового бургомистра. У Аденауэра на этот раз не было никаких шансов переизбраться. На следующий день,

6 февраля, состоялся роспуск прусского ландтага. Верхнюю палату, где Аденауэр, напомним, был председателем, это решение прямо не затрагивало, однако он понял, что его очередь следующая. Он решил, что без борьбы сдаваться не стоит.

Дело в том, что по прусской конституции ландтаг не мог быть распущен каким-либо единоличным актом; соответствующие полномочия принадлежали коллегии в составе министра-президента, председателя ландтага и председателя Государственного совета. Аденауэр не только решительно выступил против роспуска, но и подверг сомнению право Папена выступать в этой коллегии от лица министра-президента. Папен и новый председатель ландтага, нацист Ганс Керль, пытались переубедить Аденауэра: Верховный суд Пруссии подтвердил, что в компетенцию имперского комиссара входят те же вопросы, что и в компетенцию министра-президента, представитель верхней палаты со своим мнением остается, таким образом, в меньшинстве и лучше бы он смирился и перестал артачиться. Дискуссия, перешедшая в перебранку, продолжалась полтора часа, пока оба сторонника роспуска ландтага не заявили, что пора голосовать. Аденауэр встал и вышел, заявив напоследок, что любое решение, принятое в его отсутствие, будет неконституционным. На Папена с Керлем эта демонстрация не произвела ни малейшего впечатления. Декрет о роспуске ландтага, как уже отмечалось, был принят и датирован 6 февраля, именно тем днем, когда и проходило заседание «коллегии трех», где Аденауэр впервые нашел в себе мужество воспротивиться диктату врагов демократии. Правда, это случилось лишь тогда, когда он почувствовал угрозу своим личным интересам и статусу.

Время, оставшееся до выборов, Аденауэр провел в Кёльне, за исключением короткого визита в Берлин 25 февраля, когда он попытался довести до сведения Папена и Геринга свой протест против декрета, расширявшего полномочия полиции но применению оружия. Его участие в избирательной кампании не принесло ему особых лавров: большая речь, с которой он выступил 7 февраля на митинге сторонников Центра, оставила жалкое впечатление. Сочетание ролей действующего (пока!) бургомистра и партийного политика приводило норой к конфликтным ситуациям. Одна из таких возникла, когда стало известно, что 17 февраля в Кёльн собирается прибыть не кто иной, как сам Адольф Гитлер собственной персоной.

Это был второй случай, который представился Аденауэру для того, чтобы лично познакомиться с человеком, в руках которого была отныне судьба Германии. По протоколу, вообще говоря, полагалось, чтобы рейхсканцлеру, совершающему визит в тот или

иной город, была организована торжественная встреча, на которой непременно должен был бы присутствовать и бургомистр. Однако в данном случае Гитлер прибывал в Кёльн не как канцлер и не с официальным визитом, а как лидер своей партии, одной из многих, для участия в ее предвыборном митинге. Можно было закрыть на это глаза и все-таки принять визитера по высшему разряду. Аденауэр решил по-иному: он послал в аэропорт своего заместителя, Генриха Бильштейна, отвечавшего за вопросы безопасности и общественного порядка. Гитлер был взбешен и не скрывал этого. Он даже отказался заночевать в Кёльне, предпочтя остановиться в Бад-Годесберге.

Это было только начало скандала. Раз выбрав линию поведения, бургомистр уже не мог от нее отклоняться. По его указанию на общественных зданиях не должны были вывешиваться флаги со свастикой, на набережной Рейна не должно было быть никакой праздничной иллюминации. Когда вечером того же дня обнаружилось, что на мосту через Рейн кто-то водрузил-таки два нацистских стяга, Аденауэр лично распорядился их немедленно снять. Группа штурмовиков, собравшаяся у флагов, не оказала сопротивления, однако тем, кто выполнял приказ бургомистра, дали понять, что их взяли на заметку.

На этом дело не закончилось. В порядке компромисса было с общего согласия решено, что флаги со свастикой могут быть вывешены перед главным павильоном выставочного комплекса в Дейце, где Гитлер должен был ораторствовать. Оказалось, однако, что имеющиеся флагштоки недостаточно высоки для гигантских полотнищ, которые подготовили устроители всего действа. В этом тоже заподозрили коварный умысел бургомистра. Тот, правда, срочно выслал на место пожарную бригаду, которая смонтировала новые флагштоки, так что, казалось, оснований обижаться на городские власти у нацистов вроде бы и не было. Однако нацистский «Вестдейчер беобахтер» прокомментировал всю эту фарсовую ситуацию в духе мрачного предупреждения: «Господину Аденауэру следовало бы знать, что за свое вызывающее поведение ему придется еще держать ответ».

Пожар рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля довел искусственно нагнетаемую атмосферу страха и массовой истерии до максимума. Вопрос о виновнике поджога до сих пор не ясен, но ясно одно: нацистам только и нужен был предлог для развязывания открытого террора. Геринг сразу же заявил, что за всем этим стоят коммунисты; той же ночью по заранее заготовленным спискам были проведены аресты, за решеткой оказалось свыше четырех тысяч человек. К полудню следующего

дня Гинденбург по настоянию Гитлера подписал декрет, предоставлявший правительству почти неограниченные полномочия. Оно могло по своему усмотрению смещать правительства отдельных земель и брать на себя их функции. Декрет содержал длинный список деяний, за которые полагались смертная казнь или длительные сроки заключения, среди них фигурировали «нападение на членов правительства рейха», попытки поджога общественных зданий, призывы к неповиновению власти и, наконец, любые критические выступления в адрес самого декрета.

Практически это означало, что отныне полиция (которая действовала совместно с СА) могла арестовать любого человека и держать его в заключении неопределенное время. Родственники не имели никакой возможности узнать, куда исчез их отец, брат или сын. Жертвы нацистского террора подвергались зверским истязаниям, за которыми вполне мог последовать расстрел (официально это называлось «убит при попытке к бегству»). На прессу была наброшена узда, собрания сторонников социал-демократов или Центра могли быть запрещены по указанию любого полицейского чиновника. Была запрещена компартия, акты насилия на улицах приобрели характер эпидемии, почти ежедневно происходили нацистские сборища и марши под надежной охраной полиции. Появилась информация, что избирательные участки в день голосования будут поставлены «под охрану» штурмовиков и эсэсовцев. Аденауэр отправил но этому поводу официальный протест Папену. Письмо датировано 1 марта — это был последний документ, написанный Аденауэром в качестве председателя прусского Государственного совета.

Результаты выборов в целом не оправдали расчетов Гитлера. СДПГ и Центр фактически удержали свои позиции в электорате. Нацисты и их союзники добились относительного большинства (отпраздновав победу погромами еврейских лавок и избиениями тех, чей вид возбуждал у них подозрения), но полученных мандатов не хватало для того, чтобы провести через рейхстаг желательные им изменения в конституции.

Последовавшие через неделю выборы в новое городское собрание Кёльна превратились в фарс. Лидеры местных социал-демократов во главе с Зольманом были подвергнуты «превентивному задержанию». Пропагандистская машина работала на полную мощность. «Вестдейчер беобахтер» неистовствовал: «Долой Аденауэра!.. Долой паразита, ограбившего город… Выбирайте национал-социалистов!» Был организован сбор средств под девизом «Купим пулю для Аденауэра». Перед особняком на Макс-Брухштрассе был

выставлен постоянный патруль штурмовиков якобы для того, чтобы защитить его от самосуда. Намеченный на 10 марта массовый митинг, на котором Аденауэр собирался выступить с ответом на критику в свой адрес, был запрещен под тем предлогом, что может представлять собой угрозу общественному порядку.

Все это приносило свои плоды. Как позднее замечал сам Аденауэр, даже старые знакомые его супруги, завидев ее, отворачивались. Его самого начали избегать прежние сподвижники и коллеги. Когда он узнает об отмене намеченного на 10 марта митинга и о том, что штурмовики планируют взамен устроить собственный шабаш на Маркет-платц, куда его собираются вытащить на всеобщее обозрение и поругание в качестве живого воплощения образа «врага народа», он решается принять свои меры. Он отправляет детей на попечение персонала госпиталя «Каритас» в Гогенлинде, а сам укрывается вместе с Гусей в Бонне.

В день выборов, в воскресенье 12 марта, Аденауэр вновь в Кёльне. Его предупреждают об угрозе его жизни, советуют потихоньку исчезнуть. Он однако демонстративно появляется в здании ратуши на церемонии в честь павших на поле боя. Его избегают, только один из его заместителей улучает момент, чтобы шепнуть: наци планируют на него нападение: в понедельник они будут ждать его в приемной и собираются вышвырнуть из окна ратуши. Полиция отказывается предоставить ему охрану.

Результаты выборов не принесли неожиданностей. Нацисты стали самой многочисленной фракцией в собрании, хотя абсолютного большинства не получили. Объявив недействительными мандаты депутатов-коммунистов, они преодолевают последнее препятствие на пути к захвату власти. Для Аденауэра все ясно: бургомистром ему остается быть считанные дни. Но он все еще остается председателем прусского Государственного совета и утром следующего дня после того, как были объявлены результаты выборов, решает отправиться в Берлин и требовать аудиенции у Геринга; он будет жаловаться на нарушения, имевшие место в ходе избирательной кампании в его родном городе. Таков, во всяком случае, названный им мотив отъезда. Ему удается ускользнуть от наряда штурмовиков, расположившегося подле его дома, но в поезд он садится не в Кёльне, а в Дортмунде, куда добирается в машине, любезно предоставленной в его распоряжение банкиром Пфердменгесом.

В Берлине он останавливается не как обычно в отеле «Кайзерхоф», а в официальной резиденции председателя

Государственного совета на Вильгельмштрассе — через два дома от резиденции Геринга. Аудиенции у него приходится ждать три томительных дня. За это время он узнает из радионовостей, что нацистский гаулейтер Кёльна, Йозеф Гроз, захватил здание ратуши и с ее балкона провозгласил, что прежний бургомистр, д-р Аденауэр, низложен. Его преемником будет некий Гюнтер Ризен, который заявляет, что готов выполнять обязанности бургомистра бесплатно.

Когда Геринг наконец соизволил принять Аденауэра, первое, что тот узнал, было известие о начале расследования по фактам его «финансовых злоупотреблений». Аденауэр, естественно, все отрицал и, в свою очередь, пожаловался на незаконность отстранения его от должности бургомистра. Геринг заявил, что ему об этом ничего не известно и, во всяком случае, он тут ни при чем. Он во всем разберется, но его выводы будут зависеть от результатов расследования. На этом аудиенция завершилась.

Аденауэр счел за благо пока остаться в Берлине. Здесь он как официальное лицо под надежной охраной полиции, штурмовикам до него не добраться. С ним Гусей, его окружают реликвии прусского двора, но это не примиряет его с холодной атмосферой служебных апартаментов. Здесь он узнает, что депутаты рейхстага от его партии дружно проголосовали за внесенный Гитлером закон «О преодолении бедственного состояния народа», который устанавливает режим тотальной диктатуры. На Брюнинга и остальных членов фракции Центра, очевидно, повлияли доводы старого протеже Аденауэра, прелата Кааса: мол, Гитлер все равно силой возьмет то, что он хочет, так лучше дать это ему добровольно, авось он их отблагодарит. Партия Центра, как и другие, проголосовавшие за этот закон, тем самым сами подписали себе смертный приговор.

Позорный акт состоялся в рейхстаге 23 марта 1933 года, и эту дату можно считать последней в истории Веймарской республики. Любые акции правительства Гитлера получали отныне легальную санкцию. Одна из этих акций прямо коснулась нашего героя. 4 апреля окружной президент Рейнланда направил ему официальное извещение о начале процедуры формального отрешения его от должности бургомистра Кёльна. Впредь до завершения этой процедуры он отстраняется от исполнения своих служебных обязанностей. Ему прекращается выплата содержания, его счет в «Дейче банк» замораживается. Не позднее 25 апреля он должен очистить официальные апартаменты председателя прусского Государственного совета. Положение его незавидное: ни денег, ни дома, ни работы. В письме к Хейнеману, отправленном 11 апреля, он характеризует свое положение как

«поистине отчаянное — и с внешней, и с внутренней стороны». Сын Макс, посетивший его в это время, обнаруживает человека, находящегося в состоянии «глубочайшей депрессии».

ЧАСТЬ III.
ГЕРМАНИЯ ГИТЛЕРА

ГЛАВА 1.
ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ

«Мне ничего не надо, только мира и покоя»[20]

На пятьдесят восьмом году жизни наш герой оказался полным банкротом. Не только в том плане, что он лишился всех средств к существованию, но и в более широком смысле слова. Ему грозил суд, притом в обвинении фигурировали не только экономические, но и политические преступления: вновь всплыла тема его поддержки рейнского сепаратизма. От него отвернулись почти все те, кого он считал своими друзьями и союзниками. Он нашел временное прибежище в городе, который он никогда не любил, оторванный от семьи (Гусей не могла оставить детей надолго — она вскоре уехала обратно в Кёльн и лишь изредка вырывалась в Берлин навестить мужа). А его партия, ее лидеры? Они, те, с кем он «плечом к плечу шел на протяжении почти двадцати семи лет», совершили акт «трусливого предательства». Можно понять горечь, с которой Аденауэр изливал эти свои чувства по отношению к бывшим сподвижникам в личном письме, датированном 1 апреля 1933 года.

Адресатом этого письма была Элла Шмиттман. Она и ее муж Бенедикт были одними из немногих прежних знакомых Аденауэров, которые не оставили их в этот трудный час. Письма с выражением сочувствия приходили также от кёльнского архиепископа Карла-Йозефа Шульте, от упоминавшегося банкира Пфердменгеса (и особенно теплые — от его жены Доры) и, естественно, от ближайших родственников: от сестры Лили (и ее мужа Вилли Зута), братьев Ганса и Августа. Но этим круг общения и ограничивался. Их письма были для берлинского затворника лучиком света в окружавшем его мраке; ответные его послания полны выражений искренней благодарности и пространных рассуждений о себе и мире. Интенсивность и объем этой переписки — свидетельства того, как тяжело переживал наш герой вынужденную праздность; ему, очевидно, становилось легче, когда он мог излить свои мысли и эмоции на бумаге.

Получал он и корреспонденцию иного рода. В конце марта на его имя пришло послание из Кёльна от исполняющего обязанности бургомистра Гюнтера Ризена. Три страницы бешеной ругани заканчивались на почти патетической ноте: «Вы — преступник перед Богом и людьми. Вы — преступник перед вашей семьей и перед вашей женой, которую я могу только пожалеть:

она все еще не разобралась в том, кто вы такой на самом деле. Вы — обвиняемый, я — ваш обвинитель, народ — ваш судья».

Письмо с ответом на выдвинутые против него десять конкретных обвинений — восемнадцать листков убористым почерком — он отправил 17 апреля прямо на имя имперского министра внутренних дел. Его наверняка расстроила новость от Гусей: оказывается, этот узурпатор Ризен посетил ее в Гогенлинде и предложил свое «покровительство»! Некогда всесильный хозяин города теперь не в состоянии даже защитить свою жену от приставаний — Аденауэру было мучительно осознавать это.

Первым, кто смог оказать ему какую-то реальную, практическую помощь, стал Дании Хейнеман, неожиданно объявившийся в его берлинских апартаментах 12 апреля 1933 года. Сам Аденауэр задним числом описывал обстоятельства этого визита достаточно туманно: он, мол, ничего не говорил Хейнеману о своих финансовых трудностях, но тот каким-то образом сразу все понял и выложил на стол пачку купюр — десять тысяч марок. Наш герой, видимо, запамятовал, что до этого отправил Хейнеману два письма, в первом из которых прямо просил денег, а во втором живописал свое бедственное положение «беженца» в особняке на Вильгельмштрассе, 12. Как бы то ни было, сумма была вполне приличная, и главное — это был не банковский перевод, что могло привлечь нежелательное внимание, а наличные. Получатель смог только пролепетать, что не знает, когда он сможет вернуть этот «заем» и сможет ли он вернуть его вообще. Даритель ответил в том смысле, что его инвестиции до сих пор всегда себя оправдывали, и на том откланялся.

Все это было тем более необычно, потому что ранее отношения между Аденауэром и Хейнеманом имели больше деловой, нежели личный характер. Их общение в отличие от переписки Аденауэра с родственниками, друзьями семьи тина Шмиттманов или даже с такими деловыми партнерами, как рурский стальной магнат Петер Клекнер, отличалось сугубо формальным стилем — никаких личных моментов. Между тем на протяжении последующих трех лет Аденауэр несколько раз обращался к Хейнеману с просьбами о материальной помощи и никогда не получал отказа. Каждый раз речь шла о передаче немалых сумм из рук в руки; Хейнеман, несмотря на свою национальность, имел возможность как гражданин США свободно въезжать в Германию и выезжать из нее, не опасаясь антисемитских придирок властей. Это обстоятельство и щедрость «доброго друга» (так Хейнеман фигурирует в мемуарах) в буквальном смысле спасли семью Аденауэров от полной нищеты.

Однако, помимо вопроса, на что жить, предстояло решить и другой: где жить? Кёльн заранее отпадал: послание Ризена ясно показало, что там могло ожидать Аденауэра. Квартиру на Вильгельмштрассе, как уже говорилось, он должен был в ближайшее время освободить. Во время очередного приезда Гусей, 14 апреля, они вдвоем тщательно обсудили возможные варианты. Сам по себе тот факт, что прежний семейный диктатор снизошел до того, чтобы выслушать мнение супруги, уже свидетельствовал о значительных изменениях в их отношениях. Гусей стала незаменимым другом и советчиком потерявшего власть и уверенность в себе мужа. Это скорее скрепило, чем ослабило их союз.

Прежде всего надо было подумать о детях. Со старшими, от первого брака, особых проблем не было. Конраду было двадцать шесть лет, он завершал юридическое образование в Берлине, до этого пройдя несколько семестров во Фрейбурге и Мюнхене — прямо по стопам отца. Макс тоже учился на юридическом факультете, но в родном Кёльне. Рия изучала иностранные языки в Гейдельбергском университете. Сложнее было с четырьмя младшими. Двое были уже школьниками; нацисты могли использовать их в качестве заложников, чтобы шантажировать отца. Было решено, что Гусей будет все время с ними пока в Гогенлинде, а если представится возможность, то вернется в особняк на Макс-Брухштрассе.

Что касается самого главы семьи, то он в конце концов (о чудо!) согласился с мнением Гусей, что ему какое-то время лучше пожить отдельно от них, подыскав себе надежное пристанище. Он вспомнил по этому случаю о своем приятеле по гимназии Святых апостолов, Ильдефонсе Хервегене, который стал аббатом в монастыре бенедиктинцев под названием Мария Лаах. На следующий же день Аденауэр пишет ему письмо, где сообщает, что он не может вернуться в Кёльн, что его душа и тело требуют покоя и отдохновения, которые он не сможет обрести в какой-нибудь гостинице, а посему просит позволения провести «один-два месяца» в Мария Лаах. Хервеген соглашается. 19 апреля Конрад и Гусей отправляются в дальний путь: ночной поезд доставляет их из Берлина в пригород Дюссельдорфа Нейсе, оттуда на машине, которую вновь любезно предоставляет Пфердменгес, они, не заезжая в Кёльн, едут вверх по Рейну до Кобленца, потом двадцать километров на запад — и они у цели.

Аббатство расположено в отрогах Эйфеля, у озера, возникшего на месте кратера потухшего в незапамятные времена вулкана. Место тихое, сады, ручьи, пруд с карпами, которых разводят монахи. В отличие от Франции, где монастыри

бенедиктинцев поражают красотами готического стиля, Мария Лаах поскромнее: постройки отличаются скорее солидностью, чем элегантностью архитектуры. Базилика построена в XII веке в тяжеловесном романском стиле, темные с желтизной стены, серая черепица крыши. Интерьер подчеркнуто скупой, стены в трещинах, никаких украшений.

Монахов около сорока, их настоятель — высокий, плотный мужчина, консерватор и монархист до мозга костей. Его тоже захватила волна «национального пробуждения»; нацистский «Вестдейчер беобахтер» воздал ему хвалу за то, что в своих проповедях он отзывался о Гитлере как «великом фюрере», «отце нации», который объединил в одно целое народ и государство. Тем не менее он не отверг просьбы давнишнего знакомого по школе о предоставлении убежища: таков был завет святого Бенедикта — помогать страждущим.

У ворот монастыря Конрад и Гусей распрощались. Она уехала обратно в Кёльн, к детям, он отправился в свою келью. Собственно, это была даже не келья, а нечто вроде гостевой комнаты; стены обшиты досками, на полу расстелен ковер. Из мебели — кровать, стол, стул. На стене — распятие и небольшая книжная полка. Не очень похоже на его кабинет в ратуше или в особняке на Макс-Брухштрассе, но жить можно.

Жизнь в монастыре подчинена строгим правилам. Основа — работа и молитва. Особое внимание уделяется медитации. От вечерней молитвы до завтрака действует обет молчания. Меньший период всеобщего безмолвия предусмотрен в послеполуденное время. Никаких разговоров во время трапезы; она проходит под чтение отрывков из Писания или из наставлений святого Бенедикта — читает специально назначенный для этого член конгрегации. Утром — большая месса, вечером — малая. В общем, жизнь ближе к потусторонней, чем к земной.

Пришельцу из грешного света трудно приспособиться к этим правилам и распорядку. Особенно тяжело Аденауэру выносить обет молчания. Он присутствует почти на всех молебнах, за исключением разве самого раннего, в пять часов утра, но предпочитает забираться на балкон, к органу, чтобы его не было видно, — очевидно, он не особенно усердствует по части отбивания поклонов и коленопреклонений. Ему разрешено свободно передвигаться внутри монастырских стен, но не выходя за их пределы. Он скучает и находит утешение в сочинении писем.

За сравнительно короткий период времени он написал их множество. Гусей он даже посылает не только письма, но и цветы;

ее ответные послания полны нежности и теплоты, но порой в них содержатся и неприятные новости: арестовали Бенедикта Шмиттмана. Элле, очевидно, было сказано, чтобы она об этом не распространялась, неизвестно, что будет, их дом под постоянным надзором. Он снова пишет Хейнеману насчет денег и затем подряд в нескольких письмах жене задает один и тот же вопрос: не появлялся ли добрый ангел из Брюсселя? В письме, адресованном Доре Пфердменгес и датированном 16 мая, он пространно рассуждает о германской внешней политике и о том, что его в этой связи беспокоит.

Еще одно занятие — чтение. Подбор книг в монастырской библиотеке, разумеется, специфический. Детективов тут нет. В основном история и теология. Некоторые книги он читает почти с удовольствием, например, биографию Кавура. Он собрал в своем особняке на Макс-Брухштрассе кое-какую коллекцию картин, и теперь решает изучить жизнь Рембрандта.

Однако самым важным с точки зрения его будущей политической карьеры стало знакомство с двумя папскими энцикликами — «Рерум новарум» и «Квадрагезимо анно», определившими позицию католической церкви в отношении основных социальных и политических проблем современного мира. Тексты были написаны в специфическом стиле, непосвященному читать их было нелегко, но у нашего героя времени было предостаточно, чтобы расшифровать все темные места и понять, что в этих посланиях отразилось как раз то, что он сам уже давно ощущал инстинктом верующего католика и практического политика.

Энциклика, озаглавленная «Рерум новарум» с подзаголовком «Об условиях существования трудящихся классов», была обнародована папой Львом XIII в 1891 году. Как видно уже из названия, речь в ней шла о проблемах современного индустриального мира и их решении, которое, как предполагалось, может дать христианское учение. Заголовок введения гласил «Ухудшение положения трудящихся», и этими словами задавался тон всему содержанию документа; он проникнут сочувствием к участи тех, кто находится у подножия социальной пирамиды и обречен на «беспомощное и беспросветное существование в тисках жалкой и незаслуженной нищеты».

Несколько неожиданно основная часть послания начинается с яростной критики социализма — учения, проповедующего «уничтожение частной собственности». Право обладания частной собственностью человек получает от природы — здесь энциклика повторяет старые доводы защитников существующего строя.

Другой объект критики — это современное государство. Нет никаких оснований приписывать ему какую-то священную роль: «Человек получил от природы право добывать себе средства существования задолго до возникновения государственных институтов».

Итак, ни социализма, ни государственного вмешательства (позднее за государством признается, правда, функция оказания помощи нищим, но и только), частная собственность священна и неприкосновенна. Как же тогда бороться с «небольшой кучкой богачей, которые имеют возможность держать в ярме огромное большинство лишенных собственности работников, обрекая их на положение, мало чем отличающееся от рабского»?

На этот вопрос папа пытается дать ответ во второй части энциклики. Там сформулировано четыре основополагающих принципа. Первый постулирует активную роль церкви в разрешении конфликта классов. Церковь должна постоянно напоминать всем классам о «взаимных обязательствах, которыми они связаны по отношению друг к другу». Церковь отнюдь не должна ограничивать себя заботой о душах своей паствы, «она преисполнена желания, чтобы лишенные собственности работники вышли из состояния нищеты и улучшили условия своего существования». Второй принцип касается роли государства. «Богатые могут полагаться на то, что их защитит их богатство… массе же бедняков нечем себя защитить, и они вынуждены полагаться на защиту государства». Но опять-таки в основном речь здесь идет о поддержке обнищавших и безработных. Третий — это обязанности самих тружеников. Они должны стараться вырваться из своего пролетарского состояния солидарными и ответственными акциями.

«Христианские рабочие могут создавать свои собственные ассоциации и, объединяя свои силы, смело идти к освобождению от оков несправедливости и угнетения». Четвертый и последний обращен к «богатым собственникам средств производства и работодателям»: они тоже должны осознать свои обязанности по отношению к обществу. Но в конечном счете, говорится в заключение энциклики, «только религия способна полностью искоренить зло этого мира… до каждого должна дойти та истина, что первое, что он должен сделать, — это обратиться вновь к ценностям христианской морали».

На словах все это было неплохо, хотя и несколько абстрактно, но на практике не принесло особых результатов. Энциклику папы Льва XIII заучивали чуть ли не наизусть в теологических колледжах, но это никак не повлияло на положение трудящихся классов: оно на протяжении последующих десятилетий, скорее,

ухудшилось. Дело решил поправить папа Пий XI новой энцикликой «Квадрагезимоанно. О восстановлении социального порядка», которая была опубликована в мае 1931 года.

Само ее название (в переводе с латыни — «Спустя сорок лет») показывает, что новый папа отталкивается от текста послания своего предшественника, как бы пытается подвести итог тому, как реализовывались его положения, какое влияние оно оказало на мир. Естественно, новая энциклика начинается с хвалебных слов по адресу старой и деяний ее автора в целом. «Апостолический глас прогремел не зря» — и далее в таком же духе на нескольких страницах. Но затем следует плавный переход к критической переоценке: «Случилось так, что учение Льва XIII, столь благородное и возвышенное, стало предметом всяческих подозрений и домыслов, имеющих распространение даже среди верующих католиков, а некоторые усматривают в нем и нечто для себя неприемлемое и оскорбительное».

Мягко, но решительно новый папа отмежевывается от предшественника. Да, он готов признать, что «Рерум новарум» дала импульс образованию католических профсоюзов, но тут же констатирует, что «относительно толкования некоторых разделов энциклики Льва XIII либо следующих из них выводов возникают определенные сомнения, каковые, в свою очередь, ведут к спорам и противоречиям среди католиков и нарушают мир паствы». Другими словами, содержание старой энциклики нуждается в корректировке. Этой цели и служила «Квадрагезимо анно».

Прежде всего в ней церковь фигурирует в качестве уже не просто посредника между классами, а верховного арбитра, причем не только в вопросах социальных отношений, но и в вопросах «экономической деятельности». Прежняя безоговорочная апология частной собственности заменяется более осторожными формулировками, из которых следует, что права собственника священны и неприкосновенны только при том условии, что он руководствуется целями общественного блага. И опять же церкви должно принадлежать решающее слово в определении того, «что позволено и что не позволено собственникам в распоряжении своей собственностью». Наконец, Пий XI по сравнению со своим предшественником отводит значительно большую роль государству. Оно не должно заниматься мелкими проблемами, его задача — сосредоточиться на решении больших задач, которые «никто, кроме него, не может решить»; оно призвано «направлять, наблюдать, побуждать и ограничивать там, где это возможно и необходимо». Особенно подробно говорится об обязанности государства следить за тем, чтобы господство монополий не задушило свободную конкуренцию.

Тема социализма в отличие от «Рерум новарум» возникает лишь в заключительной части новой энциклики. Она рассматривается более детально, но здесь Пий XI ничуть не уступает предшественнику в разоблачительной риторике. Энциклика отмечает разницу между коммунизмом — «учением, проповедующим насилие», — и «более умеренной сектой», под которой понимается современная социал-демократия. Коммунизм, естественно, подвергается анафеме с порога. Труднее оказалось обосновать осуждение другой «секты», которая отвергала насилие. К тому времени многие верующие вступали в социалистические партии, не считая, что это противоречит моральным заповедям христианства. В частности, это имело место в германской СДПГ. В отношении этой тенденции приговор энциклики звучит твердо: речь идет о феномене, «крайне прискорбном». Социализм и коммунизм, по существу, ставятся на одну доску как учения, равным образом далекие от «заветов Евангелия»; более того, Пий XI счел нужным особо подчеркнуть: «Религиозный социализм, христианский социализм — все это противоречия в понятиях; нельзя быть в одно и то же время истинным социалистом и добрым католиком». Короче говоря, коммунистам и социал-демократам — одна и та же дорога: на мусорную свалку истории. Единственное спасение для них — исправиться, отрешиться от заблуждений и прильнуть к «материнской груди церкви». Вот так, не больше и не меньше.

Все это стало для нашего героя руководством к действию на будущее, пока же более непосредственное влияние на него оказал монастырский розарий. Как мы помним, его всегда тянуло к земле, и даже его ухаживания за молоденькой соседкой начались на этой почве. Но одно дело — несколько грядок и кустов в городском дворе, и совсем другое — настоящие плантации, поразившие его воображение в Мария Лаах. «Я никогда не имел возможности наблюдать природу во всей ее целостности, а сейчас я буквально погружен в нее… Почти каждый день все выглядит по-новому; я поистине ошеломлен этой огромной мощью природных сил, так явно проявивших себя за последние полтора месяца, что я нахожусь здесь», — торопится он излить на бумаге переполнявшие его эмоции.

Эти строки написаны им 6 мая. Адресатом письма была Дора Пфердменгес, женщина, роль которой в жизни нашего героя до сих пор остается некой загадкой. Его письма к ней совсем иного рода, чем те, которые он адресовал Гусей. Доре он доверял свои самые сокровенные мысли и эмоции; это не просто обмен мнениями о новых спектаклях или вопросы об общих знакомых, тут присутствуют философские размышления о тайнах природы и

попытки анализа современной политики. Ее письма к нему не сохранились, но можно предположить, что они были выдержаны в том же ключе. Интересно, что первое письмо из Мария Лаах он направил именно Доре, и именно она первой навестила его там.

Кто была эта женщина? Попытки разузнать о ней подробнее у наследников ни к чему не привели. Удалось лишь установить, что она была родом из Гладбаха (ныне этот город называется Менхенгладбах), что ее девичья фамилия звучала как Бренкес (или Бресгес, как это было записано в метрике ее сына), что семья имела голландские корни, что она познакомилась со своим будущим мужем в местном теннисном клубе, и, когда его в 1905 году перевели в лондонское отделение банка, в котором он служил, не долго думая последовала за ним. Поженились они только четыре года спустя, церемония прошла в родном Гладбахе, после чего молодая чета вновь вернулась в Лондон. Жили они в пригородном районе Форест-Хилл. Там в октябре 1910 года у них родился первый ребенок — сын. Роберт Пфердменгес был лютеранином, довольно строгих правил, чем, судя по всему, был очень горд. Дора принадлежала к той же конфессии, но явно придерживалась более свободных представлений о нормах поведения в обществе: жить с мужчиной четыре года вне уз законного брака — это был прямой вызов тогдашним представлениям о морали и нравственности.

Возможно, независимость духа и чувств как раз и привлекала Аденауэра в этой женщине. Их отношения вряд ли переходили рамки чисто дружеских; Дора и Гусей, кстати, были близкими подругами, однако письма Конрада Доре свидетельствуют, что она ему была достаточно близким человеком; во всяком случае, когда Гусей привезла ему официальную бумагу об увольнении (она была датирована 24 июля; не помогло ни заступничество тестя, почтенного профессора, ни новый визит в Берлин с попытками оправдаться), то длинное и эмоциональное письмо, в котором выразилась его реакция на эту печальную новость, он адресовал не жене, а ее подруге. В другом письме он поделился с ней своей озабоченностью по поводу того, как будут складываться отношения между новым режимом и духовенством обеих конфессий. Там же присутствует и такая поистине примечательная фраза: «По моему мнению, единственное спасение следует видеть в монархии; пусть это будет Гогенцоллерн или даже Гитлер; его бы вначале можно было сделать пожизненным президентом; таким путем все в конце концов утрясется».

Не будем выносить поспешного и слишком сурового приговора автору этих откровений. Многие немцы разделяли

тогда эти странные идеи: возврат к довеймарским временам казался благом в сравнении с тем хаосом, который ассоциировался с республикой и, главное, с тем, к чему это все привело. Аденауэр был отнюдь не одинок и в представлении, что Гитлер оказывает сдерживающее влияние на нацистское движение. Кроме всего прочего, сказывались долгие дни монастырского уединения: в этой обстановке самый практичный ум может начать давать сбои, продуцируя самые экстравагантные теоретические схемы. Нельзя забывать и о том, что чтение газет, чем усердно занимался наш отшельник, также вряд ли могло дать ему адекватную информацию о том, что происходит в стране. И все-таки выраженный им в письме «оптимальный сценарий» обнаруживает новые и неожиданные черты в тогдашнем ментальном мире нашего героя.

Посетителей у него было немного. О визите Доры уже говорилось выше — это было в мае. В начале июня приезжала Гусей с детьми; пообедали вместе на природе: гостиничный ресторан был не по карману. В конце июля Гусей приехала снова — с официальным извещением об увольнении его с поста бургомистра. Об этом тоже уже упоминалось. В тексте официального документа содержалась ссылка на параграф 4 закона «О реформировании государственной службы» от 7 апреля 1933 года. Газета «Вестдейчер беобахтер» откликнулась на это событие огромной шапкой: «Аденауэр уволен — конец эре позора». Его адвокат, Фридрих Гримм, провел у него неделю ранней осенью, обсуждая с ним тактику защиты. В письме Хервегену Аденауэр говорил об «одном-двух месяцах», но его пребывание в Мария Лаах явно затягивалось.

«Вестдейчер беобахтер» неодобрительно отозвался о том, что духовное заведение стало прибежищем для злодея, укрывающегося от справедливого гнева сограждан. Очередную порцию желчи нацистский листок выпустил по поводу того, что с 1 ноября Аденауэру стала начисляться пенсия — чуть больше тысячи марок. Почти весь декабрь новоиспеченный пенсионер провел в Берлине, тщетно пытаясь добиться улучшения своей участи. Он попытался получить аудиенцию у президента Рейхсбанка Шахта — отказ. Он снова встретился с Хейнеманом, попытался было заговорить с ним о каком-нибудь местечке в его компании, последовали сочувственные восклицания и ничего больше. Останавливался он там, естественно, не в гостинице, а в приюте религиозной общины — «госпитале Марии-Виктории». Все хлопоты оказались зря.

Перед возвращением в Мария Лаах они с Гусей договорились, что Рождество всей семьей встретят вместе — будь что будет.

Сняли номер в ближайшей к монастырю гостинице, нарядили елку; впервые почти за девять месяцев отец увидел детей; были трогательные сцены, особенно когда все получили подарки — на этот раз, естественно, очень скромные.

Торжественная месса в базилике монастыря прошла при большом стечении народа, хотя пускали по пригласительным билетам: все было оформлено как сугубо частное мероприятие. Тем не менее оно вылилось в своеобразную демонстрацию солидарности с изгнанником. Месса длилась с десяти часов вечера до двух часов ночи. После окончания все вышли на воздух. Ночь была ясная, сияли звезды, все казалось так чудесно.

Расплата не заставила себя ждать. Власти из Кобленца дали понять настоятелю, что дальнейшее пребывание Аденауэра в Мария Лаах нежелательно и может повредить самому монастырю. Херверген соответствующим образом информировал об этом гостя. Вопрос был: куда направиться? В Кёльне его ждало скорее всего «превентивное задержание», в Бонне или Бад-Годесберге было тоже опасно. Аденауэр решил ехать в Берлин. 8 января 1934 года он покинул Мария Лаах. Временный приют он нашел в обители еще одного религиозного ордена — на этот раз это были францисканцы.

В письме к Хейнеману, написанном в середине октября, Аденауэр подвел неутешительный итог очередному году своей жизни: «Я живу оторванный от семьи, не зная, что будет с ней и со мной самим, в вынужденной праздности, которую я уже не силах переносить… Я не могу уснуть без таблеток и сплю не больше нескольких часов. То же самое — с моей бедной женой. Она храбрится, но и ее силы иссякают». Год 1933-й оказался хуже некуда, но суждено ли было новому году принести перемены к лучшему?

ГЛАВА 2.
КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ

«Гитлер не выпустит из-под прицела ни одного из своих бывших противников»[21]

Покидая Мария Лаах, Аденауэр все еще тешил себя надеждой на то, что гитлеровская революция закончится тем же, чем все революции обычно кончаются: революционеры пожрут друг друга, и он получит возможность вновь вернуться к своей политической карьере. Когда один из его гостей в Лаахе, бывший коллега по партии Центра Рудольф Амелюнксен, выразился в том смысле, что Гитлер, пожалуй, года два наверняка протянет, Аденауэр воскликнул: «Два года? Нет, ни в коем случае! Тогда я буду уже слишком стар, чтобы начать все заново». Оба в данном случае ошибались, но, впрочем, у нашего героя были в это время более насущные проблемы, чем те, что касались перспектив его будущего как политика. Надо было просто сперва выжить.

Переезд в Берлин был в этом смысле неплохим ходом. В большом городе было легче затеряться, а может быть, и найти какую-нибудь работу. Наверняка его ободрил тот факт, что старший сын Коко как раз сумел получить место стажера в крупной берлинской фирме; если это удалось ему, неопытному юнцу, то почему не удастся мне? Таков примерно мог быть ход его мыслей. Кроме того, близость к центру власти была нелишней в обстановке, когда первоочередной задачей для него было добиться снятия выдвинутых против него обвинений. И впрямь кое-чего удалось добиться: из Кёльна в министерство внутренних дел Пруссии пришла бумага, где говорилось, что «с политической точки зрения продолжение следствия не представляет более интереса». Правда, большего ему так и не удалось выяснить.

В начале марта Аденауэр ненадолго вернулся в Лаах. Взгляды Хервегена за это время успели уже кардинально поменяться: он не скрывал своего разочарования новым режимом. «Сумерки богов!» — заметил но этому поводу Аденауэр, возможно, не совсем кстати. Для него ситуация только изменилась к худшему. Монастырь теперь был под постоянным наблюдением, ходили даже слухи, что его вообще скоро закроют. Было время поста, холод пробирал до костей, и через несколько дней Аденауэр решил ехать обратно в Берлин. «Годовщину моего «отъезда» из Кёльна я «отпраздную» в Берлине», — с горькой иронией пишет он 4 марта Доре Пфердменгес.

В конце марта он еще раз заезжает в Лаах, вероятно, для того, чтобы забрать оставшиеся вещи. К этому времени он нашел подходящую квартиру в Бабельсберге, на берегу озера Грибниц-зее, почти на границе между Берлином и Потсдамом. Этот район шикарных вилл за последний год обезлюдел: их владельцы, банкиры и торговцы «неарийского» происхождения, оказались достаточно предусмотрительными, чтобы вовремя эмигрировать. Владелец виллы по Аугустусштрассе, 40, которую облюбовал Аденауэр, тоже собирался последовать их примеру и с радостью сдал свое владение известному противнику гитлеровского режима. Договор аренды был заключен на год, размеры арендной платы были вполне приемлемыми. В мае вся семья Аденауэров переехала на новое место жительства.

Переселение прошло в два этапа. 3 мая из Мария Лаах прибыл глава семьи, двумя днями позже из Кёльна приехала Гусей с четырьмя детьми. Дом был прекрасно меблирован, к нему примыкал обширный, хотя и сильно запущенный, сад. Был даже бассейн. Словом, все устроилось как нельзя лучше. Детишкам, правда, было трудно освоиться в новой школе, а глава семьи все еще испытывал тревогу за будущее, но по крайней мере все теперь были вместе.

9 июня пришло ободряющее известие от кардинала Шульте: три дня назад кёльнский суд закрыл дело бывшего бургомистра за недостатком улик. Аденауэр ждал такого решения, но одно дело ждать, другое — когда эти ожидания сбываются. Одной проблемой стало меньше.

Оставались неясными перспективы его собственного иска к новым городским властям, где он оспаривал размеры выделенного ему вспомоществования — нормальной пенсией бургомистра эту тысячу марок действительно было трудно назвать. С деньгами было по-прежнему напряженно. Аденауэру пришлось продать некоторые из своих картин и часть сада на Макс-Брухштрассе. У Гусей украли ее драгоценности, но, к счастью, они были застрахованы, и семья получила какую-то сумму от страховой компании. Хейнеман прислал очередной «заем». Все это быстро расходилось, но все-таки они кое-как держались на плаву.

Глава семьи ввел строгое разделение домашнего труда: сам он занимался покупками и садом, Пауль чистил обувь для всех членов семьи, за Лоттой была стирка, за Либет — уборка, только трехлетний Георг был освобожден от трудовой повинности. Карманные деньги распределялись в строгом соответствии с количеством и качеством произведенной работы. «В жизни никто ничего не получает даром», — поучал он ребятишек. Он помогал

им с уроками, занимался с ними плаванием (включая и малыша Георга), много гулял, учил их распознавать разные дикие растения и травы. Июнь 1934 года прошел под знаком некоей чуть ли не идиллии.

Все кончилось в последний день месяца. Вечером 30 июня началась кровавая оргия, ставшая развязкой давно тлевшего конфликта между Гитлером и одним из его ближайших сподвижников, главарем штурмовиков Эрнстом Ремом. Суть конфликта была проста: Гитлер нуждался в поддержке офицерского корпуса рейхсвера, он хотел стать преемником Гинденбурга на посту президента и понимал, что без его генералов этого ему не добиться. Рем же был типичным революционером: он хотел, чтобы его СА стали ядром вооруженных сил рейха, отодвинув на задний план «консервативных» генералов; кроме того, он считал, что его и его дружков обошли при раздаче должностей: ему самому достался всего лишь пост министра без портфеля, а другие лидеры штурмовиков вообще остались ни с чем.

Рем был глубоко уязвлен и — что стало для него роковым обстоятельством — не особенно это скрывал. Он обвинял Гитлера в «союзе с реакцией», «заискивании перед восточнопрусскими генералами», сетовал на то, что «уходит возможность свершить нечто новое и великое, то, что свернуло бы мир с катушек». Мало того, что он не стеснялся выражений типа «эта свинья Адольф», он еще умудрился начисто испортить отношения с другими шишками в нацистской иерархии — Герингом, чье бахвальство он всячески высмеивал, и Гиммлером: он заявлял, что его штурмовики утрут нос эсэсовцам.

На самом деле как раз эсэсовцы провели образцовую операцию но обезвреживанию своих соперников. В ночь с 30 июня на 1 июля 1934 года Рема и его сподвижников без лишних церемоний вытащили из постелей и расстреляли во дворе тюрьмы Штадельхейм, что под Мюнхеном. Как впоследствии выяснилось, рейхсвер предоставил отрядам СС транспорт и оружие. Регулярные части были подняты по тревоге, чтобы оказать помощь эсэсовцам на случай, если бы те встретили серьезный отпор. Генералы, возможно, тогда еще не осознавали того, что они своим поведением нарушили традиционную заповедь своей профессии — не вмешиваться в политические дрязги. В своей почти детской наивности они не поняли и другого: нацисты воспользуются моментом, чтобы свести счеты с любыми не устраивающими их лицами, включая тех, кто никак не был связан ни с Ремом, ни с его СА. Отныне армия оказалась глубоко скомпрометированной соучастием в этом акте абсолютного

произвола, скомпрометированной, в частности, и изданным на следующий день после побоища позорным приказом министра обороны генерала фон Бломберга, где восхвалялось «истинно солдатское и беспримерно мужественное» поведение фюрера перед лицом «мятежников и предателей».

В Бабельсберге еще с утра 30 июня начали появляться признаки каких-то надвигающихся необычных событий: грузовики с эсэсовцами, мчащиеся куда-то на бешеной скорости, колонны солдат, марширующие по улицам… Стало известно, что в своем кабинете в Министерстве внутренних дел убит Эрих Клаузенер, лидер организации «Католическое действие» и доверенное лицо вице-канцлера Папена, с каждым часом слухи об арестах и расстрелах обрастали все новыми неопровержимыми подробностями и деталями.

Около семи часов вечера перед домом по Аугустус-штрассе, 40, останавливается небольшой автомобиль. Из него выходит человек в штатском и нажимает кнопку звонка у калитки. Не дождавшись, пока кто-нибудь откликнется на звонок, он ловко перепрыгивает через изгородь и двигается прямо к хозяину, который в это время, как обычно, поливает цветы. «Гестапо», — приветствует нашего героя незнакомец, отворачивая лацкан пиджака, чтобы показать свой жетон. Затем столь же лаконично и как-то буднично: «Вы арестованы. Соберите вещи и следуйте за мной». Аденауэр ставит лейку на землю, и оба неторопливо направляются к дому. Гусей встречает их на террасе, вся волнение: «Что вам нужно от моего мужа?» Агент гестапо невозмутимо отвечает: «Временная мера пресечения». Она не отступает: «Скоро мой муж вернется?» Ответ звучит уклончиво: «Боюсь, это займет некоторое время».

Быстрые сборы, торопливое прощание с женой и перепуганными детьми, и оба направляются к калитке. Последние слова утешения: «Не беспокойся, я ни в чем не виновен».

Последний взмах рукой — уже перед дверцами машины. Едут через лес в сторону Потсдама. Агент как бы между прочим задает вопрос: нет ли у него с собой оружия? «Тут я почувствовал: дело плохо», — рассказывал Аденауэр впоследствии; ему было известно, как это делается: заводят человека в чащу и — «убит при попытке к бегству». Но все обошлось, машина не остановилась. Оставшиеся домочадцы однако ясно услышали звуки выстрелов и сразу подумали, что с их мужем и отцом случилось самое худшее. Оказалось, что это на вилле неподалеку отряд эсэсовцев расправился с предшественником Гитлера на посту канцлера — генералом Шлейхером, заодно они убили и его жену.

Аденауэр провел ночь и весь следующий день вместе с тремя десятками товарищей по несчастью в реквизированном эсэсовцами школьном здании, превращенном в тюрьму: мест в обычных тюрьмах не хватало. В понедельник утром он был доставлен в полицейское управление Потсдама, там его несколько часов продержали в одиночной камере, потом начался допрос… Гусей в это время обивала пороги разных участков и учреждений в попытках узнать что-нибудь о муже. От нее попросту отмахивались. Вернувшись в Ней-Бабельсберг, она не может сообщить детям ничего утешительного, остается только просить милости у Бога.

Внезапно в понедельник вечером у дома вновь останавливается машина, и — о чудо! — из нее появляется отец семейства, живой и невредимый, только с явными следами двух бессонных ночей. Его освобождение стало следствием отданной Гитлером директивы — прекратить дальнейшие репрессии и выпустить всех, кто прямо не был связан с Ремом и его компанией. Домочадцы радуются: теперь все будет в порядке. Сам Конрад настроен менее оптимистично; он увидел нацистскую карательную машину в действии и мрачно бросает: «Гитлер не выпустит из-под прицела ни одного из своих бывших противников».

До событий 30 июня 1934 года — «ночи длинных ножей», как она вошла в историю, — Аденауэр еще мог испытывать если не симпатии, то но крайней мере некоторые иллюзии в отношении Гитлера и национал-социализма. То, чему он был свидетелем в первый год нацистской диктатуры, никак не укладывалось в рамки его понятий и представлений. Он явно считал это временным отклонением, которое скоро пройдет, и вновь начнут действовать общепринятые правовые нормы. Тот факт, что кёльнский суд принял решение в его пользу, только укрепило его в этих надеждах.

Теперь все эти надежды и иллюзии рухнули. Какие там нормы законности: был Рем в чем-то виновен или нет, разделались с ним без всякого суда и следствия. Та же судьба постигла и Клаузенера, одного из коллег Аденауэра но партии Центра, и многих других, не имевших никакого отношения к грехам Рема и его преторианцев. Контуры нового порядка окончательно прояснились, когда, после того как 1 августа в возрасте восьмидесяти восьми лет скончался Гинденбург, рейхстаг мгновенно проштамповал закон об объединении постов президента и главы правительства и о присвоении Гитлеру нового титула — «фюрера и рейхсканцлера».

Для Аденауэра выводы были очевидны. Он отдавал себе

отчет, что его фамилия занесена в какой-то «черный список». На него явно кто-то имеет зуб, вероятно, не на самом верху, а на более низком уровне, по каким-то, может быть, личным мотивам. Значит, нужно апеллировать к высшим инстанциям, попробовать оправдаться, доказать, что он всегда был и остается патриотом Германии, лояльным государственником, и тогда, возможно, его оставят в покое.

Именно эти соображения руководят им, когда он 10 августа 1934 года отправляет длинное послание на имя ближайшего сподвижника фюрера, прусского министра внутренних дел Вильгельма Фрика. Этот документ впоследствии дал немало пищи для критики по адресу Аденауэра. Сам он говорил, что в письме речь шла исключительно о его пенсионных делах. Это верно, но не совсем..

Большая часть письма посвящена доказательству того тезиса, что бургомистр Кёльна «всегда корректно относился к национал-социалистской партии». Примеров там приводится предостаточно: он неоднократно выступал против решений центральных берлинских властей и собственной фракции в городском собрании, которые были направлены против деятельности НСДАП; вопреки указанию прусского МВД он предоставил ее членам возможность пользоваться городскими стадионами и спортивными площадками для парадов и тренировок; он помещал официальные объявления в «Вестдейчер беобахтер», соответственно оплачивая их, а ведь это тоже противоречило указаниям министерства; он разрешал вывешивать флаги со свастикой — соответствующие его распоряжения можно найти в архиве; а если он и вынужден был однажды убрать эти флаги с моста, то ведь он был вовсе не против их вывешивания перед выставочным комплексом в Дейце и даже послал своих служащих для установки подходящих флагштоков.

Значительное место в тексте письма заняли опровержения в причастности к «рейнскому сепаратизму». Аденауэр заявляет, что он был решительным противником подписания Версальского договора, что в октябре 1923 года против него французами и сепаратистами был организован заговор — его собирались убить либо привлечь к суду «революционного трибунала» и потом расстрелять.

Все это, по мнению автора письма, исключает применение к нему параграфа 4 закона «О реформировании государственной службы», где речь идет о лицах, чья преданность национальным ценностям вызывает сомнения, и соответственно его дело должно быть пересмотрено.

Позднейшие критики Аденауэра, анализируя стиль и содержание этого документа, высказывали порой мнение, что если бы Фрик выразил готовность признать, что в деле бывшего бургомистра Кёльна допущена юридическая ошибка, что ему дадут хорошую пенсию, обеспечат безопасность ему, жене и детям, но он должен в благодарность за это вступить в НСДАП, то Аденауэр скорее всего принял бы условия такой сделки. Трудно гадать, что было бы, если… Во всяком случае, в реальности такой альтернативы перед Аденауэром не стояло. Ответ от Фрика пришел только в ноябре, и это был лаконичный и категорический отказ в удовлетворении его просьбы о пересмотре дела.

Тем временем тучи сгущались. Кто-то из администрации Рейнской области в Кобленце, видимо, имевший контакт с настоятелем монастыря в Лаахе, сообщил ему, что там снова всплыл вопрос о бывшем бургомистре Кёльна: ему грозит опасность; Хервеген немедленно сообщил об этом Аденауэру; тот счел за благо на время исчезнуть. Действительно, с середины августа его следы теряются; он переезжает с места на место, нигде не задерживаясь больше, чем на сутки. К началу следующего месяца, очевидно, опасность прошла. 4 сентября Аденауэр, уже не таясь, отправляет письмо Хейнеману с обратным адресом «Каппель»: в этом тихом местечке в Шварцвальде он снимает комнату, Гусей уже с ним, самое позднее к 14 сентября они планируют вернуться в Берлин.

В Берлине его ждала повестка из кёльнского суда. Он вызывался в качестве свидетеля но делу бывшего директора кёльнского филиала «Дейче банка» Антона Брюнинга, против которого было выдвинуто обвинение в мошенничестве. Аденауэр не испытывал к обвиняемому никаких симпатий: ведь это был тот самый Брюнинг, который в свое время дал ему злосчастный совет покупать акции Блютгена и на которого он сам из-за этого едва не подал в суд. Выяснилось, однако, что Аденауэру предназначена роль не столько свидетеля, сколько соучастника обвиняемого; дело в том, что, согласно показаниям Брюнинга, он однажды лично передал бургомистру пятьдесят пять тысяч марок в обмен на обещание направлять финансовые потоки из городского бюджета именно через «Дейче банк». Аденауэр срочно связался с остававшимися в Кёльне братьями. Ганс, напомним, был каноником в кёльнском соборе, Август вел юридическую практику. Он попросил их узнать поподробнее о существе дела и принять меры, чтобы о его приезде в родной город не пронюхала пресса.

Братья незамедлительно откликнулись: Ганс предложил брату кров, Август вступил в переговоры с председателем суда

относительно времени и процедуры снятия показаний со свидетеля Конрада Аденауэра. В конечном счете было решено, что допрос состоится 23 ноября, притом не в здании суда, а дома у Ганса. Все так и произошло: в холостяцких апартаментах на Соборной площади собрались судья, прокурор, Брюнинг со своим адвокатом в сопровождении двух судебных приставов и приехавший из Берлина свидетель, который, впрочем, вместо дачи показаний сам занялся допросом обвиняемого.

На протяжении шести часов Аденауэр истязал его всякими каверзными вопросами насчет техники банковских операций и номеров его предполагаемых тайных счетов. Здесь наш герой был в своей тарелке, он мог блеснуть своими ораторскими способностями и знанием юридических тонкостей. В результате запутавшийся в ответах Брюнинг счел за благо взять назад свои показания против Аденауэра. Прокурор пригрозил ему серьезными последствиями, но сделать ничего не мог; для Аденауэра на этом участие в следствии закончилось, его пришлось отпустить с миром.

Конечно, Аденауэра спасло то обстоятельство, что, как оказалось, большая часть банковских документов к тому времени благополучно испарилась и проверить показания сторон было невозможно. Однако, не прояви он в должной мере качеств упорного бойца и умелого юриста, ему скорее всего не удалось бы избежать суда и приговора с длительным сроком заключения, а то и с конфискацией имущества. Впрочем, определенные издержки все-таки были: несмотря на конфиденциальность дознания, дело получило огласку в прессе — даже центральной. «Берлинер тагеблатт» («Берлинский ежедневник») опубликовал соответствующий скандальный материал под шапкой «Финансовые аферы Аденауэра». Наш герой откликнулся судебным иском к газете, требуя сатисфакции по четырем пунктам, где, по его мнению, были допущены искажения. Когда примерно те же утверждения, «затрагивающие его честь и достоинство», неделей позже появились в «Кёльнише цейтунг», он направил гуда письмо с опровержением; в случае отказа его брат Август, грозно предупреждал Аденауэр редактора, уполномочен как юрист «оповестить вас о моих последующих шагах». Как видим, наш герой не забывал своего старого правила: лучший вид обороны — наступление.

Для нейтрализации обвинений в сепаратизме он решился даже искать поддержку на международном уровне. Еще 3 апреля 1934 года бывший британский резидент в Кёльне Джулиан Пиггот отправил ему подготовленное по его просьбе и заверенное у нотариуса «заявление», в котором говорилось, что Аденауэр

«никогда не обнаруживал ни малейшего интереса к сепаратистскому движению», оговорившись, впрочем, что он ничего не может сказать о периоде до своего прибытия в Кёльн и после отъезда оттуда (Пиггот был отозван в феврале 1925 года и не слышал антибританских высказываний бургомистра образца 1926 года, иначе он вряд ли, пожалуй, откликнулся бы на его просьбу о помощи).

В январе 1935 года Аденауэр добился встречи с другим знакомым англичанином, генералом Сиднеем Клайвом, который в то время оказался в Берлине. Тот также сочинил (или подписал) меморандум, в котором отмечал, что в период своего пребывания на посту начальника штаба при военном губернаторе Кёльна в конце 1918-го — в 1919 году он был близко знаком с Аденауэром и готов засвидетельствовать, что тот придерживался вполне безупречного курса. Клайв отправил этот меморандум с сопроводительным письмом на имя германского посла в Лондоне с настоятельной просьбой довести его содержание до сведения германского МИДа, что и было сделано. Больше ни к кому из англичан Аденауэр, судя но всему, не обращался, понимая, что его репутация в их глазах сильно подмочена, по этой же причине он не апеллировал и к французам.

Свою энергию и чернила Аденауэр тратил зря: ничто не могло Изменить отношения к нему официальных германских властей. Вставал вопрос, имело ли смысл дальнейшее пребывание в Берлине. Из письма, отправленного Гусей ее отцом 8 марта 1935 года, следует, что разговор о переезде шел уже давно. Фердинанд Цинссер задает вопрос: «Подыскали ли вы наконец новый дом?» Действительно, ранее Аденауэр обратился с просьбой к некоему Йозефу Гиссену, который некогда работал под его началом в качестве куратора паркового хозяйства Кёльна, найти для него подходящий участок в Рейнланде. Тот предложил несколько вариантов, и Конрад с Гусей с головой ушли в обследование различных деревушек с экзотическими названиями тина Штадтвальдгюртель или Плиттерсдорф, переговоры с хозяевами и т.д. Занятие было, видимо, весьма изматывающим, и супруги взяли себе несколько дней отдыха, которые провели в аббатстве Святого Креста в Херштелле.

То, что им было нужно, обнаружил средний сын Конрада от первого брака, Макс. Деревенька называлась Рендорф, она была расположена на правом берегу Рейна, южнее Бонна, у подножия Семигорья. Дом по адресу Левенбургерштрассе, 76, был, как сообщал усталый странник в письме Хейнеману от 30 марта 1935 года, «очень небольшой и скромный», но семью кое-как можно было разместить, а запрошенная цена оказалась вполне

умеренной. Из дома был хороший вид на Рейн и отроги Эйфеля по другую сторону. Недостатками были ветхость и запущенность строений и интерьера, а также всепроникающая сырость.

Переезд из Берлина в Рендорф прошел в несколько приемов в апреле. Новые соседи приняли их дружелюбно. В письме Доре Пфердменгес от 5 мая 1935 года Аденауэр делится своими, радостными чувствами: «Чудесная весенняя пора возмещает нам горести прошедших месяцев. Мы вполне прилично устроились, ко многому нам еще нужно здесь привыкнуть, но мы на природе, и это нас вдохновляет». Главное — они надеялись, что здесь их больше уже никто не потревожит.

Но они сильно ошибались. Бдительное око полицейского государства не выпускало их из-под прицела. Спокойной жизни на новом месте им было отпущено всего ничего — где-то около трех месяцев.

ГЛАВА 3.
«БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПЕРАТИВНОГО ИНТЕРЕСА»

«Я хочу попытаться обрести в этой обители самого себя, мое религиозное «я», найти баланс между собой и миром»[22]

21 мая 1935 года. Кёльнское гестапо. Чиновник пишет запрос-ориентировку на некоего субъекта по фамилии Аденауэр, который, согласно информации, полученной из потсдамского гестапо, убыл с семьей из Ней-Бабельсберга в Рендорф-на-Рейне. Адресат — начальник местного отделения гестапо города Зигбург, «опекающего» район, в который входит и деревушка Рендорф. Требуется установить, прибыло ли означенное лицо в указанное место. Если да, то «его надлежит немедленно поставить под негласное наблюдение с тем, чтобы выявить род его занятий и с кем он общается». Вместе с тем перлюстрация его корреспонденции «больше не представляет оперативного интереса, поскольку до настоящего времени в ней не обнаружено никаких признаков, указывающих на продолжение или возобновление им сепаратистской деятельности».

Аденауэр, естественно, был в полном неведении о таком внимании к его персоне со стороны тайной полиции и о том, какие формы оно принимало. Многое говорит за то, что, как раз будучи в Бабельсберге, он и не подозревал, что его письма просматриваются, зато на новом месте почему-то в это глубоко уверовал. Достаточно сказать, что из его писем, направляемых Доре Пфердменгес и другим адресатам из Рендорфа, полностью исчезли комментарии на политическую злобу дня. Вот, например, его письмо Гусей в Тюбинген, куда она отправилась в середине июня навестить родителей: немного о детях, о том, как его навестили Шмитт-маны и какая у них хорошая машина, о том, как цветут виноградники, пожелания хорошо отдохнуть — и все.

Однако порой обычная осторожность ему изменяла, и тогда это влекло за собой роковые последствия. Так случилось 8 июля 1935 года, когда в Рендорфе отмечали престольный праздник, или, по-местному, кирмес. Праздновали так, как это было принято испокон веков: с крестными ходами, хоругвями, оркестрами, песнями, плясками и, увы, неумеренным потреблением горячительных напитков. Частью праздника был торжественный парад сводного оркестра местного «Союза

молодых стрелков» и местной пожарной бригады, тамбурмажор при этом выделывал всякие трюки с национальным флагом. Члены оркестра обычно обходили подряд все дворы, выстраиваясь полукругом перед калиткой каждого очередного владения и исполняя свой номер, за что хозяин должен был одарить их мелочью и поднести по чарке.

Надо сказать, перед праздником Аденауэра специально спросили, не будет ли он против, если оркестр отыграет традиционный марш и перед его домом. Хозяин колебался, но в конце концов согласился ради детей, у которых в Рендорфе развлечений почти не было. Все прошло бы, возможно, без особых осложнений, если бы оркестранты не выбрали для исполнения «Баденвейлерский марш». Для нескольких присутствовавших при сем нацистских фанатиков из соседнего Хоннефа это показалось неслыханным святотатством: по их логике играть, да еще в полупьяном виде любимое произведение фюрера перед каким-то изгоем означало одновременно возвысить последнего и унизить «отца нации».

Свое возмущение они поспешили довести до сведения зигбургского крейслейтера НСДАП. Посыпалась масса самых диких обвинений: оркестранты, все два десятка «стрелков» и пожарников, — это подпольная антинацистская группа, все представление — политическая демонстрация, сопровождавшаяся надругательством над государственным флагом и над благородной мелодией (качество исполнения и верно оставляло желать лучшего), а виновник «провокации» — не кто иной, как Аденауэр, который организовал все, подкупив оркестрантов «80 марками и сотней бутылок вина». Крейслейтер потребовал немедленного отчета от бургомистра Бад-Хоннефа.

Тот послал на место инцидента полицейского вахмистра, который 29 июля после тщательно проведенного расследования представил свой доклад. Его содержание наверняка разочаровало бдительных охотников за «врагами нации». Полицейский чин пояснил, что мероприятия подобного рода проводятся в округе ежегодно с незапамятных времен; оркестранты до того, как подойти к дому Аденауэров, уже несколько раз исполняли свой номер перед другими владениями, и они не имели понятия, что «Баденвейлерский марш» запрещен к исполнению. «Я и сам впервые об этом услышал», — мягко ввернул шпильку неустрашимый полицейский. Что касается 80 марок и сотни бутылок, якобы подаренных оркестрантам Аденауэром, то, по общему мнению, уж от кого, от кого, а от этого скряги такой щедрости нипочем не дождаться; на основании перекрестных допросов доподлинно установили, что выдано было максимум

десять марок мелочью и на каждого пришлось не больше, чем но полстаканчику вина. Хозяин сам поднял бокал в честь национального флага, однако «никаких речей не говорил».

Доклад в таком виде крейслейтера, естественно, не устроил. Следствие было начато заново. Допросы и экспертизы заняли еще два дня, но и на этот раз никакой политической подоплеки во всем деле обнаружено не было. Тем не менее крейслейтер явно руководствовался принципом: если факты меня не устраивают, то тем хуже для фактов. За его подписью в Кёльн ушла «телега» с требованием немедленно выселить опасного провокатора. Администрация Рейнской области не посмела ослушаться партийного чиновника: 10 августа было издано распоряжение, которое предписывало Аденауэру в течение десяти дней покинуть территорию Кёльнского административного района. Ослушание грозило штрафом либо «превентивным содержанием под стражей». Никаких мотивов столь жесткой меры в документе не указывалось.

Предписание было вручено Аденауэру лично утром 14 августа. Доставивший его полицейский из Хоннефа устно добавил, что они получили указание специально проследить за его исполнением. В бумагах Аденауэра осталась короткая записка, представлявшая, очевидно, черновик жалобы на действия властей. Неизвестно, кому он собирался ее направить и направил ли вообще; по содержанию записки видно, что такого удара он никак не ожидал. Он тщательно перечисляет отрицательные последствия для него и для семьи, вытекающие из решения властей: он снял дом на год, а прошло только три месяца, ему придется платить неустойку; его дети посещают школу в Хоннефе, перемена места учебы повредит образовательному процессу; он лечится у дантиста в Бонне, который в курсе сложных анатомических особенностей его челюсти, вызванных дорожно-транспортным происшествием, случившимся в 1917 году, и т.д. Все изложено обстоятельно, слегка нудновато, с точки зрения автора, очевидно, убедительно, но тех, кому эти аргументы предназначались, они вряд ли могли тронуть. Впрочем, повторим, неизвестно, в ком конкретно Аденауэр собирался пробудить сочувствие к своей участи и не стала ли эта записка просто средством излить свое горе на бумаге и тем самым облегчить душу.

А на душе у него было действительно тяжело — пожалуй, тяжелее, чем когда-либо. За день до крайнего срока, 19 августа, Аденауэр покидает Рендорф.

Он снова в монастырских стенах Лааха. Тон его писем меняется: в них перемежаются попытки доказать свой

патриотизм, лояльность властям и аполитичность (все это явно предназначено для глаз перлюстраторов, которые, напомним, уже давно перестали читать его корреспонденцию как утратившую «оперативный интерес») с многословными жалобами на плохое самочувствие: бессонницу, кошмары — и даже с удивительными откровениями типа того, что ему теперь с трудом удается сохранить веру во Всевышнего. Он согласен, что ему неплохо бы провести какое-то время «в санатории (очевидно, таков был совет супруги), но прежде ему надо обрести хотя бы толику душевного покоя.

Восстановлению его душевного равновесия никак не способствовала информация, полученная им от брата Августа. Тот, будучи судебным чиновником, не имел иного выбора, как вступить в НСДАП, и теперь решил использовать этот свой вновь обретенный статус, чтобы добиться аудиенции у «партайгеноссе» Рудольфа Дильса, «правящего президента» Рейнской области, и замолвить словечко за брата. Из этого ничего не вышло. То есть 29 августа 1935 года Дильс принял ходатая, но заявил, что сделать ничего не может. Когда Август пролепетал что-то о соблюдении правовых норм, его собеседник просто рассмеялся ему в лицо.

Это была, видимо, последняя капля: изгнанник оказался на грани нервного срыва. Письма его приобрели характер какого-то бессвязного набора слов, самый часто встречающийся в них оборот — «я не знаю». Он не знает, сколько времени будет длиться изгнание, что ему делать, куда податься…

Из этого состояния его вывела Гусей. 19 сентября они вдвоем приезжают в курортный город Фрейденщтадт, что в Шварцвальде. Три недели в санатории Святой Елизаветы, долгие прогулки, мягкие увещевания супруги принесли свои плоды: Конрад пришел в себя и в какой-то мере вновь обрел веру в будущее и собственные силы.

Все бы хорошо, но Фрейденштадт — летний курорт, а приближалась зима. Где преклонить голову? В Кёльн возврата не было: не говоря уже о возможном аресте, добавилось еще одно — его особняк был конфискован за «неуплату налогов». Рендорф? Но никто не отменял решения о высылке. Мария Лаах? Хервеген дал ему понять, что дальнейшее пребывание там Аденауэра нежелательно: он сам под подозрением, и все это может вызвать осложнения. Они с Гусей занялись лихорадочными поисками пристанища. Наконец было найдено нечто более или менее приемлемое: пансион для католических священников в деревеньке Ункель на том же правобережье Рейна, что и Рендорф.

Летом это местечко вполне можно было бы назвать

привлекательным. Почтенного возраста строения, первый этаж каменный, второй — бревенчатый, арки со старинными гербами каких-то неведомых дворянских родов, лабиринт узких улочек, все утопает в цветах и зелени — картина, услаждающая взор. Когда солнце высоко и дома не попадают в тень от окружающих холмов Семигорья, в них светло и уютно. Однако осенью все по-иному: растительность увядает, с гор спускаются туманы, солнце рано уходит за гребень хребта, деревушка быстро погружается в мрачные холодные сумерки. Как раз в эту печальную пору сюда и прибыл наш изгнанник. При всем при том новое место пребывания имело для него два важных преимущества: во-первых, отсюда недалеко до Рендорфа — всего двенадцать километров вдоль Рейна, во-вторых, этот населенный пункт был за пределами Кёльнского административного района — территории, для него отныне запретной.

Пансион, принадлежавший организации «Паке», был предназначен для летнего отдыха и поправки здоровья тех представителей духовенства, у которых не было родственников или друзей, короче тех, кому в отпуск больше некуда было деться. Еду готовили монахини из соседнего монастыря сестер Сердца Христова — без особых изысков, но, в общем, голодными постояльцы не оставались. Пансион состоял примерно из двадцати — тридцати покоев, часовни с тремя алтарями, большой трапезной, нескольких гостиных и библиотеки с набором обязательного минимума религиозной литературы. Осенью и зимой постояльцев было немного. 24 октября 1935 года, когда сюда прибыл наш герой, дом был почти пуст.

Ему отвели одно из лучших помещений: угловую комнату на втором этаже с огромным окном, из которого открывался чудесный вид на Рейн и на разрезающий в этом месте его течение на два рукава остров Нонненверт. С мебелью все было так же скромно, как и в Лаахе; только стульев было вдвое больше — целых два. Делать было абсолютно нечего — разве только глядеть в окно и читать труды отцов церкви.

Сам он позднее говорил о десяти месяцах, которые провел в Ункеле, как о самом тяжелом и беспросветном периоде своей жизни. Правда, почти каждый день его навещали то Гусей, то Пауль, но, видимо, это не очень скрашивало существование отшельника. Осень 1935 года выдалась чрезвычайно дождливой. Двенадцать километров туда и обратно на велосипеде по скользкой и грязной дороге — это было нечто; глава семейства наверняка волновался, как бы чего не случилось но дороге и как бы визитерам успеть обратно до темноты.

Он ходил пешком по берегу Рейна. Автотранспорт он не

любил; сам так никогда и не выучился водить машину. Да и куда было ездить? Много лет спустя он рассказывал своему старому коллеге но кёльнской администрации Йозефу Гис-сену об обуревавших его тогда мыслях: «Шестьдесят лет — и ни работы, ни цели в жизни, сплошной мрак». Однажды Макс застал своего обычно холодно-сдержанного отца плачущим и не скрывающим своих слез.

Некоторые просветы все-таки случались. Ему было отказано в посещении заболевшей тяжелой формой ангины Лотты, но затем, как бы в утешение, он получил разрешение провести три дня с семьей на Рождество. Сразу после Нового года, 5 января 1936 года, их знакомый, некто Пауль Франкен, кстати сказать, руководитель всегерманского Объединения союзов студентов-католиков, устроил им автомобильную прогулку по долине Мозеля. Они остановились в городке Кохем и там отпраздновали шестидесятилетний юбилей Конрада. К вечеру навестили Хервегена: Мария Лаах был рядом.

В начале февраля Аденауэр предпринял поездку в Берлин, где задержался почти на месяц; остановился он там, как и раньше, в приюте госпиталя Святого Франциска. Как и раньше, он решил добиваться признания своих заслуг и реабилитации, но на этот раз не как политика и бургомистра, а как… корифея технического прогресса. Мы уже упоминали о его прежних увлечениях в этой сфере. В свое время он занимался такими вещами, как «Устранение пыли, создаваемой движением автомобилей», «Реактивные паровые машины», «Усовершенствованная конструкция цилиндров, применяемых для транспортных средств, приводимых в движение силой пара», и т.п. После того, как карьера в городском управлении Кёльна направила его энергию и интеллект в другое русло, изобретательский зуд у него прошел, но теперь возродился вновь и с новой силой. Причина была очевидна — безделье, однако сам Аденауэр отнюдь не считал свои новые занятия простым развлечением от скуки. Напротив, он искренне верил в свой творческий талант и считал, что недалек час, когда он сделает на нем состояние.

Поначалу он вновь занялся было «Реактивными паровыми машинами», но быстро одумался и перешел на разработку «Устройства для предотвращения загрязнения воздуха продуктами сгорания, сажей и т.п., производимыми сжиганием топлива в каминах». Идея заключалась в том, что дымоход должен был не выводиться на крышу, а подсоединяться к системе канализации. Кроме того, он изобрел специальную электрическую щетку-грабли для уничтожения гусениц и слизней на листьях и побегах растений. На это приспособление он даже подал заявку

на патент, начал подготовку полевых испытаний и страшно обижался, когда кто-либо выражал сомнение в его практической пользе.

Собственно из-за этой щетки-грабель он и приехал в Берлин. Роль жертвы, которой пришлось отбиваться от непризнанного гения, выпала на долю Фрица Шпенрата, старого знакомого, крупного менеджера в компании АЭГ. Тот поспешно сплавил все материалы на заключение экспертам, которые вынесли единодушный приговор: абсолютный бред. Берлинское турне закончилось, таким образом, полным фиаско. По настоянию сына Конрада (он к этому времени стал настоящим берлинцем) неудачливый изобретатель, который вновь стал жаловаться на недомогание, записался на прием к какому-то светилу медицины. Тот посоветовал ему лечить нервы.

Получив окончательный отрицательный ответ от АЭГ, Аденауэр засобирался обратно в Ункель, о чем 1 марта известил письмом супругу. В том же письме он сообщал, что но пути заедет в Бад Эмс к Паулю Франкену и попросил Гусей встретить его на промежуточной станции в Нидерланштейне и оттуда проводить до Ункеля. Мы еще вернемся к вопросу о характере его связей с молодым и амбициозным деятелем молодежного католического движения, а пока остановимся на том событии, которое в начале марта 1936 года потрясло всю мировую общественность и, между прочим, оказало существенное влияние на дальнейшую судьбу нашего героя.

Речь идет об оккупации немецкими войсками Рейнской демилитаризованной зоны, осуществленной в явное нарушение не только Версальского договора, но и Локарнских соглашений. В интервью корреспонденту американского агентства Си-би-эс Шорру, данном 21 августа 1962 года, Аденауэр утверждал, что его реакция на это событие была однозначной: новая война отныне неизбежна, поскольку Гитлер тогда пришел к выводу, что демонстрацией силы он может добиться всего, чего хочет. Трудно сказать, насколько это собственное описание Аденауэром его тогдашних мыслей соответствует действительности; задним числом все умны.

Во всяком случае, в краткосрочной перспективе первый акт гитлеровской агрессии обернулся для изгнанника неожиданным благодеянием впавших в эйфорию стражей режима: запрет на пребывание в Кёльнском административном районе был снят, Аденауэр мог отныне переехать обратно в Рендорф, воссоединиться с женой и детьми. 11 апреля, на Пасху, он посылает поздравления Хервегену и его пастве и, между прочим, замечает, что впервые за много лет чувствует себя «воистину

счастливым».

Верно, слежка за ним продолжается: когда они втроем — он, жена и Пауль — в середине мая поехали во Фрейден-штадт (им там явно понравилось), за ними следовал «хвост». Тщательно регистрировались все их отлучки из Рендорфа. Тем не менее старый политик ожил, тем более что на него стали выходить те, кто поставил своей целью организацию политической оппозиции режиму. Одним из них как раз и был упоминавшийся выше Пауль Франкен. Неслучайной была их первая встреча, закончившаяся совместной автомобильной прогулкой, и, уж конечно, в Бад Эмс Аденауэр поехал не просто потому, что соскучился по обществу интересного собеседника. Франкен свел Аденауэра с бывшим лидером католических профсоюзов Западной Германии Якобом Кайзером.

В сентябре 1936 года в доме Аденауэра состоялась конспиративная встреча, на которой, помимо хозяина дома, присутствовали Франкен, Кайзер и еще один бывший политик Центра, Генрих Кернер. Чтобы не привлекать внимания эсэсовцев, собирались и расходились порознь. Пока Гусей занимала разговорами Франкена и Кернера, Конрад с Кайзером уединились в кабинете для доверительной беседы. Она длилась не менее трех часов. Кайзер сообщил потенциальному новому члену организации о том, что было достигнуто. Он особо подчеркнул, что установил контакт с двумя представителями высшего генералитета — Куртом фон Хаммерштейн-Эквардом и Вернером фон Фричем, которые встревожены авантюризмом Гитлера, проявившимся, в частности, в том, что он решил вмешаться в гражданскую войну в Испании. Кайзер высказал мнение, что без поддержки командования вермахта Гитлера не свергнуть и поэтому нужно усиленно добиваться такой поддержки.

Аденауэр знал Кайзера еще с двадцатых годов и не был о нем особо высокого мнения как о политике. Что касается генералов, то полутора суток, которые он провел в компании нескольких представителей этой касты в импровизированной эсэсовской тюрьме в Потсдаме, было достаточно, чтобы составить далеко не лучшее впечатление об их моральных и интеллектуальных качествах. «Вы когда-нибудь встречали генерала с интеллигентной физиономией?» — задал он Кайзеру риторический вопрос. Это был, собственно, ответ на планы Кайзера и конец диалога.

Трое посетителей покинули Рендорф с явным чувством разочарования. «На него рассчитывать нечего», — суммировал Кайзер общее мнение о позиции Аденауэра. Действительно, со стороны последнего не обнаружилось никакого желания связать

свою судьбу и судьбу своих близких с группой лиц, которым он не особенно доверял и за которыми никто не стоял.

Аденауэр явно к тому времени пришел к заключению, что для того, чтобы свергнуть Гитлера, сил одного внутригерманского сопротивления не хватит. Отсюда, в свою очередь, для него следовали два вывода: первый, и самый главный — не предпринимать ничего, что могло бы поставить под угрозу его личную безопасность и безопасность его семьи, и второй — единственная надежда на ликвидацию нацистского режима — во вмешательстве извне; если это будет означать войну, пусть так.

Для себя же он твердо решил: больше никаких контактов с теми, кто считает себя оппозиционерами. Исключен был для него и выбор в пользу эмиграции: старшим детям это разрушило бы карьеру, младшие лишились бы привычного окружения и родины. Оставалось залечь на дно и ждать. И заняться практическими делами, в частности, довести до конца свою тяжбу с новыми властями Кёльна, обустроить как следует свое прибежище в Рендорфе.

Что касается первой проблемы, то, пока пост бургомистра сохранял Ризен, перспектив на ее решение, естественно, не было никаких! Однако в начале 1937 года Ризен ушел, и его место занял некто Карл-Георг Шмидт, тоже, разумеется, нацист, но не такой упертый. Конрад обратился к брату Августу: пусть попытается поговорить о нем с новым бургомистром. Беседа состоялась, и результаты ее были ободряющими. Шмидт «в частном порядке» признал, что с бывшим бургомистром поступили несправедливо, добавив, правда: «Вы, конечно, понимаете, что я не могу высказать это официально».

Начались закулисные переговоры. Они прервались на время траура по скончавшемуся в марте 1937 года в возрасте шестидесяти трех лет брату Гансу. По случаю похорон Аденауэр впервые за последние четыре года появился в родном городе. Это событие было даже отмечено в дипломатических кругах. В мае переговоры возобновились вначале на уровне адвокатов сторон, а затем и путем прямого диалога между Шмидтом и Аденауэром на «нейтральной» территории, в качестве которой был избран Бонн. Наконец 28 сентября мировое соглашение было достигнуто. Аденауэр и Шмидт отметили это событие бокалом немецкого шампанского.

Условия были для Аденауэра вполне приличными: он получал пенсию в размере десяти тысяч марок и сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть марок наличными в качестве компенсации за невыплату жалованья в период, пока он еще формально оставался бургомистром, и за недоплату по

пенсии. Особняк по Макс-Брухштрассе, правда, переходил в собственность городской казны в погашение задолженности по ипотеке и по уплате налогов за участок. Потерю особняка Аденауэр, конечно, не мог спокойно пережить и считал, что его ограбили. В общем, это было далеко не так.

Отныне в материальном положении семья Аденауэров могла считаться вполне обеспеченной. Еще до окончания тяжбы был приобретен приличный участок земли в том же Рендорфе, по адресу Ценнигсвег, 8а. Земля была дешевая — пятьдесят пфеннигов за квадратный метр. Теперь, получив солидный куш, он мог заняться постройкой нового дома. Он собирался дожить в нем оставшиеся ему, как он говорил, пару-другую лет. Он действительно дожил там до конца своих дней, только не пару-другую и даже не десяток, а добрых тридцать лет — треть жизни, причем самую активную. Заметим, кстати, что те «займы», которые он получал от Дании Хейнемана и благодаря которым его семья только и могла существовать долгих четыре года, так и остались, видимо, непогашенными, во всяком случае, неизвестно, чтобы наш герой когда-либо вспоминал об этих своих долгах.

ГЛАВА 4.
ПОДАЛЬШЕ ОТ ВСЯКИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

«Я вам советую побыстрее уезжать отсюда, причем лучше прямо за границу. И лучше пока не возвращаться»[23]

Перед нами — любительское фото семьи Аденауэров, сделанное, по-видимому, в Рендорфе летом 1936 года. На ней — сам глава семейства, Гусей и четверо детей: Конрад, Рия, Пауль и Либет. Они стоят на поляне на фоне деревьев. Художественной ценности снимок, конечно, не имеет, но он передает кое-что из внутреннего мира семьи и каждого отдельного из ее членов.

Конрад-старший стоит несколько в стороне от общей группы, немного ближе к объективу. Руки скрещены на груди, глаза слегка прищурены, короткая стрижка, седина — плод возраста и переживаний, на губах — легкая улыбка, вернее, некая имитация улыбки, костюм и галстук черного цвета, как по случаю траура. Он как будто идет навстречу камере и готовится отразить неожиданное нападение, во взгляде — смесь подозрительности и высокомерия. Словом, образ человека, явно не удовлетворенного жизнью и даже ожесточившегося.

Детей при подобных съемках обычно ставят перед взрослыми, в первый ряд, но в данном случае первый ряд — это один глава семьи, все остальные — сзади. Тринадцатилетний Пауль выглядывает из-за спины отца; он в двубортном пиджачке, коротких штанишках и белых гетрах — мода того времени и обязательная форма одежды для членов «гитлер-югенда». Паулю удалось остаться в стороне от этой организации, но по его внешнему виду этого не скажешь; он как-то натужно улыбается, обратив взгляд на мать. Гусей — рядом, на ней дешевенькое платьице, она вся в кудряшках перманента — тоже мода того времени, в волосах заметны седые пряди, она весело смеется чему-то сказанному стоящей рядом Рией. За старшей дочерью — старший сын Конрад, очень похожий на отца фигурой и костюмом, на голове заметны пролысины, одна рука засунута за борт пиджака, другая — в карман брюк, он пытается придать лицу выражение довольства и беззаботности, но это ему плохо удается.

Ряд замыкает Либет, которая показывает всем язык.

Самый яркий персонаж на снимке — это, безусловно, Рия. Высокая, с тонкими чертами лица — в мать, ее жест и поза легки и непринужденны. Она — явный центр всеобщего внимания.

Только замыкающие на флангах заняты сами собой: старший Конрад ищет возможность отвратить воображаемый удар, а его младшая дочь изо всех сил старается привлечь к себе внимание — типичное поведение девочки ее возраста.

У Рии — все основания чувствовать себя, что называется, на коне. Она привлекательна и знает это. Она получила блестящее образование. И наконец, у нее есть жених. Его зовут Вальтер Рейнерс, он родом из Менхенгладбаха, по профессии — инженер, но самое главное — он владелец и управляющий процветающего семейного предприятия «Шлафхорст КГ», производящего текстильное оборудование.

Аденауэру избранник дочери явно симпатичен: ему всегда нравились преуспевающие бизнесмены. Был, возможно, и тайный расчет на то, что зять со своим инженерным образованием поможет ему в его изобретательской деятельности. Последовала помолвка, а на следующий год, 27 августа 1937 года, состоялся обряд официального бракосочетания, церковная церемония последовала несколькими днями спустя в Мария Лаах. В письме к Хейнеману от 6 августа Аденауэр отмечает, что дочь «сделала хороший выбор», но тут же признается, что ему «тяжело отпускать» ее. Звучит это несколько странно: Рия давно уже не жила вместе с отцом и мачехой. Очевидно, он имел в виду то, что, пока Рия была не замужем, отец был для нее самым близким человеком, а она для него — живым напоминанием об Эмме; теперь эта связь с прошлым окончательно разрывалась.

Во время регистрации брака разыгралась примечательная сцена. Чиновник-регистратор, как это тогда было принято, торжественно вручил новобрачной экземпляр гитлеровской «Майн кампф». Она передала книгу отцу. Даже двадцать лет спустя Аденауэр живо вспоминает этот момент и чувства, которые он тогда испытывал, — ему хотелось швырнуть прочь эту библию человеконенавистничества. Этого он, разумеется, не сделал, и никто не заметил его внутренних переживаний. Демонстрации были ни к чему.

Более того, если говорить о демонстративных актах, то, поскольку наш герой в то время совершал таковые, они могли лишь заслужить ему одобрительные кивки со стороны властей. В 1936 году его фамилия появляется в списках местной организации «Национал-социалистского народного благотворительного союза» (НСФ). Нацисты создали НСФ в 1933 году, включив в ее состав ранее существовавшие добровольные общества типа «Каритас» и Красный Крест. Разумеется, эта организация была далека от политики, но все же ее устав отражал некоторые основные посылки нацистской идеологии: евреи не

могли быть ни ее членами, ни объектами благотворительной деятельности. Еще один характерный штрих к характеристике нашего героя: с 1937 года он стал употреблять в своих письмах концовку «С истинно немецким приветом» — это соответствовало официально рекомендуемому стилю. Это все были уступки, которые он считал допустимыми, меньшим злом в сравнении с прямым вступлением в ряды НСДАП — на этот шаг он не мог бы себя заставить пойти.

Свадьба Рии пришлась на самый пик строительной эпопеи, которая развертывалась на участке по Ценнигсвег, 8а, в Рендорфе. Началась она с того, что свояк Аденауэра, брат Гусей, Эрнст, совладелец архитектурной фирмы в Ганновере, получил в начале 1937 года срочный заказ — подготовить рабочий проект со всеми чертежами и спецификациями. 12 февраля искомые материалы были готовы, последовало их подробное обсуждение, по требованию заказчика внесены соответствующие изменения, на что ушел еще месяц. 17 марта проектная документация была представлена на утверждение в контору городского архитектора Хоннефа. 10 апреля она вернулась со штампом «Одобрено строительной полицией» (в другой стране данное ведомство называлось бы скорее инспекцией, но в тогдашней Германии, куда ни ткнись, везде была полиция).

Еще до получения официального разрешения на строительство Аденауэр начал переговоры с потенциальными контракторами. В конце концов он остановился на строительной фирме «Рейнише баугезельшафт Гмбх фюр хох-унд тиф-бау», что примерно можно перевести, как «ООО Рейнское строительное общество по закладке фундаментов и возведению зданий». Контракт был подписан 1 апреля. Смета составлена на общую сумму в 28 тысяч 800 марок, оплата предусматривалась в несколько приемов, по мере представления счетов за материалы и выполненный объем работ, сроком окончания строительства было названо 1 октября 1937 года; архитектурный надзор должен был осуществлять доктор Фриц Вольфгартен, главным прорабом назначался профессор (!) Йозеф Пирлет.

С самого начала изнывавший от безделья заказчик принялся во все вмешиваться и мешать строителям. Довольно быстро выяснилось, что при проектировании не было учтено то обстоятельство, что участок расположен на крутом склоне и существует опасность оползней. Пирлет предложил окольцевать строительную площадку капитальной стеной, которая бы сдерживала возможные подвижки грунта. Аденауэр, естественно, возражал: дорого. С большим трудом Пирлету удалось настоять на своем; как оказалось, это спасло всю конструкцию от

обрушения, когда в разгар работ почва в нескольких местах угрожающе просела.

С другой стороны, заказчик сам способствовал удорожанию строительства, непрерывно внося изменения в проект. То он захотел, чтобы терраса была из железобетона. То — чтобы при доме был гараж; заметим: при отсутствии машины и даже планов ее покупки. То — чтобы цокольный этаж был переоборудован в подвал, который можно было бы использовать и для хранения овощей и фруктов, и как бомбоубежище — с соответствующим усилением перекрытий и стен. Судя по датам утверждения в строительной инспекции соответствующих запросов, все они приходились уже на октябрь, когда дом, собственно, должен был быть уже готов. Так что речь шла не только об удорожании строительства, но и об удлинении его сроков, притом отнюдь не но вине строителей.

И что уж вообще способно было довести архитектора и прораба до бешенства — Аденауэр буквально с лупой в руках проверял все счета. Количество закупленных материалов, цены и расценки, даты заказа и поставки — он вникал во все, все сверял и все оспаривал. Однажды он устроил целый скандал по поводу того, что строители выписали слишком много, как ему показалось, гвоздей. Те счета, которые его чем-либо не устраивали, он просто отказывался проплачивать. Одному штукатуру пришлось даже пойти на то, чтобы предложить банку свои неоплаченные счета в обмен на наличные, естественно, с большой потерей для себя; иначе он просто не мог продолжить работу да и жить ему на что-то нужно было. Больше всех пострадал, однако, архитектор Вольфгартен. Даже двадцать лет спустя в нем все еще жива была обида на клиента, который недоплатил ему кругленькую сумму.

Аденауэровские усовершенствования и придирки привели к тому, что первоначальная смета оказалась намного превышенной (общие затраты составили 95 тысяч марок), а кроме того, стройка и к концу года оставалась далека от завершения. Впрочем, уже 6 декабря, как это следует из полицейских отчетов, семья Аденауэров въехала в новый дом. Это было странное новоселье: везде еще сновали рабочие, краска и штукатурка не просохли, пол в мусоре — возможно, расчет был на то, что ради того, чтобы избавиться от вездесущего ока хозяина, строители ускорят свой темп, но они и без того спешили: привередливый заказчик-надсмотрщик им изрядно надоел.

Как бы то ни было, семья постепенно стала осваиваться на новом месте. Каждый из четырех отпрысков получил по собственной комнате, выделены были также комнаты для трех

старших — даже в их отсутствие их никто не занимал. Прибыли картины, среди них — «Мадонна с младенцем» и портрет английского короля Якова I голландской школы, а также та, которую глава семьи гордо называл «мой Рембрандт»; кто на самом деле автор этой картины, было далеко не очевидно, а главное, сам Аденауэр не имел, собственно, никакого отношения к ее приобретению: вся коллекция была частью приданого Эммы.

Новый дом был первым, о котором его хозяин мог с полным основанием сказать, что это его полная, священная и неприкосновенная собственность. Раньше он везде и всегда чувствовал себя, скорее, на положении жильца. Единственным исключением можно было бы считать период, когда он владел особняком на Макс-Брухштрассе, но и его покупка, и содержание были напрямую связаны с официальным статусом Аденауэра как вначале второго, а затем и первого лица в городе; без связанных с этим статусом привилегий он просто не мог бы себе этого позволить; потеряв пост бургомистра, он в известной степени закономерно потерял и дом. Теперь было все по-иному: и участок, и постройка — все было оплачено наличными, без каких-либо займов или кредитов, никто не мог упрекнуть собственника в использовании служебного положения; это был в полном смысле слова его — и больше ничей — дом.

Планировка и интерьер нового жилища многое могли сказать о характере его владельца. Все было очень, скажем так, по-спартански. Во всем доме имелась только одна более или менее большая комната — гостиная на первом этаже, остальные скорее заслуживали названия комнатушек. Это относилось и к собственному кабинету хозяина. Прихожая узкая — едва можно повернуться, входная дверь вполне подошла бы для какого-нибудь сарая. Чувствуется, что об удобстве для гостей не очень думали: дорожка к дому с улицы очень крутая, плиты ступеней предательски пошатывались.

Мебель более чем скромная и вдобавок не слишком удобная. В то время в округе возникло немало новых особняков — для Германии это был период относительного процветания; обстановка дома по Ценнигсвег, 8а, не выдерживала с ними никакого сравнения. Единственной уступкой требованиям дизайна и эстетики были драпировки-гардины на стенах, комплекс из трех примыкающих друг к другу помещений, которые предназначались для музицирования, а также множество деревянных фигурок святых по углам. В прихожей, в частности, гостей встречал — довольно неодобрительным взором, надо сказать, — святой Стурмий, канонизированный за свою миссионерскую деятельность в южной Германии в VIII веке.

В общем, дом производил такое впечатление, что хозяева не очень-то заботились о его внешнем виде и внутреннем устройстве. Это никак не относилось к прилегающему участку. Чувствовалось, что им занимались, и с любовью. Ряды тщательно выровненных террас точно следовали за изгибами рельефа, ручейки направлялись так, чтобы получались маленькие водопадики и фонтанчики, что придавало пейзажу нечто средиземноморское; планировка участка строго соответствовала требованиям агрономической науки: розарий на припеке, рододендроны — в тени и т.д. При разбивке плантации Аденауэр пользовался советами бывшего главного кёльнского садовника Йозефа Гиссена, однако в остальном это было его детище, к которому он никого больше не подпускал.

Самым привлекательным в новом доме было, пожалуй, его расположение. Позади — вулканические откосы Семигорья с венчающей весь горный массив могучей «Скалой дракона» — ее хорошо видно с террасы. Прямо перед домом склон круто обрывается к Рейну, вдоль которого тянется цепочка строений и возвышается церквушка, по архитектуре ничем не примечательная, но внешне довольно изящная, — это собственно Рендорф. Ныне пространство между деревушкой и домом Аденауэров все застроено, новые дома и выросшие деревья закрывают вид на Рейн и хребет Эйфель по ту сторону, но тогда он был наверняка великолепен.

Постоянными обитателями дома были только двое супругов и их младшие дети, старшие к тому времени уже жили своей жизнью. Конрад делал успешную карьеру в АЭГ, часто выезжал за границу; к примеру, в ноябре того же 1937 года посетил Париж, инспектируя местный филиал компании. Макс провел несколько месяцев в США по приглашению в рамках университетских обменов; ездил туда «по студенческой визе», как Аденауэр об этом упомянул — с явной гордостью за сына — в очередном своем письме Хейнеману, датированном 25 ноября 1937 года. Потом для него начались поиски работы. О Рии уже говорилось: ее замужество оказалось вполне удачным.

В доме постоянно жила одна служанка, кроме того, Гусей время от времени но мере надобности приглашала на поденную работу женщин из Рендорфа; недостатка в желающих заработать несколько марок не было, даже учитывая нелегкий путь из деревни вверх но крутому склону. К домашней работе она привлекала, естественно, и дочерей.

Ритм в доме задавал хозяин. Он вставал рано и прежде всего обходил свой сад. Завтракали и ужинали на террасе, разумеется, по-прежнему в раз и навсегда заведенное время. Обедали уже в

более формальной обстановке, в столовой.

Перед ужином глава семьи работал над своими изобретениями. Однажды какой-то гость заглянул к ним без предупреждения, и ему пришлось ждать аудиенции, поскольку, как ему объяснили, «между пятью и шестью господин обер-бургомистр изобретает».

Превращение Аденауэра в почтенного домовладельца и его явная удовлетворенность своим новым статусом, по-видимому, были должным образом оценены власть предержащими: облако подозрений, которое витало вокруг него начиная с 1933 года, стало рассеиваться. 13 января 1938 года до него дошло известие, что принято решение вновь вывесить его портрет в галерее Кёльнской ратуши. «Какой символический акт! Просто нет слов!» — пишет он, не скрывая радости, своему новому приятелю, историку-искусствоведу Буслею. Правда, визитеров из Кёльна по-прежнему немного — только Пфердменгесы и Шмиттманы. Однако появились новые знакомые: уже упомянутый Буслей с супругой, дантист из Бонна Йохан Фольмар — с ним и его супругой чета Аденауэров вместе отдыхали летом 1938 года. Все это были католические семьи, люди серьезные, не какие-нибудь болтуны.

И еще изменение к лучшему: Аденауэр стал «выездным». В январе 1938 года он с супругой съездил в Брюссель к Хейнеману. В июле того же года они впервые за много лет вновь посетили Шандолен; поездку для них и супругов Фольмар устроил старый знакомый Конрада, швейцарский консул в Кёльне Вейс. Они не ограничились пребыванием в заброшенной горной деревушке, а устроили для себя настоящий тур, посетив Базель, Монтре и, наконец, Лозанну, где они снова встретились с Хейнеманом. Эти рандеву с «добрым другом» были наверняка не случайными: можно предположить, что именно он и субсидировал заграничные путешествия Аденауэров, поскольку на обмен валюты тогда в Германии существовали строгие ограничения.

В общем очередной, 1938 год оказывается для Аденауэра и его семьи вполне благополучным. «В Швейцарии было великолепно», — пишет он Хервегену 19 августа. Сад тоже его утешает. Хорошее известие приходит от Рии: она ждет ребенка. Словом, обычные радости пенсионеров.

Однако в большом мире назревают серьезные события. В марте 1938 года происходит аншлюсе Австрии. Согласно дневниковой записи Буслея, наш герой выражает «глубокое удовлетворение» этим событием (позже он, разумеется, опишет свою реакцию в прямо противоположном виде). В сентябре Гитлер принимает в Бад-Годесберге британского премьер-министра

Невилла Чемберлена, который соглашается на отторжение от Чехословакии Судетской области и передачу ее Германии. Много лет спустя в одном из интервью, данном в начале 1961 года, он скажет, что «был потрясен продемонстрированным Чемберленом непониманием сущности Гитлера и его партии». В то время, однако, его собственные представления были, мягко говоря, не столь однозначны. Тот же Буслей занес в свой дневник такие высказывания Аденауэра по поводу позорного мюнхенского сговора между Гитлером, Муссолини, Чемберленом и французским премьером Даладье, сделанные им во время совместного чаепития 9 ноября 1938 года: «Колоссальный успех Гитлера — в истории Германии не было ничего подобного… Версаль окончательно рухнул… Полное поражение Парижа и Лондона».

Конечно, для политиков это обычное дело — приписывать себе задним числом мудрость и проницательность, которых на самом деле просто не было в природе. Свидетельствам современников следует доверять больше. В случае с Аденауэром эти свидетельства являют нам сложную картину. С одной стороны, нет оснований считать, что Аденауэр изменил свое мнение об основополагающих принципах нацистской идеологии и практики. Его комментарии язвительно-иронического свойства по поводу, положим, Берлинской олимпиады и Нюрнбергского съезда нацистской партии в 1936 году — достаточное тому доказательство. Вместе с тем трудно отрицать, что его буквально восхищали «достижения» Гитлера в сфере внешней политики. Двадцать пять лет спустя он вдруг вспомнил, что в январе 1939 года высказал в разговоре с генералом Гансом-Гюнтером фон Клюге нечто в том духе, что «это чистое безумие — полагать, что Германия может завоевать весь мир». Но сам Клюге был к тому времени давно мертв и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ни сам факт своего разговора с Аденауэром, ни упомянутых слов последнего. Сомнение в аутентичности источника из сферы «устной истории» в данном случае более чем оправданно.

У нас нет никаких данных, которые могли дать ответ на вопрос о том, какие эмоции в том же 1938 году вызывала у Аденауэра судьба немецких евреев. Он не мог не знать о том, что происходит. Закон «Об имперском гражданстве» от 15 сентября 1935 года, который, по существу, ставил «неарийцев» вне каких-либо правовых рамок, не был секретным: он был опубликован для всеобщего сведения и руководства. То же самое можно сказать по поводу закона «О защите немецкой крови и немецкой чести», который запрещал браки между немцами и евреями и объявлял преступлением внебрачные связи между ними, — он был

опубликован в тот же день, что и первый. В августе 1936 года Гитлер в особом меморандуме изложил принцип, согласно которому за любой ущерб, нанесенный германской экономике действиями лиц еврейской национальности, ответственность должна нести вся еврейская община Германии, принцип, который лег в основу вскоре принятого распоряжения о тотальной конфискации банковских вкладов евреев в иностранной валюте.

Конечно, можно предположить, что у Аденауэра в 1935–1936 годах хватало своих проблем и он мог просто не обратить внимания на эти юридические акты, которые его лично никак не касались. В применении к 1938 году этот довод уже не работает. Во-первых, личные проблемы для нашего героя к этому времени во многом утратили свою остроту, а во-вторых, самое главное — с июня этого года начался процесс тотальной «ариизации». Врачам-евреям было разослано уведомление, что к октябрю они должны прекратить свою практику. В сентябре аналогичное уведомление получили евреи-юристы. В октябре Геринг громогласно заявил, что «евреи должны быть полностью удалены из народного хозяйства». Наконец, 9 ноября произошел массовый общегерманский погром, получивший название «Хрустальной ночи», после чего на еврейскую общину была наложена контрибуция в один миллиард марок за «беспорядки», вызванные поджогами их же синагог и грабежом их же лавок. Два дня спустя был опубликован указ «Об устранении евреев из экономической жизни».

Уж на эти факты Аденауэр просто не мог не обратить внимания. Тем более что одна из подожженных синагог находилась в его родном Кёльне, руководство кёльнского банковского дома «Соломон Оппенгейм» взял на себя его друг Роберт Пфердменгес, соответственно изменив и название банка, а в Рендорфе закрылась лавка мясника-еврея, в которой семья покупала продукты. Что он об этом тогда думал, какова была его реакция на эти вопиющие акты произвола, остается загадкой. Разумеется, он не был антисемитом — достаточно вспомнить его связи с кёльнскими банкирами-евреями и отношения с Хейнеманом. После войны, когда стала известна вся правда о холокосте, Аденауэр произнес немало прочувствованных слов об ужасной судьбе соотечественников-евреев. Однако нет ни одного даже косвенного свидетельства, которое говорило бы о том, что он осуждал эти преступления тогда, когда они творились, хотя бы в ходе каких-то личных бесед с глазу на глаз. Возможно, как полагают некоторые исследователи, он, особенно после Мюнхена, окончательно уверился в том, что нацистскую систему террора ничем не остановить, что надо просто выждать, любой ценой

выжить, чтобы потом, после ее неизбежного краха, начать процесс очищения и наказания виновных. Это соображение в какой-то мере объясняет его молчание. Можно предположить и другие мотивы; в конце концов католические иерархи после заключения конкордата приняли гитлеровский режим как священную и законную власть, а официальное отношение Ватикана к евреям определялось догмой о том, что они виновны в распятии Христа. Насколько эта, по сути, антисемитская позиция католической церкви влияла на глубоко верующего католика Аденауэра — это большой и пока не разрешенный вопрос.

В начале 1939-го поползли слухи о войне. В марте Германия потребовала от Польши возвращения Данцига. В ответ Чемберлен предоставил Польше англо-французскую гарантию от неспровоцированного нападения. 3 апреля Гитлер издал директиву о подготовке вооруженных сил к войне на уничтожение против Польши. 28 апреля он выступил с речью, где высмеял инициативу президента США Рузвельта, призвавшего Германию гарантировать целостность и неприкосновенность границ окружающих ее государств.

Затем в процессе неуклонно нараставшей напряженности наступила некоторая пауза. 11 августа Гитлер с похвальной откровенностью изложил свой план действий Верховному комиссару Лиги Наций в Данциге, Карлу Буркхарту: «…Все, что я делаю, направлено против России. Но если Запад настолько глуп и слеп, чтобы не понять этого, я буду вынужден договориться с русскими, разгромить Запад, а потом объединенными силами повернуться против Советского Союза». Все произошло как раз по этому сценарию. 23 августа министры иностранных дел СССР и Германии, Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп, подписали пакт о ненападении. На следующий день Гитлер заявил своим генералам: «Теперь Польша попала в ту западню, которую я для нее готовил… Боюсь только, чтобы в последний момент какая-нибудь свинья не сунулась с предложением о посредничестве». 1 сентября 1939 года немецкая армия вторглась на территорию Польши. Началась Вторая мировая война.

Что в это время делал наш герой? Еще в начале июля он с супругой, сыном Конрадом и молодой четой Рейнерс — Рией и Вальтером — едет на отдых в Швейцарию. 15 августа он пишет Хейнеману из Шандолена, что они планируют остаться там до 21-го, а потом отправиться в Глион, оттуда, возможно, в Женеву — и домой. Сроки их пребывания в Швейцарии, продолжает он, — это «вопрос франков», мягко намекая тем самым адресату, что тот мог бы прислать ему перевод, чтобы «немного продлить» его путешествие. Тот, кстати, так и сделал.

Однако планы оказываются нарушенными. Неделю с 1 по 8 сентября 1939 года Конрад и Гусей вынуждены провести в деревушке Шинцнах неподалеку от Базеля: в Швейцарии всеобщая мобилизация, железные дороги забиты воинскими эшелонами, все пассажирские поезда отменены.

Лишь 8 сентября они пересекают границу у Брегенца, проводят ночь в Линдау, на берегу Констанцского озера, откуда посылают Буслеям почтовую открытку с восторженным описанием куполов местной церкви и выражением надежды на скорую встречу. Никакой политики.

Однако в появившейся в 1955 году «авторизованной биографии» Аденауэра его поездка в Швейцарию летом 1939 года выглядит как хорошо рассчитанная операция, продиктованная заботой о собственной безопасности, и не только собственной. Согласно представленной там версии, где-то в начале лета он пригласил к себе своего старого знакомого Шмиттмана и в ходе разговора высказал мысль, что скоро начнется война, а с ней — аресты всех тех, кто в глазах нацистов мог считаться «подозрительными элементами». Оба они — и Аденауэр, и Шмиттман — наверняка в этом списке. Отсюда вывод: надо на время исчезнуть, переждать начало войны за границей, а потом — потом, когда все уляжется, — можно и вернуться. К сожалению, Шмиттманы не вняли этим рекомендациям; после отдыха в Австрии они вернулись в Кёльн, и глава семьи действительно был сразу же, 1 сентября, арестован, отправлен в концлагерь Заксенхаузен, откуда вскоре пришло сообщение, что 13 сентября задержанный скончался от сердечной недостаточности. Сам же Аденауэр, вовремя укрывшись в Швейцарии, сумел избежать этой участи; позднее он узнал, что его фамилия действительно была в списке подлежащих немедленному аресту, но впоследствии ее вычеркнули. Словом, налицо лишнее доказательство мудрости нашего героя и опасности, которой он подвергался со стороны нацистского режима и которой буквально чудом сумел избежать.

Версия эта вряд ли может считаться убедительной. Все говорит за то, что он планировал вернуться в Рендорф к 1 сентября и застрял в Швейцарии на неделю исключительно из-за тамошних мобилизационных мероприятий. Помимо всего прочего, если бы он был в списке подлежащих аресту, неделя не играла никакой роли: его вполне могли бы арестовать сразу по прибытии на место постоянного жительства.

Истина заключается, видимо, в том, что Аденауэр, конечно, мог предполагать летом 1939 года, что война не за горами, он мог далее предполагать, что Шмиттман как-то связан с кругами Сопротивления и поэтому вполне мог посоветовать ему уехать и

не возвращаться. С другой стороны, уехать самому и потом вернуться — зная, что его фамилия в «проскрипционном списке гестапо», — это было крайне нелогичное решение. Разумнее было бы остаться в Швейцарии. Тем не менее он вернулся, и ничего с ним не случилось. Единственное объяснение следует, видимо, искать в том простом предположении, что фамилия Аденауэра вопреки его позднейшим откровениям никогда не фигурировала в «проскрипционном списке гестапо». Его тактика — не высовываться, держаться от всего подальше — оправдала себя. В глазах нацистов он перестал считаться «подозрительным элементом».

ГЛАВА 5.
ДАЛЕКАЯ ВОЙНА

«Я понял, что чем становишься старше, тем загадочнее для тебя люди и весь окружающий мир»[24]

В маленькой деревушке Рендорф первые месяцы мировой войны прошли относительно спокойно. Правда, время от времени случались перебои с продуктами, особенно в холодную зиму 1939–1940 годов, стал хуже работать транспорт — вот, пожалуй, и все. В семье Аденауэров возникали время от времени свои проблемы, с войной прямо не связанные. Пауль заболел скарлатиной, а через несколько недель в Берлине ту же инфекцию подхватил старший сын Конрад — довольно странное совпадение. Макс был призван в армию, в качестве лейтенанта танковых войск он участвовал в польской кампании, а потом был переведен на голландскую границу. Рия с младенцем сперва оставалась в Менхенгладбахе, но к марту 1940 года уже готовилась тоже перебраться в Рендорф. Все четверо младших оставались дома, ходили в школу в Хоннефе. Сам глава семейства был полностью поглощен садом и изобретениями.

Увы, что касается последних, все по-прежнему оставалось на уровне хотя и оригинальных, но маловразумительных идей. К примеру, он «открыл» приспособление, при котором машинистка с помощью специального зеркальца могла одновременно видеть и текст, и клавиатуру. Беда была в том, что любая квалифицированная машинистка печатает вслепую, и ей такое хитрое устройство просто ни к чему. С другими «изобретениями» было не лучше.

Сад таких разочарований не приносил, но и в уходе за ним старший Аденауэр стал проявлять признаки некоей эксцентричности, обычной для мужчин, мягко говоря, не первой молодости. Он занашивал брюки до такой степени, что уже некуда было ставить новых заплат, притом упорно отказываясь от покупки новых. Откуда-то с чердака была извлечена старая соломенная шляпа, в которой владелец усадьбы обнаруживал некое хотя и отдаленное, но явное сходство с огородным пугалом.

Короче говоря, практически ничего не осталось от прежней властной и порой деспотической личности, которая некогда правила Кёльном как своей вотчиной. В первые месяцы Второй мировой войны перед нами — добродушный и мягкий старичок,

полностью погруженный в дела своей семьи и своего хозяйства. Судьбоносные события большого мира затрагивали его как бы по касательной, если вообще затрагивали. 10 мая 1940 года, когда началось немецкое наступление во Франции, Бельгии и Голландии, Аденауэр был занят составлением письма в патентное бюро, в котором описывал свое очередное изобретение — распылитель для садового шланга. Это письмо было отправлено 31 мая — в тот день, когда в самом разгаре была эвакуация британских войск из Дюнкерка. Кстати сказать, именно под Дюнкерком был тяжело ранен его сын Макс. Пуля прошла рядом с сонной артерией, и врачи всерьез опасались за его жизнь. Отец об этом узнал, естественно, много позже: все его внимание было тогда приковано к саду — была пора цветения.

Однако война все более властно вторгалась в эту идиллию. «Мы тут особого беспокойства не испытываем. Но вот эти бедняги в Бонне уже пережили на этой неделе две неприятные ночи. Здорово бомбили речной порт в Нейсе… Мы до сих пор ничего не знаем о Максе», — пишет Аденауэр Рие 6 июня. Большая часть письма, правда, посвящена повседневным мелочам: у Гусей — сенная лихорадка, жарко и сухо, вишни будет мало, начинается клубника, расцветают розы; однако в конце письма — снова о войне. «К сентябрю Англию нужно оккупировать, иначе это придется отложить до весны» — такова его оценка стратегических возможностей для Германии.

В этом письме четко отразились его тогдашнее настроение и образ мыслей. Внешне он вроде бы полностью поглощен своими изобретениями, садом и домашними делами, однако чувствуется, что положение аутсайдера явно тяготит его. «Ощущать, что ты еще что-то можешь, и не иметь возможности что-то сделать — с такой ситуацией мне очень трудно примириться», — жаловался Аденауэр в одном из личных писем, относящихся еще к марту 1940 года.

Отлучки из Рендорфа были редкостью: в конце июня он съездил навестить Макса, который долечивался в госпитале в швабском Гмюнде близ Штутгарта, а в октябре — в Дуйсбург на похороны своего старого кёльнского приятеля, промышленника Петера Клекнера, скончавшегося в почтенном возрасте семидесяти семи лет. На Рождество вся семья вновь собралась вместе. Из Берлина приехал Конрад, из Кенигсберга — своего нового места службы — Макс; он успел не только поправиться, но и обручиться с некоей Гизелой Клейн — «очень приятной девушкой из Кёльна», как ее охарактеризовал глава семейства. Пауль благополучно окончил гимназию и готовился к поступлению в семинарию, младшие были на каникулах. Не

смогли приехать только Рия с мужем.

Начался новый, 1941 год. 5 января Аденауэру исполнилось шестьдесят пять лет. День рождения отпраздновали скромно, в узком семейном кругу. Судя но его письму, адресованному Доре Пфердменгес, он все больше начал размышлять о бренности жизни и грядущем уходе в мир иной.

Победы германского оружия внесли неожиданное разнообразие в жизнь усадьбы. В середине 1940 года Аденауэр подал заявку на выделение ему работников из числа французских военнопленных, подробно изложив основания для своего ходатайства: он — владелец дома и земельного участка, он — пенсионер, многодетный и не может обойтись без дополнительной рабочей силы. Власти Зигбурга удовлетворили ходатайство и прислали несколько человек из ближайшего концлагеря.

Их разместили в одном из подвалов и указали фронт работ — вскапывать садовый участок. Для пленных это было наверняка лучше, чем пребывание в лагере: охраны не было, хозяин относился к ним довольно неплохо, по крайней мере если судить по их письменным свидетельствам, сделанным в конце войны. Он, разумеется, позаботился и о том, чтобы получить от властей энную сумму за содержание присланной ему рабочей силы.

Присутствие французов, вероятно, внесло некоторое оживление в быт усадьбы, в остальном жизнь была довольно однообразна. Пауль поступил в семинарию, но почти сразу же был отправлен на трудовой фронт — строить укрепления на острове Зильт в Северном море. Конрад перешел в Аахенский филиал АЭГ. Макс в августе 1941 года женился; ему посчастливилось: как раз накануне нападения на Россию его перевели в Брюссель, в аппарат оккупационной администрации, к вящей радости родителя и его самого. Лотта, Либет и Георг (его чаще называли на французский манер Жорж, или на рейнском диалекте — Шорш) уехали на каникулы в Швейцарию; поездку устроил швейцарский консул в Кёльне Вейс, «дядя Тони», как его звали в семье. Впечатление от поездки слегка подпортил Шорш: он слишком скучал по дому. Аденауэр в общем правильно охарактеризовал атмосферу дома, когда он написал в начале декабря 1941 года одному из знакомых: «У нас ничего нового».

1942 год был более богат событиями. В России вермахт столкнулся с сильным сопротивлением, в войну вступили Соединенные Штаты Америки, и военная ситуация стала меняться не в пользу Германии. Промышленные объекты Рейнланда подвергались все более массированным бомбардировкам. 31 мая армада из тысячи британских бомбардировщиков совершила

налет на Кёльн. «Кёльн постигла страшная катастрофа», — так охарактеризовал Аденауэр последствия этого налета в одном из писем, датированном 1 июля 1942 года. Сестра Аденауэра Лили и ее муж Вилли Зут потеряли все, что имели, самих их спасло только то, что они в это время находились за пределами города. Полностью разрушенным оказалось большое пространство финансового центра и промышленных районов города.

Под влиянием военных неудач активизировалось движение сопротивления Гитлеру. Осенью 1942 года в Кёльне состоялась встреча группы диссидентов-католиков. Присутствовали, в частности, руководитель северогерманского отделения Ордена доминиканцев Лауренций Зимер, каноник Отто Мюллер и два светских лица — Николаус Гросс и Карл Арнольд, видный деятель католического профсоюзного движения. Приглашены были также уже известные нам Якоб Кайзер и одна из ключевых фигур будущего антигитлеровского заговора 20 июля 1944 года, доктор Карл-Фридрих Герделер.

Не будем повторять всего того, что о нем написано, а написано достаточно много. Ограничимся констатацией того факта, что это была сложная, противоречивая личность, в полной мере воплотившая в себе как положительные, так и отрицательные качества типичного пруссака. Нельзя отрицать его личной смелости и твердости взглядов. Он родился в 1884 году, храбро сражался на Восточном фронте в 1915 году, а после войны сделал успешную карьеру регионального политика. Приверженец весьма правых взглядов, он стал в Веймарской республике видным членом Национальной народной партии. Очевидно, это обстоятельство вполне устроило избирателей Лейпцига, которые в 1930 году избрали его своим бургомистром. Его отличала склонность к бахвальству, внешность — квадратное жесткое лицо, широко поставленные глаза, волосы ежиком — внушала скорее страх, чем доверие.

Герделер оставался бургомистром Лейпцига до 1937 года; его вынудили подать в отставку после того, как он выразил протест против сноса памятника композитору Мендельсону. К нацистам он всегда относился отрицательно, но не столько из-за ущемления ими демократических свобод, сколько из-за того, что они не собирались реставрировать монархию Гогенцоллернов и недостаточно громко, по его мнению, требовали возвращения Германии к границам 1914 года. После ухода с поста бургомистра Лейпцига он сблизился с группой немецких генералов, которые придерживались аналогичных взглядов и признанным главой которых был Людвиг Бек, занимавший до 1938 года пост начальника Генерального штаба. Это и было ядро заговорщиков

20 июля.

На упомянутой встрече в Кёльне обсуждался, в частности, вопрос о том, кто возглавит администрацию Рейнланда после Гитлера, а этот час, заверил Герделер присутствующих, не за горами. Были составлены соответствующие списки. Первым номером значился, естественно, бывший бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр. В результате было решено, чтобы Герделер немедленно вступил в контакт с ним.

Тот так и сделал. Однако когда синклит собрался вновь вечером того же дня, эмиссар сообщил неприятную новость: «Доктор Аденауэр отказался принять его». Мотивы нашего героя были вполне очевидны. Он хорошо знал Герделера еще по веймарским временам, они оба были членами прусского Государственного совета, и этот опыт общения не оставил хороших воспоминаний. Герделер зарекомендовал себя как неисправимый болтун, к примеру, всем рассказывал, что в конце 30-х годов установил контакты с британскими и французскими промышленниками, которые обещали ему развернуть дипломатическую кампанию против Гитлера. Никакой кампании, конечно, не последовало, так что оказалось, что Герделер не только болтун, но и большой фантазер. Помимо всего прочего, Аденауэр, как уже говорилось выше, не испытывал никакого доверия к генералам. Они могут только повиноваться приказам, но, чтобы взять на себя инициативу, об этом, по его мнению, не могло быть и речи.

Один из деятелей католической оппозиции, Пауль Фран-кен, двадцать лет спустя вспомнил о разговоре, происходившем между ним и Аденауэром в доме приятеля последнего, боннского дантиста Йохана Фольмара. По словам Франкена, Аденауэр «неоднократно предупреждал меня о необходимости соблюдать крайнюю осторожность, поскольку он не доверяет ни военным, ни гражданским руководителям группы, особенно же Карлу Герделеру». Примерно то же он повторил двум визитерам, посетившим Рендорф осенью 1943 года. Конечно, такую позицию можно трактовать как удобную отговорку от участия в рискованном предприятии. Многие принимают эту интерпретацию как само собой разумеющуюся. Это, однако, ничего не меняет в том факте, что Аденауэр был, по существу, прав в своей оценке личных качеств Герделера, Бека и Якоба Кайзера. С другой стороны, как бы он ни пытался отмежеваться от заговорщиков, лишь появление его имени в их документах грозило ему весьма неприятными последствиями в случае провала заговора.

Наступил новый, 1943 год, год новых бедствий и испытаний

для Германии и для родного Аденауэру Кёльна. Начался он, однако, для семьи Аденауэров на довольно мажорной ноте. Его старший сын Конрад наконец решил жениться и представил семье свою избранницу. Ее звали Карола Гунольд, но все ее называли просто Лола. Они встретились год назад в Аахене, и, когда Конрада снова перевели в Берлин, она поехала с ним, став секретаршей в центральной аудиторской конторе фирмы. Родители Лолы были против этого брака, формально на том основании, что Конрад на шестнадцать лет старше, фактически же — из-за опасений стать родственниками известного противника режима (то, что отец и сын носили одно и то же имя, только увеличивало эти опасения). Что же касается старшего Аденауэра, то, когда он услышал, что его будущую сноху зовут Лола, он подумал, что речь идет о какой-нибудь циркачке или того хуже…

Тем не менее Лоле было послано письменное приглашение посетить особняк в Рендорфе. Для двадцатилетней девушки это наверняка было тяжелым испытанием. Начало оказалось почти катастрофическим. По традиции невеста должна была преподнести будущей свекрови букет. Лола, видимо, об этом не знала и явилась без цветов. Ситуацию спас будущий свекор. Девушка явно настолько ему понравилась, что он вытащил цветы из одной из стоящих в доме ваз и незаметно передал их Лоле, которая тут же как ни в чем не бывало вручила букет Гусей. После этого все стало ясно: родительское благословение жениху и невесте обеспечено.

Медовый месяц длился недолго. Конрада тоже забрали в армию, причем, как и Макса, в танковые войска. После краткого курса обучения он оказался в Риге, откуда должен был отправиться на Восточный фронт. К счастью, когда выяснилось, что он хорошо знает английский, а во время пребывания в представительстве фирмы в Осло немного освоил и норвежский, планы начальства изменились: его послали переводчиком в Норвегию. К маю уже трое сыновей Аденауэра служили в вермахте: Конрад в Риге, Макс во Франции и Пауль в Бонне в качестве санитара на зенитной батарее. Лотта была призвана на трудовой фронт.

29 июня 1943 года произошел второй массированный налет английской авиации на Кёльн, по свидетельству Аденауэра, гораздо более разрушительный, чем первый. Была разбомблена ратуша. Пожар полностью уничтожил торговые ряды на Хоэштрассе. Прямым попаданием в собор был разрушен его знаменитый орган. Все здания вокруг собора, включая известные гостиницы «Дом-отель» и «Эксельсиор», были превращены в

дымящиеся руины. Сильно пострадала церковь Святых апостолов, как и многие другие «памятники тысячелетней истории» (именно так, несколько выспренне отозвался о пострадавших зданиях Аденауэр в разговоре со швейцарским консулом Вейсом). До нас дошли и горькие слова, сказанные им после поездки в Кёльн в июле 1943 года: «Подумать только: я его не узнал, не мог даже найти дороги, а ведь Кёльн был делом всей моей жизни. И вот теперь одни развалины».

Нет оснований подвергать сомнению искренность чувств, которые наш герой испытывал в связи с теми разрушениями, которые выпали на долю его родного города, тем более что английские зажигалки превратили в пепел и его особняк на Макс-Брухштрассе. Не привело ли это к развитию у него некоего антибританского синдрома? Трудно сказать. В самой Великобритании многие считали позором для своей страны применение тактики ковровых бомбежек немецких городов, которые неизбежно приводили к высоким потерям среди гражданского населения. С другой стороны, даже те немцы, которые впоследствии осуждали налеты британских и американских бомбардировщиков, не могли не знать о том, что двумя годами раньше именно эту тактику первыми применили люфтваффе против Англии и там это вызвало понятную реакцию гнева и жажды мщения.

Одним из следствий массированных налетов союзной авиации на города Рейнланда было резкое увеличение числа беженцев и бездомных. Июньский налет на Кёльн оставил без крова примерно сто — сто пятьдесят тысяч его жителей, которые наводнили близлежащие поселки и деревеньки. Маленькому Бад-Годесбергу, пригороду Бонна с населением в двадцать пять тысяч человек, внезапно пришлось принять ни много ни мало — две тысячи беженцев. Поток реальных и потенциальных жертв бомбежек грозил захлестнуть и Рендорф. Туда из Кёльна переехал, в частности, и старый приятель Аденауэра, швейцарский консул Вейс, — он обосновался по соседству с домом по Ценнигсвег, 8а.

К семейному очагу, расположенному в месте, которое явно не представляло интереса для вражеской авиации, потянулись многочисленные родственники. Первой из Берлина приехала беременная Лола, за ней последовала Максова Гизела и, наконец, — дочь Рия. В доме по-прежнему жили младшие — школьники Либет и Георг, а также Лотта, которая ежедневно ездила из Рендорфа в Бонн, где училась на курсах медсестер. Как вспоминала впоследствии Лола, «все очень сблизились, а в доме буквально яблоку негде было упасть». Впрочем, на кабинет

хозяина дома, но ее словам, никто не осмеливался покуситься.

Роль патриарха большой семьи, покровителя слабых женщин, очевидно, нравилась Аденауэру. Не было случая, чтобы он выразил недовольство скоплением иждивенцев в доме, прикрикнул на кого-либо из невесток или, тем более, на дочь или их детей. Не было тех вспышек часто беспричинного гнева, которые он порой обрушивал на домочадцев в бытность бургомистром. Здесь проявились лучшие стороны его характера.

Впрочем, причин для ссор, по существу, и не было. Все были заняты делом, каждый отвечал за свой участок. Приусадебное хозяйство стало главным источником пропитания; оттуда семья получала большую часть овощей (остальное доставляли близкие знакомые типа Йозефа Гиссена). Купили козу по кличке «Нельке». Помимо молока, она давала шерсть, из которой делалась пряжа, которая, в свою очередь, шла на носки и пуловеры для всей семьи. К зиме ее забили на мясо, весной та же участь ожидала ее мужское потомство, а из молодых козочек выбрали новую «Нельке», и все повторилось по второму кругу.

Соблюдение распорядка дня было высшим законом, и неоднократно случалось, что какой-нибудь визитер, желавший навестить кого-либо из членов семьи, должен был коротать время в «музыкальной гостиной», пока соответствующий член семейной бригады не завершит свои штатные операции. Впрочем, по воспоминаниям той же Лолы, хозяин дома изо всех сил старался скрасить период ожидания для гостя проникновенной беседой. Лола вспоминает и о том, как трогательно вел себя Аденауэр по отношению к ней, когда ей к концу 1943 года пришло время рожать. Каждый день он на трамвае отправлялся в Хоннеф, чтобы принести ей в родильный дом передачу: молоко, сухофрукты, а однажды даже большую банку мармелада, которую тайком от Гусей умыкнул из домашнего буфета. Спуститься утром с холма в долину — это одно, совсем другое — подниматься по нему вечером по возвращении из Хоннефа. Это уже не было простое выполнение семейного долга, налицо — сильное чувство, и не будет преувеличением назвать его любовью. Недаром невестка в своих воспоминаниях пишет, что Аденауэр буквально «очаровал» ее.

К началу 1944 года для Аденауэра стало ясно: поражение Германии неизбежно. Он постоянно слушал иностранное радио, не в последнюю очередь немецкоязычные передачи Би-би-си. В доме была только одна постоянно живущая там служанка, от ближайших деревенских домов усадьбу Аденауэров отделяло значительное расстояние, так что в сравнении со многими другими соотечественниками у него было меньше оснований

опасаться доноса; тем не менее он всегда настраивал приемник на минимальную мощность и вдобавок с головой накрывался одеялом. То, что он слышал, убеждало его в лживости официальных реляций; он имел возможность узнать, что Восточный фронт рушится, что Италия потеряна и что вот-вот начнется высадка союзников во Франции. Его мысли все больше и больше обращались к вопросу о том, что будет после войны и какая роль выпадет на его долю. Характерный показатель изменения в его восприятии мира и себя в нем: в начале 1944 года он навсегда забросил свои изобретения.

ГЛАВА 6.
«ВОЙНЕ КОНЕЦ!»

«Внедрять в немецкий народ идеи мира…»[25]

Июнь 1944 года. Грохот советских танков на востоке и канонада на захваченных союзниками плацдармах на побережье Нормандии ознаменовали собой начало конца Третьего рейха. Внутри самой Германии все больше и больше немцев стали задаваться вопросом о смысле войны и последствиях неминуемого поражения. На этой основе созрел и почти свершился заговор против Гитлера. Однако его участникам не удалось соблюсти необходимой конспирации: слишком долго они занимались разработкой различных планов, слишком много людей оказались посвященными в них, слишком уж невоздержанным на язык оказался Герделер. В результате слухи о предстоящем военном путче распространились задолго до того, как 20 июля такая попытка была наконец предпринята; гестапо заблаговременно освежило списки подозрительных, и в этом списке, несомненно, фигурировал и Конрад Аденауэр.

После провала попытки покушения на Гитлера 20 июля гестапо сразу же провело серию арестов, явно руководствуясь не близостью того или иного лица к кругу заговорщиков, а скорее наличием на него компромата. Одним из первых был арестован старый друг семьи Йозеф Гиссен по обвинению «в подрыве морального духа армии». Основанием послужило ранее перехваченное цензурой письмо сыну, где он упоминал о том, что англичане разбомбили нефтеперерабатывающий завод поблизости от их дома. Гиссен успел шепнуть жене: «Предупреди Аденауэров». Так она и сделала. 21 июля ее телефонный звонок донес до нашего героя тревожную новость.

В Рендорфе началась паника. Как вспоминает Лола, «все мы были донельзя напуганы». Прежде всего было решено хорошенько припрятать партию овощей и фруктов, которую они только что получили от Гиссена. Потом надо было заняться уничтожением компрометирующих документов. Задача была нелегкая: Аденауэр имел привычку хранить разного рода старые квитанции, счета и массу прочего бумажного хлама, который складывался в большие картонные коробки вперемешку с действительно важными бумагами. Теперь надо было срочно разобрать и сжечь все, что могло вызвать подозрение гестаповских ищеек. В костер пошли и книги, содержание которых могло им не понравиться.

Радиоприемник был тщательно настроен на волну имперского радио.

Гестапо между тем явно не спешило нагрянуть в дом престарелого пенсионера. Только 24 июля, в воскресенье, примерно около часу дня, когда вся семья обедала на террасе, перед домом появилась группа агентов — семь человек во главе с однoруким чином из боннского управления. «У нас приказ обыскать ваш дом, — бесцеремонно бросил однорукий, предъявляя ордер. — Кроме того, у нас есть к вам ряд вопросов».

Двое гестаповцев уединились с Аденауэром в его кабинете, остальные принялись проверять шкафы и буфеты, перетрясать вещи, копаться в ящиках и т.п. Они перерыли все: от чердака до подвала, и, разумеется, ничего не нашли. Допрос свелся к простой формальности: не было задано ни одного вопроса в связи с событиями 20 июля, спрашивали в основном о его отношениях с Гиссеном и некоторых его прежних знакомствах, была затронута и старая тема «сепаратизма». В конце концов агенты где-то около половины пятого удалились, предварительно забрав несколько книг, опечатав кабинет хозяина и пообещав наутро вернуться.

На следующий день они явились уже в десять часов утра и снова занялись обыском. С перерывом на обед он продолжался до половины шестого вечера. Опять-таки они явно не обнаружили ничего для себя интересного, удовлетворившись конфискацией еще нескольких книг и вполне невинных документов. На этот раз они вели себя, как вспоминал позднее сам Аденауэр, «исключительно вежливо и корректно». Хозяину было сказано, что изъятые вещественные доказательства будут проанализированы в свете «дополнительной информации», получения которой они ожидают и которая, возможно, решит его дальнейшую судьбу.

Наверняка они просто блефовали. Никакой новой информации на Аденауэра у них не было и не ожидалось, они явно не получили от вышестоящего начальства никаких инструкций по поводу того, что, собственно, искать в рендорфской усадьбе и о чем спрашивать ее владельца. Им оставалось только покопаться в его досье, выудить оттуда пару-другую «фактов», задать несколько чисто формальных вопросов, прихватить ряд книг и бумажонок, чтобы показать, что они приходили не зря, и все. Аденауэр проводил незваных гостей язвительной репликой насчет того, что в будущем он постарается своевременно избавляться от ненужных бумаг, дабы избавить себя от неприятностей, а их — от лишней работы. Очевидно, не уловив иронии, те ответили, что это, мол, «вполне здравая мысль».

Первая волна репрессий после провала заговора 20 июля,

таким образом, фактически не затронула Аденауэра. Однако вторая, начавшаяся после того, как арестованный 12 августа Герделер под пытками назвал множество имен «сообщников» — и реальных, и подсказанных ему следователями, — обернулась для нашего героя более серьезными последствиями. 23 августа гестапо начало операцию «Гром», смысл которой заключался в том, что немедленному автоматическому аресту подлежали все потенциальные «враги рейха», то есть все, в чьих досье имелись какие-либо компрометирующие материалы. В первый же день этой операции рано утром в дверь дома Аденауэров позвонили. Вся семья еще спала, к ранним гостям вышел сам хозяин. На пороге стояли двое: одного из них Аденауэр хорошо знал — это был местный полицейский, второй — незнакомый мужчина в штатском. Полицейский извиняющимся тоном объяснил причину визита: «Прошу прощения, господин обер-бургомистр, но, боюсь, вам придется пройти с нами… Дело не только в вас лично, это общая команда… В Хоннефе и Рендорфе мы шестерых забираем…»

Под бдительным взором человека в штатском — явно агента гестапо — Лола быстро помогла собрать свекру маленький чемоданчик. Процессия двинулась в путь. Пункт назначения был очевиден — боннское гестапо. К полудню во дворе занимаемого им здания скопилась целая толпа арестованных — так же, как и Аденауэр, они были по большей части преклонного возраста, так же, как и он, были вытащены поутру из своих постелей и столь же мало понимали причины всего происходящего. Последовал приказ — построиться в алфавитном порядке. Была проведена перекличка. Затем колонна двинулась на вокзал, где всех посадили в поезд, следовавший в Кёльн. Там арестованных высадили и по мосту перегнали на территорию выставочного комплекса в Дейце, превращенного в импровизированный концлагерь. Вновь прибывшая партия из Бонна влилась в огромную массу старых веймарских политиков, церковных служителей, а также военнопленных, русских и поляков, которые составляли лагерный контингент. Некогда именно стараниями Аденауэра был спроектирован и построен этот комплекс павильонов и демонстрационных площадок; теперь он оказался здесь в качестве узника.

В Рендорфе между тем дамы были на грани истерики. Во второй половине дня Гусей с Лолой отправились в Бонн разузнать о судьбе главы семейства. Они беспомощно метались по улицам, задавая встречным вопросы, от которых благонамеренных обывателей наверняка бросало в дрожь: не видели ли они колонну арестованных и в ней бывшего бургомистра Кёльна,

доктора Аденауэра. Наконец, они наткнулись на одного владельца книжной лавки, который сообщил им, что видел такую колонну и вроде бы заметил в ней интересующее их лицо — арестованные шли к вокзалу. Обе женщины бросились к вокзалу, где дежурный сообщил им, что на перрон недавно действительно прибыла большая группа пожилых людей под конвоем, их погрузили в поезд, направлявшийся в Кёльн, скорее всего их поместят в лагерь в Дейце. Гусей с Лолой ближайшим же поездом отправились в Кёльн. Пешком они перешли через мост; подходы к выставочному комплексу были блокированы заграждением из колючей проволоки; они простояли там до позднего вечера, ничего не узнали и вернулись в Рендорф.

У родственников были все основания беспокоиться за главу семьи: он был в состоянии глубокой депрессии и, казалось, внутренне примирился с мыслью, что дни его сочтены. Целыми днями он бесцельно бродил по лагерной территории, его мучила бессонница, одолевали вши — непременный спутник скученности, грязи и потери воли к жизни. Спас его коммунист Ойген Цандер, заключенный с многолетним стажем, который когда-то работал в городском хозяйстве Кёльна (в частности, одно время он был смотрителем сада на Макс-Брухштрассе), а в лагере заведовал каптеркой. Он сжалился над быстро деградировавшим стариком и приютил его в своей комнатушке. В бытовом плане положение Аденауэра стало лучше, но на его моральном состоянии это не очень сказалось. После вечерней переклички, которая происходила в шесть часов, он, как вспоминал Цандер, «забивался в нашу комнату и сидел там, не говоря ни слова».

Гусей и Лола регулярно наведывались в Кёльн, чтобы разузнать что-нибудь о муже и свекре. Часами они простаивали у ворот лагеря, надеясь увидеть его среди массы прочих узников. Однажды это им удалось, они замахали руками, стали выкрикивать его имя, чтобы он обратил на них внимание, но, когда он услышал и направился к ним, подошел охранник и, угрожающе направив на них свою винтовку, отогнал женщин прочь. Нечего делать — заплакав, они уехали обратно в Рендорф. Аденауэр же отправился в каптерку рассказать своему покровителю о случившемся, он тоже чуть не плакал оттого, что не смог перемолвиться даже словом с родными людьми. Цандер позднее живо вспоминал этот эпизод: «Аденауэр сидел передо мной на койке; тощий как скелет, одежда висела. на нем как на вешалке, рубашка без воротника, в нагрудном кармане — торчащая ложка; могу себе представить, каково было жене узреть его в таком виде».

Однако, но мере того как Аденауэр стал регулярно получать

от родных передачи с продуктами, настроение его стало постепенно улучшаться. Чтобы убить время, он организовал в каптерке своеобразный дискуссионный клуб. Темы были самые разнообразные: религия, история, искусство, естественные науки. Единственное, что не обсуждалось, — это современные события и перспективы на будущее: опасались доносчиков.

Никак не комментировались, естественно, и ежедневные (а чаще еженощные) исчезновения того или иного узника или целой группы; все знали, что это означает и какова будет последняя запись в досье этих жертв: «убит при попытке к бегству». Жизнь в лагере начала приобретать качество нормальности, если это понятие вообще может быть применено в данном контексте, — стали устраиваться вечера танцев и любительские концерты (один из поляков-военнопленных буквально пленял слушателей игрой на скрипке). И самое главное — были разрешены визиты родственников; уже 25 августа швейцарский консул Вейс, «дядя Тони», привез в Кёльн для свидания с отцом младших дочерей — Лотту и Либет; время на общение было строго ограничено — всего полчаса, но все же это было кое-что. Через три дня тот же Вейс устроил такую же поездку для Гусей; ее свидание с мужем длилось уже около часа. Казалось, все шло к лучшему.

Однако в начале сентября пришла плохая весть: Цандеру через свои контакты в лагерной администрации удалось выяснить, что в списках узников против фамилии Аденауэра стоит отметка «возврат нежелателен». Это могло значить только одно: селекция, эшелон на восток и неизбежная гибель в каком-либо из лагерей смерти. Единственное, что могло предотвратить такой исход, — медицинское освидетельствование, которое признало бы кандидата на депортацию больным, нуждающимся в срочном лечении. Этот замысел был блестяще реализован: вначале вызванный в каптерку врач из числа лагерников поставил Аденауэру диагноз «прогрессирующая анемия», затем его подтвердил штатный врач лагеря, была вызвана неотложка, и пациента перевели в госпиталь Гогенлинд.

Разумеется, это было временное решение, некий паллиатив. Диагноз был достаточно неопределенным, и Аденауэр вполне отдавал себе отчет в том, что через несколько дней любой мало-мальски квалифицированный госпитальный врач неминуемо придет к выводу, что никаких показаний для пребывания пациента в стационаре, по существу, не имеется и что он вполне может быть отправлен обратно туда, откуда прибыл. С другой стороны, из госпиталя можно было ускользнуть гораздо легче, чем из лагеря. Эту возможность нельзя было упускать, тем более что было известно: американцы близко; они уже заняли Льеж,

Маастрихт и Люксембург, пройдет немного времени, и они будут здесь; значит, нужно на какое-то время лечь на дно, скрыться, переждать последние дни войны — и вот она, свобода… Они обсудили этот план действий с Гусей, она всецело его одобрила.

Его осуществление напоминало сюжетный ход какого-нибудь лихого боевика: однажды теплым сентябрьским вечером перед подъездом госпиталя со скрежетом тормозов останавливается машина, из нее выходит майор люфтваффе в темных очках, требует провести его к директору и демонстрирует тому предписание Верховного командования вермахта — немедленно доставить в Берлин для допроса заключенного Аденауэра. Испуганный директор распоряжается привести пациента, тот является — тоже в темных очках, прописанных ему ввиду «воспаления слизистых оболочек глаз». Он не хочет идти с майором, умоляет оставить его в госпитале. Тщетно: его приглашают в машину, и он с выражением безнадежного отчаяния садится на заднее сиденье.

Разумеется, все это было инсценировкой: и «предписание», и «воспаление слизистых», и нежелание садиться в машину. Майор, правда, был настоящий: старый приятель семьи еще с довоенных времен, Ганс Шибуш, он, когда Гусей рассказала им о плане бегства, пришел буквально в восторг. «Если речь идет о том, чтобы надуть этих кретинов-наци, я в вашем полном распоряжении», — заявил он и, как видим, вполне успешно сыграл предназначенную ему роль. На заднем сиденье освобожденного узника-пациента ждала загримированная до неузнаваемости Гусей, машина снова с соответствующим скрежетом передач рванулась с места.

Но куда ехать? Об этом они прежде как-то не думали. После некоторой дискуссии было решено — к дому дантиста Фольмара, личного врача Аденауэра и его давнего приятеля. Тот, разумеется, отнюдь не был обрадован неожиданным визитом. «Вы не подумали, во что вы меня можете втравить?» — этим резонным вопросом приветствовал он незваных гостей. В конечном счете его удалось уговорить оставить беглеца у себя на одну ночь — но только на одну. В качестве постоянного убежища Гусей предложила вариант с гостиницей «Нистер Мюле» недалеко от городка Гахенбург в Вестервальде: ее владелец, некий Йозеф Редиг, знает Аденауэра и не выдаст его. Так и порешили, и действительно Редиг согласился поселить у себя нового жильца, записав его под именем «д-ра Вебера».

Это было не самое удачное решение. Поначалу все шло неплохо: Аденауэр получил отдельный номер, возможность длительных прогулок по осеннему лесу и даже возможность вести

переписку: к примеру, 16 сентября он отправляет письмо Рие под взятым от его рендорфского адреса псевдонимом «К. Ценниг». Однако идиллии было суждено продлиться недолго: гестапо не дремало. Метод работы этой организации был прост и не лишен эффективности: если не удается поймать преступника (а Аденауэр своим побегом сам как бы признал свою вину), нужно брать кого-либо из ближайших родственников — глядишь, и расколются. Утром 24 сентября два агента появились перед рендорфской усадьбой Аденауэров. Дверь открыла Лола. Не представившись и не предъявив никаких документов, они спросили, где хозяйка, а когда та появилась — где ее муж. Гусей, естественно, ответила, что не имеет понятия, после чего ей было приказано собрать вещи и проследовать с ними.

Первый допрос ей учинили в Хоннефе, а к вечеру того же дня Гусей перевели в кёльнскую штаб-квартиру гестапо. Камера, в которую ее поместили, была полна уголовницами — главным образом проститутками. Тусклый свет от электролампы под потолком, в углу — две параши, жуткий запах, одни девицы напевают, другие пританцовывают под доносящиеся сверху, из комнаты охраны, звуки радиолы. Легко себе представить шок, который испытала новая узница. Никогда в жизни она не оказывалась в такой обстановке и в таком обществе. Когда ее вызвали на допрос, она почувствовала даже нечто похожее на облегчение. Оно быстро прошло, когда она оказалась с глазу на глаз со следователем гестапо, комиссаром Бетке: он — за столом, в темноте, она — перед ним на прикрепленном к полу стуле, яркая лампа направлена ей прямо в лицо. Комиссар повторяет вопрос: где ее муж? Гусей отказывается отвечать; после долгого молчания, прерываемого лишь стуком карандаша по столу, следователь дает ей «доброжелательный» совет: подумать еще и одуматься. Ее уводят.

В камере за это время произошли кое-какие перемены. Танцы и пение прекратились, дамы разлеглись на полу, заняв своими телами все пространство, негде даже присесть — Гусей так и осталась стоять. Через два часа — новый вызов на допрос. На этот раз следователь сразу берет быка за рога: он спрашивает, сколько лет ее дочерям. «Девятнадцать и шестнадцать», — отвечает она почти механически. Следователь холодно излагает ей альтернативу: или она немедленно скажет ему, где скрывается ее муж, или ее усадьба будет конфискована, а обеих дочерей отправят туда, откуда она только что вышла, — в камеру к проституткам. Одной мысли, что ее дочери окажутся в ее положении и переживут то, что переживает она, — этого для матери более чем достаточно; она сдается и сообщает

следователю все, чего тот от нее добивался. Для него она больше не представляет интереса: ее отправляют в только что переоборудованную из монастыря тюрьму в Браувейлере — местечке к западу от Кёльна.

На рассвете следующего дня, 25 сентября 1944 года, наряд из трех гестаповцев подкатывает к «Нистер Мюле». Разбуженный ревом мотора и мощным светом фар, направленных прямо на окно его номера, Аденауэр вскакивает с постели, хватает в охапку одежду и, как был, босиком и в чем мать родила, бросается на чердак: может быть, гестаповцы, не обнаружив его в комнате, решат, что он убежал в лес? Но те не дураки: они начинают тщательный обыск всего строения. Один из агентов поднимается на чердак — и вот в луче фонарика перед ним предстает согбенная фигура, пытающаяся укрыться за дымоходом. «Ну что же это вы так, господин бургомистр! В ваши ли годы по ночам голышом скакать?» — в голосе гестаповца мешаются ядовитый сарказм и глубокое удовлетворение от образцово проведенной операции.

Его доставляют туда же, куда и Гусей, — в Браувейлер, попутно со смаком разглагольствуя на тему о том, как его выдала собственная жена, и что, возможно, им представится случай повидаться за решеткой, и он тогда сможет утешиться тем, что хотя бы на словах воздаст ей по заслугам. Вероятно, это мыслилось как соль на раны жертвы. По прибытии в тюрьму Аденауэра ведут в каптерку, где у него забирают подтяжки, шнурки, галстук и перочинный нож. «Чтобы вы ничего с собой не сделали, — любезно поясняет присутствующий при сем гестаповский чин, — а то мне лишние неприятности». Аденауэр спрашивает, какие основания у того думать о нем как о потенциальном самоубийце. Он хорошо запомнил ответ гестаповца: мол, уже почти семьдесят, от жизни ждать больше нечего, на его месте тот бы предпочел покончить с собой. Камера, в которую его привели, — одиночка, зарешеченное окошко у потолка, маленький шкафчик, постель без матраца, без отопления, но по стандартам Браувейлера почти что люкс.

За ту неделю, что оба супруга вместе провели в Браувейлере, им действительно однажды устроили свидание. Гусей тяжело переживала то, что она сама считала актом предательства по отношению к мужу. Дважды она пыталась покончить с собой. Первый раз — приняв целую бутылку препарата от головной боли — пирамидона, но это лишь привело к сильному головокружению, не более того. Второй раз она выбрала другой способ уйти из жизни: в швейной мастерской, куда ее определили работать, она присмотрела большие портновские ножницы и,

улучив момент, вонзила их в левое запястье. Ей удалось вскрыть одну из главных артерий, она потеряла много крови, но ее откачали. И вот, измученная телом и душой, с рукой в шине и на перевязи, вся в слезах, она предстала перед обожаемым мужем, по отношению к которому отныне и до конца своих дней не перестанет испытывать чувство глубокой вины. Тщетно тот пытался убедить ее в том, что она не могла поступить иначе, что он ничуть не изменил свое мнение о ней — ничто не помогало. Гусей фактически унесли обратно в камеру, а через несколько часов ей было объявлено, что получен приказ о ее освобождении.

Так удачно совпало, что в это время ее дочь Либет в поисках местопребывания родителей как раз добралась до Браувейлера, поэтому было кому помочь Гусей доехать до Рендорфа. Либет оставила трогательные воспоминания о том, какой она встретила мать по выходе из тюрьмы: «Она была бледная и вся какая-то вымотанная. Глаза — красные, воспаленные, опухшие от слез. Волосы, обычно такие ухоженные, висели космами, она просто собрала их на затылке и перевязала сапожным шнурком». Еще долго по возвращении домой она практически не могла общаться с окружающими — только односложные слова, выражающие эмоции беспокойства и страха. Добродушный юмор, заразительное веселье, ранее характерные для нее, безвозвратно остались в прошлом.

Для ее мужа тоже наступили тяжелые дни. Дни и хуже того — ночи, когда с нижнего этажа в камеру доносились крики пытаемых, когда он ежеминутно ждал, что вот-вот заскрипит ключ, откроется дверь и — «с вещами на выход»: в эшелон, направляющийся на восток, в лагерь смерти. Позднее он узнал, что его имя было в списке тех, кто был предназначен к «устранению»; спасло его, по-видимому, то обстоятельство, что ввиду приближения союзных войск кёльнская штаб-квартира гестапо была поспешно эвакуирована и вообще весь слаженный карательный аппарат Третьего рейха начал уже потихоньку разваливаться.

Родственники тем временем делали все, чтобы вызволить главу семейства из заточения. Удачный ход придумала Либет. Сразу же после ареста матери она отправила телеграмму сводному брату Максу, где, разумеется, тщательно выбирая выражения, чтобы не привлечь внимания цензуры, сумела сообщить о постигшем семью несчастье. Тот получил телеграмму в своей части 4 октября и сразу же подал рапорт о предоставлении ему отпуска по семейным обстоятельствам. Поначалу последовал отказ, но тут вмешалась его жена Гизела: она пошла прямо к непосредственному начальнику мужа и, без

всяких экивоков изложив суть дела, добилась-таки положительного решения вопроса. 24 октября Макс получил отпускные документы, два дня спустя он уже был в Браувейлере.

Может показаться странным, но ему немедленно, без проволочек и придирок было разрешено свидание с отцом. Они провели три часа с глазу на глаз, без свидетелей. Вообще следует сказать, что к тому времени отношение к Аденауэру со стороны тюремных властей и следователей несколько смягчилось. Последние явно приняли его объяснения на тот счет, что он не имел ничего общего с заговорщиками 20 июля. Тюремный врач прописал ему перевод в отапливаемую камеру, дополнительное питание и ежедневные прогулки. Ему стали выдавать книги для чтения, бумагу и карандаш.

В ходе беседы между отцом и сыном был выработан следующий план: Макс поедет в Берлин и попытается использовать личные связи, чтобы облегчить участь узника Браувейлера, а в случае неудачи обратится прямо в центральную штаб-квартиру гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Так он и сделал. Ни личные контакты, ни посещение 2 ноября главного здания гестапо не принесли прямого успеха. Однако на Принц-Альбрехтштрассе ходатаю подсказали другой адрес и другое учреждение, в чьих руках, как оказалось, было следствие по делу Аденауэра. На следующий день Макс отправился туда. К тому времени следствие уже фактически сняло обвинение в участии в заговоре против фюрера, оставался лишь пункт о побеге с места заключения, что трактовалось как косвенное признание подследственным своей вины (по логике: если невиновен, то сиди и не рыпайся). Но тут Макс ввел в дело аргумент, который они с отцом общими усилиями сформулировали в виде риторического вопроса: «Как может себя чувствовать солдат на поле боя, если узнает, что в тылу ни за что просто хватают и сажают старика отца?» А ведь в данном случае речь идет даже о трех таких солдатах: трое сыновей Конрада Аденауэра доблестно сражаются с врагом, и они вправе требовать справедливости. Этот ли аргумент подействовал или что иное, но факт остается фактом: Макс добился приказа о незамедлительном освобождении отца из заключения.

26 ноября 1944 года Аденауэр наконец вышел на свободу, правда, без подтяжек, шнурков и галстука, затерявшихся в тюремном складе. Ему удалось найти какой-то фургон, водитель которого пообещал ему подбросить его до Рендор-фа. Они объехали Кёльн во избежание всяких случайностей, пересекли Рейн в Бонне; добравшись до Кенигсвинтера, Аденауэр решил позвонить домой и предупредить о своем скором прибытии.

Однако напрямую проехать оказалось невозможным: дожди превратили дорогу вдоль Рейна в сплошное месиво, пришлось выбрать кружной путь — через Семигорье, в результате чего фургон подъехал к дому с противоположной, южной стороны, через Хоннеф. Домашние к тому времени уже решили, что глава семьи уже после своего телефонного звонка напоролся на какую-нибудь заставу и его снова арестовали. Тем радостнее была встреча, когда поздним вечером изрядно утомившийся путник добрался наконец до родного очага.

Теперь главное было продержаться, не привлекая ничьего внимания, до прихода союзников. Лучше всего было бы, конечно, вообще не выходить за пределы усадьбы, но жизнь диктовало иное. В январе 1945 года Лола рожает второго ребенка. До и после родов Аденауэр с Гусей совершают ежедневные пешие вылазки из Рендорфа в Хоннеф и обратно, чтобы навестить невестку. Каждые пять минут — остановка: у Гусей нестерпимые боли. Транспорта нет: пассажирское движение но железной дороге прекращено, машины стоят из-за отсутствия бензина. Издали доносится гром артиллерийской канонады. Лола выписывается из родильного дома досрочно, домой приходится добираться с новорожденным сыном пешком. В Рендорфе все-таки вроде бы безопаснее, именно поэтому туда перебирается и Рия с двумя своими чадами — это случилось еще раньше, буквально через день после возвращения главы семьи из Браувейлера.

В марте началось наконец долгожданное наступление союзников. По мнению Аденауэра, оно должно было бы развиваться по двум направлениям: на севере англичане, считал он, будут двигаться через бельгийские равнины на Рур, на юге американцы — на Майнц и дальше на Франкфурт, в результате район Рендорфа, расположенный как раз посередине между этими двумя клиньями, окажется вне зоны активных военных действий. Эти размышления делают честь стратегу-дилетанту: именно таковы и были первоначальные планы англо-американцев. Однако, как часто бывает в истории, вмешался случай. 7 марта танковый разведотряд американской армии вышел к Рейну у железнодорожного моста в Ремагене; к удивлению американцев, мост был целехонек и его охраняла всего-навсего пехотная рота, окопавшаяся на правом берегу. Завязался бой, он длился до вечера и закончился тем, что немцы были отброшены, мост достался американцам и через него на восток хлынули колонны из бронетанковых соединений. 9 марта в доме Аденауэров раздался телефонный звонок от сестры из Ункеля, она взволнованно сообщила: «Мы уже свободны… Здесь у нас американцы…»

Аденауэр быстро оценил изменение военной ситуации и сделал свои выводы, опять-таки вполне корректные: американцы наверняка постараются расширить свой плацдарм у Ремагена (захват Ункеля — явный признак этого намерения) и продвинуться в направлении автобана Кёльн — Франкфурт, идущего с севера на юг сразу же за Семигорьем. Рендорф, расположенный на западных отрогах Семигорья, оказывался, таким образом, как раз на направлении главного удара американских войск. Аденауэру была знакома тактика американцев: прежде чем двинуть вперед танки или пехоту, они так обрабатывали передний край противника авиацией и артиллерией, что там живого места не оставалось. Последствия для дома по Ценнигсвег, 8а, и его обитателей нетрудно было себе представить.

Подвал в цокольном этаже дома срочно переоборудовали в бомбоубежище. Туда начали сносить стулья, матрацы, одеяла, создавался запас продуктов. 9 марта к дому стал приближаться вал артиллерийского огня. К вечеру снаряды ложились уже совсем близко. Около четырех утра 10-го дом весь вздрогнул от близкого разрыва тяжелого снаряда. Это повторилось еще несколько раз. Глава семейства, Гусей и Георг поспешно спустились в подвал-бункер (остальные члены семьи уже давно были там). В любой момент дом мог быть накрыт прямым попаданием.

На рассвете обстрел закончился. Вышедший на рекогносцировку Аденауэр увидел следующую картину: немецкая линия обороны отодвинулась дальше и выше по склонам Семигорья, их дом оказался как бы на ничейной территории, впрочем, ниже их дома, недалеко от рендорфской церкви, на боевой позиции по-прежнему стоял немецкий танк. День прошел тихо, без происшествий, если не считать появления пятерки французов из соседнего концлагеря, среди них был старый знакомый Луи, вскапывавший когда-то землю на аденауэровском участке. Беглецы искали убежища. В душе Аденауэра боролись соображения разумного эгоизма и заповеди христианской этики; в результате был достигнут компромисс: французам было разрешено укрыться в сарае, а в подвал они могли спускаться только чтобы поесть.

Вечером американцы возобновили обстрел, дом опять затрясло. Утром Конрад и Гусей выбрались из подвала сварить картошки. Не успели они завершить это дело и спуститься с котелками вниз, как раздался страшный удар: снаряд попал прямо в дом — была полностью разрушена одна из спальных комнат и рухнул весь угол здания. Во второй половине дня — еще

одно прямое попадание в дом, вырвало с корнем несколько деревьев в саду. Когда стало смеркаться, пятерка французов вышла из сарая и начала проситься в подвал. Аденауэр смилостивился: совесть христианина победила все прочие мотивы. Население подвала увеличилось до девятнадцати человек.

«Битва за Рендорф» продолжалась около недели. Каждый день начинался для Аденауэра с обзора местности; он поднимался до верхней кромки садового участка, проводил рекогносцировку и сообщал домочадцам о происшедших изменениях в тактической обстановке. Больше никому не разрешалось даже высунуть носа из бункера. Американские артиллеристы-наблюдатели скоро заметили странную фигуру на противоположном берегу реки. На всякий случай решили выпустить но этой цели несколько снарядов. Они легли совсем рядом с ним, как он позднее утверждал, в нескольких метрах, а один он даже якобы успел увидеть в полете!

Битва закончилась негласным перемирием, достигнутым благодаря посреднической миссии швейцарского консула Вейса — его загородный дом, напомним, был неподалеку. Размахивая своим государственным флагом вместо белого, он явился в расположение американских войск в качестве парламентера, взывая к гуманности: вокруг полно госпиталей с ранеными, продолжение обстрела приведет к массовой гибели беззащитных людей. Убедил. Немецких военачальников он, в свою очередь, убедил отвести войска с позиций на Скале дракона; взамен им были даны гарантии, что они могут спокойно подобрать и эвакуировать своих раненых. Район расположения госпиталей объявлялся «нейтральной зоной». Для Рендорфа и усадьбы Аденауэров это означало чудесное спасение. 15 марта обитатели бункера окончательно выбрались на поверхность, по улицам грохотали американские танки. Младший из Аденауэров, Георг, нашел самые подходящие к случаю слова: «Войне конец!»

Чудеса на этом не кончились. На следующий день, 16 марта, около трех часов дня пополудни, — был чудесный весенний денек — перед калиткой усадьбы по Ценнигсвег, 8а, остановился американский армейский джип. Из него вышли бургомистр Хоннефа и два офицера. Группа направилась вверх к дому. Аденауэр в это время был занят беседой с искусствоведом Вернером Борнхеймом. Офицеры извинились за вторжение, представились: подполковник Тьюес, капитан Эмерсон; они прибыли по поручению военного губернатора Кёльна, генерал-лейтенанта Джона Паттерсона, чтобы пригласить доктора Аденауэра возобновить исполнение обязанностей бургомистра

этого города.

Едва придя в себя от изумления, хозяин пригласил американских эмиссаров в дом; бургомистр Хоннефа поспешно откланялся, считая свою миссию законченной; оставшись наедине с американцами в гостиной, Аденауэр поблагодарил их за чрезвычайно лестное предложение и твердо заявил, что ни в коем случае не может его принять. Теперь очередь изумиться была за его собеседниками. Они попытались переубедить упрямого старика. Тот попросил Гусей зайти и принять участие в разговоре. Она внимательно выслушала аргументы гостей и поддержала решение мужа. Почему он не может принять на себя предложение американских военных властей? Да очень просто: у них трое сыновей в армии, им придется отвечать за своего отца-коллаборациониста. Их могут и расстрелять. На этом дискуссия закончилась. Американцы засобирались в обратную дорогу. Напоследок они задали ему дежурный вопрос: чем он думает заняться? Ответ прозвучал несколько высокопарно: «Внедрять в немецкий народ идеи мира». За этой помпезной фразой скрывалась простая мысль: Кёльн — слишком узкая база для его будущей деятельности. Правда, позднее он говорил своей секретарше, что занять вновь пост бургомистра Кёльна было тогда верхом его мечтаний, но нет особых оснований принимать это откровение за чистую монету.

В конце концов наш герой согласился принять участие в деле восстановления родного города в качестве советника американской администрации. Он сделал это под влиянием тех аргументов, которые изложил ему один из адъютантов Паттерсона, капитан Швейцер. Сам архитектор по образованию, этот американский офицер сумел затронуть некие чувствительные струны в душе Аденауэра, напомнив ему о его собственных планах преобразования облика города, которыми тот увлекался в 20-е годы. Посетивший Аденауэра кардинал Фрингс тоже уговаривал его не отвергать с порога предложения американцев. В том же духе «обрабатывал» его и свояк — муж сестры Лили, Вилли Зут. Швейцеру удалось уговорить чету Аденауэров совершить трехдневную ознакомительную поездку но Кёльну за счет американской казны.

Она началась 27 марта и стала своего рода эмоциональным катарсисом для супругов. Им дали возможность осмотреть бывшее здание гестапо на Аннельхоф-платц, заглянуть в кабинет их истязателя, комиссара Ветке, с еще висевшим там на стене портретом Гейдриха. Аденауэр сорвал его и швырнул на пол так, что посыпались осколки стекла. Его завезли и на Макс-Брухштрассе, он печально оглядел обгорелые развалины своего

шикарного особняка. Не больше радости доставил и осмотр разрушенного центра города. Единственное утешение доставило посещение кладбища в Мелатене: могилы родителей и Эммы остались в целости и сохранности.

Аденауэр решился: он сделает все, что в его силах; должность бургомистра примет на себя его свояк, Вили Зут, сам он будет считаться его советником вплоть до окончания войны, а потом возьмет бразды правления в свои руки не только фактически, но и формально. 3 мая состоялось его официальное назначение на пост бургомистра. Это было своего рода возвращение к пройденному, и именно поэтому оно не могло полностью удовлетворить нашего героя. Он понимал, что на помощь победителей вряд ли стоит особенно уповать: поведение американских солдат но отношению к немцам хотя бы в том же Рендорфе не оставляло почвы для иллюзий. Понимал он и то, что возродить Кёльн из праха — это задача для представителя нового поколения, никак не для семидесятилетнего старца.

Еще до того, как принять предложение стать бургомистром Кёльна, он поделился с одним младшим офицером армии США своими сокровенными мыслями о будущем Германии. В разговоре с лейтенантом Джастом Ланнингом, который состоялся 28 марта 1945 года, он говорил о двух Германиях: с одной стороны — это Германия, «фундаментом которой является наследие романской культуры», с другой — та, в которой господствует дух пруссачества, «навязывающего немцам свою волю». Идеальным вариантом, с его точки зрения, было бы государственное образование, «объединяющее в себе Австрию, такие части Пруссии, как Рейнланд и Вестфалия, а также южногерманские территории». Таким образом, считал он, можно будет «нейтрализовать негерманское влияние Пруссии».

Это была уже четкая и законченная политическая программа. Германия Гитлера ушла в прошлое. Наступало время для Германии Аденауэра. Характерный штришок личности нового кумира: с приходом американцев французские пленные, укрывавшиеся в бункере его рендорф-ского дома, собрались домой. Хозяин остановил их: пусть они вначале оставят расписки в том, что жили и укрывались у него и не имеют к нему никаких претензий. Так, на всякий случай.

ЧАСТЬ V.
ГЕРМАНИЯ АДЕНАУЭРА

ГЛАВА 1.
ВЫШВЫРНУТЫЙ АНГЛИЧАНАМИ

«Хочется, чтобы нашелся хоть один английский государственный деятель, который отозвался бы о нас как о западноевропейцах»[26]

10 июля 1945 года восьмидесятилетний английский генерал-отставник, сэр Чарльз Фергюсон, отправил в Форин офис примечательное послание. Суть его состояла в том, что его автор, прочтя в шотландском выпуске «Дейли экспресс» за 2 июля интервью корреспондента газеты с «неким доктором Аденауэром» и узнав оттуда о назначении последнего на пост бургомистра Кёльна, решил поделиться с руководством английского внешнеполитического ведомства своими воспоминаниями об опыте общения с этим немецким политиком, который он приобрел, будучи с декабря 1918 по июль 1919 года военным губернатором британской зоны оккупации Рейнланда. Воспоминаниями, скажем сразу, далеко не самыми приятными.

Не отрицая способностей Аденауэра как политика, Фергюсон отметил и другое — запомнившееся ему высказывание кёльнского бургомистра: «Мы никогда ничего не забудем и не успокоимся, пока не добьемся реванша — пусть на это потребуется пять, десять или двадцать лет». Престарелый вояка сформулировал свои выводы достаточно недвусмысленно: «Я абсолютно убежден в том, что ненависть к Англии была и остается самым глубоким чувством в его душе, усомниться в этом можно только в одном случае — если ныне это совсем другая личность, чем двадцать пять лет тому назад. Он умен, хитер, прирожденный интриган и в целом человек очень опасный. Положиться на него никак нельзя, и в отношениях с ним наши власти должны проявлять максимум осторожности».

Разумеется, это послание можно было списать в архив как типичный образец старческого ворчания или даже маразма, в конце концов его автор умудрился сделать ошибку даже в написании собственной фамилии. Однако в данном случае в Форин офис решили подстраховаться: «телегу» не только переправили в штаб-квартиру английского оккупационного контингента, но и потрудились навести соответствующие справки. Обращение к архивному досье выявило, в частности, что с преемниками Фергюсона Аденауэр установил достаточно ровные отношения (а с Джулианом Пигготом прямо-таки почти

сердечные), но, с другой стороны, в 1926 году он проводил уходящих оккупантов такой речью, которую трудно было назвать иначе, чем подстрекательской. Соответствующая информация тоже ушла в штаб-квартиру английской зоны.

Насколько аутентичен был нарисованный Фергюсоном образ Аденауэра как крайнего англофоба? Верно: он осуждал англичан (как, впрочем, и французов) за то, что те попустительствовали Гитлеру — в частности, при оккупации Рейнской демилитаризованной зоны в 1936 году, он негодовал по поводу ковровых бомбардировок его родного Кёльна британской авиацией, но в то же время, вспомним, с полным доверием относился к передачам германской службы Би-би-си. Верно: в мае 1945 года в одном из частных разговоров он отозвался о Черчилле как человеке, который «ненавидит немцев», а о Сталине — как «друге Германии». Однако было бы явной натяжкой на основании этих случайных высказываний (разумеется, по существу своему абсолютно не отражавших истину) характеризовать его тогдашние взгляды как «антибританские» либо тем более как «просоветские».

Фактом, однако, оставалось то, что Аденауэр всегда плохо знал реалии внешнего мира, а двенадцать лет полной изоляции от него — с 1933 по 1945 год — только увеличили степень его невежества в этом плане. На более рациональной основе складывались его представления и оценки, касающиеся собственной страны. Двенадцать лет фактического заточения усилили в нем антипатию ко всему прусскому. У него сложилось достаточно глубокое мнение на тот счет, что именно прусский милитаризм проложил дорогу Гитлеру, что прусская бюрократия проявила крайний эгоизм и глупость перед лицом нацистского вызова, что единственным способом положить конец прусской гегемонии в Германии является формирование некоей франко-германской общности — то, о чем он думал еще после Первой мировой войны. Еще сильнее в нем стала проявляться приверженность интересам и ценностям его родного Рейнланда: даже его рейнский акцент стал более заметным.

Впрочем, в конкретной обстановке лета 1945 года у Аденауэра было мало времени раздумывать над проблемами будущего, хватало мелких повседневных дел. Прежде всего следовало наладить отношения с американскими оккупантами, а об американцах как нации кёльнский бургомистр не имел ровно никакого представления. Те первые двое американских офицеров, которые появились у порога его рен-дорфского дома, произвели на него вполне благоприятное впечатление, и поначалу он был даже рад, что Кёльн попал в зону ответственности армии США.

Незнание английского не помешало ему установить хороший контакт с ее тамошними представителями, упоминавшимися подполковником Паттерсоном и капитаном Швейцером. Ему польстило, что, как он узнал, его фамилия фигурировала первой в «белых списках» американской разведки[27] как для Кёльна, так и для Германии в целом (при этом он, видимо, не вполне понял подлинную причину такого предпочтения своей персоне, а она была очень простой — его фамилия начиналась с буквы «А», да и вторая буква в ней была достаточно близка к началу алфавита).

Вместе с тем чем дальше, тем сильнее у Аденауэра росло разочарование американскими проконсулами. «Малые дети в том, что касается науки управления» — так отозвался он о них в разговоре со швейцарским консулом Вейсом — «дядей Тони», как его звали в семье. Все распоряжения американских администраторов касательно расчистки улиц, снабжения населения продуктами или восстановления транспортной системы казались ему абсурдными, не учитывающими «немецкий менталитет». «Малые дети» — это была самая безобидная характеристика; он говорил об американцах еще и как о «плохо воспитанных», «распущенных» детях. Когда они ушли из города, передав его под управление англичанам (это произошло 21 июня 1945 года), Аденауэр нисколько об этом не сожалел.

Его, однако, ждало новое разочарование. Он рассчитывал, что его отношения с британскими оккупантами будут развиваться по тому же сценарию, как и после Первой мировой войны, но не учел, что ситуация 1945 года коренным образом отличалась от той, которая была в 1918-м. Тогда англичане вошли в город, который практически не был затронут военными действиями, в котором сохранилась вся административная инфраструктура. Тогда они могли позволить себе особенно не вмешиваться в сферу компетенции бургомистра, и тот, по сути, не испытывал особых ограничений со стороны оккупационных властей. Ныне все было по-иному: Кёльн представлял собой груду развалин, в котором число жителей уменьшилось с семиста девяноста тысяч в канун войны до тридцати тысяч, причем и эта горстка уцелевших горожан вынуждена была ютиться но подвалам; старая нацистская администрация рухнула, а новую еще только предстояло создать; в мировом общественном мнении преобладало чувство ненависти и отвращения к немцам как таковым вне зависимости от их личной ответственности за нацистские зверства. На внеслужебные отношения с немцами был наложен строжайший запрет, предусматривалось проведение в жизнь программ «денацификации» и «перевоспитания». Позицию британского военного истеблишмента исчерпывающе выразила

фраза из относящегося к ноябрю 1945 года меморандума бригадного генерала Джона Барраклоу: «Для военной администрации любой немец — персона нон грата».

На все это накладывались и чисто технические трудности. Не было телефонов, бумаги — и прежде всего не было подходящих людей, которых можно было бы использовать в органах немецкого самоуправления. Почти все, кто занимал соответствующие должности на протяжении последних двенадцати лет, были нацистами и подлежали увольнению. Проблемы были даже с подысканием помещения для бургомистра: для работы ему и его немногочисленному аппарату нашли здание, в котором раньше располагалась страховая компания, а для жилья им с Гусей предоставили две комнаты в госпитале Гогенлинд. Для человека, приближавшегося к восьмому десятку, это был не самый удобный вариант. Более того, все, что он делал или собирался сделать, подлежало строжайшему контролю со стороны оккупационных властей. Хозяевами в городе были именно они, а вовсе не бургомистр. Неудивительно, что Аденауэр стал быстро терять интерес к городским делам.

Мысли его все больше начали обращаться к проблемам политического будущего Германии, и все больше он концентрировался на попытках сыграть, как и раньше, на противоречиях между победителями. Он знал, что, когда в феврале 1945 года на Ялтинской конференции было решено предоставить зону оккупации Франции, то для нее выкроили несколько кусков из американской и английской зон. Знал он и то, что французы, в частности генерал де Голль, крайне недовольны незначительностью предоставленной им территории и хотят ее расширить: в ходе состоявшейся в июле 1945 года беседы между швейцарским консулом Вейсом и французским генералом Бийоттом последний недвусмысленно высказался за включение Аахена и Кёльна во французскую зону, и «дядя Тони» тут же сообщил об этом своему другу Аденауэру.

Тот воспринял это известие как сигнал к активным действиям. В период между августом и октябрем 1945 года Аденауэр имел по меньшей мере шесть тайных встреч с французскими эмиссарами — обычно в присутствии Вейса. Первая состоялась в Бад-Годесберге, ее участники (среди них была и супруга Аденауэра, Гусей) якобы просто откликнулись на приглашение швейцарского консула вместе поужинать. После этого место встреч было перенесено на территорию французской зоны. Во время одной из них, состоявшейся 1 сентября, Аденауэр, согласно донесению французского капитана Гуссо, позволил себе ряд уничижительных высказываний по адресу английских

администраторов: они-де по уровню образования и общей компетентности сильно уступают своим предшественникам времен первой оккупации, так что, если можно было бы создать на территории Германии ряд небольших государств и включить в одно из таких государств Рейнланд, Рур и часть Вестфалии, то он, Аденауэр, был бы за то, чтобы это новое государство находилось под протекторатом Франции. Ясно, кого он имел в виду в качестве главы этого предполагаемого государства — разумеется, себя собственной персоной.

Вейс оформил эти идеи в виде специального меморандума, который он 22 сентября направил в Берн (текст этого меморандума скорее всего был написан самим Аденауэром). Там содержались следующие знаменательные строки: «После создания Рейнского государства из оставшихся частей (Германии) можно было бы организовать еще два государства… Каждое из трех государств должно было бы проводить свою собственную внешнюю политику и иметь свои собственные представительства за рубежом».

Как и можно было предположить, в политическом департаменте швейцарского МИДа пришли в ужас от подозрительной активности простого консульского чиновника, вознамерившегося втянуть нейтральную Швейцарию в дела великих держав. Из Берна Вейс получил строгое внушение, в котором, в частности, говорилось: «Мы не одобряем вашу инициативу в данном вопросе и предлагаем незамедлительно прекратить всякие попытки активного воздействия на позиции обеих сторон и всякие посреднические усилия в плане выработки ими согласованных (сепаратистских) вариантов».

Вейс явно превысил свои полномочия, за что и получил выговор. Но еще более опасную, даже бесшабашно-азартную игру вел в данном случае Аденауэр. Если бы англичанам стало известно об этих интригах, это означало бы конец его политической карьеры в британской зоне: никто не потерпел бы на ответственном посту бургомистра крупнейшего города человека, поддерживающего тайные и несанкционированные контакты с представителями другой оккупирующей державы. Эти контакты сами по себе свидетельствовали о явном ухудшении отношений между Аденауэром и британскими властями. Одна из конфликтных ситуаций была вызвана его отказом выполнить приказ о вырубке деревьев в кёльнском «зеленом поясе». Правда, согласно версии бывшего сотрудника английской администрации в Германии, лорда Аннана, которую тот изложил в интервью автору этой книги 6 октября 1998 года (незадолго до своей кончины), оппозицию бургомистра вызвало не само решение о

заготовке древесины за счет внутригородских ресурсов, а запланированное применение этой древесины в качестве топлива; Аденауэр считал, что было бы более продуктивно использовать ее в качестве крепежа на шахтах региона. Трудно сказать, так ли это было на самом деле, во всяком случае, данный конфликт был далеко не единственным; британские власти были крайне недовольны медленными темпами расчисток развалин и почти полным отсутствием каких-либо мер по расселению возвращавшихся в город беженцев.

Английская разведка, судя по всему, так и не узнала о том флирте, который Аденауэр затеял с французами, но от нее не укрылся факт его вовлеченности в «политические интриги» внутри британской зоны. Имелись в виду прежде всего его контакты с немецкими политиками в Бонне, Бад-Годесберге и не в последнюю очередь в Кенигсвинтере, где группа, возглавляемая неким школьным учителем по фамилии Шверинг, уже активно вела подготовительную работу к созданию Христианско-демократической партии. До поры до времени оккупационные власти не вмешивались, но досье на Аденауэра пополнилось обвинением в незаконной деятельности, нарушающей распоряжение оккупационной власти: в зоне действовал строгий политический «карантин».

Таким образом, к моменту, когда 28 сентября в расположенную в Дюссельдорфе штаб-квартиру английской военной администрации области Северный Рейн поступил сигнал генерала Фергюсона, там уже сложилось вполне определенное, далеко не благоприятное мнение о личности доставшегося но наследству от американцев кёльнского бургомистра. Теперь налицо был благовидный предлог избавиться от него, инсценировав громкий политический скандал. Однако реакция главы администрации, бригадного генерала Барраклоу, была достаточно сдержанной. Хотелось бы особенно подчеркнуть этот факт, поскольку впоследствии апологеты Аденауэра превратили этого английского военачальника в нечто среднее между злодеем, по непонятным соображениям развернувшим личную вендетту против будущего канцлера ФРГ, и недоумком, слепо поверившим необоснованным наветам его политических соперников. Самую мягкую характеристику ему дает лорд Пакенхэм, бывший одно время главным лицом, определявшим английскую политику в Германии: «обычный службист, ничем не выдающийся ни в ту, ни в другую сторону».

Между тем Барраклоу, как бы его ни оценивать, отнюдь не был тупым солдафоном или политиканствующим самодуром; это был человек, с честью исполнивший свой воинский долг и по

заслугам награжденный. Он начал службу простым солдатом во время Первой мировой войны, в 1918 году был награжден Военным крестом, продолжил карьеру кадрового военного в Ираке (где в 1920 году получил тяжелое ранение), а затем в Египте и Индии. В начале Второй мировой войны он командовал батальоном и стал одним из героев обороны Тобрука в 1941 году. Он пять раз был отмечен в приказах командования, получил Орден за доблестную службу и очередное тяжелое ранение. В конце войны он командовал бригадой и принимал участие в форсировании Рейна и развернувшемся затем наступлении в глубь Германии. Политикой он не интересовался, а если говорить об эмоциях, то, как и многие другие английские военнослужащие, особой любви он к немцам не испытывал, кем бы они там ни были.

Вместе с тем он чувствовал ответственность за тех, кто был под его началом, вне зависимости от того, шла ли речь о своих или чужих. Дисциплина — да, но и справедливость тоже — таков был его принцип. В этом отношении весьма характерны первые строки его ответа на присланную ему «телегу». «Я хорошо знаю доктора Аденауэра, — пишет он. — Я согласен с генералом Фергюсоном в том, что. Аденауэр действительно представляет собой личность, обладающую выдающимися способностями. Мне, однако, представляется весьма сомнительным, чтобы он в настоящее время мог оказывать вообще какое-либо — хорошее или дурное — влияние. Он производит впечатление человека усталого и пассивного, и, без сомнения, в нем уже нет того пыла, который произвел такое впечатление на генерала Фергюсона двадцать пять лет тому назад». Другими словами, главный тезис навета на Аденауэра — о том, что он политически опасен, — достаточно определенно дезавуируется.

Однако Барраклоу отнюдь не собирается выступать и в роли адвоката кёльнского бургомистра. Дальнейшее содержание его меморандума — явное тому свидетельство. Барраклоу сообщает, что он проконсультировался с военным комендантом Кёльна, полковником Гамильтоном, и пришел к заключению, что «в данный момент целесообразнее избавиться от Аденауэра, используя аргумент о его неэффективности как бургомистра; мотив политической нелояльности упоминать нежелательно». Таким образом, вопрос о снятии Аденауэра с поста бургомистра, похоже, был предрешен еще до получения фергюсоновского «разоблачения». Во всяком случае, в другом меморандуме Барраклоу, который он в тот же день, 1 октября 1945 года, направил полковнику Гамильтону, употреблялись достаточно недвусмысленные формулировки: «В отношении Аденауэра у

меня всегда имелись сомнения. Думаю, что нам имеет смысл избавиться от него, что я и предлагаю сделать незамедлительно, если у вас нет каких-либо веских доводов против. Дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу. До получения от вас соответствующей информации я воздержусь от каких-либо дальнейших шагов по этому делу». К этому меморандуму Барраклоу приложил копию сочинения Фергюсона. Гамильтон не высказал каких-либо возражений против инициативы своего непосредственного начальника. Тот решил действовать.

Аденауэру послано распоряжение явиться утром 6 октября в комендатуру. Однако с его доставкой адресату промешкали, и утром 6-го ничего не подозревавший бургомистр отправляется в Бонн на панихиду по майору Шибушу — тому, который организовал его побег из госпиталя в 1944 году. Внезапно на одном из КПП его останавливают и под конвоем мотоциклистов британской военной полиции доставляют обратно в Кёльн, в здание комендатуры, где его встречает взбешенный непредвиденной задержкой Барраклоу.

Слегка удивленный Аденауэр гадает насчет цели неожиданного вызова: может быть, Барраклоу хочет побеседовать с ним по поводу судьбы «зеленого пояса»? Или о долгосрочных планах реконструкции города, которые он ему недавно показывал? Или о результатах только что прошедшего на прошлой неделе первого заседания городского магистрата? Оказалось, что речь идет вовсе не об этих сюжетах и вообще отнюдь не о «беседе».

Войдя в кабинет, Аденауэр видит за столом Барраклоу, рядом с ним — еще двух офицеров, полковника Чаррингтона и майора Лоусона. За ними — переводчик. Офицеры, разумеется, сидят, переводчик стоит. Барраклоу и не подумал встать, чтобы пожать руку вошедшему; тот направляется к стулу, но его останавливает оклик Барраклоу: «Стоять!» — затем он зачитывает Аденауэру распоряжение о снятии его с поста бургомистра Кёльна. Оно начинается с констатации того, что он, Барраклоу, не удовлетворен результатами, достигнутыми в ремонте жилого фонда, расчистке развалин и подготовке городского хозяйства к зиме. Отмечается также, что два месяца назад Аденауэру было сделано предупреждение о серьезных последствиях, если положение не будет исправлено. Концовка лаконична и проста: «Я считаю, что вы не выполнили свой долг по отношению к населению Кёльна», — в связи с чем принято решение об освобождении его от обязанностей бургомистра.

Процедура — как в военном трибунале, где Барраклоу неоднократно заседал и выносил суровые приговоры

провинившимся подчиненным. Для Аденауэра все это выглядело как намеренное оскорбление. Закончив чтение, Барраклоу обратился к жертве: «Имеете что сказать?» — опять-таки стандартная формула военной юстиции. Аденауэр ограничился коротким «нет», подписался под оригиналом распоряжения, повернулся и вышел. В своем кабинете он собрал свои вещи и отправился в Рендорф, где его ждали Вейс и подполковник Гуро: у них был запланирован рабочий завтрак. Конрад и Гусей опоздали; «Форс-мажорные обстоятельства», — объяснил новоиспеченный безработный. Завтрак продолжался четыре часа, за это время наверняка всплыла и тема отставки и сопутствующих ей унизительных подробностей аудиенции у английского генерала.

Впрочем, дело было не только в испытанном унижении; в переданной ему бумаге было по меньшей мере три пункта, которые особенно больно задевали достоинство и интересы уволенного. Первый обязывал Аденауэра «покинуть Кёльн в возможно более короткий срок, во всяком случае, не позднее 14 октября». Было не совсем ясно, что имеется в виду — запрещается ли ему лишь проживание в Кёльне либо даже и кратковременное пребывание в пределах городской черты. Он попытался выяснить это в письме, адресованном в кёльнскую штаб-квартиру оккупационной администрации. Если ему вообще нельзя бывать в Кёльне, то кто же сможет сопровождать Гусей при ее визитах к врачам в госпитале Гогенлинд, где он должен встречаться со своим адвокатом, который ведет дело по его иску о возмещении убытков, которые он потерпел из-за своих «политических воззрений»? Гамильтон переправил это письмо вышестоящему начальнику — Барраклоу с припиской, в которой он предлагал удовлетворить пожелание Аденауэра насчет возможности сопровождать больную жену в Кёльн (кстати, той же почтой он вернул без каких-либо комментариев и присланную ему ранее «телегу» Фергюсона). Реакция Барраклоу была неожиданно жесткой. Гамильтону было срочно послано указание отказать. «Никто не возражает против того, чтобы его супруга приезжала в Кёльн одна или с кем-либо, кроме ее мужа. Если мы разрешим Аденауэру сопровождать свою супругу к врачу, то сразу окажется, что данной госпоже необходимо посещать его ежедневно либо пять дней из шести». Как видим, генерал не был лишен своеобразного чувства юмора.

' Второй запрет гласил: «После передачи дел господину Зуту (новый бургомистр, подобранный англичанами. — *Авт.)* вы более не будете принимать участие в управлении или общественной жизни Кёльна или какого-либо иного населенного пункта области

Северный Рейн». Это было, конечно, оскорбительно, но не смертельно: как уже отмечалось, Аденауэр к тому времени и сам стал тяготиться обязанностями управленца-хозяйственника, а «общественная жизнь», если понимать под этим работу в какой-нибудь комиссии или ином органе «под колпаком» у оккупационных властей, его привлекала еще меньше.

Самым категоричным и неприятным для Аденауэра был третий запрет, выраженный недвусмысленной формулой: «Вы не будете заниматься — прямо или косвенно — какой-либо политической деятельностью». Это отрезало ему путь к участию в деятельности зарождавшейся Христианско-демократической партии — и это при том, что в середине сентября ее деятельность в британской зоне была официально разрешена и не кто иной, как он, Аденауэр, считался главным претендентом на роль ее лидера.

Что же все-таки сыграло главную роль в решении об этих запретах? Исторические изыскания относительно поведения Аденауэра в 20-е годы, инициированные «сигналом» Фергюсона? Или информация о его политических интригах уже в первые месяцы после окончания Второй мировой войны в Европе? Для самого Аденауэра все было ясно: он подозревал, что новое лейбористское правительство Великобритании сделало ставку на немецких социал-демократов и убирает с дороги всех возможных их конкурентов.

Спустя двадцать лет в своих мемуарах он добавил конкретики в эту версию: якобы его старый соперник Герлйнгер сочинил для британской секретной службы доклад о ситуации в Кёльне, где обрушился на политику бургомистра, в частности, на принятое в июле решение о восстановлении системы раздельного обучения детей разных конфессий начиная с начальных школ. Заодно мемуарист процитировал текст интервью, которое он якобы дал 5 октября 1945 года, за день до увольнения, журналистам из «Ныос кроникл» и Ассошиэйтед Пресс и в котором (опять-таки по его собственным словам) содержалась критика английской политики. Речь шла, в частности, о таких перлах: «Союзники не хотят давать немецкому населению уголь для отопления… де Голль в недавней речи в Саарбрюккене заявил, что французы и немцы должны помнить о том, что они западноевропейцы; хочется, чтобы нашелся хоть один английский государственный деятель, который отозвался бы о нас как о западноевропейцах».

Версия, изложенная Аденауэром, вполне отвечала требованиям политической корректности того времени, когда она стала достоянием гласности, но это, конечно, не доказывает ее аутентичности, скорее наоборот. Возможно, упомянутый Герлйнгер и писал что-то для британской администрации, но

единственным подтверждением тому остается свидетельство Аденауэра; интересно, кстати, как он мог получить доступ к весьма секретным, разумеется, досье английских спецслужб, где должен был бы храниться «доклад Герлингера», если таковой существовал? Не лучше обстоит дело и с «интервью» Аденауэра. «Ньюс кроникл» действительно имела своего собственного корреспондента в Германии, он действительно написал серию статей о ситуации в британской зоне, но ни в одной из них, равно как и ни в одном сообщении Ассошиэйтед Пресс, нет ни малейшего намека на то, что такое интервью имело место. Опять-таки нам приходится верить на слово тому, что говорится на этот счет в мемуарах Аденауэра и его «авторизованной биографии».

Следует выслушать и другую сторону. Имеется, в частности, интересное свидетельство самого генерала Барраклоу, относящееся к 1959 году; он объяснил свое решение исключительно невозможностью найти общий язык с Аденауэром по практическим вопросам управления городским хозяйством. Бургомистр, по его словам, все время как бы умывал руки: мол, я делаю все, что в моих силах, если кому не нравится, это его проблемы. Такая позиция никак не устраивала оккупационные власти, причем отнюдь не только лично Барраклоу. В сентябре 1945 года Кёльн посетил глава оккупационной администрации всей зоны генерал Темп-лер; он был неприятно поражен, насколько Кёльн отстает в плане налаживания нормальной жизни от таких городов, как Дюссельдорф, Эссен или Дортмунд. Его высказывания по поводу тогдашней ситуации в городе, которым управлял наш герой, достаточно нелицеприятны: «Страшная разруха, не работают ни водопровод, ни канализация, нет ни освещения, ни продовольствия, повсюду вонь от разлагающихся трупов».

Вопрос только в том, кто, собственно, — Барраклоу или Темплер — принял само решение об увольнении некомпетентного хозяйственника. Темплер прямо из Кёльна заехал в штаб-квартиру Барраклоу, находившуюся в Дюссельдорфе. Что там говорилось, остается неясным. Есть, конечно, большая разница, было ли сказано: «Если старикан не справляется, выгоните его» или «Старикан не справляется, выгоните его». Барраклоу считал, что слово «если» было и что именно ему принадлежит инициатива по увольнению Аденауэра; Темплер всегда был убежден, что никакой условности в его словах не было, именно он дал твердое и недвусмысленное указание относительно необходимости смены бургомистра. Интересно, что никто из них не выражает сожаления по поводу тогдашних своих действий:

Остается вопрос, на который не отвечают ни Барраклоу, ни Темплер: если они были недовольны Аденауэром как хозяйственником, то почему в распоряжение об увольнении были включены пункты, ограничивающие свободу его передвижения и полностью запрещавшие ему какую-либо политическую деятельность? Думается, здесь сыграли роль ранее поступавшие сведения о его «политических интригах», а возможно, и более свежая информация на этот счет. Вполне возможно также, что Аденауэр действительно незадолго до разразившегося скандала пооткровенничал с английским или американским журналистом (возможно, это были те самые корреспонденты «Ньюс кроникл» и Ассошиэйтед Пресс, о которых он пишет), и эти откровения показались его собеседнику (или собеседникам) настолько возмутительными, что их содержание было решено довести до сведения не широкой публики, а, как говорится, компетентных органов. В конце концов любая критика оккупационных властей со стороны любого немца считалась криминалом, всякий уличенный в таком преступлении в принципе подлежал суду военного трибунала, так что можно сказать, что наш герой еще удивительно легко отделался.

Еще более удивительно то, что английские военные власти после столь жесткого начала довольно быстро дали задний ход. Акция Барраклоу вызвала неоднозначную реакцию не только со стороны некоторых офицеров в военной администрации Кёльна, но и в политическом управлении британской Контрольной комиссии в Берлине. Один из ведущих сотрудников управления, упоминавшийся выше подполковник Ноэль Аннан, только и смог вымолвить: «Боже мой, что они там натворили!» Последовала серия телефонных переговоров между Берлином, Любеком (где находилась центральная штаб-квартира оккупационной администрации британской зоны), Дюссельдорфом и Кёльном. В результате уже 11 октября Барраклоу (по рекомендации Контрольной комиссии) направил Аденауэру личное послание, в котором во изменение текста первоначального распоряжения ему разрешалось участие «в законной политической деятельности за пределами административного округа Кёльн». Через несколько дней, когда Гусей с амбулаторного режима перешла на положение лежачей больной и была помещена в госпиталь Гогенлинд, последовала еще одна уступка: военный комендант Кёльна, полковник Гамильтон, своей властью предоставил опальному экс-бургомистру право «три раза в неделю в пределах установленного времени» посещать супругу, о чем 15 октября информировал Барраклоу, который, судя по всему, молча согласился с фактической отменой одного из пунктов своего

распоряжения.

В Рендорф началось настоящее паломничество британских эмиссаров из тех подразделений английской оккупационной администрации, которые занимались вопросами большой политики. Первым таким визитером стал капитан Майкл Томас — сын известного деятеля культуры веймарской Германии Феликса Холлендера, эмигрировавший из Германии после принятия антисемитских «Нюрнбергских законов» и с началом войны добровольцем вступивший в английскую армию (тогда он и решил взять псевдоним, сменив не только фамилию, но и имя, став из Ульриха Майклом). В 1945 году он был сотрудником разведывательного отдела при штабе Темплера и колесил по всей зоне в поисках подходящих политиков, на которых англичане могли бы сделать надежную ставку. Именно с этой целью он решил заехать в Кёльн и повидаться с его бургомистром, однако обнаружил только пустой кабинет. В комендатуре ему объяснили, что Аденауэр три дня назад как уволен со своего поста. Томас поспешил навестить изгнанника в его рендорфском прибежище. По его воспоминаниям, Аденауэр был все еще в состоянии шока от испытанного унижения. В ходе разговора для Томаса становилось все более очевидным, что Барраклоу допустил грубую политическую ошибку. Об этом он поспешил информировать Аннана. О реакции последнего мы уже упоминали. Она была естественной: в его глазах

Аденауэр был одним из потенциальных лидеров возрожденной Германии, о чем явно не подумали военные, которые считали, что период прямого правления оккупационных властей продлится еще неопределенно долгое время.

Аннан решил сам отправиться к Барраклоу, чтобы убедить его исправить ситуацию. Тот категорически заявил, что о восстановлении Аденауэра в должности бургомистра не может быть и речи. С этим Аннан согласился. Он не собирался спорить с генералом по поводу оценок компетентности своего протеже как хозяйственника, в этом качестве он его не интересовал, однако он решительно потребовал снять для него ограничения на передвижения и запрет на политическую деятельность. Как мы видели, это было сделано.

В начале декабря подполковник Аннан лично посетил Аденауэра в Рендорфе. Аннану тогда было двадцать восемь лет, его собеседнику — шестьдесят девять. Уже одно это придавало известное своеобразие их диалогу. Аннан вспоминал, что его приняли с какой-то печальной церемонностью, не было ни упреков, ни отчужденности, но присутствовало «нечто, что на дипломатическом языке называется осторожно-выжидательной

позицией». Аденауэр начал с заявления, что если гость намерен обсуждать с ним политические вопросы, то им следует отправиться в Ункель, за пределы Кёльнского административного округа, только там они могут поговорить свободно. Аннан воспринял это как шутку, Аденауэр со всей серьезностью повторил свое предложение: иначе его могут привлечь к военно-полевому суду.

Аннан поспешил рассеять опасения собеседника, явно деланные, и изложил ему суть дела. Он призвал Аденауэра войти в положение военных властей: им приходится решать трудные проблемы, для них совершенно новые; к их решению они не вполне подготовлены. Запрет на его политическую деятельность отменяется, а что касается потери поста бургомистра, то это только поможет ему как политику, повысит его популярность. Тут, как вспоминает Аннан, его собеседник «позволил себе слегка улыбнуться». После этого разговор пошел легче. Аннан упомянул, что после Первой мировой войны кое-кто считал Аденауэра настроенным антибритански; его собеседник запротестовал: ничего подобного, признав, однако, что «ему трудно представить себе Англию в качестве собственно европейского государства».

Беседа длилась не больше часа, но имела важные последствия. 14 декабря Барраклоу вновь вызвал к себе опального экс-бургомистра. На этот раз обстановка встречи была более сердечной. Барраклоу объявил, что «д-р Аденауэр может принимать участие в законной политической деятельности как в пределах Кёльнского административного округа, так и вне его» и что он «отныне может проживать в Кёльне или посещать его по его собственному желанию». Со стороны Барраклоу это была полная капитуляция.

Снятие запрета на политическую деятельность было для Аденауэра очень своевременно. На 14 декабря в Бад-Годесберге было намечено собрание представителей местных групп христианских демократов, которые к тому времени появились в различных частях Германии. Теперь Аденауэр получил возможность на нем присутствовать. Общий тон прошедшей там дискуссии его не устроил. Большинство речей было выдержано в духе «христианского социализма». Влияние левых идей явственно чувствовалось в речи лидера ХДС восточной зоны Андреаса Гермеса; ее воздействие на аудиторию несколько снизил тот факт, что сам Гермес отсутствовал: советские власти не дали ему разрешения на выезд, а текст, который просто зачитывается кем-то другим, как это случилось в данном случае, многое теряет в своей убедительности. «Левый марш» на этом форуме возглавил Якоб Кайзер — тот самый, который в свое время безуспешно

пытался вовлечь Аденауэра в заговор 20 июля и которому удалось избежать печальной судьбы, постигшей большинство заговорщиков. Аденауэр решительно выступил против этой тенденции. Ему и его единомышленникам удалось заблокировать принятие какой-либо политической платформы. Единственным результатом встречи было принятие общего названия для всего движения: «Христианско-демократический союз». Идеологическая битва была отложена на будущее.

Отношения между Аденауэром и английскими властями оставались далекими от гармонии. В начале 1946 года была предпринята попытка их улучшить. С инициативой выступил Форин офис. Главе политического отдела британской оккупационной администрации Кристоферу Стилу была послана инструкция лично встретиться с Аденауэром и постараться наладить с ним деловой контакт. Стил дал соответствующее поручение Аннану, а тот связался с подполковником Рональдом Грирсоном, который был тогда руководителем подразделения военной разведки в Кёльне, чтобы тот подобрал время и место для встречи.

Она состоялась в офицерской столовой в Кёльне и длилась с часу дня до семи вечера. Все это время Аденауэр непрерывно потчевал троих английских собеседников — Стила, Аннана и Грирсона — длинными экскурсами в историю с особым упором на времена Священной Римской империи. Когда наконец поток аденауэровского красноречия иссяк и он покинул застолье, измученные англичане, чтобы прийти в себя, навалились на оставшееся виски. Итог встречи подвел Стил. Его вывод был однозначен: «С ним каши не сваришь. Он все время толкует о своем «западном христианстве» и что за ним будущее. Для нас это не годится».

Неизвестно, какие выводы из этой встречи сделал сам Аденауэр. Дальнейшее развитие событий показало, что англичане его не особенно интересовали, в том числе и поддержка с их стороны. Он полностью ушел в дело создания своей собственной политической партии.

ГЛАВА 2.
СНОВА — КАРЬЕРА ПОЛИТИКА, СНОВА — ЛИЧНАЯ ДРАМА

> *«Принцип абсолютного приоритета личности, ее достоинства, в том числе и по отношению к государству, — это прямая производная от западного христианства»*[28]

Однажды, много позже описываемых здесь событий, в ходе интервью с корреспондентами агентства Си-би-зс 23 октября 1962 года, Аденауэру был задан вопрос «на засыпку»: как он считает, смог ли бы он стать канцлером, если бы его в октябре 1945 года не сместили с поста бургомистра? Ответ последовал быстрый и категоричный: «Нет, конечно же, нет!» Трудно сказать, так ли это было на самом деле и так ли на самом деле думал интервьюируемый. Однако несомненно одно: снятие груза докучливых и неблагодарных хозяйственных забот высвободило в нем огромный заряд энергии, которую он направил не на обычные стариковские забавы типа комичных технических экспериментов или любительского садоводства (хотя в ту осень он провел на своем участке немало времени), а на более амбициозный проект — создание политической философии для новообразованного ХДС.

То, что он создал — несколько страниц, исписанных его характерным, с аккуратным наклоном почерком, — вообще говоря, не блистало оригинальностью. Очевидно было заимствование из «Квадрагезимо анно» — папской энциклики, которую он в свое время проштудировал в монастыре Мария Лаах. Тот же самый тезис о том, что государство не должно покушаться на «достоинство и неотчуждаемые права личности», тот же самый упор на «принципы христианской этики и культуры… которые должны пронизывать всю ткань государственной жизни». И, разумеется, то же самое осуждение социализма и коммунизма, как у Пия XI.

Были, впрочем, и некоторые отличия. Тезис о частной собственности как истинно христианской ценности, столь сильно акцентированный Пием XI, в аденауэровской программе явно приглушен; здесь он скорее обнаруживает параллели с «Рерум новарум» Льва XIII с ее призывами к освобождению и свободному развитию «трудящихся классов». Аденауэр и другие отцы-основатели ХДС апеллировали к максимально широкому спектру

социально-политических сил и группировок — не только к католикам, но и к протестантам, не только к предпринимателям, но и к средним слоям и членам профсоюзов, к местным, локальным инициативным группам (последнее, помимо прочего, находило понимание и поддержку со стороны оккупационных властей, которые придерживались концепции построения демократии «снизу вверх»). ХДС строился не на конфессиональной основе, и, более того, его лидеры решительно отмежевались от старой партии Центра, воссозданной, но так и не сумевшей избавиться от клейма пособничества Гитлеру из-за вотума ее фракции в пользу принятия закона о чрезвычайных полномочиях в 1933 году. Учитывая, что партия эта не приобрела ни массовой базы, ни четкой организационной структуры, оставшись аморфным верхушечным образованием, идти на контакт, а тем более на союз с ней было нецелесообразно.

Мощную поддержку Аденауэр нашел в лице кардинала Фрингса — главного духовного лица в католической общине Рейнланда. Последний, кстати, также не испытывал никакой симпатии к партии Центра и вполне разделял идею о приоритете личной духовной свободы над государственной властью.

Аденауэровская программа была своего рода героическим вызовом духу времени. В послевоенной Европе господствовало мнение, что капитализм безнадежно обанкротился, что будущее — за какой-то формой общественного коллективизма, а никак не за системой, акцентирующей ценности индивида: инициативу, предприимчивость и т.д. Это же мнение определяло и подход к решению германской проблемы; из всех оккупирующих держав только американцы придерживались иной позиции. И среди самих немцев, включая верующих католиков, растущей популярностью стала пользоваться идея о том, что интересы общества должны превалировать над интересами личности. Показателем этой тенденции стало возникновение и развитие доктрины «христианского социализма».

Главным ее разработчиком был Лауренций Зимер — настоятель доминиканского монастыря Вальбергер, в свое время участник кружка Герделера, после провала заговора 20 июля ушедший в глубокое подполье и сумевший благополучно дождаться прихода английских войск. Сам он был крайне высокого мнения о своей репутации как теолога, без ложной скромности ставя себя на одну доску с Фомой Аквинским. Даже если это и было так, весьма сомнительно, чтобы в идеях средневекового философа можно было найти адекватный ответ на проблемы XX века, но тем не менее в конкретной обстановке 1945 года Зиммер на какое-то время (правда, недолгое) стал чем-то

вроде властителя дум для многих его соотечественников. Даже его противники почтительно именовали его «белым кардиналом», имея в виду, что он противостоял официальным церковным иерархам и в то же время не уступал им по престижу и влиянию.

Впрочем, причины взлета Зимера коренились не столько в его теологических изысках, сколько в более земных сферах. Его взгляды позволяли перебросить мостик между христианскими демократами и социалистами и, более того, открывали перспективы на менее враждебные (если не более дружественные) отношения с Востоком, с советской оккупационной зоной. Это делало их особенно привлекательными для восточногерманского ХДС, лидером которого был, как уже упоминалось, Андреас Гермес, один из самых выдающихся политиков того времени; его заместители, Якоб Кайзер и Зимер, были, кстати, старыми знакомыми; оба они, напомним, присутствовали на тайном собрании в Кёльне осенью 1942 года, когда была предпринята неудачная попытка привлечь Аденауэра в круг антигитлеровских заговорщиков. Собственно, зачитанная на бад-годесбергском форуме в декабре 1945 года речь Гермеса по своему духу и содержанию как раз и отражала идеологию «христианского социализма».

Спору о доктринах сопутствовал и спор об организационных принципах построения партии: должен ли новообразованный ХДС управляться централизованно, из Берлина, или в каждой зоне должны иметься собственные, независимые друг от друга структуры, объединяемые между собой федеративными связями? Гермес и Кайзер были за первый вариант, Аденауэр — за второй. Речь, разумеется, шла не просто о тонкостях организации, вопрос был глубже: кто будет руководить партией, кому будет принадлежать реальная власть?

В борьбе за власть и влияние в партии вопрос о том, за кем пойдет британская зона, имел существенное, даже, пожалуй, решающее значение. Именно в этой зоне было расположено индустриальное сердце Германии — Рур, и через его территорию шли главные торговые пути, замыкавшиеся на североморские порты, которые также все, за исключением американского анклава в Бремене, относились к британской зоне оккупации. Поскольку в крупнейшей земле американской зоны — Баварии — партийная структура развивалась но собственному пути, отличному от того, что стал складываться в других частях Германии, не было преувеличением сказать, что тот, кто оказался бы во главе ХДС английской зоны, неизбежно стал бы лидером этой партии в масштабах всей Западной Германии. Аденауэр все это прекрасно понимал и со всей вновь обретенной энергией

принялся за решение двойной задачи: во-первых, предотвратить перенос партийного руководства в Берлин, а во-вторых, подчинить его своей воле, встать самому на высшую ступень партийной иерархии.

Для решения этих задач требовалось немалое искусство политического бойца. В качестве бургомистра Кёльна Аденауэру редко приходилось вести публичные баталии со своими оппонентами; он был мастером подковерной борьбы, в его власти было увольнять и нанимать сотрудников, не вступая в полемику насчет обоснованности или необоснованности своих решений. Теперь все было по-иному. Все, что он делал или собирался сделать, он должен был достаточно убедительно объяснить общественности и, более того, — согласовать с оккупационными властями. Учитывая его возраст, поистине поразительно, как быстро и эффективно наш герой сумел адаптироваться к этим новым условиям.

Прежде всего было, разумеется, необходимо точно определить круг соперников и возможные угрозы с их стороны. Гермес и Кайзер? Оба они — уроженцы Рейнланда, и это автоматически повышает их рейтинг в ХДС британской зоны, однако сейчас оба — в Берлине, действуют в рамках ХДС восточной зоны и серьезную конкуренцию Аденауэру могут представить, только если перейдут на Запад. Пока это исключено. Впрочем, позиции Гермеса ослаблены тем, что советские власти сместили его с поста председателя ХДС из-за того, что он воспротивился проведению аграрной реформы. Остается Кайзер, но у него на Западе отсутствует организационная база, хотя если речь пойдет об объединении зональных организаций ХДС в общегерманском масштабе, то его шансы резко вырастут, а шансы Аденауэра уменьшатся. Лео Шверинг? Он один из основателей кёльнской организации христианских демократов, потенциально опасен. Остаются еще два претендента на лидерство: Фридрих Хольцанфель, бургомистр Херфорда, этот коротышка с плохим характером, и Ганс Шланге-Шенинген, высокий, представительный мужчина, «тип английского аристократа», — его будет поддерживать организация Шлезвиг-Гольштейна. Конкурентов, таким образом, немало.

Сложнее с потенциальными союзниками. Да и откуда им было появиться? В конце концов двенадцать лет Аденауэр прожил, по сути дела, в уединении, за это время сменилось целое поколение. Единственно, на кого он мог положиться, — это на старого своего друга Роберта Пфердменгеса. С его помощью удалось собрать группу политиков, которые конституировались в качестве исполнительного комитета ХДС Рейнской области и

выразили готовность поддержать кандидатуру Аденауэра на пост председателя общезональной организации партии.

Тот, в свою очередь, сделал хитрый ход: он пригласил всех членов исполкома к себе на празднование своего семидесятилетия. Юбиляр естественным образом оказался персоной номер один на этом мероприятии и превратил его в четко разыгранный политический спектакль. Среди присутствовавших самыми значительными фигурами были два бывших деятеля профсоюзного движения, Карл Арнольд и Иоганнес Альберс, которые представляли как раз «социал-христианское» крыло в партии. Они попытались было развернуть дискуссию о политической платформе движения, но обстановка юбилейного торжества тому, видимо, мало способствовала, и обсуждение этого вопроса было решено, как и в ходе бад-годесбергского форума, отложить на будущее. Главное на этом этапе для Аденауэра было достигнуто: он обеспечил себе поддержку левого крыла в ХДС в борьбе за лидерство, не сделав при этом никаких уступок по вопросу о политической программе.

Через три дня, 8 января, — еще один форум, на котором Аденауэр при поддержке Арнольда, Альберса и, конечно, Пфердменгеса блестяще все срежиссировал. На этот раз речь шла об официальном заседании исполкома, на котором должны были быть избраны представители от рейнландской организации ХДС в так называемый Зональный консультативный совет — орган, который британские власти решили создать с намерением превратить его в дальнейшем в некий зародыш зонального правительства (что, правда, не совсем удалось). Как всегда в таких случаях, было много споров и даже острых стычек по поводу списка кандидатов, однако в конечном счете там остались только Аденауэр, Пфердменгес, Арнольд и еще трое из числа гостей недавнего юбиляра. Шверинг оказался в числе «заместителей», то есть фактически мог рассчитывать только на то, чтобы подменять того или иного члена фракции в его отсутствие. Его звезда явно закатывалась. На том же заседании были избраны делегаты на общезональный съезд ХДС, который предполагалось провести в Херфорде 19–20 января. Было ясно, что делегация Рейнланда будет выдвигать Аденауэра на пост председателя ХДС всей британской Зоны.

Херфордский съезд стал еще одним триумфом Аденауэра, его умения быстро ориентироваться в новой обстановке и использовать неожиданно представляющиеся возможности. Мало кто из делегатов, съехавшихся из разных земель зоны: Шлезвиг-Гольштейна, Нижней Саксонии, Вестфалии, Рейнланда, — знал друг друга раньше. Это была аморфная масса, лишенная

ориентиров и лидера. Наш герой тут же постарался заполнить этот вакуум — разумеется, своей собственной персоной. Когда делегаты, все как один мужчины и все в почти одинаковых строгих темных костюмах, утром перед первым заседанием начали заполнять зал заседания и рассаживаться но местам, никто не решился занять большое кресло, стоявшее во главе стола. Никто, кроме Аденауэра. Он, как, видимо, и большинство собравшихся, догадывался, что оно зарезервировано для того, кто их, собственно, пригласил, — бургомистра Херфорда Хольцапфеля, который, как предполагалось, и должен был открыть форум. Однако Аденауэра это не остановило. Бодрой походкой он прошел вдоль стола и спокойно уселся в председательское кресло. Выждав немного, встал, попросил прекратить разговоры и объявил: «Я родился 5 января 1876 года, так что среди вас, наверное, самый старый. Если никто не возражает, то по праву старшинства я принимаю на себя обязанности председателя».

Сказано это было легким, шутливым тоном, и многие действительно засмеялись. Смех был, правда, у некоторых довольно нервный — их явно поставили перед свершившимся фактом: Аденауэр фактически сам назначил себя их лидером, причем это было сделано так, что вроде и не подкопаешься. Обретенную позицию самоназначенец использовал на все сто. Прежде всего он разделался со своим главным соперником — Андреасом Гермесом. Аргументация была очень простая: Гермес представляет восточную зону, а значит, не имеет нрава участвовать в выборных органах британской зоны, в лучшем случае он может рассматриваться как гость съезда. Возмущенный Гермес покинул зал, к вящему удовлетворению председателя. Делегация Шлезвиг-Гольштейна, как оказалось, еще не определилась с утверждением мандатов избранных делегатов и сама предпочла для своих членов статус наблюдателей. Это лишило Шланге-Шенингена нрава бороться за пост председателя — на второй день работы он также покинул съезд. Хольцапфель согласился пойти к Аденауэру в заместители. Выборы в этих условиях стали чистой “формальностью. Единственная уступка, которую сделал Аденауэр, заключалась в том, что он не возражал, что к его титулу «председатель исполнительного комитета ХДС британской зоны» было добавлено прилагательное «временный».

Некоторые из тех, кто не был в восторге от избрания Аденауэра, придавали этой лексической тонкости принципиальное значение. Так, секретарь вестфальской организации ХДС Йозеф Каннегиссер считал, что таким образом была предотвращена «опасность фальстарта в сторону правой

идеологии», но это мнение свидетельствовало только о его политической неискушенности: однажды получив власть, Аденауэр не собирался с ней расставаться и отнюдь не собирался также ревизовать свою «рендорфскую программу».

Оставался еще вопрос о руководстве рейнландской организации ХДС, где пост председателя формально все еще занимал Лео Шверинг. Новый союзник Аденауэра, Карл Арнольд, постарался оттянуть его решение до окончания херфордского съезда. Затем в дело вступил сам Аденауэр: пообещав место одного из двух заместителей председателя лидеру протестантского крыла Отто Шмидту, он добился поддержки своей кандидатуры на пост председателя со стороны влиятельной протестантской общины. Когда 5 февраля на форуме, собравшемся в пригороде Крефельда, состоялись выборы нового руководства ХДС Рейнланда, их результаты можно было предвидеть: председателем был избран, естественно, Аденауэр, заместителями — Шмидт и Хольщшфель. Шверинг демонстративно сложил с себя все партийные полномочия. На следующее утро в письме к Альберсу он горько заметил: «Вчера был черный день для трудящихся христиан, день победы реакции но всей линии».

Так Аденауэру удалось расчистить для себя поле деятельности, избавившись постепенно от всех политических соперников. К марту 1946 года из серьезных конкурентов оставался только Якоб Кайзер. Его фигура воплощала собой две установки, обе из которых не были лишены привлекательности для многих и в западных зонах: во-первых, центральные органы ХДС должны находиться в Берлине — чтобы подчеркнуть приверженность партии делу германского единства, во-вторых, программа партии должна отражать левые тенденции — чтобы соответствовать господствующему духу времени. Для победы над Кайзером Аденауэру надо было скомпрометировать обе эти установки. За это он и взялся.

Первый шаг был сделан на сессии исполкома ХДС британской зоны, которая состоялась 1 марта 1946 года в маленьком вестфальском городке Нехейм-Хюстен. Главной его достопримечательностью был монастырь, который и стал местом проведения форума. При его выборе то соображение, что религиозная аура заведения настроит участников на должный лад, не было, пожалуй, первостепенным. Большую роль играло другое: монахини могли обеспечить приличное питание, а в полуголодной обстановке того времени это был немаловажный фактор. Возможно, участники сессии оценили заботу организаторов. Во всяком случае, Аденауэр был более чем

доволен их поведением и исходом форума. В своих мемуарах он охарактеризовал его как «одно из самых решающих мероприятий ХДС. Мы нанесли поражение тем группам, которые выступали за массированную социализацию, и тем самым предотвратили раскол партии».

Вероятно, эта оценка несколько преувеличена. Идеологическая битва еще далеко не была выиграна. Да, сессия одобрила основную идею аденауэровской программы — о «возвращении к корням западной христианской культуры», однако по вопросу о собственности мнения разделились. В конце концов была принята компромиссная формула, предложенная Альберсом. В ней говорилось о «социализации определенных отраслей экономики» как о «насущном вопросе», который, однако, не может быть решен в условиях оккупации, когда нация лишена возможности свободного выражения своего мнения. Другими словами, проблема удобно откладывалась в долгий ящик. С другой стороны, победой Аденауэра, как считал он сам, было внесение в Нехейм-Хюстенскую экономическую программу пункта 10, который гласил: «Владение собственностью представляет собой одну из необходимых гарантий существования демократического государства. Следует содействовать тому, чтобы те, кто честно трудится, имели возможность к приобретению собственности в соразмерных пределах».

Теперь, как посчитал Аденауэр, пришло время выступить с публичным изложением своих взглядов перед широкой аудиторией. Через несколько дней после Нехейм-Хюстена он произнес двухчасовую речь перед четырьмя тысячами слушателей, которые собрались в еще не вполне восстановленном после бомбежек здании Кёльнского университета. Сухой анализ в ней был густо замешен на страстных эмоциях. Эта речь дала обильную пищу для критиков: Аденауэра обвиняли в излишней конфронтационности, демагогии, прямом искажении фактов и т.д. Все это так, но нельзя отрицать и другого: это была искусная пропаганда, находившая отклик у немецкого обывателя.

Он начал с того, что бросил в публику несколько трудных вопросов: как могло случиться, что германская республика, которую «мы (?) создали в 1918 году», просуществовала всего пятнадцать лет? Как оказалось возможным возникновение Третьего рейха? Почему Германия снова втянулась в войну, которая, «начавшись с блестящих успехов, была заранее проиграна»? Ответ, который он предложил слушателям, был обманчиво прост: во всем виноваты Пруссия и… марксизм. «Прусский образ государства» он охарактеризовал как воплощение «милитаризма, урбанизма и материализма», оставив

слушателей гадать, как соотносятся между собой эти пагубные «измы». Была ли альтернатива и почему не возобладала? Аденауэр отвечает не менее категорично: «Дух национализма нашел сильнейший интеллектуальный отпор в тех частях Германии, где сильнее всего было влияние католической и протестантской религий, где меньше всего людей попало под воздействие учения Карла Маркса и его социализма. Такова истина, которую никому не дано оспорить!» Как раз оспорить-то это было нетрудно: Бавария была одной из самых католических земель Германии, и именно она стала родиной национал-социализма. Но, очевидно, аудитория была слишком увлечена красноречием оратора или за два часа успела уже достаточно утомиться, чтобы обратить внимание на такие мелочи,

Выводы, которые он буквально впечатывал в аудиторию, были вполне предсказуемы: человеческая личность уникальна и самодостаточна, единственный путь для немцев — возврат к ценностям и нормам «западного христианства», единственная партия, которая способна повести их по этому пути, — Христианско-демократический союз. То, что он сам — единственный, кто может ее возглавить, не говорилось, но, естественно, подразумевалось.

Это было еще не все: под конец речи он с неожиданной яростью обрушил свои полемические стрелы против идеологических антагонистов — нет, не против Востока, не против коммунизма. Против социал-демократии. Мотив был очевиден: именно СДПГ, как он понимал, будет главным соперником ХДС на предстоящих выборах, отсюда и выбор направления главного удара. Была и еще одна причина — личное соперничество, ведь лидером социал-демократов был один из самых харизматических политиков послевоенной Германии — Курт Шумахер.

Во многих отношениях это был прямой антипод Аденауэра. Прежде всего он был пруссак до мозга костей, уроженец расположенного на берегу Вислы городка Кульм (ныне это территория Польши). В отличие от Аденауэра в период Первой мировой войны он служил в действующей армии, был тяжело ранен, потерял руку, стал инвалидом. После войны он изучал право и экономику в Берлине, а позже переехал в Вюртемберг, где вступил в ряды СДПГ. В 1930 году он становится депутатом рейхстага, а к моменту запрещения партии нацистами в июне 1933 года он руководит ее земельной организацией в Вюртемберге. После этого — арест и десять лет концлагерей, из них восемь — в Дахау. В марте 1943 году его выпускают на свободу полутрупом: администрация лагеря явно не хотела

увеличивать статистику смертности узников. Он выжил, но его тело страшно изувечено последствиями ранения и лагерных мук. В его организме — непрерывный воспалительный процесс, он страдает язвами желудка и кишечника, черты страшно худого лица искажены сдерживаемым страданием. Вот как описывает первую встречу с ним, состоявшуюся в ноябре 1945 года, уже знакомый нам Майкл Томас (Ульрих Холлендер): «Высокий лоб, горящие, пронизывающие собеседника насквозь глаза, весь напряженный, нервный, как будто постоянно ожидающий нападения и готовый сам напасть на воображаемого противника, готовый умереть за свои убеждения, но не изменить их хотя бы на йоту… Одержимость этого человека была мне понятна… При всем моем уважении к трезвому взгляду на жизнь, характерному для Аденауэра, и при том, что политически Аденауэр был мне ближе, с первой встречи с Шумахером я ощутил к нему какое-то теплое чувство, которое я никогда не испытывал в отношении Аденауэра». Показательная реакция со стороны человека, отнюдь не сентиментального.

Шумахер был антиподом Аденауэра не только как личность, но и как политик. Это был социалист сугубо марксистского толка. В то же время это был ярый антикоммунист и националист, приверженец единой, сильной и централизованной Германии. Свои взгляды он имел обыкновение выражать в такой почти истерической манере, что многие британские офицеры в частных беседах сравнивали его как оратора с Гитлером. С другой стороны, он был в достаточной степени реалист, чтобы понять, что главная массовая база СДПГ всегда была на востоке, на территории, которая ныне входит в советскую оккупационную зону, и что раскол Германии чреват проигрышем для социал-демократического электората. Аденауэр, кстати, понимал это не хуже, но выводы оба соперника делали, разумеется, разные: Аденауэр был за создание Рейнско-Вестфальского государства, прочно ориентированного на Запад, Шумахер — против; Аденауэр считал «христианский социализм» Кайзера «тщеславной химерой», выдумкой человека, который «слишком надышался воздухом Востока»; Шумахер, напротив, рассчитывал наладить с Кайзером деловое сотрудничество.

На политическое соперничество между Аденауэром и Шумахером накладывалась еще и личная взаимная антипатия. Подполковник Аннан вспоминает характерный эпизод, когда в июле 1946 года оба этих политика встретились на летном поле аэродрома в Любеке, откуда они в сопровождении Аннана должны были лететь в Берлин: «С одной стороны от меня — Аденауэр, с бесстрастным выражением лица, в строгом темном

костюме, пальто и высокой шляпе, весь воплощение холодного достоинства; с другой — Шумахер, с непокрытой головой, редкие волосы разметаны ветром, левая рука поглаживает культю правой… в каждом его жесте — демоническая энергия, страстное нетерпение, с уст, кажется, готово сорваться какое-то язвительное замечание… цвет лица — нездоровый, из рта — неприятный запах… За все время полета и потом, когда мы в одной машине ехали из аэропорта, они даже словом не перемолвились друг с другом».

В Берлин их пригласили, чтобы информировать в порядке вежливости о решении британских властей создать в рамках зоны новую большую землю — Северный Рейн-Вестфалия. Как уже говорилось, Шумахер категорически возражал против этого плана, Аденауэр был решительно «за». Причины, побудившие англичан пойти на решительную перекройку исторически сложившейся территориальной структуры своей зоны, были очевидны: Союзный контрольный совет еще в феврале 1946 года принял решение о ликвидации Прусского государства; Советы энергично форсировали процесс объединения коммунистов с социал-демократами в своей зоне в качестве предпосылки ее последующей интеграции в коммунистический лагерь; четырехстороннее управление все больше обнаруживало свою неэффективность; все более ясно вырисовывалась перспектива того, что Германия в обозримом будущем будет расколота на две части — западную и восточную. Создание мощного центра силы в западной ее части было в этих условиях закономерным и неизбежным шагом.

Для Аденауэра такой ход событий открывал богатые возможности расширения своей оперативной базы и нейтрализации влияния «берлинцев». Британская зона была у него, что называется, уже в кармане, но его амбиции шли дальше. 3 апреля в Штутгарте, на территории американской зоны, состоялась его встреча с лидерами баварского Христианско-социального союза, а также баденской и вюртембергской организаций ХДС. Там было решено, что ХДС и ХСС будут сотрудничать, сохраняя каждый свою организационную самостоятельность; попутно выяснилось, что баварцы и знать ничего не хотят о «христианском социализме» в духе Якоба Кайзера. Было принято и еще одно знаменательное решение: общезональное руководство ХДС, когда (и если) оно будет создано, должно находиться не в Берлине, а «в одном из пунктов поблизости от Майна». Аденауэру было поручено довести это все до сведения Кайзера, что он с немалым удовольствием и сделал. Для того это была, несомненно, горькая пилюля.

Таким образом, ко времени совместного с Шумахером визита в Берлин в июле 1946 года Аденауэр уже практически не имел соперников в борьбе за власть в ХДС. Его авторитет там был почти непререкаемым. «Они буквально молятся на него» — так характеризовал настроение рядовых членов партии «диссидент» Альберс в письме Кайзеру, датированном августом 1946 года. Из предшествующего изложения может создаться впечатление, что это далось Аденауэру легко, почти играючи. Далеко не так: непрерывные начиная с марта разъезды в стареньком «хорьхе» с чуть ли не засыпающим на ходу от усталости водителем, речи и выступления на массовых митингах, на заседаниях различных партийных органов, Зонального совета, провинциального представительства, на встречах с англичанами — все это требовало огромного напряжения сил, а для человека, уже перешагнувшего семидесятилетний рубеж, граничило с чудом. Можно только поражаться тому, как нашему герою удалось все это выдержать и не сломаться, тем более что в это время на него обрушилась личная трагедия — тяжелая болезнь супруги.

Гусей так до конца и не оправилась от того, что ей довелось пережить осенью 1944 года. Осталось то, что врачи называют посттравматическим синдромом — депрессия и бессонница. Хуже того: она пыталась бороться со своими симптомами приемом пирамидона (от которого она, напомним, будучи в тюрьме, чуть не отправилась на тот свет, проглотив целую упаковку), причем, очевидно, постепенно увеличивая дозу, что вызвало тяжелое отравление всего организма. Костный мозг практически перестал вырабатывать белые кровяные тела, с помощью которых организм борется с инфекциями. С лета 1945 года, когда был установлен соответствующий диагноз, она стала проходить один за другим курсы лечения — медикаментами и переливанием крови. Это на время помогло: инфекции стали реже, развитие болезни удалось несколько приостановить. Самыми тяжелыми для Гусей были летние и осенние месяцы.

Между тем осень 1946 года стала для Аденауэра порой тяжелых испытаний на поприще политика. В различных зонах и землях прошли первые выборы в местные органы самоуправления. В британской зоне результаты, достигнутые ХДС, были вполне ободряющими, чего нельзя было сказать о выборах в Берлине. Кайзер возложил вину за свое поражение на ХДС западных зон: там отказываются перенести штаб-квартиру партии в Берлин и выдвинуть лозунг «социализации» тяжелой промышленности Рура, и это отрицательно сказывается на популярности ХДС восточной зоны. Аденауэр отреагировал в интервью газете «Ди вельт», где он прямо заявил, что Берлин не

может считаться «центром притяжения» здоровых политических сил Германии: там слишком силен «прусский дух». Он предложил перенести столицу Германии на юго-запад, «куда-нибудь в бассейн Майна». Это был ловкий ход: Рейнланд был далеко от «бассейна Майна», так что Аденауэра нельзя было упрекнуть в том, что он руководствуется местническими соображениями, и к тому же он косвенно подтвердил верность достигнутой семью месяцами ранее договоренности с баварской ХСС (хотя, между прочим, там речь шла только о месте пребывания центральных органов партии, а не столицы государства, да к тому же никто не собирался претворять эту договоренность в жизнь — Аденауэр, во всяком случае, меньше, чем кто-либо).

Еще одна проблема возникла с формированием ландтага и правительства новой земли Северный Рейн-Вестфалия. Места в ландтаге англичане распределили между партиями в соответствии с результатами выборов в местные органы, и у Аденауэра не было особых причин протестовать против этого. Премьером они назначили Рудольфа Амелюнксена, что на первый взгляд тоже должно было устроить лидера ХДС. Это был старый знакомый Аденауэра еще со школьных времен, контакты между ними не прерывались и при нацизме. Однако как политик он был Аденауэру явно не симпатичен. В веймарский период Амелюнксен одно время входил в число доверенных лиц тогдашнего министра-президента Пруссии, социал-демократа Отто Брауна, и был близок ему по политическим взглядам. Этого нынешний лидер ХДС не мог ему простить. Аденауэр не желал ни сам входить в возглавляемое им правительство, ни санкционировать участие в нем членов своей партии. Однако нашелся ослушник — не кто иной, как Карл Арнольд, согласившийся принять предложенный ему пост вице-премьера. Ранее оказавший неоценимые услуги Аденауэру в продвижении на высшие ступени партийной иерархии, он теперь стал рассматриваться как опасный еретик, тем более что выступил за налаживание сотрудничества с СДПГ и остатками партии Центра. К тому же — страшное прегрешение в глазах Аденауэра! — Арнольд поддерживал неплохие личные отношения с Якобом Кайзером.

Все эти события развертывались отнюдь не в вакууме. На международной арене усиливалось противостояние Востока и Запада. В апреле — мае и июне — июле 1946 года в Париже прошли две сессии Совета министров иностранных дел четырех держав, где, в частности, рассматривался и германский вопрос. Единственным их результатом стало то, что американцы и англичане пришли к выводу: Советский Союз не собирается

придерживаться совместной политики, согласованной в ходе Потсдамской конференции 1945 года. В этой ситуации американская сторона предложила английской объединить хозяйственные механизмы обеих зон. Англичане согласились. Так возникла Бизония — полугосударственное образование с малоудачным названием, рождавшим ассоциации со стадом жвачных животных где-нибудь в прериях. Во время очередного заседания Зонального консультативного совета, проходившего в Гамбурге в августе 1946 года, заместитель военного губернатора генерал-лейтенант Брайан Робертсон сообщил Аденауэру эту новость. Очевидно, она была для него отнюдь не неприятной.

Весьма позитивно была воспринята им и речь государственного секретаря США Джеймса Бирнса, произнесенная им в Штутгарте 6 сентября того же года. По тону она резко отличалась от того, что немцы привыкли дотоле слышать от союзников. Чего стоила такая, например, тирада: «Американский народ желает помочь немецкому народу обрести почетный мир в обществе свободных и миролюбивых наций земного шара»[29]. Примерно такой же характер носило заявление, которое спустя месяц сделал в палате общин министр иностранных дел Великобритании Эрнст Бевин. Пожалуй, единственным диссонансом прозвучало решение французского правительства о фактической аннексии — впредь до подписания мирного договора — Саарской области.

Для Аденауэра вывод из этого международного положения был ясен: Германия скоро обретет более или менее независимый статус, и тем более важно, чтобы она подошла к этому рубежу уже сформировавшейся в духе его собственных представлений и образов. Другими словами — борьба и еще раз борьба, не только с Шумахером и его партией, но и с группировкой Кайзера — Леммера в собственной партии, с теми, кто их поддерживал и хотел сдвинуть Германию влево.

Однако как искусный тактик, Аденауэр умел выждать, на время отступить, пойти на компромисс, когда это диктовалось соображениями политической целесообразности. В апреле 1947 года предстояли выборы в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия, и обострение отношений между «правыми» и «левыми» в ХДС, между сторонниками «рендорфской» и «валлербергской» программ могло стоить партии многих голосов электората. Два человека — Альберс от «левого» профсоюзного крыла и Пфердменгес от «правого», представлявшего банковские и промышленные круги, — принялись под чутким руководством самого Аденауэра за выработку взаимно приемлемого компромисса. В начале февраля 1947 года продукт их

коллективного творчества был представлен на обсуждение руководства ХДС британской зоны. Оно состоялось в маленьком шахтерском городке Ален в Вестфалии и закончилось единодушным одобрением представленного документа. Он получил название «Аленской программы».

Эта была программа весьма радикальных экономических и социальных преобразований. Важнейшие ее положения предусматривали перевод угольной промышленности в общественную собственность, введение антимонополистического законодательства и право рабочих на соучастие в управлении предприятиями. Аденауэр пошел на принятие этих положений с явной и единственной целью — утихомирить «левых» в своей партии. Тем, кто его знал, было ясно, что как только пройдут выборы, он сделает все, чтобы выхолостить «Аленскую программу», нейтрализовать ее радикальное содержание.

Так оно и случилось. Выборы дали небезынтересные результаты: ХДС завоевал 92 мандата из 216, СДПГ — 64, коммунисты (КПГ) — 28, Центр — 20 и либералы (СвДП) — 12. Партия Аденауэра оказалась на первом месте, но лично для Аденауэра это были равнозначно поражению. ХДС не имел абсолютного большинства и должен был идти на коалицию с социал-демократами и частью фракции Центра.

Аденауэр как руководитель фракции ХДС в ландтаге не мог этому воспрепятствовать. Министром-президентом стал Арнольд, к удовлетворению англичан и к вящему неудовольствию Аденауэра. Он остался как бы в стороне от реальной политики. Результатом был полный и окончательный разрыв личных связей между Арнольдом и Аденауэром и переход последнего к тактике закулисных интриг против нового правительства.

Первой жертвой этой тактики стала «Аленская программа». Формально Аденауэр как лидер фракции повел себя как лояльный исполнитель воли своей партии: он внес на обсуждение ландтага ни много ни мало — сразу три законопроекта, направленные, по его словам, на воплощение в жизнь утвержденных высшим партийным органом программных положений, правда, в несколько модифицированном виде, дабы сделать их, опять-таки по его словам, более понятными и приемлемыми для всех. Расчет был на то, что социал-демократов эти изменения не устроят и они внесут собственный проект, который будет предусматривать более радикальные меры по национализации. Так и случилось: социал-демократы попали в поставленную ловушку, развернулась долгая и нудная дискуссия: фракция СДПГ защищала свой проект, фракция ХДС — свой, никто не мог убедить друг друга, и все кончилось тупиком. «Аленская программа» оставалась

официальным документом ХДС, но в интерпретации, которую дал ей ее лидер.

После этого блестяще разыгранного действа можно было и отдохнуть. В июне 1947 года, когда дебаты по новым законам в ландтаге еще только разворачивались, Аденауэр счел ситуацию достаточно предсказуемой, чтобы уехать в отпуск. Прошение о нем было подано в оккупационную администрацию сразу же после апрельских выборов, в качестве мотива специально упоминалась необходимость ухода за больной женой. К тому времени, когда англичане дали добро, в состоянии здоровья Гусей наступило некоторое улучшение, и супружеская пара, как в старые добрые времена, в приподнятом настроении отправилась в Шандолен, где провела три безмятежных недели. Это было их первое с 1939 года путешествие за пределы Германии. Они нашли, что Швейцария мало изменилась за это время. «В Шандолене почти все так же, как и раньше… Погода чудесная, повсюду такая красота… Все есть, только дорого», — пишет глава семьи дочери Рии и зятю Вальтеру Рейнерсам. Гусей от себя делает приписку: «Это как во сне! Время здесь как будто остановилось!» Письмо датировано 3 июля 1947 года. В Европе в это время развертываются драматические события, связанные с «планом Маршалла». За день до этого провалом закончилась парижская конференция министров иностранных дел Англии, Франции и СССР: советский министр Молотов покинул зал переговоров, отказавшись от дальнейшего обсуждения американской инициативы. Надвигалась холодная война.

Кризис наступил и в состоянии здоровья Гусей. Вскоре после возвращения из Швейцарии ее самочувствие резко ухудшилось. На коже вновь высыпала сыпь, к октябрю добавилась постоянная лихорадка. Был созван консилиум, который рекомендовал немедленную госпитализацию. Больная была помещена в боннский госпиталь Йоханнеса. Там ей сделали операцию но удалению зараженных тканей. Лотта и Либет несколько раз сдавали кровь, чтобы переливанием поддержать слабеющий организм матери. Однако инфекция не поддавалась лечению, заражение шло все глубже.

Зима принесла некоторое улучшение, сменившееся новым ухудшением, — и так несколько раз. Прибыл крупный медицинский авторитет из Швейцарии, еще несколько специалистов. Они делали, что могли. К новому году показалось, что больная вот-вот пойдет на поправку, но в начале февраля наступили необратимые изменения к худшему. Была сделана еще одна операция, предпринимались переливания крови — бесполезно. 1 марта очередной консилиум вынес свой приговор:

больше ничего нельзя сделать. В этот же день больная впала в кому. 3 марта наступила смерть.

Панихиду устроили в Рендорфе, по этому печальному поводу вся семья впервые за долгое время собралась вместе. Вторая жена Аденауэра обрела вечный покой на том же тихом лесном кладбище, где была похоронена и Эмма. Их могилы оказались рядом.

Что можно сказать о Гусей в качестве эпитафии? Она была хорошей женой для своего мужа. Одна из ее невесток, Лола, нашла, пожалуй, самые подходящие слова: «Она жила не для себя, а для других, прежде всего для своего мужа и для своих детей. Она была такая простая, естественная, воплощение доброты и покоя». Что касается ее супруга, то его чувства к ней, конечно, отличались от тех, которые он испытывал к первой жене. Эмма была подругой его молодости, с ней он познал первую, еще юношескую, но всепоглощающую страсть. Гусей была надежной спутницей его зрелых лет, когда все по-иному — размереннее, спокойнее, без надрыва.

Характерный штрих — в последние месяцы жизни постоянно с Гусей были дети: сын Пауль — он ради этого на время оставил монастырь Мария Лаах, где готовился к посвящению в духовный сан, дочери Лотта и Либет, невестка Лола. Глава семьи появлялся у постели больной лишь время от времени. Его мысли были прикованы к политике: 15 декабря 1947 года безрезультатно закончилась очередная сессия Совета министров иностранных дел четырех держав в Лондоне, началась подготовка к конференции «шестерки» — США, Англии, Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга, которая должна была вновь заняться обсуждением германского вопроса — и вновь в Лондоне. Аденауэр напряженно размышлял, чем это все обернется для его страны, для его партии, для него лично. Он наверняка переживал за Гусей. Но — издалека. Трудно представить себе, с другой стороны, чтобы что-то могло помешать ему просиживать дни и ночи у постели умирающей Эммы в том далеком 1916-м. Два прочных, счастливых брака — а какая между ними разница!

ГЛАВА 3.
НОВАЯ ГЕРМАНИЯ: НАЧАЛО

«Я счел совет (Робертсона) правильным: надо было заняться конкретными делами»[30]

Смерть близкого человека, даже если она не приходит неожиданно, всегда вызывает шок, зачастую сопровождающийся желанием уйти в себя, ни с кем не общаться, как бы отгородиться от всего мира. Всякое постороннее вмешательство, даже если это выражение сочувствия, способно вызвать реакцию раздражения и даже ярости. Так случилось и с Аденауэром. Уже на похоронах Гусей он резко оборвал одного из присутствовавших, который попытался завязать с ним проникновенную беседу. В последующие дни он вообще замкнулся; рассчитывать на общение с ним могли только те визитеры, у которых были не терпящие отлагательства дела.

Помимо боли утраты, у него были и другие причины для тяжких раздумий. При всей глубине его скорби после смерти первой жены тогда у него была перспектива вновь обрести и подругу жизни, и нормальную семью, что вскоре и стало реальностью. Теперь такой перспективы по понятным причинам не было и не могло быть. Предстояло как-то адаптироваться к мысли о том, что ему придется доживать свой век в одиночестве. Более того, его, вероятно, преследовало и определенное чувство вины за то, что он не смог уделить достаточно времени умирающей супруге, а возможно, и за то, что недоглядел за ней, когда она, борясь со своей депрессией, явно превысила допустимую дозу приема транквилизаторов.

С последним комплексом наш герой справился, во всяком случае, достаточно легко: он смог убедить себя, что болезнь Гусей началась еще тогда, когда она попала в руки гестапо, и с тех пор уже была обречена. С медицинской точки зрения это, разумеется, нонсенс: само по себе единичное отравление, даже такое тяжелое, которое Гусей перенесла в Браувейлере, не могло вызвать тех последствий для организма, которые привели к роковому концу. Дефицит лейкоцитов может быть только следствием длительного и все увеличивающегося употребления лекарства, которое она принимала в надежде справиться со своими нервами. Тем не менее даже в написанных много лет спустя мемуарах Аденауэр по-прежнему утверждал, что его супруга уже к концу войны была «безнадежна больна» в результате пребывания в застенках

гестапо. По-видимому, эта мысль его утешала.

Как и после смерти Эммы, вдовец стал уделять особое, подчеркнутое внимание дому, детям. Вновь возобновились совместные семейные трапезы в Рендорфе, однако обстановка их стала иной. Во время войны домочадцы привыкли к образу мягкого, внимательного и добродушного патриарха — «дедушки». Теперь им пришлось привыкать к совсем другой манере его поведения — холодновато-жесткой. Как писала впоследствии его невестка Лола, которая не без основания могла считать себя его любимицей, «если кому-то удавалось избежать уколов его сарказма, он мог считать, что ему на этот раз крупно повезло». Главу семейства теперь уже невозможно было представить себе в заплатанных штанах и дырявой соломенной шляпе; строгий темный костюм, длинное пальто, высокая шляпа — таков был теперь его обычный наряд. Неудивительно, что семейные застолья больше напоминали заседания кабинета министров.

К нему вернулись многие из тех качеств, которые были характерны для него в период деятельности в качестве кёльнского бургомистра. Вернулась агрессивность в ведении политической дискуссии — вернулась в новом качестве, на несколько регистров выше. То, что раньше было едкой иронией, превратилось в злобные инвективы, порой граничащие с вульгарностью. Личные атаки на оппонентов приобрели черты вендетты, притом не без применения грязных приемов политического оговора. К примеру, он распустил слух, будто его коллега по партии Якоб Кайзер поддерживает какие-то тайные контакты с сотрудниками советской военной администрации и вдобавок еще с бывшими генералами вермахта. Этого было достаточно, чтобы подорвать авторитет соперника как солидного и заслуживающего доверия политика, что Аденауэру и требовалось. В общем, можно сказать, что он не только усвоил правила политической игры, но и был готов играть вообще без правил.

Того же, что и от своих политических союзников — полного и абсолютного подчинения, — Аденауэр отныне требовал и от членов своей семьи. Неудивительно, что та же Лола констатировала, говоря о времени 1947–1948 годов: «Мой свекор стал совсем другим по сравнению с тем человеком, которого я знала когда-то, когда впервые с ним познакомилась». Его новым любимцем стал Пауль, и понятно почему: он от природы был из детей самым мягким по характеру, готовился принять сан, а с ним обеты безбрачия, бедности и терпения; последнее особенно было необходимо для любого, кто общался с «новым» Аденауэром, а для него, в свою очередь, это качество сына — способность безропотно сносить его агрессивные выходки —

было, по-видимому, особенно ценным.

Не в оправдание нового стиля поведения нашего героя, но по крайней мере в качестве объяснения причин его возникновения можно привести то соображение, что события как на международном, так и на внутригерманском уровне развивались в то время с такой головокружительной быстротой, что от любого политика требовалась гигантская мобилизация интеллектуальной и нервной энергии, чтобы удержаться на гребне волны, не рухнуть вниз и не оказаться в конечном счете в мусорной яме истории. За штутгартской речью Бирнса последовала в марте 1947 года «доктрина Трумэна», с которой в международный лексикон вошло понятие «сдерживания», затем в июне, о чем уже говорилось, — «план Маршалла». Мир все более оказывался в тисках блоковой конфронтации.

Это соответствующим образом отражалось и в германской политике. Аденауэр одержал наконец окончательную победу над «восточным» ХДС — правда, не без помощи со стороны Советов, которые в декабре 1947 года отстранили Кайзера и Леммера с руководящих постов в партии под тем предлогом, что они не поддержали организованное коммунистами движение Немецкого народного конгресса. В восточной зоне развернулась кампания арестов функционеров ХДС; всего ее жертвами за период с 1948 по 1950 год стали не менее шестисот человек; аресты проводил пятый отдел уголовной полиции (К-5), который был создан советской военной администрацией для того, чтобы вылавливать укрывшихся нацистов, но фактически стал орудием расправы с политическими противниками режима; большинство арестованных оказались в советских лагерях. Политические соперники Аденауэра, таким образом, мало того что потеряли самостоятельную базу для своей деятельности, они лишились всяких доводов в защиту тезиса о возможности найти «средний путь» между Западом и Востоком; отныне чистой химерой была и идея о том, что ХДС должен управляться из Берлина.

В июне 1947 года во Франкфурте-на-Майне состоялось первое заседание Экономического совета Бизоний. Впервые за четырнадцать лет публика увидела поднятый по этому случаю черно-красно-золотой флаг германской республики; правда, провисел он недолго: американцы распорядились его снять, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что оккупация заканчивается и немцы начинают восстанавливать свой суверенитет хотя бы в символической форме. Более исторически значимым событием этого заседания было решение фракции СДПГ отвергнуть коалицию с ХДС/ХСС и уйти в оппозицию. Не меньшую роль сыграло и принятие советом так называемых

переходных законоположений, согласно которым суверенитет земель ограничивался в пользу будущего федерального центра. Каким будет этот центр и какой будет федерация, оставалось неясным, но, по существу, это был уже шаг к суверенитету, по крайней мере в теории; важно, что оккупационные власти в отличие от истории с флагом на этот раз решили не возражать.

Самым острым политическим вопросом в Бизоний был в то время демонтаж промышленных предприятий. В октябре 1947 года обнародовали англо-американскую программу ликвидации военных заводов, к числу которых были отнесены не только те, которые изначально предназначались для производства вооружений, но и те, которые, не являясь таковыми, были в свое время переведены на выпуск военной продукции или выполняли военные заказы. Особенно сильно эта программа затронула предприятия британской зоны. Аденауэр оказался в числе самых активных ее противников. Учитывая то, что продуктов питания по-прежнему не хватало, а индекс промышленного производства едва превышал треть от довоенного, демонтаж мог только обострить ситуацию. Сомнения по поводу разумности этой программы испытывали и в Лондоне; не кто иной, как лорд Пакенхэм, член кабинета, ответственный за германские дела, признавался задним числом в том, что в данной связи пережил «глубокий внутренний конфликт». Логика, которую использовал Аденауэр, была внешне безупречной: нельзя говорить об экономическом восстановлении Европы, которое предусматривалось «планом Маршалла», и одновременно взрывать немецкие заводы — одно исключает другое.

Наконец в феврале 1948 года, как раз когда болезнь Гусей вступила в критическую фазу, произошло событие, приковавшее к себе внимание всего мира (и, очевидно, заставившее Аденауэра на какое-то время если не забыть об умиравшей супруге, то, во всяком случае, как-то отодвинуть на задний план мысли о ней): коммунисты захватили власть в Чехословакии. А потом пошло-поехало: последовало заключение договоров о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Советским Союзом и странами Восточной Европы; в марте советский представитель в Союзном контрольном совете маршал Соколовский («Соко», как несколько фамильярно именовали его между собой западные члены совета) демонстративно покинул его заседание, и совет фактически прекратил свое существование; в апреле советский истребитель «Як» врезался в английский самолет с пассажирами, когда тот заходил на посадку в западноберлинском аэропорту Гатов; обе стороны обменялись по этому поводу жесткими нотами протеста. Траектория отношений между Советами и западными

оккупационными властями в Германии пошла резко — почти вертикально — вниз, к нулевой отметке. Ситуация приняла непредсказуемо опасный характер.

Она еще более обострилась, когда в Лондоне собралась очередная конференция по германскому вопросу, на которую демонстративно не был приглашен Советский Союз, незадолго до этого отказавшийся принять помощь по «плану Маршалла». Советы, естественно, восприняли свое исключение из круга стран, которые должны были определить будущее Германии, как провокацию — уход Соколовского с заседания контрольного совета как раз и был на нее ответом, который, в свою очередь, лишь усилил решимость Запада идти своим путем. Генерал Робертсон, ставший к тому времени из заместителей военным губернатором британской зоны (ранее этот пост номинально занимал маршал Шолто Дуглас), выступая 7 апреля в ландтаге земли Северный Рейн-Вестфалия, выразился с военной прямотой: «Вы должны идти вперед и обустраивать ту часть вашей страны, которая составляет большую ее часть и находится по эту сторону железного занавеса. Со временем и все остальное придет к вам. Мы предлагаем вам нашу добрую волю и сотрудничество». Как писал позднее Аденауэр, «эта речь нас сильно ободрила». Еще бы!

В это время на сцене появилась новая фигура, которой было суждено привлечь к себе внимание политиков — но крайней мере тех из них, которые интересовались экономикой, — Людвиг Эрхард. Поначалу его мало кто знал, и его взлет стал в известной мере делом случая. Первым директором Экономического совета Бизоний был представитель баварского ХСС Йоханнес Землер; наличие солидной партийной поддержки не спасло его, однако, от гнева американцев: он осмелился покритиковать их за то, что в качестве продовольственной помощи они поставляют кукурузу, которая в довоенной Германии шла в основном на корм домашней птице, притом требуя оплаты в твердой валюте. Особенно задело оккупантов замечание Землера насчет того, что уж если приходится принимать то, что дают, и платить столько, сколько требуют, то совсем лишнее рассыпаться в благодарностях таким благодетелям. Американский губернатор, генерал Льюшес Клей, немедленно уволил строптивца.

Аденауэр хотел было продвинуть на освободившееся место некоего Германа Пюндера, личность весьма бесцветную, а потому и неопасную. В дело вступил Пфердменгес, попытавшийся организовать кампанию в пользу Пюндера, но из этого ничего не вышло. Американцы предпочитали того, кого они знали, — Эрхарда. С их точки зрения, эта кандидатура имела ряд явных преимуществ. При нацистах он, уроженец Франконии, никак не

«засветился», во время войны руководил в Нюрнберге каким-то институтом, о котором мало кто что знал, кроме того, что там вроде бы изучались долгосрочные экономические проблемы города. Он лично сочинил довольно скучный труд на тему военных долгов и экономической политики в побежденной стране. С апреля 1945-го до января 1947 года работал в органах временного самоуправления в Баварии, ничем себя особенно не проявив, а потом перешел на преподавательскую работу в Мюнхенский университет. Казалось бы, никаких особо благоприятных предпосылок для успешной политической карьеры.

Однако, очевидно, его идеи были для американцев достаточно привлекательными, и в октябре 1947 года «почетный профессор» Мюнхенского университета неожиданно оказывается в кресле руководителя «специального бюро но вопросам валюты и кредитов», созданного при Экономическом совете Бизоний. Истинное предназначение этого «бюро» держалось в строжайшем секрете: речь шла о подготовке денежной реформы в западных зонах. Эрхард с этой миссией успешно справился. Пятьсот тонн новых «дейчмарок», отпечатанных в США, были благополучно доставлены во Франкфурт, и 20 июня 1948 года новая марка стала единственным платежным средством в трех западных зонах, а позднее и в Западном Берлине.

Одновременно Эрхард, даже не проконсультировавшись с военными губернаторами союзников, своим единоличным актом отменил контроль над ценами. Клей пытался образумить авантюриста, заявив ему: «Мои советники говорят, что то, что вы сделали, страшная ошибка». Эрхард и не подумал отступать. «Господин генерал, не обращайте на них внимания. Мои советники говорят то же самое» — этот его остроумный ответ американскому проконсулу вошел в историю.

Аденауэр не сыграл какой-либо значительной роли в событиях, связанных с денежной реформой. Он был не очень сведущ в экономических расчетах и понимал свою слабость в этой области. Понял он и другое: импозантный Эрхард с его вечной сигарой будет для него идеальным партнером в качестве министра экономики, он возьмет на себя большую часть проблем, относящихся к внутренней политике, и даст ему, Аденауэру, возможность полностью сосредоточиться на международных делах. Пока об этом было рано говорить, эта мысль осталась как бы в глубине сознания — на будущее, но она уже созрела, и это была одна из самых верных мыслей, которые когда-либо посещали нашего героя.

Первой серьезной акцией Аденауэра на международной

арене, если не считать нескольких случайных бесед с христианскими политиками из других европейских стран и интрижек с французами но поводу проекта «Рейнского государства» (мы упоминали о них выше), было его участие в Гаагском конгрессе движения за «единую Европу», который состоялся в начале мая 1948 года и на котором он возглавлял делегацию ХДС. Форум был достаточно масштабный: свыше восьмисот участников, из одной Великобритании делегация в сто сорок человек во главе с Уинстоном Черчиллем и с участием таких видных политиков, как Антони Идеи и Гарольд Макмиллан; творческую интеллигенцию представляли дирижер Адриан Баулт и поэт Джон Мейсфилд. Из Бельгии приехал Поль-Анри Спаак, из Франции — Леон Блюм и Эдуард Эррио, из Италии — Альчидо де Гаснери. Словом, аудитория была солидная.

Конгресс открылся вступительной речью Черчилля — длинной, прочувствованной, полной, естественно, всяких красивых фраз о единстве Европы. Он особо упомянул о присутствии представителей от Германии и приветствовал их в теплых выражениях. О сути германской проблемы он сказал ясно и четко: она состоит в том, чтобы «вдохнуть жизнь в экономику Германии и возродить прежнюю славу немецкой расы, не допуская в то же время восстановления ее военной мощи, которая стала бы новой угрозой соседям, у которых, как и всех нас, еще не зарубцевались раны от ее применения в прошлом». Черчилль удостоил Аденауэра личной аудиенции. Тот оценил этот жест но достоинству.

Фундаментального перелома в представлениях Аденауэра о Черчилле, разумеется, не произошло: он хорошо помнил высказывание британского экс-премьера о немцах: они «или лижут вам пятки, или хватают за горло». Тем не менее после окончания аудиенции он попросил лорда Пакенхэма, который также присутствовал на ней, передать свою «глубокую благодарность» Черчиллю и его сподвижникам, добавив: «Мы были узниками Гитлера, и, если бы не господин Черчилль, нас бы сейчас давно уже не было в живых». На вопрос Пакенхэма, почему он сам не сказал этого прямо во время беседы, Аденауэр ответил с достоинством: «Сейчас моя нация унижена, и если в такой момент говорить принародно о таких вещах, то это будет выглядеть мелким подхалимажем, попыткой подлизаться к победителю, что не в интересах моей страны». Так что «лизать пятки» наш герой не захотел. Более того, в письме старому знакомому еще по двадцатым годам, Сильвербергу, он отозвался о своем английском собеседнике довольно сдержанно: «Черчилль произвел на меня неплохое впечатление. Но он уже очень стар».

Между прочим, Черчиллю было тогда семьдесят три года, а самому Аденауэру — «всего-навсего» семьдесят два — гигантская разница, конечно!

В целом Аденауэр имел все основания быть довольным результатами Гаагского конгресса, о чем он и сообщил на очередном заседании правления ХДС британской зоны. Он, в частности, выразил полное согласие с тезисом о том, что будущее Германии — в европейской федерации. В ней, по его словам, — «спасение для Европы, спасение для Германии». Вполне удовлетворял его и принцип наднациональности, согласно которому, говоря словами Гаагской декларации, «европейские нации должны передать в общее распоряжение некоторые из своих суверенных прав с тем, чтобы обеспечить осуществление необходимых совместных действий в сфере экономики и политики».

К этому времени у Аденауэра улучшились отношения с английскими оккупационными властями — по крайней мере в личном плане. С Робертсоном они приняли даже сердечный характер и позднее переросли в нечто близкое к настоящей дружбе. Аденауэр симпатизировал также лорду Пакенхэму — тот тоже был католик, как и он, и этот фактор играл немаловажную роль в достаточно теплых чувствах, которые они испытывали друг к другу. Когда Пакенхэм в конце мая 1948 года, получив новое назначение, покидал Германию, Аденауэр удостоил его даже приглашения на чашку чая в свой рендорфский дом. Тем не менее перемены были относительными, взаимные подозрения оставались.

Настоящий кризис наступил, когда 7 июня на пресс-конференции, созванной для ознакомления общественности с итогами только что завершившейся Лондонской конференции, были оглашены три «рекомендации», которые западные союзники адресовали немецким политикам в своих зонах: одна предусматривала созыв учредительного собрания для принятия конституции, другая — выработку оккупационного статута, который разграничил бы нрава и компетенцию между немецкими властями и военными губернаторами после вступления конституции в силу, и, наконец, третья — создание Международного органа по Руру, который регулировал бы производство и распределение продукции угольной и сталелитейной промышленности Рурского бассейна. Именно эта третья «рекомендация» стала для Аденауэра чем-то вроде красной тряпки для быка. Западники пытаются украсть у немцев их главную мастерскую — таков был лейтмотив его пылких обличений, даже вопрос о демонтаже отошел в них на второй

план.

Между тем на подходе был уже куда более серьезный международный кризис — берлинский. Через две недели после обнародования «Лондонских соглашений» в западных зонах была проведена, о чем уже говорилось выше, денежная реформа, которая вызвала крайне резкую реакцию со стороны Советов. Началось то, что вошло в историю как «блокада Берлина». Западные союзники организовали воздушный мост из своих зон в Западный Берлин. Мир, казалось, висел на волоске, вот-вот могла разразиться Третья мировая война. Аденауэру до всего этого, казалось, не было никакого дела. Для него был один-единственный жупел: проектируемый Международный орган по Руру. «В сравнении с ним Версаль — это букет роз», — писал он, сознательно утрируя негативный характер западной инициативы. В действие была приведена партийная машина: через три дня после обнародования решений Лондонской конференции в Бад-Кенигштейне собрались функционеры земельных организаций ХДС обеих зон, входивших в Бизонию. Конференция, проходившая под председательством Аденауэра, приняла заявление, в котором решительно отвергались касавшиеся Рура положения лондонских «рекомендаций». Аденауэр попытался даже войти в контакт с руководством СДПГ, чтобы начать общую кампанию протеста, однако Шумахер был болен, а в его отсутствие никто не решился взять не себя ответственность за важное политическое решение.

В обстановке нарастающего берлинского кризиса аденауэровские вопли но поводу Рура производили странное впечатление — как если бы кто-то начал жаловаться на протекающий кран, когда прорвало магистральную трубу. Только крайне наивный человек мог думать, что союзники изменят свою позицию, пойдут на ревизию соглашений, достигнутых после нескольких месяцев напряженных переговоров и отразивших деликатный баланс интересов их стран, и все из-за того, что они не нравятся кому-то в стане «побежденного противника», каковыми тогда все еще считались немцы. Аденауэр, конечно, не был настолько наивен, он хорошо понимал, что в лучшем случае можно надеться на какие-то уступки по мелочам, не более того. Налицо была чистая демагогия с его стороны.

Оккупационные власти дали ей резкий отпор. На последнем заседании Зонального консультативного совета (его роспуск также предусматривался решениями Лондонской конференции), которое состоялось 29 июня 1948 года, Робертсон твердо потребовал от собравшихся перестать «ребячиться». В официальном послании военной администрации министрам-президентам земель содержался жесткий призыв прекратить

«неконструктивную и безответственную критику». В своем выступлении перед членами распускаемого совета Робертсон не стал лукавить: он заявил, что прекрасно понимает, что они не в восторге от условий Рурского статута, но его принятие было той ценой, которую пришлось заплатить за согласие Франции на пакет соглашений в целом. Аргументация подействовала: как писал Аденауэр впоследствии, он «счел совет (Робертсона) правильным: надо было заняться конкретными делами».

Эти «конкретные дела» состояли прежде всего в исполнении министрами-президентами трех западных зон полученного ими от союзников мандата на разработку конституционных основ новой германской республики. Соответствующий процесс принял затяжной и сложный характер. Вначале министры-президенты собрались 8 июля в Кобленце для общей дискуссии. Она продолжалась три дня. 20 июля они собрались вновь во Франкфурте для дискуссии с военными губернаторами зон; на этот раз она заняла уже шесть дней. Наконец, 10 августа на острове Херренинзель посреди озера Химзее под Мюнхеном собралось совещание экспертов по конституционному праву — еще тринадцать дней. Результатом всех этих бдений стали первый набросок будущего Основного закона ФРГ и первая уступка оккупационных властей: они согласились вопреки своей первоначальной позиции не настаивать на принятии конституции путем референдума[31].

Аденауэр не принимал и не мог принимать участия ни в одном из этих форумов. Они формировались на строго непартийной, даже надпартийной основе, а у Аденауэра никаких официальных постов, кроме как партийных, не было. Разумеется, министры-президенты, да и эксперты-юристы, как правило, принадлежали к какой-либо партии либо были близки к той или иной из них но своим взглядам, но попробовал бы кто-нибудь продиктовать свою волю, положим, Карлу Арнольду, главе правительства Северного Рейна-Вестфалии! Напомним, он и министром-президентом стал против воли своего партийного руководителя. Не более управляем был и министр-президент Баварии Ганс Эхард. В чем последний сходился с Аденауэром, так это разве только в общей антипатии к тогдашнему председателю ХСС Йозефу Мюллеру. В остальном они общего языка найти не могли; неудивительно, что Аденауэр не скупился на отрицательные эпитеты в адрес Эхарда: и «глупый»-то он, и «с плохими манерами». Само собой разумеется, еще меньше влияния Аденауэр мог оказать на тех глав земельных правительств, которые представляли СДПГ. Впрочем, они не очень слушались и своего собственного партийного лидера Шумахера.

Для Аденауэра наступило время горького бездействия. Он мог делать какие-то заявления, проводить заседания партийных органов, вести переговоры с представителями других партий и единомышленниками в других странах, но рычагов реальной власти, которые позволили бы ему, например, вести диалог на равных с военными губернаторами или тем более с правительствами стран, которых те представляли, у него не было. Он, кстати, почти ничего не знал о том, что происходит в американской зоне оккупации, и даже не был лично знаком с ее военным губернатором, генералом Клеем (тот, правда, и не выражал особого желания заводить такое знакомство). Понятно, почему родственникам Аденауэра так доставалось от него: он был не первым и не последним, кто вымещает свои проблемы на домочадцах.

Поворот наступил после того, как министры-президенты 26 июля приняли принципиальное решение принять план союзников и созвать 1 сентября 1948 года в Бонне конституционное собрание — Парламентский совет. В отличие от предшествующих форумов в нем должны были заседать представители от партий: 27 от ХДС/ХСС, 27 — от СДПГ, 5 — от либералов и по два — от Центра и от коммунистов. Эти цифры примерно отражали в усредненном виде соотношение между численностью фракций в избранных ранее ландтагах земель. Относительно места, где должен был заседать совет, споры шли дольше всего — до середины августа. К тому, что в конце концов был выбран Бонн, Аденауэр вопреки расхожему мнению не имел никакого отношения; это был всецело плод лоббистских усилий властей Северного Рейна-Вестфалии. Сам будущий канцлер предпочитал тогда Кобленц: этот город был во французской зоне, и постоянный контакт парламентариев с тамошними оккупационными властями, но его мысли, обеспечил бы смягчение французской оппозиции слишком быстрому продвижению немцев к статусу суверенного государства. Сомнительно, что расчет был правильный, но, во всяком случае, все это осталось его личным мнением: у Аденауэра не было никаких возможностей повлиять на решение министров-президентов.

Поначалу и в Парламентском совете его роль была довольно пассивной. За его спиной и, к его вящему неудовольствию, была проведена обменная сделка: принадлежавшее социал-демократам место члена совета от Гамбурга было отдано представителю ХДС, зато социал-демократы смогли делегировать в качестве представителя Вюртемберга блестящего юриста из Тюбингена, человека обаятельного и контактного, умелого переговорщика

Карло Шмида. Это была очевидная кандидатура на пост руководителя главного рабочего комитета форума. Чтобы обеспечить его избрание, СДПГ выразила готовность отдать пост председателя совета Аденауэру. Замысел социал-демократов с обезоруживающей откровенностью изложил один из депутатов от СДПГ: «Пусть эта старая перечница посидит в своем почетном кресле — мешать меньше будет. Настоящая работа — в координационном комитете, а там всем будет заправлять наш Карло». Статус председателя, как считалось, будет чисто представительским, кроме того, всеобщее мнение сводилось к тому, что Аденауэр уже слишком стар для роли активного политического деятеля.

Те, кто так думал, здорово ошиблись. Верно: львиная доля в разработке Основного закона пришлась на возглавляемый Шмидом комитет, однако Аденауэр был отнюдь не таков, чтобы удовлетвориться ролью лишь номинального главы форума. Прежде всего он взял на себя функции связи с прессой и оккупационными властями. Это был поистине гениальный ход. Пока в комитетах велись конфиденциальные дискуссии, Аденауэр стал главным поставщиком всевозможных «утечек» и комментариев для публики и для военных губернаторов. Если раньше его знали только в британской зоне, то теперь он стал знаковой фигурой для всей Западной Германии. Как отмечал позднее первый президент ФРГ Теодор Хейс, «не имея какого-либо определенного «участка», за который он бы непосредственно отвечал, (Аденауэр) стал постепенно восприниматься всеми, и прежде всего оккупационными властями, как само воплощение и предвестник будущей, еще не родившейся Федеративной Республики».

Незаменимым его помощником в это время стал Герберт Бланкенхорн — новая звезда западногерманской политической сцены. Отпрыск вполне благополучной семьи баденских виноделов и виноторговцев (его дед, используя лозу, вывезенную из Калифорнии, сумел возродить знаменитый сорт «Мюллер-Торгау», плантации которого были уничтожены филоксерой), он в свои сорок четыре года успел уже повидать мир. Его родной дядя был в 1937–1939 годах послом в Вашингтоне, и он сам в возрасте двадцати пяти лет стал дипломатом. Он продолжал службу в нацистском МИДе до самого конца Третьего рейха, особенно стараясь не выделяться ни изъявлениями преданности режиму, ни тем более какими-то оппозиционными настроениями. Побывал на разных дипломатических постах в Афинах, Вашингтоне, Хельсинки и Берне. Он был неглуп, умел располагать к себе и считался англофилом. В новой Германии он наверняка мог

надеяться на возобновление и успешное продолжение своей дипломатической карьеры, так что никто из его английских друзей не мог понять, почему он решил связать свою судьбу с престарелым политиком, который имел репутацию в лучшем случае беспринципного приспособленца, а в худшем — отъявленного реакционера.

Каковы бы ни были мотивы, его деятельность оказалась весьма успешной. Ранее назначенный Аденауэром генеральным секретарем ХДС британской зоны, он затем занял специально созданный для него пост личного секретаря председателя Парламентского совета. В этом качестве он обеспечивал Аденауэру тесные контакты с офицерами связи при военных комендантах и ориентировал его в сложном лабиринте взаимоотношений между соперничающими группировками в лагере оккупантов. Бланкенхорн также должным образом представил Аденауэра сообществу корреспондентов и обозревателей зарубежной прессы, аккредитованных в Германии. Первые их впечатления о человеке, который по крайней мере номинально оказался на положении первого лица среди западногерманских политиков, были не особенно благоприятные. Один из американских журналистов, ранее бывавший в Египте, сравнил Аденауэра с ожившей мумией. Другой, знаток Китая, обнаружил, что у Аденауэра «восточный тип» лица; данное им описание его внешности, пожалуй, подошло бы какому-нибудь клерку диккенсовских времен: «серая кожа, сменный накрахмаленный воротничок, весь такой стерильный». Интервью, которые давал председатель Парламентского совета, скорее напоминали лекции, которыми почтенный профессор удостаивает зеленых юнцов-студентов; никаких шуток, броских фраз, все в высшей степени серьезно и невыносимо скучно. Журналисты воспринимали его как осколок прошлого, временную фигуру, на смену которой должен наверняка вот-вот прийти кто-то из молодого поколения. Еще одна ошибка.

Пленарные заседания Парламентского совета собирались редко, а поскольку единственной точно определенной официальной функцией Аденауэра было председательство на этих заседаниях, свободного времени у него было предостаточно. По совету Бланкенхорна он использовал его для того, чтобы завязать полезные контакты за рубежом. Порой никто в Парламентском совете даже не знал, где в данный конкретный момент находится председатель — то ли в Швейцарии, то ли в Люксембурге, то ли еще где… Его коллег, работавших до седьмого пота в комитетах, включая членов фракции ХДС, это, естественно, раздражало, но для Аденауэра было важно завязать

диалог с теми, в чьих руках, говоря возвышенным языком, находилось будущее Европы. С некоторыми из них он познакомился еще на Гаагском конгрессе — среди них был, например, итальянский премьер де Гаспери. С другими он встретился впервые. Встреча с французским министром иностранных дел Робером Шуманом стала, пожалуй, для него — и для Европы — самой важной и значительной. Именно тогда зародился триумвират «великих европейцев» — Аденауэр, Шуман, де Гаспери.

Встреча Аденауэра и Шумана состоялась в обстановке чрезвычайной секретности. Местом для нее был избран замок в городке Бассенхейм на Мозеле; построенный в свое время для семьи миллионеров Оппенгеймов, он в описываемое время служил резиденцией французского губернатора Рейнланд-Пфальца де Буаламбера. Для пущей конспирации Аденауэра укрыли в машине большим пледом, а шляпу надвинули на самый лоб. Сам Шуман прилетел из Парижа почти что инкогнито; самолет доставил его на близлежащий военный аэродром Нидермендиг. Диалог двух политиков длился почти двое суток.

Они быстро нашли общий язык — и в буквальном, и в переносном смысле. Для Шумана, который родился в 1886 году в Люксембурге и мать которого была немка, немецкий язык был почти что родной; более того, высшее образование он получил в германских университетах — сперва в Меце (город в Лотарингии, территория которой после франко-прусской войны 1870–1871 годов отошла к Германии), потом в Мюнхене и Бонне. Он стал офицером резерва германской императорской армии, а во время Первой мировой войны хотя и не принимал прямого участия в военных действиях, но тем не менее исправно тянул служебную лямку во славу кайзера, вроде бы даже, как утверждали его политические противники, был членом военного трибунала. Когда Эльзас и Лотарингия но условиям Версальского договора были возвращены Франции, Шуман остался в Меце, занялся там юридической практикой и тогда же, в 1919 году, был избран депутатом Национального собрания от округа Мозель.

О его личных качествах трудно что-либо сказать с уверенностью. Во всяком случае, их с Аденауэром многое разделяло. Шумана отличала некоторая экзальтированность поведения — Аденауэр, напротив, всегда носил маску холодного достоинства; Шумана всегда интересовали всякие детали, даже мелочи — Аденауэр, казалось, был выше всего этого. «Странная, меланхолическая фигура, в нем есть что-то донкихотское, наполовину политик, наполовину кюре» — такую характеристику дал Шуману в свое время Гарольд Макмиллан.

При всем при том это был мужественный человек и настоящий патриот. После поражения Франции он был в сентябре 1940 года арестован гестапо, в 1942 году совершил удачный побег из лагеря и стал активным участником движения Сопротивления. Он примкнул к католической партии «Народно-республиканское движение» и сделал хорошую политическую карьеру в послевоенной Франции. Однако ко времени свидания с Аденауэром в душе его бродили сомнения насчет правильности избранного им внешнеполитического курса.

Аденауэр сразу сел на своего любимого конька: со старой враждой между Францией и Германией должно быть покончено; французские страхи насчет безопасности своих восточных границ вполне понятны, но экономическая интеграция должна лишить их всякого основания; такая политика имеет шансы на поддержку на западе Германии, где сильно влияние романской культуры и господствует католицизм; немцы на востоке больше подвержены воздействию марксизма и национализма. На Шумана эта аргументация произвела определенное впечатление, но некая толика скептицизма осталась. Он предпочел видеть Германию разделенной на три части и выразил недовольство позицией Аденауэра в отношении органа но Руру. Насчет Саара он проявил большую гибкость: в свое время, заявил он, эта область может быть возвращена Германии — при соответствующих гарантиях соблюдения экономических интересов Франции.

Никаких письменных соглашений во время этой встречи заключено, естественно, не было. Не было и никаких конкретных устных договоренностей. Главное — в установлении сердечных отношений между двумя политиками, основанных притом не на чистых эмоциях, а на рациональном расчете. В своем послании Шуману, написанном по свежим следам их совместных бесед, Аденауэр вновь подчеркнул, что рассматривает экономическую интеграцию как «самую надежную основу добрососедского сотрудничества». 24 ноября он изложил эти свои взгляды в беседе с американским политическим советником в Германии, послом Робертом Мэрфи, а вскоре, в декабре, — при первой встрече с генералом Клеем.

Пока председатель Парламентского совета осваивал дипломатический паркет, работа парламентариев почти что застопорилась. Карло Шмид и его комитет существенно отставали от графика, который имели в виду военные губернаторы. Правда, но основным положениям проекта Основного закона известный консенсус был достигнут. Роль позитивного фактора сыграло отсутствие Шумахера, который всю зиму проболел; иначе дискуссия была бы куда острее (да, пожалуй, и поинтереснее), но

результат заставил бы себя ждать еще дольше. Однако и при наличии общности в главном между двумя основными фракциями — СДПГ и ХДС — оставались разногласия, устранение которых требовало времени.

Самый серьезный спор развернулся вокруг проблемы отношений центра и земель. В конечном счете все свелось к нескончаемым дебатам насчет принципов формирования бундесрата — верхней палаты будущего парламента. Естественной моделью был сенат США, в который избираются по два сенатора от каждого штата вне зависимости от численности проживающего там населения. Аденауэр внушал своим коллегам по фракции ХДС, что эта модель неприемлема: ее принятие приведет к тому, что большинство окажется у социал-демократов, особенно если в число субъектов федерации будет включен Берлин. Полемика была достаточно бурной, но в конце концов фракция ХДС приняла предложенный социал-демократами компромисс: депутаты бундесрата будут делегироваться правительствами земель, но число депутатов от каждой земли будет различным — в зависимости от численности населения. Аденауэр был крайне недоволен не согласованным с ним решением, но не стал возражать.

Другой серьезный спорный момент касался проблемы отношений между Парламентским советом и оккупационными властями. Аденауэр придерживался вполне разумной точки зрения, что, поскольку проект Основного закона должен быть в конечном счете представлен на утверждение военным губернаторам, имеет смысл держать их постоянно в курсе его разработки и что именно он должен выполнять эту миссию. Социал-демократы считали, что, таким образом, западные правительства и сам Аденауэр получат возможность навязывать депутатам свои собственные взгляды и представления. Настоящий скандал разразился после того, как 16 декабря Аденауэр во Франкфурте имел беседу с военными губернаторами, те в ходе ее высказали ряд претензий по поводу того, что Парламентский совет в ряде случаев игнорировал их указания, а Аденауэр, в свою очередь, доложил о них депутатам. Представители СДПГ подняли крик: мол, Аденауэр сам подсказал союзникам свои собственные идеи, в частности, насчет бундесрата, а теперь пытается протащить их как якобы директиву оккупационных властей. Они внесли резолюцию недоверия председателю. Аденауэр защищался, и довольно удачно. Рождественские каникулы способствовали тому, что конфликтная ситуация как-то сама собой рассосалась.

Еще один спор возник уже после того, как проект Основного

закона был в марте 1949 года представлен на рассмотрение военных губернаторов. Те сочли, что федеральному правительству в нем даются слишком большие полномочия в фискальной области в ущерб компетенции земель, что противоречит их директивам. Социал-демократы вновь запротестовали, и на сей раз Аденауэр молчаливо солидаризировался с ними. Губернаторы поспешно сняли свои возражения, депутаты победили. Соответственно вырос и авторитет их председателя.

Последним яблоком раздора стал вопрос о столице новой федерации, разумеется, с прилагательным «временная», до воссоединения двух разделенных частей Германии. Выбор был между Франкфуртом и Бонном. Социал-демократы выступали за Франкфурт, аргументируя это тем, что там уже обосновался ряд бизональных учреждений и их легко превратить в федеральные. ХДС был за Бонн, за исключением гессенской организации (в этой земле как раз и находился Франкфурт). Аденауэр нанес социал-демократам удар в своей излюбленной манере: он обнародовал некий «отчет» о выступлении Шумахера, где тот якобы говорил, что если столицей станет Франкфурт, то это решит исход идеологической битвы между христианскими демократами и СДПГ в пользу последней. При такой постановке вопроса не только сторонники ХДС/ХСС, но и многие колеблющиеся предпочли бы Бонн. Другое дело, что Шумахер, возможно, никогда не высказывал того, что содержалось в таинственном «отчете», но дело было сделано.

Впрочем, решающим фактором на чашах весов стало заявление британской стороны о готовности предоставить Бонну статус фактической экстерриториальности, исключив город и прилегающий район из юрисдикции оккупационной администрации. Американцы в отношении Франкфурта таких гарантий не давали. Правда, и в этих условиях решение в пользу Бонна было принято минимальным большинством голосов после долгих и утомительных прений, которые длились почти до полуночи. Аденауэра обвиняли в том, что он нарушил полагавшийся председателю принцип беспристрастности, руководствуясь, помимо партийных, еще и личными мотивами — Бонн был совсем рядом с его домом. Он с возмущением — пожалуй, даже слишком сильным, чтобы его можно было считать искренним, — отвергал эти «инсинуации». Между тем вскоре после решающего голосования по вопросу о столице в письме, адресованном кардиналу Фрингсу, он с явным удовлетворением отмечал, что «все прошло хорошо», добавив: «Я же знаю о том, что вы тоже были заинтересованной стороной». Это «тоже» о многом

говорит.

Торжественный акт подписания Основного закона членами Парламентского совета состоялся 23 мая 1949 года. Присутствовали военные губернаторы трех держав, обстановка была довольно помпезная. Аденауэр объявил Основной закон вступившим в законную силу и тем самым возвестил о рождении Федеративной Республики Германии. В своей заключительной речи он позволил себе смелое утверждение о том, что «плод наших усилий представляет собой значительный вклад в дело воссоединения немецкого народа». На самом деле верно было противоположное: Основной закон изложил принципы, предназначенные для единого германского государства, но, поскольку он фактически был введен в действие только на территории Федеративной Республики, решение задачи достижения единства Германии отодвигалось на неопределенное будущее. Но это как раз вполне устраивало Аденауэра. Как отмечал впоследствии Ноэль Аннан, Аденауэр «в каждой своей речи заявлял о верности идеалу единой Германии, но каждая из его акций была направлена на то, чтобы сделать этот идеал политически нереальным. Да и зачем ему нужна была Германия по ту сторону Эльбы, которая традиционно симпатизировала социалистам? Для того чтобы юна перечеркнула его проект католической Западной Германии?»

Постепенно претворялись в жизнь и другие положения лондонских документов. 8 апреля 1949 года был обнародован Оккупационный статут: место губернаторов занимали Верховные комиссары, за оккупационными властями оставались только полномочия, относящиеся к обеспечению безопасности. На том же самом совещании в Вашингтоне, где три державы договорились по поводу Оккупационного статута, было принято принципиальное решение о слиянии французской зоны с Бизонией — она стала Тризонией. На 14 августа были назначены выборы в национальный парламент — первые свободные всеобщие выборы за шестнадцать лет.

Избирательная кампания проходила сложно. Не было опыта, мелкие местные интересы играли никак не меньшую роль, чем крупные политические проблемы, в разных регионах формировались свои политические коалиции, порой трудно было понять, кто и за что выступает. Имелись разные модели будущего правительственного блока: коалиция ХДС и СДПГ, как в Северном Рейне-Вестфалии, где премьером был, напомним, соперник Аденауэра Карл Арнольд, коалиция СДПГ и Свободно-демократической партии (СвДП), как в Гамбурге и Бремене, либо, наконец, коалиция ХДС и СвДП, как в Бадене. Споры шли жаркие,

но какие-то бестолковые.

Внутри ХДС главным событием, предшествовавшим ее вступлению в избирательную гонку, стало окончательное поражение «христианского социализма». В феврале Аденауэр пригласил Эрхарда выступить на форуме ХДС в Кенигсвинтере. Его речь не оставила камня на камне от социалистических идей. Единственное серьезное возражение выдвинул Альберс: он заявил, что теперь «Аленскую программу» можно выбросить в мусорную корзину, что было, безусловно, верно. Аденауэр в ответ заявил, что он по-прежнему целиком и полностью разделяет положения «Аленской программы», что было, разумеется, откровенной ложью. Аудиторию все это только позабавило. Созданный на форуме комитет 15 июля обнародовал «Дюссельдорфские принципы», означавшие, что ХДС во всех трех зонах полностью принимает на вооружение эрхардовскую программу экономического либерализма. Воздержался лишь баварский ХСС, который раздирали тогда внутренние конфликты; он присоединился к «Дюссельдорфским принципам» позднее.

Теперь можно было по-настоящему начинать избирательную кампанию. Тон ей задал сам Аденауэр речью в Гейдельберге 21 июля. «Главным нашим противником, — заявил он, — будет социал-демократия. Мы должны добиться того, чтобы 14 августа ни при каких обстоятельствах не стало днем рождения социалистической экономики». В качестве еще одного противника были выбраны англичане, причем в качестве ударной темы — проблема демонтажей. Другим пунктом для нападок стала поддержка, которую английские власти якобы оказывали СДПГ. В письме своему старому другу Хейнеману от 14 июня Аденауэр утверждал, что «лейбористы дают ей деньги — большие суммы… британское правительство отдало СМИ в своей зоне полностью в руки социал-демократов». Это была, конечно, полная чепуха, и Аденауэр прекрасно это знал, но это была хорошая тема для избирательной агитации.

Впрочем, его соперник Шумахер вел себя не лучше. Мало того, что он не стеснялся в выражениях по поводу рыночной экономики и лично Аденауэра. Он совершил грубую ошибку, развернув кампанию против католической церкви («пятая оккупационная держава») и против религиозного воспитания. Либералы из СвДП, всегда выступавшие за светское государство и свободное предпринимательство, не могли поверить своим ушам: оказывается, по Шумахеру, рынок — это выдумка церковников. Словом, избирателей здорово запутали, о чем прямо писали зарубежные наблюдатели.

Неудивительно, что результаты голосования принесли

всеобщее разочарование. Из 31,2 миллиона занесенных в избирательные списки проголосовали 24,5 миллиона — 78,5%. ХДС получил 31% голосов, СДПГ — 29,2, СвДП — 11,9, остальные 27,3% разделились между дюжиной прочих партий и независимыми кандидатами. Казалось, вновь вернулся Веймар с его партийной неразберихой. Чтобы предотвратить хаос четверо министров-президентов от ХДС, включая Карла Арнольда, выдвинули идею коалиции с СДПГ. Аденауэр был категорически против.

По мере того, как вырисовывалась картина распределения депутатских мандатов в бундестаге (Основной закон предусматривал довольно сложную схему обеспечения пропорционального представительства), для Аденауэра становилось все яснее — и он был, очевидно, первым, кто это понял, — что можно создать большинство на основе противостояния социал-демократам. Он связался по телефону с Гансом Эхардом, тогдашним лидером ХСС и министром-президентом Баварии, и изложил ему эту идею. Если тот поддержит идею объединения всех противников социализма, он, Аденауэр, рекомендует своей фракции выдвинуть кандидатуру Эхарда на пост председателя верхней палаты — бундесрата. Эхард сразу же согласился.

Оставался вопрос о кандидатуре канцлера. Чтобы решить его, Аденауэр прибегнул к испытанному приему: он пригласил главных актеров будущего спектакля к себе в рендорфскую резиденцию — «на чашку кофе». Там во второй половине дня в воскресенье 21 августа 1949 года и было, по существу, принято решение о том, кто будет править новой Германией.

ГЛАВА 4.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР

> *«Есть единственный путь к свободе: шаг за шагом, в тесном взаимодействии с Верховными комиссарами, постепенно расширяя круг наших полномочий и прав»*[32]

Круг приглашенных на рендорфское рандеву 21 августа был подобран самым тщательным образом. Двадцать шесть гостей должны были обеспечить представительство всех земель и регионов. Аденауэр, правда, формально оставался первым лицом только в ХДС британской зоны, общей для всех зон партийной организации еще не было, но никто не оспаривал его нрава на неформальное лидерство в отношении членов партии из других зон и, соответственно, на выбор участников и места той опять же неформальной встречи, которая должна была определить поведение партийной фракции в бундестаге.

Намечая список гостей, хозяин думал, естественно, не только о соблюдении полноты географического охвата. Важно было еще обеспечить, чтобы среди двадцати шести доминировали те, кто был за правоцентристскую коалицию, а отнюдь не за «большую коалицию» с СДПГ. В этой связи примечательным было отсутствие среди приглашенных одного из самых рьяных сторонников такой коалиции — министра-президента Северного Рейна-Вестфалии Карла Арнольда. Зато, естественно, был Пфердменгес, а где-то за кулисами порхал вездесущий Бланкенхорн. Когда все усаживались за большим столом в гостиной, Аденауэр, разумеется, поспешил занять кресло председателя. Никаких случайностей не должно было быть — всем должно было быть ясно, кто здесь главный, хотя никто, в общем, в этом и не сомневался.

Собственно, рендорфская вечеря должна была лишь подтвердить договоренность, которую Аденауэр накануне достиг с лидером ХСС Эхардом. На встрече во Франкфурте он убедил своего собеседника, что тот не может сам претендовать на пост канцлера — ведь ХСС агитировала против Основного закона, и баварский ландтаг был единственным проголосовавшим против его принятия; зато ему может быть предложен пост председателя бундесрата, если он, в свою очередь, поддержит идею коалиции ХДС/ХСС со свободными демократами плюс, возможно, с небольшой Немецкой партией, разумеется, с Аденауэром в

качестве канцлера. Эхард согласился, и они вдвоем придумали приманку для свободных демократов: их лидеру Теодору Хейсу будет предложен пост президента. Наконец, чтобы нейтрализовать гессенскую организацию ХДС, которая все еще не оставляла планов переноса столицы во Франкфурт, было решено, что ее лидеру Эриху Келеру будет отдано кресло председателя нижней палаты — бундестага.

Теперь надо было убедить собравшихся поддержать эти разработанные за их спиной планы. В своей затянувшейся вступительной речи Аденауэр повторил уже известные аргументы в пользу правоцентристской коалиции, добавив лишь два новых момента: что этот вариант имеет поддержку со стороны ХСС и что Шумахер против «большой коалиции». Окончание речи было встречено аплодисментами, но, как сам Аденауэр впоследствии написал в мемуарах, «не слишком бурными». Взявший слово министр-президент Рейнланд-Пфальца Петер Альтмейер выступил за «большую коалицию», и аплодисменты в его адрес были подружнее. Последовавшая четырехчасовая дискуссия свелась к повторению того, что уже было сказано; все устали до изнеможения. Аденауэру только это и было нужно.

Во время ужина он занялся обработкой наиболее стойких приверженцев «большой коалиции», введя в бой еще один аргумент: если Шумахер и согласится на блок с ХДС/ХСС, то лишь при условии, что социал-демократы получат монополию на принятие решений в сфере экономики. Трудно сказать, откуда исходила эта информация и соответствовала ли она действительности, но должное впечатление она произвела.

Когда после ужина дискуссия возобновилась, Аденауэр предложил сразу перейти к вопросу о конкретном распределении главных государственных постов между кандидатами правоцентристской коалиции. Присутствовавшие имели все основания удивиться: ведь предшествовавшее обсуждение не выявило единства взглядов но вопросу о том, быть ли такой коалиции в принципе. Однако если они и удивились, то не подали виду.

В своих мемуарах Аденауэр пишет, что это он был «удивлен», услышав, как «кто-то предложил меня в федеральные канцлеры». Более достоверно свидетельство Гебхарда Мюллера, министра-президента одной из земель французской зоны, который записывал отдельные моменты дискуссии. Согласно этим его записям, Аденауэр начал с того, что есть мнение, что он должен занять пост президента; он против: будучи президентом, он должен был бы отойти от партийных дел, однако «наша партия еще недостаточна сильна, и если я уйду, то она не сможет

выполнить долгосрочные задачи, стоящие перед нами». Поэтому ему следует взять себе пост канцлера, тем более что «я, оказывается, еще могу работать локтями, о чем и сам не догадывался». Вдобавок он сообщил, что обращался к врачам и те заверили его, что год-два он наверняка протянет.

Никто не решился возразить; и если считать молчание знаком согласия, то он его получил и поспешно перешел к вопросу о том, кому же быть президентом республики. Кандидатура Хейса не вызвала особых споров. Кто-то лишь спросил, знает ли тот сам о своем выдвижении. Нет, еще не знает, последовал ответ, и это тоже не вызвало особой реакции (Хейс узнал о том, что его хотят сделать президентом, из газетного сообщения). Оставался еще вопрос о пресс-релизе. Дело было деликатное: как правильно назвать данное собрание. Согласились на формуле: «конференция политиков ХДС/ХСС в резиденции д-ра Аденауэра в Рендор-фе». Сообщение для печати говорило о том, что участники «конференции» высказали «недвусмысленную поддержку социальному рыночному хозяйству в противовес социалистической плановой экономике». Яснее было трудно высказаться. Карлу Арнольду оставалась только роль читателя.

Прощаясь с гостями, Аденауэр удовлетворенно улыбался. В своих мемуарах он напишет: «Я был очень доволен результатом этого жаркого летнего дня». Высказывание стилистически небрежное, но искреннее. Разумеется, Арнольд и его сторонники почувствовали себя глубоко задетыми и начали контратаку. Мишенью была избрана кандидатура Хейса. Расчет был на то, что если ее удастся провалить, то свободные демократы обидятся и не пойдут на коалицию с ХДС/ХСС, так что вся схема Аденауэра рухнет. Резон тут был: президент по конституции должен был быть вне политики, над партиями, между тем все понимали, что выбор Хейса был продиктован чисто политическими соображениями. Даже союзники считали, что Аденауэр повел себя во всей этой истории неподобающим образом. Однако наш герой не терял времени: он выступил с пламенной речью перед депутатами от ХДС в ландтаге земли Северный Рейн-Вестфалия и добился того, что фракция одобрила рендорфские решения. Арнольд же, со своей стороны, допустил грубейшую политическую ошибку: он признал, что обратился к Шумахеру с предложением о личной встрече, нарушив таким образом партийную дисциплину.

1 сентября в Бонне, в здании, где предстояло собраться бундестагу, состоялось первое совместное заседание фракций ХДС и ХСС. К этому времени Аденауэр уже знал, что СвДП и Немецкая партия согласны войти и возглавляемую им коалицию.

Тем не менее не все прошло гладко. Раздавались голоса критики: мол, все уже заранее решено, мнения отдельных депутатов никто не спрашивал, что это за демократия? Кандидатуру Хейса одобрили, но, как писал в своем донесении на имя премьер-министра Эттли британский военный губернатор Робертсон, «без особого энтузиазма».

Затем тщательно разработанный план вообще, казалось, начал трещать по швам. 6–7 сентября в Ункеле собрались представители ландтагов и депутаты бундестага, чтобы избрать председателя бундесрата. Как мы помним, Аденауэр обещал этот пост Эхарду. Однако совершенно неожиданно слово взял Карл Арнольд. Он заявил, что Северный Рейн-Вестфалия — самая большая из одиннадцати земель федерации, и поэтому именно ее представитель, то есть он сам, должен председательствовать в бундесрате. Его кандидатуру с готовностью поддержали социал-демократы, и в результате он был избран подавляющим большинством голосов. Избрание председателя нижней палаты бундестага прошло, правда, без осложнений; как и было намечено, им стал Келер, и гессенский ХДС мог чувствовать себя удовлетворенным. Но как было умаслить Эхарда? Аденауэр поспешил лично встретиться с разобиженным баварцем; пришлось пообещать ему, что ХСС получит в новом правительстве один из важнейших постов — министра финансов.

Оставалось решить, что делать с ослушником Арнольдом. Тот, говоря словами донесения Робертсона, «настолько сам испугался последствий своего выступления, что даже думал подать в отставку с поста председателя бундесрата». Аденауэр проявил здесь неожиданное великодушие: 9 сентября он не только встретился с кающимся грешником, не только удостоил его трехчасовой беседы, но и принял, вроде бы после некоторых колебаний, его совет пойти на контакт с Шумахером. Встреча двух ведущих политиков рождающейся ФРГ состоялась на следующий день.

Аденауэр явился на нее в сопровождении Фрица Шеффера, представлявшего ХСС (Арнольда, инициатора и главного организатора этой встречи, на нее не взяли); СДПГ вместе с Шумахером представлял Карло Шмид. Эту встречу никак нельзя было назвать успешной, если только не считать успехом тот факт, что до этого два политических антагониста на протяжении двух с лишних лет вообще словом друг с другом не перемолвились, а здесь все-таки поговорили, причем обошлось без ругани. Однако никакого сближения взглядов не произошло; более того, выяснилось, что не может быть и речи о какой-то компромиссной, приемлемой для всех кандидатуре на предстоявших выборах

президента. В воскресенье, 11 сентября, стало известно, что от правоцентристских сил будет баллотироваться Хейс, утром 12-го СДПГ приняла решение выдвинуть на этот пост самого Шумахера.

Вечером в тот же день состоялось голосование, большинство было за Хейса. Теперь оставалось самое важное — избрание канцлера. Новоизбранный президент поступил так, как предписывал Основной закон: утром 14 сентября он провел консультации с лидерами всех фракций, констатировал, что единственным кандидатом, способным получить большинство голосов, является Конрад Аденауэр, и поздно вечером объявил о своем решении поставить его кандидатуру на голосование депутатов бундестага. Оно должно было состояться на следующий день.

Дата 15 сентября 1949 года стала одной из самых драматических в истории молодой республики. В 9.30 утра собрались на заседание депутаты от ХДС/ХСС. Последний, раз обсудили распределение мест в правительстве. Протестантское крыло во главе с Хольцапфелем выразило недовольство: их забыли. Бланкенхорн обратил внимание на то, что трое депутатов отсутствуют. Аденауэр впервые обнаружил признаки волнения; он потребовал еще раз переговорить с депутатами от непредсказуемой Баварской партии: их голоса могут понадобиться. Заседание закончилось без одной минуты одиннадцать, а в одиннадцать уже началось само голосование.

Объявления его результатов на галерее для гостей напряженно ожидала вся семья: дети Конрад, Рия, Макс, Пауль, Лотта, Либет, Георг и внуки. Подсчет длился долго. Наконец все: Аденауэр получил 202 голоса из 402; он избран минимально возможным большинством в один голос. Бланкенхорн взял на заметку тот факт, что тринадцать депутатов не приняли участия в голосовании. Сам Аденауэр, естественно, отдал голос в пользу своей кандидатуры — он и стал решающим.

Победа была не особенно убедительной. Утешение вскоре пришло с Востока. Московская «Правда» в номере от 16 сентября напечатала сообщение ТАСС под лихим заголовком «Американская марионетка Аденауэр — канцлер западногерманского сепаратного правительства», а несколькими днями спустя ее обозреватель Виктор Маевский назвал Аденауэра «поклонником Гитлера и Муссолини», а бундестаг — «ублюдочным боннским парламентом». Такого рода «критика» могла лишь способствовать укреплению авторитета новоиспеченного главы правительства, а он в таковом отчаянно нуждался.

Пока что расслабляться и почивать на лаврах было никак

нельзя. После объявления результатов голосования — никаких банкетов, только торопливый обед в кругу семьи, и в три часа — вновь заседание фракции: надо закончить вопрос с распределением министерских постов. Короткий разговор с Хейсом: назавтра — торжественный акт вступления в должность канцлера, а в следующий вторник, 20 сентября, он представит бундестагу состав кабинета.

К воскресенью 18 сентября все, кажется, улажено. Многие, правда, чувствуют себя незаслуженно обойденными и глубоко обиженными. В отчете политсоветника британской 21-й армии, расквартированной в Северной Германии, направленном в Форин офис, говорится, что для атмосферы во фракции ХДС/ХСС характерна «единодушная, но, впрочем, устало-безнадежная оппозиция эгоцентристскому стилю поведения Аденауэра». Приводится характерное высказывание «явно взбешенного» Пюндера: теперь он может говорить свободно, ведь ему не нашлось места в правительстве. Цитируется высказывание одного из любимчиков Аденауэра, Лера: «Шеф уже решил, что делать, так что какой смысл это обсуждать?» — и отмечаются непредвиденные его последствия: фракция единодушно забаллотировала кандидатуру Лера на пост министра внутренних дел, который в результате достался Густаву Хейнеману. Министром труда рекомендовали Антона Шторха на том единственном основании, что Аденауэр его не очень жалует. Но это были, пожалуй, исключения из общего правила; в целом новый канцлер подобрал себе кабинет по своему вкусу.

20 сентября его члены были представлены бундестагу, после чего Аденауэр зачитал программное заявление правительства. Его текст подвергался неоднократным изменениям и правкам, которые продолжались буквально до последней минуты. По поводу проблемы демонтажа немецких промышленных предприятий Аденауэр высказался на удивление мягко. Жестче прозвучала его оценка новой восточной границы Германии но линии Одер — Нейсе; оратор назвал ее неприемлемой, дав, впрочем, понять, что не следует особенно рассчитывать на то, что тут что-то можно изменить, во всяком случае, в обозримом будущем. В еще одном английском информационном материале, посланном в Форин офис, с некоторой примесью ревнивых чувств отмечено, что Аденауэр, «как обычно, придерживается того мнения, что масло на его бутерброде исключительно американское». Это не вполне справедливый упрек: на сей раз он добрым словом вспомнил британского министра иностранных дел Бевина, с которым встретился во время его непродолжительного визита в Берлин. В общем, прослушав

программную речь нового канцлера, западные союзники могли облегченно вздохнуть.

Назавтра Аденауэр был приглашен в резиденцию военных губернаторов трех держав в Петерсберге. Собственно, с вступлением в силу Оккупационного статута их собственный статус также изменился: отныне они именовались Верховными комиссарами. Их функции из административных превратились в надзорные; в неизменном виде сохранился объем их прав и полномочий в сфере внешних сношений новой республики.

Произошли и важные персональные изменения: из трех бывших военных губернаторов в качестве Верховного комиссара остался один Робертсон, причем отныне он переходил в подчинение Форин офис; генералов Клея и Кенига, представлявших соответственно США и Францию, сменили гражданские лица — Джон Макклой и Андре Франсуа-Понсе.

На долю Робертсона выпала миссия подыскания подходящей резиденции для аппарата Верховных комиссаров: ведь Бонн был в английской зоне. Он выбрал роскошный отель на вершине одного из утесов Семигорья, носившего название «горы Петра — Петерсберг. Это было недалеко от Бонна и в то же время вне городской черты; англичане, напомним, обязались сделать будущую столицу экстерриториальным анклавом внутри своей зоны оккупации. Своим выбором Робертсон спровоцировал нечто вроде дипломатического скандала. Дело в том, что в отеле, который облюбовал английский генерал, давно уже обосновался командующий бельгийским оккупационным контингентом со своим штабом. Теперь все они оказались выброшенными на улицу. Бевину пришлось самому объясняться с бельгийским правительством.

Из всех трех Верховных комиссаров Аденауэр лучше других знал, разумеется, Робертсона. В начальный период оккупации их отношения не ладились: Аденауэр воспринимал Робертсона как надутого германофоба, однако со временем он оценил его безупречные манеры и цельность натуры. Макклой был загадкой. Известно, что до того, как стать помощником военного министра в администрации Рузвельта, Генри Стимсона, он был банкиром. Его карьера на государственной службе не была ровной. Он подвергся острой критике за то, что в мае 1944 года запретил бомбить железнодорожные коммуникации, которые вели к лагерям смерти, где происходило уничтожение евреев. Такие бомбардировки могли бы сократить число поступавших в лагеря узников и спасти многих жертв холокоста, однако Макклой руководствовался исключительно соображениями военной целесообразности. «Военное министерство, — писал он, —

считает, что предложенная операция не имеет практической ценности… (Она привела бы) к отвлечению значительных сил авиации…(ее) эффективность крайне сомнительна». При всем при том Макклой отличался живым умом, и Аденауэр, поначалу отнесшийся к нему с известной настороженностью, вскоре наладил с ним самые теплые отношения.

Менее гармонично сложились отношения с французским Верховным комиссаром Франсуа-Понсе. С 1933 по 1939 год он был послом в Берлине, хорошо говорил по-немецки, был по-галльски остроумен. Небольшого роста, всегда безупречно одетый, он напоминал ухоженного домашнего кота; и так же, как это очаровательное домашнее животное, он мог внезапно укусить или царапнуть (естественно, не в буквальном смысле). Впрочем, это было характерно для многих его коллег из числа французских официальных лиц, с которыми Аденауэру приходилось общаться раньше, и он к такого рода укусам и царапинам уже привык. Улучшению их отношений помогло то, что Франсуа-Понсе терпеть не мог Шумахера; он называл его не иначе, как шизофреником; тот не оставался в долгу, обвиняя бывшего французского посла в том, что он на этом своем посту активно участвовал в политике умиротворения Гитлера. Словом, отношения между Франсуа-Понсе и Аденауэром в немалой степени определялись формулой «враг моего врага — мой друг».

Вернемся, впрочем, к событиям той первой встречи Аденауэра с тремя Верховными комиссарами, которая состоялась в среду 21 сентября 1949 года. Канцлер прибыл в сопровождении пяти своих коллег по кабинету. Представив их Верховным комиссарам, он перешел к актуальным проблемам отношений Федеративной Республики с оккупационными державами. Его правительство, заявил он, сделает все, чтобы создать условия для возможно более либерального и недискриминационного применения на практике положений Оккупационного статута; он от лица всех немцев выражает благодарность за «огромную помощь», оказанную союзниками в спасении Германии от голода; в то же время он обращает внимание на серьезность социальных и экономических проблем, вызванных большим притоком беженцев и изгнанников. Аденауэр повторил свою старую мысль о необходимости создания европейской федерации и соответствующей модификации для этой цели Рурского статута. Германия, подчеркнул он, не может войти в Международный орган по Руру в его нынешней форме. В общем, все было сказано по делу, в не особенно вызывающей, даже достойной форме.

С ответным словом выступил Франсуа-Понсе, который в сентябре 1949 года исполнял функции председательствующего в

коллегии Верховных комиссаров. Он официально объявил о вступлении в силу Оккупационного статута и соответствующих изменениях в названии и функциях оккупационных властей. Что касается ревизии Оккупационного статута в соответствии с высказанными пожеланиями новообразованного германского правительства в смысле предоставления ему большего объема суверенитета, то такая ревизия, сказал он, «последует тем раньше, чем более скрупулезно будут выполняться его существующие положения».

Затем было открыто шампанское, зазвучали тосты, и прием завершился на обычной для таких мероприятий приподнятой ноте. Здесь имеет смысл остановиться еще на одной легенде из аденауэровских мемуаров — о том, как он якобы ошеломил Верховных комиссаров своей смелостью и независимостью поведения. Вроде бы его предупредили, что он должен выслушать речь Франсуа-Понсе, стоя перед ковром, предназначенным исключительно для представителей держав-победительниц, и сможет ступить на него только после окончания всей церемонии; однако, когда Франсуа-Понсе направился к нему, чтобы пожать руку, он «решил воспользоваться этой возможностью, шагнул к нему навстречу и таким образом сразу же оказался на одном с ним ковре». Этим Аденауэр хочет сказать, что он таким образом сделал символическую заявку на паритет по отношению к западным союзникам. Объективно говоря, если все было так, как он описывает, то его жест граничил с мальчишеством. Если говорить о субъективном восприятии Верховных комиссаров, то считать, что они признали «триумф» Аденауэра, нет никаких оснований; скорее всего они просто не заметили телодвижений старца, а если и заметили, то не придали им никакого значения. Во всяком случае, в отчете Робертсона об этой встрече нет никакого упоминания об эпизоде с ковром.

22 сентября в бундестаге открылись дебаты по правительственному заявлению. Они приняли довольно острый характер, который перешел почти в потасовку после того, как первый оратор, Шумахер, потеряв самообладание, отозвался о членах ХДС как о «настоящих нацистах». Председателю понадобилось несколько минут, чтобы восстановить в зале порядок. Все было бы наверняка хуже, если бы скамьи и столы не были намертво прикручены к полу: тем самым была исключена возможность использовать их в качестве орудия выяснения истины путем физического воздействия на оппонентов. Депутаты компенсировали это ограничение их свободы словесными эксцессами. Аденауэр наблюдал все это, не проронив ни слова, с каменным лицом. Когда в конце заседания он взял слово, чтобы

подвести итог дискуссии, то лишь однажды позволил себе коснуться устроенного представления, напомнив об одном из эпизодов из истории рейхстага времен кайзерам один депутат тогда заявил, что выражать чувства немецкого народа — это и есть его работа, на что канцлер ответил, что его работа заключается в том, чтобы компенсировать ущерб, причиняемый такими необузданными выражениями эмоций.

Первое заседание создало прецедент для последующих: работа бундестага на протяжении следующих нескольких лет стала примером неупорядоченности и отсутствия дисциплины. Впрочем, был один вопрос, в котором все депутаты были едины, — проводимая союзниками практика демонтажа немецких промышленных предприятий. Она вызывала всеобщее и единодушное возмущение. Оно давало Аденауэру мощный рычаг воздействия на Верховных комиссаров. Те отмалчивались, за исключением Франсуа-Понсе, который не стеснялся обвинять канцлера во всяких грехах: демагогии, шовинизме и т.д. Однако, как известно, капля камень точит, и упорство Аденауэра было вознаграждено: союзники согласились поставить вопрос о демонтажах в повестку дня конференции западных держав, которая должна была собраться в Париже 9–10 ноября, и обсудить вопросы отношений с новой Германией. Робертсон совместно со своим политсоветником (им все еще оставался Кристофер Стил) подготовили к конференции рабочий документ, в котором убедительно доказывали, что если союзники сами по собственной инициативе не прекратят демонтажи, то растущее сопротивление немцев вскоре так или иначе сделает продолжение этой практики невозможным.

Эти аргументы убедили Шумана (правда, другие французские министры заняли более жесткую позицию), равно как и Бевина. Американцы вообще никогда не верили в мудрость прежней политики. В результате было решено существенно сократить программу изъятия немецких промышленных мощностей, а в качестве меры для успокоения немцев им было разрешено вновь строить морские суда. Кроме того, Федеративная Республика получала приглашение стать ассоциированным членом Совета Европы, международной организации, идея создания которой была впервые выдвинута на Гаагском конгрессе 1948 года. Кроме того, ей разрешалось открывать консульские учреждения за границей.

Решения Парижской конференции стали ядром известного «Петерсбергского соглашения». Формально речь шла об ответе Верховных комиссаров на ряд писем федерального канцлера, в которых тот обращался к правительствам трех держав с

настоятельной просьбой прекратить демонтажи. Окончательный текст документа был согласован Аденауэром и Верховными комиссарами в результате трудных и продолжительных переговоров. «Преподносить подарки немцам — это тяжкий труд, — заметил по этому поводу Франсуа-Понсе, добавив со вздохом: — И притом какой неблагодарный труд!» Аденауэр, впрочем, отдавал себе отчет в том, что всего, чего он хочет, сразу добиться невозможно; путь к полному суверенитету будет состоять из ряда малых шагов, даже шажков. Таким шагом и стало «Петерсбергское соглашение». Оно открывало Федеративной Республике путь к членству в таких международных организациях, как Организация европейского экономического сотрудничества, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Всемирный банк, Международный валютный фонд.

В бундестаге снова разразилась буря. Один из депутатов от СДПГ, Адольф Арндт, заявил, что канцлер нарушил конституцию, пойдя на принятие важного документа без консультации с парламентом. Шумахер пошел дальше: он обвинил Аденауэра в том, что тот бросил на произвол судьбы восемнадцать миллионов восточных немцев, покорно согласился с кабальными условиями Рурского статута и вообще капитулировал перед международным капиталом. Он даже назвал Аденауэра «канцлером союзников», а не немцев. Это было уж слишком; от Шумахера потребовали изъять этот выпад из стенограммы, а когда тот отказался это сделать, последовало наказание: лидер фракции СДПГ был на двадцать дней лишен права участия в заседаниях бундестага. Без него социал-демократы притихли.

Между тем они были в принципе правы в том, что Аденауэр вел не совсем чистую игру. Он вовсе не собирался добросовестно выполнять все положения только что достигнутого с западными союзниками соглашения. Это относилось, в частности, к тому его пункту, который гласил:

«Федеративная Республика заявляет о своей серьезной решимости соблюдать демилитаризованный статус федеральной территории и всеми силами будет препятствовать созданию вооруженных сил любого рода». Правда, и союзники в этом отношении проявили неискренность. Новый госсекретарь США Дин Ачесон, сменивший Маршалла, откровенно заявил Аденауэру во время своего визита в Бонн накануне Парижской конференции, что с американской точки зрения Западная Германия в настоящее время является союзником в противостоянии с Советским Союзом. Отсюда следовало, что она должна быть перевооружена.

Решающим фактором в изменении политики Запада стала

блокада Берлина. Впрочем, и раньше западные политики с тревогой воспринимали многое, что происходило в советской зоне, в частности создание в апреле 1946 года Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) путем механического включения социал-демократических организаций в коммунистические. Западные разведывательные источники сообщали о росте агрессивных настроений на Востоке. Действительно, такие настроения имели место, в том числе и в высших эшелонах советской иерархии. Современные российские историки приводят интересные (хотя документально и не подтвержденные) факты о некоем совещании Сталина с ведущими военными, имевшем место в 1946 году, где маршал Семен Буденный заявил, что нужно исправить ошибку, допущенную, но его мнению, в конце войны и состоявшую в том, что Красная Армия не продолжила своего наступления дальше на Запад и не захватила всю Западную Европу. «Нужно было рубить шашкой от головы до того места, откуда ноги растут», — заявил он (хотя есть основания полагать, что историк, приведший эти слова, — И.И. Орлик, несколько их смягчил: Буденный., видимо, куда более конкретно определил «место, откуда ноги растут»). Сталин, будучи прагматиком, отреагировал холодно; он задал риторический вопрос: «А кто будет кормить Европу?»

Если в 1946 году горячие головы в советской верхушке получили холодный душ, то два года спустя «рецепт Буденного» взяли на вооружение немецкие лидеры в советской зоне. На это раз Сталин не устоял. Он проигнорировал тщательно разработанный проект своего МИДа от 12 марта 1948 года, согласно которому Запад был бы поставлен перед альтернативой — либо вернуться к четырехстороннему контролю (на советских условиях, разумеется), либо взять на себя вину за его срыв. Он решил действовать проще. Когда 26 марта делегацией СЕПГ, которая во главе с ее председателем Вильгельмом Пиком прибыла в Москву для переговоров, было заявлено, что «они были бы рады, если бы союзники ушли из Берлина», Сталин ответил: «Давайте общими усилиями попробуем, может быть, и выгоним». Этим и был открыт зеленый свет блокаде Берлина.

Оказалось, что с советской стороны был допущен грубый просчет. Союзников не только не удалось выгнать из Западного Берлина — возникший кризис без нужды усилил их подозрения относительно советских намерений. Подозрения превратились в открытую враждебность после того, как в октябре 1949 года Советы создали свое собственное германское государство — Германскую Демократическую Республику (ГДР). Аденауэр понял, что терять время нельзя. «В ноябре 1949 года, — пишет он в своих

мемуарах, — в иностранной прессе неожиданно началась дискуссия по поводу перевооружения Германии». Все верно, только он забыл упомянуть, что зарубежные СМИ подняли эту тему не без определенных, тщательно оркестрованных усилий с его стороны. Сперва это было интервью американской провинциальной газете «Кливленд плейн дилер»: он, Аденауэр, против того, чтобы ФРГ имела собственную армию, но готов рассмотреть вопрос о немецком вкладе в вооруженные силы европейской федерации. Затем примерно то же было сказано на пресс-конференции в начале декабря, затем два дня спустя — в интервью корреспонденту уже немецкой газеты «Франкфуртер алыемейне». В то же время на митинге ХДС

8 декабря он поспешил заверить аудиторию, что возможный вклад Федеративной Республики в оборону Западной Европы ни в коем случае не ослабит антивоенную и антимилитаристскую позицию правительства.

Ясно, что Аденауэр, что бы там ни говорилось в «Петерсбергском соглашении», исходил из того, что обретение государством военного потенциала в той или иной форме — это необходимая предпосылка достижения полного суверенитета. Видимо, свое влияние на образ его мыслей оказала и серия меморандумов, которыми его засыпали два генерала, ранее связанные с кругом заговорщиков 20 июля, — Ганс Шнейдель и Адольф Хойзингер. Речь в них шла об «угрозе с Востока». Один из первых таких меморандумов, который был написан Шпейделем еще в декабре 1948 года, отмечал огромный численный перевес советских сухопутных сил, дислоцированных в Восточной Германии, над силами союзников в западных зонах.

Интересно, что восточногерманская разведка, со своей стороны, делала все, чтобы увеличить страхи на Западе по поводу военных приготовлений на Востоке; через свои каналы она, в частности, распространяла в ФРГ сильно преувеличенные данные о численности и боевых возможностях «народной полиции» ГДР. В то же время советским «друзьям» поставлялись столь же преувеличенные данные о «милитаризации» Западной Германии; так в официальный пресс-релиз Информационного бюро Советской военной администрации Германии от 18 октября 1949 года попали чудовищные цифры о почти полумиллионе западных немцев, якобы несущих службу в «полицейских и прочих формированиях военного характера». Все это создавало атмосферу неуверенности и напряженности и было только на пользу Аденауэру.

Он виртуозно использовал ситуацию. Достаточно привести его высказывание, которое сочувственно процитировала солидная

Швейцарская газета «Нейе цюрхер цейтунг»: «Откуда будет исходить большая опасность для западного мира — от России или от небольшого немецкого контингента, объединенного с вооруженными силами других (западных) стран?»

У ответственных политических деятелей во Франции и Великобритании эта аденауэровская риторика не вызывала поначалу ничего, кроме раздражения. Бевин, в частности, считал ее типичным симптомом того, что немцы вновь взялись за свои старые штучки. С другой стороны, стратегическое планирование в созданном в апреле 1949 года Североатлантическом союзе (НАТО) базировалось в принципе на тех же самых установках, которые отразились в меморандумах Шиейделя и Хойзингера и которые активно озвучивал Аденауэр. Как бы то ни было, к началу 1950 года стало ясно, что англичане и французы и слышать ничего не хотят о перевооружении Германии в какой бы то ни было форме, и Аденауэр решил на время прекратить муссировать эту тему.

В январе 1950 года состоялся первый визит министра иностранных дел Франции Шумана в Бонн. В отличие от неофициальной встречи в Бассенхейме, состоявшейся в октябре 1948 года, на этот раз атмосфера бесед Аденауэра и Шумана была далека от сердечности. Французская сторона в это время собиралась ввести в действие так называемые «Саарские конвенции», но сути, передававшие Саарскую область под юрисдикцию Франции при чисто формальном сохранении ее автономии. Это был явный отход от той позиции, которую Шуман занимал в Бассенхейме: тогда он по крайней мере намекал, что будущий статус Саара будет предметом двусторонних переговоров. Шуман заявил, что Саар будет представлен в Совете Европы, как и Федеративная Республика. Аденауэр был в ярости: его предали. Визит превратился в арену бесплодных и нервных споров.

В начале 1950 года все выглядело так, что Аденауэр попал в полную изоляцию. Он подвергался нападкам со всех сторон. ХДС и ХСС на местных выборах терпели одно поражение за другим. Отношения с Шуманом были испорчены. Если говорить о Верховных комиссарах, то его старый знакомый и почти что друг Робертсон готовился покинуть свой пост; его должен был сменить Айвон Киркиатрик — карьерный дипломат, выходец из семьи ирландских католиков, что в принципе должно было порадовать Аденауэра, но его вряд ли что тогда радовало; Макклой часто был в отъезде, и контакта с ним не налаживалось; а уж о Франсуа-Понсе и говорить нечего: у того всегда была наготове какая-нибудь шпилька для канцлера. Сюда добавлялись бытовые и

личные проблемы. Первое время официальная резиденция Аденауэра помещалась в здании Музея Кенига, хранилища экспонатов естественной истории, так что но пути в свой кабинет ему приходилось пробираться между чучелами медведей и жирафов. Ко времени визита Шумана он переехал во дворец Шаумбург, но там было довольно неуютно; к тому же возник скандал с дизайнером: Аденауэр распорядился доставить из Кёльна серебряный сервиз, видимо, дорогой ему по воспоминаниям, а дизайнер счел, что он не подходит к интерьеру дворца и вообще являет собой образец дурного вкуса. Дома все напоминало о Гусей, а тут еще и Либет его бросила: в марте 1950 года он вышла замуж за племянника кардинала Фрингса.

Видимо, только настроением мрачной безысходности можно объяснить одну из самых экстравагантных инициатив, с которыми когда-либо — в прошлом и будущем — выступал наш герой. В интервью, которое он дал через четыре дня после подписания в Париже «Саарских конвенций», 7 марта, главе европейского бюро агентства «Интернэшнл ньюс сервис» Кингсберри Смиту, была выдвинута идея унии между Францией и Западной Германией — ни более ни менее. Экономики обеих стран должны были быть поставлены под единое управление, оба парламента — объединиться, должно быть общее гражданство. При одном условии: Саар вначале должен быть возвращен Западной Германии.

Во Франции предложение вызвало естественную реакцию недоумения. Из крупных политических фигур откликнулся лишь де Голль, который в это время, уединившись в Коломбей-сюр-дез-Эглиз, предавался мечтам о возрождении империи Каролингов и усмотрел нечто подобное в идее Аденауэра, хотя тот вряд ли разделял цель де Голля — Франция как руководящая сила в планируемом объединении. Кроме де Голля, никто не воспринял инициативу Аденауэра всерьез; общее мнение сводилось к тому, что это часть какой-то хитрой игры, призванной произвести впечатление на американцев.

В этой ситуации Аденауэр решил вновь воспользоваться услугами Кингсберри Смита. В новом интервью с ним, 20 марта, он выдвинул более скромное предложение — о таможенном союзе. Он вспомнил о 1834 годе, когда такой союз объединил многочисленные немецкие княжества и положил начало объединению Германии, и высказал мнение, что такого рода модель может служить для урегулирования отношений между Францией и Западной Германией. Однако Франция не собиралась расставаться с Сааром и воспоминания о войне и немецкой оккупации были слишком свежи в памяти французов, чтобы они

клюнули на эти идеи Аденауэра. Ни одно французское правительство не могло бы удержаться у власти, если бы оно проявило хоть какой-то интерес к рассмотрению его инициатив.

Возникает вопрос: неужели сам Аденауэр не понимал их обреченности? И если да (скорее всего так, ибо он был реалистом), то зачем все-таки с ними выступал? Думается, с его стороны это был своеобразный обходный маневр, чтобы уйти от вопроса о вступлении ФРГ в Совет Европы и вновь выдвинуть на передний план проблему ее перевооружения. Маневр не удался: раздражение, которое неуклюжая тактика Аденауэра вызывала у англичан и французов, только усилилось. Франсуа-Понсе поспешил высказаться в том плане, что союзники оказывают Аденауэру любезность, а в ответ получают «оплеухи». Киркпатрик в разговоре с Бланкенхорном вообще разбил все логические построения Аденауэра, сводившиеся к тому, что без «немецкого вклада» оборона Запада невозможна. Безопасность Англии, пояснил он, покоится на возможности нанести по территории СССР ядерный удар с баз в Северной Африке, удар, который уничтожит промышленные центры вокруг Ростова и выведет из строя бакинские нефтепромыслы, о чем советское руководство прекрасно осведомлено. Перевооружать Германию просто нет нужды, так что пусть Федеративная Республика вступает в Совет Европы и не затягивает с этим делом.

Аденауэр смирился: 8 мая он подписал меморандум, предназначенный к обсуждению на заседании кабинета, в котором излагал аргументы в пользу ассоциированного членства ФРГ в Совете Европы без какой-либо увязки с вопросами о Сааре или перевооружении. Это было явное признание дипломатического поражения. Популярность Аденауэра как политика внутри страны и за рубежом грозила упасть до нулевой отметки — и тут пришло неожиданное спасение. В тот же день, 8 мая, Бланкенхорн положил ему на стол два письма от Шумана. Первое носило личный характер и заканчивалось весьма проникновенной формулировкой — «с самыми сердечными пожеланиями и выражением самого глубокого уважения». Второе в краткой и суховатой форме излагало предложение французского министра: передать всю угольную и сталелитейную промышленность Франции и ФРГ под управление общего наднационального органа. К этому объединению могут примкнуть и другие желающие страны Европы. Шуман писал далее, что он еще не внес это предложение на рассмотрение Совета министров, но он уверен, что в случае благоприятной реакции Аденауэра оно пройдет без каких-либо осложнений.

Коротко переговорив с Бланкенхорном, канцлер понял, что

инициатива Шумана — это для него в буквальном смысле подарок небес. Оно решает по меньшей мере четыре проблемы, каждая из которых связана с другой и каждая из которых причиняла ему головную боль: во-первых, Германия оказывалась бы прочно привязанной к Западу, интегрирована в западное сообщество; во-вторых, были бы навсегда устранены опасения французов насчет возрождения немецкой военной машины; в-третьих, снималась бы острота саарской проблемы; и, наконец, вступление ФРГ в Совет Европы уже не выглядело бы безоговорочной капитуляцией.

В тот же вечер Аденауэр отправил Шуману ответ — тоже в двух письмах.

Тон их был достаточно осторожный. «Федеральное правительство, — говорилось в послании, — по получении более детальной информации внимательно рассмотрит французский план». Осторожность формулировок на первый взгляд труднообъяснима: ведь Шуман предлагал то, за что Аденауэр выступал на протяжении тридцати прошлых лет, — франко-германское сближение. Все дело было в том, что главной фигурой в разработке «плана Шумана» был тогдашний руководитель французского Комиссариата планирования Жан Моннэ, и у Аденауэра возникло подозрение, что истинная цель главного диспетчера французской экономики состоит в том, чтобы поднять ее за счет экономики восточного соседа. Когда Моннэ 23 мая прибыл в Бонн и впервые встретился с бундесканцлером, он увидел перед собой человека, «не уверенного ни в себе, ни в доброй воле других». Как вспоминал Моннэ, «он явно не мог поверить, что мы действительно имеем в виду полное равенство партнеров; на него сильно влияли опыт долгих лет тяжких переговоров и чувство уязвленного самолюбия». Однако в ходе разговора, пишет Моннэ, «я увидел, как мой пожилой собеседник постепенно теряет маску суровой неприступности и дает выход сдерживаемым эмоциям». В конце разговора Аденауэр встал и торжественно отчеканил: «Месье Моннэ, я считаю претворение в жизнь французского проекта своей самой важной задачей. Если мне это удастся, я буду считать, что прожил жизнь не зря».

ГЛАВА 5.
СТРОИТЬ ЕВРОПУ С ОГЛЯДКОЙ НА МЕДВЕДЯ

> *«Только включив в себя свободную Германию, Европа сможет построить плотину против красного потока»*[33]

Аденауэр всегда беспокоился о своем здоровье, даже порой слишком. С годами это отнюдь не прошло, перейдя в беспрекословное следование заповедям здорового образа жизни. Строгий выбор диеты: поменьше жиров, жесткие ограничения на алкоголь — при том, что к старости он стал явно неравнодушен к хорошему вину. Два года без отпуска, зато обязательный отдых в середине дня побольше, чем раньше, плюс никакой политики во время уик-эндов в Рендорфе. К дому — пешком по ступенькам довольно крутой лестницы, несколько кругов по саду в хорошем темпе — все это давало необходимую физическую разрядку организму, так что для своих семидесяти четырех лет наш герой выглядел совсем неплохо. Высокий, подтянутый, даже глубокие морщины, избороздившие лицо, не очень портили впечатление.

Интеллект тоже не изменил ему: он мог сконцентрироваться на том, что в данный момент считал важным, и столь же легко стереть из памяти то, что уже было не нужно, — важное качество зрелого ума. В свое время лорд Рэндольф Черчилль назвал Уильяма Гладстона «старцем, который вечно спешит и везде опаздывает». Лорд Аннан перефразировал это высказывание в применении к Аденауэру: «Старец, который не спешит, но везде успевает».

Впрочем, в обстановке первых месяцев 1950 года спешить просто не имело смысла. Нужно было ждать, терпеливо ждать и осторожно пытаться переломить неблагоприятные для него и его партии тенденции общественного мнения. Эти попытки были порой, что называется, на грани фола. В апреле в ходе пропагандистского турне по городам Германии он посетил Берлин, где произнес откровенно националистическую речь, закончив ее призывом спеть всем вместе третью строфу «Песни немцев» фон Фаллерслебена; он прекрасно знал, что третью строфу, запрещенную при Гитлере, мало кто знает, зато все знают строки из первой строфы с пресловутым «Дейчланд, Дейчланд юбер аллее» — «Германия, Германия превыше всего» — и споют именно ее, тем более что публика собралась соответствующая.

Так и случилось. Разразился скандал: ведь исполнение этого гимна было официально запрещено оккупационными властями, и об этом Аденауэр тоже прекрасно знал. Вызванный «на ковер» к Верховным комиссарам, он разыграл оскорбленную невинность: ведь он обратился к толпе, чтобы они спели не гимн, который запретили союзники, а третью строфу, которую запретил Гитлер и где речь идет о «единстве, нраве и свободе», — что же тут плохого? Эта аргументация мало кого убедила, и меньше всего комментаторов зарубежной прессы. «Старый неисправимый националист» — это было еще самое мягкое, что говорилось об Аденауэре после описанного инцидента.

С «планом Шумана» тоже не все шло гладко. Когда Моннэ сообщил ему, что англичане скорее всего откажутся в нем участвовать, у Аденауэра ожили старые подозрения насчет того, что французы все-таки имеют в виду захватить лидерство в верховном органе планировавшегося Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Как писал лорд Пакенхэм, когда он посетил Аденауэра в Рендорфе перед своим отъездом на родину, тот «буквально умолял меня использовать все мое влияние, чтобы добиться присоединения Великобритании к “плану Шумана”». Однако в Лондоне Пакенхэму показали меморандум министерства финансов, в котором черном по белому было написано: «Не в наших интересах привязывать себя к трупу».

Поскольку англичане явно хотели остаться в стороне, Аденауэру пришлось лишь уповать на твердость и решительность своих переговорщиков в отстаивании немецких интересов. Но таких надо было еще найти. Шуман и Моннэ советовали Аденауэру, сохраняя за собой общее руководство, послать в Париж специально уполномоченное лицо, которое могло бы целиком и полностью посвятить себя обсуждению конкретных условий создания и функционирования ЕОУС. Аденауэра это устраивало, но кто должен был стать таким уполномоченным?

После того, как Бланкенхорн отказался от предложенной ему миссии, выбор канцлера нал на банкира Абса, с которым он был в дружеских отношениях. Однако выяснилось, что прошлое Абса, который во время войны был управляющим берлинского отделения «Дейче банка», скрывает некие темные пятна и французы не хотят иметь с ним дела. В конечном счете Аденауэр обратился к Вальтеру Хальштейну, профессору права из Франкфурта, который к тому же какое-то время провел в США, читая лекции в Джорджтаунском университете. Хальштейн согласился, и как раз вовремя: 20 июня 1950 года в Париже под председательством Моннэ прошло первое пленарное заседание подготовительного комитета ЕОУС.

Не упускал Аденауэр из виду и тему перевооружения. До середины 1950 года западные державы и слышать ничего не хотели о немецких солдатах; сама мысль, что в центре Европы вновь покажутся немецкие мундиры, казалась им отвратительной. Аденауэр смиренно согласился: хорошо, никаких солдат, но нельзя ли назначить ему советника по вопросам военной безопасности или, еще лучше, коллегию таких советников? Просто чтобы они отслеживали возможные угрозы и давали канцлеру соответствующую информацию, а он на основании ее будет запрашивать союзников насчет того, что они собираются предпринять, чтобы эти угрозы нейтрализовать. Союзники согласились и дали добро на этот план Аденауэра.

В чем они никак не могли прийти к согласию, так это в вопросе о том, кому быть главным советником канцлера в этой деликатной сфере. Американцы предлагали генерала Рейнхарда Гелена, который во время войны руководил военной разведкой на Восточном фронте и сумел создать разветвленную агентурную сеть в странах Восточной Европы. В конце войны он попал в американскую разведку, которая финансировала деятельность его «частной» разведывательной службы с центром в пригороде Мюнхена в обмен на сведения о передвижениях советских войск и прочую информацию такого рода. Однако Аденауэр относился к Гелену с предубеждением; его больше привлекла кандидатура, выдвинутая англичанами, — генерал Герхард фон Шверин, бывший начальник штаба фельдмаршала Роммеля, человек, известный своими антинацистскими взглядами. Помимо прочего, он хорошо владел английским языком. Шверин и стал советником, хотя его пребывание в этой должности продлилось недолго — всего несколько месяцев.

Социал-демократы продолжали свои нападки на саму идею «ремилитаризации» ФРГ, к ним присоединился евангелический пастор Мартин Нимеллер, автор довольно нелицеприятной метафоры о происхождении Федеративной Республики («зачата в Ватикане и рождена в Америке»). Словом, проблема перевооружения, несмотря на все старания Аденауэра, продолжала находиться в подвешенном состоянии. Все изменилось с началом войны в Корее 25 июня 1950 года. Доводы Аденауэра об «угрозе с Востока» приобрели большую убедительность: если северокорейцы смогли захватить южнокорейцев и весь Запад врасплох, то почему Советы не могут сделать то же самое в Германии? Сама эта мысль способна была вызвать самую настоящую панику. Госдепартамент США, ранее по крайней мере внешне демонстрировавший приверженность потсдамской формуле о демилитаризации Германии, в середине

августа подготовил записку, в которой содержалась прямая рекомендация создать европейскую армию с участием западногерманского контингента. В ней выражалось согласие с точкой зрения, еще ранее озвученной Министерством обороны, согласно которой при отсутствии такой армии советские танки легко пройдут всю Европу вплоть до Пиренеев.

В начале июля Аденауэр заболел: его хронический бронхит обострился и перешел в воспаление легких — таков по крайней мере был официальный диагноз. Уколы пенициллина помогли быстро справиться с инфекцией, однако пациент продолжал жаловаться на слабость и в середине месяца вместе с дочерью Либет отбыл на отдых в Швейцарию. Там, в горном местечке Бюргеншток, неподалеку от озера Люцерн, он провел месяц и в середине августа вернулся в Бонн.

На отдыхе он имел достаточно времени, чтобы обдумать новую тактику в новых условиях. Война в Корее открыла для него ободряющие перспективы. Его анализ ситуации исходил из совершенно правильных оценок американского стратегического мышления: Аденауэр понимал, что для госдепа события в Корее представляются лишь одним из элементов координированного плана коммунистов по завоеванию мирового господства, что красная опасность американцам отныне будет чудиться под каждой кроватью, но что они вовсе не горят желанием втягиваться самим в военные действия в Европе — с них достаточно корейского театра. Отсюда — прекрасная возможность пошантажировать Запад, разумеется, не грубо, а в мягкой, можно сказать, деликатной форме. Этот шантаж принял форму двух меморандумов, посланных канцлером Макклою для передачи министрам иностранных дел трех западных держав, которые, он это знал, должны были собраться 9 сентября в Нью-Йорке для обсуждения проблем европейской безопасности в новых условиях. Один документ был посвящен как раз проблеме того, как противостоять советскому «нападению», а второй касался общих проблем взаимоотношений между ФРГ и оккупирующими державами. Авторами обоих меморандумов, которые писались в обстановке крайней спешки и такой же секретности, были Бланкенхорн и Чарльз Тейэр — американский офицер связи при федеральном правительстве; но свидетельству последнего, «время от времени к нам заходил и сам старец — помочь с той или иной формулировкой».

В первом меморандуме Аденауэр повторил свою просьбу разрешить создать в ФРГ полицейские формирования, которые находились бы в прямом подчинении центрального правительства (до этого полиция подчинялась правительствам земель). Новым

было предложение выставить двенадцать немецких дивизий в качестве составной части объединенных вооруженных сил европейских стран. Еще дальше шел второй документ: в нем содержалось требование (!) ревизии Оккупационного статута, прекращения состояния войны и предоставления Федеративной Республике полного суверенитета во всех сферах, за исключением вопросов обороны; западные державы сохраняют свои войска в Германии на существующем уровне. Намек был дан ясный: пока Германия будет считаться оккупированной страной, не будет никакого западногерманского «вклада в оборону Запада». Пусть Америка решает, что она предпочитает.

Эти документы недолго оставались секретными: вскоре была организована утечка их основных положений в СМИ. Поднялся большой шум: помимо возмущения по поводу того, что канцлер, представляя их министрам трех держав, не проконсультировался предварительно ни с кабинетом, ни с парламентом, всеобщий протест вызывало и само их содержание. Еще не все военнопленные с прошлой войны вернулись домой, а тут уже речь о новой! Опросы общественного мнения показывали, что 70% взрослого населения ФРГ настроены против перевооружения Германии в принципе.

Аденауэра, правда, решительно поддержал кардинал Фрингс, который в своих страстных проповедях отстаивал тезисы о том, что католическое вероучение оправдывает «справедливую войну» и что ни государство, ни отдельные индивиды не имеют права ссылаться на разрушительный характер современной войны в оправдание непротивления насилию и несправедливости. О полной солидарности с канцлером заявил и федеральный президент Хейс. Но это не ослабило массовую оппозицию политике военной интеграции.

Аденауэра эта оппозиция мало беспокоила. У него были свои аргументы. Первый (который разделяли и союзники) заключался в том, что существует опасность массированного вторжения Красной Армии в Западную Германию; второй (к нему союзники относились более скептически) — что такое нападение (или нападения) совершит Народная полиция ГДР, и, наконец, третий, который союзники считали более чем сомнительным, — о коммунистическом восстании (или восстаниях) в ФРГ либо до, либо после удара извне (этот аргумент явно отражал воспоминания бывшего кёльнского бургомистра о кильских матросах, которые в ноябре 1918 года, но сути дела, без выстрела захватили его родной город).

Ни один из этих аргументов не был основан на реальных фактах. Что касается советских войск в восточной зоне, а

впоследствии — в ГДР, то они имели вполне определенные задачи чисто оборонительного характера. Недавно опубликованный «Оперативный план действий Группы советских оккупационных войск в Германии» от 5 ноября 1946 года неопровержимо свидетельствует об этом. Впрочем, о том же говорит и давно известный факт демонтажа второй колеи на железнодорожных магистралях восточной зоны — ГДР. Это было сделано, разумеется, потому, что рельсы были нужны для советских железных дорог; ясно, однако, что тем самым сильно уменьшались возможности массированной переброски советских войск для наступления на Запад; вывод отсюда может быть только один: такое наступление вовсе и не планировалось. Можно согласиться с мнением российского историка И.И. Орлика, которого мы уже цитировали выше в связи с историей о диалоге Сталин — Буденный: «В конце 40-х — начале 50-х годов, в самом начале холодной войны, от Советского Союза не исходило никакой военной угрозы Соединенным Штатам и Западу в целом». Другими словами, возможно, что цифры оценок военного потенциала советских вооруженных сил, которые Шпейдель и Хойзингер докладывали Аденауэру, а Гелен — в Вашингтон, были недалеки от истины, но это никак не означало истинности их оценок советских намерений. Страхи Аденауэра были, таким образом, безосновательными.

То же можно сказать и о его тезисах насчет вторжения в ФРГ Народной полиции ГДР или о подготовке коммунистического путча. Такие операции, естественно, не могли планироваться без согласия Москвы. Между тем, как свидетельствует хранящийся в Архиве внешней политики Российской Федерации протокол конференции министров иностранных дел восьми стран восточного блока, которая проходила в Праге 20–21 ноября 1950 г., руководитель советской делегации Молотов весьма холодно отреагировал на попытки представителей Польши, Румынии и ГДР усилить в тексте заключительной декларации критические выпады в адрес политики ФРГ и лично Аденауэра. Когда польский министр иностранных дел предложил добавить в текст заключительного документа формулировку о том, что бывшие генералы вермахта, участвующие в разработках планов «ремилитаризации» Западной Германии, все без исключения являются «военными преступниками», Молотов прочел целую лекцию о том, что нельзя всех их стричь под одну гребенку, что, в частности, военный советник канцлера Шверин «не из самых крайних гитлеровцев», поскольку он участвовал в заговоре 20 июля, и т.д. Молотов подчеркнул, что в представленном советской делегацией проекте «нет ни слова критического,

ругательного в отношении правительства Аденауэра. Мы считаем, что наш документ должен быть направлен против трех оккупационных держав — США, Великобритании и Франции… Правительство Аденауэра мы нигде не затрагиваем непосредственно. Больше того, в наших конкретных выводах, пункт четвертый, мы как бы приглашаем это правительство участвовать в учреждении Общегерманского учредительного совета[34]. Нам нецелесообразно переходить к критике «западногерманского правительства», «боннского правительства», а все внимание следует сосредоточить на критике трех держав — оккупантов Западной Германии». Правда, тот же Молотов, обращаясь к министру иностранных дел ГДР Дертингеру, сказал, что «конечно, это не мешает германской делегации вести свою борьбу против правительства Аденауэра», но ясно, что мыслилась чисто пропагандистская борьба, никак не вооруженная.

В общем, можно сказать, что западные страхи насчет «агрессии с Востока» были необоснованны. Это, однако, не означало, что их не было. Именно эти страхи побудили Трумэна буквально накануне нью-йоркской конференции одобрить план мероприятий но включению западногерманских военных контингентов в структуру НАТО и заявить о

Четвертое. Создание па паритетных началах из представителей Восточной и Западной Германии Общегерманского учредительного совета, который должен подготовить образование Временного демократического миролюбивого общегерманского суверенного правительства и представить соответствующие предложения на совместное утверждение правительств СССР, США, Великобритании и Франции и который впредь до образования общегерманского правительства должен быть привлечен к консультациям по выработке мирного договора». (См. Советский Союз и вопрос о единстве Германии и мирном договоре с Германией. М., 1952, с. 77–78.) наращивании вооруженных сил США в Европе. Сама эта конференция, прошедшая в сентябре 1950 года, в своих решениях воплотила в жизнь многое из того, что содержалось в аденауэровских меморандумах, переданных с Макклоем. Федеративная Республика была признана в качестве единственно законного правительства Германии, ей разрешалось создать министерство иностранных дел и посольства за рубежом. Были сняты ограничения на выпуск стали. Все это были последствия корейского шока, и Аденауэр мог поздравить себя с успехом.

К его вящему разочарованию, однако, три министра не пошли на удовлетворение в полном объеме его запросов в военной области. Было разрешено лишь создать силы федеральной

полиции численностью в тридцать тысяч человек. Трудно было понять, какие стратегические задачи можно было решать этими силами, но большего достичь не удалось из-за позиции французов. С другой стороны, с точки зрения министра внутренних дел Хейнемана, это был чересчур далеко идущий шаг в сторону перевооружения Западной Германии, которое он с самого начала отвергал в принципе. Хейнеман подал в отставку, Аденауэр ее сперва не принял, а затем, наоборот, постарался ускорить уход строптивого министра.

Французская оппозиция военному «вкладу» ФРГ, выявившаяся на нью-йоркской конференции, вызвала серьезную критику со стороны союзников, и в качестве ответа на нее тогдашний премьер-министр Франции Рене Плевен, выступая в Национальном собрании 24 ноября 1950 года, изложил проект создания «европейской армии» во главе с объединенным командованием, которое предполагалось создать по той же модели, что и руководящие органы ЕОУС. По словам Плевена, «контингенты, выделяемые государствами-участниками, будут включены в состав европейской армии на уровне возможно более мелких подразделений». Главная мысль заключалась в том, что такая схема, исключающая создание самостоятельной немецкой военной машины, успокоит и Советский Союз, и французское общественное мнение.

Подлинным автором «плана Плевена» был все тот же Жан Моннэ. Это была не самая удачная из его задумок. Верно: советских лидеров не особенно обеспокоила идея создания некоей невиданной конструкции, историческим прецедентом для которой мог служить разве только легендарный проект возведения вавилонской башни. Возможно, сама перспектива появления на горизонте немецкого солдата с винтовкой, направленной на восток, заставила советских военных заняться лихорадочной разработкой плановых контрмероприятий, но реакция на политическом уровне была менее явной. Архивные материалы советского МИДа говорят скорее за то, что проблема перевооружения Германии привлекла внимание советских разработчиков в первую очередь как отличная тема для развертывания антизападной пропаганды. Что касается французской публики, то ожидаемых симпатий этот план там не вызвал: он был слишком сложен для восприятия «человека с улицы». В английских военных кругах его вообще восприняли как некий курьез.

Курьез или не курьез, а советская пропаганда не замедлила отреагировать на «план Плевена» рядом достаточно привлекательно выглядевших инициатив. Вначале было

предложено созвать совещание министров иностранных дел четырех держав с целью обсуждения вопроса о полном выводе оккупационных войск с германской территории. Затем по директиве Москвы Народная палата ГДР, которая полностью контролировалась СЕПГ, приняла резолюцию о проведении свободных выборов во всех четырех зонах. Аденауэр отреагировал резко отрицательно: он считал, что осуществление этих инициатив неминуемо приведет к тому, что вся Германия попадет под советское влияние, а возможно, и под полный контроль СССР. Иной точки зрения придерживался старый соперник Аденауэра, ставший в его кабинете министром по общегерманским вопросам, Якоб Кайзер; он так же, как и лидер оппозиции Шумахер, считал, что документ Народной палаты заслуживает рассмотрения. Советы, но правде говоря, вряд ли надеялись, что их инициативы будут приняты Западом: речь шла, повторим, об искусном пропагандистском маневре, рассчитанном на раскол среди западногерманского населения и на соответствующее воздействие на общественное мнение. В какой-то мере это удалось. Английское и французское правительства согласились на созыв конференции четырех держав, правда, на уровне не министров иностранных дел, а их заместителей, которые должны были подготовить повестку дня для своих шефов. Конференцию предлагалось провести весной 1951 года, местом ее проведения должен был стать Мраморный дворец в Париже.

Таким образом, на рубеже 1950–1951 годов одновременно работали три команды переговорщиков с разными участниками и разными мандатами, и в каждой из них чувствовалось прямое или косвенное влияние личности нашего героя, а кроме того, началась подготовка к четвертому форуму, к которому он не имел отношения, но возможные результаты которого его крайне волновали. Что касается текущих переговоров, то, во-первых, это были дискуссии но «плану Шумана», где западногерманскую делегацию возглавлял, как мы помним, Хальштейн, во-вторых, менее содержательные, но достаточно активные попытки вдохнуть жизнь в «план Плевена» (со стороны ФРГ главной фигурой был Теодор Бланк, бывший профсоюзный деятель, а ныне член фракции ХДС в бундестаге) и, в-третьих, диалог с Шумахером, Нимеллером и другими противниками перевооружения, диалог, который ввиду его важности вел сам канцлер. Что его особенно беспокоило — это перспектива возможного сближения взглядов представителей Востока и Запада на предстоявшей конференции в парижском Мраморном дворце; достижение взаимопонимания между бывшими союзниками разрушило бы все, к чему он стремился и над чем

работал в последние пять лет. Ситуация на внутреннем фронте тоже не сулила радужных перспектив: неуклонно рос дефицит в торговле, росла воинственность профсоюзов. Неудивительно, что морщины на лице Аденауэра стали еще глубже, на коже на нервной почве появилась экзема.

Между тем с первой половины 1951 года стали появляться и признаки перемен к лучшему. Война в Корее стимулировала спрос на продукцию западногерманской индустрии, начался экономический подъем, снизился уровень социальной напряженности, с профсоюзами в январе было достигнуто соглашение о расширении прав рабочих на соучастие в управлении их предприятиями. Что касается международных дел, то к апрелю успешно закончились переговоры по «плану Шумана»: договор о создании ЕОУС был готов к подписанию, а переговоры в Мраморном дворце, напротив, благополучно зашли в тупик. Такова была обстановка, в которой 11 апреля 1951 года начался первый официальный визит немецкого бундесканцлера в Париж; во время него должен был состояться торжественный акт подписания договора о ЕОУС.

Аденауэр прибыл в Париж в качестве не только главы правительства, но и министра иностранных дел: еще в сентябре, напомним, решением нью-йоркской конференции западным немцам было разрешено создать свой МИД, и президент Хейс специальным декретом назначил Аденауэра первым руководителем новообразованного министерства. Визиты во Францию его предшественников вызывали не особенно приятные исторические ассоциации. Бисмарк посетил Париж после победоносной франко-прусской войны и провозгласил там создание Второго германского рейха. Брюнинг приехал туда в 1930 году с просьбой о предоставлении займа. Гитлер прибыл в Париж спустя день после капитуляции Франции. Ни один из этих трех прецедентов, естественно, не годился для данного случая. Прием, который французы оказали высокопоставленному западногерманскому гостю, не отличался особой пышностью. На аэродроме Бурже его встречал один Моннэ. Поселили его не в какой-либо государственной резиденции, а в простом номере отеля «Крийон», где во время немецкой оккупации имели обыкновение останавливаться эмиссары рейха. Организованная для него на следующий день поездка но достопримечательностям Парижа была достаточно краткой, сопровождавший его Франсуа-Понсе выглядел как конвоир, охраняющий опасного преступника. Президент Франции Венсан Ориоль пригласил Аденауэра на завтрак — мероприятие не для самых почетных гостей. Потом продолжение знакомства с городом, — словом, все совсем не

похоже, как язвительно писали газеты, на триумфальное шествие Гитлера по улицам Парижа в 1940 году.

Сам Аденауэр, видимо, тоже не испытал особой радости от этого первого своего официального зарубежного турне. Франсуа-Понсе и Бланкенхорн пытались увлечь его красотами Собора Парижской богоматери и Лувра, но без особого успеха. Они устроили ему обильный ужин в ресторане «Люка-Карто» на площади Мадлен, убедив его пренебречь на сей раз заповедями умеренности в еде и напитках; однако ни богатый стол, ни изысканные вина не подняли ему настроения. Большее впечатление на него произвела чопорная роскошь Елисейского дворца и Кэ д'Орсе; бывший бургомистр Кёльна хорошо понимал значение внешних аксессуаров для дипломатического дискурса.

Один из самых важных эпизодов визита ускользнул от внимания прессы. Речь шла о тайной встрече с генеральным директором министерства финансов Израиля Давидом Горовицем. Она состоялась по инициативе Аденауэра и была посвящена проблеме выплаты репараций Израилю за преступления холокоста. Федеральный канцлер уже давно размышлял над этой проблемой; для него здесь присутствовал и личный аспект: он был многим обязан щедрости Дании Хейнемана, а еще раньше — поддержке, которую ему оказывала еврейская банковская община Кёльна. В беседе с Горовицем он заявил о принципиальной готовности заключить соответствующее соглашение с израильскими властями; о конкретной сумме речи не шло; Аденауэру было известно, что еще месяц назад, в марте, правительство Израиля предъявило оккупационным властям счет на полтора миллиарда долларов для взыскания с немцев в качестве компенсации за преступления гитлеровцев против еврейского населения Европы; эта сумма составляла больше половины всех субсидий, которые Западная Германия получила но «плану Маршалла»; обсуждать ее Аденауэр не стал, резервировав это для последующих переговоров.

Парижское турне закончилось так же, как и началось, — тихо и скромно, без какой-либо помпы. В июне того же года Аденауэр совершил поездку в Рим. Там его принимали по более высокому разряду. Италия не принадлежала к числу держав-оккупантов, и де Гаспери устроил для западногерманского канцлера и министра иностранных дел встречу, помпезность которой оказалась для того, по-видимому, явной неожиданностью. Теплоте атмосферы способствовало и то обстоятельство, что де Гаспери, уроженец провинции Тренто, входившей когда-то в состав Австро-Венгрии, бегло говорил по-немецки.- Вдобавок итальянский премьер был католиком, как и Аденауэр, и так же, как он, усвоил с пользой для

себя положения папских энциклик «Рерум новарум» и «Квадрагезимо анно». Сердечность оказанного ему в Риме приема превзошла все, что он испытал в этом плане ранее. Его амбиции соответственно выросли, и это сказалось на ходе переговоров с западными союзниками.

К лету 1951 года Бланк и Хальштейн сумели на удивление быстро довести до завершения трудную задачу отделения зерен от плевел в «плане Плевена». В конце июля был уже готов промежуточный доклад, отразивший общие, согласованные позиции всех заинтересованных сторон. Предполагалось создать «Европейское оборонительное сообщество» (ЕОС) с непременным участием немецкого контингента. Аденауэр был удовлетворен, но не вполне.

Взяв очередной отпуск в августе и отправившись, как и в предыдущий год, в Бюргеншток, он решил на досуге еще раз продумать свою тактику. На своеобразный семинар к берегам Люцерна были вызваны Бланкенхорн, Хальштейн и Бланк, а также Вильгельм Греве, профессор международного нрава Фрейбургского университета, для которого он стал первым, но не последним опытом участия в подобных мероприятиях. Аденауэр охотно консультировался с ними, позволял им поспорить, но выводы и политические директивы формулировал сам. Они сводились к тому, что следует вновь вернуться к идеям, которые он излагал Макклою и через него западным министрам год назад: заключить общий договор о признании суверенитета Западной Германии, включить немецкие контингента в «европейскую армию» на принципах полного равенства с другими ее участниками, открыть ФРГ путь в НАТО, покончить с Оккупационным статутом и продвигаться к заключению мирного договора. Участникам «семинара» было поручено оформить эти мысли в виде конкретного проекта договора.

Когда этот проект 30 августа был вручен трем западным Верховным комиссарам, их реакция оказалась более чем холодной. Документ в представленном виде был сочтен абсолютно неприемлемым; единственное, что могли западные представители пообещать, — это начать новый тур переговоров. Однако, когда 24 сентября эти переговоры открылись в резиденции Франсуа-Понсе в замке Эрних, западники, по существу, лишь повторили то, что уже было сказано раньше: на базе того, что представил Аденауэр, никакого соглашения достичь невозможно, он должен умерить свои притязания.

Однако у Аденауэра были сильные козыри. Дорогостоящая операция в Корее привела американцев к мысли об абсолютной приоритетности задачи создания западногерманских

вооруженных сил. Они явно готовы были заплатить за это политическую цену. Вопрос — какую? Аденауэр поручает Хальштейну передать в Париж Бланку «пакетный вариант»: со стороны ФРГ согласятся на подписание договора о ЕОС при условии, что одновременно будет разработан и подписан другой договор, в котором найдут свое отражение условия, сформулированные на бюргенштокском «семинаре». Союзники согласились с принципом одновременного ведения переговоров но обоим договорам. Прогресс в них наметился опять-таки на удивление быстро. К концу ноября 1951 года был в основном готов проект «Общего договора» и детальное соглашение о создании ЕОС.

Анализ этих документов показывает, что Аденауэр добился почти всего, чего хотел. Согласно «Общему договору», или, если употреблять его официальное название, «Конвенции об отношениях с Федеративной Республикой Германией», ликвидировался оккупационный режим, признавался суверенитет Западной Германии в международных делах и Федеративная Республика получала официальный статус союзника в рамках ЕОС. Более того, союзники брали на себя обязательство оказывать всяческую поддержку немцам в достижении общей цели — создании объединенной Германии с институтами свободного и демократического общества, интегрированной в западное сообщество. Оставались, правда, еще некоторые разногласия по отдельным пунктам прилагаемых к договорам протоколов; из-за этого акты подписания обоих документов пришлось отложить до мая 1952 года, но сам принцип их параллельности и взаимосвязанности, на чем так настаивал Аденауэр, был соблюден. Это не относилось, однако, к проблеме ратификации, что, как мы увидим, сильно осложнило все дело.

Окончательную шлифовку проектов договоров Аденауэр поручил — но крайней мере на время — Хальштейну и Бланку, а сам отправился с первым государственным визитом в Великобританию. 3 декабря он прибыл в Лондон, где его лично встретили Черчилль и Идеи, которые к этому времени вновь заняли посты премьер-министра и министра иностранных дел. Как вспоминал впоследствии Аденауэр, прием отличался «подлинной сердечностью». Он выступил с лекцией в Королевском институте международных отношений в Чатем-Хаусе; несмотря на недуг, ему дал аудиенцию сам король Георг VI.

Визит омрачили лишь враждебность комментариев прессы и небольшой инцидент во время посещения Оксфорда. В Баллиол-колледже, где учился племянник Аденауэра Ганс, а также в Новом

колледже все прошло гладко, а вот у ворот Ориэля группа младшекурсников стала выкрикивать оскорбительные речевки. Полиция, опасаясь беспорядков, направила кортеж через Кентерберийские ворота в Крайст-Черч-колледж, который первоначально не значился в программе. Там не было в наличии ни декана, ни вообще кого-либо из руководства, и импровизированную экскурсию провел наскоро найденный младшекурсник с элементарным знанием немецкого. Он сумел показать и кое-что рассказать о покоях Гладстона и о статуе декана Лиддела, отца той самой Алисы, которая вдохновила Льюиса Кэррола на создание его известного шедевра. Экскурсовод явно предполагал, что этот престарелый немец никогда слыхом не слыхивал ни об Алисе Лиддел, ни о Льюисе Кэрроле, однако, согласно его позднейшим воспоминаниям (они были опубликованы в университетской газете в 1998 году), «д-р Аденауэр положил мне руку на плечо и с явным удовольствием начал читать отрывки из «Алисы в Стране чудес» в немецком переводе». Младшекурсник, естественно, не мог скрыть удивления эрудицией высокопоставленного гостя так же, как сопровождавшие его лица, в том числе и из немецкой делегации. Некоторые скептики, правда, усомнились в глубине знаний Аденауэром английской литературы, заподозрив, что Бланкенхорн заранее снабдил шефа соответствующей шпаргалкой.

Вернувшись в свою лондонскую резиденцию в отеле «Кларидж», Аденауэр имел еще одну тайную встречу с представителем всемирной еврейской общины. На этот раз это был Наум Голдман, уроженец Германии, постоянный житель Нью-Йорка и самое главное — глава Всемирного еврейского конгресса и президент недавно образованной Конференции но вопросам материальных претензий евреев к Германии. Прошлым летом, когда оба они, Аденауэр и Голдман, оказались в одном и том же отеле в Бюргенштоке, Бланкенхорн уже пытался организовать такую встречу, однако Голдман тогда заявил, что он пойдет на личный контакт с немецким официальным лицом только после того, как в Германии будет гласно и официально заявлено о признании обязательства по выплате репараций Израилю.

Ко времени визита Аденауэра в Лондон это условие было выполнено. В сентябре бундестаг единогласно принял соответствующую резолюцию. Тем не менее Голдман все еще опасался протестов со стороны еврейской общины Лондона в случае, если бы стало известно о его встрече с западногерманским лидером, и потому он явился на нее под вымышленным именем в сопровождении одного-единственного

спутника, которым был израильский посол в Лондоне.

Голдман имел все основания быть довольным этой встречей. Аденауэр без каких-либо консультаций с кабинетом и парламентом дал собеседнику обещание, подтвердив его письменно: федеральное правительство примет сумму в полтора миллиарда долларов в качестве исходной базы для дискуссии на переговорах, которые должны будут начаться весной следующего года. Миллиард долларов будет уплачен Израилю, а остальные полмиллиарда — еврейским организациям за пределами Израиля.

Когда коллеги Аденауэра по кабинету узнали об этих его посулах, они буквально онемели. Министр финансов Шеффер был вне себя от ярости. Абс, которого Аденауэр назначил руководителем западногерманской делегации на переговорах но урегулированию вопросов о международной задолженности Германии, пытался уговорить его уменьшить названную сумму. Аденауэр был непреклонен. Обязательство взято — оно должно быть выполнено. Пошли разговоры о безответственном транжирстве канцлера; вспомнили но этому случаю и то, как он в 20-е годы своими безудержными тратами довел до ручки городские финансы Кёльна. Шеффер, в частности, был глубоко убежден, что Аденауэр ведет ныне Федеративную Республику но тому же пути — к неминуемому банкротству. Трудно сказать, понимал ли в действительности канцлер возможные экономические последствия своего решения, так же как трудно ответить на вопрос, понимал ли в свое время бургомистр Кёльна, к чему вело его вольное обращение с городским бюджетом. В данном случае он руководствовался простым соображением о том, что необходимо восстановить репутацию Германии в мире, а раз так, то деньги должны найтись — и они нашлись.

Конечно, его стремление изменить образ Германии в глазах мировой общественности было выборочным; оно не распространялось, в частности, на народы Советского Союза. Свои взгляды на отношения Запад — Восток он подробно изложил в разговорах, которые вел в Лондоне с Черчиллем и Иденом. Для него здесь существовал один-единственный мотив: коммунистическая угроза и необходимость противостояния ей. Черчилль, очевидно, придерживался более дифференцированного подхода в этом вопросе, и понять друг друга собеседникам было нелегко. Присутствовавший при этих беседах Бланкенхорн сводит все к трудностям восприятия стиля речи английского премьера: «Он говорил как-то рывками, то запинаясь, чтобы подобрать слово, то, напротив, быстро выбрасывая подряд четыре-пять предложений, как будто обрушивая на слушателя огромные блоки

какого-то небоскреба». Наверное, дело было не только в этом. Черчилль и Идеи, по-видимому, вполне поняли то главное, что хотел донести до них гость из Западной Германии: полная ее интеграция в Западную Европу является предварительным условием и предпосылкой воссоединения Германии; не может быть воссоединения без европейской интеграции. Все это было хорошо, но оставался вопрос, который наверняка беспокоил английских государственных деятелей: как отнесется к такой перспективе Советский Союз?

С позиций сегодняшнего дня мы можем ответить на этот вопрос вполне однозначно: советская реакция была достаточно жесткой. После испытания первой атомной бомбы в 1949 году и последовавшего развития средств доставки оружия массового уничтожения Советы перенесли центр тяжести стратегического планирования: отныне главной его целью была уже не Европа, а другая ядерная сверхдержава — Соединенные Штаты. Европа представляла собой для СССР скорее не военный, а экономический вызов. Другими словами, опасна была уже не столько немецкая армия, сколько немецкая экономическая мощь, поставленная на службу единой европейской идее. Этим можно объяснить тот факт, что, судя но архивным материалам советского МИДа, оценки «военных приготовлений» в ФРГ становились все менее внятные, допускались грубейшие ошибки даже в чисто цифровых подсчетах, зато «плану Шумана» было уделено самое пристальное внимание, и он, как представляется, обеспокоил советских аналитиков куда больше, чем «план Плевена», хотя первый говорил об экономической интеграции, а второй — о военной.

На фоне сдвигов в советских стратегических приоритетах следует трактовать самую известную из послевоенных инициатив СССР в германском вопросе. Она последовала тогда, когда еще не закончилось обсуждение последних спорных пунктов в «Общем договоре». 10 марта 1952 года советское правительство направило ноту трем западным державам, где предлагало срочно обсудить «вопрос о мирном договоре с Германией». К ноте был приложен проект основ такого договора, которые предусматривали следующее: Германия к западу от линии Одер — Нейсе должна была объединиться; объединенная Германия не будет участвовать в военных блоках; все иностранные войска должны быть выведены с ее территории; разрешалась свободная деятельность демократических партий и организаций, всем бывшим нацистам, за исключением осужденных преступников, предоставлялись гражданские права, и, наконец, самое сенсационное — Германии разрешено было «иметь собственные

национальные вооруженные силы (сухопутные, военно-воздушные и военно-морские), необходимые для обороны страны».

«Сталинская нота», как она вошла в историю, застала всех на Западе врасплох. Никто не мог понять, что за ней скрывается. Только для Аденауэра сразу все было ясно: она, как он объяснил членам кабинета уже через день после обнародования ноты, направлена в первую очередь на Францию, «чтобы повернуть ее в сторону традиционной политики согласия с Россией». Политика Федеративной Республики, заявил он, не должна измениться ни на йоту. Такая оценка не удовлетворила Якоба Кайзера; но его мнению, правительство должно отнестись к ноте со всей серьезностью, о чем он и заявил во всеуслышание в своем выступлении по радио 12 марта. К этому времени Аденауэр уже успел встретиться с Верховными комиссарами и заявить им, что кабинет единодушен в своем неприятии содержания советского документа, что его главный мотив — нейтрализация Германии — абсолютно неприемлем для немцев, что федеральное правительство не желает иметь национальную армию и что советская нота означает заигрывание с бывшими нацистами и милитаристами. Короче, он почти ультимативно потребовал от западных правительств с порога отвергнуть советскую ноту, причем сделать это как можно быстрее. 14 марта Аденауэр провел еще одно заседание кабинета, главной целью которого было дезавуировать высказывания Кайзера. Там канцлер еще раз категорически потребовал от своих коллег воздерживаться от каких-либо заявлений по данному поводу: он, и только он, имеет на это право.

Вскоре, однако, стало ясно, что позиция простого отказа рассматривать советский документ но существу, не разделяется немецким общественным мнением. Против такого подхода выступили не только Кайзер и Шумахер, который, не выражая особых симпатий идеям нейтрализма, считал тем не менее, что надо рассмотреть все возможные варианты. Мятеж подняла и значительная часть прессы, которая в обычных условиях поддерживала правительство. Стало популярным выражение «утраченный шанс». Наконец и западные правительства сочли за благо проявить большую гибкость в формулировании ответа на советскую ноту. По крайней мере англичане и французы искренне хотели узнать, что же скрывается за не вполне ясными формулировками советского демарша.

Аденауэр начал понимать, что он допустил ошибку и надо в чем-то менять свою тактику. Вместо простого «нет» он стал задавать вопросы: как предполагается сформировать общегерманское правительство? Предусматривается ли

проведение свободных выборов? Будет ли допущена в ГДР комиссия ООН по проверке условий для проведения таких выборов? Что имеется в виду под «нейтралитетом»? Означает ли неучастие Германии в блоках выход ее из ЕОУС?

Сместив таким образом акценты в своей контрпропаганде против советской ноты, Аденауэр приблизился к позиции английского правительства, изложенной на встрече трех западных министров иностранных дел, состоявшейся 20–21 марта в Париже. Аденауэр тоже был приглашен в ней участвовать — что ему крайне польстило. К своей прежней аргументации о невозможности воссоединения в ближайшем будущем он добавил еще и довод о том, что нейтрализация Германии приведет к уходу американцев из Европы. На Шумана и Идена этот довод не произвел особого впечатления, и в результате дискуссии за основу проекта ответной ноты было взято британское предложение сосредоточиться на вопросе о свободных выборах, а что касается линии по Одеру — Нейсе, ограничиться краткой ссылкой на то, что она никогда не мыслилась в качестве постоянной границы. Аденауэр, между прочим, предпочитал другой подход: заявить, что вопрос о восточной границе Германии будет решен со «свободной Польшей»; эта формулировка была отвергнута как чрезмерно провокационная но отношению к Востоку.

Вторая советская нота, врученная послам западных держав 9 апреля, была выдержана в спокойном, деловом тоне; ясно давалось понять, что Советы готовы к немедленному началу переговоров. Шумахер обратился к Аденауэру с письмом, в котором буквально умолял его высказаться в пользу начала четырехсторонних переговоров по германскому вопросу. Аденауэр проигнорировал этот призыв, но, даже если предположить, что он внезапно изменил бы свою негативную позицию, это вряд ли что-либо дало: первую скрипку в западном оркестре играли американцы, а они не собирались терпеть проволочек со стороны европейцев. Как раз в тот день, когда появилась вторая советская нота, госсекретарь США Ачесон счел уместным напомнить, что 3 июля американский конгресс заканчивает свою сессию и что, следовательно, времени для ратификации «Общего договора» и договора о ЕОС остается крайне мало. Впрочем, позиция Ачесона не отличалась последовательностью: к концу апреля он стал выступать за принятие в принципе советского предложения о начале переговоров, только уровень и мандат их должен быть иной, чем это предлагалось советской стороной: по Ачесону, в Берлине должны были бы встретиться представители оккупационных

властей четырех держав и обсудить исключительно вопрос о процедуре свободных выборов.

Аденауэра это не устраивало, но он никак не мог повлиять на ход дискуссий между представителями союзных держав; ему оставалось только сидеть и ждать, время от времени жалуясь Макклою на излишне «мягкую», по его мнению, позицию США. В этот момент неожиданную жесткость проявили представители Великобритании и Франции. Возможно, на них все-таки повлияли рассуждения Аденауэра о том, что если срочно не подписать оба договора, то в центральной Европе наступит период неопределенности, и все может окончиться выводом американских войск. Западная нота от 13 мая 1952 года ни словом не упоминала о встрече западных Верховных комиссаров с советскими представителями в Берлине. Все было окончено: дипломатический диалог, начатый советской нотой от 10 марта, фактически был оборван.

С советской точки зрения вся операция вполне себя оправдала. Она оттянула и чуть-чуть не сорвала заключение двух договоров между ФРГ и западными державами, которые были призваны сцементировать западный союз; она вызвала разногласия между Великобританией и Францией, с одной стороны, и Соединенными Штатами — с другой; она выявила противоречия в общественном мнении ФРГ, поддержав доводы тех, кто отзывался об Аденауэре как престарелом доктринере, потерявшем контакт с реальностью; наконец, сам факт посылки «сталинской ноты» показал, что возвращение к четырехстороннему управлению Германией в принципе не может считаться исключенным. Сталин и советский МИД могли быть удовлетворены..

Вполне вероятно, кстати, что подлинным адресатом ноты было руководство ГДР. Как отмечается в современной российской историографии, эта «правящая элита (или по меньшей мере часть ее) быстро научилась использовать события в Западной Германии для мягких, но настойчивых требований уступок с советской стороны, которая в условиях открытой границы в значительной мере была лишена возможности применить для наведения дисциплины традиционные методы кровавых массовых чисток». Напомнить лидерам СЕПГ ГДР о том, что, если они будут упорствовать в своих требованиях большего суверенитета, то СССР сможет договориться с Западом через их голову и они окажутся простой провинцией ФРГ без всякого суверенитета вообще — в этом, возможно, и был главный смысл посылки ноты и продолжения переписки с Западом.

Сталин, конечно же, понимал, что Запад не примет условий,

изложенных в ноте от 10 марта. Он достаточно ясно заявил это вызванным в Москву лидерам ГДР после того, как убедился в их полной покорности, конечно. На встрече с ними в Кремле 7 апреля 1952 года, за два дня до посылки второй ноты, он заявил: «Какое бы предложение мы ни вносили, западные державы не согласятся с ним и все равно не уйдут из Западной Германии. Думать, что выйдет компромисс или что американцы примут проект мирного договора, значило бы ошибаться. Американцам нужна армия в Западной Европе, чтобы держать в руках Западную Европу… Американцы вовлекут Западную Германию в Атлантический пакт. Они создадут западногерманские войска. Аденауэр сидит в кармане у американцев… Демаркационную линию между Западной и Восточной Германией надо рассматривать как границу, и не как простую границу, а как опасную границу. Нужно усилить охрану этой границы». Сталин еще усилил этот тезис в беседе с Чжоу Эньлаем 19 сентября того же года, заявив: «Видимо, американцы не пойдут на объединение Германии. Они грабили Германию; если западные и восточные немцы объединятся, то Германию грабить уже будет нельзя. Поэтому американцы не хотят объединения Германии».

Разумеется, вопрос о мотивах и расчетах Сталина в связи с нотой от 10 марта 1952 года остается спорным; здесь имеются различные интерпретации и их варианты. Одно ясно: ноте не суждено было оказать долговременного влияния на политику Запада. Окончательно покончив с этим дипломатическим эпизодом, западные державы вернулись к тому, на чем их остановило сталинское «нотное наступление», — к одностороннему урегулированию своих отношений с ФРГ. 26 мая в Бонне состоялось подписание «Общего договора». На следующий день в Париже был подписан договор о ЕОС. Для Западной Германии открылась перспектива окончания оккупации, обретения суверенитета и безопасности под «зонтиком» ЕОС, а фактически — Соединенных Штатов. Первый этап канцлерства Аденауэра завершился почти что на триумфальной ноте. Теперь на повестке дня было строительство структур ЕОУС и ЕОС и продвижение к политическому объединению Европы.

ГЛАВА 6.
ДОМА И НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

«Поговорите об этом с господином Глобке»[35]

Айвон Киркнатрик, британский Верховный комиссар в Германии, сменивший генерала Робертсона, оставил нам интересную характеристику Аденауэра: «Он всегда рационален. Ведет спор, апеллируя к здравому смыслу, спокойно, норой с юмором, вникая в аргументы собеседника. Сидит за столом всегда прямо, неподвижно, как монумент. Фразы слетают с его губ четкими, законченными, твердыми; в его манерах чувствуется какая-то неторопливая бесстрастность — как у китайцев». В этих словах — безусловное признание выдающихся качеств нашего героя как переговорщика. Однако в период подготовки Боннского и Парижского договоров он зарекомендовал себя и как выдающийся политик. Он еще не достиг формата европейского лидера, но никто уже не мог назвать его, как когда-то, простым прислужником оккупантов. Более того, проводившийся им политический курс нашел широкое признание и одобрение по крайней мере со стороны тех, кто разделял основные ценности западного союза. «Ваш отец — великий демократ», — заметил один американский журналист в разговоре с сыном Аденауэра Георгом.

Интересна реакция Георга на это суждение. «Да, безусловно, — бросил он не без некоторой иронии, — но когда он приходит домой, то демократ остается за порогом». Иного и трудно было ожидать: само воспитание и жизненный путь Конрада Аденауэра исключали возможность того, чтобы он рассматривал семью как микрокосм демократии, где могут и должны иметь место споры и разногласия. Его учили — и научили — той аксиоме, что если допустить в семейном кругу что-либо подобное, это будет означать подрыв авторитета главы семьи и приведет к анархии. Это была непререкаемая истина во времена вильгельмовского рейха, и он не видел никаких причин для ее ревизии. Более того, с годами эти патриархальные взгляды у него лишь усиливались. Как политик он мог приспосабливаться к новому и даже изобретать новые, порой радикальные подходы к возникшим проблемам, но как семьянин он был неисправимо консервативен.

В старости его быт приобрел черты почти монашеской строгости и размеренности, характерные для его детских лет. Все было подчинено однажды заведенному порядку. Шесть часов

ночного забытья, в которое он погружался, приняв приличную дозу снотворного, в пять часов утра — подъем, омовение ног холодной водой в ванне — для лучшего кровообращения, как он объяснял, потом, если позволяла погода, — прогулка по саду, осмотр любимых роз с последующим выговором садовнику в случае, если на каком-то черенке обнаружится плесень или цветок покажется недостаточно подкормленным. Затем между шестью и семью начинали прибывать курьеры из Бонна с обзором прессы и посланиями, требовавшими немедленного ответа. Просмотрев их, он, как правило, звонил Бланкенхорну в Хоннеф, чтобы обсудить тот или иной вопрос. Потом примерно в течение часа он надиктовывал своей секретарше, госноже Хоман-Кестер, работавшей у него уже много лет, срочные письма и записки. Пока она расшифровывала свои записи и печатала их, он выпивал чашечку кофе в компании сына или дочери, если они были дома, и начинал собираться в дорогу.

В 8.30 он спускался но ступенькам вниз к ожидавшему его служебному «мерседесу» и отправлялся к буксирной переправе в Доллендорфе. Впереди «мерседеса» ехала машина с охраной; как только оба автомобиля оказывались на пароме, он отчаливал. В 1951 году добавилась вторая машина с охраной, которая теперь замыкала кортеж; сам канцлер не очень заботился о своей безопасности, но согласился с усилением мер предосторожности после того, как получил донесение разведки о том, что группа засланных чешских террористов планирует устроить засаду на пути его следования, а служба безопасности заявила, что не может гарантировать защиту от неожиданного нападения, если его будет сопровождать только одна машина с охранниками.

Строгий режим поддерживался и на рабочем месте. Обедал он, как правило, в одиночестве, в небольшой комнатке рядом с его служебным кабинетом. Пообедав, переходил в соседнюю комнату, оборудованную как спальня, там переодевался в пижаму и около часа дремал. Потом он снова одевал рабочий костюм, пил чай и отправлялся на прогулку в дворцовый парк — еще минут сорок пять — час. После этого он возвращался в кабинет, чтобы продолжить свой рабочий день.

Буквально по минутам был расписан и обратный маршрут из Бонна в Рендорф. Если не было какого-либо вечернего мероприятия, Аденауэр возвращался домой около восьми часов вечера. Там он ужинал — что-нибудь легкое, приготовленное прислугой, потом проводил полчаса с детьми, расспрашивая их о делах или местных новостях. «Он всегда хотел все знать: выполоты ли сорняки, как куры несутся, как морковь растет», — вспоминает его дочь Лотта. Перед сном он любил послушать

пластинки — Гайдна, Моцарта, Шуберта или Бетховена; к числу нелюбимых его композиторов относились Брамс, и, конечно же, Вагнер, поскольку его любил Гитлер; записи этих авторов отсутствовали в его коллекции. Иногда вместо музыки он подолгу рассматривал какую-нибудь из своих картин. Лежа в постели, он читал одно-два стихотворения Шиллера или Гейне и засыпал.

Развлечений, по сути, никаких, никаких гостей. Что касается круга друзей, то он был крайне узок. Многие, их его сверстников уже ушли из жизни, а новых друзей на восьмом десятке обычно не заводят. Он все еще продолжал переписываться с Дании Хейнеманом, который к тому времени уехал обратно в США, и личных встреч у них не было. Единственно, с кем он регулярно общался, — это Роберт Пфердменгес. Дни рождения они отмечали всегда вместе, порой семьями проводили отпуска, частенько двое стариков просто посиживали за чашечкой кофе.

Собственно, недолгие посиделки, музыка или картины перед сном — вот и все, что канцлер мог себе позволить в качестве разрядки в течение рабочей недели. Что касается выходных, то в субботу он обычно читал бумаги, до которых не успевал добраться на неделе, а также обдумывал свои публичные выступления, воскресенье же полностью посвящал церкви и семье — вернее, тому, что от нее осталось. Численность постоянных жильцов в рендорфском особняке неуклонно сокращалось: Либет, как уже говорилось, покинула его в 1950 году, за ней последовала Лотта, которая вышла замуж в 1954 году, и, наконец, Георг, начавший свою семейную жизнь в 1957 году. Впрочем, они все по очереди навещали отца так же, как и старшие — Конрад, Макс и Рия.

В июле — отпуск, минимум на четыре недели. В Шандолен добираться было уже тяжело, да к тому же он навевал грустные воспоминания о Гусей. Его заменил Бюргеншток на озере Люцерн, а потом, с середины 50-х — местечко Бюлерхоэ в Шварцвальде. Каждый раз вставал вопрос, кто будет сопровождать отца семейства. Рия не могла надолго оторваться от семьи, поэтому с отцом поочередно ездили то Лотта, то Либет. Иногда, если предвиделись гости, брали с собой служанку. После замужества Лотты чаще с Аденауэром оставалась Либет: ради любимого папы она была готова в любой момент оставить мужа; что тот но этому поводу думал и какие чувства испытывал, остается загадкой.

Порой отпуск превращался в серию совещаний и неформальных встреч: приезжали и уезжали министры и прочие чиновники, нагруженные бумагами. Когда особых событий не было, а политическая температура оставалась относительно нормальной, отпуск больше напоминал настоящий отдых.

Впрочем, и в таких случаях он требовал докладывать себе обо всем «существенном», причем только он мог определить, что существенное, а что нет, так что, дабы не получить выговор, министрам приходилось в Бонне потеть над составлением выжимок из текущего бумагонотока для информации отсутствовавшего канцлера.

Зимние праздники, Рождество и Новый год, отмечались в Рендорфе. Рождественские торжества для католиков — более важное событие, и соответственно в сочельник собиралась вся семья в полном составе: дети от обоих браков, их жены и мужья, а также внуки. В алькове главной гостиной ставилась большая колыбель, аналог той, в которой спал младенец Иисус Христос, перед ней вся семья опускалась на колени в смиренной молитве, которая продолжала собой молебен в местной церкви. Аденауэр еще должен был вечером выступить с обращением по радио к стране и народу; обычно он работал над текстом вплоть до самого начала трансляции, что отвлекало от семейного церемониала и действовало ему на нервы; разумеется, жертвами его раздражительности оказывались собравшиеся гости. Но все к этому уже привыкли.

Более официальный и публичный характер носило празднование дня рождения канцлера, приходившееся, как мы помним, на 5 января. Оно начиналось со звуков рожка, раздававшихся ровно в 9.30 утра, длилось целый день и заканчивалось торжественным приемом во дворце Шаумбург, который явно затмевал новогодний прием, устраивавшийся президентом Хейсом, к явной досаде последнего. Юбиляру вручались подарки от земель и городов Федеративной Республики, от дипломатического корпуса, от бундестага и бундесрата, от многочисленных частных лиц, которые, разумеется, надеялись, что это принесет им определенные блага в будущем. Особенно пышно было отмечено семидесятипятилетие канцлера в 1951 году. Чествование продолжалось ни много ни мало — десять часов. Хейс поздравил канцлера «от имени всего немецкого народа», Аденауэр, расчувствовавшись, даже адресовался к членам кабинета с необычным обращением «мои друзья», а Шумахер, явно в искупление прежних инвектив, прислал ему букет из семидесяти пяти роз. К концу церемонии все устали до крайности.

Судя по всему, Аденауэр хорошо усвоил, чего обычно хочет толпа — «хлеба и зрелищ», а поскольку с хлебом насущным в начале 50-х годов было еще туговато, то зрелище должно было быть более впечатляющим, а если его еще можно как-то связать с собственной персоной, то тем лучше. Конечно, не все дни

рождения праздновались с такой помпой, в частности, достаточно обыденно отмечались памятные даты членов семьи; ее глава, во всяком случае, никогда не забывал прислать поздравительную открытку и ко дню рождения, и к именинам. Дети, в свою очередь, должны были не забыть поздравить отца с его днем ангела 26 ноября.

Если говорить об Аденауэре-семьянине начала 50-х годов, то перед нами образ заботливого и внимательного, но вряд ли глубоко любящего отца и деда. Он умел любить, но это было давно и исчезло с уходом в мир иной обеих его жен. Теперь у него не было никого, кто мог бы смягчить его душу, кто разделил бы с ним тяжелые переживания той поры, когда организм, некогда надежный как часы, начинает давать сбои, дряхлеет физически и духовно. В его доме царил дух покорности воле патриарха, редко звучал, если вообще когда-либо звучал, смех; дети его уважали, но внуки скорее боялись. А он, по всей вероятности, лучше всего чувствовал себя в обществе не людей, а роз: с ними было меньше проблем.

По ту сторону Рейна начиналась другая жизнь — государственного деятеля, политика. Его машина на огромной скорости проносилась но улицам небольшого тогда городка, нежданно-негаданно оказавшегося столицей, и въезжала в большой парк на южной его окраине. В центре парка был расположен дворец Шаумбург, избранный им в 1949 году в качестве резиденции правительства и его аппарата. Само здание отличалось солидностью, масштабностью и полным отсутствием каких-либо архитектурных достоинств. Его в конце прошлого века построил в стиле того времени богатый торговец текстилем Вильгельм Лешигк; фирма, где он являлся одним из совладельцев, стала притчей во языцех, притом отнюдь не из-за каких-то достижений по части прибылей или маркетинга, а единственно вследствие того факта, что супруга второго ее собственника, некая Матильда Везендонк, была любовницей Вагнера.

Впоследствии дворец поменял нескольких владельцев. В 1890 году он был куплен молодым принцем Адольфом цу Шаумбург-Линне, отпрыском весьма древнего аристократического рода, который с XII столетия правил небольшим княжеством на берегах Везера в Северной Германии. Он приобрел его по случаю своего бракосочетания с одной из многочисленных внучек королевы Виктории и родной сестрой кайзера Вильгельма — Вильгельминой-Викторией. Как высокопарно выражается современный буклет, «12 марта 1891 высокая чета торжественно и горделиво вступила под своды замка Шаумбург». Этот акт,

пожалуй, остался самым ярким событием в истории владения. Принц умер в 1916 году, дворец достался вдове, которая в свои пятьдесят с лишним лет влюбилась без памяти в авантюриста российского происхождения, некоего Александра Зубкова, которого успешно женила на себе. Тот за несколько лет сумел промотать все ее немалое состояние и в 1929 году вернулся в Россию, оставив Вильгельмину буквально без гроша. После этого здание сдавалось различным арендаторам, пока в 1939-м не перешло в собственность государства.

Вот в этом здании, свежевыкрашенном в ослепительно белый цвет и напоминавшем потому свадебный торт, и обосновался федеральный канцлер. По-видимому, его привлекло местоположение дворца — посреди большого парка, террасами спускавшегося к берегу Рейна. Из окон его кабинета на втором этаже открывалась умиротворяющая картина зеленых лужаек и куртин благородных деревьев. Это было, пожалуй, единственное достоинство его кабинета, небольшого по площади, неудобного и вдобавок плохо обставленного. Стул, на котором он сидел, был сделан в прошлом веке, с прямой спинкой, в принципе удобный, но отнюдь не роскошный. Стол — с гнутыми ножками, бумаг там могло поместиться немного, зато стояли чернильница, пресс-папье и настольная лампа — все как будто волшебным образом перенесенное из давно прошедших 20-х годов.

Аппарат правительства был немногочисленным: не более двадцати сотрудников в начале 50-х годов. Однако контроль со стороны канцлера за деятельностью отдельных министров был довольно жестким и эффективным. Особенно это относилось к министерствам, возглавляемым деятелями, к которым Аденауэр не испытывал особого доверия и которые получили свой пост против его воли. Туда назначались статс-секретари и начальники департаментов, которым предназначалась роль лояльных проводников директив канцлера — зачастую через голову соответствующего министра. Такие статс-секретари были у Хейнемана, Шторха, Томаса Делера (своевольного лидера свободных демократов) и даже у Эрхарда. Чиновников, являвшихся членами СДПГ, постепенно «выдавливали», переводя на менее значимые должности. Их заменяли ставленники ХДС. Все назначения чиновников — не только высших, но и среднего ранга — утверждались кабинетом, а фактически его главой.

Паутина, в центре которой была фигура канцлера, плелась группой его особо доверенных сотрудников. Высшую ступень в их иерархии занимал Бланкенхорн, который помогал Аденауэру еще в период рождения ХДС и вывел его на арену международной дипломатии. Однако у него была плохая репутация в глазах масс-

медиа: он начал карьеру в нацистском МИДе, был членом нацистской партии. Именно поэтому, когда в мае 1950 года было создано ведомство по внешнеполитическим вопросам, Аденауэр не поручил его руководство Бланкенхорну; этот пост достался другому доверенному лицу канцлера — Хальштейну. В узком кругу его называли просто «профессор»: педантичный, представительный, интеллигентный, он был убежденным адвокатом европейской интеграции.

В феврале 1952 года Аденауэр значительно усилил свой аппарат, назначив своим пресс-секретарем Феликса фон Эккардта. В первые годы существования Федеративной Республики отношения с прессой были слабой стороной в деятельности правительства. Сам Аденауэр относился к журналистам с плохо скрываемым презрением. Известно его высказывание: «Нужно быть осторожным с детьми и журналистами. Они вам улыбаются в лицо, а в спину кидают камни». Фон Эккардт был человек общительный, имел шарм — качества, которых был начисто лишен Аденауэр. Новый пресс-секретарь всегда умел ввернуть остроту или сочинить каламбур, но что его шеф особенно ценил — это способность не теряться даже в очень неудобных ситуациях, всегда находить верную ответную фразу или жест.

Были и не слишком удачные назначения. Одно из них — выбор Отто Ленца на ключевой пост главы Ведомства федерального канцлера — личного штаба Аденауэра. Начавший свою деятельность в этом качестве осенью 1950 года Ленц, казалось, располагал всем для успешного выполнения своих функций — глубоким знанием юриспруденции, хорошим знакомством с механизмами средств массовой информации, интересом к порученному ему делу и в отличие от Бланкенхорна незапятнанным прошлым. До 1938 года он был сотрудником Министерства внутренних дел, потом ушел из него, занялся частной юридической практикой и установил контакт с группой сопротивления Кайзера — Герделера. После неудачи заговора 20 июля он был арестован, приговорен к многолетнему тюремному заключению и освобожден Красной Армией. После этого он обосновался в Мюнхене, где стал компаньоном юридической фирмы одного из основателей ХСС, Йозефа Мюллера. И Мюллер, и Кайзер, с которым он был связан раньше, были политическими противниками Аденауэра, однако Ленц без колебания порвал с ними, целиком и полностью перейдя на сторону победителя. Выполняя поручения босса, он не жалел ни сил, ни старания, порой применяя довольно оригинальные методы: однажды, например, он целую ночь спаивал одного депутата бундестага,

пока тот наконец не сдался и не согласился на все, что от него требовалось.

Однако у Ленца были и крупные недостатки. Он был слишком большим жизнелюбом, часто не в меру болтал и выбалтывал то, что не должно было выходить за рамки узкого круга, и — что особенно раздражало Аденауэра — не отличался особой пунктуальностью. Тем не менее лучшей кандидатуры найти не удалось. Впрочем, Аденауэр и не хотел особенно искать; у него был свой фаворит, которого он, однако, не мог назначить на руководящую должность из-за его густо-коричневого прошлого. Его звали Ганс Глобке.

Это был человек внешне ничем не примечательный, в толпе он не привлек бы к себе абсолютно никакого внимания. Он родился на рубеже XIX и XX веков в Аахене в семье зажиточного торговца верхней одеждой. После получения высшего образования в 1921 году поступил на государственную службу, в 1929-м был переведен в прусское Министерство внутренних дел, которое в 1934-м слилось с общеимперским МВД, где стал начальником отдела, занимавшегося вопросами гражданства, и с 1936 по 1939 год участвовал в составлении пресловутых «расовых законов». Современные исследователи считают, что Глобке играл активную роль в реализации нацистской расовой политики, в том числе и в преследовании евреев.

Глобке был глубоко верующим католиком. С 1922 но 1933 год он являлся членом партии Центра и, кстати, объяснял тот факт, что не ушел из МВД при Гитлере, именно повелением церкви, которая нуждалась в надежном источнике информации из самого центра нацистской машины власти. Во всяком случае, службу он продолжал не из-за жалованья: в 1934 году он удачно женился на богатой наследнице, так что средств на жизнь у него было более чем достаточно. Говоря на современном жаргоне спецслужб, он, если верить его утверждениям, был «кротом» Ватикана в нацистском МВД. Необходимостью маскировать эту свою роль тайного агента он объяснял и поданное им в 1940 году заявление о приеме в партию, которое, между прочим, было отклонено но личному указанию Мартина Бормана.

После войны Глобке сумел представить комиссии по денацификации показания свидетелей, которые сводились к тому, что он никогда не был членом НСДАП и действительно снабжал церковных иерархов важной секретной информацией. В частности, кардинал фон Прейсинг заявил, что Глобке «знакомил меня и моих братьев с планами и решениями министерства, отдельными разрабатывавшимися там проектами весьма конфиденциального характера… Он оказывал нам ценную

помощь в организации нашей работы по спасению евреев и «мишлингов»[36], предупреждая нас о готовившихся против них акциях».

Возможно, что все это было именно так. Однако имелось два вопроса, на которых так и не было дано удовлетворительного ответа. Первый: знал ли Глобке о планах «окончательного решения еврейского вопроса», другими словами — знал ли он о намерении гитлеровской верхушки физически уничтожить все еврейское население Европы? Учитывая его позицию в иерархии нацистского МВД, трудно предположить, что не знал, однако упоминал ли он об этих планах в своей информации и делал ли попытки как-то помешать их реализации? Второй: почему он так усердствовал в составлении «комментариев» к печально известным антисемитским «Нюрнбергским декретам» 1935 года, что даже удостоился похвалы в официальной газете рейха? Комплименты в его адрес, содержащиеся в номере за 11 марта 1936 года, достаточно красноречивы.

В свою защиту Глобке приводил ряд аргументов: он в принципе мог бы отказаться от работы над декретами, но тогда неминуемо попал бы под подозрение, а это повредило бы ему как агенту; он «надеялся на то, что нацистский режим со временем станет более либеральным»; но основным доводом был тот, что использовали и многие другие соучастники гитлеровских преступлений, — административный пресс, давивший на чиновников, не являвшихся членами НСДАП.

Прошлое Глобке несколько раз после 1945 года становилось предметом тщательных расследований, но каждый раз ему удавалось выходить сухим из воды. Аденауэр был доволен: наличия преступных умыслов в прежней деятельности этого нацистского чиновника никому доказать так и не удалось. Тем не менее его репутация серьезно пострадала. Глобке сам понимал, насколько он уязвим, и, когда Аденауэр предложил ему возглавить Ведомство федерального канцлера, он отказался и предложил вместо себя кандидатуру Ленца. Сам он занял скромную чиновничью должность в Министерстве внутренних дел. Фактически же именно ему Ленц делегировал значительную долю тех полномочий и поручений, которые в принципе входили в его исключительную компетенцию. В результате Глобке установил тесный контакт с канцлером и вскоре стал играть роль его главного и незаменимого помощника. Он отлично разбирался в механизмах власти и умел буквально впитывать в себя все слухи и сплетни боннской политической кухни. Он узнал, кто и в какой мере определяет погоду в каждой из земельных администраций, раздобыл сведения об их сильных и слабых сторонах, словом,

собрал всю подноготную о каждом более или менее влиятельном лице в правительственном аппарате Федеративной Республики. Он стал глазами и ушами Аденауэра и вскоре — постоянным спутником во время послеобеденного моциона канцлера; их можно было часто видеть прогуливающимися вдвоем по дорожкам Шаумбургского парка.

Установить плотный и всепроникающий контроль над чиновничьим аппаратом правительства — это было важно, но не достаточно. Оставался еще бундестаг с его буйными и непредсказуемыми депутатами. Тут ему помогало его искусство оратора. Когда он сам подвергался нападкам с трибуны нижней палаты, то делал вид, что его это вообще не касается; но его лицу трудно было сказать, что он вообще слышит слова критики в свой адрес. Зато когда его самого во время выступления прерывали возгласами с мест, он не оставался в долгу: его кёльнский акцент становился сильнее, и он обрушивал на смельчака всю мощь своего непревзойденного сарказма. В умении овладеть парламентской аудиторией с ним мог соперничать разве только социал-демократ Карло Шмид.

Впрочем, определенные проблемы Аденауэр испытывал даже с фракций своего собственного блока ХДС/ХСС. Чтобы держать «своих» депутатов в должном повиновении, он нашел и здесь подходящего человека. Это был Генрих Кроне. Когда-то он занимал пост заместителя генерального секретаря партии Центра; в Третьем рейхе он, подобно Аденауэру, оказался не у дел и держался ниже травы тише воды. Он стал одним из инициаторов создания ХДС в Берлине в 1945 году, затем переехал на запад и в 1949 году был избран депутатом бундестага. В отличие от формального руководителя фракции ХДС/ХСС Генриха фон Брентано Кроне не имел особых политических амбиций, что в глазах Аденауэра было важным достоинством. К началу 50-х годов именно Кроне стал главным связующим звеном между Ведомством федерального канцлера и парламентом.

Оставались еще члены кабинета. Большая часть из них была доверенными людьми Аденауэра. Даже Кайзер смирился; время от времени он, правда, угрожал уходом в отставку, но поспешно давал задний ход, как только возникала перспектива, что отставка и в самом деле может быть принята. Беспрекословная покорность министров была обеспечена, и Аденауэр мог себе позволить не прибегать к откровенно диктаторским методам. На заседаниях кабинета, которые обычно проходили по средам, он позволял им свободно высказываться — правда, только но вопросам, входящим в компетенцию их соответствующих ведомств, и не растекаясь мыслью по древу. Это правило мог

нарушать лишь министр финансов Шеффер, к частым и темпераментным выступлениям которого Аденауэр относился с несвойственной ему терпимостью, очевидно, понимая специфику его ведомства, интересы которого были шире других. В конце заседания Аденауэр изрекал собственное мнение, которое могло и не совпасть с тем, что отражало итоги обсуждения, но именно мнение канцлера становилось решением правительства.

Заседания кабинета обычно длились до середины дня. Даже в самые холодные дни Аденауэр требовал, чтоб окна оставались открытыми и в помещении не курили: он не понимал этой привычки, а свежий воздух он считал отличным средством против своих бронхитов. Заядлые курильщики время от времени покидали свое место, чтобы покурить в коридоре, но в основном коллеги Аденауэра по кабинету старались на время заседания побороть свою страсть к табаку.

Аденауэр не оставлял без внимания и дела своей партии. Он сохранил пост председателя ХДС британской зоны, а когда осенью 1950 года на съезде в Госларе была создана общереспубликанская партийная структура, он, естественно, стал ее председателем. Этого, однако, было для него мало. Он хотел иметь своего человека на посту генерального секретаря партии. Его первоначальный выбор пал на Курта-Георга Кизингера, молодого юриста из Тюбингена, ставшего в 1949 году депутатом бундестага. В политическом отношении он был для многих темной лошадкой, однако вскоре выяснилось, что у него достаточно компрометирующее нацистское прошлое, и берлинская организация ХДС заблокировала его избрание. Пост долгое время оставался вакантным, пока в преддверии выборов 1953 года его не занял Бруно Хек, кандидатуру которого предложил тот же Кизингер. Поначалу Аденауэр был им не очень доволен, но затем изменил свое мнение: Хек хорошо организовал избирательную кампанию и не давал повода усомниться в своей лояльности партийному лидеру.

Как видим, Аденауэр не упустил из поля своего зрения и контроля ни один участок политического ландшафта: администрация, парламент, партия — все было у него в руках. Труднее' было создать аналогичную систему на уровне правительств отдельных федеральных земель. Но что касается Бонна, то тут он знал буквально все обо всех и позаботился о том, чтобы каждый мало-мальски значимый чиновник чувствовал, что он получил свой пост и остается на нем только благодаря личному расположению канцлера. Особенно эффективно действовал этот метод тогда, когда соответствующий чиновник имел определенные грешки в своей биографии, в частности но

части принадлежности к нацистской партии. Он терпимо относился к людям этой категории, в общем, принимая их обычные самооправдания: их членство в НСДАП было-де чисто номинальным, в партию надо было вступить, чтобы остаться на занимаемой должности и т.д. В конце концов его собственный брат Август и тесть, отец Гусей, относились именно к числу таких лиц. Другое дело, если кто-то был активно замешан в творившихся режимом преступлениях: таким путь на государственную службу и к политической карьере был закрыт; для всех прочих была зеленая улица вне зависимости от политического прошлого. Такая кадровая политика вызывала обоснованную критику, но, видимо, другого выхода просто не было: в ФРГ почти не осталось опытных профессионалов в сфере государственного управления, которые не были бы ранее членами НСДАП, и только на этом основании лишить только-только становившуюся на ноги республику тех знаний и навыков в административной сфере, которыми эти лица обладали, было бы вопиющей глупостью. С другой стороны, эти чиновники прекрасно понимали, что стоит им сделать шаг в сторону от предписанной линии — аденауэровской, естественно, — и против них может быть вновь открыто дело по статье «денацификация». Другими словами, их можно было шантажировать, ими можно было манипулировать, и Аденауэр никогда не стеснялся продемонстрировать свои возможности в этом плане. Это было цинично, жестоко, но давало нужный эффект. Не стеснялся Аденауэр и устраивать унизительные разносы подчиненным как по делу — когда тот или иной чиновник проявлял халатность или некомпетентность, — так и без дела — когда у шефа было просто плохое настроение или поступали плохие новости. При всем при том нельзя недооценивать того факта, что создание практически с нуля четко функционирующей системы государственного управления Федеративной Республики было и остается одним из величайших достижений нашего героя. Он мог быть автократом, традиционалистом как в отношении своей семьи, так и в отношении своего аппарата, он мог быть жестким до жестокости и неуравновешенным до истерики, но факт остается фактом: к моменту, когда молодая республика в 1955 году готовилась обрести статус полностью суверенного государства, никто не мог сказать, что федеральная администрация не готова к этому, что она не сможет выполнить возложенных на нее задач.

ГЛАВА 7.
ПОЛИТИКА — ЭТО НЕ НАУКА, А ИСКУССТВО

«Всякий, кто отрицательно относится к европейской идее, способствует тому, чтобы Европа попала под ярмо большевистского рабства»[37]

Договоры, как заметил однажды генерал де Голль, подобны молодым девушкам или розам: они обычно не выносят испытания временем. Аналогию можно продолжить и дальше: роза или молодая девушка могут увянуть, так и не успев расцвести, а договор — так и не вступить силу, не будучи ратифицирован парламентом. Из двух международных актов, подписанных в Бонне и Париже 26 и 27 мая 1952 года, последний был провален при голосовании в Национальном собрании Франции 30 августа 1954 года, а «Общий договор», связанный в принципе с договором о ЕОС в единый «пакет», пришлось срочно переделывать, так что в своем конечном виде его текст сильно отличался от первоначального варианта. Одна из «девушек», таким образом, скоропостижно скончалась, другая наконец все-таки расцвела, но это была уже совсем другая «девушка».

В конце мая 1952 года мало кто мог предвидеть такое развитие событий — и меньше всех пребывавший в полной эйфории Аденауэр. Он расточал уверенность: бундестаг и бундесрат ратифицируют оба договора еще до ухода на летние каникулы, социал-демократы и профсоюзы, настроенные против ратификации, ничего не успеют сделать. В международном плане он тоже усматривал благоприятные перспективы для скорого прохождения договоров через парламенты западных союзников. Самым слабым звеном была Франция, но Аденауэр был воодушевлен назначением на пост премьера Антуана Пине: консерватор до мозга костей, католик — что могло быть лучше? Да и среди социалистов значительная часть депутатов высказывалась за ратификацию. Казалось, все шло как но маслу.

Оказалось, не совсем. Ни много ни мало — три бомбы замедленного действия отсчитывали последние секунды перед взрывами. В июне произошел первый из них. Он принял форму сенсационной, но хорошо продуманной и аргументированной политической декларации, с которой выступил Карл-Георг Пфлейдерер — видный деятель Свободно-демократической

партии, депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг, один из самых авторитетных экспертов по международным делам в молодой республике, опытный дипломат, начавший карьеру еще в Веймарской республике и продолживший ее в Третьем рейхе (его послужной список включал, в частности, работу в германских представительствах в Москве и Ленинграде).

Основные позиции, изложенные Пфлейдерером, подкупали четкостью и ясностью: нельзя легкомысленно игнорировать советский фактор, нужно как можно скорее обсудить с Советским Союзом возможности воссоединения Германии, при этом следует принять во внимание его законные интересы безопасности. Пфлейдерер выступил со своим заявлением 6 июня — как раз в тот день, когда оба договора официально были переданы правительством в бундестаг, так что мысли, высказанные парламентарием, можно было считать своего рода реакцией на этот шаг. Характер реакции был очевиден: не надо спешить с ратификацией, надо выждать исхода переговоров с Советами.

Пфлейдерер озвучил то, о чем уже давно говорили социал-демократы, и уже поэтому можно было быть уверенным, что большинство свободных демократов его не поддержат, так что у Аденауэра вроде бы и не было особых поводов для волнения: мало ли что может наговорить какой-то одиночка. Однако это было не совсем так, и такой искушенный политик, как Аденауэр, вскоре понял, что речь Пфлейдерера — это часть направленной против него политической интриги. Понял и был вне себя от ярости. О чем шла речь?

В первом ряду тех, кто собрался послушать Пфлейдерера, восседал Рейнхольд Мейер — лидер СвДП в Баден-Вюртемберге. Он имел заслуженную репутацию амбициозного и ловкого политика; говорили, что если кто и сможет перехитрить старую лису Аденауэра, то это, конечно, будет Мейер. В своей земле он, не будучи представителем самой крупной фракции в ландтаге, сумел стать главой правительства, сформировав его на базе широкой коалиции СвДП, СДПГ, Немецкой партии и «Союза лишенных родины и нрав» (организации правого толка, объединявшей переселенцев с земель по ту сторону линии Одер — Нейсе и лиц, подвергшихся денацификации). ХДС в этой земле оказался в оппозиции.

Можно спросить: какую роль этот провинциальный политик и его правительство могли сыграть в общегерманских дебатах по поводу Боннского и Парижского договоров? Дело в том, что в верхней палате парламента ФРГ голоса представителей земель распределялись почти поровну между сторонниками правительства и оппозицией; позиция делегации от Баден-

Вюртемберга становилась в этих условиях решающей — именно ее голоса могли определить то или иное решение бундесрата по крайней мере до очередных выборов в ландтаг какой-либо из земель. Правительство попыталось в этих условиях ограничить прерогативы верхней палаты: мол, она по конституции не должна вторгаться в вопросы внешней политики и в применении к данным договорам может обсуждать только несколько второстепенных статей, касающихся внесения изменений во внутреннее законодательство в соответствии с новым международным статусом республики. Однако бундесрат отверг эту аргументацию, постановив, что будет обсуждать оба договора в целом. Судьба договоров оказывалась, таким образом, в зависимости от позиции делегации Баден-Вюртемберга, а это значило — от Рейнхольда Мейера, чье присутствие при еретических разглагольствованиях Пфлейдерера было своеобразным сигналом Аденауэру: баден-вюртембергский курфюрст понимает свою роль и готов бросить вызов.

Ярость Аденауэра, когда он, в свою очередь, понял уязвимость своей позиции, была, таким образом, вполне объяснима. Как обычно, он вылил свои эмоции на других: почему никто в кабинете и в правлении ХДС не разгадал раньше замысла Мейера, почему не приняли мер к нейтрализации? Пошли в ход разного рода жупелы: мол, если начнутся переговоры между четырьмя державами, то это неминуемо приведет к тому, что будет достигнуто соглашение через голову немцев и против их интересов; в Великобритании-де растут настроения в пользу нейтрализации Германии, во Франции закатывается звезда Шумана, Соединенные Штаты дрейфуют в сторону изоляционизма и т.д. Когда Франсуа-Понсе отозвался об этих и подобных пассажах Аденауэра как о «нагнетании истерии» и «войне с призраками», раздражение канцлера уже вообще вышло из берегов.

Тут взорвалась вторая бомба, потенциально даже более опасная для скорого прохождения договоров. Мятеж начался в самом бундестаге и даже в самой фракции ХДС/ХСС. Когда на заседании кабинета 10 июня Аденауэр заявил, что дает парламентским комитетам четыре недели для анализа текстов договоров и выработки заключений по ним, и ни днем больше, завершив свое ценное указание риторическим вопросом: «А что они могут вообще сказать там, в этих комитетах?» — то присутствовавший при этом руководитель фракции ХДС/ХСС Брентано ответил вопросом на вопрос: «А вы что, считаете парламент пятым колесом в телеге?» Сказано это было достаточно резко, Аденауэр к такому не привык. Начали ворчать

и те, кого канцлер считал своими верными паладинами, — председатель бундестага Герман Элерс, его заместитель Ойген Герстенмайер, Роберт Тильман. Особенно недовольно было протестантское крыло ХДС; это недовольство подпитывалось активной кампанией внепарламентской оппозиции, которую возглавлял неутомимый Мартин Нимеллер.

С французской стороны вместо ожидаемой помощи — тоже одни неприятности. Тамошнее правительство вдруг начало требовать скорейшего созыва конференции четырех держав. Собственно, расчет был на то, что такая конференция быстро обнаружит полную невозможность соглашения, зайдет в тупик и это, по мнению французских лидеров, поможет убедить колеблющихся в том, что альтернативы договорам нет, и для ратификации удастся, таким образом, наскрести необходимое большинство в Национальном собрании. В общем, фон Эккардт правильно охарактеризовал ситуацию в парламентских кругах обеих стран: «Никто не хочет брать на себя ответственность за упущенную возможность воссоединения».

Не хотел этого и сам Аденауэр. В создавшихся условиях выступать открыто против конференции четырех держав было бы политическим самоубийством. Самым тактически верным было, напротив, требовать ее созыва, но на определенных условиях. Поэтому в разговоре с Киркпатриком, который состоялся 13 июня, канцлер заявил, что он целиком и полностью за конференцию «четверки». Переводивший беседу Бланкенхорн отметил в своем дневнике, что его босс попросил даже как-то усилить эту формулировку в переложении на английский язык. Вместе с тем следует предварительно прояснить конкретные вопросы, на которые должны будут искать ответы участники конференции. Кроме того, по словам Аденауэра, в записи того же Бланкенхорна, «было бы неразумно закончить стадию обмена нотами раньше, чем через шесть — восемь недель, до того, как завершится процесс ратификации». Другими словами, позиция Аденауэра была ясна: вначале протолкнуть договоры через парламент Западной Германией, а лишь потом соглашаться на конференцию «большой четверки».

Оставалась, однако, третья бомба. Еще 31 января 1952 года, когда договоры еще не были подписаны и даже не готовы к подписанию, социал-демократы обратились в федеральный Конституционный суд с иском, где требовали признать несовместимость обоих документов с положениями Основного закона. Это был неглупый ход, рассчитанный на использование специфики этого несколько странного органа государственной власти, в котором места делились так, чтобы обеспечить некий

баланс между ведущими политическими силами. Суд состоял из двух присутствий, или «Сенатов», один из которых в обиходе получил название «красного», поскольку его председателем был ставленник СДПГ, а другой — «черного» (там председательствовал ставленник христианских демократов), причем проблемы конституционного права находились в компетенции «красного Сената», что, по мысли авторов жалобы, должно было обеспечить вынесение вердикта, благоприятного для оппозиции.

Аденауэр еще на заседании кабинета 22 апреля, до подписания договоров, выразил свою озабоченность возможностью такого вердикта и вероятными его политическими последствиями: «Судьба немецкого народа зависит от девяти — двенадцати человек, причем не ответственных перед парламентом». Здесь он, как видим, все-таки вспомнил о парламенте как главном источнике политической мудрости, правда, лишь для того, чтобы противопоставить его институту, который вызывал в нем еще меньше симпатий. Пока имелась перспектива быстрой ратификации договоров, угрозу со стороны Конституционного суда, вернее, «красного Сената» можно было игнорировать: судебная машина работала медленно, а приговор постфактум не много бы значил. Однако к июню, когда дело с ратификацией затягивалось, а «красный Сенат» вот-вот должен был обнародовать свое решение, эта угроза стала актуальной.

В этой ситуации Аденауэр прибег к ловкому, хотя и весьма сомнительному маневру: он убедил вмешаться в юридический спор самого федерального президента Теодора Хейса. Логика была такова: президент является гарантом конституции, а значит, не может оставаться в стороне, когда идет рассмотрение конституционности или неконституционности тех или иных правительственных актов — в данном случае Боннского и Парижского договоров. Логика, скажем прямо, далеко не безупречная, практически противоречащая принципу разделения властей, но тем не менее Хейс согласился с идеей Аденауэра затребовать от федерального Конституционного суда полную юридическую экспертизу всех договоров со всеми их многочисленными предложениями. До представления соответствующего доклада «красный Сенат» должен был резервировать свое мнение по иску СДПГ, отложить вынесение своего решения по этому делу, что и требовалось Аденауэру. Тактический успех был достигнут, но какой ценой! Президент, формально обязанный быть над партиями и их политическими спорами, оказался явным образом адвокатом одной из спорящих сторон. Пресса была возмущена, Хейс тоже, хотя и про себя.

Как бы то ни было, все три бомбы взорвались, не нанеся Аденауэру и его планам существенного вреда. 10 июля в бундестаге началось первое чтение законопроекта, рекомендующего ратифицировать Парижский и Боннский договоры. Двухдневные дебаты прошли для правительства довольно успешно. Аденауэр открыл их хорошо подготовленной речью, его не смутили постоянные выкрики в его адрес с мест, где сидели депутаты бундестага; в заключительном слове, которое он произнес, не заглядывая в записи, он превзошел самого себя в высокопарной риторике. Эти дебаты стали дебютом для молодого парламентария от ХСС Франца-Йозефа Штрауса; все признали в нем политика с большим будущим. При всем при том даты второго и третьего чтений остались неопределенными; все, чего Аденауэр смог добиться от руководителей бундестага, свелось к туманному обещанию провести их, возможно, в сентябре.

Лето — мертвый сезон для политики. Лето 1952 года полностью подтвердило эту истину. Единственным событием, достойным упоминания, стала конференция министров иностранных дел стран ЕОУС, прошедшая в Париже 24–25 июля. По оценке Аденауэра, это был один из самых разочаровывающих форумов, на котором ему когда-либо доводилось присутствовать. Французская сторона представила на обсуждение план «европеизации» Саара, согласно которому Саарбрюккен должен был стать официальной столицей сообщества государств — членов ЕОУС. Против идеи, что у ЕОУС должна быть столица, в принципе никто не возражал, но каждая делегация предлагала для этой цели какой-нибудь город в своей собственной стране. Дискуссия, норой переходившая в жаркую полемику (видимо, сказывался тяжкий зной парижского лета), затянулась до четырех часов утра и кончилась ничем. Где-то после полуночи Аденауэр с чувством изрек: «Бедная Европа». С окончанием конференции закончился и рабочий год канцлера — наступило время отпуска.

Вместе с Пфердменгесом он отправился в привычный уже Бюргеншток. Как следует отдохнуть, однако, не пришлось. Приехал Ленц с трехстраничным меморандумом, в котором излагался план коренного преобразования кабинета ради придания ему большей эффективности. В частности, имелось в виду, что канцлер должен разгрузить себя от выполнения обязанностей министра иностранных дел, этот пост должен был занять Брентано, а его место во фракции — Кроне. Все это было неплохо аргументировано, но Ленц, как всегда, не мог удержаться от того, чтобы не разболтать содержание своего меморандума Кроне, а тот, в свою очередь, оповестил Штрауса и Брентано.

В результате все четверо 18 августа прибыли в Бюргеншток,

чтобы сообща надавить на Аденауэра и заставить его принять меморандум Ленца к исполнению. Тот, естественно, воспринял этот коллективный демарш как попытку покуситься на его прерогативы как канцлера: Основной закон, считал он (и был в этом нрав), дает избранному главе правительства неограниченные полномочия в выборе команды и в том, как эта команда должна выглядеть. Вместе с Пфердменгесом они выработали четкий план того, как поставить наглецов на место.

Встреча поначалу носила вполне дружеский характер; во время долгой прогулки но скалам, окружавшим озеро Люцерн, а затем во время ужина визитерам была дана полная возможность высказаться. После этого, встав из-за стола, отпускник учинил гостям самый настоящий разнос. Никакой реорганизации кабинета не будет, категорически заявил он, самое большее, о чем он может подумать, — это о назначении еще одного министра, в ведении которого будут взаимоотношения с партнерами по коалиции, действительно нуждающиеся в улучшении. «Вечер закончился тем, что у всех было испорчено настроение», — констатировал один из участников встречи. На следующее утро Аденауэр вызвал к себе одного Ленца и холодно предупредил его: он — государственный служащий, чиновник, а не политик, поэтому он не должен иметь мнений, отличных от мнения своего начальника, а если ему еще раз заблагорассудится выступить с какими-то проектами и пытаться организовывать кампании в их поддержку, то он может уходить со своего поста, никто его не держит. Четверка, поджав хвосты, удалилась обратно в Бонн.

Через несколько дней пришла весть о смерти Курта Шумахера. Лидер СДПГ был уже долгое время болен: его организм так и не оправился от истязаний в нацистском концлагере. У него был плохой характер, эмоции перехлестывали через край, порой он чуть ли не впадал в истерику, но при всем при том не был лишен обаяния, умел привлекать к себе людей, словом, представлял собой харизматическую личность, чего никак нельзя сказать об Аденауэре. В последний путь его провожали сотни тысяч человек, выстроившихся вдоль шоссе от Бонна до его родного Ганновера; на лафет медленно двигавшегося похоронного кортежа со всех сторон летели цветы. Аденауэр не стал прерывать своего отдыха, чтобы отдать последние почести старому политическому сопернику. Не из-за того, что не был готов примириться с ним даже после его смерти, а скорее потому, что привык быть главным действующим лицом и центром внимания на всех церемониях, на которых присутствовал. Правительство на похоронах представлял вице-

канцлер Франц Блюхер, вооруженный прочувствованным посланием с соболезнованиями, которое Аденауэр написал лично. Возможно, отсутствие на траурной церемонии первого лица государства кое-кто расценил как неблагородный поступок. Аденауэра это не задевало: проявлять благородство по отношению к противнику было не в его характере.

Его больше заботило другое: по какому пути пойдет СДПГ под руководством нового председателя правления партии, Эриха Олленхауэра. Основания для беспокойства у него имелись. На дортмундском съезде СДПГ в сентябре 1952 года выявились явные тенденции в сторону концепции нейтрализма и переговоров с Советами. Аденауэр расценил это как дурной признак: в конце концов, при Шумахере партия никогда не отклонялась от решительного антикоммунизма. По-видимому, Аденауэр недооценил фактора преемственности в руководстве и политике социал-демократов.

Советские аналитики, напротив, скорее переоценили влияние этого фактора. В одной из справок Советской контрольной комиссии в Германии о том же дортмундском съезде говорится в сугубо негативных тонах: там, но словам ее автора, некоего полковника Кияткина, «была ясно выражена антисоветская направленность рекламируемой лидерами СДПГ системы коллективной безопасности». С советской точки зрения социал-демократия и после Шумахера осталась «одной из наиболее реваншистских и антисоветских сил Западной Германии».

Вернувшись в конце августа в Бонн, Аденауэр обнаружил, что дело с ратификацией договоров опять застряло в трясине парламентских коридоров. О сентябре как месяце, когда должны были пройти второе и третье слушания, уже никто не вспоминал; теперь говорили об октябре, и то без особой уверенности. Канцлер был вне себя. 18 сентября он отправляет разносное послание Брентано, где пишет, что своей медлительностью фракция ХДС/ХСС помогает саботажникам из СДПГ. Брентано предпочел оставить это письмо без ответа. Очередная плохая новость: Верховный комиссар США Макклой решил подать в отставку и вернуться в Вашингтон в надежде получить пост повыше в случае прихода к власти республиканцев. Еще одним союзником меньше.

Прошел и октябрь, а в бундестаге по-прежнему никакого движения. Зато вроде бы зашевелился Конституционный суд; он почти завершил подготовку юридической экспертизы договоров с западными державами по запросу президента Хейса. Однако — о ужас! — из доверительных источников Аденауэр узнает, что большинство судей придерживается мнения, что содержание этих

договоров находится-таки в противоречии с определенными статьями Основного закона. Если это станет официальной позицией суда, то придется до ратификации заняться внесением изменений в Основной закон, но для этого требуется квалифицированное большинство — две трети голосов депутатов, а такого числа голосов правительству никак не набрать.

Вопреки предупреждениям Элерса, Брентано и Герстенмайера канцлер решает идти напролом — заставить бундестаг провести второе чтение договоров в экстренном порядке, надеясь, что «да» депутатов повлияет и на позицию судей. Авантюра заканчивается провалом — договоры не получают даже простого большинства: семнадцать депутатов от фракции ХДС/ХСС воздерживаются, группа депутатов от СвДП вообще голосует против. Это было первое серьезное поражение Аденауэра в бундестаге.

Канцлер не сдается: на 3 декабря назначено новое обсуждение, «второе чтение-2». Заседание бундестага, открывшееся во вторую половину дня в среду, закончилось только ранним утром в субботу. Действо было то еще: депутаты не стеснялись обмениваться оскорблениями, норой казалось, что зал вот-вот превратится в бойцовскую арену. Аденауэр сохранял олимпийское спокойствие, хотя кто-то услышал от него однажды реплику в том духе, что, мол, жалко, нельзя установить что-то вроде умеренной диктатуры, это сэкономило бы массу времени.

Атмосфера слушаний так накалилась не только из-за того, что депутатов на него собрали буквально чуть ли не силком в нарушение регламента и утвержденной программы сессии. Сыграл свою роль и остроумный юридический маневр, придуманный аденауэровскими советниками, чтобы вышибить почву из-под противников договоров в Конституционном суде. Накануне депутаты бундестага от ХДС/ХСС и СвДП — двести один человек — подписали коллективную жалобу в Конституционный суд, смысл которой сводился к тому, что социал-демократы, потребовав от суда объявить Боннский и Парижский договоры неконституционными еще до того, как бундестаг успел их рассмотреть, тем самым нарушили их депутатские права. Это нарушение в жалобе трактовалось как покушение на существующий конституционный строй республики и угроза национальной безопасности, а все иски по таким делам попадали в компетенцию «черного Сената». Он, как можно было предположить, удовлетворил бы жалобу идеологически близких ему депутатов, а это нейтрализовало бы положительный вердикт «красного Сената» по иску СДПГ. Когда на второй день парламентских слушаний этот маневр аденауэровскои коалиции стал достоянием гласности, облапошенные оппозиционеры

прямо-таки взбесились, из-за чего бундестаг и превратился в некое подобие новгородского веча. Несмотря на беспорядки в зале, голосование прошло как надо: в субботу 6 декабря комплекс законов, ратифицирующих договори, прошел во втором чтении. Вечером того же дня в Карлсруэ в адрес Конституционного суда ушла и жалоба двухсот одного депутата.

Судьи, однако, продолжали упрямиться. 8 декабря они объявили, что вопрос о договорах будет рассмотрен пленумом суда и его решение станет руководящей директивой как для «красного», так и для «черного» Сенатов, которые пока должны воздержаться от принятия решений как по иску СДПГ, так и но жалобе депутатов от ХДС/ХСС и СвДП. Это было бы не так плохо, если бы не одно обстоятельство: все те же доверительные источники в суде сообщили Аденауэру, что большинство конституционных судей по-прежнему придерживаются мнения, что договоры потребуют изменения некоторых статей Основного закона, а значит, голосов двух третей депутатов, которых у правительственного большинства нет. Здесь Аденауэр сделал еще один блестящий, хотя и не вполне этически безупречный шаг. Логика его была проста: затея с запросом Хейса была придумана в расчете на благоприятное для правительства решение суда, однако коль скоро выясняется, что решение будет неблагоприятным, то ничто не мешает взять запрос обратно!

Собравшийся 9 декабря кабинет констатировал, что Конституционный суд превысил свои полномочия, придав простой юридической экспертизе силу закона прямого действия, предваряющего вердикты обоих своих Сенатов, и принял решение «просить федерального президента отозвать свой запрос относительно экспертного заключения» по содержанию договоров. Хейс охотно откликнулся на эту просьбу, хотя он оказался, вообще говоря, в дурацком положении: вначале что-то запрашивает, а когда ответ почти уже подготовлен, отказывается его выслушать. Впрочем, весь этот трюк, в который его втянули, ему никогда не нравился, и, покончив с этим делом, он почувствовал явное облегчение.

В свою очередь, и судьи со временем «одумались». 8 марта 1953 года они представили пухлую диссертацию на сто пятьдесят страниц, выводы которой были однозначны: правительство право, а оппозиция не права. 19 марта состоялось последнее, третье чтение договоров, они благонолучно были одобрены проправительственным большинством бундестага.

Только теперь Аденауэр стал понемногу остывать от запала битвы. Его не мучили сомнения по поводу того, что он выиграл ее не силой рациональных аргументов, а серией политических и

юридических манипуляций. Известно его высказывание в разговоре с верным паладином Глобке: «Ради ратификации этих договоров я не остановлюсь ни перед чем». Характерен и такой момент: проявленная Аденауэром неразборчивость в средствах отнюдь не повредила ему в глазах западногерманского общественного мнения. Напротив: положительный рейтинг правительства с 34% в ноябре 1952 года вырос до 37% в январе 1953-го, 39% — в феврале и, наконец, до 57% ко времени проведения федеральных выборов в сентябре 1953 года.

Разумеется, главным фактором роста популярности правительства было состояние экономики, простых людей политические баталии мало интересовали. А экономика и, соответственно, благосостояние росли как на дрожжах. К 1953 году индекс валового национального продукта на 48% превысил уровень 1948 года, реальная заработная плата рабочих в промышленности выросла на 80%; на 20% увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, безработица снизилась до уровня 6% самодеятельного населения. Более того, закон «О выравнивании тягот», принятый в 1952 году, снизил политическую взрывоопасность проблемы переселенцев и беженцев с Востока.

Мысли Аденауэра обратились к реформе избирательного закона. Он уже давно проявлял недовольство системой, при которой правительству приходилось долго и нудно уговаривать депутатов провести тот или иной его законопроект. Учитывая благоприятные для него и его партии тенденции в опросах общественного мнения, он все больше подумывал о перенесении на немецкую почву определенных элементов британской избирательной практики, при которой партия, получающая относительное, пусть даже незначительное большинство голосов избирателей, приобретает абсолютное большинство мест в палате общин. Пропорциональное распределение мандатов должно было, по его мысли, уступить место мажоритарной системе. Конкретно его больше всего привлекал вариант проведения выборов в два тура; во втором, который должен был состояться через неделю после первого, участвовали бы два кандидата, разделившие первые два места по результатам первого тура. Цель такой реформы была очевидна: кардинально подорвать позиции СДПГ в парламенте. Аденауэр не учел, однако, другого явного последствия предлагавшейся им реформы: она в первую очередь ударила бы по мелким партиям, включая союзника по коалиции, каким являлась СвДП. Естественно, свободные демократы не хотели и слышать об отказе от пропорциональной системы и не стали даже обсуждать аденауэровские новации. Аденауэру

пришлось смириться и отказаться от своих идей, но лишь на время.

5 февраля 1953 года произошла первая встреча Аденауэра с новым государственным секретарем США Джоном Фостером Даллесом. Поначалу у канцлера были некоторые сомнения в отношении человека, который пользовался репутацией рьяного пресвитерианца с прозелитскими наклонностями, тем более что тогдашний министр иностранных дел Франции Жорж Бидо заранее предупредил Аденауэра: Даллес терпеть не может католиков, видит мир только в двух красках — черной и белой, он прямолинеен и груб. Помимо всего прочего, Аденауэр был обижен на Даллеса за то, как он обошелся с его другом Макклоем. Как мы помним, тот ушел с поста американского Верховного комиссара в Германии в надежде получить выгодное предложение от новой администрации. Президент Эйзенхауэр был готов это сделать, но тут вмешался предшественник Макклоя, генерал Клей, который обвинил своего преемника в излишней мягкости по отношению к Советам. Президент заколебался. Даллес безоговорочно поддержал Клея, и это решило дело: Макклой оказался за бортом.

Характеристика, которую Даллес получил от Бидо, во многом соответствовала истине. Новый госсекретарь США был действительно педантом с большой примесью ханжества. Но, с другой стороны, это была широко образованная личность с неплохим знанием европейских реалий: в конце концов, кроме Принстона, он прошел курс в Сорбонне и Мадридском университете. Более того, оказалось, что Даллес вовсе не представляет собой тип фанатика-протестанта; для Аденауэра это была «приятная неожиданность», о чем он сообщил на следующий день после встречи федеральному президенту Хейсу. Сугубый морализм даллесовского взгляда на мир как арену борьбы «добра» и «зла» тоже явно импонировал канцлеру. Им обоим, по-видимому, не приходило в голову, что такой образ является, по сути, зеркальным отражением того, на чем строилась советская идеология; не осознавали они, вероятно, и явную противоречивость своих взглядов. Для международной обстановки такая идеологизация внешней политики — впрочем, с обеих сторон, ибо Советы тоже не обнаруживали намерений менять свой жесткий курс, — была плохим предзнаменованием.

5 марта 1953 года умер Сталин. Даллес спустя четыре дня отреагировал на это событие оптимистическим заявлением: «Эра Сталина заканчивается, начинается эра Эйзенхауэра». Аденауэр не вполне разделял этот оптимизм, но его ободрил тот факт, что новый госсекретарь решительно выступил в поддержку плана

ЕОС. Возможно, эта позиция Даллеса стала главным фактором в том, что Рейнхольд Мейер решил прекратить свою фронду и дал инструкцию представителям Баден-Вюртемберга в бундесрате проголосовать-таки за ратификацию Боннского и Парижского договоров.

Аденауэр еще не знал, что даллесовский энтузиазм в отношении ЕОС в немалой степени обусловлен глубокими сдвигами в военной доктрине США. Речь шла о концепции «меча» и «щита»: американские стратеги, исходя из идеи собственного превосходства над СССР в ядерной и авиационной технологиях, сочли, что нет оснований и дальше держать в Европе значительный контингент американских сухопутных сил; главную роль должен в будущем играть «ядерный меч» в виде американских бомбардировщиков — носителей атомных и водородных бомб; для Европы же достаточно сравнительно небольшой армии, оснащенной обычными видами вооружения, ядром которой должны были стать структуры ЕОС и которая должна была играть роль «щита». Конечно, не имелось в виду, что этот «щит» защитит Европу, он должен был лишь задержать продвижение советских войск на Запад до тех пор, пока в дело не вступит заокеанский «меч».

Обо всем этом бундесканцлер узнал позже, в апреле, во время своего первого визита в США. Прежде он еще успел встретиться с итальянским премьером де Гаспери, который предложил ему обсудить новый амбициозный проект: план создания Европейского политического сообщества (ЕПС), которое должно было основываться на тех же принципах, что и доказавшее уже свою эффективность ЕОУС. Де Гаспери даже захватил с собой проект конституции ЕПС, составленный президентом Ассамблеи ЕОУС, бельгийцем Полем-Анри Снааком. Аденауэр был в нерешительности. В принципе он был «за» и сам подумывал о чем-то в этом духе, с другой стороны, еще не все западноевропейские парламенты ратифицировали Парижский договор, и первоочередная задача состояла именно в том, чтобы сдвинуть с мертвой точки дело с ЕОС. Потом, естественно, дойдет очередь и до ЕПС, но не раньше, чем решится вопрос с ЕОС. В этом духе он изложил свою позицию итальянскому коллеге. Впрочем, все его мысли были уже, по-видимому, прикованы к предстоящему визиту в США.

2 апреля 1953 года лайнер «Юнайтед стейтс» с Аденауэром и сопровождавшими его лицами на борту вышел в море из французского порта Гавр, направляясь в Нью-Йорк. Условия путешествия были неблагоприятными: море штормило. «Почти все члены моей команды страдали морской болезнью», —

вспоминал позднее Аденауэр, тщательно обходя вопрос о том, как он чувствовал себя сам. По прибытии в Нью-Йорк лайнер был встречен обычным оркестром сирен, у трапа его ждала толпа репортеров. Пресса была заинтригована: образ немца ассоциировался у американцев с фигурой эсэсовца или в лучшем случае бравого прусского офицера, а тут — личность сугубо штатская, да еще и мягко улыбается… На следующий день, 7 апреля, Аденауэр вылетел в Вашингтон. У трапа самолета его встречали вице-президент Ричард Никсон, госсекретарь Даллес и другие министры. Канцлер был явно тронут и взволнован: Америка — это всегда сильный возбудитель для тех, кто впервые вступает на ее землю.

Серьезных переговоров во время визита не предусматривалось, он носил скорее церемониальный характер. Естественно, имел место обмен мнениями но актуальным вопросам, порой он даже затягивался, но никаких новых инициатив с американской стороны не выдвигалось, все свелось к светским любезностям. Президент Эйзенхауэр заверил гостя в том, что он находится «среди друзей, которые принимают близко к сердцу проблемы свободной Германии». Состоялся торжественный акт присуждения Аденауэру ученой степени доктора права Джорджтаунского университета, все было, по словам самого новоиспеченного доктора, «очень впечатляюще».

8 апреля высокопоставленный визитер выступил с речью в Национальном клубе печати. К тому времени он уже изрядно подустал, а будучи усталым, имел обыкновение говорить до бесконечности. Аудиторию его двухчасовая лекция, произнесенная на немецком, едва-едва не усыпила: так долго в Вашингтоне, да еще и на непонятном языке, никто и никогда не выступал. В конце речи раздались аплодисменты: очевидно, журналисты так выражали свою радость но поводу окончания их мучений; для Аденауэра это было признаком того, что его слушали «внимательно».

Между тем речь действительно заслуживала внимания, особенно тот ее фрагмент, где оратор коснулся будущего Европы. «Каждая историческая эпоха, — заявил он, в частности, — имеет свои, свойственные ей задачи. В Европе все рациональные соображения говорят в пользу объединительного движения, конечной целью которого будут — когда-нибудь в будущем — Соединенные Штаты Европы». Как видно, идеи де Гаспери упали на подготовленную почву. Никто из вашингтонских комментаторов не откликнулся на эти слова, видимо, они их проспали. Но в европейских официальных кругах эти высказывания бундесканцлера наверняка взяли на заметку.

В плане церемониала самым трогательным событием было посещение американского военного кладбища в Арлингтоне. Аденауэра приветствовал армейский генерал, вдвоем они прошли вдоль рядов могил, сопровождаемые эскортом — трое офицеров, один из них, посередине, — с древком государственного флага Германии в руках. В честь почетного гостя был дан салют — двадцать один залп. Был возложен венок в память павших воинов обеих наций; Аденауэр, как это и положено, аккуратно расправил черно-красно-золотую ленту на венке и склонил голову в благоговейном молчании. Оркестр морской пехоты сыграл вначале «Звездно-полосатое знамя», а затем еще недавно находившуюся под запретом «Песню немцев». Присутствующие немцы прослезились. «Какой же долгий и трудный путь прошли мы от тотальной катастрофы 1945 года до этого момента в апреле 1953-го, когда в национальной усыпальнице Соединенных Штатов прозвучал немецкий национальный гимн!» — напишет Аденауэр позднее в своих мемуарах. Что же, патетика в данном случае уместна.

Разумеется, аденауэровская команда позаботилась о том, чтобы визит получил должное освещение в немецкой прессе. Осенью предстояли выборы, и описание того, как Аденауэра принимали в США, былокозырной картой в избирательной кампании. В конце апреля Боннский и Парижский договоры были наконец ратифицированы и бундесратом. С избирательной реформой, правда, пока так ничего и не получалось, но в остальном все, с точки зрения Аденауэра, шло как нельзя лучше.

Все чуть-чуть не испортил Черчилль. Вообразив себе, что со смертью Сталина открылись новые перспективы на установление прочного мира, он выступил с инициативой безотлагательного созыва совещания трех держав — Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза на высшем уровне.

Его речь в палате общин 11 мая, где он изложил эту идею, изобиловала возвышенной риторикой, рискованными историческими параллелями и некоторыми явными ляпами. Готовя ее текст, он проигнорировал советы высших чиновников Форин офис, таких, как Пирсон Диксон, Уильям Стрэнг и Фрэнк Робертс, оставил без внимания возражения американцев и даже не позаботился заранее проинформировать французов, которые и без того восприняли свое исключение из круга участников предполагавшегося саммита как глубокое оскорбление. Впрочем, о предстоящем демарше премьера не знал даже его министр иностранных дел Антони Иден, который в это время лежал в больнице по поводу удаления камней из желчного пузыря.

Разумеется, Черчилль в своей речи постарался уверить

западных немцев, что их не собираются бросить на произвол судьбы и что они «не перестанут быть хозяевами своих судеб в рамках тех соглашений, которые мы и другие страны НАТО заключили с ними». Тем не менее глубинный смысл идеи Черчилля был ясен: он выступал, как это сформулировал Пирсон Диксон, за «объединенную и нейтрализованную Германию», и ему было глубоко наплевать на французов, на западногерманские выборы, на проблему ратификации договора о ЕОС и не в последнюю очередь на мнение своих собственных экспертов.

Так случилось, что через четыре дня после сенсационной речи Черчилля в палате общин, 14 мая, Аденауэр прибыл в Лондон с двухдневным визитом. Он никак не высказался по поводу новых идей британского премьера. За него это сделал, разумеется, в конфиденциальном порядке Бланкенхорн. 15 мая он имел доверительную беседу с восходящей звездой Форин офис, Коном О'Нилом, где откровенно рассказал ему о крайне негативном отношении своего шефа к черчиллевской инициативе. В отсутствие Идена, однако, никто в английском внешнеполитическом истеблишменте не мог сказать но данному поводу чего-либо внятного. Чтобы разрядить обстановку, американский президент предложил, чтобы вначале была проведена встреча на высшем уровне глав правительств западных держав. Это был удачный ход, но он не мог полностью компенсировать ущерб от демарша Черчилля; общее мнение сводилось к тому, что британский премьер хочет воспрепятствовать завершению процесса ратификации договора о ЕОС. Итальянский премьер де Гаспери обвинил Черчилля даже в том, что из-за этой речи ему не удалось добиться абсолютного большинства голосов на всеобщих выборах, пришедшихся как раз на это время.

Все изменилось в мгновение ока, когда мир узнал новость о восстании рабочих в Восточной Германии. События, начавшиеся в Берлине 16 июня и достигшие апогея на следующий день, когда вся ГДР была охвачена стачками и уличными беспорядками, были вызваны своеобразной комбинацией либерального «нового курса», объявленного незадолго до этого СЕПГ и грозившего политической смертью ее лидеру Вальтеру Ульбрихту, и жесткими мерами по повышению производственных норм и снижению расценок, введенными по инициативе того же Ульбрихта. Чем тот руководствовался, фактически провоцируя массовое возмущение, до сих пор не ясно, но последствия не заставили себя ждать. Вмешались части Советской Армии, дислоцированные на территории ГДР, мятеж был подавлен, однако коммунистический режим в Восточной Германии явно

обнаружил свою внутреннюю слабость и непрочность.

Аденауэр поначалу попытался осторожно отмежеваться от прямой поддержки повстанцев, ограничившись выспренними заверениями солидарности с ними, которые он, не скупясь, рассыпал в своей почти что траурной речи в бундестаге. Логика его была понятна: западные союзники решили не вмешиваться, значит, и Аденауэру не следует высовываться. Однако Ленц убедил его в том, что ему надо все-таки поехать в Берлин, город, где разыгрались главные события восстания, иначе он может проиграть выборы. Аденауэр так и сделал; он какое-то время постоял вместе с толпой, насчитывавшей около ста тысяч человек, перед Шенебергской ратушей в Западном Берлине, приняв участие в коллективном молебне за упокой тех, кто пал в борьбе с коммунистическим режимом. Это была не самая активная роль из тех, что ему довелось играть.

Вообще говоря, события в ГДР оказались для Аденауэра буквально даром небес. «Нейтрализм», «нейтрализация» стали теперь чуть ли не бранными словами, идеи, нашедшие отражение в черчиллевской речи 11 мая, были безнадежно скомпрометированы. Вдобавок у самого ее автора 24 июня случился сильнейший инсульт, так что амбициозный проект возрождения «большой тройки» почти автоматически сошел с повестки дня. Аденауэра ждала еще одна приятная новость: свободные демократы наконец согласились на компромиссный вариант избирательной реформы. Пропорциональная система осталась в неприкосновенности, но партии, набравшие менее пяти процентов голосов избирателей, лишались' нрава представительства в бундестаге. Это было далеко не то, к чему канцлер стремился — установлению фактически однопартийного режима, но на первое время годилось. Мелкие партии, которые должны были стать главными проигравшими от этой реформы, устроили громкую кампанию протестов, но это не помогло: соответствующие изменения в законодательстве были одобрены бундестагом и вступили в силу.

Теперь можно было назначать и конкретную дату выборов. 30 июня она была названа: 6 сентября 1953 года. Избирательная кампания обещала стать тяжелым испытанием для правительственной коалиции, и Аденауэр решил взять трехнедельный отпуск. Он провел его в своем любимом отеле в Бюлерхоэ. Специальная команда врачей следила за тем, чтобы он набрал оптимальную форму — физическую и интеллектуальную — к началу предвыборной гонки. Ему было семьдесят семь лет, но британский дипломат Гарольд Никольсон, который до этого виделся с Аденауэром только раз — в 1928 году в Кёльне, — был

поражен тем, как мало изменился внешне с тех пор его тогдашний знакомый: но его словам, он выглядит «минимум лет на двадцать моложе своего возраста».

Перед самым уходом в отпуск канцлер сделал свой первый ход в избирательной борьбе: ко всеобщему удивлению, он повторил свой прошлогодний призыв к созыву конференции четырех держав-победительниц по вопросу о воссоединении Германии. Разумеется, этот призыв был поддержан депутатами всех фракций бундестага; не все обратили внимание на формулировку мандата предложенного форума, которая была неприемлема для советской стороны, в чем Аденауэр, естественно, прекрасно отдавал себе отчет. Чтобы подчеркнуть серьезность своего демарша, Аденауэр даже отправился в Вашингтон, чтобы лично представить свой план на рассмотрение проходившей там конференции министров иностранных дел США, Англии и Франции. Они были слегка ошарашены неожиданным поворотом в позиции Аденауэра, но с помощью разъяснений, которые им дал Бланкенхорн, они наконец все поняли: одно из предварительных условий для проведения конференции «четверки» заключалось в том, что она должна быть тщательно подготовлена, другими словами, могла состояться только после проведения выборов в ФРГ; налицо был, следовательно, обычный предвыборный пропагандистский трюк.

Избирательная кампания проходила как обычно: канцлер сменил тогу почтенного государственного деятеля международного масштаба на униформу уличного зазывалы. Его личные нападки на лидеров СДПГ вышли далеко за рамки норм элементарного приличия. Он, к примеру, обвинил двух социал-демократов из Золингена в том, что они получили на нужды своей кампании но десять тысяч марок из ГДР. Потом ему пришлось в суде приносить им извинения за клевету, но это произошло уже после выборов, а пока нужный эффект был достигнут: политические соперники были скомпрометированы. Об отдельных деятелях СДПГ и обо всех вместе говорилось, что они продались Москве, что у них нет чувства патриотизма, что они политические импотенты, и так далее без конца.

Помимо всего прочего, ХДС располагал отличной организацией и отличными пропагандистами. Чего стоили, например, такие тексты на избирательных плакатах: «Москва приказывает: долой Аденауэра. Голосуйте за ХДС» или «Да — за Аденауэра, и процветание обеспечено». Партия арендовала специальный агитпоезд — прием, который до этого использовал только Геринг. Сам Аденауэр и его штаб колесили но стране в комфортабельном автобусе, за которым следовали автобуфет и

машины для журналистов. Все это было очень профессионально в отличие от старомодных приемов избирательной агитации, которые применяла СДПГ.

Наконец, в решающий момент кампании в нарушение всех принятых международных норм вмешались американцы. На пресс-конференции, состоявшейся 3 сентября, за два дня до выборов в ФРГ, Даллес заявил, что поражение Аденауэра «имело бы катастрофические последствия для дела воссоединения Германии и восстановления ее суверенитета». Не удовлетворившись этой тирадой, он «углубил» свою мысль: поражение Аденауэра, по его словам, «вызвало бы такое смятение в Германии, что дальнейшее замедление в продвижении ее по пути воссоединения и свободы стало бы неизбежным».

В этих условиях исход голосования не оставлял сомнений. В день выборов была ясная и сухая погода, и к урнам пришло рекордное число избирателей — 86% от внесенных в списки. Уже в самом начале подсчета бюллетеней стало ясно, что Аденауэр одержал убедительную победу. Окончательные результаты показали, что блок ХДС/ХСС увеличил свой электорат до 45,2% *в* сравнении с 31% в 1949 году, СДПГ удержалась на прежнем уровне — 28,8%, главной же жертвой стали мелкие партии, получившие менее 5% голосов; Баварская партия, к примеру, фактически прекратила свое существование, будучи поглощенной ХСС. Что касается распределения мандатов, то из общего числа 487 на долю ХДС/ХСС досталось 243 (чуть-чуть меньше абсолютного большинства), на долю СДПГ — 151, на долю СвДП — 48. В парламент вошли также «Блок изгнанных и лишенных прав» с 27 мандатами (эта партия впервые оказалась представленной в бундестаге), Немецкая партия (15 мест) и партия Центра (3 места). Социал-демократ Карло Шмид метко прокомментировал результаты выборов: «Во времена всеобщего смятения нет лозунга более популярного, чем «Никаких экспериментов», что и показало поведение электората».

Ложкой дегтя в бочке меда для Аденауэра были два феномена: во-первых, неожиданный успех ультраправой партии «изгнанников» из бывших восточных земель и «жертв» денацификации и, во-вторых, практически монопольный статус, который ХСС приобрел в Баварии — захватив электорат, ранее голосовавший за Баварскую партию, он более чем удвоил число мандатов — с 24 до 52. Канцлер сделал отсюда выводы: правых надо интегрировать в рамках коалиции, которая будет включать в себя все партии, представленные в бундестаге, кроме, разумеется, СДПГ; с «братской» партией ХСС надо быть в будущем помягче, а то можно потерять Баварию.

Состав будущего нового кабинета Аденауэр обговорил с Пфердменгесом и Глобке. Решено было оставить Шеффера на посту министра финансов, хотя он уже изрядно действовал канцлеру на нервы; пост министра без портфеля должен был получить Штраус; протестантское крыло ХДС в правительстве должны были представлять Герхард Шредер и Роберт Тильман; на пост министра сельского хозяйства был выдвинут Генрих Любке. Для свободного демократа Делера места в правительстве не нашлось. Самыми неожиданными были назначения двух членов «Блока изгнанных и лишенных прав» — Вальдемара Крафта и Теодора Оберлендера. Оба были в свое время членами нацистской партии, и более того, никогда не раскаивались в этом. Крафт был ротным командиром в частях СС, Оберлендер вступил в НСДАП еще в 1933 году, был видным партийным функционером и до конца дней так и не смог опровергнуть выдвигавшихся против него серьезных обвинений в преступлениях против еврейского населения на оккупированной Украине. Сам Аденауэр в частном порядке признавал, что Оберлендер не просто «коричневый», а «густо-коричневый».

Аденауэр сумел наконец избавиться от ставшего несносным Ленца. Ему было предложено выставить свою кандидатуру на выборах, что он и сделал, рассчитывая в случае победы на министерский пост в новом правительстве; в результате мандат депутата он получил, а вот пост министра — нет, хотя Аденауэр вроде бы ему его обещал. Оправдались слова Рейнхольда Мейера: «Каждый, кто беседует (с Аденауэром), должен помнить, что никогда не знаешь, как толковать то или иное его высказывание». Ленца нужно было убрать еще и для того, чтобы освободить место для верного Глобке. Последний получил наконец долгожданный титул статс-секретаря.

Теперь Аденауэр мог считать свое положение незыблемым. Эксцессы избирательной кампании были позади, можно было вновь напялить на себя тогу солидного государственного деятеля и возобновить прерванную шахматную партию на международной арене. Однако обнаружился неприятный факт: за два года раскачки и промедлений тот импульс, который сделал возможным подписание Боннского и Парижского договоров, в значительной степени иссяк. Следовало заранее рассмотреть возможность неких альтернативных решений в случае, если бы оба договора, подобно хрупким юным девам или слишком изнеженным розам, ушли в небытие, так и не достигнув стадии зрелости.

ГЛАВА 8.
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ГЕРМАНИЯ?

«Я заверил Даллеса, что я не пойду ни на какой компромисс. Германия твердо стоит и будет стоять на стороне Запада»[38]

«Нам нужна немецкая армия… Не имеет смысла говорить об обороне Европы против России без Германии. Нельзя, чтобы эта огромная территория оказалась ничейной, чтобы Германия была лишена возможности защитить себя». Кто мог быть автором этих слов? Читатель, наверное, никогда не догадается, что эти сверхортодоксальные взгляды на Бермудской конференции в декабре 1953 года высказывал не кто иной, как оправившийся от инсульта британский премьер Уинстон Черчилль. Обращаясь к представителям Франции, премьер-министру Жозефу Ла-ньелю и министру иностранных дел Жоржу Бидо, он добавил в свою речь еще и нотку легкого шантажа: «Сожалею, что мне приходится говорить об этом — я хорошо знаю о тех потерях, которые вы понесли… Я высоко ценю героические подвиги участников Сопротивления». В этом месте голос Черчилля дрогнул и глаза наполнились слезами, тем не менее он продолжал изрекать горькие истины: «Должен просить моих французских друзей понять, что либо мы должны довести до конца дело с ЕОС, и побыстрее, либо нам придется создать немецкую армию в рамках НАТО».

У Аденауэра, таким образом, появился неожиданный союзник. Еще недавно Черчилль придерживался совсем другой точки зрения — вспомним его речь 11 мая 1953 года. Аденауэр мог только радоваться такому резкому перелому во взглядах британского премьера. В их нынешнем виде они фактически совпадали с его собственными. Не то чтобы канцлер хотел иметь свою собственную армию, — он знал, насколько непопулярно среди населения все, что связано с военщиной. Но если договор о ЕОС не пройдет через Национальное собрание Франции, иного выхода просто нет — в этом Черчилль буквально воспроизвел мысли Аденауэра. Но последний понимал и другое: все это вызовет новое обострение внутриполитической ситуации в ФРГ.

Только что, в ноябре 1953 года, он уже пережил нечто подобное, когда объявил в бундестаге, что считает необходимым для обороны Западной Германии размещение на ее территории американского ядерного оружия. Через несколько дней первая

американская 280-миллиметровая гаубица, приспособленная для стрельбы снарядами с ядерной начинкой, проследовала по улицам прирейнских городов. «Странный вид, такая она огромная и неуклюжая», — пишет об этом новом американском чудо-оружии современный исследователь. Американские военные и не думали как-то маскировать операцию по оснащению своих расположенных в ФРГ частей носителями ядерного оружия; о чем они предпочитали умалчивать или ограничивались лишь туманными намеками — это о том, каковы боевые возможности размещаемых атомных пушек и для каких целей они предназначены. Все это вызывало понятное беспокойство мирных жителей. Заяви сейчас о создании новой армии — это вызовет еще больший скандал.

Нельзя сказать, чтобы взгляды Аденауэра и «нового» Черчилля совпали полностью, на все сто процентов. И на Бермудах британский премьер отстаивал свою старую точку зрения о том, что Запад должен сделать хотя бы какой-то шаг навстречу Советам, согласиться по меньшей мере на созыв совещания в верхах, тем более что в августе советская дипломатия вновь озвучила эту идею. Даллес на этот раз изменил тактику, он заявил, что не против саммита, «имея в виду, что это будет сделано быстро и что мы быстро сумеем покончить с этим делом». Другими словами, он не изменил своего мнения о том, что совещание на высшем уровне — это пустая трата времени, и если уж идти на это, то нужно позаботиться, чтобы не слишком много этого времени потерять.

Еще 15 июля 1953 года Советскому Союзу была послана нота, где предлагалось созвать конференцию министров иностранных дел четырех держав для обсуждения вопроса 'о проведении общегерманских свободных выборов с целью создания единого германского правительства. Для советской стороны такая постановка вопроса была, естественно, неприемлема: события июня 1953 года в ГДР показали характер господствовавших в массах населения настроений; была очевидна коллизия между идеей свободного волеизъявления немцев и интересами обеспечения безопасности Советского Союза, которые требовали тогда присутствия советских войск на восточногерманском плацдарме. Компромисс между позициями СССР и западных держав был найден в созыве конференции министров иностранных дел с менее определенным мандатом; она должна была «изучить пути уменьшения международной напряженности». Такая конференция состоялась в Берлине в конце января — начале февраля 1954 года.

Аденауэр полностью разделял точку зрения Даллеса, что

любой форум такого рода — это пустая трата времени. Тем не менее он попытался устроить некие консультации на межпартийной основе с целью выработать общую позицию, которая отразила бы консенсус всех основных политических сил Западной Германии и которую затем можно было бы изложить западным союзникам. Консультации ни к чему не привели. Аденауэр придерживался того мнения, что сформированный по результатам свободных выборов парламент должен заняться исключительно разработкой новой конституции объединенной Германии, однако представители партий, включая его собственную, считали по-другому: парламент, по их концепции, должен был образовать и новое правительство. Аденауэр оказался в изоляции — не в первый и не в последний раз. Это его не смутило, западным державам в качестве выражения официальной позиции ФРГ было изложено только одно мнение — естественно, его собственное.

Сразу же после конференции на Бермудах, 14 декабря, началась сессия Совета НАТО в Париже. Там Даллес выступил со своим сенсационным тезисом о том, что если ЕОС не станет реальностью, то Соединенные Штаты окажутся перед необходимостью «мучительной переоценки» своей внешней политики. Таким образом он попытался шантажировать французов, имея в виду, что США повернутся спиной к Европе и вернутся к изоляционизму. Попытка нелепая и грубая, единственным ее результатом была буря возмущения во французской прессе. Впрочем, такой была реакция не только во Франции. Один британский наблюдатель отметил, что Даллес вновь показал себя «неподходящим человеком в неподходящем месте в неподходящее время».

Между тем Аденауэр все более укреплялся в мысли, что договор о ЕОС не пройдет через французское Национальное собрание, какие бы уступки ни делались французам. Соответственно усилилось его взаимодействие с новым союзником — англичанами. Он имел долгие дискуссии с Иденом, прибывшим в Париж для участия в работе сессии НАТО. Они выработали общую тактику: внешне создавать впечатление заинтересованности в переговорах с Советами, но исподволь готовить общественное мнение обеих стран к тому, что они ни к чему не приведут. Иден объяснил, почему Великобритания, желая проекту ЕОС успешно реализоваться, сама не может в нем участвовать. Аденауэр ответил, что понимает эти причины, однако выражает «искреннее пожелание, чтобы Соединенное Королевство максимально приблизилась к ЕОС и к Европе… Во-первых, Европа не может обойтись без британского опыта,

характера и образа жизни, а во-вторых, нельзя давать пищу подозрениям Франции о том, что Германия рассматривает ЕОС как орудие установления своей гегемонии». Насколько действительно искренними были эти слова, остается под вопросом, факт тот, что ему был нужен европейский союзник; французы на эту роль не годились, а Даллес был слишком прямолинеен и негибок.

25 января 1954 года, как и было намечено, открылась Берлинская конференция. Молотов, Идеи, Даллес и Бидо, окруженные многочисленными делегациями экспертов и помощников, провели около пяти недель в бесплодных дискуссиях. Обсуждение германской проблемы началось на тринадцатом заседании форума. Значительное место в нем заняло изложение Молотовым известной советской точки зрения о необходимости предотвращения возрождения германского милитаризма. Его длинные речи изобиловали повторами и возвращениями к уже ранее сказанному. Он в деталях прокомментировал представленный им на обсуждение проект мирного договора. Идеи, со своей стороны, представил план воссоединения на основе общегерманских свободных выборов. Большего расхождения позиций трудно было себе представить.

Впрочем, небольшая подвижка в советской позиции все же имела место: Советы заговорили о «коллективной безопасности» в Европе — термине, который ранее широко использовали западногерманские социал-демократы. Их новый лозунг «Европа для европейцев» имел определенную притягательную силу для тех, кто был задет агрессивностью Даллеса и его оскорбительными тирадами насчет «мучительной переоценки». В общем, трудно отрицать, что советская позиция стала более гибкой. Этой тенденции суждено было продолжиться и впоследствии.

Единственный позитивный результат Берлинской конференции — решение созвать еще одну конференцию, на этот раз в Женеве, которая должна была заняться урегулированием проблем Индокитая. По германскому вопросу Берлинская конференция зашла в тупик. Советская позиция оставалась предельно жесткой. Молотов особенно отрицательно отзывался об Аденауэре, называя его «врагом Советского Союза». С другой стороны, но его мнению, преемники Аденауэра будут еще агрессивнее и опаснее. Что касается свободных выборов, то у него был наготове ответ, не свидетельствующий о хорошем знании истории: Гитлер, неоднократно повторял он, пришел к власти путем свободных выборов (?).

Конференция изобиловала приемами, которые устраивали

главы делегаций. Идеи, кстати, отмечал, что на обеде, который советский министр иностранных дел устроил в его честь, он проявил себя как радушный и внимательный хозяин. На одном из таких обедов в минуту откровенности Молотов раскрыл сущность своего подхода к германской проблеме. Согласно воспоминаниям Идена, его собеседник «выразил согласие с проведением всеобщих свободных выборов в Германии, но лишь после того, как все четыре союзника договорятся о том, каким должно быть правительство, которое будет сформировано после этих выборов». Иден использовал все свое красноречие, чтобы объяснить советскому министру, что цель свободных выборов как раз и состоит в том, чтобы дать возможность избирателям определить для себя подходящее для них правительство, но Молотов, не дослушав, задал вдруг вопрос, никак не относящийся к данной теме: почему на приеме у англичан на прошлой неделе играл оркестр ирландских королевских стрелков, ведь Ирландия — нейтральная страна и ее солдаты не могут служить в британской армии. Иден пустился в объяснения насчет того, что речь идет о добровольцах, и тому подобном, но нить разговора безнадежно прервалась. Именно в этот момент Иден окончательно понял, что конференция обречена.

Провал Берлинской конференции, несомненно, порадовал Аденауэра. Теперь у него был серьезный козырь против своих оппонентов: Советы отказываются от самого принципа свободных выборов, так о чем же договариваться? В частном порядке он был готов признать, что Советы не хотят войны в Европе, однако, по его мнению, они преследуют цель политическим путем «выдавить» из Европы американцев. Этому он готов был противодействовать самым решительным образом.

Оставалась еще одна трудная проблема — Саар. Даллес затронул ее во время короткой встречи с бундесканцлером во время остановки в Кёльнском аэропорту по пути в Вашингтон. Аденауэр попытался принизить ее значение: она, эта проблема, раздувается противниками ЕОС, он, Аденауэр, готов кое на какие уступки ради того, чтобы Франция наконец ратифицировала Парижский договор о ЕОС, но он не может идти в этом отношении слишком далеко, дабы не навлечь на себя обвинения в том, что он «распродает» немецкие земли. Даллес сухо напомнил ему, что он дал торжественное обещание президенту Эйзенхауэру: ко времени начала дебатов о ЕОС во французском Национальном собрании саарская проблема будет снята с повестки дня. Это прозвучало довольно резко, тем более что на этом Даллес закончил разговор и направился к трапу ожидавшего его лайнера. Аденауэр как побитый остался стоять на полосе.

Заниматься всерьез переговорами о будущем Саара ему очень не хотелось. Но пришлось. Дело для него осложнилось тем обстоятельством, что в марте 1954 года последовало заявление Советского правительства о том, что оккупационный режим в Восточной Германии упраздняется и ГДР располагает отныне полным суверенитетом. Западные союзники, естественно, отреагировали, как обычно, указанием на нелегитимность существования ГДР, однако о прекращении оккупации Западной Германии и предоставлении ФРГ всех прав суверенного государства можно было говорить только после вступления в силу договора о ЕОС, а это теперь зависело только от Франции, которая, в свою очередь, требовала приоритетного решения вопроса о Сааре.

В начале марта французское правительство в качестве основы для переговоров представило «Саарский меморандум». По оценке Бланкенхорна, он являл собой «откровенное повторение старой французской позиции, слегка замаскированное под «европейское решение», что абсолютно неприемлемо для нас». Несколько иной, более приемлемый для немецкой стороны план «европеизации Саара» был выдвинут голландским дипломатом Гюйсом ван Натерсом. Именно на основе этого плана Аденауэр согласился на переговоры. В начале апреля он в сопровождении Хальштейна и Герстенмайера отправился с этой целью в Страсбург. У него не было иллюзий: переговоры предстояли долгие, трудные и утомительные. Так оно и оказалось.

Распутывание саарского узла осложнял еще и личностный фактор. Тамошние политические лидеры никому не подчинялись по партийной линии, поскольку деятельность западногерманских политических партий на территории Саарской области была французами запрещена, и даже те из них, кто тяготел к идее возвращения в лоно матери-родины, имели, разумеется, свои карьерные планы. Можно ли было, например, рассчитывать, что Иоханнес Хоффман, «премьер-министр» Саара, так легко откажется от своей должности? Крепким орешком был и Генрих Шнейдер, лидер «оппозиционной», открыто прогерманской партии. Аденауэр в принципе правильно полагал, что ему от них никакой помощи не будет и что у него, соответственно, нет никаких обязательств перед ними.

Предварительные переговоры с французами о будущем статусе Саара быстро зашли в тупик. Аденауэр ставил свое согласие в принципе на «европеизацию» Саарской области в зависимость от предоставления французской стороной гарантий незамедлительной ратификации договора о ЕОС. Французы рассматривали это как выставление предварительных условий и

отказывались дать искомые гарантии. Аденауэр далее настаивал на том, что любое достигнутое соглашение должно будет подвергнуться пересмотру в случае воссоединения Германии, когда и если таковое произойдет. Для французской стороны это условие также представлялось неприемлемым. Переговорам грозил неминуемый срыв, но тут произошел правительственный кризис во Франции: 12 июня, после того как капитулировал французский гарнизон крепости Дьен-Бьен-Фу во Вьетнаме, правительству Ланьеля был объявлен вотум недоверия.

Свергнутый премьер имел некоторые заслуги как участник Сопротивления, но, но воспоминаниям одного из личных секретарей Черчилля, это была не особенно презентабельная личность: «невысокий толстячок, человек непритязательный, слабый политик». Этого никак нельзя было сказать о его преемнике — Пьере Мендес-Франсе. Выходец из зажиточной еврейской семьи (его отец был текстильным фабрикантом), радикал, антиклерикал, человек светлого ума и решительного характера, он в возрасте тридцати одного года стал министром в правительстве Народного фронта, которое возглавлял протежировавший ему Леон Блюм. Во время войны служил в военно-воздушных силах, в 1941 году, когда власти Виши начали кампанию против евреев, был арестован. Сбежал из заключения, добрался до Лондона, где присоединился к движению Свободной Франции, был комиссаром финансов и министром национальной экономики в правительстве де Голля, но затем их пути разошлись. Мендес-Франс стал своего рода жупелом для антисемитски настроенных представителей французских правых сил, однако его кабинет, продержавшийся у власти всего семь месяцев, явился одним из немногих счастливых исключений из серых будней Четвертой республики. К числу его бесспорных достижений следует отнести относительно безболезненный, хотя и бесславный уход из Индокитая, предоставление ограниченной автономии Тунису и продвижение вперед по пути модернизации отсталой и архаичной французской экономики.

Как ни странно, никаких контактов с Мендес-Франсом до того, как он оказался в кресле премьера, ни у самого Аденауэра, ни у его советников не было. Он оказался темной лошадкой, информация о которой если и поступала, то исключительно от его политических противников. Неудивительно в этой связи, что первая реакция Аденауэра на политические перемены во Франции была реакцией недоверия и враждебности. На заседании кабинета 7 июля 1954 года он высказался в том духе, что Мендес-Франс подбирает себе в правительство маскирующихся для обмана общественности большевиков, что он планирует создать новый

Народный фронт, что он уже пообещал коммунистам, что не допустит ратификации Боннского и Парижского договоров. Словом, со стороны ФРГ было сделано все, чтобы затруднить налаживание отношений с новым французским правительством.

По правде сказать, проблемы с обоими договорами отнюдь не занимали первых позиций в списке приоритетов Мендес-Франса. Прежде всего, с его точки зрения, надо было решить индокитайскую проблему. Это было сделано: в конце июня было подписано женевское соглашение по Индокитаю, которое 20 июля было ратифицировано Национальным собранием. Затем настала очередь Туниса: 31 июля депутаты санкционировали установление там внутренней автономии. Только после этого премьер мог сосредоточиться на проблеме ратификации «Общего договора» и договора о ЕОС. Проблема была трудная, если вообще разрешимая. Мендес-Франс отдавал себе отчет в том, что коммунисты и голлисты — против ратификации на все сто процентов, среди социалистов по этому вопросу раскол, так что большинства в пользу договоров нет и трудно сообразить, как его можно создать. Даже в самом кабинете но вопросу о договорах не было единства. 13 августа трое министров от бывшей РПФ — Жак Шабан-Дельмас, Пьер Кениг и Жан Лемер — сложили свои полномочия, как только выяснилось, что правительство всерьез подумывает о том, чтобы вынести тексты договоров на обсуждение депутатов.

У Аденауэра в это время случился свой кризис: из Западного Берлина в Восточный перебежал глава ведомства по охране конституции западногерманской контрразведки Отто Йон. Это был в истории ФРГ первый случай предательства на таком высоком уровне. Пресса неистовствовала. Аденауэр поначалу пытался принизить значение скандала, потом — возложить всю ответственность на англичан, которые, по его словам, чуть ли не заставили его назначить Иона на занимаемый им ноет. Пресса не приняла этих объяснений, комментаторы задавали законные вопросы: каким образом правительство позволило так долго оставаться на ответственном посту человеку некомпетентному, о котором было известно, что он алкоголик, да вдобавок еще и гомосексуалист. «Канцлер, постарайтесь отмыться сами!» — восклицала либеральная «Ди цейт». Аденауэр в ответ преспокойно отправился в очередной отпуск, что довело газетных комментаторов уже просто до исступления.

Отпуск пришлось срочно прервать. Мендес-Франс придумал своеобразный способ сдвинуть дело ратификации договоров с мертвой точки: он подготовил несколько дополнительных протоколов к договору о ЕОС, которые, как он надеялся, смогут

удовлетворить некоторых из его критиков. Один из них, например, предусматривал, что любой из участников договора будет иметь право вето на использование военных контингентов ЕОС; другой — что интеграция армейских структур будет распространяться только на вооруженные силы государств-членов, которые дислоцированы на германской территории, и т.д. Заранее было ясно, что эти протоколы, существенным образом изменявшие содержание договора о ЕОС, потребуют новой процедуры ратификации во всех странах-участницах, включая, разумеется, и Западную Германию. Это затянуло бы вступление в силу обоих договоров до бесконечности и, естественно, было для Аденауэра абсолютно неприемлемым вариантом. Казалось, оправдывались самые его мрачные предположения о политическом лице нового французского премьера. В препаршивейшем настроении он покинул Бюлерхоэ и отправился в Брюссель, где 19 августа должна была открыться конференция, на которой предполагалось обсудить французскую инициативу и вообще разобраться со сложившейся тупиковой ситуацией. Настроение нашего героя отнюдь не улучшила весть о кончине одного из его самых верных союзников — Альчидо де Гаспери, которую он получил как раз за день до открытия конференции.

Перспективы достижения согласия выглядели там отнюдь не блестяще. Председательствовал на форуме Спаак, только недавно, в марте 1954 года, ставший министром иностранных дел Бельгии, однако его роль была минимальна. Обычно в функции председателя входит обеспечение баланса в дискуссии, чередование выступлений «за» или «против» обсуждаемого проекта; в данном случае об этом и речи не могло быть: конференция превратилась в коллективное избиение французского премьера пятью другими участниками, которых вдобавок еще подначивали активно действовавшие за сценой послы США и Великобритании. Самому Аденауэру даже почти не пришлось брать слова — другие сделали за него работу по дискредитации французского проекта. На Мендес-Франса это, впрочем, мало подействовало: он не собирался уступать. После трех дней такого рода «дискуссии» конференция закончилась, не дав никаких результатов.

В последний день конференции состоялась личная встреча между Аденауэром и Мендес-Франсом по просьбе последнего. Она происходила в служебном кабинете Спаака, Мендес-Франс был один, Аденауэра взял с собой Хальштейна. Французский премьер употребил весь свой шарм, чтобы произвести впечатление на собеседника. Он заявил, что является другом Германии; его мать, родом из Люксембурга, выросла в Эльзасе;

его собственный родной язык немецкий, он — убежденный сторонник франко-германского взаимопонимания; «он думает при этом о двух своих сыновьях, одному — двадцать, другому — восемнадцать; он не хочет, чтобы они стали бессмысленными жертвами новой войны между Францией и Германией» — так изложил Аденауэр слова Мендес-Франса в своих мемуарах.

Бундесканцлер слушал нетерпеливо, гадая, к чему все эти излияния. Наконец, Мендес-Франс перешел к сути дела: и в Национальном собрании, и в Сенате, поведал он горькую истину, большинство настроено против ратификации. Аденауэр отреагировал вопросом: что же можно сделать, чтобы переломить это настроение депутатов? Мендес-Франс ответил в том смысле, что это возможно только в случае внесения поправки в текст договора, которая давала бы право каждой стране-участнице выйти из него в любое время. Это было бы коренное изменение документа, полностью меняющее его смысл, и Аденауэр не преминул указать на этот факт. Встреча завершилась взаимными заверениями сторон в том, что они будут продолжать поиски взаимно приемлемого решения. Вернувшись в свою резиденцию, Аденауэр послал телеграмму Черчиллю, в которой выразил мнение, что договор еще можно спасти, если Мендес-Франс использует для его проталкивания весь тот авторитет, который он приобрел, добившись для Франции столь многого за краткий промежуток времени своего премьерства. Он выразил надежду, что Черчилль найдет нужные слова, чтобы убедить французского премьера сделать это.

Все оказалось тщетным. Аденауэру, вернувшемуся в Бюлерхоэ, оставалось лишь наблюдать за неизбежной развязкой. 30 августа 1954 года, после двухдневных бурных дебатов, французское Национальное собрание 319 голосами против 264 при 43 воздержавшихся приняло решение снять вопрос о ратификации договора о ЕОС с повестки дня своей сессии. Это был смертный приговор для «европейской армии».

В 9 часов вечера с небольшим западногерманский посол в Париже передал эту новость в Бюлерхоэ. Обычно Аденауэр стоически воспринимал удары судьбы, но тут было по-другому. Прочитав телеграмму посла, он повернулся и удалился в свои покои, не сказав ни единого слова. На следующее утро в отеле появились Хальштейн, Глобке, Бланкенхорн и Эккардт. Последний вспоминал впоследствии: «Никогда ни до, ни после я не видел его таким уязвленным, таким потерянным». Он дал волю своим эмоциям, обрушившись на французов вообще и на Мендес-Франса в частности. Французскому премьеру просто нельзя доверять, говорил он, он продался Москве, пообещав провалить

договор о ЕОС в обмен на советскую поддержку по индокитайскому вопросу; он завидует бурному экономическому развитию Западной Германии и хочет с помощью Советов затормозить его. Все это Аденауэр повторил при встрече с Верховными комиссарами США и Великобритании Джеймсом Конэнтом и Фредериком Хойер-Миллароm, которые посетили его в Бюлерхоэ, чтобы выразить ему свое сочувствие. Затем то же самое от него услышал специальный корреспондент лондонской «Таймс» Джон Фримен, который процитировал многие из высказываний разъяренного канцлера в своей статье, опубликованной в номере от 4 сентября.

Надо было спасать то, что еще можно было спасти. Здесь беспрецедентную активность развило английское правительство. Черчилль направил ободряющее послание Аденауэру, где отмечал, в частности, что «после многих лет войн и вражды он ничего не желает так сильно, как увидеть немецкий народ на почетном месте в семье свободных наций мира». 11 сентября Иден отправился в свое турне по европейским столицам с целью найти поддержку своему плану расширения Брюссельского договора 1948 года (его участниками были Великобритания, Франция и страны Бенилюкса) за счет включения в него ФРГ и Италии. Этот план мыслился как запасной вариант на случай, если Франция категорически воспротивится прямому членству Западной Германии в НАТО; впрочем, вопрос о принятии ФРГ в НАТО не снимался с повестки дня.

Поначалу Аденауэр не знал, как отнестись к инициативе Идена. Идея поспешного и неподготовленного созыва конференции девяти держав в Лондоне с весьма произвольным набором участников — первоначальные участники Брюссельского договора, кандидаты на присоединение к нему плюс США и Канада — вызывала у него сомнения. Прежде чем дать согласие на участие западногерманской стороны, он решил проконсультироваться с Даллесом. Помимо всего прочего, у него созрела мысль о том, Что проблему ликвидации Оккупационного статута и признания суверенитета Федеративной Республики можно решить и отдельно от вопроса европейской обороны. Об этом он тоже информировал Даллеса.

Тот, однако, в ответ ограничился общими фразами о том, что он согласен с тем, что англичане взяли на себя инициативу в данном вопросе и что им всем надо держаться вместе. Впрочем, Иден поставил их перед свершившимся фактом: 23 сентября он уже объявил о предстоящей конференции, Даллесу и Аденауэру не оставалось иного выбора, как заявить о готовности участвовать в ней.

Конференция оказалась успешной. Заслуга Аденауэра заключалась в том, что он, сделав несколько колких замечаний в адрес Мендес-Франса, ограничился в дальнейшем главным образом ролью слушателя. Функции председателя форума элегантно и четко исполнял Идеи. Черчилль ясно показал всем, на чьей стороне его симпатии, когда вечером накануне открытия конференции устроил грандиозный прием на Даунинг-стрит, 10, в честь не кого-нибудь, а именно западногерманского канцлера. Не отвлекаясь на частности, Иден быстро добился единства участников по принципиальным вопросам. В отношении европейской обороны Аденауэр от имени Федеративной Республики дал обязательство не производить атомного оружия и согласился на установление контроля над производством военных судов, бомбардировщиков и ракет. Иден, со своей стороны, гарантировал, что Великобритания оставит на континенте четыре свои дивизии и соединения тактических ВВС; они не могли быть выведены против желания большинства участников Брюссельского договора. Тем самым был открыт путь для более детального обсуждения остававшихся нерешенными вопросов, которое должно было начаться через три недели в Париже.

Оно приняло форму фактически четырех конференций, работа которых шла одновременно и параллельно. Одна была посвящена проблеме ликвидации Оккупационного статута и выработке соответствующей новой редакции «Общего договора»; в ней принимали участие представители трех держав и ФРГ; вторая занималась вопросом о реформировании Брюссельского договора и создании Западноевропейского Союза (ЗЕС); ее состав — первоначальные участники договора — Великобритания, Франция, Голландия, Бельгия и Люксембург плюс ФРГ и Италия; третья представляла собой переговоры между тринадцатью участниками НАТО и Федеративной Республикой о принятии последней в состав альянса; наконец, проходили еще и двусторонние франко-западногерманские переговоры о будущем Саара.

Аденауэр каким-то чудом успевал всюду, позволяя себе лишь недолгий отдых в своей резиденции, которая располагалась в отеле «Бристоль» на улице Сент-Оноре, поблизости от Елисейского дворца и «Отель Матиньон», где располагались соответственно президент и правительство. Место для резиденции было выбрано не случайно. Помимо того, что Аденауэр в своем почтенном возрасте привык останавливаться в тех отелях, которые он знал, притом с лучшей стороны, имелось еще одно соображение: «Бристоль» оптимально подходил для

доверительных бесед с Мендес-Франсом но ключевому для канцлера вопросу — саарскому. Разумеется, в европейском контексте этот вопрос был в лучшем случае третьестепенным по своему значению, но с точки зрения политических реалий Западной Германии от него в буквальном смысле зависела судьба правительства: националистически настроенные свободные демократы в любой момент могли выйти из коалиции с ХДС/ХСС, если бы посчитали, что канцлер «распродает» немецкие земли.

Мендес-Франс сделал все, чтобы умаслить своего немецкого партнера; он, в частности, устроил для него роскошный вечер в замке Ла-Салль-сен-Клу, где некогда обитали известные фаворитки французских королей — мадам де Ментенон и мадам де Помпадур. Замок недавно был отреставрирован, парк на берегу Сены, панорама Парижа на горизонте — ото всего веяло умиротворяющей прелестью ранней осени. На Аденауэра всегда действовали внешние аксессуары дипломатического политеса, и данный случай не стал исключением. В ходе дискуссии он согласился на то, что Саар сохранит свой сепаратный статус вплоть до подписания мирного договора и для этой территории будет выработан специальный статут, за соблюдением которого будет надзирать комиссар от Совета Европы.

Впрочем, он вовремя спохватился, что сделал слишком много уступок. По сути, единственным пунктом расхождения между ним и Мендес-Франсом остался вопрос, надо ли проводить два плебисцита: первый — «за» или «против» предлагаемого статута, и второй — по определению будущего Саара после подписания мирного договора (точка зрения французской стороны) — или достаточно ограничиться последним, а вместо первого провести голосование в Ассамблее, но с привлечением легализуемых пронемецких партий (точка зрения Аденауэра). Любой из этих вариантов, как он не без основания предполагал, вызовет бурю среди депутатов бундестага, и он решил заранее подстраховаться.

В Париж были вызваны лидеры фракций, причем не только те, кто поддерживал правительство, но и находившейся в оппозиции СДПГ. Это был прием нетипичный для Аденауэра; его обычная практика состояла в том, чтобы вести все переговоры единолично, а затем поставить коллег по кабинету и бундестаг перед свершившимся фактом. Но Саар был слишком деликатным вопросом для такой прямолинейной тактической схемы. Он не только провел консультации с прибывшими в Париж парламентариями, но даже — неслыханное дело! — устроил завтрак для лидеров социал-демократов Олленхауэра и Шмида. При этом он терпеливо объяснял собеседникам, в какой тугой узел увязаны все проблемы, которые ему приходится решать, и

как глупо было бы сорвать подписание всего комплекса договоров, упорствуя но саарскому вопросу. Олленхауэра со Шмидом убедить так и не удалось, зато Брентано и Делер в принципе согласились с точкой зрения канцлера. Теперь Аденауэр мог быть уверен, что ему удастся протащить через бундестаг компромиссный план по решению саарской проблемы.

Вопрос неожиданно приобрел характер сверхсрочного. В пятницу 22 октября, за день до пленарного заседания конференции «девятки», Мендес-Франс заявил, что подпишет ее заключительные документы только в том случае, если в их число будет входить и Саарский статут, который еще предстояло согласовать. В этот вечер Иден давал в британском посольстве ужин для участников конференции. Не дав Аденауэру с Мендес-Франсом доесть последнее блюдо, хозяин вечера отвел их в библиотеку посольства и оставил там в компании трех советников — Хальштейна и Бланкенхорна с немецкой стороны, Ролана де Маржери с французской, — дав понять, что они не выйдут оттуда, пока не урегулируют оставшиеся спорные вопросы но Саару.

В своих воспоминаниях Иден оставил любопытное описание дальнейшего хода событий: «Прошло несколько часов, и я начал беспокоиться насчет того, что там происходит, послал кого-то, чтобы деликатно выяснить, далеко ли еще до окончания дискуссии. Оказалось, что они давно обо всем договорились и тихонько покинули здание,' решив, что мы уже спим» (Иден обычно останавливался не в отелях, а в помещении самого посольства). Действительно, все прошло довольно быстро. Аденауэр принял идею двух плебисцитов и назначения комиссара от ЗЕС. Мендес-Франс согласился изменить статут, внеся в него важный пункт о возможности присоединения Саара к ФРГ в случае, если так решат большинство избирателей. Оставался только сравнительно небольшой вопрос о доступе немецких фирм на саарский рынок, который был решен на следующее утро. Во второй половине дня, как и было запланировано, состоялось торжественное подписание всего комплекса Парижских соглашений. Аденауэр издал специальный пресс-релиз, в котором назвал дату 23 октября 1954 года «днем примирения с Францией». Отныне уже не было речи о злодейской сущности Мендес-Франса.

В Бонне его ждали отнюдь не лавры победителя — в конце концов он добился восстановления суверенитета Германии и создания системы европейской обороны, — а потоки обвинений за те уступки, которые он сделал по саарскому вопросу. Он был счастлив покинуть неблагодарных соотечественников,

отправившись с новым, вторым но счету, визитом в США. Там его способности государственного деятеля нашли куда более позитивную оценку: он получил еще одну докторскую степень — на сей раз от Колумбийского университета.

Визит пришлось досрочно прервать. Пришла весть о неожиданной кончине — во время обычной операции по удалению миндалин — председателя бундестага Элерса. Аденауэр проделал длинное путешествие с рядом незапланированных посадок из-за плохой погоды — на Бермудах, Азорах и в Париже, прежде чем прибыл в Бремен- на панихиду по усопшему. Речь шла не только о чисто церемониальном мероприятии. Нужно было срочно определиться с кандидатурой преемника. Аденауэр хотел видеть на этом посту Герстенмайера не в последнюю очередь потому, что тот сам этого не особенно хотел, однако у фракции ХДС/ХСС был свой фаворит — Эрнст Леммер. Лестью и угрозами Аденауэр добился своего: в третьем туре голосования искомое большинство получил Герстенмайер.

Имея в своем распоряжении «карманного» председателя бундестага, Аденауэр решил притормозить процесс ратификации Парижских соглашений; памятуя о судьбе договора о ЕОС, он счел разумным подождать, пока их ратифицируют французы. Соглашения были внесены на рассмотрение бундестага только в феврале 1955 года. Они прошли довольно легко, несмотря на оппозицию со стороны СДПГ и протесты со стороны общественности, которая требовала приоритетного решения вопроса о воссоединении, чему, как считалось, вступление в военный союз может только помешать. Принят был и Саарский статут, хотя при голосовании в кабинете двое из его членов, Шеффер и Кайзер, предпочли воздержаться. Когда статут проходил обсуждение в бундестаге, «заднескамеечники» из СвДП попытались устроить обструкцию, что вызвало резкую отповедь со стороны Аденауэра. Еще более резкий характер носило его послание в связи с этим инцидентом, которое он направил Делеру, ставшему к тому времени председателем парламентской фракции свободных демократов. Канцлер явно устал и не мог скрывать своего раздражения, что, в свою очередь, довело отношения между партнерами по коалиции почти до точки разрыва.

Аденауэр был убежден, что Делер ведет свою партию курсом на сближение с социал-демократами, а те сознательно или по глупости движутся навстречу Советам. Российские архивные документы подтверждают по крайней мере наличие серьезных усилий советских эмиссаров по привлечению западногерманских социал-демократов на свою сторону. Так, 9 марта 1955 года ЦК

КПСС утвердил текст телеграммы советскому послу в ГДР, в которой речь шла о выяснении «возможности встречи представителей СДПГ с советскими общественными деятелями в одной из нейтральных стран (например, в Швеции) для обмена мнениями по вопросу активизации борьбы за воссоединение Германии, против восстановления вермахта». В работу по подготовке такого рода контактов активно включился и советский МИД. В подготовленном там рабочем документе от 11 июня того же года содержится подробный список вопросов, «которые могли бы быть подняты лидерами СДПГ в ходе бесед с представителями СССР» с соответствующими вариантами ответов на них.

Однако все это запоздало. В полночь 5 мая 1955 года Федеративная Республика стала суверенным государством. На всех общественных зданиях были подняты государственные флаги. Аденауэр встретил этот момент, торжественно позируя на ступенях дворца Шаумбург. Верховные комиссары объявили о прекращении действия Оккупационного статута — здесь, правда, не обошлось без нескольких шпилек со стороны Франсуа-Понсе. Двумя днями позже во главе представительной делегации Аденауэр прибыл в Париж на конференцию НАТО, где ФРГ была принята в альянс в качестве полноправного члена. 15 мая СССР и западные державы подписали договор о предоставлении независимости и суверенитета нейтральной Австрии. Наконец, не далее как через три недели Советы через посольство ФРГ в Париже направили западногерманской стороне послание, где выражалось пожелание установления нормальных дипломатических отношений между обеими странами. Аденауэр получил личное приглашение прибыть в Москву для обсуждения этого вопроса. Казалось, начинается то, что впоследствии получило название «разрядки».

ГЛАВА 9.
МОЖНО ЛИ КОМУ-ТО ДОВЕРЯТЬ?

«Я выиграю выборы, если только американцы не наделают ошибок»[39]

Не прошло и двух недель с того момента, когда Аденауэр со ступеней дворца Шаумбург торжественно провозгласил, что ФРГ отныне свободна и суверенна, как произошел казус, наглядно показавший всем, что новообретенный суверенитет весьма относителен, что Западная Германия в значительной степени остается объектом, а не субъектом мировой политики, что западные державы, в частности, вовсе не собираются прислушиваться к мнению своего нового союзника, особенно когда речь идет о мнении его престарелого лидера. Возмутителем спокойствия стал не кто иной, как президент США Эйзенхауэр. 18 мая, отвечая в ходе своей пресс-конференции на вопрос корреспондента французской «Монд», он заявил, что идея создания в Центральной Европе нейтральной зоны заслуживает внимания, что наличие такой зоны вовсе не будет означать военного вакуума. Он пояснил свою мысль свежим примером: Австрия, будучи по условиям государственного договора, нейтральным государством, будет тем не менее иметь вооруженные силы, достаточные для обороны. В таком же положении находится и Швейцария: она нейтральна и вооружена. «Такого рода нейтралитет, — заявил он, — это нечто кардинально отличное от ситуации военного вакуума».

С точки зрения Аденауэра, это была абсолютная ересь: Эйзенхауэр просто не имел представления о том, что такое Центральная Европа и что там может случиться, если упомянутые президентом идеи станут реальностью. Все очень просто: если Эйзенхауэр намекает на возможность существования объединенной Германии как нейтральной страны между двумя блоками, то он не понимает или не хочет понять, что такая Германия неизбежно попала бы под советское влияние и со временем оказалась бы в том или ином виде частью советской империи. Словом, налицо классический случай, когда добрыми намерениями мостится дорога в ад, а для католика Аденауэра понятия «ад», «сатана», «антихрист» были не какой-то абстракцией, а имели вполне конкретный смысл и эмоциональную нагрузку.

Кстати сказать, именно страх перед возможной

«нейтрализацией» Германии заставлял Аденауэра с такой решимостью и настойчивостью пробивать проект ЕОС. При всей своей абсурдности с военной точки зрения структура ЕОС навечно привязала бы Западную Германию к политической системе Западной Европы. Натовское решение было, с его точки зрения, лишь неполноценным эрзацем, поскольку в НАТО все определяли Соединенные Штаты, а это была страна, исторически склонная к изоляционизму, причем ее лидеры никогда хорошо не разбирались в европейских делах. Отношение к НАТО для Аденауэра исчерпывалось формулой: лучше что-то, чем ничего.

Высказывания Эйзенхауэра пробудили в нем старые страхи. Аденауэр немедленно вызвал к себе в Бюлерхоэ послов из Вашингтона, Лондона и Парижа; туда же прибыли Хальштейн, Бланкенхорн и генерал Адольф Хойзингер. 25 мая он провел с ними экстренное совещание, которое превратил в одну большую лекцию на тему глупости и предательской сущности этих янки. Он был не похож сам на себя: обозленный донельзя и не скрывающий этого, он поливал всех — естественно, в первую очередь Эйзенхауэра, затем Даллеса, который позволил своему шефу выдать такую ахинею, наконец, даже и Идена — тот на прошлогодней Берлинской конференции тоже высказывал нечто подобное. Короче, он чувствовал, что его предали те, кого он раньше считал своими верными и надежными союзниками.

Слушателям с трудом удалось охладить разбушевавшегося канцлера. Они мягко напомнили ему, что позиции ФРГ на международной арене еще очень слабы. Конечно, то, что он называет «кошмаром Потсдама» — возможность достижения соглашения между четырьмя державами-победительницами через его голову, — остается в пределах возможного и представляет серьезную опасность, но, Пока мирного договора нет, жаловаться тут бесполезно. Кроме того, он, вероятно, знает, что на июль в Женеве запланировано совещание в верхах СССР, США, Англии и Франции и сейчас в Лондоне работает плановая группа, которая должна выработать согласованную западную позицию но повестке дня этого саммита, там и можно будет попытаться выправить линию союзников; ограничиваться чисто негативной реакцией — это не лучший вариант.

Суть новой западногерманской позиции, в формулировании которой принял участие и несколько успокоившийся канцлер, заключалась в следующем: да, воссоединения Германии можно добиться, но только после достижения соглашения об установлении системы всеобщего и всеобъемлющего контроля над вооружениями, включая создание демилитаризованной (но не обязательно нейтральной) 200-километровой зоны «от Балтики до

Адриатики, которая… охватывала бы значительную часть советской зоны». Это была хитрая задумка, не в последнюю очередь потому, что выглядела конструктивной инициативой и преемственным развитием того плана, который год назад Иден выдвигал в Берлине. Определенные элементы этой западногерманской разработки действительно вошли в рабочий документ, представленный британской делегацией на обсуждение женевского саммита.

Впрочем, Аденауэр рассматривал эти идеи не только как блокирующий маневр — это была лишь одна из преследуемых целей. Вероятно, он искренне верил в то, что Советы все-таки пойдут на сделку по вопросу о воссоединении и что вопрос о контроле над вооружениями — это своеобразный рычаг, чтобы подвести их к этому. В принципе он был скорее всего прав, хотя даже сейчас трудно гадать о том, что было на уме у тогдашних советских лидеров, занятых борьбой за сталинское наследство, и был ли найден какой-то общий знаменатель в мышлении «коллективного руководства». Наверняка имелись разные мнения и концепции; с официальной точки зрения Москвы «политически корректно» было говорить, что со вступлением ФРГ в НАТО перспективы воссоединения Германии отдалились, если не исчезли вообще, однако в плановых документах МИДа все еще встречались упоминания даже об общегерманских «свободных выборах».

Единственное, о чем можно сказать с уверенностью как о консенсусе, объединявшем все послесталинское руководство СССР, — это о том, что все его представители считали целесообразным ведение переговоров с Западом вне зависимости от тех или иных оценок перспектив на достижение на них конкретных результатов. Как уже упоминалось, в июне 1955 года посол ФРГ в Париже получил от своего советского коллеги официальную ноту, в которой содержалось приглашение Аденауэру прибыть в Москву с целью установления дипломатических отношений между обеими странами. В ноте говорилось также о том, что, помимо нормализации двусторонних отношений, такой шаг будет способствовать укреплению европейской безопасности и восстановлению единства Германии. Отказаться от этого предложения было трудно — Аденауэр просто не смог бы убедительно объяснить такой отказ западногерманской общественности.

В общем, можно сказать, что накануне Женевы ни в западном, ни в восточном лагере не было ясности, что там будет обсуждаться и к чему все это приведет. Что касается Аденауэра, то у него в это время были и другие заботы. Первая касалась

европейского строительства. На конференции министров иностранных дел стран ЕОУС, которая началась 1 июля в Мессине на Сицилии, участникам был предложен план объединения предприятий атомной энергетики разных стран Западной Европы и создания соответствующей новой организации по типу ЕОУС — «Евратома». Аденауэр поначалу не был энтузиастом этой идеи: подготовленный в ведомстве Эрхарда меморандум рекомендовал самостоятельное развитие атомной отрасли в ФРГ путем закупки соответствующей технологии у США или Великобритании. Но когда он ознакомился с меморандумом Спаака, где предлагалось создать более широкую организацию — Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), его отношение изменилось на более позитивное. Он активно поддержал проект Спаака, который к тому же говорил о нем (с чем был согласен и Аденауэр) как о «лучшем способе решить германскую проблему». Другими словами, раз уж не удалось добиться прочной интеграции в сфере обороны, пусть безопасность ФРГ обеспечит экономическая интеграция. Конференция приняла решение о создании особого комитета под председательством Спаака, который должен был изучить способы расширения компетенции ЕОУС в части снижения тарифов и прочих барьеров в торговом обмене между государствами-участниками. Это было скромное начало большого дела, которое многие тогда считали авантюрой; результатом стало подписание два года спустя Римского договора о создании Общего рынка.

Оставались еще проблемы внутриполитического характера. После ратификации Парижских соглашений Аденауэр решил, что для него настало время расстаться с постом министра иностранных дел. Он этого не очень хотел, но после обретения Федеративной Республикой статуса суверенного государства особого смысла в объединении двух должностей уже не было. Очевидным кандидатом на появившуюся вакансию был Брентано, которому и досталось кресло руководителя МИДа. Обиженными оказались Бланкенхорн и в какой-то степени Хальштейн. Последний, правда, остался в МИДе, однако Бланкенхорн предпочел уйти на пост постоянного представителя ФРГ при НАТО. Вхождение в этот союз поставило на повестку дня еще один организационный вопрос: если ранее военными вопросами занимался соответствующий отдел в Ведомстве федерального канцлера, то теперь нужно было создавать Министерство обороны. На пост министра претендовал Штраус, о чем и не преминул заявить во всеуслышание, однако он не пользовался доверием канцлера; министром стал Бланк, а Штраусу было поручено заниматься делами атомной промышленности.

Никто из новых назначенцев не был доволен тем, что ему досталось. Брентано, в частности, жаловался на ограничение своих полномочий, и не зря. Аденауэр в письменном виде информировал его о том, что намерен по-прежнему «держать в своем ведении вопросы Европы, отношений с США и Советским Союзом». Что же, спрашивается, оставалось министру при таком раскладе? Однако канцлер придерживался железного правила: если кто-то хочет быть в правительстве, он должен беспрекословно подчиняться его воле. Аденауэр был только доволен тем, что его министры чувствуют себя неуютно; это создавало идеальную почву для манипулирования ими.

18 июля открылся женевский саммит. Из Лондона прибыл Идеи, сменивший наконец Черчилля на посту премьера, из Парижа — Эдгар Фор, из Вашингтона на своем президентском лайнере — Эйзенхауэр. Глав государств и правительств сопровождали их министры иностранных дел — Гарольд Макмиллан, только-только вступивший на этот пост, Антуан Пине и, разумеется, Джон Фостер Даллес. Советская делегация включала маршала Николая Булганина, Никиту Хрущева и Вячеслава Молотова. Макмиллан, новичок в подобных форумах, оставил в своих дневниках яркие характеристики советских лидеров. Булганин в его глазах — это «тин доброго напаши, его вполне можно принять за мэра какого-нибудь французского городка, из радикал-социалистов»; о Хрущеве он отозвался менее доброжелательно: «Невероятно, как этот вульгарный толстяк со свинячьими глазками, потоком извергающий из себя нечто бессвязное, мог стать руководителем такого многомиллионного народа, да еще с претензиями на статус царя-самодержца?» По поводу Молотова он ограничился одним замечанием: «Уже очень слаб, явно болен». В общем, решать мировые дела собралось довольно пестрое общество.

Лето в тот год выдалось знойное, жители Женевы и многочисленные съехавшиеся туда корреспонденты изнывали от удушающей городской жары. Самим участникам конференции было легче: каждая из делегаций имела свою виллу в пригороде, где могла наслаждаться горной прохладой на достаточном удалении от места пребывания других делегаций. Предварительная встреча представителей западных держав состоялась накануне открытия конференции в библиотеке одной из таких вилл, которую занимала делегация США. Цель встречи заключалась в том, чтобы попытаться как-то согласовать взгляды и планы, имевшиеся у каждой из трех сторон. Первым взял слово французский премьер. Он представил развернутый план создания некоего международного органа, который должен был

аккумулировать средства, высвобождавшиеся от уменьшения военных расходов, и затем распределять среди стран «отсталых регионов». Никто так и не понял, о чем идет речь и откуда возьмутся «лишние» средства, если еще нет никаких перспектив на достижение соглашения о снижении военных расходов. Эйзенхауэр вновь высказался в пользу идеи насчет нейтрального пояса в Европе, но без особого энтузиазма, который еще больше уменьшился, когда он заметил, что слушатели нетерпеливо ерзают на своих местах, ожидая, когда же он закончит. Позиция Идена была уже достаточно хорошо известна: демилитаризованная полоса между блоками, зоны ограничения вооружений, европейский пакт безопасности. За неимением лучшего было решено начать с проекта Идена. Потом, как вспоминает тот же Макмиллан, «президент угостил нас обедом; еда была жуткая: большие куски мяса с рваными краями, а к ним в качестве гарнира — мармелад и джем. Французы были в ужасе».

Аденауэр между тем отбыл в очередной отпуск. На этот раз его сопровождала старшая дочь Рия, и отправились они в Швейцарию, в горную деревушку Мюррен. Место было выбрано не случайно. Недалеко была Женева, так что западногерманские наблюдатели, присутствовавшие на конференции, могли оперативно докладывать канцлеру обо всем, что представляло интерес; правда, добраться до места назначения им было нелегко: автомобильной дороги к Мюррену не было, и последний участок пути приходилось преодолевать на фуникулере. Зато, отпускник мог вволю насладиться чудесными видами на вершины Юнгфрау, Эйгера и Менха; погода, в общем, благоприятствовала отдыху, хотя Аденауэр, как обычно, жаловался на частые дожди.

У подножия гор, в знойной Женеве, участники конференции не могли похвастаться особыми достижениями. Советские представители в частных беседах держались подчеркнуто дружелюбно, у того же Макмиллана осталось в памяти, как они «с явным наслаждением говорили о том, что теперь им не нужно работать но ночам, как при Сталине, что у них теперь нормальный рабочий день». Однако в ходе рабочих заседаний они ни на шаг не отступали от явно заранее выработанных директив, не уступая ни буквы в своих длиннейших текстах. Что касается американской делегации, то Эйзенхауэр, как представляется, не особенно вникал в детали происходившего, а Даллес запомнился тем, что, будучи в гостях на вилле у Идена, «поедал одно за другим вареные яйца… ел и в промежутках выдавливал из себя одно-два слова, так что мы успевали забыть, с чего он начал» (это красочное описание тоже из дневника Макмиллана). У Фора было одно преимущество, которому завидовали другие, — он хорошо

знал русский язык и мог объясняться с советскими представителями без переводчика. Но и он не многого добился. В конце концов Булганин откровенно заявил, что ратификация Парижских соглашений сделала беспредметной дискуссию о воссоединении Германии, поскольку имеются два отдельных германских государства, каждое со своей собственной экономической и общественной системой. Был только один конкретный результат, заслуживающий упоминания: министрам иностранных дел было дано поручение выработать самим для себя директивы для следующей конференции, где им предстояло вновь заняться германской проблемой. Она должна была состояться осенью и пройти в той же Женеве.

Текст директивы, представленной руководителям делегаций и одобренной ими, был выдержан в обычном стиле дипломатических актов, где внешние многозначительность и помпезность скрывают убогость содержания. Там говорилось, что «главы правительств, признавая свою общую ответственность за разрешение германского вопроса и воссоединение Германии, согласились, что разрешение германского вопроса и воссоединение Германии посредством свободных выборов должно быть осуществлено в соответствии с национальными интересами германского народа и интересами европейской безопасности». Обычно это называется — наводить тень на плетень. Всем, впрочем, было ясно, что подлинного согласия достичь все равно не удастся: Советы никогда не пойдут на воссоединение Германии, если она останется в НАТО, а западные державы никогда не пойдут на такое решение германского вопроса, предварительным условием которого был бы выход ФРГ из НАТО.

Начавшаяся в октябре женевская конференция министров иностранных дел, как и предполагалось, быстро зашла в туник. Еще раньше стал проходить и аденауэровский «кошмар Потсдама». Чтобы четыре державы договорились между собой у него за спиной — такой вариант стал менее вероятным, чем когда-либо. Теперь в своем уединении посреди вершин бернского горного массива Аденауэр мог обратить свои мысли к предстоявшему ему визиту в Москву.

Подумать было о чем. Аденауэр знал очень мало о Советском Союзе и еще меньше — о его лидерах. Не знал он, и о чем, собственно, придется вести переговоры. Конечно, он представлял себе, какое наследство в национальной памяти обеих стран оставили две мировые войны и те жестокости, которыми они сопровождались.

Одна из причин, побудивших его принять предложение о поездке в Москву, была как раз связана с последствиями войны.

Речь шла о проблеме немецких военнопленных, все еще удерживаемых советской стороной. Но он, очевидно, не догадывался, что эта проблема по-своему беспокоила и советское руководство. До конца 1949 года было репатриировано около двух миллионов военнопленных; оставались те, кто получил длительные сроки заключения по приговорам советских военных трибуналов либо за совершенные ими в период войны тяжкие преступления, либо за «антисоветскую деятельность» — формула, которая зачастую означала не более чем излишне откровенные высказывания по поводу тягот лагерной жизни. Именно эта последняя категория и представляла собой проблему. После смерти Сталина советское руководство начало предпринимать определенные шаги по ее решению. Часть заключенных была амнистирована и передана властям ГДР. Оставалось еще примерно десять тысяч продолжавших отбывать свои сроки. В начале 1955 года имели место попытки завязать диалог о их судьбе с социал-демократической оппозицией, но Аденауэр, получив информацию о предварительных зондажных контактах по этому поводу, немедленно обратился к Верховным комиссарам западных держав с просьбой воспретить социал-демократическим политикам такого рода контакты. Верховные комиссары так и сделали, а социал-демократы покорно повиновались. Диалога не получилось. Впрочем, еще в июле 1955 года Центральный Комитет КПСС принял секретное решение освободить «осужденных преступников» в качестве жеста доброй воли в связи с предстоящим приездом западногерманского канцлера. Тот, разумеется, об этом не знал.

Если Аденауэр располагал минимальной информацией о Советах, то Советы имели еще меньше достоверных сведений о нем и его политическом лице. Поначалу там и не очень интересовались данными о нем, делая ставку на социал-демократическую оппозицию, но постепенно советские лидеры стали приходить к пониманию того факта, что если они хотят наладить отношения с Западной Германией, то им придется иметь дело не с кем-нибудь, а именно с Аденауэром. Корректировка ранее сложившегося представления о нем была нелегким процессом. Поначалу соответствующие характеристики носили на себе явный отпечаток сталинистских штампов. В одном из документов Советской контрольной комиссии, датированном 24 апреля 1953 года, главное, что говорится об Аденауэре, — это то, что он тесно связан «с западногерманскими монополистическими кругами», а свое лидерство в ХДС обеспечивает «путем установления террористического режима в партии, угроз, шантажа и подкупа отдельных оппозиционно

настроенных членов партии, а также усиленного рекламирования мнимых успехов (своей) политики». В другой справке, от 17 августа того же года, воспроизводится прежняя формула, правда, с исключением пассажа насчет «террористического режима», изъятием эпитета «мнимые» перед словом «успехи» и добавлением, что «подавлять внутрипартийные противоречия, рост оппозиционных настроений» Аденауэру удается еще и путем «использования своего авторитета». Шаг к более реалистической оценке личности канцлера, как видим, был сделан, но еще очень небольшой.

Тон высказываний об Аденауэре в закрытых информационных материалах советских экспертов по Германии меняется примерно с середины 1954 года. В справке, посланной из аппарата советского Верховного комиссара 6 июля, отмечается, что Аденауэр «заявил о возможности установления в недалеком будущем дипломатических отношений между СССР и Западной Германией», однако «через неделю вынужден был под прямым давлением американцев… заявить, что во. внешнеполитической позиции боннского правительства по отношению к Советскому Союзу не произошло каких-либо изменений». Здесь уже западногерманский канцлер фигурирует почти как сторонник улучшения отношений с СССР, которому-де помешали коварные американцы. В справке от 27 декабря 1954 года, носившей название «О движении за нормализацию отношений с Советским Союзом в Западной Германии», есть такой пассаж: «Слова В.М. Молотова, содержавшиеся в его речи в Берлине 6 октября с.г. о том, что имеется немало оснований к тому, чтобы отношения Советского Союза и Федеративной Республики Германии также начали развиваться на более здоровой основе, оказывают свое воздействие на широкие круги западногерманской общественности. После подписания Парижских соглашений Аденауэр заявил в Мюнхене, что, как только будут осуществлены эти соглашения, тогда, само собой разумеется, снова будет германский посол в Москве». Справка заканчивается бравурным выводом насчет того, что «наиболее дальновидные западногерманские буржуазные деятели все более убеждаются в том, что Западная Германия сможет упрочить свое положение и освободиться от кабальной зависимости от США только при наличии деловых связей и нормализации политических отношений с Советским Союзом и другими странами демократического лагеря». Аденауэр, пусть косвенным образом, также, видимо, был причислен к этой категории. Наконец, в записке от 22 января 1955 года признается, что «Аденауэр, которому с помощью средств массовой информации создана

репутация «величайшего германского политика после Бисмарка», пользуется значительным личным авторитетом среди членов и сторонников ХДС».

В Политбюро ЦК КПСС явно сочли недостаточной такую отрывочную и во многом противоречивую информацию о западногерманском лидере и поручили одному из самых авторитетных специалистов по Германии в МИДе, Валентину Фалину, написать подробный биографический очерк о нем. Подготовленный продукт его творчества поначалу представлял собой пухлый том, затем, пройдя через несколько рук, он сократился до сотни страниц и в таком виде был разослан членам Политбюро. По словам одного из них, Анастаса Микояна, он читался как детективный роман. Накануне визита в Москву прибыла представительная делегация асов западногерманской журналистики, включавшая Ганса Церера из «Ди вельт», Карла Герольда из «Франкфуртер рундшау» и Ганса-Ульриха Кемпски из «Зюддейче цейтунг». Полный отчет о беседах с ними был также послан высшему советскому руководству.

В Кремле ждали визита с определенным подъемом, в западных столицах и в ГДР — с явным неодобрением, а в Бонне по этому поводу царил самый настоящий ажиотаж. Понадобилось два лайнера «Локхид-Суперконстеллейшн», чтобы доставить официальную делегацию и сопровождавших ее лиц в Москву. Еще свыше семидесяти журналистов прибыли для освещения визита поездом. Для встречи делегации в аэропорт Внуково 8 сентября прибыли Булганин с Молотовым в сопровождении доброй половины членов Политбюро, выстроившихся в порядке, соответствующем их статусу. Почетный караул был одет в форму царской личной охраны — неизвестно, кто придумал такой маскарад, напоминавший сцену из какой-то старой оперетки. Эккардт в своих мемуарах охарактеризовал событие как «путешествие в незнаемое», и это вряд ли можно назвать преувеличением.

Аденауэр отнесся к подбору членов делегации самым тщательным образом. Он включил в нее не только министров своего кабинета, но и председателя и вице-председателя внешнеполитической комиссии бундестага — Курта-Георга Кизингера (ХДС) и Карло Шмида (СДПГ), а также председателя соответствующей комиссии бундесрата Карла Арнольда; всех их сопровождал штат советников и экспертов. Таким образом он явно пытался избежать обвинения в единоличном и узкопартийном подходе к серьезной внешнеполитической инициативе, исход которой заранее невозможно было предугадать. Делегацию разместили в гостинице «Советская»; по

московским стандартам это было нечто запредельно роскошное, однако руководитель политического департамента МИДа ФРГ Вильгельм Греве отозвался о предоставленной делегации резиденции как об «отеле среднего класса, с уровнем комфорта прошлого века и обстановкой под вкус мелкого буржуа». Поезд с журналистами, проехавший пол-Европы, был поставлен на запасной путь невдалеке от Курского вокзала; нельзя сказать, чтобы это было идеальное прибежище для представителей прессы, но главное его назначение было в ином: там, в специально оборудованном против прослушивания вагоне, разместился рабочий штаб делегации с радио- и телефонным узлом связи, машбюро и т.д.; кроме того, к поезду был прицеплен вагон-ресторан, где немецкие гости могли вкушать родную и привычную им пищу.

Переговоры шли шесть дней. Начались они с грандиозного приема, устроенного в честь делегации в первый день ее пребывания на московской земле. Утром гостей ожидал сверхплотный завтрак; на столах красовались огромные судки с икрой. Каждый день после окончания заседаний следовал банкет, потом, после небольшого перерыва — либо еще один ужин, либо посещение Большого театра. Естественно, все это сопровождалось обильными возлияниями, и одной из обязанностей Глобке было снабжать членов делегации перед приемами доброй дозой растительного масла в качестве средства против быстрого опьянения. Аденауэр, кстати, заметил, что сами хозяева вместо водки пьют минеральную воду, и начал настаивать на соблюдении принципа равенства сторон.

В целом, если подходить к оценке переговоров с точки зрения формальных критериев, единственным их результатом было установление дипломатических отношений и обмен послами. Было много длинных и бессвязных речей и пара-другая драматических сцен; во время одной из таковых Хрущев замахнулся на Аденауэра кулаком, а тот ответил столь же красноречивым жестом. Удивительно, что проблема, о которой Аденауэр говорил как о главной цели своего визита — репатриация немецких военнопленных, — почти не упоминалась в ходе официальных бесед. Когда она была затронута, Булганин отрезал: никаких военнопленных в Советском Союзе нет; остались только обычные преступники, получившие от советского правосудия то, что они вполне заслужили. Лишь в самый последний день пребывания западногерманской делегации в СССР на заключительном приеме в Кремле тот же Булганин «неожиданно и как будто движимый каким-то внутренним импульсом» подошел к Аденауэру и предложил ему сделку: пусть

Аденауэр напишет ему официальное письмо с просьбой об установлении дипломатических отношений, и тогда «мы отдадим их вам всех — всех до единого! В недельный срок! Даю вам честное слово!» Сцена была, мягко говоря, странная, и многие бывшие ее свидетелями заключили, что Булганину явно не помешало бы до приема выпить растительного масла но рецепту Глобке. На самом деле, как мы знаем, освобождение «военных преступников» было для советской стороны уже решенным делом, и речь шла лишь о выборе наиболее подходящего момента, чтобы выбросить на стол эту козырную карту.

По возвращении в Бонн Аденауэра встретил смешанный хор апологетов и критиков. Сообщение о скором прибытии последних пленников прошлой войны было воспринято с восторгом, однако слышались и голоса сомневающихся: разумно ли поступил канцлер, положившись всего лишь на «честное слово» советского премьера? Западные союзники были крайне недовольны: пойдя на установление дипломатических отношений с Советами, Аденауэр фактически признал необратимость раскола Германии — по меньшей мере на ближайшее обозримое будущее. В немецкой прессе этот тезис выражался проще и острее: Аденауэр просто-напросто «сдал» восточных немцев.

Окружение канцлера придумало контрманевр. Уже на борту возвращавшегося из Москвы лайнера с делегацией были намечены контуры того, что получило впоследствии название «доктрины Хальштейна». Речь шла о том, что наличие в одной и той же столице — Москве — двух немецких дипломатических представительств — ФРГ и ГДР — это исключение из общего правила, исключение, отражающее тот факт, что Советский Союз является одной из великих держав-победительниц, несущих на. себе ответственность за «Германию в целом»; это ничего не меняет в правовой позиции западногерманской стороны, согласно которой только ФРГ является единственным законным немецким государством, представляющим интересы и волю всех немцев; ФРГ не будет признавать никакие другие государства, имеющие дипломатические отношения с «восточнозональным режимом»; любое государство, которое в будущем вознамерится установить такие отношения, будут ожидать «серьезные последствия».

Ответ советской стороны был вполне предсказуем: через неделю после отлета из Москвы аденауэровской команды между СССР и ГДР был заключен договор, согласно которому дипломатические миссии обеих стран преобразовывались в посольства. Таким образом, в Москве оказывались не просто представительства двух германских государств, а представительства на одном и том же уровне — уровне посольств,

максимально высоком по дипломатическому ранжиру. Претензия ФРГ на «единоличное представительство» еще больше обнаружила свою необоснованность и нереалистичность. Аденауэр воспринял это довольно спокойно, для него главное было быть в центре общественного внимания; хвалят его при этом или ругают — это было уже на втором плане.

В начале октября 1955 года первые эшелоны репатриантов из СССР стали прибывать в транзитный лагерь близ Касселя. К концу месяца этот поток неожиданно иссяк. Пресса злорадствовала: вот она — цена «честного слова» Булганина, вот она — мера наивности Аденауэра. В начале декабря с советской стороны пришло пояснение: дальнейшая репатриация будет приостановлена, пока не будут возвращены советские граждане, якобы насильственно удерживаемые в Западной Германии. Это была для канцлера весьма неприятная новость. В качестве жеста доброй воли он решил освободить группу русских — всего тридцать один человек, которые отбывали тюремное заключение на территории ФРГ; что касается остальных, то он четко заявил, что они находятся под защитой Организации Объединенных Наций и не могут быть лишены права оставаться в ФРГ либо выехать за ее пределы, но исключительно по собственному желанию. Дело грозило зайти в тупик, но тут русские, трудно понять по какой причине, вновь сменили свою тактику. К Рождеству прибытие эшелонов с репатриантами возобновилось. К концу января 1956 года процесс возвращения бывших немецких военнопленных из СССР завершился.

Между тем Аденауэра подстерегали новые проблемы. Одна была личной, другая — политической. Первая заключалась в неожиданном ухудшении состояния здоровья. Из Москвы он вернулся с сильной простудой, которая неожиданно перешла в острое двустороннее воспаление легких. С 7 октября но 23 ноября он был прикован к постели; ре-жим у него был домашний, однако врачи установили круглосуточное наблюдение за ним в его рендорфском доме. Посещения больного были резко ограничены; более или менее регулярно у его постели появлялся один только Глобке; министров и даже вице-канцлера Франца Блюхера к нему не допускали, о чем пациент, впрочем, отнюдь не сожалел.

Одним из следствий его болезни стали нескончаемые спекуляции насчет того, что судьба Федеративной Республики находится в слабеющих руках больного и дряхлого старика, что дальше так не может продолжаться и т.д. и т.п.

В прессе и на радио развернулась дискуссия по поводу предполагаемой даты отставки либо кончины канцлера и возможных кандидатур его преемника. В дискуссию оказались

вовлечены даже министры его кабинета. Только к середине ноября, когда его здоровье пошло на поправку, сплетни и слухи стали постепенно утихать. Аденауэр, конечно же, взял на заметку тех из своих коллег, которые принимали участие в их распространении.

Политическая проблема возникла вновь из-за Саара. В октябре там прошел плебисцит по поводу принятия статута, предусматривавшего «европеизацию» этого региона. Официально Бонн призывал саарландцев проголосовать «за», однако две трети принявших участие в опросе проголосовали «против» и тем самым за вхождение в состав ФРГ. Это был результат, которого Аденауэр никак не хотел и не ждал. В лучшем случае это означало долгие и нудные переговоры с французами на предмет поисков нового решения вопроса о будущем Саара, в худшем — кризис в отношениях между обеими странами и соответственно отказ от проектов «Евратома» и ЕЭС.

Болезнь и неожиданное осложнение отношений с Францией усилили в Аденауэре свойственные ему всегда черты подозрительности и мизантропии. С председателем СвДП Томасом Делером он почти перестал разговаривать, еще меньше он стал доверять Штраусу, о Брентано почти что во всеуслышание отзывался как о слабом и неэффективном министре, о Шеффере — как о человеке, вечно срывающем его планы; он начал критиковать Эрхарда за недопустимый и бездумный либерализм его экономической политики; в число не справляющихся со своими министерскими обязанностями попал и Теодор Бланк.

По правде говоря, многое в этой критике, если отвлечься от формы, в которую она выливалась, соответствовало действительности. Брентано на самом деле был слаб и не подходил для столь важного поста — министра иностранных дел, Шеффер как министр финансов тоже зачастую занимал обструкционистскую позицию. Не очень впечатлял и Бланк на посту министра обороны. Программа перевооружения, которую он курировал, сильно отставала от графика. К январю 1956 года под ружьем должно было быть сто тысяч солдат и офицеров, фактически едва-едва набралась тысяча. В их распоряжении для обучения имелся всего один-единственный танк французского производства. Обмундированы они были кое-как, а жалованье получали намного меньшее, чем в гражданском секторе. Когда Аденауэр спустя две недели после того, как был пышно отпразднован его восьмидесятилетний юбилей, посетил первый учебный батальон бундесвера в Андернахе, перед ним предстала не особенно вдохновляющая картина: плац был окутан густым рейнским туманом, с которым почти сливались грязно-серые

шеренги выстроившихся солдат, на флагштоке болталась какая-то мокрая тряпка, мало похожая на государственный флаг; было такое ощущение, что гости съехались на похороны, а не для того, чтобы отметить день рождения новой армии. Аденауэр надеялся, что она превзойдет старый вермахт (кстати, он употреблял именно это традиционное название вместо нового «бундесвер»), но об этом и речи быть не могло.

Февраль 1956 года принес новые огорчения, замедлившие процесс выздоровления канцлера. Во Франции к власти пришли социалисты во главе с Ги Молле и начали проводить агитацию за разоружение. К ним присоединились и англичане; в Париже и Лондоне начали курсировать планы «разъединения» армий противостоящих блоков и сокращения их численности. Как позднее охарактеризовал эту ситуацию Аденауэр в своих мемуарах, «французы и англичане требовали разоружения, а перед нами в Федеративной Республике стояла прямо противоположная задача — вооружаться». Особое раздражение у канцлера вызывала политика Великобритании: англичане не только запросили у Западной Германии финансовую помощь для содержания своей рейнской армии, что, Аденауэр счел невероятной наглостью, но и выдвинули программу сокращения численности собственных вооруженных сил до 650 тысяч человек и установления потолков для армий прочих европейских стран, включая ФРГ, на уровне, не превышающем 150–200 тысяч. Как это сформулировал Бланкенхорн в своем меморандуме от 27 апреля 1956 года, Федеративная Республика в случае осуществления этих планов была бы обречена на статус «третьеразрядной державы». Неудивительно, что Аденауэр в этой обстановке не скупился на негативные оценки ведущих государственных деятелей Запада: Кристиан Пино, министр иностранных дел в правительстве Ги Молле, но его мнению, хочет снискать себе лавры «посредника между Востоком и Западом» и, стало быть, крайне ненадежен; Иден проявляет непростительные колебания; Даллес на его вкус оказался слишком «мягким», Аденауэр даже заподозрил его в намерении в удобный момент «сдать» западногерманского союзника.

Лечащие врачи, не удовлетворенные тем, как медленно идет у Аденауэра процесс выздоровления, настаивали на том, чтобы он немедленно взял отпуск; он уже почти согласился, но тут разразился неожиданный правительственный кризис в земле Северный Рейн-Вестфалия. 21 февраля 1956 года группа молодых депутатов ландтага от СвДП организовала вотум недоверия руководимому ХДС правительству Карла Арнольда; к власти в земле пришла коалиция свободных демократов и социал-

демократов. Событие было экстраординарное, и оно имело далеко идущие последствия на федеральном уровне.

23 февраля четверо министров от СвДП, представленных в аденауэровском кабинете, объявили о выходе из партии в знак протеста против того, что руководство свободных демократов санкционировало создание социал-либеральной коалиции в крупнейшей земле ФРГ. Они занялись организацией своей собственной партии, которая получила название «Свободной народной партии» (СНП). Из этой затеи, однако, ничего не вышло; их обвинили в том, что ради сохранения министерских постов они готовы на полную капитуляцию перед ХДС/ХСС; подавляющее большинство депутатов фракции СвДП в бундестаге (36 из 52) проголосовали за выход из правящей коалиции и переход в оппозицию.

Прямой угрозы канцлерству Аденауэра эти изменения в соотношении сил в парламенте не представляли: он располагал там большинством и без голосов мятежников из СвДП. Однако всего полтора года оставалось до новых выборов в бундестаг, и они могли принести с собой повторение дюссельдорфского прецедента на федеральном уровне. Реакция Аденауэра была предсказуемой: надо так организовать избирательную кампанию, чтобы она принесла решительную победу блоку ХДС/ХСС. Как писал Генрих Кроне, старый сподвижник Аденауэра, тот «никогда особенно не церемонился в выборе средств для поставленных им целей». В данном случае первое, что предпринял канцлер еще до дюссельдорфского переворота, — это вновь поставил вопрос об избирательной реформе; на это раз он выдвинул схему «полупропорциональной» системы, которая сильнее всего ударила бы по небольшим партиям, в частности, по свободным демократам. Однако лидер последних, Томас Делер, был достаточно проницательным политиком, чтобы раскусить суть аденауэровского плана; последовала страшная свара; впрочем, даже и среди христианских демократов имелись сомнения насчет мотивов, которые преследовал их лидер. Аденауэр вынужден был пойти на понятную; в конце февраля он предпринял попытку наладить контакт с Делером и оживить коалицию, но из этого ничего не получилось. Вновь стали раздаваться голоса о том, что Аденауэру пора уходить на покой.

Он так и сделал: в конце марта ушел, но не насовсем, а в рекомендованный ему врачами отпуск, который стал не самым лучшим из тех, что у него были в прошлом и что ожидали его в будущем. Эскулапы наложили вето на швейцарское высокогорье: еще не оправившиеся от воспаления легкие могли не выдержать разреженного горного воздуха. Аденауэру пришлось отправиться

в Тичино, а затем — в соседнюю Аскону. Погода в конце марта была дождливой, мешали докучливые посетители (в частности, с ним захотели встретиться члены местного муниципалитета), единственным желанным гостем был только Пфердменгес. Аденауэра раздражали приставленные к нему и неотлучно сопровождавшие его два охранника, и плохое настроение отдыхающего не могло улучшить даже общество Либет, покорно исполнявшей роль дежурной компаньонки любимого папочки.

В конце апреля он вернулся в Бонн с таким чувством, будто вовсе и не отдыхал, а настоящий отдых только впереди. Его ждали неплохие новости: за то время, пока он был в отъезде, голоса фрондеров приумолкли, а образованный в Мессине комитет под руководством Сиаака достиг немалого прогресса: были выработаны директивы для ведения переговоров о создании ЕЭС, которые теперь подлежали утверждению национальными парламентами «шестерки». Во Франции они были встречены, правда, бурными протестами, а в самой ФРГ оппозицию планам ЕЭС возглавил не кто иной, как министр экономики Эрхард, но мнению которого их реализация приведет лишь к бесконтрольному разрастанию евробюрократии; однако бундестаг на удивление быстро, всего после двух часов дебатов, принял рекомендации «комитета Спаака». Моннэ заранее сумел убедить социал-демократов, что европейская интеграция — вещь необходимая для достижения безопасности и стабильности, так что Аденауэр мог позволить себе ограничиться довольно короткой — но его меркам — речью в защиту нового проекта.

Тем не менее настроение у него не улучшалось. Из записи в дневнике Кроне от 14 мая 1956 года мы узнаем, что канцлер в это время «впервые стал высказываться в том духе, что он часто ощущает усталость и вообще сыт но горло своей должностью и своей работой». Возможно, его нервировали результаты опросов общественного мнения, которые показывали устойчивую тенденцию к падению его рейтинга. Причины были очевидны: чтобы обеспечить запланированный рост бундесвера, правительство ввело всеобщую воинскую повинность, что, мягко говоря, не добавило ему популярности. Чтобы успокоить социал-демократов дома и общественное мнение за рубежом, срок службы был снижен с предусматривавшихся первоначально восемнадцати месяцев до двенадцати, но это мало помогло. Вдобавок серьезно заболел министр обороны Бланк; к моменту, когда дебаты в бундестаге по вопросу о воинской повинности подходили к концу, он был почти на грани жизни и смерти.

Реорганизация кабинета представлялась неизбежной, но тут вмешался Штраус со свойственной ему бесцеремонностью и все

испортил. 10 июля он добился аудиенции у канцлера, где без обиняков выложил карты на стол: планы развития бундесвера основывались на ошибочных расчетах; полмиллиона солдат и офицеров — это цифра из области фантастики; будет хорошо, если в среднесрочной перспективе удастся набрать сто тысяч; на больший контингент нет ни обмундирования, ни вооружения, ни казарм, ни полигонов; Бланк вообще банкрот, единственный выход — назначить на пост министра обороны его, Штрауса.

Такая наглость буквально взбесила Аденауэра. «Герр Штраус, — заявил он холодно-ядовитым тоном, — я вас выслушал. Теперь послушайте вы меня: пока я буду оставаться канцлером, вы никогда не будете министром обороны». Можно было бы усомниться в точности передачи слов канцлера, но их приводит в своих мемуарах как раз сам тогдашний его собеседник — Франц-Йозеф Штраус. Печальная истина состоит в том, что ни один из этих политиков не уступал другому в интенсивности чувств вражды и недоверия, которые они испытывали друг к другу. Говорили, что Штраус отзывался об Аденауэре (разумеется, за глаза) даже еще в более грубой форме, чем тот о нем, но это спорный вопрос. Как бы то ни было, демарш Штрауса привел к тому, что вопрос о реорганизации правительства был на время снят с повестки дня.

На очереди был острый конфликт с американцами. 13 июля Аденауэр ознакомился с планом начальника Объединенного комитета начальников штабов США, адмирала Артура Рэдфорда, предусматривающим сокращение численности вооруженных сил США на 800 тысяч человек, которому должно было сопутствовать соответствующее усиление «ядерного меча». Получалась оригинальная картина: правительство ФРГ не жалеет усилий, чтобы пробить в бундестаге концепцию массовой сухопутной армии как необходимого элемента для «обороны Европы», а теперь американцы объявляют эту концепцию «устаревшей». В «плане Рэдфорда» имелся и еще один неприятный аспект, который не остался тайной для западногерманской прессы (а если бы остался таковой, то ее быстро помогла бы раскрыть советская пропаганда): его реализация означала, что первой жертвой ядерного пожара в Европе предназначено стать немецкому гражданскому населению.

22 июля, перед тем как уехать в очередной отпуск в Бюлерхоэ, Аденауэр отправил Даллесу длинное послание с критикой «плана Рэдфорда». Помимо деловых аргументов, там содержались многочисленные апелляции к чувствам американского госсекретаря как христианина. Характерна в этом отношении была концовка письма: «Я еще раз повторяю: такая

политика несовместима с принципами христианства и гуманизма… Я молю Бога, чтобы он наставил и направил Вас на путь истинный». Ответ Даллеса был выдержан в духе заверений о том, что США не замышляют ничего, что могло бы повредить европейцам; он, Даллес, пишет об этом Аденауэру как «друг своему ближайшему другу». Однако сомнений Аденауэра это не рассеяло. Вернувшись в конце августа в Рендорф, он все еще пребывал в мрачном настроении. Когда спустя две недели его посетил министр авиации США Дональд Кворлс и пустился в объяснения по поводу предназначения бундесвера: мол, главная его задача состоит в том, чтобы противостоять проникновению «партизанских отрядов из восточной зоны», — реакция канцлера была однозначно категоричной; по его мнению, такого рода стратегия означает «конец НАТО».

Повороты и зигзаги американской политики побуждали Аденауэра с тем большим энтузиазмом выступать за «Евратом». Учитывая возможность ухода американцев из Европы, «Евратом» становится необходимой опорой для обеспечения обороноспособности Западной Германии — именно таков был главный аргумент Аденауэра, с помощью которого он убеждал и в конечном счете убедил Эрхарда, за которым в этом вопросе шло большинство кабинета, снять возражения против данного проекта. Впрочем, помимо этой аргументации, Аденауэр пошел и на определенные тактические уступки. К их число относился отказ от прежних планов построения «Соединенных Штатов Европы», которые были глубоко чужды Эрхарду; последний не имел ничего против создания зоны свободной торговли, однако идея создания неких федеральных структур в Европе представлялась ему шагом к суперкартелизации европейской промышленности и развитию громоздкого и ненужного бюрократического аппарата.

Отход Аденауэра от концепции «Соединенных Штатов Европы» начался с речи, которую он произнес 25 сентября 1956 года на конференции европейских католиков в Брюсселе. В ней содержалось заявление о том, что задача первого этапа европейской интеграции успешно выполнена: возможность нового военного конфликта между западноевропейцами отныне навсегда исключена. Отныне сторонникам интеграции следует проявлять максимум гибкости, избегать жестких схем. Не следует, в частности, создавать наднациональные институты: они могут стать «удушающими барьерами». Поясняя свою мысль, он указал на то, что такие институты могут отпугнуть новых потенциальных членов интегрируемой Европы; между тем, «коль скоро начало положено, нельзя проявлять колебаний в процессе расширения и

увеличения». Короче, это была речь, которая вполне устроила Эрхарда и прочих адвокатов «свободного рынка», но стала большим разочарованием для тех, кто выступал за более глубокую интеграцию, — Моннэ, Хальштейна и им подобных.

Однако тактический ход Аденауэра оказался удачным. На заседании кабинета, состоявшемся вскоре после его возвращения из Брюсселя, он легко отбил доводы противников «Евратома». Свой основной контрдовод он сформулировал с похвальной откровенностью: «Германия не может навсегда оставаться ядерным протекторатом». На другом заседании кабинета он пошел еще дальше, пояснив, что «Евратом» даст Западной Германии доступ к такой технологии, которая позволит ей быстро наладить производство ядерных боеголовок. В протоколе заседания так прямо и зафиксированы его слова: «В долгосрочной перспективе заключение договора о «Евратоме» даст нам шанс самым естественным образом создать собственное ядерное оружие. Сейчас французы нас в этой сфере опережают». Высказывая эти мысли, канцлер как будто забыл о том, что еще на конференции «девятки» в Лондоне осенью 1954 года торжественно заявил об отказе от производства ядерного оружия и только благодаря этому Федеративная Республика обрела свой суверенитет. Впрочем, не совсем забыл: он попытался доказать, что это было не безусловное обязательство, а такое, к которому применима «оговорка изменившихся обстоятельств», что якобы сам Даллес подсказал ему эту мысль — мол, в каком-то гипотетическом будущем, при новых условиях запрет на производство ядерного оружия в ФРГ вполне может быть снят. Никто из присутствовавших во время беседы Аденауэра с американским госсекретарем не слышал от последнего ничего подобного, однако канцлер упорно до конца жизни продолжал муссировать эту версию.

В общем, для Аденауэра все было ясно и просто: бундесвер должен быть оснащен ядерным оружием, единственный путь к этому — через «Евратом», но поскольку создание «Евратома» завязано в один пакет с созданием ЕЭС, то пусть будет ЕЭС — даже на условиях Эрхарда.

Внешние обстоятельства благоприятствовали планам канцлера. В октябре началась революция в Венгрии. На улицах венгерских городов появились цветы, венгры впервые за много лет получили возможность свободно выражать свои мысли и чувства. Однако 2 ноября освободительное движение было жестоко подавлено советскими танками, что вызвало бурю возмущения на Западе как в правительственных кругах, так и на уровне широких масс населения. Начались даже разговоры о том,

что Запад должен вмешаться; появилось много добровольцев, которые отправлялись на венгеро-австрийскую границу, чтобы помочь спасавшимся от преследования советских властей венграм.

Одновременно с венгерским разразился ближневосточный кризис. Египетское правительство национализировало Суэцкий канал, на что англичане и французы в сговоре с израильтянами ответили вооруженной акцией, направленной на то, чтобы восстановить свои права собственности на канал.

В этой ситуации резкого обострения международной обстановки чисто экономические аргументы Эрхарда отступали на задний план в сравнении с политическими о необходимости объединения Европы. 3 ноября 1956 года Аденауэр получил от кабинета карт-бланш на ведение в Париже переговоров но планам «Евратома» и ЕЭС.

К этому времени была уже завершена и долгожданная реорганизация правительства. Основные решения пришлись на начало октября. С четырьмя министрами от СНП проблем не было. Канцлеру уже изрядно надоел бессменный министр финансов Шеффер, но трогать его было опасно: за ним стоял партнер по коалиции — баварский ХСС. Те же соображения мешали избавиться от Антона Шторха, занимавшего пост министра по делам занятости и социальным вопросам: его активно поддерживали профсоюзы. Только с министром обороны все было ясно: Бланка надо было менять. На кого? Явной кандидатурой был Штраус, но ему, напомним, совсем недавно был дан резкий отвод. Наконец Аденауэр решился: 10 октября во изменение своей прежней позиции он предложил пост Штраусу. Тот не сразу согласился: не мог простить июльского унижения. Аденауэр использовал все свое обаяние, чтобы заставить честолюбивого баварца забыть старые обиды. «Герр Штраус, старики вроде меня редко меняют свое мнение, а я вот изменил, и вы должны оценить этот факт по достоинству», — заявил он с обезоруживающей откровенностью. Что тут можно было сказать? Штраус принял капитуляцию канцлера и вошел в его кабинет.

Вечером 5 ноября Аденауэр поездом выехал в Париж для решающих переговоров с правительством Ги Молле о «Евратоме» и ЕЭС. Это был не самый удачный день для путешествий. Утром британские и французские парашютисты высадились в районе Порт-Саида, позже был выброшен морской десант, с востока в глубь египетской территории продолжали продвигаться израильтяне. Поезд с Аденауэром уже пересекал равнины Северной Франции, когда радио принесло свежую новость: Советы пригрозили ракетным ударом по Лондону и Парижу в

случае, если вторжение немедленно не прекратится. Поезд со скрежетом остановился. Разбуженный Аденауэр связался с западногерманским послом в Париже, чтобы выяснить обстановку: может быть, французским министрам не до него и лучше прервать визит и вернуться домой? Напротив, заверил его посол, визитера ждут с нетерпением.

Рано утром 6 ноября, простояв несколько часов на путях перед въездом в Париж (никто из пассажиров, естественно, не сомкнул глаз), поезд вновь тронулся и в 8 часов утра прибыл на Восточный вокзал. К вящему удивлению Аденауэра, встречать его собрался на перроне весь совет министров в полном составе; министры выглядели еще более усталыми и измученными, чем он сам: они заседали всю ночь. Встреча была теплой и дружественной. Французам нужны были друзья: англичане под давлением американцев уже начали колебаться, выражая готовность принять резолюцию ООН о прекращении огня. Сыграли оба гимна — «Песню немцев» и «Марсельезу». Бывшие враги стояли рядом, сплоченные сознанием общей угрозы.

Неудивительно, что в такой атмосфере последние еще не решенные вопросы относительно ЕЭС и «Евратома» были сняты и переговоры быстро закончились достижением полного согласия по всем пунктам. Отношения Аденауэра с Ги Молле, которые уже начали улучшаться после того, как французское правительство признало новый статус Саара как одиннадцатой земли ФРГ (тут помогли обещания крупных вложений западногерманского капитала во французскую экономику), теперь приобрели характер почти идиллических. Покидая Париж, западногерманский канцлер был преисполнен уверенности, что «Евратом» и ЕЭС вскоре станут реальностью/ Его ядерные амбиции еще более возросли после того, как декабрьская сессия военного комитета НАТО приняла решение, что двенадцать западногерманских дивизий будут обучаться для ведения войны с применением ядерного оружия. Директива НАТО оставляла, правда, без ответа вопрос о том, кто обеспечит ядерный компонент для бундесвера — молчаливо предполагалось, что это будут США, — но, с точки зрения Аденауэра, тем самым фактически для западных немцев открывался доступ к ядерной кнопке.

Теперь можно было подумать и об очередной избирательной кампании. Выборы были намечены на сентябрь 1957 года. Состояние экономики не внушало опасений, и это было сильнейшим козырем правительственного блока. С 1953 года были достигнуты устойчивые темны: прирост национального продукта — в среднем 7% в год, к 1955 году положительное сальдо платежного баланса выросло до трех с лишним

миллиардов марок; немалую роль играл при этом постоянный приток молодых, квалифицированных и хорошо образованных кадров из ГДР. Тем не менее, Аденауэр считал, что этого недостаточно для решительной победы; особых возможностей для привлекательных внешнеполитических инициатив не было, избирательный закон тоже быстро не поменяешь, оставалось придумать какой-нибудь щедрый подарок для электората.

Соответствующее направление быстро нашлось — это была пенсионная реформа. В принципе идея о том, что новообретенное благосостояние должно коснуться не только тех, кто непосредственно занят в производстве, но и тех, кто уже перешел в категорию иждивенцев общества, вполне сочеталась с принципами политической философии Аденауэра и тех папских энциклик, которые он штудировал два десятка лет тому назад в монастыре Мария Лаах. СДПГ и Объединение немецких профсоюзов предлагали ввести накопительную систему образования пенсионного фонда, согласно которой каждый работник в старости фактически получил бы обратно то, что он отчислял из своего трудового дохода. ХДС выступила за привязку уровня пенсий к существующему уровню национального дохода, и, поскольку этот доход в последние годы возрос, пенсионеры получали по этой схеме солидную прибавку. Неудивительно, что закон о пенсиях, принятый на основе проекта ХДС весной 1957 года, был встречен населением буквально на ура. Аденауэр вдобавок распорядился, чтобы все пенсии, полученные с 1 января 1957 года, были пересчитаны в соответствии с новым законом; в результате все пенсионеры получили существенные прибавки. Это еще больше повысило популярность реформы и, разумеется, осуществившего ее правительства. Единственным, кто выразил обоснованное сомнение в приемлемости нового законодательства, был все тот же министр финансов Шеффер, отметивший, что со временем предусмотренная система образования пенсионного фонда приведет к государственному банкротству. Аденауэр отмахнулся от его предупреждений. На заседании правления ХДС он просто заявил, что «герр Шеффер хотя и министр, но в политике совершенно не разбирается».

Канцлер, разумеется, в политике разбирался достаточно хорошо: после принятия пенсионной реформы его рейтинг резко подскочил. Избирательная кампания, казалось, была выиграна еще до того, как началась. Но тут произошла осечка. На пресс-конференции 5 апреля Аденауэру был задан вопрос о том, планирует ли он оснастить бундесвер ядерным оружием. Он ответил без обиняков: «Тактическое атомное оружие — это в принципе не что иное, как новый вид артиллерии… Мы,

безусловно, не можем обойтись без него для наших вооруженных сил… Мы должны иметь эти новые тины оружия, которое представляет собой вполне нормальное, обычное оружие».

До этого момента Аденауэр всегда говорил о том, что бундесвер будет располагать исключительно обычными вооружениями; упомянутая выше директива НАТО от декабря 1956 года носила строго секретный характер. Теперь он выпустил кота из мешка: оказывается, грань между ядерными и обычными вооружениями вообще в его понимании стерта и носители ядерных боеголовок — это просто усовершенствованный вид артиллерии.

Последовал громкий политический скандал. Сильнее всего репутации Аденауэра повредили не атаки со стороны социал-демократов — их можно был предвидеть, а неожиданный залп из обители чистой науки, каковой всегда по праву считался Геттингенский университет. 12 апреля 1957 года восемнадцать видных физиков, в их числе четверо лауреатов Нобелевской премии, все — сотрудники геттингенского Института теоретической физики имени Макса Планка, выступили с документом, который вошел в историю как «Геттингенский манифест». Главным его автором был физик-ядерщик, профессор Карл-Фридрих Вейцзеккер, и основное содержание манифеста было ясно и просто изложено в двух фразах: «Мы считаем, что наилучшая гарантия безопасности для такой небольшой страны, какой является Федеративная Республика, и наибольший вклад в дело мира во всем мире, который она может внести, заключается в четко выраженном добровольном отказе от обладания ядерным оружием любого вида. Нижеподписавшиеся ни при каких условиях не будут принимать участия в работах, целью которых является производство, испытание или использование атомного оружия».

Поначалу Аденауэр попытался просто-напросто отмахнуться от этого документа. Пресса не позволила ему этого. Все громче становились обвинения в адрес канцлера в том, что он вообще не представляет себе последствий, которые бы имела ядерная война на территории Германии. Вся тщательно выстроенная стратегия избирательной кампании оказалась под угрозой. Аденауэр был вынужден сменить тактику. Пятеро из восемнадцати подписавших манифест были приглашены в Бонн на аудиенцию с канцлером. Встреча длилась семь часов, и результатом ее было официальное коммюнике, где говорилось, в частности, что «Федеративная Республика не производит и не намерена производить собственное ядерное оружие, вследствие чего у федерального правительства нет оснований требовать от немецких физиков

участия в работах по созданию ядерного оружия». По сути, это был уход от главной темы «Геттингенского манифеста»: Аденауэру было важно просто потянуть время. Скандал тем не менее набирал силу: в конце апреля жесткую ноту прислали Советы, апогей был достигнут в мае, когда собралась очередная сессия НАТО. Постепенно, однако, интенсивность атак на Аденауэра стала спадать. По его собственному меткому замечанию, если речь шла о «бомбе», которая должна была подорвать его позиции в электорате, то она была взорвана слишком рано: до выборов было еще далеко.

Как всегда перед трудным испытанием, канцлер взял отпуск; вернувшись окрепшим и поздоровевшим (о том, как он этого добивался, чуть позже), Аденауэр вновь выступил в роли записного партийного оратора-пропагандиста. «Главный вопрос, который призваны решить выборы: останутся ли Германия и Европа в лоне христианства, или станут коммунистическими?» — эти слова как рефрен переходили из одной его речи в другую. Естественно, он вовсю расписывал достижения правительства, особенно пенсионную реформу, и, конечно, многих привлекал лозунг «Никаких экспериментов». Эриха Олленхауэра, лидера СДПГ, он вообще не считал серьезным политиком. Все стены были обклеены плакатами с портретом загорелого и бодрого канцлера со взглядом, устремленным в светлое будущее. То, что на плакате он выглядел лет на двадцать моложе своего возраста, было, конечно, заслугой искусного ретушера. Но не только.

Когда его спрашивали, как он сумел так сохраниться, откуда в нем такая энергия, которой не могли похвастаться и многие молодые, Аденауэр обычно отвечал, что все дело в хорошей наследственности, здоровом воспитании и умеренности в образе жизни. Это все было для публики. Чего она не знала и не должна была знать, это того факта, что по рекомендации врачей он несколько раз проходил курс лечения в одной из швейцарских клиник в пригороде Монтре инъекциями зародышевых клеток. Во всяком случае, главный врач этой клиники на запрос автора этих строк ответил, что фамилия Аденауэра несколько раз встречается в списке ее пациентов.

Детали курса лечения до сих нор держатся в тайне; известно лишь, что исходным материалом для инъекций служат зародыши козы или коровы; между извлечением их из тела животного и введением в кровь пациента не должно пройти более получаса; всего требуется четыре инъекции, так что срок пребывания в клинике минимальный. Этот курс омолаживает иммунную систему человеческого организма и сглаживает внешние признаки старения.

Зародышевая терапия, по-видимому, сыграла свою роль в создании имиджа Аденауэра как человека, который неподвластен возрасту и болезням. А этот имидж, в свою очередь, помогал ему обыгрывать своих конкурентов на выборах. Так случилось и в 1957 году. Блок ХДС/ХСС победил в 55% избирательных округов, набрав 50,2% голосов избирателей, пришедших к урнам. Это был первый случай в истории ФРГ, когда одна партия получала абсолютное большинство мест в бундестаге. Утешением для СДПГ было то обстоятельство, что она впервые преодолела 30-процентный барьер, получив 31,8% голосов. Главными пострадавшими стали свободные демократы, чей электорат уменьшился до 7,7%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентного барьера.

Аденауэр победил, причем именно так, как хотел, — самым недвусмысленным и убедительным образом. В свои почти восемьдесят два года он стал чем-то вроде некоронованного короля Германии. 1957 год был для него удачным и в другом отношении. Он нашел наконец постоянное место для отдохновения от трудов праведных: скитаясь весной но озерам Северной Италии от одной легочной клиники к другой, он открыл для себя маленькую деревушку Канденаббия, расположенную на берегу озеро Комо, открыл и сразу влюбился в нее.

ГЛАВА 10.
НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ГЕНЕРАЛ

«Я был уверен, что мы с де Голлем наладить хорошее и доверительное сотрудничество»[40]

Канденаббия ныне представляет собой обычное курортное местечко на западном берегу сильно загрязненного озера (собственно говоря, там два озера — Комо и Тримеццо, граница между которыми чисто условна). В административном отношении это все еще деревня, входящая в приход Грианте, но фактически она давно превратилась в небольшой городок: дорогие отели, паромы для любознательных туристов, желающих исследовать побережье, пляжи, где в летнее время буквально яблоку негде упасть между телами жарящихся на солнце отдыхающих. На окружающих озеро холмах — виллы с заросшими деревьями обширными участками для более состоятельных и жаждущих уединения, главным образом это бизнесмены из Милана, снимающие там стресс в уик-энды или в период временного летнего спада деловой активности. Короче говоря, место, каких немало в современной, Италии с ее развитой индустрией туризма.

Однако и ныне Канденаббия сохраняет некое первобытное очарование. Чудесен вид на маленький городок Белладжио, расположенный на перешейке между двумя заливами на южном побережье, особенно утром, когда все вокруг залито солнечным светом. Во второй половине дня солнце рано уходит за гребень Сассо ди Сан Мартино, на озеро опускаются мягкие вечерние тени и жара спадает, сменяясь приятной прохладой.

Именно это мягкое очарование местного ландшафта привлекло внимание нашего героя, когда он впервые оказался здесь в самом конце февраля 1957 года. Вначале он снял на три недели виллу «Роза». Обстановка там была вполне уютная, и вдобавок он открыл для себя новое развлечение — игру, называемую «бочча», — итальянский вариант боулинга. Однако его не вполне устраивало местонахождение виллы: она была в самом центре деревушки. Покидая ее, он решил, что будет приезжать сюда и впоследствии, но, пожалуй, подберет себе что-нибудь менее шумное, более уединенное.

К тому времени весенний отдых стал непременным компонентом его образа жизни. Врачи вынесли строгий вердикт — брать отпуск не менее двух раз в год, причем отказаться от

высокогорья: легким в разреженном воздухе уже не хватало кислорода. Аденауэр, как обычно, строго следовал всем советам, коль скоро дело касалось его здоровья. В остальном сохранялась обычная практика, выработавшаяся после смерти Гусей в 1948 году: одна из дочерей приглашалась побыть его спутницей и компаньонкой, дабы смягчить, несомненно, преследовавшее его чувство одиночества; время от времени «на ковер» вызывались отдельные министры или прочие должностные лица, и на отдыхе канцлер продолжал держать руку на пульсе политической жизни; ничто другое его, впрочем, и не интересовало.

Для подчиненных вне зависимости от их ранга аденауэровские отпуска оборачивались адскими муками. Помимо поездок в Канденаббию и обратно, им приходилось непрерывно оправдываться перед канцлером за то или иное свое высказывание, не получившее предварительной санкции свыше. На министров и высших чиновников сыпались письма, телефонные звонки, устные инструкции, передаваемые через особо доверенных и близких Аденауэру лиц — Глобке, Хальштейна, Кроне или Бланкенхорна. Кроме того, Аденауэр использовал отпуска для дачи разного рода интервью и неформальных брифингов для журналистов, разумеется, и не думая консультироваться об их содержании с членами своего кабинета, к вящему неудовольствию последних, ибо зачастую речь шла о проблемах, входивших в их непосредственную компетенцию. Рабочий календарь отпускника был, таким образом, весьма напряженным. За те же три недели на вилле «Роза» ранней весной 1957 года он успел провести ни много ни мало — восемнадцать продолжительных бесед с разными людьми, причем только в одном случае это был министр его кабинета.

Впрочем, главное направление политики определялось в Бонне, и именно там Аденауэр осенью 1957 года вплотную занялся формированием своего нового кабинета. Результаты выборов, казалось, предоставили победителю полную свободу, и тем более удивительно, что подбор министров дался ему труднее, чем это было в 1949 или 1953 годах. Блок ХДС/ХСС, как уже говорилось, получил абсолютное большинство мандатов, однако Аденауэр счел целесообразным привлечь к участию в правительстве еще. и небольшую Немецкую партию, поскольку она была в достаточной степени правой ориентации и к тому же имела сильные позиции в Нижней Саксонии, где ХДС был, напротив, слаб[41]. В результате новое правительство имело отчетливый крен вправо; старые политики, представлявшие профсоюзное крыло ХДС, были выброшены за борт.

Оставалась еще региональная проблема. Аденауэр хотел, чтобы в правительстве были более широко представлены рейнландцы, однако ввиду большого успеха на выборах баварского ХСС он вынужден был отдать два поста ее представителям — Штраусу, который остался министром обороны, и Шефферу, который вместо министерства финансов получил министерство юстиции, но вдобавок еще и должность вице-канцлера. Главными сюрпризами стало то, что в правительстве не нашлось места для Герстенмайера, оставшегося президентом бундестага, и что министром финансов стал Франц Этцель, ранее занимавший пост вице-президента ЕОУС. Последний, видный юрист и банкир, в веймарский период лидер молодежной организации Немецкой национальной партии, был новым фаворитом канцлера, который видел в нем своего преемника. Политический строй ФРГ все более стал напоминать режим личной власти, где состав руководящей элиты определяется личными и порой изменчивыми симпатиями и антипатиями лидера. В этом смысле весьма красноречива запись в дневнике Кроне, председателя парламентской фракции ХДС: «Канцлер становится жестче и резче, он предвзят и несправедлив». Эта запись сделана 8 октября 1960 года, однако то же самое можно было сказать и тремя годами раньше.

Вновь сформированное правительство ждали неприятные новости. 4 октября 1957 года Советы запустили первый искусственный спутник Земли, что вызвало настоящий шок на Западе: стало ясно, что СССР опережает Соединенные Штаты в области ракетной технологии. В отличие от прочих западных лидеров Аденауэр встретил это событие почти что с ликованием. «Я посчитал запуск спутника настоящим даром небес, — напишет он в своих мемуарах, — поскольку, не будь его, свободный мир так и продолжал бы свою спячку». Однако Аденауэр не был бы Аденауэром, если бы не увидел и другую, менее приятную для него сторону случившегося. На заседании кабинета 17 октября он изложил свою теорию: Советы будут использовать «эффект спутника» для того, чтобы принудить США — вторую «сверхдержаву» — заключить с ними двустороннюю сделку о совместном управлении миром без учета интересов других стран. Эту перспективу нужно любыми средствами заблокировать, заключил он.

Подозрения Аденауэра не были совсем уж безосновательными. Еще на Берлинской конференции 1954 года имели место конфиденциальные беседы Молотова с Даллесом но поводу «процедуры порядка атомного вопроса», как несколько коряво выразился советский министр иностранных дел,

докладывая о своей деятельности в качестве главы советской делегации Пленуму Центрального Комитета КПСС. Как следовало из стенограммы молотовского доклада, «в соответствии с предложением правительства США условлено, что на некоторый период это обсуждение будет вестись в Вашингтоне между представителями двух государств — США и СССР, причем Даллес всячески подчеркивал, что этот период двусторонних переговоров должен, длиться как можно дольше». Проще говоря, это означало, что Даллес и Молотов — Соединенные Штаты и Советский Союз — желали достичь некоей договоренности о том, как они, две сверхдержавы, будут править миром.

Разумеется, все это было давно — четыре с лишним года тому назад. Но с тех пор оснований думать о «сговоре сверхдержав» стало ничуть не меньше, скорее наоборот. Впрочем, как именно «заблокировать» эту тенденцию, Аденауэр явно не знал. К тому же его внимание вскоре отвлек кризис в отношениях с Югославией. 15 октября 1957 года югославское правительство приняло решение установить дипломатические отношения с ГДР. Это был сильнейший удар по аденауэровской позиции, согласно которой Федеративная Республика представляет собой единственно законное германское государство, а ГДР — это всего лишь часть территории Германии, временно находящаяся под пятой советских оккупантов. Такой удар нельзя было игнорировать.

Вопрос о том, какова должна быть реакция на решение югославского правительства, стал предметом обсуждения в кабинете. Тон в нем задавал не сам канцлер, а министр иностранных дел Брентано, хотя есть все основания считать, что он делал это с подачи того же Аденауэра. Аргументация Брентано сводилась к тому, что если Федеративная Республика сделает вид, что ничего особенного не случилось, и не примет жесткие контрмеры, то примеру Югославии последуют такие не входящие в блоки страны, как Индия, Пакистан, Египет, Сирия, а потом и многие страны Африки и Латинской Америки. Кабинет согласился с этими аргументами и принял единодушное решение разорвать дипломатические отношения с Югославией. Были и те, кто сомневался в мудрости этого шага: Герстенмайер, Бланкенхорн, Эккардт; но они не были членами кабинета и не могли повлиять на его решение. Последнее, по сути, просто стало конкретным воплощением того, о чем говорилось в правительственном заявлении от 22 сентября 1955 года. Тогда, после визита Аденауэра в Москву и установления дипломатических отношений с СССР, третьи страны получили суровое предупреждение: если они захотят установить дипломатические отношения с ГДР, то это будет рассматриваться

как «враждебный акт» по отношению к ФРГ; правда, последствия такого акта не конкретизировались.

Это изложение принципиальной позиции правительства ФРГ получило название «доктрины Хальштейна», хотя он сам отказывался от ее авторства и считал, что привязка его имени к «так называемой» доктрине — это все козни его «личных врагов». Как бы то ни было, никто среди видных западногерманских политиков не возражал ни против принципиальной установки на непризнание и изоляцию ГДР, ни против конкретного применения этой установки в случае с Югославией. Непосредственным следствием такой позиции стал крах осторожных попыток западногерманского МИДа найти пути к примирению с Польшей.

Польша в глазах Аденауэра провинилась в это время тем, что ее министр иностранных дел Адам Рапацкий выдвинул план зоны ограничения вооруженных сил в Центральной Европе, куда должны были войти оба германских государства, Польша и Чехословакия. Аденауэр резко выступил против «плана Рапацкого», используя ставшую уже традиционной аргументацию: в случае его реализации в центре Европы возникнет вакуум, который в конечном счете заполнят коммунисты. Эта позиция Аденауэра вызвала недовольство западных союзников, которые считали, что польский план может стать приемлемой основой для обсуждения проблем устранения нестабильности в Центральной Европе; кроме того, они видели в нем признак некоторого смягчения политики СССР, который-де и поручил польским «друзьям» выступить с данной инициативой. Однако Аденауэр был непоколебим: чем скорее «план Рапацкого» будет отправлен в мусорную корзину, тем лучше. Альтернатива, с его точки зрения, была ясна: надо укреплять оборону ФРГ путем оснащения бундесвера ядерным оружием.

Его, по всей видимости, немало удивил тот факт, что к этой его точке зрения приблизились французы. 16 ноября состоялась его беседа с двумя французскими визитерами: первым заместителем министра иностранных дел Морисом Фором и послом Франции в Бонне Морисом Кув де Мюрвилем. Аденауэр принял обоих по их настоятельной просьбе, переданной в экстренном порядке. Был вечер субботы, поэтому встреча прошла в рендорфском особняке канцлера. Он пригласил присутствовать на ней также Брентано и Хальштейна.

То, что немецкая сторона услышала, тянуло на сенсацию. Оказывается, французское правительство, которое тогда возглавлял Феликс Гайяр, пришло к выводу, что на США полагаться нельзя: рано или поздно они уйдут из Европы;

Западная Европа, следовательно, должна иметь к тому времени свой собственный ядерный потенциал, а посему Франция, Западная Германия и Италия должны объединить свои усилия в деле разработки и производства ядерного оружия и систем его доставки. Производство предполагалось наладить вне территории Германии, так что не надо было ничего менять в Парижских соглашениях. Аденауэр прекрасно понимал мотивы, которыми руководствовалась французская сторона, делая предложение о таком трехстороннем сотрудничестве: ее финансовые ресурсы были истощены войной в Алжире, проще говоря, французам были нужны немецкие деньги. Это устраивало Аденауэра: быть главным финансистом проекта означало обеспечить себе там господствующее положение.

Было быстро достигнуто согласие относительно того, что министры обороны обеих стран — Штраус и Жак Шабан-Дельмас встретятся, чтобы обсудить технические детали; согласие Италии считалось само собой разумеющимся. Затем план в целом предполагалось представить на декабрьской сессии НАТО, которая должна была состояться в Париже. В заключение беседы Аденауэр прочел краткую лекцию насчет непоследовательности и ненадежности американцев, и на этом участники разошлись, вполне довольные друг другом.

Советы, очевидно, узнали об этом проекте и стали предпринимать все, чтобы задушить его в зародыше. Вначале с протестом выступил советский посол в Бонне Андрей Смирнов. Затем последовало резкое послание Булганина Аденауэру от 10 декабря 1957 года, где говорилось, в частности: «Западная Германия находится непосредственно на линии соприкосновения двух военных группировок, причем любой расположенный на ее территории военный объект может быть поражен современным оружием даже ближнего действия. Это обстоятельство, может быть, мало беспокоит военных руководителей той страны, которая создала базы на территории ФРГ, вдалеке от своих жизненных центров, и по своему усмотрению решает вопрос о введении этих баз в действие. Что им до судьбы Гамбурга и Дюссельдорфа, Кёльна и Мюнхена! Но трудно понять тех деятелей Федеративной Республики, которые не хотят видеть реальной действительности и закрывают глаза на то, что в случае, если дело дойдет до военного конфликта, атомные базы на территории ФРГ станут своего рода магнитами, притягивающими к себе ответный удар современной военной техники государств, защищающихся от агрессора».

В какой-то мере советские протесты возымели свое действие. Во время беседы с Макмилланом, состоявшейся в здании

британского посольства в Париже, куда Аденауэр прибыл 14 декабря 1957 года для участия в сессии НАТО, западногерманский канцлер подчеркнуто заявил, что не желает размещения на территории ФРГ ракет средней дальности, которые могут достигать территории СССР, хотя, как записал его собеседник, «не хочет говорить об этом во всеуслышание». Сомнения насчет будущего курса политики США привели к явному охлаждению отношения Аденауэра к НАТО. Макмиллан в своей записи беседы подробно изложил высказанные его немецким партнером тревожные мысли: «Он, Аденауэр, знает, насколько его народ (со времен Бисмарка) подвержен мечтаниям насчет налаживания отношений с Востоком… Его гнетет страх: когда его не будет на этом свете, народ может клюнуть на эту удочку… Имея в виду эти соображения, он, Аденауэр, предпочитает помалкивать даже в кругу коллег».

Круг тех, кому канцлер мог безоговорочно доверять, между тем сузился: Бланкенхорн ушел на пост посла при штаб-квартире НАТО, Хальштейн был послан представлять ФРГ в ЕЭС, став после вступления в силу Римских договоров 1 января 1958 года первым президентом его верховного органа — Комиссии Сообщества. Оставался один Глобке — «немецкий Распутин при царе Конраде», как тогда говорили.

Декабрьская сессия НАТО не дала существенных результатов. В своих публичных выступлениях на ней Аденауэр подчеркивал необходимость контроля над вооружениями и начала переговоров о разоружении. За кулисами он добивался атомного оружия для бундесвера. На пленарных заседаниях ничего не говорилось о «плане Рапацкого», кроме как в отрицательном смысле, но в кулуарах он активно обсуждался, и, казалось, его положения находили все больший отклик но крайней мере у некоторых из присутствовавших на сессии. Аденауэр делал все, чтобы противодействовать этой тенденции. В это время по Би-би-си с серией лекций выступил бывший посол США в Москве Джордж Кеннан; он выдвинул идею переговоров с Советами на основе «разъединения» армий противостоящих блоков в Европе. Аденауэр выразил мнение, что лекции Кеннана «были инспирированы британским правительством и отражают точку зрения последнего». Макмиллану было сделано соответствующее представление, больше похожее на выговор.

Эпизод с лекциями Кеннана и абсурдными толкованиями, которые им давал Аденауэр, привели последнего к серьезному конфликту с президентом Хейсом. До этого отношения между ними были на удивление ровными; учитывая разницу в биографиях и политических симпатиях, это можно было считать

даже своего рода чудом. И вот теперь Аденауэра прорвало: как посмел Хейс вставить в свое новогоднее обращение 1 января 1958 года характеристику Кеннана как лица, «солидного и не склонного к паническим настроениям»? Канцлер направил президенту резкое послание, в котором говорилось, что «господин Кеннан — это человек, который своими далекими от реализма рассуждениями замутил мозги немцам, способствовал созданию атмосферы всеобщей размягченности. Это настоящий подарок для наших социал-демократов». Хейс в ответном письме попытался образумить канцлера: его подозрения необоснованны.

Это был настоящая ссора, последствия которой, правда, вскоре сгладились, однако отношения этих двух самых высокопоставленных деятелей ФРГ никогда в дальнейшем не достигали уровня прежней сердечности. Новый, 1958 год начался, таким образом, для Аденауэра под знаком поиска врагов и поводов для столкновений. Дальше — больше. На приеме по случаю своего 82-летия он повздорил со Смирновым, который использовал возможность неформального контакта с канцлером, чтобы вновь указать на нерациональность идеи приобретения ядерного оружия для бундесвера. Аденауэр счел это грубым нарушением этикета, о чем и сообщил послу в самых недвусмысленных выражениях. 20 января — новый конфликт, на этот раз с Герстенмайером. Тот имел неосторожность заявить, что он не во всем согласен с тем, как Аденауэр выстраивает свою внешнюю политику, за что получил резкую отповедь как нарушитель партийной дисциплины и лояльности по отношению к лидеру. Возможно, так Аденауэр готовил себя к большим дебатам в бундестаге но внешнеполитическим вопросам, которые должны были начаться 23 января.

За два дня до их открытия состоялась тайная встреча трех министров обороны — Штрауса, Шабан-Дельмаса и их итальянского коллеги Тавиани, где было продолжено обсуждение совместного проекта но созданию системы атомного вооружения. Аденауэр нервничал: не дай Бог, в прессе появится утечка информации об этих переговорах и вообще об атомном проекте. Этого не случилось. Однако дебаты оказались для Аденауэра событием довольно-таки неприятным. Начавшись во второй половине дня 23-го, они закончились далеко за полночь 24-го. Поначалу, казалось, они не сулили ничего экстраординарного. Военный эксперт от СвДП Эрих Менде осудил канцлера за невнимание к мнению парламента; Рейнхольд Мейер осведомился о том, как обстоит дело с бывшими нацистами на государственной службе, упершись взором прямо в фигуру Глобке, сидящего на правительственной скамье; Олленхауэр

обвинил Аденауэра в забвении интересов нации и игнорировании возможностей воссоединения. Депутаты от ХДС поеживались на своих местах; аплодисменты, которыми они наградили канцлера после того, как он закончил свою речь, были явно жидковаты.

Обстановка в зале оживилась, когда на трибуну поднялся Томас Делер. Он проанализировал историю тех шести лет, с 1949 по 1955 год, когда он, будучи вначале министром юстиции, а затем лидером СвДП — партии, входившей в правительственную коалицию, — имел возможность глубоко изучить стиль руководства, характерный для Аденауэра. Буквально сотрясаясь от распиравших его эмоций, он бросал прямо в лицо канцлеру одно обвинение за другим: равнодушное отношение к проблеме воссоединения, нежелание серьезно проверить советские намерения в связи со «сталинской нотой» 1952 года, склонность обсуждать важные проблемы в кругу своих подпевал, полная некомпетентность и неспособность управлять государством — букет получился впечатляющий. Это была не просто критика политического курса, а беспощадный удар по Аденауэру как личности.

Вслед за Делером выступил другой «диссидент» — Густав Хейнеман. Некогда член ХДС, он после долгих странствований но политическому ландшафту ФРГ нашел свое место в рядах СДПГ и был теперь преисполнен решимости рассчитаться раз и навсегда со своим прежним лидером. Он продолжил тему упущенных возможностей воссоединения, добавив еще несколько примеров несерьезного отношения канцлера к этой животрепещущей проблеме. Добавил он и несколько отнюдь не комплиментарных штришков к личной характеристике Аденауэра: он может быть то елейно-ласковым, то злобно-жестким, то вообще продемонстрировать припадок бешенства. В роли адвокатов своего лидера и покровителя выступили, а вернее сказать, огрызнулись, Кроне и Брентано. Сам канцлер хранил гордое молчание, укрывшись за стеклами темных очков от вспышек фотокамер и любопытных взоров -депутатов.

Все было бы не так плохо, если бы дебаты на транслировались по радио и если бы пресса фактически не поддержала «диссидентов». Ее комментарии сводились к двум тезисам; первый: не ответив на критику в свой адрес, Аденауэр проявил полнейшее неуважение к парламенту; второй представлял простой силлогизм: молчат обычно те, кому нечего возразить, — Аденауэр молчал, значит, ему нечего сказать в свою защиту. Аденауэр попытался исправить впечатление, выступил с речью по радио, дал указание Греве провести пресс-конференцию по истории «борьбы за единство нации». Все тщетно: инициатива

была потеряна.

Выход был найден традиционный: уход в отпуск. 31 января он покинул Бонн, отправившись, правда, не в Канденаббию, а в Прованс, к подножию приморских Альп. Там его встретили чистый воздух и хорошая погода. Он мог успокоиться и поразмышлять. Количество визитеров на этот раз было сведено до минимума. В письме к Глобке он меланхолично констатирует: «На солнце тепло. Чувствую, как я все-таки устал».

При всем при том он отнюдь не забыл трепки, которой подвергся в парламенте, и исподволь готовил реванш. В Прованс был срочно вызван верный Глобке, и вместе они решили, что единственный способ исправить ситуацию — это провести новые дебаты на ту же тему, только получше к ним подготовившись. Прогуливаясь среди дикой растительности французской провинции, Аденауэр вновь и вновь обдумывал, как подать на публике свою позицию по вопросу воссоединения. По сути, он решил придерживаться своей старой линии: о единстве Германии можно говорить только в контексте общего соглашения о разоружении и европейской безопасности; германской проблемы как таковой вообще не существует; речь идет о проблеме глобального масштаба.

5 марта Аденауэра, возвращавшегося в Бонн, на промежуточной станции, в Людвигсхафене, встретили Кроне и Глобке. Они кратко информировали его о том, что происходило в его отсутствие. Новости были не особенно ободряющие: по общему мнению, Аденауэр потерял свою былую хватку и вот-вот должен подать в отставку. Уже развернулась борьба за то, кто станет его преемником: конкурируют друг с другом Эрхард, Брентано, Шредер, и даже этот мозгляк Герстенмайер заявляет о своих претензиях на канцлерство; вторые внешнеполитические дебаты, которые по указанию Аденауэра были назначены на 13 марта, пока отложены.

Аденауэр отдавал себе отчет, что ему отчаянно нужно как-то пополнить свой багаж по проблеме воссоединения, но чем? 7 марта он имел длительную беседу с послом Смирновым. Ничего утешительного он от него не услышал. Смирнов указал, что его правительство уже выступало с предложением созыва новой конференции в верхах и начала двусторонних переговоров между двумя германскими государствами. Аденауэр не высказал в ответ никакого энтузиазма. Советский посол поинтересовался причинами такой индифферентности. Впрочем, он заранее знал ответ: двусторонние переговоры с ГДР означали бы ее признание де-факто. В результате, заявил Аденауэр, это приведет к тому, что Советы подпишут мирный договор с обоими германскими

государствами, а это увековечит раскол Германии. На этом дискуссия оборвалась.

Тремя днями позже Аденауэр стал участником театрализованного действа, которое еще более ухудшило его внешнеполитический имидж. 10 марта на торжественной церемонии в кёльнской Андреаскирхе он был возведен в звание почетного рыцаря Тевтонского ордена. Канцлер воспринял церемонию почти с детским восторгом, поспешив продемонстрировать Хейсу набор фотографий, где он был изображен в одеянии члена Ордена: белая мантия с черным воротником и черным распятием на груди, мрачно-нахмуренное выражение лица, словом, нечто напоминавшее маскарад поры его студенческих лет. Однако в Польше все это было воспринято весьма серьезно: Тевтонский орден был для поляков символом средневековой колонизации восточных земель, пресловутого немецкого «дранг нах остен». Аденауэра эта реакция нимало не тронула: если поляки чувствуют себя оскорбленными, это их дело; с другой стороны, это была сладкая месть за «план Рапацкого».

Последовала новая беседа со Смирновым; советский посол явился на нее, вооруженный новой нотой своего правительства, тон которой, как его охарактеризовал Аденауэр в своих мемуарах, был, «мягко говоря, весьма недружественным». Канцлер ответил неожиданным предложением: пусть Советы предоставят ГДР тот же статус нейтралитета, который в 1955 году получила Австрия, тогда можно обо всем договориться. Трудно сказать, насколько серьезный характер имела эта инициатива. Аденауэр-мемуарист писал, что, предлагая «австрийский вариант», он рисковал тем, что «соотечественники забросают меня камнями». Он не мог не знать, кроме того, что ему не удалось бы убедить ни бундестаг, ни даже членов своего кабинета в достоинствах своего плана. Скорее всего никакого реального плана и не было, а сказано это было Смирнову просто для того, чтобы заставить его примолкнуть хотя бы на время. Если замысел был именно таков, то можно сказать, что он удался. Смирнов смог лишь промямлить, что, мол, ГДР является суверенным государством и что Советский Союз не может вмешиваться в ее внутренние дела. После этого на протяжении нескольких месяцев его не было видно и слышно.

Вторые внешнеполитические дебаты в бундестаге, состоявшиеся наконец 21 марта, в отличие от первых прошли по сценарию, заранее разработанному правительством. Главным адвокатом официальной линии выступил Штраус, который при всей своей агрессивности показал себя оратором, умеющим

нужным образом воздействовать на аудиторию. Социал-демократ Фриц Эрлер сравнил его речь с речами Геббельса, после чего депутаты от фракции ХДС/ХСС предприняли театральный жест: в знак протеста стройными рядами покинули зал заседаний. Все свелось в конечном счете к обычной парламентской комедии, и после четырех суток длинных речей и взаимных обвинений стало очевидно: канцлер одержал очередную победу. Бундестаг большинством голосов принял резолюцию, требующую оснащения бундесвера «самым современным вооружением», с единственной мало что значившей оговоркой — «при условии, что не будет достигнуто общее соглашение о разоружении под эффективным контролем». Всем было ясно, что «самое современное вооружение» означает «ядерное».

Это решение вызвало и некоторые неприятные последствия. СДПГ решила поддержать «Движение против атомной смерти», созданное по образцу «Кампании за ядерное разоружение» в Великобритании. 27 марта пришла неожиданная новость из СССР: Булганин потерял кресло премьер-министра, его занял Хрущев. Аденауэр отнесся к этому как к личной потере. Булганин ему чисто по-человечески нравился, чего никак нельзя было сказать о Хрущеве: его грубость и неотесанность, проявленные во время московских переговоров в 1955 году, хорошо запечатлелись в памяти бундесканцлера.

Апрель прошел под знаком размышлений о том, что означает смена советского руководства и чем это грозит Западу. Случилось и несколько неожиданностей. 7 апреля было подписано строго секретное франко-западногерманско-итальянское соглашение о сотрудничестве в ядерной области; впрочем, неожиданной в данном случае была, пожалуй, лишь быстрота, с которой был выработан и согласован его текст, затрагивавший весьма деликатные проблемы. Напротив, полнейшим сюрпризом стало то, что спустя девять дней во Франции разразился правительственный кризис: правительство Гайяра, едва успевшее вступить в «ядерный пул» с ФРГ и Италией, было отправлено в отставку. Тем самым судьба только что подписанного тройственного соглашения оказалась под вопросом. Дело выглядело так, что Четвертая республика, подтачиваемая войной в Алжире и закулисными интригами генерала де Голля, неудержимо шла к своему краху. Для Аденауэра вывод был очевиден: надо срочно искать новых друзей. Его выбор пал на Альбион.

16 апреля 1958 года канцлер ФРГ прибыл в Лондон с официальным визитом. Великобритания как раз в это время занималась созданием зоны свободной торговли в Европе,

которая должна была являть собой некую альтернативу «шестерке» ЕЭС, и ей важно было заручиться поддержкой Аденауэра в этом предприятии хотя бы в плане самого общего заявления о том, что он не является его принципиальным противником. Именно этим объясняется довольно теплый прием, который был оказан ему в Лондоне.

Аденауэр, со своей стороны, проявил максимум предупредительности и шарма. Визит начался с торжественного обеда у королевы Елизаветы в Виндзорском замке. Нашему герою всегда нравились такие вещи — с веками отработанным церемониалом, всякими красочными аксессуарами, особенно когда прием дает не кто-нибудь, а глава самого авторитетного в Европе, да и мире монаршего дома. Он занял самое почетное место — между королевой и королевой-матерью — и, согласно записи в дневнике Макмиллана, чувствовал себя «на вершине счастья, напропалую флиртуя с обеими». Трехдневные переговоры с премьером также прошли гладко, без каких-либо осложнений. Аденауэр обещал помочь убедить французов в том, что наличие второй интеграционной группировки в Европе не несет с собой никаких угроз или издержек; что касается отношений Восток — Запад, стороны пришли к единодушному мнению, что после того, как окончательно решится вопрос о том, кто является реальным лидером в СССР, должно состояться совещание в верхах, возможно, даже серия таких совещаний. В целом обе стороны оценили визит как вполне успешный, и, но наблюдению того же Макмиллана, на прощальном обеде в посольстве ФРГ «канцлер был в веселом настроении».

По возвращении в Бонн Аденауэр поделился с Хейсом своими английскими впечатлениями. Впервые с начала 50-х годов, сообщил он удивленному собеседнику, к нему приходит мысль, что настанет время, когда Великобритания сама захочет войти в Европу, и что Европу следует строить не против, а вместе с Великобританией. Удивление Хейса сопровождалось трезвой мыслью, что этот англофильский настрой у Аденауэра скоро пройдет. Так оно и оказалось.

Вскоре на Аденауэра свалилась еще одна забота: надо было принять прибывшего с визитом в ФРГ Анастаса Микояна — тогда, но всей видимости, человека номер два в кремлевской иерархии. Цель приезда Микояна заключалась в том, чтобы попытаться убедить канцлера ФРГ не оснащать бундесвер ядерным оружием. Аденауэру советский визитер, в общем, понравился: при всей его жесткости в нем был определенный армянский шарм. На уровне личного общения все, таким образом, было хорошо, чего никак нельзя сказать о ходе переговоров, которые перемежались

острыми полемическими стычками. Микоян утверждал, что атомное вооружение армии ФРГ — не в ее собственных интересах, поскольку в случае возникновения военного конфликта превратит части бундесвера в первые мишени ядерных ударов. На Аденауэра эта аргументация особого впечатления не произвела. Поняв, что здесь ничего не добиться, Микоян сменил пластинку: советская сторона, заявил он, готова на определенные шаги по сокращению обычных вооружений и просит Аденауэра поддержать их. Реакция канцлера была более чем сдержанной: он счел, что практической ценности в этом предложении не много.

Визит Микояна имел, с точки зрения Аденауэра, по крайней мере один положительный эффект: он позволил ему опровергнуть тезис, выдвигавшийся социал-демократами и значительной частью прессы, о том, что он вообще не хочет диалога с Советами, что он настроен на конфронтацию и в конечном счете — на войну. Это было особенно важно ввиду растущего размаха антиядерного движения в стране. В Гамбурге, например, в демонстрации под лозунгами против ядерных вооружений, состоявшейся во время пребывания советского гостя в ФРГ, приняло участие 150 тысяч человек. В различных городах страны прошла волна забастовок протеста, довольно неплохо организованных. Это было лишь начало: СДПГ решила поставить вопрос о борьбе против «атомной смерти» в центр избирательной кампании в земле Северный Рейн-Вестфалия. Выборы там должны были состояться 6 июля.

До этого, однако, всеобщее внимание привлекли к себе драматические события во Франции. 13 мая группа генералов образовала в Алжире «Комитет общественного спасения» и обратилась с призывом к де Голлю вернуться к власти и восстановить порядок в Алжире. В стране возник политический хаос, в обстановке которого де Голль проявил недюжинное искусство в завоевании симпатий большинства. Используя самые различные методы и каналы, он добился того, что Национальное собрание в конце мая утвердило его на посту премьер-министра. Однако де Голль не желал быть просто очередным главой правительства Четвертой республики. У него был четкий план: как только кризис пойдет на спад, он предложит новую конституцию. Дни Четвертой республики были сочтены.

Перед лицом такого развития событий Аденауэр занял выжидательную позицию. Ждать ему пришлось недолго, и то, что произошло, подтвердило наихудшие предположения о политике нового режима. Новый министр обороны Франции Пьер Гийом получил вполне определенное указание от де Голля: заморозить выполнение трехстороннего соглашения с ФРГ и Италией о

совместном производстве ядерного оружия. Франция должна быть единственной ядерной державой на Европейском континенте — таково было кредо генерала; единственное исключение — «Россия», как он упорно называл страну, которая тогда имела официальное название «Советский Союз». Тщательно продуманный план приобщения к ядерному клубу, ставший почти реальностью в результате договоренности с правительством Гайяра, превратился в простую макулатуру, оказавшись жертвой идеи «величия Франции».

Западногерманская общественность ни о чем этом, разумеется, не знала. Иначе предвыборная кампания в Северном Рейне-Вестфалии приняла бы совсем иной оборот. Фактически, однако, она развивалась по накатанной колее: Аденауэр, активно включившийся в пропагандистскую кампанию ХДС, вовсю клеймил социал-демократов и свободных демократов: они, мол, пацифисты и слабаки, готовы, как котята, лечь на спину, подняв лапки, лишь бы Советы пощекотали им брюшко. Более того, если они придут к власти, то развалят всю экономику Рейнланда. Словом, в ход шли все самые нелепые сравнения и самые грубые оскорбления в адрес оппонентов.

Трудно сказать, что повлияло на настроения избирателей — эта грубая пропаганда или чисто человеческое сочувствие христианским демократам, неожиданно потерявшим своего популярного земельного лидера: Карл Арнольд, некогда соперник Аденауэра внутри ХДС, скончался как раз за несколько дней до выборов. Как бы то ни было, христианские демократы одержали решительную победу, завоевав 50,4% голосов избирателей в этой самой промышленно развитой земле ФРГ. Главными проигравшими оказались свободные демократы, набравшие всего 7% поданных голосов. Аденауэр с присущей ему злопамятностью посчитал, что они получили но заслугам за свое «предательство», когда в 1956 году разорвали коалицию с ХДС и пошли на союз с социал-демократами.

Результаты выборов в Северном Рейне-Вестфалии дали Аденауэру возможность передохнуть и расслабиться. Он уже не чувствовал особой необходимости выдумывать какие-то формулы и рецепты для восстановления германского единства. На очередном заседании руководящего органа ХДС он прямо заявил: «Мы должны понять, что сами себя обманываем… В 1948 и 1949 годах мы все думали, что Основной закон — это так, на короткое время… А прошло-то уже десять лет… Теперь мы видим — и тут должна быть полная ясность, — что совершенно нереальна думать, будто вопрос о воссоединении может быть решен без всеобщей разрядки напряженности в мире». Это был, по существу,

похоронный звон на кладбище бесплодной политики прошлых лет. Мотив высказываний канцлера был совершенно очевиден: есть и на обозримое будущее будут два германских государства, и они должны научиться жить вместе.

Взорвав эту бомбу в кругу своих сподвижников по партии, что, очевидно, не вызвало с их стороны особого восторга, Аденауэр отправился на три недели в Канденаббию. На этот раз с ним были две дочери — Рия и Лотта. Его ждала вилла «Арминио» — чудесный уголок в парковой зоне над самой деревушкой. Перед самым отъездом — срочная депеша: его приглашают в Париж. Намеки на возможность встречи двух премьеров поступали к Аденауэру еще в тот период, когда он был поглощен избирательной кампанией в Северном Рейне-Вестфалии; их передавал наезжавший в Бонн личный эмиссар де Голля Морис Пикар. Теперь пришло официальное приглашение от нового французского министра иностранных дел Кув де Мюрвиля. Оно было датировано 29 июля. Отказаться Аденауэр, естественно, не мог; было решено, что он навестит де Голля в его усадьбе Коломбей-сюр-дез-Эглиз на обратном пути из Канденаббии.

Приглашение было воспринято как большая честь, однако Аденауэра не оставляли сомнения относительно личности и политической философии генерала де Голля. Новый французский лидер уже поставил крест на франко-западно-германско-итальянском ядерном проекте, каковы будут его следующие шаги? Не будет ли он стараться создать франко-советский союз? Не планирует ли он выйти из НАТО? Не заблокирует ли он дальнейшую интеграцию Франции с ее европейскими соседями? Все эти вопросы изрядно волновали западногерманского канцлера. Посетивший его в Канденаббии 16 августа французский министр финансов Антуан Пине заверил собеседника: не стоит принимать всерьез высказывания де Голля о величии и славе Франции, в глубине души генерал — реалист. Аденауэр не был склонен верить сказанному. Как он заметил в письме Пфердменгесу, «визит необходим, но он не обещает быть особенно приятным».

К отправившемуся с берегов Комо в Париж канцлеру в Баден-Бадене присоединились Брентано, послы — западногерманский в Париже и французский в Бонне, — переводчик и, конечно, группа телохранителей. Ночь все провели в Баден-Бадене, а наутро двинулись дальше к цели своего путешествия. Был чудесный день уходившего лета, Шампань встретила их первыми красками наступавшей осени. Из окон поезда Аденауэр и его спутники могли видеть многочисленные хорошо ухоженные военные кладбища — последний приют павших в борьбе с немецкими

завоевателями.

Аденауэр нервничал: вряд ли делегацию ждет доброжелательный прием.

Выйдя из поезда, визитеры разместились в трех лимузинах (это были, кстати сказать, «мерседесы») — и снова в путь. Кортеж сопровождали удивленные взгляды французов: надо же, немцы, а вроде выглядят вполне мирно; приветственных возгласов не было, все было чинно и слегка холодновато. Почти три часа в дороге — и вот оно, поместье генерала. Две первые машины направляются к «Ла Буассери» — дому, где живет де Голль, третья остается за воротами. Не успела первая машина остановиться у подъезда, а Аденауэр — открыть дверь салона, как хозяин уже обеими руками пожимает руку гостя, приветствует его на вполне приличном немецком.

Аденауэр представляет Брентано и переводчика, де Голль приглашает всех в дом. Все развивается так быстро, что для престарелого канцлера это создает некоторые проблемы: на второй ступеньке он спотыкается и едва не падает. Де Голль знакомит гостей с супругой. Она не в лучшем расположении духа. До этого она категорически отвергла услуги парижских специалистов но организации приемов: никаких поваров и официантов со стороны, никаких чужих приборов, никаких цветов, кроме тех, которые она сама нарвала в их собственном саду. Ей, конечно, явно не очень улыбалось принимать в своем доме этих бошей, да к тому же они запоздали, и она беспокоилась, что еда перестоится.

После обеда Брентано, послы и телохранители отправились в соседний городок Шомон; им предстояло переночевать в префектуре, поскольку в «Ла Буассери» места для их ночлега не было. Де Голль поспешил показать гостю свой сад и вид на долину реки Об. «Какой простор, — писал о своих тогдашних впечатлениях Аденауэр-мемуарист, — куда ни посмотришь — никаких строений, нетронутая природа. Все это выглядело очень привлекательно».

В настрое канцлера произошел перелом. В беседе с президентом Хейсом, которая состоялась после возвращения канцлерской команды в Бонн, Аденауэр признал, что ему пришлось расстаться со многими стереотипами о личности де Голля, которые у него сложились раньше под влиянием разных сплетен и газетных уток: «Оказалось, что он вовсе не глухой и не полуслепой… что он немного знает немецкий язык». Но самое главное — в ходе откровенных бесед оба государственных деятеля обнаружили, что у них много общего в оценках политических реалий. Оба согласились с тем, что НАТО

находится в плохой форме, что англичане просто невыносимы («Англия похожа на человека, который растранжирил все свое состояние, но все еще никак не поймет этого»), что пришло время для окончательного примирения между Францией и Германией. Когда остальные члены делегации были доставлены из Шомона на ужин, почти все уже было договорено. На обратном пути в Бонн Аденауэр поведал своим спутникам, что генерал сильно изменился за одиннадцать лет, проведенных в сельском уединении. По его мнению, он «вовсе не националист».

Это был, без преувеличения, медовый месяц в отношениях де Голля и Аденауэра. Но, как часто бывает, медовый месяц быстро кончается, в данном случае он длился всего три дня. 17 сентября 1958 года де Голль направляет послание президенту США Эйзенхауэру и британскому премьеру Макмиллану, где выдвигает идею создания «Тройственного директората»: некоммунистическим миром должны править три державы — США, Великобритания и Франция, в Европе эта коллективная гегемония будет осуществляться через НАТО; Франции предоставляется право вето на размещение и применение американского ядерного оружия, расположенного на ее территории. О Западной Германии вообще нет ни слова, как будто ее и не было. Американцы и англичане передали копию этого послания Спааку как генсеку НАТО, а тот не долго думая показал ее Бланкенхорну.

К началу октября каждый желающий в Бонне уже мог ознакомиться с деголлевским меморандумом. Аденауэр был в ярости: опять его предали! Это уже стало традицией, он снова решил переориентироваться на англичан. Макмиллану в срочном порядке было послано приглашение встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. 8 октября британский премьер прибыл в Бонн — послушно, как по приказу. В его дневнике мы читаем: он нашел канцлера «очень расстроенным. За ужином в присутствии различных должностных лиц он пытался сдерживаться, но, когда мы остались вдвоем, дал волю своим эмоциям. Гнев и отвращение переполняют его. Он доверял де Голлю, всего несколькими неделями раньше у них были доверительные беседы. Де Голль, как казалось, был вполне откровенен и лоялен. А теперь — такой удар по Германии, по его, Аденауэра, политике франко-германской дружбы и т.д. Я попытался успокоить его как мог».

Аденауэр всячески старался воссоздать непринужденную атмосферу своего прошлогоднего визита в Лондон, оказывал Макмиллану всяческие знаки внимания и расположения. Тот с явным удовольствием вспоминал ужин, данный в его честь: «Канцлер, который хорошо разбирается в винах, давал мне отпить

по бокалу из каждой бутылки, попутно объясняя отличие одного сорта вина от другого». Макмиллан хорошо знал де Голля но Алжиру периода Второй мировой войны и утешил собеседника весьма своеобразной характеристикой нового французского лидера: он всегда умеет соединить неуклюжесть с невинностью.

Прошло всего три недели — и новый поворот. 27 октября Вальтер Ульбрихт, официально всего лишь заместитель премьер-министра, а фактически бесспорный и единоличный лидер ГДР, объявил, что весь Берлин, а не только Восточный входит в состав территории ГДР. 10 ноября Хрущев выступил с речью, из которой следовало, что все нрава и обязательства в отношении Берлина, которыми ныне располагает Советский Союз, в скором времени будут переданы властям ГДР и что войска союзников должны уйти из Западного Берлина. Вскоре в одном из интервью он сравнил недавнюю встречу Аденауэра и де Голля со свиданием между Гитлером и Муссолини в 1934 году. Наконец, 20 ноября советский посол в Бонне Смирнов зачитал Аденауэру ноту, в которой утверждалось, что Потсдамское соглашение практически прекратило свое действие. Кривая международной напряженности пошла резко вверх.

В этой драматической обстановке главный вопрос для Аденауэра состоял в том, на кого ему лучше опереться — на Макмиллана или на де Голля. Относительно последнего все должно было проясниться в самое ближайшее время: предстоял ответный визит де Голля в ФРГ, первый его визит в Германию со времени окончания войны. Англичане могли подождать.

26 ноября 1958 года оба лидера встретились в городке Бад-Крейцнах, примерно на полпути между Рендорфом и Коломбей-сюр-дез-Эглиз, как рассчитали дотошные чиновники протокольных служб. Встреча в какой-то мере сгладила неприятный эффект, произведенный деголлевской инициативой насчет «Тройственного директората». Аденауэр приветствовал де Голля на своем почти непонятном французском, тот отвечал по-немецки. Главным результатом встречи стало совместное заявление о том, что обе стороны твердо выступают за сохранение существующего статуса Берлина, что, впрочем, заранее можно было предсказать. Де Голль, согласно донесению английского посла в Бонне Кристофера Стила, использовал представившуюся возможность, чтобы побудить Аденауэра выступить против зоны свободной торговли и посеять в нем «семена недоверия в отношении британской позиции в берлинском вопросе». Как бы то ни было, де Голль ничего, кроме риторических изысков, предложить не мог. Зато по этой части он превзошел самого себя. Перед отъездом, уже стоя на ступенях здания санатория, в

котором проходила встреча, де Голль заключил Аденауэра в объятия и объявил его «великим человеком, великим государственным деятелем, великим европейцем». Объект этого панегирика выглядел при этом явно смущенным.

Для себя он все-таки так еще и не решил, в какую сторону податься. Контакта с Макмилланом он не обрывал, скорее наоборот. Сразу же после визита Смирнова (он имел место, напомним, 20 ноября) Аденауэр отправляет британскому премьеру послание, выдержанное почти в паническом тоне. «Это письмо, — говорилось там, — продиктовано серьезной озабоченностью развитием ситуации, последствия которой мы не в состоянии предвидеть». Он умолял Макмиллана обратиться к Хрущеву с личным посланием, дабы образумить советского лидера. Макмиллан выполнил эту просьбу, но каких-либо существенных результатов это не дало.

Через день после окончания прочувствованного рандеву в Бад-Крейцнахе пришли очередные плохие новости: Хрущев послал длиннейшие ноты в Вашингтон, Лондон и Париж, в которых информировал руководителей западных держав о том, что считает четырехсторонний статус Берлина устаревшим и что в течение шести месяцев должен быть выработан новый. Если этого не произойдет, Советский Союз заключит сепаратный мирный договор с ГДР.

Эти ноты лишь усилили панические настроения у западногерманского канцлера. Он явно считал, что, какие бы красивые слова ни говорил де Голль, надеяться на него нельзя. Французы слишком глубоко увязли в Алжире, и у них нет ни склонности, ни возможностей идти на конфронтацию с Советами. С другой стороны, он не хотел портить отношения с де Голлем и подвергать опасности новую франко-германскую антанту. 7 декабря он отправляется в Лондон, чтобы укрепить Макмиллана в его твердой решимости не идти ни на какие уступки Советам и добиваться принятия совещанием министров иностранных дел трех держав (оно было намечено на 14 декабря и должно было проходить в Париже) документа, подтверждающего существующий статус Берлина. Все произошло так, как того хотел Аденауэр, который откликнулся прочувствованным личным посланием британскому премьеру. Там говорилось, в частности, что «недвусмысленное британское «нет» в ответ на советские притязания наполнило сердца немецкого народа и мое собственное чувством глубокой благодарности».

Пока все шло неплохо. Непосредственная угроза со стороны СССР была нейтрализована решительной реакцией Запада. Однако обстановка оставалась напряженной. Аденауэра особенно

задевал тот факт, что он не имеет в своей стране тех рычагов власти, которые давали бы ему свободу действий, сравнимую с той, которой располагали лидеры Великобритании или Франции. Ему постоянно приходилось лавировать, искать союзников, уговаривать, а не приказывать. Он не мог сравнить свое положение с положением Макмиллана, который имел в своем распоряжении послушное ему солидное большинство в палате общин, или с положением де Голля, который имел репутацию спасителя отечества и готовил новую конституцию, резко усиливающую власть главы государства. В этой компании он чувствовал себя человеком второго сорта.

Поэтому когда в середине декабря на его стол легло послание Хейса,, где говорилось о том, что по конституции федеральный президент не имеет права баллотироваться на третий срок и что канцлеру следовало бы подумать о кандидате на пост, который он, Хейс, вскоре должен покинуть, Аденауэра вдруг озарило: а нельзя ли устроить так, чтобы президент ФРГ стал в будущем играть ту же роль, какую де Голль предусматривал для президента Французской Республики? Разумеется, при этом он заранее для себя решил, что в таком случае именно он, и никто другой, будет идеальной кандидатурой на этот пост.

Что касается Хейса, то он, конечно, вполне достойно сыграл свою роль. Держал дистанцию от партийных дрязг. Умел найти нужное слово в нужное время в ходе разного рода церемониальных актов. Уроженец Швабии, с мягким говорком, интеллектуал, обладавший тонким чувством юмора, столь отличным от сарказма берлинца или рейнландца, он был симпатичен западным немцам, являя собой приятный контраст тому, кто был реальным властителем их судеб, — жесткому и бескомпромиссному канцлеру.

В новой обстановке, считал Аденауэр, такой тандем уже не годится. Чтобы быть наравне с тем же де Голлем, реальный руководитель ФРГ должен тоже именоваться президентом, ну а канцлер пусть занимается текущими делами внутренней политики. На рубеже 1958 и 1959 годов этот план у Аденауэра уже полностью созрел и принял реальные очертания. Он решил, что будет следующим президентом ФРГ и станет немецким де Голлем. Дальнейшие события показали, что этот план был построен на песке, и попытка осуществить его привела к одному из самых серьезных поражений нашего героя как политика.

ГЛАВА 11.
ХРУЩЕВСКИЙ ВЫЗОВ

> *«Извините меня, господин фон Эккардт, но такую вещь я могу выразить только на моем кёльнском диалекте: юдача юлыбнулась нам опять»*[42]

Войны не должно было быть. Хрущев совершенно определенно высказался на этот счет в ходе встречи с польским лидером Владиславом Гомулкой в ноябре 1958 года, разъясняя суть своего берлинского ультиматума. Он признал, правда: «Конечно, возникнет напряженность, будет блокада. Они могут попытаться испытать нас на прочность. В любом случае от нас потребуется максимум хладнокровия». Для чего Хрущев придумал все это? Не в последнюю очередь для того, чтобы показать себя более твердым орешком, чем его недавно низвергнутые соперники по советскому руководству. Но главная его цель, как он сформулировал ее в разговоре с Гомулкой, заключалась в том, чтобы добиться международного признания ГДР.

Цель Аденауэра была прямо противоположной: любыми путями воспрепятствовать такому признанию. Он понимал, что если контроль над путями доступа в Западный Берлин будет в одностороннем порядке передан властям ГДР, как об этом говорилось в хрущевском ультиматуме, то западным державам, да и самой ФРГ придется иметь дело напрямую с восточными немцами. Это будет означать признание ГДР де-факто. Отсюда, по логике Аденауэра, всего шаг до ее признания де-юре. Но если это случится, то, согласно доктрине Хальштейна, Федеративная Республика должна будет разорвать отношения со своими союзниками по НАТО — ситуация совершенно нелепая, как признавал и сам Аденауэр.

Парижская сессия совета НАТО, состоявшаяся в декабре 1958 года, поддержала жесткую линию Аденауэра. Однако в заключительной фразе коммюнике говорилось о том, что западные державы, «как и ранее, выражают готовность обсудить вопрос» — имелся в виду вопрос, поставленный Хрущевым, — о необходимости изменения статус-кво в Берлине. Это давало Хрущеву желанную зацепку. 10 января 1959 года Советы разослали ноты правительствам всех стран, участвовавших в войне против Германии, с предложением созыва конференции на

уровне глав правительств либо в крайнем случае на уровне министров иностранных дел для обсуждения германской проблемы во всех ее аспектах. К нотам был приложен проект мирного договора, который с германской стороны, как предполагалось, мог быть подписан представителями обоих германских государств либо германской «конфедерации». Имелось в виду, что затем для Германии открывался бы путь к объединению — как стране, которая заняла бы нейтральную позицию между двумя противостоящими блоками.

Новая нота поставила Аденауэра в трудное положение. Он не мог допустить, чтобы его рассматривали как препятствие на пути переговоров между Востоком и Западом. С другой стороны, он не хотел никакого соглашения между западными союзниками и Советами, тем более на тех условиях, которые содержались в советской ноте. Вопрос был в том, на кого он может опереться, отстаивая такую свою позицию. Наименее надежными в этом отношении ему представлялись англичане, и в этом он был абсолютно прав. Отношение Лондона к канцлеру достаточно точно суммировал посол Стил: «Аденауэр в плохой форме; он быстро дряхлеет, что сказывается в его импульсивных реакциях: то он ультрафранкофил и продеголлевец, то наоборот».

Макмиллан, как представляется, был во власти иллюзии, что Аденауэр к нему лично питает некую симпатию. Если таковая и была, то от нее ничего не осталось после того, как 3 февраля посол Стил вручил канцлеру личное послание английского премьера, в котором тот с гордостью сообщал, что в ближайшее время намеревается нанести визит в СССР. В этом послании не упоминалось о том, что английская сторона и не подумала проконсультироваться с союзниками относительно этого проекта и что, соответственно, нет никакой единой позиции Запада по отношению к предстоящим в Москве переговорам, но Аденауэру нетрудно было об этом догадаться.

Чувства, которые испытал Аденауэр, получив это послание, можно определить как смесь бешенства и презрения. Он был взбешен, поскольку подозревал, что Макмиллан уже готовит почву для признания ГДР де-факто. Он испытывал презрение по поводу лицемерия премьера, который пытался внушить, что визит носит-де чисто «информационный» характер, тогда как на деле преследовал цель улучшить рейтинг консерваторов накануне очередных парламентских выборов. Когда он в разговоре с Хейсом посетовал на коварство англичан, тот не смог удержаться от едкого замечания: кому-кому, но только не Аденауэру становиться в позу и осуждать кого бы то ни было за беззастенчивое использование избирательных технологий. У его

собеседника хватило чувства юмора, чтобы оценить меткость этой реплики, — он рассмеялся.

Американцы? Так случилось, что как раз тогда, когда Макмиллан готовился отбыть в Москву, свой последний в жизни тур но западноевропейским столицам совершал американский госсекретарь Джон Фостер Даллес. Незадолго до этого ему делали операцию по удалению грыжи, во время которой выяснилось, что ранее считавшаяся излеченной злокачественная опухоль дала рецидив. Встречая Даллеса во время его визита в Бонн, Аденауэр был поражен, насколько сильно он изменился: перед ним был раковый больной на последней стадии заболевания. Канцлер сразу понял, что это, по всей видимости, их последняя встреча.

Атмосфера самой этой встречи была достаточно мрачной. В противоположность Макмиллану Даллес пребывал в самом воинственном настроении. Он даже говорил о возможности ядерной войны в случае, если Советы не отзовут свой ультиматум. Аденауэр использовал все свое красноречие, чтобы привести Даллеса в чувство, разумно обращая его внимание на то, что ни Англия, ни Франция не пойдут на столь рискованное предприятие, а Соединенные Штаты при всей своей мощи не смогут вести такую войну в одиночку. Однако Даллес игнорировал эти аргументы. Как отметил в своем дневнике Кроне, он был «за ультражесткость». Дело выглядело так, что успокоительный прогноз, данный Хрущевым Гомулке, мог вполне оказаться неверным.

Для Аденауэра все это было чревато самыми серьезными последствиями. Угроза ядерной войны, ставшая вдруг актуальной, ставила его в незавидное положение. С одной стороны, он понимал, что Германия не переживет ядерного столкновения, которое разыгралось бы на ее территории, с другой — как католик и ярый антикоммунист, он просто не представлял себе иного выхода, кроме самого решительного сопротивления советским требованиям.

Помимо всего прочего, вопрос о том, на кого можно положиться, так и оставался без ответа. Англичане явно занимались умиротворительством: Аденауэру оставалось только негодовать по поводу московского паломничества Макмиллана, который в своей потешной белой меховой шапке пытался там изображать из себя великого миротворца. С другой стороны, американцы были не лучше: умирающий Даллес был явно настроен на то, чтобы прихватить с собой на тот свет все человечество. Оставалась третья кандидатура на роль верного и надежного союзника — генерал де Голль, который только что был

избран президентом новой, Пятой республики.

Аденауэр решил организовать срочную франко-западногерманскую встречу. Разумеется, неслучайным был выбор даты ее проведения — как раз тот день, когда Макмиллан должен был вернуться из Москвы. Место, где она должна была состояться — охотничье угодье Марли-ле-Руа, которое де Голль как глава государства успел превратить в одну из своих резиденций, — должно было подчеркнуть ее официальный характер.

На начавшихся 4 марта переговорах Аденауэр выступал в роли жалобщика. Он был, как всегда, недоволен американцами, но главным предметом его сетований было подписанное накануне Макмилланом и Хрущевым совместное коммюнике по итогам визита британского премьера в СССР. Там вновь появился пункт об ограничении вооружений «в подлежащей согласованию части Европы». С точки зрения Аденауэра, это был все тот же «план Рапацкого» — только в слегка замаскированном виде, а этот план был для него анафемой. Де Голль внимательно слушал аденауэровские излияния, явно удовлетворенный тем, что Макмиллан потерял расположение западногерманского канцлера. Аденауэр, со своей стороны, вернулся в Бонн в приподнятом настроении: наконец он нашел настоящего, все понимающего друга. Однако десять дней спустя последовало заявление де Голля о том, что Германия может быть воссоединена только в пределах существующих в настоящее время границ, включая и границу но Одеру — Нейсе. Из списка надежных друзей пришлось вычеркнуть теперь и французского президента.

Обращаться больше было не к кому. Оставалось надеяться только на себя, и в этой ситуации мысли Аденауэра вновь обратились к проблеме укрепления режима личной власти, как это сделал де Голль во Франции. Во время встречи в Марли он сказал де Голлю о предстоящем уходе Хейса с поста президента ФРГ. К этому времени Аденауэр как будто уже отказался от мысли добиваться поста президента: еще 24 февраля он предложил руководству ХДС/ХСС выдвинуть на этот пост кандидатуру Эрхарда, аргументируя это тем, что, мол, нужна сильная фигура, чтобы противостоять кандидату от СДПГ Карло Шмиду; соответствующее решение было поспешно принято. До сих пор не ясно, обговаривал ли Аденауэр этот вопрос предварительно с самим Эрхардом, но так или иначе вскоре выяснилось, что тот вовсе не горит желанием уходить из министров в президенты. Один из биографов Аденауэра, Теренс Притти, приводит высказывание Эрхарда, которое сводится к тому, что канцлер хотел таким образом просто избавиться от него как возможного претендента на его собственный пост, «задвинув»

его на почетное, но политически малозначимое место. Ввиду отказа Эрхарда баллотироваться в президенты вопрос повис в воздухе. В ХДС развернулись споры насчет альтернативной кандидатуры. Упоминались фамилии Кроне, Этцеля, даже Герстенмайера, некоторые высказывали мнение, что надо внести соответствующее изменение в Основной закон, которое дало бы возможность Хейсу остаться еще на один срок. Консенсуса достичь никак не удавалось.

Аденауэр держался в стороне от этих дебатов. Он говорил, что все его внимание как канцлера поглощено проблемами международной политики. Скорее всего это была маскировка, но сама но себе аргументация имела под собой определенные основания. 12 марта в Бонн прибыл Макмиллан, чтобы информировать Аденауэра о ходе и итогах своего визита в Москву. «Мне показалось, что он питает ко мне не самые лучшие чувства, — записал Макмиллан в своем дневнике. — Я был довольно суров с ним». Можно сказать, что и Аденауэр был довольно суров с Макмилланом. Беседы прошли в сухой и малоприятной атмосфере.

При всем при том Аденауэр вынужден был признать, что переговоры с Советами по поводу их берлинского ультиматума попросту неизбежны. Он лишь настаивал, чтобы их предметом был не только берлинский вопрос, а германская проблема в целом. Макмиллан согласился на это, но взамен заставил Аденауэра уступить там, где тому меньше всего это хотелось делать: на запланированной на май конференции министров иностранных дел четырех держав в равном статусе «наблюдателей» должны были присутствовать делегации обоих германских государств. Таким образом, Хрущев в какой-то мере приблизился к той цели, о которой говорил Гомулке: сам факт присутствия на таком международном форуме делегации ГДР означал в его глазах акт ее признания де-факто. Аденауэру пришлось признать здесь свое поражение.

Сам для себя он сделал вывод, что и далее будет проигрывать в диалоге с прочими европейскими лидерами, пока и поскольку его полномочия как лидера будут ограничиваться теми, которые Основной закон определил для лица, занимающего ноет бундесканцлера. Его мысли снова обратились к плану ухода на пост президента с соответствующим расширительным толкованием связанных с этим постом прав и компетенции. 2 апреля в ходе обычной прогулки с Глобке по парку дворца Шаумбург тот поведал ему, что в авторитетных кругах ХДС эта идея активно обсуждается. Оказалось, что и его семья целиком и полностью за то, чтобы он ушел на пост президента: в конце

концов ему уже восемьдесят три года, и он сам говорит, что устал от партийной политики. Пфердменгес во время празднования своей золотой свадьбы дал ему тот же совет. Словом, окружающие, очевидно, правильно уловили направление его мыслей и сделали правильный вывод о том, что Аденауэру понравится, если возникнет впечатление, что эти мысли ему подсказаны со стороны.

Несколько следующих дней Аденауэр провел за изучением прав и обязанностей президента, как они были сформулированы в Основном законе. Он отметил для себя, что президент имеет право предлагать на утверждение бундестагом кандидатуру нового канцлера и получать информацию о всех политических решениях кабинета. С другой стороны, согласно его интерпретации, президент вовсе не обязан был беспрекословно штамповать кандидатуры министров, предлагаемые канцлером, точно так же, как не должен был воздерживаться от заявлений политического характера или «слепо» следовать линии кабинета в вопросах внешней политики. Когда Глобке поведал Кроне о выводах, которые его шеф сделал из своего анализа статей конституции, относящихся к функциям федерального президента, тот записал в своем дневнике: «Первая моя мысль: хочет быть как де Голль?»

7 апреля 1959 года по решению исполкома ХДС/ХСС была создана специальная комиссия, которая должна была определить, кого же все-таки блок собирается выдвинуть в качестве кандидата на пост президента; уроки неудачи с выдвижением кандидатуры Эрхарда были, таким образом, учтены. Появившись на заседании этой комиссии, Аденауэр ознакомил ее членов со своим толкованием вопроса о прерогативах президента и заявил, что готов баллотироваться на этот пост. Присутствовавшие встретили это заявление бурными аплодисментами; особенно радовались те, для кого самое важное в нем заключалось в том, что канцлер наконец-то решил расстаться со своим нынешним постом и, стало быть, как они посчитали, подумывает о постепенном уходе с политической арены. Аденауэр информировал о своем намерении действующего президента Хейса, а затем выступил с телеобращением к нации, в котором заверил своих соотечественников в том, что намерен позаботиться о «сохранении преемственности нашей политики на много лет вперед». Покончив со всем этим, он отправился на вокзал: его ждал месячный отпуск в Канденаббии.

Не успел его поезд тронуться, как в Бонне уже засуетились потенциальные претенденты на канцлерство. Самые очевидные кандидаты — Эрхард, Этцель, Шредер и Штраус — встретились в

доме последнего и договорились, что не будут вести кампанию друг против друга и признают право первоочередного выдвижения своей кандидатуры за Эрхардом. Аденауэр об этой встрече ничего не знал. Иначе его отдых на вилле «Арминио» был бы наверняка испорчен: именно своего министра экономики он менее всего хотел бы видеть во главе кабинета.

Впрочем, его настроение и так было испорчено: он прочел проект директив западногерманской делегации и обнаружил его кардинальную порочность как по форме, так и по содержанию. Авторы документа, по его мнению, высказались в поддержку идеи «зоны безопасности» в Центральной Европе, представив, таким образом, нечто вроде того же «плана Рапацкого», разве только в более завуалированной форме. Свои мысли на этот счет Аденауэр изложил в телеграмме, срочно посланной в Бонн — одной из многих, которыми он бомбардировал оставшихся «на хозяйстве» коллег. Когда эта телеграмма 11 апреля оказалась на столе у статс-секретаря МИДа Хильгера фон Шерпенберга, началась легкая паника. Шерпенберг вместе с Глобке спешно отправились в Канденаббию, чтобы умиротворить разбушевавшегося канцлера. Это оказалось не так легко: он огорошил визитеров своими подозрениями на тот счет, что, мол, в МИД проникли люди, симпатизирующие социал-демократам, их нужно найти и разоблачить, притом немедленно.

Не ограничившись этим, Аденауэр написал личное послание Брентано — документ по-своему уникальный; вряд ли когда-либо в. истории какой-нибудь министр иностранных дел получал от главы правительства подобного рода разносы. На десяти страницах канцлер, можно сказать, отвел душу: нет, он не хочет, чтобы Брентано ушел в отставку (несчастный министр через Глобке передал Аденауэру, что если он утратил доверие канцлера, то готов освободить свое кресло), но в его министерстве пора наконец навести порядок. «Вы беспрерывно болеете, — говорилось в послании Аденауэра, адресованном Брентано. — Половину времени, когда вы должны были заниматься подготовкой (Женевской) конференции, вы провели в отъезде… Ваши отлучки из Бонна стали уже правилом… Вместо того чтобы заниматься своими делами, вы проводите время в своем избирательном округе… Вы выступаете там с бессмысленными речами» — и так далее в том же духе. В заключение министр был проинформирован, что он должен передать руководство делегацией ФРГ в Женеве своему заместителю Греве. Он даже не удосужился объяснить в письме подлинных причин этого решения: Аденауэр не хотел, чтобы его министр иностранных дел сидел за одним столом со своим

коллегой из ГДР Лотаром Больцем; иначе создалось бы полное впечатление, что оба германских государства имеют одинаковую степень международного признания. Вообще говоря, остается загадкой, почему после получения такого письма Брентано сразу же не подал в отставку, а, напротив, вместе с Глобке и Греве 26 апреля сам отправился в Канденаббию улещивать оскорбленного в лучших чувствах старца. Еще раньше, 20 апреля, Аденауэра неожиданно навестили Пфердменгес с супругой. Они решили несколько дней тоже отдохнуть на вилле «Арминио». Отдыха не получилось: Пфердменгес привез с собой послание от Эрхарда, где тот говорил о своей лояльности канцлеру, однако в то же время содержалось недвусмысленное предупреждение Аденауэру: если тот станет президентом, то он, Эрхард, будет добиваться своего избрания на освободившийся пост главы правительства и Аденауэр не должен мешать ему в этом. Более того, Пфердменгес от себя добавил, что он обсуждал этот вопрос с некоторыми политиками первого эшелона из ХДС и ХСС, и те целиком и полностью поддерживают кандидатуру Эрхарда. Хуже всего было то, что и сам гость выступал за то же.

Для Аденауэра все это было как нож острый. Его фаворитом был, как уже упоминалось выше, Этцель — не в последнюю очередь потому, что был фигурой совершенно бесцветной, от которой можно было не опасаться каких-либо неожиданностей. Разумеется, в разговорах с Пфердменгесом говорилось о другом: о том, что Эрхард политически наивен, что он разрушит тонкую ткань франко-западногерманского примирения, что он не продержится и секунды в бурном море международной политики. Нескольких часов этого промывания мозгов оказалось достаточно: Пфердменгес капитулировал, он согласился вернуться в Бонн и убедить Эрхарда не настаивать на выдвижении своей кандидатуры.

На этом история с кандидатурой Эрхарда не закончилась. 2 мая в Канденаббии появились Глобке с Кроне, которые сообщили Аденауэру, что значительное большинство парламентской группы ХДС по-прежнему поддерживает Эрхарда. Аденауэр пришел в состояние крайнего волнения и взорвал очередную бомбу: если на него будут оказывать давление в том плане, чтобы он согласился рассматривать Эрхарда как своего преемника, то он может и пересмотреть свое решение баллотироваться в президенты. Это не очень подействовало. 4 мая, когда Аденауэр уже направлялся обратно в Бонн, его в Баден-Бадене встретил Герман Хехерль, самый влиятельный деятель баварской организации ХСС после Штрауса. Хехерль информировал канцлера, что его партия также выступает за кандидатуру

Эрхарда как будущего канцлера. Раньше позиция ХСС была неопределенной, но теперь все выглядело так, что движение в пользу Эрхарда неудержимо растет и ничего с этим уже не поделать.

С точки зрения Аденауэра, это было плохо само по себе, и еще хуже, поскольку происходило в самое неподходящее время. 11 мая в Женеве открылась конференция министров иностранных дел. Она началась с острого спора насчет формы стола, за которым должны были сидеть участники. Первое заседание пришлось даже отложить, поскольку вызванные но этому случаю столяры так и не получили соответствующих чертежей. В конце концов договорились, что стол будет круглый, но обе германские делегации займут места не за ним, а за двумя приставными столиками по бокам от главного. По поводу такого решения вполне можно было бы посмеяться, так же, как счесть анекдотическим предшествующий ему спор, если бы не одно обстоятельство: по крайней мере в плане символики — а она в политике играет немалую роль — ГДР и ФРГ получили равную степень признания со стороны четырех держав. Хрущев явно расценивал такой результат как победу. Во время состоявшейся 9 июня встречи с Ульбрихтом он заявил: «Они (то есть западные державы. — *Авт.)* прибыли на конференцию и согласились пригласить на нее делегацию ГДР, а это означает признание ГДР де-факто». В этом суждении Хрущева содержалась немалая доля истины. Можно даже сказать, что был сделан шаг и к признанию другого германского государства де-юре — исход, которого больше всего опасался Аденауэр.

Еще до начала конференции произошла смена руководства в госдепартаменте США: Даллес, будучи уже физически не в силах исполнять обязанности госсекретаря, уступил свое место Кристиану Гертеру — личности, почти никому не известной. Аденауэр увидел в этом событии, равно как и в перипетиях работы начавшейся наконец Женевской конференции, желанный повод, дабы остаться на своем посту. 13 мая он имел полуторачасовую беседу с Эрхардом, в ходе которой безуспешно пытался убедить его не выставлять свою кандидатуру на пост канцлера, если он, Аденауэр, все-таки решит стать президентом. 14 мая он уже прямо заявил на заседании кабинета, что международное положение может потребовать от него пересмотра решения об уходе с поста канцлера. 15 мая последовала беседа с Пфердменгесом, который снова отклонился в сторону эрхардовской команды; Аденауэру удалось добиться того, что влиятельный банкир вновь изменил свое мнение. Наконец, 19 мая он отправляет послание Кроне с развернутой критикой

кандидатуры Эрхарда и припиской, говорящей о том, что председатель фракции может использовать это письмо, как он считает это нужным, — намек на то, что послание следует переконировать и раздать всем членам фракции. Говоря проще, готовилась целенаправленная утечка информации.

Аденауэра ждала неожиданность: Кроне не только не выразил согласия с содержанием послания, но и попытался уговорить канцлера изменить свое мнение об Эрхарде. Аденауэр ответил Кроне категорическим контрпосланием: если ХДС действительно собирается выдвинуть Эрхарда в канцлеры, тогда он, Аденауэр, лучше оставит этот пост за собой. Второе послание он адресовал самому Эрхарду, где увещевал его поставить интересы нации выше личных и остаться министром экономики. Эрхард сухо проинформировал канцлера, что его планы не изменились.

25 мая пришла весть о кончине Даллеса. Женевская конференция по этому случаю была прервана, поскольку западные министры решили отправиться в Вашингтон на похороны. Туда же отбыл и Аденауэр. До своего отъезда он успел поприсутствовать на заседании парламентской группы ХДС/ХСС, которое приобрело довольно бурный характер. Герстенмайер потребовал от Аденауэра, чтобы тот сделал заявление о том, что «при любых обстоятельствах» останется при своем решении баллотироваться в президенты. Ответ Аденауэра последовал незамедлительно: он, конечно же, не будет делать такого заявления. На следующий день он вылетел за океан.

30 мая он вернулся и, выждав слегка (он любил поиграть на нервах у других), 4 июня направил Кроне и Хехер-лю послания, где официально отзывал свою кандидатуру на президентский пост. Там он, в частности, выражал сожаление, что все перипетии этой истории были вынесены на публику, «причинив серьезный ущерб нашей партии и нашему делу», — как будто не он сам объявил во всеуслышание о своем плане «обмена» канцлерства на президентство.

Другое послание адресовалось опять-таки главному конкуренту — Эрхарду; в копии с его содержанием были ознакомлены также Кроне и Хехерль. Это последнее послание было выдержано в духе отеческого наставления: Аденауэр выражал надежду, что Эрхард будет по-прежнему лоялен ему как член кабинета канцлеру и они вместе проведут еще одну очередную предвыборную кампанию и ее, конечно же, выиграют, что он желает ему всего наилучшего, чтобы он не изнурял себя непосильной нагрузкой и вдобавок чтобы сохранил этот текст в тайне ото всех. Эрхард наверняка воспринял это послание как издевательство, тем более что оно было направлено на его

домашний адрес в Германии, тогда как Аденауэр наверняка знал, что его министр экономики незадолго до этого уехал в США получать почетные степени в двух университетах.

История с несостоявшимся президентством Аденауэра на этом не закончилась. Оставались еще две проблемы: во-первых, кому же все-таки быть кандидатом в президенты от ХДС и, во-вторых, как объяснить все эти шараханья внешнему миру. Что касается первой проблемы, то Аденауэр потерял всякий интерес к ее решению. Когда кто-то предложил кандидатуру министра сельского хозяйства Генриха Любке, он сразу выразил свое полное согласие, хотя и считал его полнейшим ничтожеством. Известно его высказывание о Любке одному из западных журналистов, сделанное на каком-то приеме: «Знаете, кто это там, через два человека от нас? Это мой министр сельского хозяйства, и, между прочим, он еще глупее того, что был раньше». Аденауэр рассуждал просто: раз ноет президента остается чисто представительским, то не все ли равно, кто его займет? Тем более что выдумывать ничего нового не нужно, достаточно следовать образцу поведения, уже выработанному Хейсом.

Сложнее было дело со второй проблемой. Пресса приняла исход истории с самовыдвижением, а затем самоотводом Аденауэра в штыки. В многочисленных статьях писалось об антидемократизме Аденауэра, о его безответственной игре вокруг высшего государственного поста республики, об очевидном и циничном стремлении любыми средствами удержать в своих руках бразды власти, наконец, просто о его старческом слабоумии. Во всех этих обвинениях в той или иной степени имелось рациональное зерно, что придавало особую силу антиаденауэровской кампании в печати. Коллеги-политики тоже не могли сдержать возмущения; Хейс, например, заметил, что Аденауэр просто-напросто «лгал ему» (доверив, правда, эти слова только своему дневнику).

Реакция вне Германии была не лучше. В дневнике Макмиллана мы читаем по этому поводу: «Аденауэр, как представляется, стал мишенью нападок в прессе всего мира. Даже французы, по-моему, шокированы. Американцы вообще сбиты с толку, а ведь Аденауэр всегда был их любимцем». В этих заметках чувствуется скрытое удовлетворение британского премьера трудным положением, в которое попал западногерманский лидер. На это у него были свои основания: со времени его московского визита уровень отношений между обоими государственными деятели упал до нулевой отметки. Макмиллан отзывался об Аденауэре как о вздорном старике, склонном к разным беспочвенным подозрениям и поискам козлов отпущения за

собственные ошибки, а тот, в свою очередь, не скупился на ответные выпады: англичане, мол, «ведут грандиозную кампанию лжи и клеветы, причем я — их главная мишень»; кстати, и свое решение остаться на посту канцлера он объяснил «слабостью, проявленной англичанами в отношении России».

Эти аденауэровские инсинуации вряд ли заслуживают комментария, что же касается высказываний Макмиллана, то со многим в них можно согласиться. Это относится, в частности, к замечанию насчет поисков козлов отпущения. В числе таковых оказались, к примеру, Кроне и Хехерль, которые якобы обнаружили неспособность руководить парламентскими группами своих партий. Между тем как раз Кроне принадлежит главная заслуга в том, что протестные настроения депутатов, в том числе и от правящей коалиции, вскоре приутихли. Более того, материалы, посвященные аденауэровской афере с несостоявшимся президентством, через две-три недели практически исчезли из колонок популярных газет и журналов. Это тоже была работа Кроне, который, по его собственным словам, «не получил ни слова благодарности» за свое усердие.

Как бы то ни было, а Аденауэру удалось благополучно выпутаться. На официальных приемах он отныне говорил почти исключительно о своих розах, о том, что пропали старые ценные сорта типа «Маршал Ниль» или «Слава Дижона», причем голоском расслабленным и почти нежным. Когда кто-нибудь спрашивал его о недавнем скандале с президентством, он отделывался фразой вроде того, что через неделю-две все об этом забудут.

И впрямь — все пошло так, как будто этого скандала и не было. Любке был благополучно избран на пост, которого еще недавно домогался бундесканцлер, а тот решил полностью сосредоточиться на событиях, которые разыгрывались на Женевской конференции. Ситуация там была запутанная. Советы, как представляется, решили, что они уже и так достаточно получили и потому не стоит «дожимать» противника. В той же беседе с Ульбрихтом 9 июня Хрущев увещевал собеседника: «Когда противник повержен и лежит на земле, не надо пинать его ногами». Конференция, считал он, никаких ощутимых результатов не даст — кроме тех, что уже достигнуты: признание ГДР де-факто плюс принципиальная готовность Запада вести переговоры с СССР о Берлине и будущем Германии. Теперь, по его мнению, пора подумать о «предохранительном клапане».

Срок хрущевского ультиматума истекал 27 мая, однако советская делегация в Женеве как будто забыла об этой дате. Более того, непонятным образом Советы отвергли компромиссное предложение западных держав о готовности иметь дело с

восточными немцами, рассматривая их как «агентов», а вернее сказать, представителей, или «заместителей», советских властей в Берлине. В качестве альтернативы советская сторона выдвинула идею создания общегерманского комитета, который должен был через год представить на рассмотрение четырех министров согласованную позицию по основным аспектам германской проблемы. Затем этот срок был увеличен до полутора лет. Однако в случае недостижения немцами такой согласованной единой точки зрения (что было, разумеется, самым вероятным вариантом) Хрущев оставлял за собой право заключить сепаратный мирный договор. Впрочем, насколько серьезно он сам рассматривал такую перспективу — это все еще вопрос спорный. Недавно введенная в научный оборот запись другой беседы советского лидера с Ульбрихтом, от 19 июня 1959 года, позволяет в этом усомниться. Там Хрущев отметил: «Я не знаю, сумеем ли мы довести до конца дело заключения мирного договора с ГДР. Но уже сама такая перспектива оказывает отрезвляющее воздействие на западные державы и на Западную Германию. Держать над ними своего рода дамоклов меч, давить на них, если хотите, — вот что мы должны делать». При такой постановке вопроса неудивительно, что к началу июля конференция, по существу, выдохлась. Аденауэр, естественно, ощутил облегчение.

Он уже строил планы на отпуск, но все карты ему спутал американский президент, предпринявший в августе обширное европейское турне. Сама по себе его цель — объяснить союзникам но НАТО мотивы неожиданного приглашения Хрущеву посетить США с официальным визитом — была, впрочем, вполне оправданной. Бонн не был включен в первоначальную программу этого турне. Макмиллан пригласил было Аденауэра прибыть в Лондон, где он и мог бы пообщаться с Эйзенхауэром, но Аденауэр счел это для себя неприемлемым. Ему пришлось обратиться к президенту США с личной просьбой — сделать краткую остановку в Бонне, хотя необходимость о чем-то просить союзника, очевидно, тоже воспринималась им как унижающая его достоинство. Сама но себе встреча носила чисто церемониальный характер; ни у того, ни у другого ее участника не было ничего особенного сказать друг другу. Речь с американской стороны шла исключительно о том, чтобы не обидеть старого друга. Это было главным мотивом тогдашнего появления Эйзенхауэра в Бонне. Впрочем, благодаря искусной режиссуре фон Эккардта визит можно было даже назвать успешным.

Со стороны Аденауэра уплаченной за визит ценой была отсрочка отъезда в Канденаббию. Лишь 28 августа он сумел добраться до миланского аэропорта Мальненса. Однако он

получил достойную компенсацию за поздний приезд: ему впервые удалось снять себе особняк с усадьбой, которые устраивали его на все сто процентов. Это место — вилла «Коллина» — стала постоянным местом его отдыха на всю оставшуюся жизнь, по сути, его вторым домом. Владельцы виллы — французская семья — были счастливы, что их дом и участок облюбовало такое высокопоставленное лицо, и готовы были предоставить их в его полное распоряжение на любой срок в любое время года. Вилла располагалась — и располагается поныне — на одном из окружающих озеро Комо холмов; оттуда открывается прекрасный вид на окружающую местность. Сам дом, построенный в конце XIX века, достаточно велик, его даже вполне можно назвать дворцом. Для своего времени вилла считалась, видимо, весьма элегантным архитектурным ансамблем: тонкая вязь железных решеток на балконах верхних этажей, изящные арки первого этажа, через которые можно пройти в нижний парк, террасы, спускающиеся к мощной ограде — надежной защите от зевак и папарацци, все в стиле рококо (или под рококо), как это было модно тогда, когда усадьба застраивалась. Новой секретарше Аденауэра, госпоже Аннелизе Попинге, начавшей работать у него с 1958 года, дом, правда, не показался «комфортабельным». Но сам Аденауэр не был привычен к комфорту, если судить по его рендорфскому обиталищу.

Во всяком случае, его вполне устраивал парк-сад. Вокруг дома — пальмы, кедры и кипарисы. По стенам вились побеги вистерий и бугенвиллей. Разумеется, в изобилии клумбы с розовыми кустами. На укрытых от ветра площадках росли вишневые и лимонные деревья, яблони; весной все было в цвету, осень приносила богатый урожай плодов. Наконец, имелась большая площадка для «бочча» — там по. вечерам Аденауэр соревновался в меткости со своими гостями.

В 1959 году Аденауэр провел на облюбованном им участке всего две недели. 12 сентября он уже был в Бонне. Сентябрь и октябрь не принесли особых забот. Союзники активно обсуждали между собой вопросы, относившиеся к планировавшейся на следующую весну конференции четырех великих держав на высшем уровне, однако для канцлера ФРГ места на этих форумах не находилось. 29 сентября де Голль выдвинул идею созыва предварительного саммита трех западных держав в декабре 1959 года, в котором, как он выразился, «на более поздней стадии мог бы принять участие Аденауэр». Короче говоря, в клубе «большой тройки» он был лишним.

В это время Аденауэру пришла в голову мысль несколько оживить практически замороженные отношения с

Великобританией и лично с ее премьером. Была достигнута договоренность о его очередном визите в Лондон. Он был запланирован на ноябрь. 17 ноября западногерманская делегация — канцлер, министр иностранных дел Брентано, большая свита — прибыла в столицу Англии. Программа была довольно напряженная: достаточно сказать, что первая беседа с Макмилланом состоялась уже в день прибытия делегации. Премьер принял своего западногерманского коллегу в старом здании казначейства, где как хозяин старательно объяснял гостю, некогда проходили заседания кабинета министров, на которых в качестве председателя фигурировал сам монарх. Это было во времена королевы Анны, преемник которой, Георг I, был выходцем из Ганновера, говорил исключительно по-немецки и не желал учить английский. Об этом Макмиллан также подробно поведал Аденауэру, рассчитывая, видимо, что того развлечет этот исторический экскурс в область немецко-британских отношений.

Вообще говоря, английская сторона тщательно подготовилась к этому визиту. Посольство в Бонне старалось собрать как можно больше информации о личных качествах и внутреннем мире Аденауэра и снабдить ею тех, кому предстояло вести с ним официальные переговоры. Представляет интерес, в частности, отчет одного из британских промышленников о встрече с министром аденауэровского кабинета Зигфридом Бальке, который, что несколько странно, сам попросил себя проинтервьюировать. На основе высказываний Бальке был составлен следующий психологический портрет нашего героя: «Аденауэр — очень плохой слушатель. Он принадлежит к старой школе государственных деятелей, для которых политика существует ради самой политики; она имеет в их глазах некую традиционную самодовлеющую самоценность, и именно поэтому он так обожает де Голля. Римский договор для него — это католический альянс, созданный для того, чтобы возродить империю Каролингов в форме «третьей силы», оплота против коммунистов, с одной стороны, и против иностранцев-еретиков,, с другой. Британцы, будучи протестантами, для него, безусловно, относятся к этой второй категории, и со времени визита премьер-министра в Москву он полон подозрений относительно нашей трапезы с дьяволом вне зависимости от того, насколько длинной ложкой мы при этом пользуемся». Эта характеристика, разумеется, несколько одностороння, в ней явно преувеличена склонность Аденауэра к мышлению в духе «третьей силы» — он был твердым сторонником НАТО, однако она отражает широко распространенное. в свое время мнение.

Возвращаясь к лондонскому визиту федерального канцлера,

можно отметить, что он прошел в целом неплохо. На Макмиллана должное впечатление произвела жизненная энергия его 83-летнего собеседника, буквально брызжущая через край. Все разговоры о старческой немощи и слабоумии оказались ерундой. Макмиллан решил откровенно высказать бундесканцлеру свои претензии за его уколы но адресу английской политики. В своем дневнике премьер отметил, что Аденауэр, «как казалось, был удивлен и рассержен, однако Брентано и его люди получили явное удовольствие от моей прямоты». На следующий день переговоры были продолжены и вроде бы шли вполне удовлетворительно, но запись в дневнике Макмиллана о поведении аденауэровских подчиненных носит уже иной характер: «Главная проблема состоит в. том, что они все боятся его как огня».

Визит залечил кое-какие старые раны, но англо-западногерманские отношения так и не достигли уровня той сердечности, какая была свойственна им до 1958 года. Вскоре открылись новые раны, причем в отношениях ФРГ не только с Великобританией, но и с двумя другими западными державами — США и Францией. 19 декабря начал работу созванный по инициативе де Голля «западный саммит» — без Аденауэра. В повестке дня этой встречи была выработка общей позиции на предстоящей конференции в верхах с Хрущевым, предполагалось определить и дату ее проведения. Поскольку главным пунктом повестки дня был германский, Аденауэр имел все основания быть обиженным, что его не допустили к участию в соответствующих дискуссиях. Дело, однако, было в том, что де Голль и Макмиллан хотели обсудить с американским президентом более широкий круг вопросов, нежели только германский; де Голль, в частности, отнюдь не оставил своего плана создания «трехстороннего директората» в НАТО; ФРГ в данном случае была на положении третьего лишнего.

Аденауэра пригласили в Париж, только чтобы проинформировать его о результатах тройственного саммита. От де Голля он узнал, что форум прошел «очень хорошо» и что совещание четырех держав на высшем уровне намечено на май 1960 года. Аденауэр пытался убедить представителей трех западных держав не идти ни на какие изменения сложившегося статуса Берлина, то есть фактически вернуться к позиции, которую они занимали до Женевского совещания министров иностранных дел. Между тем американцы после смерти Даллеса как раз стали проявлять интерес к различным планам и сценариям нового будущего для Берлина. Самому Эйзенхауэру уже до смерти надоели скучнейшие лекции Аденауэра насчет

угроз, исходящих от «атеистического коммунизма». Тот же Макмиллан, записывая свои впечатления о встрече трех западных лидеров с Аденауэром, состоявшейся в тот же день, 19 декабря 1959 года, отметил: «Президент был очень тверд и даже грубоват. Его, что называется, «достали». Получив слегка по шапке, немецкий канцлер смешался и больше не брал слова». Словом, Аденауэру дали понять, кто есть кто и что он не принадлежит к клубу избранных.

1959 год, таким образом, заканчивался для Аденауэра на слегка меланхолической ноте. Ко всем неприятностям добавился взрыв неонацистских проявлений в Западной Германии. Накануне Рождества двое молодых парней, ученик пекаря Арнольд Штрунк и конторский служащий Пауль Шенен, изукрасили свастиками только что построенную синагогу в Кёльне и памятник участникам антигитлеровского движения Сопротивления. Подобные же инциденты были зафиксированы и в других городах ФРГ. Контрразведка заподозрила за ними руку спецслужб ГДР, которые-де таким образом хотели скомпрометировать западногерманское государство, представив его в виде «заповедника для нацистов». Как бы то ни было, в Европе и США поднялась волна возмущения но поводу этих расистских акций. Аденауэр выступил со специальным радиообращением к нации, где, между прочим, выразил мнение, что лучшим методом наказания виновников случившегося была бы хорошая порка. Теперь уже пресса обрушилась на него за игнорирование юридических норм и призыв к физическому насилию. В общем, Аденауэр встретил Рождество и Новый год не в лучшем настроении. Собравшиеся в Рендорфе дети и внуки так и не смогли его улучшить.

Наступало новое десятилетие. Мир начал быстро меняться. Подросло поколение, которое не участвовало в войне. Даже у ее участников воспоминания о ней стали постепенно отходить на задний план. Западная Европа стала зоной мира и процветания. Особенно это относилось к ФРГ. Молодежь 60-х ощущала потребность наслаждаться жизнью, танцевать, веселиться, но в то же время в ее среде проявились тенденции юношеского идеализма и стремления к критической переоценке прошлого отцов. Старые заслуженные лидеры, такие как де Голль, Макмиллан, Эйзенхауэр и, конечно же, Аденауэр, стали восприниматься как осколки старого мира, как живой анахронизм.

На политической сцене появились новые актеры. Если говорить о Западной Германии, то у социал-демократов, которые на съезде в Бад-Годесберге в 1959 году окончательно расстались с

остатками марксистской идеологии, это были Вилли Брандт и Гельмут Шмидт, у свободных демократов — Эрих Менде. Словом, в ретроспективе можно сказать, что год 1960-й положил начало мощным тектоническим сдвигам в политической культуре и практике западного мира. Караван пошел вперед.

Изменения проявились в самых разных формах. В Западной Германии начали поднимать голову левые. Во время посещения Аденауэром Кёльнского университета трехтысячная толпа студентов блокировала ему проход; собравшиеся дружно скандировали лозунги с требованиями отправить в отставку Оберлендера и Глобке, нацистское прошлое которых было общеизвестным фактом. Либеральный журнал «Шпигель», который еще в 1954 году поддерживал Оберлендера, развернул против него широкую разоблачительную кампанию. Оберлендеру пришлось уйти, и Аденауэр пальцем не пошевелил, чтобы его защитить. Еще несколько лет назад такое трудно было себе даже представить. Освистать почтенного канцлера в университете, который был им основан, — это еще куда ни шло, но чтобы газетчики и журналисты могли свергнуть министра, такого раньше никогда не бывало.

Аденауэр, но правде говоря, просто не знал, что делать в этой совершенно новой для него ситуации. Он был воспитан в прусских традициях дисциплины и послушания старшим. Верно, в 1960 году он все еще имел за собой поддержку значительного большинства западногерманского электората, его все еще воспринимали как лидера, который вывел страну из пропасти, поднял ее к вершинам процветания, обеспечил ей уважение мирового сообщества. Но, к чести его будет сказано, он понимал, что это большинство может растаять, как весенний снег, что его подтачивают некие мощные подводные течения.

Рецепт, который он придумал для преодоления внутренних трудностей, был прост: не нужно тратить силы на борьбу с ними, надо повысить международную репутацию своей страны и свою собственную, и молодежь убедится, что и в их стране не так плохо, и лидер у них вполне уважаемый и хороший. Именно такую цель преследовал Аденауэр, планируя на март — апрель 1960 года свои визиты в США и Японию. Была сформирована огромная делегация: он сам, Брентано, Эккардт, свыше тридцати высокопоставленных правительственных чиновников и дипломатов, включая тех, что входили в состав посольств в Вашингтоне и Токио, плюс представители семьи — сын Конрад и дочь Лотта, обе его секретарши — Аннелиза Попинга и Ханнелора Зигель плюс многочисленные корреспонденты. 12 марта вся эта армада поднялась в воздух из аэропорта Бонн-Ванн.

Шестнадцатью часами позже «Локхид-Суперконстеллейшн» благополучно приземлился в скованном жутким морозом нью-йоркском аэропорту Айлдуайлд. Большую часть полета Аденауэр провел в кабине пилотов. В молодости он получал удовольствие от быстрой езды, теперь его, как ребенка, привлекали сложные и непонятные постороннему детали управления огромным лайнером. Он явно наслаждался своими зарубежными вояжами — не в последнюю очередь прелестями комфорта и сервиса в дорогих современных отелях.

Его турне состояло из серии церемониальных актов и публичных выступлений, о которых, разумеется, подробно писала западногерманская пресса. Особо следует сказать об одной встрече, значение которой вышло далеко за рамки внешней символики; речь идет о состоявшемся в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» свидании с премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом. Эта встреча способствовала повышению политического рейтинга Аденауэра в мире и в своей собственной стране. Но, пожалуй, не меньшее значение имел тот ее аспект, о котором тогда никто не знал и о котором молчала пресса: о военных поставках для израильской армии.

Собственно, такие поставки начались еще в 1957 году. Тогда соответствующие переговоры с израильскими представителями вел министр обороны ФРГ Штраус — разумеется, с полного согласия канцлера. С юридической точки зрения сделка была абсолютно незаконной. Производство соответствующих видов вооружения оплачивал бундесвер, а затем все списывалось как похищенная собственность (о чем даже представлялись соответствующие данные в полицию) и отправлялось в Израиль через Марсель (французские власти предпочитали закрывать глаза на эти, по сути говоря, контрабандные операции). Теперь Бен-Гурион хотел расширения списка поставляемых предметов военной техники, в него должны были войти подводные лодки, приспособленные для применения в условиях Средиземного и Красного морей («того типа, как Германия строит для Балтики», — записал присутствовавший при встрече вездесущий Глобке), противотанковые управляемые ракеты и вертолеты. Аденауэр, проконсультировавшись со Штраусом, выразил свое согласие. Сомнительному предприятию был дан зеленый свет.

Из Нью-Йорка аденауэровский «Локхид-Суперконстеллейшн» отправился в Вашингтон, оттуда — в Сан-Франциско, а затем — на Гавайи. «Я никогда не видел такого количества четырехзвездных американских генералов, собравшихся вместе», — заметил но этому случаю Аденауэр. Двухдневный отдых — и долгий и утомительный перелет в Японию, с краткой

промежуточной посадкой на острове Уэйк.

Пребывание на японских островах представляло собой, по существу, типичный образец оплачиваемого государством туризма. Разумеется, были встречи и беседы с японским премьер-министром Нобусуке Киси, но, поскольку предметом обсуждения были в основном вопросы торговли и коммерции, Аденауэр особого интереса к их ходу не проявлял. Больше его заинтересовали мнения хозяев о тенденциях развития Китая — эта страна всегда его привлекала. Апогеем визита было посещение дома бывшего премьера Сигеру Иосида, который показал ему предмет своей гордости — темно-красную розу «Конрад Аденауэр».

Из Японии «Локхид-Суперконстеллейшн» направился обратно в Бонн. Перелет с промежуточными посадками в Анкоридже на Аляске и Кефлавике в Исландии занял двое суток. Дома усталого, но приятно взволнованного канцлера ждала новая проблема. Еще когда Аденауэр был в Вашингтоне, новый государственный секретарь США Гертер ознакомил его с планом воссоединения Германии, разработанным на этот раз в штаб-квартире НАТО в Париже. Его ядром была идея создания «зоны контроля» в Центральной Европе, которая, как предусматривалось, должна была включить в себя, помимо двух германских государств, территории стран Бенилюкса, Дании, Норвегии, Польши и Чехословакии. Аденауэр сразу же сказал Гертеру, что план никуда не годится: он ничего не говорит о контроле над воздушным пространством, не защищает страны-участницы от ракетного нападения, из трех тысяч «контролеров» половину должны дать Советы, а это значит, что они облазят все уголки ФРГ, наконец, весь план — это акт замаскированного признания ГДР.

5 мая в Бонн прибыл генерал Норстед с миссией проинформировать канцлера ФРГ обо всех деталях именно этого плана, который, как он дал понять, будет представлен на обсуждение совещания четырех великих держав на высшем уровне, которое должно через одиннадцать дней состояться в Париже. Проект мыслился как уступка интересам безопасности СССР, за которую надеялись получить с его стороны согласие на компромиссное решение берлинского вопроса. Разговор продолжался ровно полтора часа, после чего Аденауэр сухо распрощался с визитером и сел писать возмущенное письмо де Голлю: план он категорически отвергает, просит французского президента поддержать его в этом. Де Голль поспешил заверить Аденауэра, что он на его стороне. Никто из них не знал, на какие еще уступки могут пойти американцы. Оба ощущали присутствие дамоклова меча, который Хрущев занес над Западом.

Намеченному на 15 мая саммиту так и не суждено было состояться. 1 мая советская ракета сбила в районе Свердловска американский разведывательный самолет «У-2». В речи на сессии Верховного Совета 5 мая Хрущев по максимуму использовал этот инцидент для разоблачения «американского империализма». Впоследствии выяснилось, что пилот попал в руки советских властей и признал, что выполнял шпионскую миссию над советской территорией. Для американцев не могло быть новости более неприятной. Эйзенхауэр, Гертер, Пентагон — все изложили разные версии случившегося, каждая из которых противоречила другим, а Хрущев, как это выразил Макмиллан в своей дневниковой записи за 7 мая, «выступил с парой весьма забавных и пропагандистски эффектных речей, из которых следовало, что американцы не умеют ни вести разведку, ни убедительно врать».

Тогда саммит еще можно было спасти при том непременном условии, чтобы американский президент держал язык за зубами. Вместо этого на состоявшейся 11 мая пресс-конференции он заявил, что «У-2» действительно совершали полеты над советской территорией, что эти полеты имели целью фотографирование советских наземных объектов и что все это делалось с его ведома и одобрения. Хрущев оказался в нетерпимом положении, из которого он уже не мог выпутаться с помощью пары шуточек: его позиции в кремлевской иерархии оказались под угрозой. В Париж он приехал, но 15 мая, в тот самый день, когда главы правительств должны были начать свою работу по развязыванию узлов международных конфликтов, советский лидер выдал нечто, что, по характеристике того же Макмиллана, представляло собой «смесь оскорблений, площадной ругани и юридической аргументации — весьма неприятное зрелище». В речи Хрущева содержалось требование отложить саммит на шесть — восемь месяцев, до окончания президентства Эйзенхауэра. В контексте данной книги интересно заметить, что он назвал лидеров западных держав «аденауэровскими прихвостнями», а западных корреспондентов — «аденауэровской сворой».

Нечего и говорить, насколько Аденауэр был обрадован таким исходом несостоявшегося саммита. Это означало, что по крайней мере до конца года по германскому вопросу не будет ничего делаться и даже говориться. До этого момента мир стал свидетелем обострения холодной войны и нескольких международных кризисов: на Кубе власть захватил Фидель Кастро, разразились беспорядки в Конго, произошла революция в Лаосе. Аденауэра это не особенно трогало: в самом чудесном расположении духа 25 мая он отправился в отпуск На виллу «Коллина» в Канденаббии.

Отдых выдался спокойным. Дважды приезжал Жан Моннэ, чтобы обсудить вопросы отношений между европейским Общим рынком и Европейской зоной свободной торговли: все-таки пожелает или нет Великобритания присоединиться к ЕЭС? Сам Аденауэр сделал вылазку в соседнее Менаджио, чтобы отобедать с голландским дипломатом Дирком Стиккером, ставшим впоследствии генеральным секретарем НАТО. Однажды канцлера навестил итальянский министр иностранных дел Антонио Сеньи. В остальном — только партии в «бочча» и тихий отдых с родными и особо доверенными помощниками. 18 июня Аденауэр вернулся в Бонн, сохранив и даже приумножив свой благостный настрой.

Надолго его не хватило. В конце июня Мишель Дебре, французский министр обороны, выступил с речью в Национальном собрании, где вновь гальванизировал идею «тройственного директората» для НАТО. Он имел неосторожность высказаться в том смысле, что в современном мире государства, не располагающие потенциалом ядерного оружия, обречены быть сателлитами той или иной ядерной державы. Аденауэр усмотрел здесь очередную попытку унизить Федеративную Республику и обратился с протестом прямо к де Голлю. Тот ответил примирительным посланием, где содержалось приглашение на личную встречу в Рамбуйе.

29 июля Аденауэр вновь в дороге — на этот раз в Париж. В Рамбуйе де Голль тепло приветствовал его на ступенях своей резиденции — все очень напоминало их первую встречу в сентябре 1958 года. На сей раз Аденауэр был в более боевом настроении; быстро закончив обмен любезностями, он сразу взял быка за рога: как он, де Голль, мог позволить своему министру произносить такие речи? Хозяин попытался заверить гостя, что тот ошибается, думая, что Дебре хотел как-то задеть западных немцев; он имел в виду угрозу интересам Франции со стороны англичан и американцев. Однако Аденауэр смягчился лишь тогда, когда де Голль заявил ему, что не видит причин, почему бы Федеративной Республике самой не обзавестись ядерным оружием.

Аденауэр изложил содержание некоторых из этих бесед британскому премьеру Макмиллану, который, в свою очередь, 10 августа прибыл в Бонн с официальным визитом. Он поведал гостю также об общем у него с де Голлем мнении, что создаваемая Хальштейном брюссельская бюрократия пытается присвоить себе слишком много властных полномочий, что следовало бы активизировать работу Совета министров ЕЭС, что они оба против превращения сообщества в федеративное государство, что ассамблея ЕЭС должна состоять из делегатов,

избираемых национальными парламентами, и т.д. О чем не рассказал Макмиллану, так это о том, что он добился от де Голля принципиального согласия на превращение ФРГ в будущем в ядерную державу. Не стал он откровенничать и по поводу того, что никто среди его коллег по кабинету и других высокопоставленных лиц не разделяет его восторга но поводу голлистской модели европейского будущего — ни Кроне, ни Брентано, ни Штраус, ни Герстенмайер, ни, естественно, Эрхард со Шредером, не говоря уже о Бланкенхорне, — и что даже верный Глобке не совсем согласен с ним по этому вопросу.

Вскоре различия в подходах к делу европейского строительства вылились в трудную проблему выбора между различными внешнеполитическими опциями. Когда от Бланкенхорна поступила информация о планах французского правительства внести изменения в Римский договор и вывести свои вооруженные силы в мирное время из подчинения верховному командованию НАТО, это вызвало болезненную реакцию со стороны большей части министров боннского кабинета. Аденауэр счел за благо в этих условиях отойти от линии на безоговорочную поддержку голлистских инициатив.

Дилемма, перед которой он оказался, была действительно не из легких. Если бы он поставил свои отношения с де Голлем во главу своих внешнеполитических приоритетов, то ему следовало бы поддержать его планы в отношении ЕЭС и НАТО. Напротив, если главным для него стала бы ориентация на НАТО и американский «ядерный зонтик», то это потребовало бы отмежевания от идей де Голля и покорного следования за «англосаксами». Совместить то и другое было невозможно. Очередной отпуск в Канденаббии, куда Аденауэр отправился 27 августа, он посвятил обдумыванию сложившейся ситуации и поискам выхода из нее.

Еще до отъезда, 15 августа, он отправил личное послание де Голлю, где рекомендовал ему умерить свои амбиции но части планов реформирования НАТО. Косвенным ответом на него стала пресс-конференция, устроенная де Голлем 5 сентября. Там он, по существу, повторил то, что уже говорил Аденауэру на июльской встрече в Рамбуйе: компетенция Европейской комиссии должна быть урезана в пользу национальных органов, а структура НАТО должна быть перестроена с учетом национальных различий его членов, другими словами — в интересах Франции. Аденауэр вполне мог бы и не писать — его послание было полностью проигнорировано.

Незадолго до окончания отпуска канцлера в Канденаббии посетили итальянский премьер Аминторе Фанфани, Бланкенхорн,

Спаак и Норстед. Все они в один голос требовали от Аденауэра решительного отречения от голлистской ереси. Тот все еще колебался.

5 октября в Бонн прибыл Дебре в сопровождении Кув де Мюрвиля и ряда других официальных лиц. Незадолго до этого Аденауэр получил послание президента Эйзенхауэра, в котором прямо говорилось, что любые попытки ограничить прерогативы интегрированной командной структуры НАТО вынудят США начать вывод своих войск из Европы. С другой стороны, как раз во время визита Дебре в Бонн де Голль выступил в Гренобле с речью, где в очередной раз заявил, что единственной реальностью на политической карте Европы является национальное государство, а не какие-либо наднациональные образования. Прямое столкновение двух концепций было налицо.

Аденауэр наконец решился на трудный выбор. Он сообщил Дебре, что Федеративная Республика не может следовать за де Голлем по пути национализма и что он за сохранение существующей структуры НАТО. Для французской стороны это был сильный удар. Заключительный ужин во дворце Шаумбург пришлось отложить на час, пока французы не высказали все, что они думают о повороте в политике ФРГ, а западногерманская сторона пыталась оправдываться. Сам ужин проходил в ледяной атмосфере; хозяева и гости почти не разговаривали друг с другом.

Аденауэр спохватился, что зашел, видимо, слишком далеко, раскрыв все свои карты. На следующее утро при отъезде французской делегации он был сама любезность и даже подарил Дебре свое фото с дарственной надписью, что, видимо, должно было считаться высшей почестью. Вместе с тем в послании де Голлю он вновь подтвердил тезис о том, что холодная война вступила в самую опасную фазу и в этой ситуации особенно важно сохранить единство НАТО. В качестве уступки он выразил согласие с французским предложением о проведении в декабре в Париже совещания стран «шестерки» для обсуждения проблем их дальнейшего сотрудничества. Однако появившаяся трещина во франко-западногерманских отношениях продолжала расширяться. Де Голль в разговоре с Дебре отозвался об Аденауэре достаточно жестко: он, мол, теперь заодно с «англосаксами».

Совещание стран ЕЭС собралось только в феврале следующего, 1961 года. Причиной стала болезнь Аденауэра. В ноябре у него начался сильный кашель, который не поддавался никаким лекарствам. Аденауэр перенес простуду на ногах, в результате чего она перешла в бронхит, ему пришлось перейти на

постельный режим. Он проболел всю вторую половину декабря и большую часть января. День ангела, Рождество, день рождения — все эти праздники прошли в несколько мрачноватой атмосфере. Родственники и немногие посетители отметили, что он похудел и на лице появились новые морщины, особенно на лбу.

Новый, 1961 год начался, таким образом, неважно. По-прежнему шли разговоры о его возрасте, о том, как долго он останется на своем посту и какие результаты принесут очередные выборы в бундестаг, намеченные на сентябрь. Всеобщее внимание привлекло к себе сенсационное событие в политической жизни США: там президентом был избран представитель нового поколения политиков Джон Фитцджеральд Кеннеди. В политических кругах ФРГ и за ее пределами все более крепло убеждение, что эра Аденауэра подходит к концу.

ГЛАВА 12.
УГРОЗЫ И КОНТРУГРОЗЫ

«Он заверил меня, что, как и все его предшественники в Белом доме, он испытывает большое уважение к Германии и ко мне лично»[43]

Дин Раек, американский госсекретарь в администрации Кеннеди, привел в воспоминаниях метафору, которую, как он утверждает, однажды употребил Хрущев, объясняя свою тактику в период берлинского кризиса. Советский лидер вроде бы сказал следующее: «Западный Берлин у Запада — это как мошонка у мужика; каждый раз, как я захочу, чтобы Запад завопил от боли, мне достаточно просто нажать там как следует». Сказано грубовато, но, в общем, правильно, включая использование первого лица единственного числа: берлинский кризис был, без сомнения, продуктом личного творчества Хрущева. По свидетельству тогдашнего посла ГДР в Москве, Иоганнеса Кенига, «он сам участвовал в подготовке всех документов. Он изложил свои мысли по этой проблеме на нескольких печатных страницах и передал надиктованное товарищам из Третьего европейского отдела, распорядившись, чтобы они руководствовались изложенной там точкой зрения при выработке текста нот и при планировании отдельных мероприятий».

Развязанный Хрущевым кризис и столь образно охарактеризованные им манипуляции над самым чувствительным местом Запада определяли весь международный климат 1961–1962 годов. Результаты, однако, далеко не всегда соответствовали ожиданиям советского лидера. Иногда они имели эффект, прямо противоположный задуманному. Одним из таких последствий берлинского кризиса был рост сплоченности стран — членов НАТО. Конечно, имелись различия в конкретных подходах, однако все были согласны в одном: Запад не должен отказываться от тех прав, которые он имеет в отношении Берлина, и будет отстаивать их любыми средствами, даже если бы это означало войну. Старая цель советской политики — «вбивание клиньев» между западными союзниками — оказалась вне пределов досягаемости. Однако, как выяснилось, лишь на время.

Январь 1961 года принес с собой новые огорчения и заботы для нашего героя. Его отношения с Даллесом были не всегда безоблачными, но теперь ему крайне недоставало общества этого сухого и бескомпромиссного политика. Ему оставалось только

ждать, каковы будут первые шаги нового американского президента. Все ожидали его неминуемой дуэли с Хрущевым. Все гадали, кто моргнет первым. Аденауэр, будучи от природы пессимистом, считал, что это будет Кеннеди.

Между тем надвигалось восьмидесятипятилетие — дата хотя и не круглая, но значимая. Несмотря на упоминавшиеся проблемы со здоровьем, канцлер решил отметить ее с обычной помпой, хотя очевидцы с чувством юмора не могли избавиться от ощущения некоей водевильности этой ярмарки тщеславия. Сценарий поздравлений был расписан на два дня, тщательно продуманы все ритуальные детали: кто за кем будет допущен к канцлеру, кому сколько минут аудиенции и т.д. Действо началось с половины десятого утра 5 января и длилось двое суток. Родные могли провести в обществе юбиляра двадцать минут, члены кабинета и правления ХДС/ХСС — но десять, всем остальным, включая и новоиспеченного президента ФРГ Любке, эта квота была урезана до пяти минут. На колясках к нему вкатили семерых малолетних сирот-инвалидов — они тоже вознесли хвалу мудрости канцлера. Многие вносили подарки, порой довольно объемистые: к примеру, четыре мраморных ангела для его рендорфской усадьбы, которых преподнесли министры его кабинета. Социал-демократы в лице торжественно-импозантного Карло Шмида преподнесли традиционный букет — на этот раз, естественно, из восьмидесяти пяти роз.

Все эти визиты заняли первую половину дня 5 января, после чего последовал семейный обед и кофе с четой Пфердменгесов. Потом новые визиты и вечером — большой прием. На следующий день — смотр ансамблей из различных частей Западной Германии; все участники — в традиционных национальных костюмах, которые смотрелись в официальной обстановке довольно нелепо. Аденауэру, однако, все нравилось до чрезвычайности. Аура всеобщего обожания, вероятно, благотворно подействовала на его организм: состояние здоровья канцлера за эти два дня существенно улучшилось.

Из тех, кто пришел поздравить Аденауэра, пожалуй, самой интересной личностью был бургомистр Берлина, социал-демократ, недавно выдвинутый своей партией в качестве кандидата в канцлеры, Вилли Брандт. Трудно было представить себе больший контраст между ним и престарелым канцлером. Диаметрально отличным было все: и возраст, и политические взгляды, и происхождение, и биографии… Вилли Брандт родился в Любеке, он был незаконным сыном местной продавщицы. Его звали тогда Герберт Фрам. В ранней молодости он отличался радикальными взглядами, был членом небольшой левацкой

группировки, затем в 1932 году в возрасте 19 лет вступил в СДПГ. Зная о том, что числится в списках гестапо как «подозрительный элемент», он в 1933 году бежит в Норвегию, где получает норвежское гражданство и новую фамилию — Брандт. К моменту оккупации Норвегии немцами он служил в норвежской армии, был интернирован, но вскоре отпущен. Эмигрировал в Швецию, где и оставался до конца войны. После войны вернулся в Германию в качестве пресс-атташе норвежской военной миссии в Берлине. В 1948 году восстановил свое немецкое гражданство и вновь вступил В СДПГ — уже под своим новым именем.

Аденауэру все в Брандте внушало отвращение: низкое происхождение, атеизм и, конечно, прежде всего его молодость. Когда он в ноябре 1960 года узнал, что Брандт будет его соперником на предстоящих парламентских выборах, он заметил на заседании правления ХДС/ХСС: «Нужно подумать, как бы вскрыть его подноготную». Аналитики христианских демократов принялись за работу, и результаты не заставили себя ждать.

Если Брандт тем не менее решил лично засвидетельствовать свое почтение злейшему врагу, то в этом следует видеть как раз одно из следствий хрущевской методики «нажима» на Западный Берлин. Дело не ограничилось жестами. Еще в 1959 году на съезде в Бад-Годесберге социал-демократы пришли к неутешительному выводу о том, что, если они не откажутся от своей традиционной программы, электората им не завоевать. Предпринятая ревизия не ограничивалась сферой внутренней политики, в международном аспекте социал-демократы встали на платформу поддержки НАТО и отрицания нейтрализма.

Аденауэр ни на йоту не поверил в искренность поворота в программных установках СДПГ. Когда он ознакомился с содержанием речи, произнесенной главным идеологом социал-демократии ФРГ Гербертом Венером на заседании бундестага 30 июня 1960 года, где говорилось, по сути, о полной поддержке внешнеполитического курса правительства, то отозвался об этом как о «плохом театральном представлении». По его глубокому убеждению, СДПГ все еще остается погрязшей в трясине марксистской идеологии.

С такими мыслями — о коварстве оппозиции и непредсказуемости нового американского президента — Аденауэр отправился 9 февраля 1961 года к де Голлю мириться и вместе подумать над тем, что новая американская администрация может приготовить для европейцев. Встреча продолжалась два дня; обе стороны пришли к единому мнению о том, что Кеннеди — величина неизвестная, что он не имеет опыта ведения международных дел и что, увы, вокруг него «множество

примадонн». Де Голль также рассказал Аденауэру о своей недавней встрече с Макмилланом, в ходе которой британский премьер вроде, бы обнаружил более живой интерес к ЕЭС; однако, добавил французский президент, англичане — в кармане у американцев. Все это не было неожиданностью для Аденауэра. Он уже знал о том, что позиция англичан в отношении Общего рынка меняется. И действительно: буквально через несколько дней Макмиллан выступил в палате общин с заявлением о том, что правительство хотело бы начать консультации с «шестеркой» по поводу будущего европейского сообщества.

Следующий визит Аденауэр нанес как раз в Лондон. 22 февраля состоялась его беседа с Макмилланом, в которой принял участие также Брентано. Это был не самый лучший эпизод в истории британо-западногерманских отношений. Макмиллан пытался убедить Аденауэра, что Великобритания заботится исключительно о «восстановлении экономического единства (Западной) Европы». Он, однако, умолчал о своих впечатлениях после бесед с Кеннеди. Оно и понятно, учитывая, что британский премьер уловил в них «явное изменение отношения к немцам» со стороны нового президента США и услышал от последнего «откровенное признание»: он, Кеннеди, заинтересован в Общем рынке главным образом потому, что видит в нем своего рода «узду для немцев». Можно себе представить реакцию Аденауэра, если бы Макмиллан пооткровенничал с ним насчет этих взглядов нового американского лидера. Но даже и не зная о них и о том, что Макмиллан, по всей вероятности, их полностью разделяет, Аденауэр проявил крайнюю сдержанность в ответ на «европейские» авансы британского премьера. Де Голль уже проинформировал его о том, что Макмиллан видит себя в роли некоего дядьки-воспитателя по отношению к Кеннеди и что англо-американская «ось» прочнее, чем когда-либо со времени смерти Даллеса. Визит, в общем, окончился ничем.

По возвращении в Бонн канцлер столкнулся с неприятной реальностью: федеральный Конституционный суд провалил его проект создания правительственного телевизионного канала. Находясь под впечатлением того, как эффективно использует новый вид массовой информации де Голль (а тот действительно может считаться первооткрывателем политической телепропаганды), Аденауэр в 1960 году попытался создать новый канал, который был бы в общей собственности федерального правительства и правительств земель. Когда обнаружилось, что последние не смогли найти необходимых средств для финансирования канала и отказываются от своей доли акций, это только обрадовало канцлера: канал переходил, таким образом,

под полный контроль федерального правительства. Однако, по мнению многих, особенно в журналистских кругах, такая концентрация в области масс-медиа могла представить собой угрозу свободе слова; в Конституционный суд была подана соответствующая жалоба. И вот теперь, 28 февраля 1961, суд вынес свой вердикт: федеральное правительство может иметь в своем распоряжении контрольный пакет акций любой телекомпании, но в этом случае оно должно полностью устраниться от вмешательства в содержательную сторону программ и вообще от всякого оперативного руководства делами такой компании. Пресса была довольна: канцлер получил чувствительный щелчок по носу. Аденауэр был, естественно, возмущен как решением суда, так и газетно-журнальными комментариями но этому поводу. Его возмущение перешло в гнев, когда он прочел статью Эрхарда о будущем Европы, напечатанную сразу в нескольких западногерманских органах печати. Там говорилось о том, что понятие европейского единства включает в себя не только «шестерку» ЕЭС и «семерку» зоны свободной торговли, но и другие страны, входящие в НАТО, конкретно — Грецию и Турцию. С точки зрения Аденауэра, это была чистая ересь, да притом, высказывая ее, министр экономики влез не в свои дела, поскольку сферу внешней политики канцлер рассматривал исключительно как свой домен. 6 марта Эрхард провел ревальвацию марки, повышение ее курса повысило и популярность министра экономики, что особенно задело канцлера. «Мне говорят, что надо пригвоздить Эрхарда к его креслу, чтобы он не суетился, но как, скажите, вбить гвоздь в тесто?» — эта аденауэровская острота, которой он поделился со своим переводчиком Гейнцем Вебером, стала лишь одним из многих примеров нелояльного отношения канцлера к членам своего кабинета, в данном случае — к политику № 2 в стране.

Снова пришло время отпуска. 13 марта Аденауэр вылетел в Милан, а оттуда — в Канденаббию. Незадолго до того он принял специального посланника американского президента, Аверелла Гарримана, который доставил ему личное послание Кеннеди с предложением встретиться в ближайшее время в Вашингтоне. Было решено, что визит состоится после возвращения канцлера из отпуска. 9 апреля, через день после приезда из Канденаббии (три с лишним недели, проведенные там, были одними из самых спокойных в жизни Аденауэра) он имел длительную беседу в Рендорфе с другим эмиссаром Кеннеди — Дином Ачесоном, в ходе которой были согласованы последние детали предстоящего визита. Он должен был начаться через неделю. Ачесон порадовал собеседника выражением твердого обязательства со стороны

США; в случае военного конфликта Соединенные Штаты с самого начала автоматически вступят в военные действия с целью обороны территории ФРГ.

11 апреля самолет с пребывающим в наилучшем расположении духа Аденауэром и обычной его свитой (на этот раз семью представляет другая дочь — Либет) вновь, как и год назад, берет курс к берегам Америки. Встреча с Кеннеди приносит канцлеру разочарование. Оба государственных деятеля не могут сказать друг другу ничего интересного и тем более приятного. Президент США еще только в процессе формулирования политического курса. Один из определившихся приоритетов — предотвращение распространения ядерного оружия. Но если он превратится в реальную политику, то это будет означать конец надеждам на придание ядерного компонента бундесверу. В кулуарах старый знакомый, Макклой, ныне специальный помощник президента по вопросам разоружения, пытается убедить Аденауэра смириться с границей по Одеру — Нейсе. Естественно, без всякого успеха. Кроме довольно банального коммюнике, вашингтонские переговоры ничего не дали.

Аденауэр чуть ли не рад, что его отдают на попечение вице-президента Линдона Джонсона, который везет его на свое техасское ранчо. Вдвоем они представляют собой странную пару. Вообще говоря, между ними как политиками много общего: Джонсон в свое время выиграл гонку за место сенатора большинством в дюжину голосов, причем многие считали, что решившие исход выборов бюллетени, оказавшиеся в урне избирательного участка какого-то заштатного городишка в Южном Техасе, были поддельными; Аденауэр, как мы помним, тоже был мастак на использование сомнительных избирательных технологий, так что они могли многое порассказать друг другу. Правда, Аденауэр не говорил по-английски, а Джонсон — по-немецки, да и вообще трудно было представить, как могли найти общий язык рубаха-парень в ковбойских сапогах и стетсоне и старичок педант в строгом темном костюме.

Тем не менее хозяин ранчо очень старался, чтобы его высокий гость чувствовал себя как дома. Он отпускал через переводчика всяческие комплименты по адресу ФРГ как страны, которая может и должна принимать участие в обсуждении важнейших вопросов международной жизни, однажды он даже назвал ФРГ «великой державой». Труднее пошло дело, когда Джонсон начал объяснять, почему сорвалась высадка в заливе Свиней бригады завербованных ЦРУ кубинских эмигрантов. Аденауэр сделал приличествующее случаю печальное лицо и не

стал задавать глупых вопросов. Он с воодушевлением сыграл роль любителя техасских барбекю и даже позировал перед телекамерами в шляпе, которая выглядела совсем как Стетсон, причем даже не десяти, а двадцатигаллонный.

Однако пора было собираться домой. «Домой» — это означало отнюдь не Бонн, а вначале Рендорф, потом и вовсе — Канденаббию. Коротко проинформировав правление ХДС о своих американских впечатлениях (Джонсона он охарактеризовал как «почти европейца» — несколько странный комплимент), Аденауэр 29 апреля вновь отправился на виллу «Коллина». Главным развлечением там была по-прежнему игра в «бочча». Впрочем, покоя не давали мысли о предстоящих в сентябре выборах. Брандт был опасный конкурент не в последнюю очередь потому, что он был из того же поколения, что и Кеннеди. Все это канцлер подробно обсудил с де Голлем, который 20 мая, через шесть дней после возвращения Аденауэра из Италии, прибыл с визитом в Бонн. Это был первый официальный визит в ФРГ первого президента Пятой республики. Оба — де Голль и Аденауэр — уединились в рендорфском доме, с ними были только их личные переводчики. В центре бесед были Кеннеди, его предстоявшая встреча с Хрущевым в Вене и, конечно, угроза победы социал-демократов на осенних выборах в ФРГ. Оба пришли к единодушному выводу, что Хрущеву нельзя уступать, но на вопрос Аденауэра, как считает де Голль, готовы ли англичане пойти на «политическое взаимодействие» в рамках ЕЭС, его собеседник высказал нечто маловразумительное и допускающее самые различные толкования — он уже начал плести свою паутину, в которую должен был попасть западногерманский лидер.

Тот, в свою очередь, все больше погружался в перипетии избирательного марафона. События мировой политики, в том числе прямо затрагивающие немцев, проходили мимо него как бы но касательной. Началась и закончилась венская встреча Кеннеди с Хрущевым. Последний выступил с очередным ультиматумом, повторив, что, если до конца года не будет достигнуто соглашения но Берлину, он подпишет мирный договор с ГДР. Кеннеди подтвердил старую американскую позицию, заявив в известном обращении к нации 25 июля, что численность американских войск в Германии будет в экстренном порядке увеличена. «Мы стремимся к миру, но не пойдем на капитуляцию», — заявил он в заключение речи.

В мире запахло ядерным пожаром, но Аденауэра ничто не могло заставить покинуть так понравившуюся ему виллу «Коллина», куда он отбыл 26 июля, рассчитывая пробыть там

минимум две недели. Почти незамеченным для него прошло и сделанное 31 июля Макмилланом заявление о том, что Великобритания официально подает заявку на вступление в ЕЭС. Все поглощали партии в «бочча».

Аденауэр вернулся из Италии 10 августа и сразу с головой окунулся в избирательную кампанию. Хрущев к тому времени уже прекратил свои садистские игры вокруг Западного Берлина; если он когда-то и намеревался захватить его, то теперь понял, что из этого ничего не выйдет. Однако ситуация продолжала оставаться напряженной. В июле поползли слухи, что граница между Восточным и Западным Берлином будет вскоре закрыта; за один только этот месяц на запад ушли тридцать тысяч граждан ГДР; поток беженцев не иссякал. В начале августа Кеннеди сделал верный прогноз: «Хрущев теряет Восточную Германию. Он этого не может допустить. Если уйдет Восточная Германия, то уйдет и Польша, и вся Восточная Европа. Он что-нибудь сделает, чтобы остановить поток беженцев. Может быть, это будет стена».

Так оно и произошло. Рано утром в воскресенье 13 августа группы восточногерманских рабочих, действуя под прикрытием полицейских, начали возводить ограждения из колючей проволоки на границе между советским и западными секторами Берлина, а также по внешнему обводу западных секторов. Западные союзники были захвачены врасплох. Кеннеди был в своей летней резиденции в Хайяннис-порт, Макмиллан охотился на фазанов в Шотландии. Целых два дня никто ничего не предпринимал.

Реакция Аденауэра была такой же вялой. В половине пятого утра, за два часа до того, как он обычно отправлялся на мессу, в его рендорфском доме раздался звонок: это был Глобке, который и сообщил ему новость о событиях в Берлине. Она не помешала ему как ни в чем не бывало отправиться через два часа в церковь. Позвонил министр но общегерманским вопросам Эрнст Леммер, умоляя его немедленно вылететь в Берлин. Аденауэр ответил категорическим отказом. 14 августа он появился на телевизионном экране вместе с Брентано, сообщив немецкому народу, что оснований для паники нет. К тому времени место колючей проволоки уже начала занимать стена.

Брандт обнаружил больше энергии и политической интуиции. Он-то как раз поспешно вылетел в Берлин, потребовал от западных держав выступить с протестом против нарушения четырехстороннего статуса города и отправил пылкое послание Кеннеди, где напомнил ему о его обещании защитить Западный Берлин и пути доступа к нему. По его инициативе было созвано специальное заседание западноберлинского сената, которое

приняло резолюцию с осуждением «незаконных и антигуманных мер, осуществленных теми, кто разделил Германию, угнетает население Восточного Берлина и угрожает Западному Берлину».

Между тем Аденауэр как ни в чем не бывало возобновил свой избирательный марафон. Речи на массовых митингах следовали одна за другой: 14 августа — Регенсбург, 16-го — Бонн, 18-го — Эссен. В них он снова начал прибегать к методам личных нападок и инсинуаций, направленных против оппозиции. Говоря о ее лидере, он употребил формулировку «господин Брандт, иначе Фрам» — явный намек на то, что речь идет о лице, зачатом и рожденном «в грехе», вне святых уз брака: -мол, что же можно ожидать от политика при таком происхождении? Это было слишком даже для комментаторов тех органов печати, которые обычно поддерживали христианских демократов. «Штутгартер цейтунг», к примеру, решила отплатить Аденауэру той же монетой, дав ему уничтожающую характеристику: «уличный оратор, иначе федеральный канцлер». На Аденауэра это не подействовало: два дня спустя, 20 августа, выступая на митинге на боннском автовокзале, он повторил свой намек, добавив еще один оригинальный тезис: оказывается, Хрущев построил стену в Берлине с одной-единственной целью — помочь СДПГ на выборах.

Это было не только глупо, но и контрпродуктивно: рейтинг ХДС/ХСС ощутимо упал — с 49% *в* июле до 35% в конце августа. Ответственность за это все единодушно возлагали на канцлера. Он стал терять кредит и у западных союзников. Кеннеди распорядился перебросить в Западный Берлин колонну мотопехоты на бронетранспортерах численностью в полторы тысячи солдат и офицеров. Вместе с подкреплением в Западный Берлин должны были прибыть вице-президент Джонсон и бывший военный губернатор американской зоны генерал Клей. Аденауэр робко попросил их взять его с собой. Оба высокопоставленных американца проконсультировались с послом США в Бонне Уолтером Доулингом (кстати сказать, это произошло в туалете дворца Шаумбург) и дали отрицательный ответ. Когда, наконец, 22 августа канцлер прибыл в Берлин своим ходом, ему был оказан прием, мягко говоря, прохладный. Подтвердился вердикт, вынесенный Герхардом Шредером: «Аденауэр утратил некогда столь сильно развитую у него способность к мгновенной, основанной на интуиции оценке ситуации… Ему, конечно, надо было бы пораньше показаться в Берлине».

Выборы 17 сентября подтвердили то, о чем говорили опросы общественного мнения: блок ХДС/ХСС потерял почти пять процентов электората и утратил абсолютное большинство. Он

получил 45,3% голосов и 242 мандата (выиграв за счет партий, получивших менее 5% голосов). СДПГ существенно прибавила, получив 36,2% голосов и 190 мест в бундестаге. Свободные демократы под довольно эффективным лидерством Эриха Менде (он придумал оригинальный лозунг: «С христианскими демократами — да, с Аденауэром — нет») набрали 12,8% голосов и получили 67 мандатов.

Для Аденауэра это был, конечно, удар. Тем не менее он оставался лидером крупнейшей фракции и именно он должен был заняться формированием правительства. Задача была не из легких. Лидер СвДП Менде во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что пойдет на коалицию с христианскими демократами только при условии, что канцлером станет Эрхард. С другой стороны, он исключал и коалицию с социал-демократами, что объяснялось не в последнюю очередь тем обстоятельством, что СвДП финансировалась Конфедерацией немецкой индустрии, а ее члены далеко не были убеждены в окончательном отходе СДПГ от марксизма. Зависимость свободных демократов от субсидий магнатов бизнеса была хорошо известна Аденауэру, и наличие этой информации стало одной из его козырных карт в политической игре с целью заставить Менде снять всякие предварительные условия для вступления в коалицию с ХДС/ХСС.

В колоде у Аденауэра были и другие сильные карты, и он разыграл их достаточно искусно. 21 сентября он сделал неожиданное предложение социал-демократам — создать правительство на базе «большой коалиции». Это был, разумеется, чистой воды блеф, тем не менее социал-демократы клюнули на наживку и вступили в переговоры с представителями ХДС/ХСС. На протяжении недели Аденауэр организовывал одну «утечку» за другой, из которых следовало, что переговоры идут вполне успешно. Нервы у Менде не выдержали: он прекрасно понимал, что СвДП не сумеет выжить в условиях «большой коалиции». Поэтому 28 сентября он запросил аудиенцию у Аденауэра, чтобы обсудить вопрос о коалиции на прежней основе — ХДС/ХСС и СвДП. Чтобы спасти лицо, он заявил при этом, что вопрос о кандидатуре канцлера остается открытым.

Переговоры о создании коалиции начались 2 октября. Аденауэр начал их с того, что сообщил Менде о нарастающих трудностях в советско-американских отношениях в связи с кубинским вопросом — об этом его-де только что проинформировал Аверелл Гарриман. В этой обстановке новый неопытный канцлер мог бы не справиться с ситуацией, коней на переправе не меняют — эта аргументация показалась Менде

достаточно убедительной, и он ее принял. Однако Аденауэру пришлось пойти на две серьезные уступки. Он дал торжественное обещание, что через год-два, во всяком случае, до следующих выборов уйдет в отставку. Не удовлетворившись устными заверениями собеседника, Менде настоял на том, чтобы Аденауэр оформил свое решение в виде официального письма на имя председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Кроне; письмо должно было носить конфиденциальный характер и храниться в архиве фракции.

Вторая уступка касалась вопроса о том, кто займет пост министра иностранных дел в новом правительстве. С точки зрения свободных демократов, Брентано был фигурой, слишком раболепствующей перед Аденауэром. Он должен был уйти. Об этом договорились быстро; труднее было решить вопрос о преемнике. В ходе долгих переговоров упоминались различные кандидатуры: Хальштейн, Кизингер, Шредер, даже Герстенмайер и Кроне. Однако у всех них находились какие-то недостатки. Хальштейн слишком увлечен идеей европейского федерализма, Кизингер — слишком мягок в отношении Советов, у Герстенмайера слишком плохой характер, а Кроне нужен Аденауэру в бундестаге. Выбор по методу исключения нал на Шредера. Прослышав о происходящем за его спиной торге и решив не дожидаться, пока его попросят освободить место, Брентано предпочел сам написать заявление об отставке. В заявлении содержалась элегантная фраза: «Я не только слышу то, что говорится, но и понимаю то, что не говорится». В частном порядке Брентано позволил себе быть более откровенным: он прямо говорил, что стал жертвенным ягненком, которого Аденауэр не раздумывая бросил на съедение волкам из СвДП.

В конечном счете сделка состоялась: коалиционный договор был подписан. Шредер стал министром иностранных дел, а канцлером по-прежнему остался Аденауэр. 7 ноября он в четвертый раз был избран на этот пост большинством голосов бундестага. Выборы прошли не без осложнений. Среди депутатов широко дебатировалась проблема возраста главы правительства; многие были возмущены «капитуляцией» Менде и его «поворотом на сто восемьдесят градусов». В результате семнадцать членов фракций, составлявших правительственную коалицию, проголосовали против, еще двадцать шесть не приняли участия в голосовании. Особого повода для торжества у Аденауэра не было, но все-таки кабинет во дворце Шаумбург остался за ним, и никто, кроме узкого круга посвященных, не знал о том, что максимум через два года ему, согласно его собственному обещанию, придется его покинуть.

Сформировав кабинет, Аденауэр энергично принялся руководить им. Ничто не говорило о том, что он смирился со статусом «хромой утки»[44]. Он еще больше сосредоточился на проблемах мировой политики. 19 ноября начался его очередной визит в США. Главная цель, которую преследовал Аденауэр, отправляясь за океан, состояла в том, чтобы отговорить Кеннеди от слишком больших уступок в берлинском вопросе. К этому времени до канцлера дошли сведения о том, что госсекретарь США Дин Раек провел серию бесед со своим советским коллегой Андреем Громыко. Самого факта этих бесед было достаточно, чтобы возбудить подозрения со стороны Аденауэра.

При встрече Кеннеди заверил своего западногерманского гостя, что Соединенные Штаты рассматривают берлинский вопрос как приоритетный и решение германского вопроса невозможно без предварительной ликвидации Берлинской стены. Эти фразы буквально ласкали слух канцлера. Однако несколькими днями позже в интервью зятю Хрущева, главному редактору «Известий» Алексею Аджубею, Кеннеди высказал нечто совсем иное: он проявил понимание советского отказа пойти на воссоединение Германии, заявил, что Соединенные Штаты против того, чтобы западные немцы получили доступ к ядерной кнопке, и намекнул на то, что мир в Центральной Европе может быть достигнут на базе компромиссного решения берлинского вопроса, другими словами, при сохранении стены.

Можно понять возмущение и ярость, которые охватили Аденауэра, когда он прочел текст этого интервью. Чему верить: тому, что говорил американский президент ему, или тому, что он изложил в интервью Аджубею? На трудности с пониманием американской политики наложились проблемы со здоровьем. Встречавшие Аденауэра по возвращении из Вашингтона были потрясены его усталым и болезненным видом. Дело было не только в тяжелом ночном перелете через несколько часовых поясов; еще до начала визита у него была повышенная температура, и все время пребывания в Вашингтоне он боролся с тяжелой простудой. Он даже не подозревал, что из обслуживающей его обычно группы врачей одна специалистка, доктор Элла Беббер-Бух, была включена в список сопровождающих его лиц, жила все это время в том же отеле, что и он, причем под вымышленным именем. Ее миссия состояла в том, чтобы консультировать врачей посольства о том, как лечить высокопоставленного и своевольного пациента с тревожным диагнозом «воспаление легких».

Публично было объявлено, что у канцлера обычный осенний грипп, что было явным искажением истины. Аденауэр провел две

недели прикованный к постели в своем рендорфском доме. Ходили слухи, что он уже не встанет; дополнительную пищу для них дал тот факт, что первое программное заявление нового правительства было зачитано в бундестаге 29 ноября 1961 года вице-канцлером — не кем иным, как Людвигом Эрхардом.

Однако сплетники вскоре были посрамлены: Аденауэр поправился и снова начал путешествовать. 9 декабря он уже был в Париже. Де Голль лично встретил его в аэропорту Орли и проявил все положенные знаки внимания, однако содержание переговоров с французским президентом не полностью удовлетворило ожидания западногерманского гостя. Его вполне устроило высказывание де Голля о том, что для достижения подлинного, а не формального соглашения с Советами но Берлину время еще не пришло. Он вполне согласился и с мнением, которое высказал де Голль, информируя собеседника о недавней беседе с Макмилланом: если Великобритания хочет войти в ЕЭС, она не должна тащить туда за собой все Содружество, иначе, как выразился французский президент, «это будет уже не Европа». Однако по вопросу о Берлине вспыхнул спор. Аденауэр попросил де Голля «не устраняться» от участия в обсуждении этого вопроса, но встретил неожиданно острую реакцию: он, де Голль, считает, что если США, Великобритания и Западная Германия намерены там капитулировать, то Франция не будет стоять у них на пути, больше он ничего не желает слышать о Берлине. На этой ноте встреча и завершилась. Неудивительно, что Аденауэр, как он об этом написал в мемуарах, был «крайне не удовлетворен» и даже «обижен» такой позицией де Голля.

Последовавшие затем форумы — конференция западных министров иностранных дел в Париже по берлинскому вопросу (11 декабря) и еще одна — но рассмотрению результатов работы комиссии, которую возглавлял французский посол в Дании Кристиан Фуше и которая должна была выработать рекомендации по политическому объединению стран ЕЭС, — закончились, по существу, безрезультатно. По Берлину никакой общей точки зрения выработать не удалось, а Фуше получил от собственного правительства директиву пойти и подумать еще.

Впрочем, мысли нашего героя были далеки от этих перипетий практической дипломатии. Окончательное выздоровление так и не приходило, а тут настало время отметить очередной, восемьдесят шестой день рождения. Он сумел мобилизоваться и встретил 5 января 1962 года в наилучшей форме, демонстрируя отличное расположение духа и блистая, как всегда, остроумными репликами на стандартные поздравления гостей. Одна из лучших досталась Эрхарду, который от имени кабинета преподнес

виновнику торжества самый громоздкий из даров: покрытое изящным орнаментом каменное сиденье для его рендорфского сада. «Успех политика, — заявил он, — измеряется способностью подольше удержаться там, где сидишь». Присутствующие по достоинству оценили содержащийся в этой фразе намек.

Хорошую форму надолго удержать не удалось. Прибывший с визитом в Бонн 9 января Макмиллан отметил для себя, что лицо Аденауэра утратило прежнее властное выражение. Морщины стали глубже, резче выступили «монголоидные» черты, глубокая общая усталость просто бросалась в глаза. Глобке, сам страдавший от высокого давления и аритмии, доверительно сообщил Кроне, что «никогда не видел канцлера в таком подавленном состоянии, ему как будто все стало безразлично».

Эта запись в дневнике Кроне сделана 21 января. Как раз в этот день у Аденауэра случился сердечный приступ. С медицинской точки зрения это был легкий приступ, ничего опасного, но все же… Купировав приступ, врачи предписали пациенту на период выздоровления полный покой. Он, однако, настоял на том, что будет лечиться амбулаторно, на дому, и чтобы ни в коем случае не была предана гласности истинная причина его отсутствия на боевом посту: пусть будет сказано, что у него опять грипп. Так и поступили. Тем не менее Кроне добавил к своей дневниковой записи за тот роковой день меланхолическую ремарку: «Смерть, по-видимому, уже распростерла над ним свою тень».

Аденауэр провел две недели в полном уединении в своем рендорфском доме. 4 февраля он приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Он все еще был слаб, а кроме того, «придирчив и раздражителен». Вдобавок, в его поведении появились некоторые «странности», с ним стало трудно разговаривать: он все «меньше склонен прислушиваться к доводам рассудка» (все эти характеристики — из того же дневника Кроне, запись за 8 марта 1962 года). И тем не менее он нашел в себе силы справиться с недугом и прочими неизбежными спутниками старости, проявив те же качества — мужество и упорство, что помогли ему после автомобильной аварии в далеком 1917-м. Он не хотел признаваться никому, в том числе и себе самому, что серьезно болен. Поэтому он немедленно ответил согласием на поступившее 9 февраля послание де Голля с предложением о немедленной встрече. Разумеется, де Голль и не подозревал о том, в каком состоянии находился адресат его послания: тайна его болезни тщательно оберегалась.

Сам де Голль только недавно счастливо уцелел после покушения, совершенного на него группой правых экстремистов у

местечка Пети-Кламар в момент, когда он ехал в машине по своему обычному маршруту из Парижа в Коломбе.

В этой ситуации французская секретная служба решила свести риск до минимума: в качестве места намеченной на 15 февраля встречи был выбран укромный флигель одного из отелей в Баден-Бадене, куда де Голль прибыл с большим полицейским эскортом, мчащимся на огромной скорости, с французской военной базы в Ларе, где совершил посадку его самолет. Аденауэр без всякой помпы прибыл туда поездом.

На их встрече был затронут широкий спектр франко-германских отношений. В первой половине дня оба лидера вели диалог один на один, во второй половине к ним присоединились министры иностранных дел. Цель де Голля состояла в том, чтобы убедить своего западногерманского партнера в достоинствах второго варианта плана европейского политического союза, который комиссия Фуше представила в январе.

Ему это не удалось: Аденауэр без труда обнаружил, что речь идет о проекте довольно аморфной организации, которая была бы полностью отделена от ЕЭС и неминуемо оказалась бы под гегемонией Франции. Кроме того, было понятно, что малые страны, такие, к примеру, как Голландия, все равно заблокируют обсуждение дальнейшего развития политического сотрудничества, пока не будет положительно решен вопрос о приеме в ЕЭС Великобритании. Кроме того, с точки зрения Аденауэра, существенным недостатком французского плана было то, что в нем не упоминалось о значении НАТО. Вместе с тем Аденауэр согласился, что одна из центральных идей Фуше — увенчать три европейские структуры — ЕЭС, ЕОУС и «Евратом» — единым политическим «зонтиком» — представляет собой хорошую базу для дальнейшей дискуссии при том непременном условии, что это не затормозит дальнейшего развития ЕЭС. Впрочем, как и предполагал Аденауэр, малые страны, в частности Голландия, действительно заняли ту позицию, что переговоры с Великобританией должны иметь абсолютный приоритет перед проблемой выработки основ политического сотрудничества на западноевропейском пространстве.

Несмотря на возникшие разногласия, встреча в Баден-Бадене знаменовала собой некий прорыв в отношениях между двумя лидерами. Они обнаружили, что едины по крайней мере в двух пунктах: оба равно недоверчиво относятся к попыткам американцев и англичан наладить отношения с Советским Союзом и оба равно считают абсолютным политическим императивом решение задачи предотвращения в будущем нового франко-германского военного конфликта. Аденауэр, кстати,

выяснил, что де Голль явно изменил свои взгляды на берлинский вопрос, которые два месяца назад так его обеспокоили.

Возникает вопрос, насколько реалистична была позиция Аденауэра и де Голля. Ответ на него будет скорее всего отрицательным. После возведения Берлинской стены перспектива скорого воссоединения Германии практически исчезла. Явно непрактичной стала и аденауэровская стратегия, предусматривавшая, что Запад должен наращивать свою мощь до тех пор, пока Советы либо рухнут, либо пойдут на переговоры на условиях, продиктованных Западом. Учитывая новую обстановку, американцы и англичане, как казалось, готовы были идти на уступки Хрущеву, чтобы заставить его отказаться от экстремистских целей. В ФРГ эту линию поддерживали Эрхард и Шредер, убежденные «атлантисты» (а Шредер был еще и англофил). Аденауэр не разделял их позиции и считал, что ему надо укрепить союз с тем лидером западного лагеря, который, как и он, придерживался бы того мнения, что любые переговоры с Советами — это пустая трата времени. Речь шла о генерале де Голле.

Все это Аденауэр тщательно обдумал во время очередного отпуска на вилле «Коллина» в Канденаббии, где он провел период времени с 19 марта по 9 апреля 1962 года. Перед отъездом он испытал небольшую неприятность: по настоянию правления ХДС ему пришлось санкционировать создание поста «исполнительного председателя» партии. Идея исходила от тех, кто уже спал и видел, что Аденауэр уходит; к новому партийному должностному лицу должны были постепенно перейти функции, которые принадлежали старому председателю, то есть тому же Аденауэру. Последний, однако, взял реванш тем, что провел на новый пост очевидного политического легковеса — бывшего министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Йозефа-Германа Дуфхюса. Его Аденауэру нечего было особенно опасаться.

Канцлер ускорил свое возвращение в Бонн из-за полученного известия о новой американской инициативе, с основным содержанием которой Дин Раек ознакомил Вильгельма Греве, тогдашнего посла ФРГ в Вашингтоне. Речь шла о том, чего Аденауэр так боялся. Раек решил придать новый импульс своим переговорам с Советами, подвести под них новую базу. Соединенные Штаты выражали готовность признать линию Одер — Нейсе как постоянную границу, предлагали создать систему международного контроля на путях доступа в Западный Берлин (что означало вступление в официальный контакт с властями ГДР) и выдвигали идею международного соглашения о нераспространении ядерного оружия. Немецкой стороне давалось

сорок восемь часов на размышления о проекте, после чего его предполагалось вручить советской стороне.

Аденауэр прежде всего отверг установление лимита времени на подготовку заключения об американском документе. По этому случаю он высказал несколько нелицеприятных слов о своем министре иностранных дел Шредере; он заподозрил, что тот заранее знал об американском проекте и не сообщил о нем канцлеру: основанием был тот факт, что Шредер встречался с Раском в Лозанне не далее как 13 марта. Затем он предпринял смелый и нестандартный ход: созвал на 12 апреля совещание председателей всех фракций бундестага, рассчитывая добиться от них единодушного осуждения инициативы Раска и, таким образом, создания некоего «единого фронта» против тех, кто «предает» немецкие интересы. Расчет полностью удался: никто не решился выступить за смягчение традиционных позиций ФРГ в отношении Востока. Олленхауэр думал, что Аденауэр пытается завлечь его в канкан: стоит ему высказать одобрение американского плана, и на социал-демократов снова, как в веймарский период, обрушатся обвинения в равнодушии к национальным ценностям. Менде тем более боялся обвинений в «мягкости» перед лицом Востока, потому что недавно в его партии широко обсуждались идеи признания ГДР и стоило большого труда приглушить эту дискуссию. О Брентано нечего и говорить: он всегда был против уступок советской точке зрения — будь то вопрос о западной границе Польши, отношения с ГДР или проблема ядерного вооружения бундесвера.

Аденауэр, таким образом, имел все основания заявить, что все ведущие партии ФРГ осуждают инициативу Раска. Информация о совещании руководителей парламентских фракций и его результатах в тот же вечер была широко распространена по каналам радио и телевидения. Их «единодушное» мнение было доведено и до сведения находившегося в это время в Бонне заместителя министра обороны США Пола Нитце. После этого Аденауэр составил ядовитое послание на имя американского президента, напомнив ему о тех обязательствах, которые Кеннеди сам взял на себя во время их встречи в ноябре 1961 года. Аденауэр обратился также к де Голлю с просьбой вмешаться, и соответствующим образом проинструктированный Кув де Мюрвиль заявил американской стороне, что Франция целиком и полностью отвергает проект Раска.

Страсти накалялись. Вернувшийся 14 апреля в Канденаббию Аденауэр составил специальную памятную записку, где подверг инициативу госдепартамента уничтожающей критике. В нем

содержались такие, в частности, перлы: «Я обеспокоен как методами, так и содержанием американской внешней политики… Нас не информируют, о чем, собственно, ведутся переговоры (с СССР)». Ответ Раска не заставил себя ждать. На пресс-конференции 26 апреля он не оставил камня на камне от аргументов Аденауэра, заявив, что следует признать «фактически существующую ситуацию» разделенной Германии, ситуацию, которая может остаться таковой надолго. Обе стороны, продолжал госсекретарь США, должны признать новое статус-кво. В кулуарах он бросил Аденауэру обвинения, что, организовав утечку сведений в прессу о содержании американского рабочего документа, тот нарушил оказанное ему доверие, проявил вопиющую нелояльность по отношению к союзнику.

В ответ Аденауэр после возвращения 3 мая из Канденаббии развернул самую настоящую пропагандистскую войну против США. Произнесенную им 7 мая в Берлине речь Греве охарактеризовал как самую острую критику внешней политики Соединенных Штатов, которую когда-либо позволял себе какой-либо германский лидер. Кеннеди ответил той же монетой, устроив Аденауэру разнос — опять-таки публичный, и подчеркнув, что переговоры с Советами будут продолжены.

Между Аденауэром и Кеннеди легла пропасть. Последний именно тогда заявил: «…подлинная проблема состоит в том, что он слишком стар, а я слишком Молод, чтобы нам можно было понять друг друга», — а канцлер ФРГ отозвался об американском президенте как о ком-то среднем «между корабельным юнгой и бойскаутом». Макмиллан тоже попал под горячую руку: Аденауэр назвал его, правда, несколько позже, «придурком».

Хрущевская тактика нажима оказалась непродуктивной, зато его попытки достичь компромисса после провала плана захвата Западного Берлина принесли плоды. Запад оказался в состоянии глубокого раскола, и разница взглядов приняла уже характер столкновения личностей. Хрущев наверняка мог поздравить себя с успехом, когда получил адресованное ему 6 июня 1962 года послание Аденауэра, где предлагалось «серьезно обдумать мысль о заключении между обеими странами — Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией — соглашения об установлении чего-то вроде перемирия сроком на десять лет».

Поздравить себя мог не только Хрущев, но и де Голль. Он внимательно следил за ходом развертывающейся словесной дуэли между Кеннеди и Аденауэром. Теперь было самое время действовать. Он посылает канцлеру ФРГ приглашение прибыть во Францию с официальным визитом в июле. Его цель ясна и определенна — восстановить империю Каролингов и придать

этому предприятию возможно более грандиозный характер.

ГЛАВА 13.
ОТ ТРИУМФА К ОТСТАВКЕ

«Третья отставка — самая тяжкая из всех»[45]

Собор Нотр-Дам в Реймсе — один из величайших шедевров французского зодчества. Первоначальный проект отличался таким размахом, что потребовалось больше столетия — почти весь XIII век и значительная часть XIV, чтобы возвести главный неф; потом собор долгое время достраивался: две башни над западным фасадом были полностью закончены только в 1475 году. Собор счастливо пережил революцию с ее атеистическими эксцессами, однако в Первую мировую войну был сильно поврежден артиллерийским огнем. После ее окончания здание было отреставрировано, и к прежним его достопримечательностям добавились три витража работы Марка Шагала. Господствуя над городом и примыкающей к нему плоской равниной, он по-прежнему являет собой гордый символ могущества западного христианства — самой влиятельной духовной силы средневековья.

Впрочем, во Франции немало соборов, которые но архитектурным достоинствам могли бы поспорить с реймским: шартрский, парижский Нотр-Дам, соборы в Бурже, Бове, Отуне. Что отличает собор в Реймсе — так это то, что он символизирует историю Франции, преемственность многих поколений французов, которые здесь, в сердце Шампани, проливали свою кровь, отстаивая независимость и национальную целостность родины от немецкой экспансии. Не случайно, что именно архиепископ Реймса начиная с X века короновал и благословлял на правление каждого из французского королей вплоть до падения монархии. Трудно было поэтому подобрать более подходящее место, чтобы устроить торжественный акт в честь установления вечной франко-германской дружбы. Что и произошло под сводами реймского собора в июле 1962 года.

8 июля Аденауэр и де Голль вместе отправились туда, чтобы присутствовать на большой мессе. До этого они приняли парад французских и немецких войск на равнине Мурмелон в окрестностях города. В газетах писали, что это был первый случай со времени лейпцигской «битвы народов» 1813 года, когда немецкие и французские солдаты были вместе, в одном строю, а не по разные стороны баррикад; некоторые, правда, ядовито добавляли, что и лейпцигскую битву надо исключить из подсчета:

на стороне Наполеона тогда были только саксонцы и вюртембержцы, которые вдобавок покинули поле битвы еще до ее начала, то есть попросту дезертировали.

Когда после завершения парада оба высоких гостя в приличествующих случаю темных костюмах прибыли к собору, на его ступенях их приветствовал архиепископ Реймский, монсеньор Марти, с группой представителей духовенства. Затем процессия двинулась внутрь собора; впереди, как полагается, — огромное серебряное причастие. Генерал и канцлер заняли отведенные им места справа от алтаря — два пюпитра, два коврика для коленопреклонения, две скамьи, обитые красным бархатом. Началась торжественная месса. Сразу после чтения Евангелия монсеньор обратился с приветствием к обоим государственным деятелям, отметив, что они присутствуют в храме, который всегда «оставался неизменным символом радостных надежд на будущее». Когда архиепископ вознес дары Господни, де Голль и Аденауэр опустились на колени. Аденауэр, как сообщалось в репортажах, простоял на коленях довольно долго.

Снаружи под ярким июльским солнцем собрались несколько тысяч верующих, не попавших в собор. Когда оба лидера появились в дверях после завершения мессы, раздались приветственные крики, люди размахивали флажками. Аденауэр был, несомненно, глубоко тронут всем происходящим. Правда, в толпе отношения между представителями обеих наций оказались не такими сердечными, как между их лидерами: имели место взаимные оскорбления и даже потасовки, пришлось вмешаться полиции.

Месса в Реймсе была апогеем государственного визита Аденауэра во Францию. Он длился шесть дней; канцлер нашел даже время, чтобы посетить Бордо и приобрести большую коллекцию «Шато Марго», обнаружив таким образом некий сдвиг в своих вкусах: обычно он предпочитал вина долин Рейна и Мозеля. Но большую часть времени заняли частные беседы с генералом. Де Голль рассказал о своей недавней встрече с Макмилланом, в ходе которой ему, но его словам, стало ясно, что Великобритания не готова пойти на необходимые жертвы, чтобы вступить в ЕЭС. Аденауэр не возражал. Более того, он еще подлил масла в огонь антибританских эмоций французского президента, заявив, что, как стало ему известно, Макмиллан предложил Соединенным Штатам заключить экономический союз с Великобританией, но натолкнулся на отказ со стороны Кеннеди. Не ясно, откуда канцлер взял такое. Он практически снял вопрос о политической ценности расширения ЕЭС за счет Великобритании; преимущества и недостатки ее вступления или

невступления должны, по его мнению, оцениваться исключительно с точки зрения выгоды или невыгоды для нынешних членов ЕЭС. Между тем инфраструктура ЕЭС еще недостаточна развита, чтобы «переварить» экономику тех государств, которые скорее всего последовали бы за Великобританией с просьбами о принятии в эту организацию, таких, как Норвегия, Дания и Ирландия. Общий вывод был однозначен: «Никакого троекратного ура Англии в ЕЭС». Аденауэр высказался за то, чтобы ФРГ и Франция в будущем теснее взаимодействовали друг с другом. Это уже был прямой намек на необходимость подвести какую-то формальную базу под отношения между обеими странами.

Де Голлю этих намеков было достаточно. Поняв, что Аденауэр его поддержит, он дал директиву французским представителям на переговорах с англичанами ужесточить свою линию. Это привело к тому, что 5 августа переговоры были прерваны. Однако сам Аденауэр, вернувшись в Бонн, обнаружил, что его позиция не пользуется непререкаемой поддержкой в собственной партии. В августе 1962 года в ХДС произошел фактический раскол между «атлантистами» во главе с Эрхардом и Шредером и «франкофилами» во главе с Аденауэром; напряженные отношения между этими двумя течениями характеризовали весь последний период канцлерства Аденауэра. Конфликт выплеснулся на страницы прессы. 22 августа номер «Ди вельт» — газеты, обычно бывшей полуофициальным рупором христианских демократов, — вышел под шапкой: «ХДС поддерживает прием Лондона в ЕЭС». На следующий день там была опубликована статья под характерным заголовком: «Англия должна стать членом — Поражение Аденауэра — Он уже не король?». Франция и профранцузская политика явно не пользовались популярностью у западногерманских публицистов.

Такая позиция прессы была плохим предзнаменованием для ответного визита де Голля в ФРГ, который начался 5 сентября. Однако французский президент сумел переломить эту тенденцию в первую очередь благодаря хорошему знанию массовой психологии. Он понимал, что подслеповатый, запинающийся на каждом слове оратор не может увлечь толпу. И вот, чтобы не надевать очки во время произнесения речей, он заучивал их наизусть и произносил, не заглядывая в бумажку, причем на немецком. Это сразу улучшило его имидж. Еще больше поспособствовали этому эмоциональные выкрики, которыми он обычно заканчивал свои выступления, обращая при этом к небу воздетые руки: «Да здравствует Германия!», «Да здравствует германо-французская дружба!», «Вы — великий народ!». Все это

встречалось на ура, как на то и надеялся Аденауэр. Де Голль, со своей стороны, в частном порядке дезавуировал многое из того, что он выдавал на публику. «Если бы они и вправду были великим народом, они меня так радостно не приветствовали бы» — такую его ремарку, не предназначенную, естественно, для посторонних ушей, воспроизводит биограф де Голля, французский историк Ж. Лакутюр.

Аденауэр к тому времени уже «намертво» запутался в сотканной вокруг него де Голлем паутине. «Он, по-видимому, был ослеплен идеей о том, что они с де Голлем похожи друг на друга. Преклонный возраст также сказывался» — так позднее объяснил этот факт старый сподвижник Аденауэра, европеист и «атлантист» Хальштейн. Впрочем, канцлер не потерял способности к самостоятельности, особенно когда речь шла о выдумывании все новых и новых аргументов против вступления Англии в ЕЭС. Шредеру он, к примеру, заявил, что там вскоре к власти могут прийти лейбористы, а «эти люди в Европе нежелательны». Кроме того, если Великобритания так рвется в Общий рынок, пусть она и делает уступки, а не требует уступок от других.

Визит де Голля благополучно завершился, и с сознанием выполненного долга наш герой 13 сентября 1962 года вылетел в Милан, рассчитывая провести три спокойные недели на вилле «Коллина». Спокойного отдыха, однако, не получилось. Еще во время визита де Голля в прессе широко муссировались слухи о скорой отставке канцлера (назывались даже конкретные даты) и кандидатурах преемника. Вскоре после приезда в Канденаббию Аденауэр прочел интервью Дуфхюса «Кёльнише рундшау», где его недавний избранник пространно излагал свои взгляды по обоим сюжетам. Ему тотчас была послана резкая телеграмма; в ней Аденауэр писал: «Я со всей серьезностью предлагаю вам воздерживаться впредь от каких-либо комментариев по вопросам, касающимся меня лично и тех решений, которые я могу принять относительно моего собственного будущего. Я рассматриваю ваши высказывания как недопустимое вмешательство в мою частную жизнь. Я считаю, что они нанесли большой ущерб нашей партии». Подозревая, что за интервью Дуфхюса скрывается некий направленный против него заговор, он направил копии этой своей телеграммы всем членам правления ХДС.

Несколько дней спустя — новая проблема. От де Голля пришло нечто вроде памятной записки на шести страницах с предложением заключить межправительственное соглашение о координации внешней и оборонной политики обеих стран. По условиям этого соглашения, как подчеркнул де Голль, ни одна из сторон не будет иметь права принимать каких-либо решений в

этих областях без предварительной консультации с другой. Аденауэр полностью одобрил эту идею, ответив французскому президенту, что рассматривает заключение такого соглашения в качестве «высшего приоритета моей политики». Послания в том же духе он направил в адрес Кроне и Глобке.

2 октября отпуск пришлось срочно прервать: Аденауэр прибыл в Кёльн на траурную церемонию в намять Роберта Пфердменгеса, скончавшегося несколько дней назад от воспаления легких. Смерть старого и верного друга, не раз выручавшего Аденауэра в делах финансовых и политических, глубоко потрясла его. Чувство одиночества еще более усилилось. Выступив на панихиде в Кёльне, Аденауэр съездил на похороны в родной город покойного Менхенгладбах, после чего поспешил обратно в Канденаббию насладиться последними днями теплой осени.

В Бонне, куда он вернулся 8 октября, его ждали неожиданные испытания. Друг на друга наложились сразу два кризиса — один внутриполитический, другой международный. Первый начался с того, что 10 октября журнал «Шпигель», эта вечная заноза для блока ХДС/ХСС, опубликовал статью о бундесвере под заголовком «Ограниченно годен для пассивной обороны», в которой содержался детальный разбор только что закончившихся штабных учений НАТО «Фаллекс-62», все сведения о которых были, разумеется, упрятаны под гриф «совершенно секретно». В статье говорилось, что учения показали полную непригодность системы гражданской обороны и средств связи плюс невозможность быстрого проведения мобилизации в случае военного конфликта: бундесвер может быть приведен в боеспособный вид только при условии, если между объявлением войны и реальным началом военных действий пройдет достаточный промежуток времени, а поскольку такое условие малореально, ситуация с обороной ФРГ попросту плачевна. Далее в статье указывалось, что министр обороны Штраус, вместо того чтобы думать, как улучшить дело, всецело поглощен планами оснащения бундесвера тактическим ядерным оружием. Словом, удар был метким и сильным в значительной степени именно потому, что все написанное соответствовало действительности.

Второй кризис разразился всего спустя четыре дня после публикации «Шпигеля». В воскресенье 14 октября американский разведывательный самолет «У-2», совершавший полет над западным побережьем Кубы, в окрестностях Сан-Кристобаля сделал фотоснимки некоего объекта, который оказался строительной площадкой для ракетного комплекса. С этого момента Карибский ракетный кризис и «дело “Шпигеля”»

развивались параллельным курсом: первый едва не вверг мир в пучину термоядерной войны, второй едва не привел к падению кабинета Аденауэра.

Эти два кризиса не были связаны друг с другом, они просто совпали но времени, но это совпадение позволяет нам проследить, насколько наш герой сохранил способность адекватно реагировать на стрессовые ситуации, развивающиеся одновременно на разных уровнях и направлениях. Вообще говоря, первый кризис можно было предвидеть. Упомянутая статья «Шпигеля» была лишь элементом в кампании против Штрауса, которую журнал и лично его главный редактор Рудольф Аугштейн вели уже давно. К примеру, в апреле 1961 года «Шпигель» выступил с утверждениями, что Штраус представляет собой угрозу демократии, что он планирует ядерную войну, что его снедает неуемная жажда власти. Штраус подал в суд за клевету, затем еще раз — в связи с тем, что журнал обвинил его во взяточничестве: он вроде бы устроил выгодный подряд немецкой строительной фирме на выполнение заказов 7-й американской армии, расквартированной в ФРГ. Штраус выиграл оба иска, но это были пирровы победы: Аугштейн получил хорошую рекламу и продолжил свою кампанию с новой энергией. Помимо прочего, он сумел посеять сомнения относительно личных качеств министра обороны в головы тех его коллег по кабинету, которые представляли там СвДП.

Чего Аденауэр явно не ожидал и что, собственно, спровоцировало кризис, заключалось в том факте, что на этот раз «Шпигель» разгласил материалы, составлявшие государственную и военную тайну. Канцлер оказался в трудном положении. Его собственные отношения со Штраусом оставались далеко не безоблачными: не далее как в июле 1962 года у них произошло трудное объяснение по поводу ядерных амбиций Штрауса; у Аденауэра они тоже были, но, видимо, он был недоволен формой, в которой их высказал министр обороны. Теперь, однако, дело шло уже не о личных симпатиях или антипатиях: Штраус подвергся атаке со стороны нарушителей закона и его надо было взять под защиту. Было решено начать предварительное следствие но делу об утечке военной информации; Аденауэр 12 октября сообщил Штраусу, что он готовит законопроект, призванный запретить «клеветнические выпады в печати и все такое».

Вскоре, однако, начались осложнения. Следствие по идее должен был курировать министр юстиции Вольфганг Штаммбергер, но у него было большое темное пятно в биографии: во время службы в вермахте военный трибунал осудил его за

представление неверной отчетности, подделку документов и разбазаривание военного имущества. До сих нор остается загадкой, знал ли Аденауэр об этом в момент формирования правительства, а если знал, то почему взял в свой кабинет человека со столь подмоченной репутацией.

Но в данном случае важно то, что к моменту скандала со «Шпигелем» он уже точно знал всю подноготную о злосчастном министре и, более того, знал, что той же информацией о нем располагает и редакция «Шпигеля», только придерживает ее до подходящего случая. Нетрудно было догадаться, какого именно: в случае, если бы появилось обвинительное заключение против редакции за подписью министра юстиции, одного вопроса «а судьи кто?» было бы достаточно, чтобы все уголовное дело рассыпалось в пух и прах. Поэтому следствие должно было проходить так, чтобы министр юстиции по возможности не имел к нему касательства, а еще лучше — вообще о нем не знал.

Здесь Штраус допустил первую ошибку. 17 октября, не поставив в известность главу кабинета, он напрямую обратился в службу военной контрразведки МАД с намерением подключить ее к следствию. При этом он сообщил, что против Аугштеина и его заместителя Конрада Алерса на основании показаний ряда сотрудников его, Штрауса, министерства вот-вот будет выдвинуто обвинение в измене родине — не более и не менее. Штраус и не подозревал, что в МАД у Аугштеина есть друзья, которые могут предупредить его о грозящей опасности. Они так и сделали, в результате чего Аугштейн распорядился получше припрятать все материалы, которые могли бы быть использованы против него, а Алерс счел за благо вообще на время покинуть страну, отправившись в Испанию.

Вскоре слухи о том, что Аугштейну грозит обвинение в государственной измене, широко распространились в боннских политических кругах, о чем свидетельствует хотя бы запись в дневнике Кроне за 22 октября. Лишь в этот момент о возбуждении уголовного дела против редакторов «Шпигеля» узнал наконец и Аденауэр; Штраус, который как раз и сообщил об этом канцлеру, позднее утверждал, что тот не высказал никаких возражений или оговорок. Возможно, канцлер просто не обратил внимания на то, что говорил ему министр обороны; его голова была тогда занята другим. Дело в том, что именно вечером 22 октября во дворец Шаумбург прибыли посол США в Бонне Уолтер Доу-линг и сотрудник ЦРУ, доставившие канцлеру срочное послание Кеннеди. При аудиенции присутствовали Шредер, Глобке и главный советник Аденауэра по внешнеполитическим вопросам Хорст Остерхельд. В послании говорилось о том, что

президент собирается через несколько часов выступить с телеобращением к нации, где он объявит о введении морской блокады Кубы. Попросив всех присутствующих с немецкой стороны, кроме канцлера, удалиться, Доулинг показал ему копии фотоснимков, сделанных «У-2» над Кубой.

На следующий день, 23 октября, Аденауэр направил Кеннеди послание, в котором выражал безоговорочную поддержку решения американского президента. В нем он высказал также подозрение, что «ракеты на Кубе могут быть предназначены для того, чтобы добиться уступок по Берлину» (об этом думали, кстати, и советники Кеннеди). Так совпало, что как раз в этот день следственный отдел при Верховном суде в Карлсруэ выписал ордер на арест Аугштейна и Алерса и производство обыска в их служебных помещениях и дома. На ужине в честь посла Ирландии, который состоялся вечером этого дня, Штраус отвел Аденауэра в сторону и сообщил ему, что и в его министерстве, и в министерстве юстиции делом «Шпигеля» занимаются статс-секретари, Штаммбергер в стороне. Аденауэр в ответ лишь кивнул.

26 октября, в пятницу, Штраус позвонил Аденауэру в Рендорф и сообщил последние новости: полиция совершила налет на редакцию «Шпигеля» в Гамбурге и ее боннский филиал, здания опечатаны, вход в них сотрудникам редакции воспрещен, Аугштейн и несколько его приближенных арестованы. Канцлер в это время был полностью поглощен записью своей речи, в которой он собирался разъяснить соотечественникам всю сложность момента, переживаемого миром в связи с Карибским кризисом, и которая должна была позднее транслироваться по радио. Поэтому он ограничился пожеланием, чтобы его держали в курсе дела, а вообще пусть Штраус действует по обстановке.

Тут Штраус допустил вторую роковую ошибку. Он получил информацию о том, что Алерс, укрывшийся от ареста в Испании, намерен перебраться в Танжер, где его уже будет вообще не достать. В половине второго ночи 27 октября военному атташе ФРГ в Мадриде была передана телефонограмма, где ему предписывалось немедленно связаться с испанской полицией и передать ей: Алерсу ни в коем случае не должно быть позволено покинуть территорию Испании, его следует немедленно задержать и экстрадировать. Все так и было сделано: Алерса схватили в Малаге, посадили в самолет, следовавший во Франкфурт, где его немедленно после приземления арестовала западногерманская полиция. Штраус, приехав в Рендорф, лично доложил обо всей этой операции канцлеру.

Как тот реагировал на эту новость, остается неизвестным,

зато вся общественность Федеративной Республики была возмущена до предела. Все слишком напоминало то, как это делалось в Третьем рейхе, тем более что напрашивалась прямая аналогия с военным и прочим сотрудничеством между Гитлером и Франко периода гражданской войны в Испании. Министр внутренних дел Герман Хехерль, прижатый к стенке разъяренными журналистами, был вынужден признать, что его не информировали о подготовке этой операции. Не более информированным оказался и министр юстиции — упоминавшийся выше Штаммбергер, который не мог скрыть своего изумления всем случившимся. Пресса единодушно говорила о том, что образу демократического и правового государства, который так тщательно создавала для себя Федеративная Республика, нанесен непоправимый урон. Столь же единодушно всю вину возлагали на Штрауса.

Между тем второй кризис, международный, постепенно шел на спад. Советы согласились вывезти свои ракеты с Кубы; была достигнута негласная договоренность о том, что в качестве ответного шага Соединенные Штаты уберут свои устаревшие «Юпитеры» с территории Турции. Холодная война вернулась в состояние, которое можно было назвать нормальным, угроза термоядерной войны отступила. Теперь Аденауэр мог посвятить всего себя улаживанию аферы со «Шпигелем».

Штраус позднее утверждал, что Аденауэр с самого начала был в курсе истории с телефонограммой в Мадрид. И не только знал — именно канцлер и потребовал, чтобы он, Штраус, позвонил туда и дал соответствующие директивы военному атташе ФРГ. Действительно, трудно поверить, чтобы такая акция была предпринята без ведома канцлера. То же можно сказать и еще об одной версии, согласно которой в Мадрид звонил не Штраус-министр, а его однофамилец — статс-секретарь в министерстве юстиции Вальтер Штраус; своеволие последнего еще более сомнительно. Конечно, остается и то объяснение, которое в свое время дал сам Аденауэр: он ничего не помнит, он был полностью поглощен перипетиями Карибского кризиса, но его тоже трудно принять за истину в последней инстанции.

31 октября Аденауэр пригласил к себе лидера свободных демократов Менде и нескольких других представителей руководства СвДП, чтобы обсудить с ними состояние аферы со «Шпигелем». Он продемонстрировал собравшимся улики, найденные полицией в сейфе Аугштейна: фотографии военных объектов и документы с грифом «секретно». Однако деятели СвДП так и не получили ответа на вопрос о том, почему все шло в обход министра юстиции, представляющего в кабинете их

партию; и в данном случае Аденауэр почему-то не решился предать гласности информацию о судимости Штаммбергера. Менде и его коллеги остались, естественно, не удовлетворены беседой. 2 ноября прошло заседание правления СвДП. Оно длилось восемь часов. По его результатам Менде в письменном виде отправил Аденауэру ультиматум: оба статс-секретаря — Фолькмар Копф в министерстве обороны и Вальтер Штраус в министерстве юстиции — должны быть немедленно отстранены от своих должностей, иначе министры от СвДП подают в отставку.

Аденауэр поначалу воспринял требование Менде уволить двух ни в чем не повинных чиновников как очередной блеф, и Кроне с Глобке понадобилось несколько часов, чтобы убедить канцлера в обратном: только путем выполнения условий ультиматума можно еще спасти коалицию. Аденауэр уступил, за что, в свою очередь, подвергся резкой критике на заседании фракции ХДС/ХСС 6 ноября. Чтобы умиротворить «ястребов» в партии, он до предела взвинтил страсти в своих выступлениях в бундестаге на следующий день; там он даже не остановился перед утверждением, что Аугштейн «получил деньги за свое предательство», то есть, по сути, объявил главного редактора «Шпигеля» платным агентом не то Кремля, не то Ульбрихта. Представитель молодого поколения парламентариев от СвДП Вольфганг Деринг справедливо заметил по этому поводу, что канцлер нарушил сразу несколько юридических норм, включая и презумпцию невиновности, и принцип разделения властей. Аденауэр попросту отмахнулся от этих замечаний.

При всем при том он постарался осторожно отмежеваться от неуклюжих действий спецслужб. Дело «Шпигеля» было «такого свойства, что уж если им заниматься, то надо было полностью уйти в него, не считаясь со временем. Но я не мог пойти на это, у меня тогда были другие заботы» — так доказывал канцлер свое «алиби». Другими словами, он все списал на Кубу. Штраус, как мы видели, нарисовал несколько отличную, мягко говоря, картину.

Дело приняло новый оборот с арестом одного из сотрудников МАД, полковника Адольфа Пихта, которого обвинили в том, что именно он и предупредил Аугштейна о готовившейся против «Шпигеля» акции. Разгневанный канцлер 12 ноября вызвал к себе руководителя МАД Рейнхарда Гелена и устроил ему допрос с пристрастием. Прервав допрос, он связался по телефону с находившимися в Карлсруэ Штаммбергером и генеральным прокурором Альбином Куном и потребовал их немедленного прибытия в Бонн, а когда они явились, поразил их заявлением,

что они должны сейчас же арестовать Гелена. Штаммбергер, не растерявшись, ответил, что без ордера это сделать невозможно, и вызвался сам продолжить допрос подозреваемого. В конечном счете оба — и Штаммбергер, и Кун — пришли к единодушному выводу, что уж кто-кто, а Гелен ни в чем не виновен. Опять оказалось, что Аденауэру чудятся заговоры там, где ими и не пахнет.

13 ноября Аденауэр отправился в США — это был его последний в жизни визит за океан. В его отсутствие по инициативе возмущенного Штаммбергера было созвано совещание лидеров СвДП; вооружившись экспертными заключениями видных ученых-юристов из Бонна, Тюбингена и Кёльна, они пришли к выводу, что происходит надругательство над духом и буквой закона, что Штраус бесчестно лжет бундестагу и общественности, что дело «Шпигеля» основано на подтасовках фактов. 19 ноября, в день, когда Аденауэр вернулся из Америки, Штаммбергер вручил ему заявление об отставке. То же самое сделали остальные четыре министра от СвДП. В знак протеста против поступка коллег так же поступили министры от ХДС/ ХСС. Возник своеобразный правительственный кризис.

Аденауэра отнюдь не смутил этот поток отставок. На пленуме правления ХДС он заявил, что, согласно Основному закону, министры могут покинуть свои посты только после того, как их заявления об уходе будут утверждены федеральным президентом, а тот находится с государственным визитом в Индии и ожидается не ранее 5 декабря. До этого времени пройдут выборы в баварский ландтаг, которые, по его словам, многое могут изменить.

Намек был понятен даже непосвященным: выборы в Баварии наверняка принесут победу ХСС, и, возможно, Штраус сам предпочтет надежное положение министра-президента своей родной земли превратностям боннской политической сцены, сам уйдет из кабинета и откроет таким образом путь для новой коалиции ХДС/ХСС/СвДП. Сценарий этот, однако, легче было написать, чем претворить в жизнь. ХСС действительно победил с большим отрывом, и красоты Мюнхена были никак не менее впечатляющими, чем боннские, однако Штраус не желал становиться региональным политиком. Он рассчитывал быть следующим после Эрхарда кандидатом на канцлерство. Он был относительно молод, и это делало его претензии не лишенными оснований.

В этой патовой ситуации Аденауэр решил повторить тот маневр, который помог ему уломать свободных демократов после выборов 1961 года. Он сделал вид, что всерьез собирается пойти

на блок с социал-демократами и сформировать «большую коалицию». Собственно, к тому времени уже существовал канал неформального обмена мнениями с представителями СДПГ; ХДС в них представлял министр жилищного строительства Пауль Люкке, а ХСС — крайний консерватор и одновременно противник Штрауса Карл-Теодор фон унд цу Гуттенберг. С 23 ноября этот канал резко активизировал свою деятельность. Нельзя сказать, чтобы социал-демократы были слепыми орудиями в руках Аденауэра; их представитель Венер, когда речь зашла о конкретном распределении постов в предполагаемом правительстве «большой коалиции», выразив согласие с тем, чтобы Аденауэр пока сохранил за собой ноет канцлера, сделал ему серьезное внушение: пусть он не думает использовать социал-демократов в качестве жупела для запугивания СвДП и принуждения ее к покорности. Но Аденауэр не только думал именно об этом, но и старательно добавлял все новые и новые страшилки для свободных демократов. К ним принадлежала возрожденная идея избирательной реформы; «большая коалиция», давал понять Аденауэр, обязательно введет мажоритарную систему подсчета голосов, а это нанесет смертельный удар но свободным демократам.

Штраус был осведомлен о контактах с социал-демократами, хотя и не посвящен в их детали. Одно он знал наверняка: СДПГ никогда не согласится на участие в правительстве, если там будет он, Штраус. Он понимал, что теперь, после аферы со «Шпигелем», такой же позиции придерживаются и свободные демократы. Его положение было явно незавидным. 29 ноября произошли два события, блестяще подтвердившие тактический расчет Аденауэра, но обернувшиеся против Штрауса: в этот день Гуттенберг доставил в Берлин Венеру послание Аденауэра с мандатом на открытие формальных переговоров о коалиции, а вечером того же дня делегация СвДП во главе с Менде явилась во дворец Шаумбург, чтобы вести переговоры о новой коалиции ХДС/ ХСС/ СвДП. Свободные демократы вновь капитулировали, решив, однако, отыграться символическим жестом, направленным против Штрауса: они отказались сидеть с ним за одним столом во время ужина, предпочтя угощаться в соседней комнате. Аденауэр наслаждался своей ролью арбитра схватки.

Министр обороны сделал наконец тот шаг, которого все от него ждали: 30 ноября на заседании правления ХСС он заявил, что подает в отставку. В своем выступлении он не скупился на горькие слова в адрес канцлера, который, как он считал, предал его (собственно, так оно и было). Он, однако, воздержался от того шага, который мог бы раз и навсегда покончить с карьерой

Аденауэра, — от предания гласности истинной его роли в ходе аферы со «Шпигелем».

Банкротство постигло не только Штрауса, но и лидеров СДПГ, которые, несмотря на все свои оговорки, клюнули на удочку сладких посулов канцлера. 4 декабря их делегация, преисполненная самых радужных надежд, явилась во дворец Шаумбург, чтобы начать обещанные переговоры о «большой коалиции». Общественность и пресса буквально онемели от изумления: как, тот самый Аденауэр, который всегда третировал социал-демократов, теперь приглашает их в свое правительство? Довольно быстро выяснилось, что со стороны канцлера речь идет всего-навсего о нехитром трюке. Проект программы нового правительства был составлен так, что социал-демократы не могли его принять ни при каких обстоятельствах. День прошел в бесплодных дискуссиях. На следующий день фракция СДПГ, как и следовало ожидать, проголосовала против принятия этой программы. «Большая коалиция» умерла, так и не родившись.

Очередь была за присмиревшими свободными демократами. Они были готовы уже на все, и если Аденауэр кое в чем уступил при формулировании коалиционного договора, то скорее не представителям СвДП, а определенным элементам внутри своей собственной партии. На заседании фракции ХДС он уточнил сроки своего ухода в отставку, назвав период начала осенней сессии 1963 года. Срок-то назвал, но оставил открытым вопрос, собирается ли он его придерживаться. Формирование кабинета прошло довольно легко. Обнаружилась только одна проблема. Кай-Уве фон Хассель, которому достался портфель министра обороны, мог покинуть занимаемый им пост министра-президента земли Шлезвиг-Гольштейн не раньше, чем через месяц; Штраус потребовал, чтобы на этот месяц функции министра обороны остались за ним; последовала длительная и временами острая дискуссия насчет допустимости такого продления полномочий старого министра при наличии нового, но в конце концов Аденауэр пошел на то, чтобы удовлетворить претензию Штрауса.

11 декабря Аденауэр представил президенту Любке новый состав своего кабинета. А спустя неделю состоялись торжественные проводы Штрауса; собрался весь высший генералитет, руководящие чиновники министерства обороны, присутствовал, разумеется, и сам канцлер, выступивший с прочувствованными словами благодарности уходящему министру. Канцлер посулил Штраусу в будущем «большую и решающую роль в политической жизни немецкой нации». Вряд ли он при этом сам верил тому, что говорил. Он знал только одно

наверняка: он, Аденауэр, снова на вершине власти, и баста. Дело «Шпигеля» еще тянулось, но больше уже никого не интересовало; вскоре оно было закрыто. Небольшое облачко появилось на горизонте мировой политики: 24 декабря Хрущев вновь пригрозил заключением сепаратного мирного договора с ГДР, но ничего реального за этим не последовало; облачко рассеялось. Аденауэр пребывал в отличной физической форме. Короткие рождественские каникулы, празднование очередного дня рождения — все это прошло для него гладко и даже весело. Кроне записал в своем дневнике 5 января 1963 года: «Старцу восемьдесят семь. Свеж, элегантен, брызжет юмором, никаких признаков слабости. Неудивительно, что он не хочет уходить».

К началу 1963 года определились основные приоритеты последнего этапа деятельности Аденауэра-канцлера. Их было три: повышение роли ФРГ в НАТО, укрепление отношений с деголлевской Францией и, наконец, пожалуй, самое главное — предотвращение любыми путями, честными или нечестными, того, чтобы его преемником стал Эрхард. Ему было безразлично, как антиэрхардовская вендетта может повлиять на моральный климат в его собственной партии, он готов был пойти на то, чтобы его покинули прежние верные помощники — и действительно, с ним остались только беспрекословные исполнители, Кроне и Глобке, — лишь бы только не отдать кресло канцлера популярному министру экономики. Он вовсе перестал обращать внимание на бундестаг и его депутатов; когда он появлялся в зале заседаний, то обычно просто сидел и молчал, скрывая глаза за стеклами темных очков. Неудивительно, что движение за его смещение с поста канцлера ширилось и набирало критическую массу. В апреле последовал взрыв, но об этом чуть позже.

Пока посмотрим, как обстояло дело с первым по счету аденауэровским приоритетом — натовским. 14 января 1963 года в Бонн прибыл заместитель государственного секретаря США Джордж Болл с деликатной миссией — попробовать объяснить канцлеру ФРГ преимущества нового плана, выношенного в недрах администрации Кеннеди, преимущества, в наличие которых вряд ли верили и те, кто его пропагандировал. Речь шла о «многосторонних ядерных силах» (МЯС) — некоей эскадре оснащенных ядерными ракетами надводных судов со смешанными экипажами, которые представляли бы все страны НАТО. С точки зрения военно-оперативной — затея, мягко говоря, сомнительная; главная цель была скорее из области психологии, и заключалась она в том, чтобы убедить союзников по НАТО: США доверяют им, связаны с ними общими узами и хотят, чтобы

союзники, в свою очередь, доверяли американским гарантиям.

Аденауэр сразу же выразил согласие участвовать в этом авантюрном предприятии и оказался прямым антиподом де Голля, который с порога отверг план МЯС. Французский президент не ограничился этим: в тот же день, когда канцлер ФРГ высказал свое «да» американскому проекту, де Голль выступил с громоподобным «нет» на просьбу Великобритании о вступлении в ЕЭС. Французское вето вызвало бурную реакцию не только в Великобритании и США, но и в Западной Германии. «Атлантисты»-англофилы во главе с Эрхардом и Шредером не скупились на слова осуждения по адресу французского решения. Аденауэр к ним не присоединился; для него важнее всего было добиться оформления франко-западногерманского «сердечного согласия».

20 января канцлер отправился в Париж для завершения подготовки двустороннего межправительственного соглашения. С ним была дочь Рия, а провожал его дружный хор тех, кто такого соглашения не хотел — особенно в данной ситуации, когда Франция фактически торпедировала расширение Общего рынка. Вскоре выяснилось, что заключению франко-западногерманского соглашения препятствует и формальный момент: внешнеполитический советник канцлера Остерхельд довел до сведения патрона печальный факт: документ того типа, который имеется в виду, может быть признан судом в Карлсруэ противоречащим Основному закону. Чтобы не вызвать протеста юристов, он должен именоваться не соглашением, а «договором» и в этом своем качестве подлежать ратификации бундестагом и бундесратом.

Аденауэр не возражал: договор так договор. Сторонники расширения ЕЭС решили использовать неожиданную покладистость канцлера, чтобы вовлечь его в свои ряды. 20 января, когда Аденауэр с Рией обедали в посольстве вместе с четой Бланкенхорнов, в комнату буквально ворвались Жан Моннэ и Вальтер Хальштейн. Эта пара «европеистов», к которой присоединился и Бланкенхорн, начала чуть ли не на коленях умолять Аденауэра: пусть он добьется от де Голля, чтобы тот при подписании договора сделал хотя бы какой-то намек на то, что его вето на вступление Великобритании в ЕЭС не окончательное и что переговоры по этому вопросу будут продолжены. Аденауэр отказался ставить перед французским президентом вопрос о такой увязке. Единственное, о чем он может попросить де Голля, — это согласиться на то, чтобы комиссии ЕЭС было поручено составить доклад о перспективах развития сообщества — не более того.

Подписание франко-германского договора состоялось 22 января 1963 года. Этому предшествовала легкая паника среди лиц, занимающихся протоколом. Нужно было найти подходящую бумагу и подходящую папку для документов. Выяснилось, что в Париже невозможно найти ватман с синим обрезом, на котором всегда писались тексты договоров, заключавшихся Федеративной Республикой. Пришлось использовать бумагу с красным обрезом, употребляемую во Франции. За папкой была организована экспедиция в магазин «Гермес» на улице Фобур Сент-Оноре; то, что нашли, не вполне удовлетворяло принятым стандартам; в конце концов решили, что сойдет и так.

Обстановка, в которой проходило подписание договора, напоминала старые, давно ушедшие времена кабинетной дипломатии. Были многословные речи, все было выдержано на высокой эмоциональной ноте. Де Голль расцеловал Аденауэра в обе щеки. Тот, по утверждениям корреспондентов, в ответ прослезился. Судя по всему, он так и не понял, что цели, которые при заключении договора преследовались им, с одной стороны, и де Голлем — с другой, были абсолютно различны. Для Аденауэра речь шла о символическом акте, знаменовавшем собой примирение двух народов-соседей. Для де Голля же договор был средством для того, чтобы вырвать Западную Германию из структуры НАТО и превратить в послушного партнера в той Европе, где бесспорным гегемоном будет Франция. В концептуальном плане, таким образом, никакого единства и взаимопонимания между обоими лидерами, по существу, не было.

Неудивительно, что по возвращении в Бонн Аденауэра ждал шквал критики. Суть ее хорошо передает запись в дневнике Бланкенхорна, которую этот некогда лояльный и преданный сподвижник канцлера сделал 23 января, на следующий день после торжественной церемонии в Елисейском дворце: договор — «неадекватный продукт творчества человека, который уже в силу своего возраста неспособен найти правильную ориентацию для Федеративной Республики, ориентацию, которая отразила бы ее сложное, даже деликатное положение в международной системе». Отрицательная реакция не ограничивалась пределами ФРГ. Госсекретарь США Дин Раек отозвал для доклада посла Доулинга. Джордж Болл прямо охарактеризовал документ как продукт франко-германского заговора. Макмиллан после заключения Елисейского договора не написал Аденауэру ни строчки. Наконец, вернувшийся на свой пост в Бонне посол Доулинг привез с собой угрожающее послание от Кеннеди, где тот вновь поднял тему о возможности вывода американских войск из

Европы: настроения американцев развиваются, мол, именно в таком направлении.

Обстановкой решил воспользоваться постоянный претендент на роль преемника Аденауэра — министр экономики Людвиг Эрхард. Он дал два интервью — одно газете «Дюссельдорфер миттаг», другое — «Зюддейче цейтунг». В первом он подверг Францию критике за невыполнение существующих соглашений с Федеративной Республикой и выразил мнение, что ратификации франко-западногерманского договора должен предшествовать тщательный анализ отношений между обеими странами. Во втором он повторил в общем-то уже общеизвестное: он готов в любой момент, какой ему укажет партия, взять на себя бремя канцлерства. Оба интервью появились в один и тот же день — 5 февраля. На следующий день, когда Эрхард и Аденауэр появились на правительственной скамье в бундестаге, все заметили, что последний демонстративно повернулся к автору интервью спиной, а вскоре вообще вышел, так и не удостоив Эрхарда ни словом, ни взглядом.

Пообщаться с ним Аденауэр предпочел в письменном виде. Очевидно, он долго обдумывал, как бы побольнее уязвить соперника; во всяком случае, к Эрхарду оно попало только 26 февраля; тот, напротив, ответил сразу же, его послание канцлеру датировано 27-м числом. Аденауэр немедленно организовал утечку текстов переписки в прессу — весьма странный образ действий для солидного государственного деятеля. Во всяком случае, новый английский посол в Бонне, Фрэнк Роберте, сразу же отправил перевод обоих посланий в Лондон в качестве иллюстрации для своего тезиса о серьезной эскалации конфликта между двумя ведущими боннскими политиками. Впрочем, по аденауэровским стандартам, тон его послания Эрхарду можно было бы считать даже сравнительно сдержанным. Выговор был облечен в форму мягких увещеваний. Аденауэр писал, в частности: «В случае если министр экономики сочтет себя обязанным высказаться по политическим вопросам, он должен согласовать свое выступление с министерством иностранных дел; в некоторых случаях следует обратиться и прямо ко мне, поскольку именно я определяю основной политический курс». Характерен и ответ Эрхарда; на этот раз он выдержан в тоне, далеком от почтительной покорности но отношению к патрону. «Я целиком и полностью отвергаю вашу критику в мой адрес, — пишет Эрхард. — Перед отпуском я имел беседу с министром иностранных дел Шредером, и мы полностью солидарны в оценке политики, касающейся европейского единения». И в заключение — прямой вызов: «Вы, надеюсь, правильно поймете мое решение в

данных обстоятельствах не присутствовать на заседании правительства, намеченном на 28 февраля».

С этого дня между обоими политиками началась открытая война. Эрхард, поддержанный Шредером, повел борьбу за то, чтобы к франко-германскому договору была добавлена преамбула, в которой было бы выражено позитивное отношение к НАТО, партнерству с Соединенными Штатами, вступлению Великобритании в ЕЭС и либерализации международной торговли — всему тому, что договор по смыслу своему как раз отвергал. Аденауэр защищался дозированными утечками информации насчет разного рода личных недостатков Эрхарда. Все это продолжалось и во время весеннего отдыха канцлера на вилле «Коллина». Он пробыл там с 16 марта по 19 апреля с небольшим перерывом, когда принял участие в дебатах в бундестаге по вопросу об эмбарго на экспорт труб большого диаметра в страны советского блока. Несколько дней с ним была Рия, которую затем сменила Лотта, а ее, в свою очередь, Либет. Журналисты осаждали виллу, надеясь получить еще какую-нибудь жареную информацию об Эрхарде.

Погода не благоприятствовала отдыху: большую часть времени шли проливные дожди. Размыло даже площадку для «бочча», сорвав планировавшуюся телевизионную съемку спортивных достижений нестареющего канцлера. Отдыхающему оставалось только развлекать представителей масс-медиа все новыми и новыми историями о своем сопернике. Те, в свою очередь, приносили ему одну неприятную новость за другой: состоявшиеся 31 марта выборы в земле Северный Рейн-Вестфалия показали катастрофическое падение популярности ХДС; опросы общественного мнения зарегистрировали ту же тенденцию в рамках всей республики, большинство населения поддерживает Эрхарда…

Помимо журналистов, отпускнику пришлось пообщаться и с политиками. 4 апреля в Канденаббию прибыла целая делегация, представлявшая все три партии правительственной коалиции. В ее составе были Шредер, Менде и, что особенно важно, председатель внешнеполитической комиссии фракции ХДС/ХСС Эрнст Майоника. Целью визита было обсуждение вопросов, связанных с предстоящей ратификацией договора с Францией. Беседа продолжалась три часа — до самого обеда. Приехавшие единодушно предлагали Аденауэру согласиться на включение в договор упомянутой преамбулы. Когда беседа завершилась, канцлер отвел в сторону Майонику и осведомился у него, есть ли шансы на ратификацию договора без преамбулы. Ответ был однозначный: таких шансов нет. Аденауэр явно не ждал столь

категоричного суждения; поразмыслив немного, он неожиданно решил уступить. «Ну что же, — произнес он грустным голосом, — лучше договор с преамбулой, чем никакого договора». Это было фактически признание собственного поражения.

Поток плохих новостей продолжался. 6 апреля на вилле «Коллина» появились новые визитеры: Кроне и Вилли Раснер, управляющий делами фракции ХДС/ХСС. У Кроне была деликатная миссия: информировать канцлера, что большинство фракции намерено добиваться выполнения им своего обещания уйти в отставку, и более того — что большинство выступает за то, чтобы следующим канцлером был именно Эрхард и никто другой; Брентано как руководитель фракции уже предпринимает соответствующие организационные меры; если Аденауэр сам не согласится с мнением большинства, то ему грозит вотум недоверия. Раснер подтвердил все сказанное Кроне, добавив, что единственный способ остановить Эрхарда — это выступить в пользу кандидатуры Шредера.

14 апреля, в пасхальное воскресенье, в Канденаббию явился сам Брентано. Он заявил, что время не терпит, Аденауэру надо наконец принять необходимое решение. Следуя совету Раснера, тот ответил, что он отныне будет за Шредера. Брентано воспринял это заявление так, как и следовало, — в качестве новой уловки Аденауэра с целью потянуть время. Когда 19 апреля, в пятницу, канцлер вернулся в Бонн, Брентано поставил его перед фактом: на понедельник назначено заседание правления, где будет рассмотрен организационный вопрос.

Дата 22 апреля 1963 года стала поворотной в биографии нашего героя. Утром он собрал во дворце Шаумбург поредевшую когорту своих верных паладинов, надеясь мобилизовать их на то, чтобы в последний момент блокировать выдвижение Эрхарда на канцлерский пост. Те, однако, огорошили его свежей информацией: Шредер отказался баллотироваться в качестве альтернативного Эрхарду кандидата. На состоявшемся во второй половине дня заседании правления никакой дискуссии, по существу, не было: было решено рекомендовать фракции кандидатуру Эрхарда.

Заседание фракции ХДС/ХСС началось в три часа дня 23 апреля. Брентано сообщил присутствующим о решении правления. От имени фракции выступил Дуфхюс, он также поддержал кандидатуру Эрхарда, то же самое сделали взявшие слово за ним Шредер и Штраус. Диссонансом прозвучало выступление Аденауэра. «Мне грустно об этом говорить, — заявил он, — но я не считаю, что этот человек, с которым я проработал вместе четырнадцать лет и чьи достижения я

полностью признаю, я не считаю, что он подходит для того поста, которого он добивается… Я считал своим долгом довести это до вашего сведения».

Фракция проигнорировала возражения Аденауэра. Было проведено тайное голосование. Из 225 поданных голосов 159 были за Эрхарда, 47 — против при 19 недействительных бюллетенях. Эрхард победил, Аденауэр проиграл. Победитель позднее отмечал, что Аденауэр вел себя по отношению к нему «не очень по-христиански». Это, конечно, верно, но следует иметь в виду душевное состояние проигравшего. Его бросили те, кого он считал своими друзьями и коллегами; он был обижен до глубины души: сперва его отрешили от должности нацисты, потом это сделали англичане, а теперь вот члены его собственной партии — партии, которую он создал и превратил в доминирующую силу на политической сцене Федеративной Республики. Но ничего не поделаешь — дело сделано.

Оставалась проблема ратификации франко-западногерманского договора. Первое чтение он прошел через два дня после достопамятного заседания фракции, знаменовавшего конец эры Аденауэра. Окончательное одобрение договор (разумеется, вместе с преамбулой) получил 16 мая. В промежуток вклинился таинственный эпизод с новой советской инициативой. Посол Смирнов намекнул в разговоре с бывшим послом ФРГ в Москве, Гансом Кроллем, что Хрущев проявляет интерес к достижению некоей договоренности по Западному Берлину. Кролль передал эту информацию Аденауэру, а тот пригласил Смирнова к себе в Рендорф для частной беседы. В ходе ее посол раскрыл свои карты: оказывается, Хрущев планирует визит в Бонн, чтобы обсудить один на один с канцлером германский вопрос во всем его объеме.

Трудно сказать, что скрывалось за этим демаршем. Во всяком случае, объем полномочий Аденауэра на возможных переговорах с Советами теперь, когда он уже был на грани отставки, стал сильно ограничен. Канцлер решил посоветоваться со Шредером, Кроне и Брентано. Все в один голос выразили мнение, что с этим делом следует подождать до прихода нового канцлера.

23 июня с визитом в Бонн и Западный Берлин прибыл президент США Кеннеди. Визит принял почти триумфальный характер. Президента везде встречали тепло и доброжелательно, особый отклик вызвала его проникновенная речь перед несколькими сотнями тысяч западноберлинцев, собравшихся на площади перед Шенебергской ратушей. Аденауэру, молча стоявшему на трибуне рядом с Кеннеди, со всей очевидностью было продемонстрировано, на кого возлагают свои надежды

немцы, когда думают об обеспечении своей безопасности. Не на Францию, а на Соединенные Штаты — самую могучую в мире державу с ее таким молодым и энергичным лидером.

В личных беседах Кеннеди изо всех сил старался выглядеть дружелюбным и предупредительным. Он назвал Аденауэра одним из трех великих государственных деятелей «нашей эры» наряду с де Голлем и Гарри Трумэном (последнее вряд ли польстило канцлеру). Вместе с тем он счел нужным заметить, что не питает оптимизма относительно перспектив прямых германо-советских контактов и переговоров; отдавая себе отчет в том, что не может воспрепятствовать таковым в случае, если бы Аденауэр решился пойти на них, Кеннеди попытался косвенным образом отговорить его от такого шага. Американский президент вынес из бесед с канцлером интересное впечатление: Аденауэр вроде бы примирился с существованием ГДР, а значит, и с признанием ее де-факто.

Две недели спустя в Бонн прибыл де Голль. Визит последовал во исполнение того пункта только что ратифицированного двустороннего договора, который предусматривал проведение дважды в год взаимных консультаций на высшем уровне. Французский президент предупредил Аденауэра о возможных негативных последствиях его, Аденауэра, контактов с Хрущевым. С французской стороны было также констатировано, что пресловутая преамбула к договору плюс горячий прием, оказанный американскому президенту, плюс выдвижение кандидатуры Эрхарда на пост канцлера — все это стало теми факторами, которые значительно ослабили узы альянса между обеими странами. Еще перед отъездом из Парижа де Голль мрачно процитировал перед группой депутатов Национального собрания строки Виктора Гюго: «Я видел так много красивых девушек, а сейчас они, увы, уже в мире ином».

Во время разговора без свидетелей, состоявшегося 4 июля, Аденауэр выразил де Голлю надежду, что Франция продолжит осуществление своей независимой программы создания ядерного оружия. Поводом для этой ремарки стал тот факт, что три державы, обладавшие реальным потенциалом ядерного устрашения — США, СССР и Великобритания, — предпринимали в тот период усиленные попытки убедить Францию присоединиться к договору о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. Разработка этого договора была тогда одним из приоритетных пунктов в повестке дня советско-американского диалога в качестве одного из элементов общих усилий этих двух сверхдержав предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия. Карибский кризис,

показавший обеим сторонам страшную перспективу, которая открывалась в результате бесконтрольной эскалации ядерной войны, как раз способствовал интенсификации этих усилий. В сложившихся обстоятельствах сторонам удалось быстро преодолеть свои разногласия, и 5 августа в Москве договор о прекращении ядерных испытаний в трех средах был подписан. Вскоре к нему присоединилось около сотни государств. Отказались подписать его Франция и Китай, зато свою подпись с готовностью поставило правительство ГДР.

Последний факт стал поводом для последней за период канцлерства вспышки аденауэровского темперамента. С его точки зрения, допустив ГДР к подписанию договора о запрещении ядерных испытаний, Запад продемонстрировал готовность признать ГДР в качестве нормального национального государства, а ведь он решительно противился этому все эти годы. В конце июля — начале августа 1963 года он провел ни много ни мало — восемь заседаний кабинета на эту тему и умудрился устроить выволочки всем подряд, кому «посчастливилось» попасть ему под руку, — заместителю госсекретаря США Уильяму Тайлеру, министру обороны Роберту Макнамаре и бесчисленному количеству американских и британских дипломатов. Он даже заявил Кроне, что готов уйти в отставку в знак протеста против «предательства» союзников.

Для того чтобы утихомирить разбушевавшегося старца, понадобился визит самого государственного секретаря США Дина Раска. 10 августа он прибыл в Бонн и поспешил заверить Аденауэра, что Вашингтон и Лондон готовятся выступить со специальным заявлением на тот счет, что наличие подписи представителя ГДР под текстом данного договора никоим образом не означает в какой-либо форме признания ГДР как государства со стороны США и Великобритании. В этом заявлении, продолжал Раек, будет вновь подтверждено исключительное право ФРГ представлять Германию на международной арене (такое право, несколько раздраженно отметил госсекретарь, уже подтверждалось западными державами не менее чем в трех случаях).

Аденауэр счел за благо сменить гнев на милость и в самом благодушном настроении отбыл на юг, в Канденаббию. Это был его последний отпуск в качестве канцлера. С ним опять была Рия. Четыре недели на вилле «Коллина» оказались относительно спокойными. Уединение перемежалось сеансами позирования английскому художнику Грэхему Сазерленду и такими оригинальными событиями, как концерт местного оркестра волынщиков, устроенный на лужайке перед домом. 30 августа его

посетил Эрхард и провел на вилле целый день. Сколько ядовитых слов ему пришлось выслушать от своего собеседника, можно только догадываться. Время от времени отца навещала Лотта. В начале сентября ненадолго заглянула Либет. Неотлучно при персоне канцлера была только секретарша — Аннелиза Попинга. В целом это было время прощаний и воспоминаний о прошлом.

Основной поток прощальных визитов начался после отпуска. 16 сентября Аденауэр вылетел в Рим на аудиенцию к папе Павлу VI. К его предшественнику, Иоанну XXIII, Аденауэр относился настороженно. Он не одобрял и решения Второго ватиканского собора, в частности, допущение наряду с латынью ведения службы на живых языках. Он не мог простить Иоанну XXIII и порочных, в его понимании, тенденций в сторону налаживания отношений с коммунистами, особенно итальянскими. В новом папе, как он надеялся, католическая церковь обретет лучшего пастыря.

Визит в Рим можно было назвать успешным в лучшем случае наполовину. Было жарко, дул печально знаменитый римский сирокко. Аденауэр испытывал затруднения с дыханием, так что не мог говорить в своей обычной властной манере. Папа выслушал его с должным уважением, благословил и поспешил распрощаться.

20 сентября Аденауэр вернулся в Бонн. Началась разработка графика прощальных визитов. Сперва надо было определиться с зарубежными поездками. Возникла мысль о Вашингтоне, но от нее по зрелом размышлении отказались. Лондон в программе тоже не фигурировал. В Голландию решено было не ехать из-за сильных антинемецких настроений, все еще распространенных в этой стране. Оставались Бельгия, Франция и Италия. В последней Аденауэр только что был, когда получал благословение папы, так что Италия тоже отпала. В Бельгию готовившийся к уходу канцлер сделал короткую вылазку, получил там орден и на том удовлетворился. Более солидно был организован визит во Францию. 21 сентября Аденауэр с дочерью Рией, секретаршей Аннелизой Попингой и советником по международным делам Остерхельдом приземлились на аэродроме Виллакубле, где их встретил де Голль. Оттуда все отправились в Рамбуйе, где хозяин постарался организовать пышный прием. Было многих теплых слов с обеих сторон, но и канцлер, и президент отдавали себе отчет в том, что столь дорогой их сердцу проект — франко-западногерманский договор — практически мертв.

Теперь настало время для поездок по Федеративной Республике. Впечатление было такое, что это король объезжает свои владения. Три недели непрерывных помпезных церемоний.

Все были явно настолько рады, что скоро от него избавятся, что не пожалели ни денег, ни организационных усилий. В Гамбурге его чествовал Союз немецких крестьян. В Берлине он получил звание почетного гражданина города (никто не знал, что это такое, но тем не менее…). Брандт выступил там с большой речью, посвященной заслугам высокого гостя. Довольно двусмысленно прозвучала в ней, правда, фраза о том, что западноберлинцам очень недоставало присутствия канцлера в первые дни после возведения стены. Потом — прощание с Баварией, где ХСС позаботился, чтобы все было на самом высшем уровне. После Баварии — посещение Ганновера и присутствие на параде частей бундесвера. За прохождением колонн и пролетом боевых самолетов вместе с ним наблюдали многочисленные зрители — по некоторым оценкам, их было не менее сотни тысяч.

Самый пышный прием устроили Аденауэру его земляки — рейнландцы. В выставочном центре в Дейце прошел музыкальный фестиваль в его честь. Хоры пели отрывки из Гайдна. Изобилие флагов и транспарантов — все было оплачено из партийной кассы ХДС. Аденауэр не был бы самим собой, если бы удержался от мрачных предупреждений согражданам: расслабляться не время, разрядка — вещь коварная, тем более что на преемника надежда плоха. Все это было подано в слегка завуалированном виде, но кому надо, те поняли.

14 октября папский нунций отслужил в честь Аденауэра торжественную мессу в Бонне. Вечером президент Любке устроил для него грандиозный прием, на котором присутствовали три тысячи гостей. Потом уже сам Аденауэр устроил частный ужин вдвоем с верным Глобке. Тот был болен и выглядел совершенно измотанным, но отказаться не посмел. Его семья получила от Аденауэра прочувствованное послание, где говорилось, в частности: «Мы благодарим Господа за то, что он дал его нам».

15 октября произошел акт торжественных проводов канцлера в бундестаге. Все было очень возвышенно и достойно. Речь председателя бундестага Герстенмайера длилась почти час. В ней содержалась интересная фраза: «…за сто лет богатой событиями германской истории мы впервые являемся свидетелями того, что человек, долгое время находившийся на вершине власти, покидает ее не в результате своего банкротства как политика, а но доброй воле, в мире и согласии». Риторическая фигура получилась блестящая, хотя и не вполне отражающая реальные факты: все прекрасно понимали, что добровольным уход Аденауэра назвать можно было с большой натяжкой — его отправила в отставку собственная партия. Но в чем-то Герстенмайер был, несомненно, прав: Аденауэр действительно ни

разу не испытал горечи поражения на всеобщих выборах, и при всей остроте подковерной борьбы в боннских политических кругах смена власти прошла действительно мирным путем.

ГЛАВА 14.
ФИНАЛ

«Наша главная цель состояла в том, чтобы войти в сообщество свободных народов Запада»[46]

Славословия закончились, и Аденауэру пришлось привыкать к жизни в новых условиях. Как бывшему канцлеру и председателю крупнейшей политической партии ему был выделен небольшой кабинет в здании парламента, к которому примыкало еще меньшее по размерам помещение, там стояла софа и была оборудована маленькая кухонька, где верная госпожа Попинга готовила ему легкий обед, после чего он имел обыкновение прилечь: послеобеденная сиеста всегда была непременным элементом его распорядка дня. В новый кабинет из дворца Шаумбург были перевезены его письменный стол, глобус и подаренная ему Черчиллем картина классического храма (считалось, что это Парфенон, но на самом деле речь шла о римском памятнике из развалин города Лептис Магна в современной Ливии). В сравнении с покоями Шаумбурга все выглядело более чем скромно.

Еще весной 1963 года Аденауэр заявил, что его главным занятием после ухода в отставку будет написание мемуаров. И действительно, госпожа Попинга уже тогда начала сбор необходимого материала, а сам Аденауэр во время последнего пребывания на вилле «Коллина» набросал чертежик специального павильона, который предполагалось построить во дворе его рендорфского дома и использовать для хранения документов, черновиков и для самого творческого процесса. Этот набросок он передал Герберту Мультхаупту, мужу Лотты, профессиональному инженеру-строителю, чтобы тот изготовил на его основе рабочие чертежи. Домик должен был быть расположен подле песчаной площадки, которую хозяин планировал использовать для своей любимой игры в «бочча».

К осени 1963 года все указывало на то, что наш герой смирился с перспективой провести остаток жизни в тишине и спокойствии, на почтительном расстоянии от жесткого мира большой политики. Отношения с Эрхардом нормализовались и приобрели почти сердечный характер. В ноябре они вместе появились на одном из митингов ХДС, причем Аденауэр не только воздержался от каких-либо язвительных замечаний, но и

заявил нечто совсем на него не похожее: «Я полностью поддерживаю правительство, которое возглавляет мой преемник, и я как верный друг буду оказывать ему всяческую помощь в выполнении стоящих перед ним трудных задач».

Преимущества своевременного ухода из большой политики стали особенно очевидны, когда в конце года на боннскую элиту обрушился самый настоящий мор: 12 декабря скончался бывший президент Хейс, 14-го — действующий председатель СДПГ Олленхауэр, последняя стадия рака обнаружилась у Брентано. Аденауэр все еще держался молодцом и с удовольствием воспринимал знаки внимания и уважения, которыми одаривали его достаточно щедро представители следующего поколения. 5 января 1964 года он отпраздновал свое восьмидесятивосьмилетие, и характерный факт: Эрхард прервал свой отдых, чтобы лично присутствовать на дне рождения своего предшественника; по этому случаю он преподнес ему ценный подарок — редкое четырехтомное издание энциклопедии садоводства XVIII века.

Благодушный настрой отставника — отойти окончательно от дел и ни во что больше не вмешиваться — длился, впрочем, недолго. Его все больше стало раздражать то, что Эрхард, как он считал, неправильно ведет себя по отношению к Франции и к де Голлю, что Шредер занимает слишком уж откровенно проамериканскую и пробританскую (а значит, антифранцузскую) позицию. Отсюда возникло желание вновь окунуться в омут политической жизни.

Именно в этой связи следует рассматривать тот факт, что Аденауэр, уйдя с поста бундесканцлера, не только оставил за собой председательство в ХДС, но в январе 1964 года объявил о намерении сохранить его за собой еще минимум на два года. Авторитет его был достаточно велик: его переизбрание на этот пост прошло без сучка без задоринки, хотя кое-кто мягко посетовал на странное поведение отставника. Между тем быть председателем ХДС — вовсе не синекура. В его функции входило руководство переговорами с другими партиями но таким важным вопросам, как коалиционные договоры или выборы президента. Он мог от имени партии делать политические заявления либо в виде речей, либо в интервью с журналистами. Он имел право требовать и получать от правительства любую информацию, которую мог счесть необходимой для выполнения своих функций. Нет нужды говорить, что Аденауэр трактовал эти функции и, соответственно, круг своих полномочий и прерогатив в максимально широком объеме.

Первой жертвой его решения остаться председателем ХДС

стал проект мемуаров. В ноябре 1963 года он подписал контракт на публикацию с французской издательской фирмой «Гашетт», а в феврале следующего — со штутгартским издательством «Дейче ферлагсанштальт», однако работу над написанием текста даже не начинал. Много времени ушло на подготовку очередного съезда ХДС, который было намечено провести в Ганновере в марте 1964 года, и к тому моменту, когда он 12 апреля отправился отдыхать на виллу «Коллина», не существовало даже плана предполагаемого издания, хотя по условиям контракта с «Гашетт» автор должен был представить рукопись не позднее 31 декабря 1964 года. Здесь наш герой явно переоценил свои возможности.

Представители «Гашетт», обеспокоенные тем, как идет выполнение контракта, решили разведать все на месте. Разумеется, они не стали подвергать автора допросу или требовать от него показать, сколько страниц он написал; они поступили тоньше: прибыв в Канденаббию, устроили на соседней вилле, принадлежавшей генсеку НАТО Дирку Стиккеру, большой прием с приглашением ряда звезд литературного мира, рассчитывая, что в этой полубогемной атмосфере Аденауэр «расколется». Но тот отнюдь не раскололся, а, напротив, сумел внушить всем, что работа идет вовсю и проект уже близится к завершению. Свою лепту в создание этого мифа внесли и присутствовавшие на приеме дочь Либет и секретарша Аннелиза Попинга. Издатели ретировались в полной уверенности, что мемуары вот-вот поступят к ним. Гораздо откровеннее и правдивее Аденауэр описал истинную ситуацию в письме к сыну Паулю: «Пока у меня все только в голове». В ту дождливую и холодную весну главным занятием Аденауэра были игра в «бочча» и думы о том, как исправить пороки внешнеполитического курса Эрхарда — Шредера.

В период пребывания в промокшей от ливней Канденаббии Аденауэр узнал о том, что его собираются избрать членом французской Академии моральных и политических наук — немалая честь для иностранца, а тем более немца. Церемония должна была состояться в Париже в ноябре. Ясно было, что здесь не обошлось без личного вмешательства де Голля. Долг платежом красен — и Аденауэр еще больше укрепился в намерении сделать все, чтобы ликвидировать наметившийся, по его мнению, в политике кабинета Эрхарда крен в сторону демонтажа франко-западногерманского договора, крен, который он теперь уже прямо связывал с фигурой министра иностранных дел Шредера.

Первым шагом в этой аденауэровской кампании стало его выступление в Промышленном клубе Дюссельдорфа, где он реанимировал второй «план Фуше» по созданию политического

союза европейских стран, отметив, что его осуществление должно начаться «совместными консультациями между Германией и Францией». Те же идеи он повторил в интервью газетам «Рейнише меркур» и «Франс-суар». Хитроумным маневром против Шредера стала неожиданная поддержка Аденауэром инициативы но переизбранию Любке президентом на второй срок; его, мягко говоря, сомнения насчет способностей Любке не изменились, но это было.не так важно, важнее был факт плохих отношений между президентом и министром иностранных дел. Сто процентов было за то, что Любке будет против присутствия Шредера в будущем кабинете, который должен быть сформирован после парламентских выборов 1965 года, потому следовало обеспечить, чтобы Любке остался.

3 июля 1964 года в Бонн для первой встречи с новым канцлером ФРГ прибыл генерал де Голль с сопровождавшим его обычным эскортом. Утром того дня, когда должны были начаться официальные переговоры, де Голль навестил Аденауэра в Рендорфе. Оба так увлеклись беседой, что де Голль, несмотря на предупреждения помощников, явился на встречу с канцлером на двадцать минут позже оговоренного срока. Поступок явно невежливый, зато наверняка доставивший удовольствие недавнему собеседнику французского президента. Если бы Эрхард не был таким мягким человеком, одного этого хватило бы для дипломатического скандала.

Как бы то ни было, переговоры закончились полным фиаско. Де Голль изложил довольно пространно и путано свои представления о будущем Европы, объединении Германии и отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Эрхард отмолчался, а Шредер, взяв на себе роль руководителя дискуссии, предложил перейти к следующему пункту повестки дня. Получилось, что немецкая сторона просто проигнорировала все, что так старательно пытался довести до их сведения французский визитер. Де Голль был оскорблен до глубины души, о чем он и поведал Аденауэру на состоявшемся вечером приеме. Тот тоже воспринял поведение немецких переговорщиков как недопустимый афронт. Впоследствии в своих мемуарах он напишет, что «летом 1964 года во время первого после моего ухода с поста канцлера визита де Голля в Бонн франко-германским отношениям был нанесен серьезный удар».

Именно позицию нового канцлера по отношению к Франции Аденауэр посчитал наиболее уязвимой стороной его деятельности, и именно по этому вопросу он решил развязать полемическую кампанию против него. 8 июля состоялась его встреча со Штраусом, Крове и Дуфхюсом. Непосредственным ее

результатом стало то, что с трибуны состоявшегося несколько дней спустя съезда ХСС его председатель — тот же Штраус — с подачи Аденауэра выразил серьезную озабоченность состоянием отношений с Францией и призвал к их «возрождению». Ответ Эрхарда не заставил себя ждать. «Европа, которая состояла бы всего из двух государств, — заявил он, — это не та Европа, которую федеральное правительство видит в перспективе».

Аденауэр не унимался. Его новым открытием стал Райнер Барцель. С этим сорокалетним представителем католического крыла ХДС отставной канцлер связывал далеко идущие планы: когда-нибудь, надеялся он, именно Барцель подхватит ту эстафету, которую он, Аденауэр, вынужден был передать в недостаточно надежные руки. Аденауэру нравилось, как твердо и умело этот молодой крайне консервативный политик, заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге, руководил депутатами в условиях, когда смертельно больной Брентано уже выпустил вожжи из своих слабеющих рук. В его глазах Барцель был идеальным образцом канцлера для будущих времен. Он усиленно расхваливал его достоинства всем, кто был готов слушать.

Эрхард принял вызов. Он сумел обеспечить себе поддержку со стороны консервативных органов печати, таких, как «Франкфуртер альгемейне» или «Ди вельт», которые развернули жесткую кампанию против «черных голлистов». Не дожидаясь исхода битвы, Аденауэр 17 августа покинул Германию, отправившись вновь поправлять здоровье на вилле «Коллина». Силы были не равны: на стороне канцлера были административный ресурс и значительное большинство парламентской фракции.

На сей раз отшельничество Аденауэра длилось дольше — целых два месяца. Аннелизе Попинге удалось убедить его заняться наконец мемуарами. К тому времени она уже успела собрать и отсортировать необходимые документы и дневниковые записи, так что оставалось только сесть и начать диктовать.

Перед этим нужно было, однако, решить трудную проблему: как избежать дублирования опубликованной еще в 1955 году «авторизованной биографии» Аденауэра. Ее автором был никому не известный журналист Пауль Веймар, с которым Аденауэра познакомила в свое время одна из его соседок по Рендорфу, некая Мария Шлютер-Хермкес. Аденауэр, в свою очередь, познакомил Веймара с дочерьми, со своей старой знакомой Эллой Шмиттман, а также с Йозефом Гиссеном, который присматривал за садом на усадьбе Аденауэров по Макс-Брухштрассе в Кёльне. Их воспоминания стали кирпичиками в структуре будущей книги.

Если же говорить о ее фундаменте, или, если угодно, несущих конструкциях, то их заложил сам Аденауэр, попросту продиктовавший Веймару значительные куски текста.

Получившийся продукт вызвал немало нареканий. В издательских и читательских кругах книгу справедливо восприняли как плохо написанную самоапологию. Аденауэр счел за благо в этих условиях полностью отречься от авторства и даже участия в авторском процессе. В этой связи интересно привести тексты телеграмм, которыми обменялись Аденауэр и издатель его «авторизованной биографии» вскоре после того, как она появилась на книжном рынке. Аденауэр телеграфирует Киндлеру 27 октября 1955 года: «В газете «Кёльнише рундшау» появился рекламный анонс: «Поддержка д-ра Аденауэра открыла для биографа сейфы с семейными тайнами». Прошу вас немедленно исправить текст, иначе вынужден буду выступить с официальным опровержением». Издатель и не думал признавать свою вину. В ответной телеграмме, направленной жалобщику уже на следующий день, он отмечает: «Господин Веймар и без того испытывает понятные трудности, будучи вынужденным признать свое авторство тех глав и эпизодов книги, которые вы написали самолично, причем игнорируя его мнение относительного улучшения или исправления вашего текста. Как вам хорошо известно! господин Веймар не хотел ставить свое имя на обложке. Я лично просил его об этом, чтобы пресечь слухи, что подлинным автором этой книги являетесь вы сами».

На этом обмен телеграммами оборвался: Аденауэр решил его не продолжать. В общем, все было и так ясно даже непосвященным: «авторизованная биография» Веймара представляла собой фактически первую часть собственных мемуаров Аденауэра. Последний это, разумеется, отрицал, но косвенно признал своеобразной композицией того текста, который теперь должен был появиться уже под его собственным именем: периоды, посвященные детству, юности и вообще событиям до начала его канцлерства, он решил осветить по возможности покороче, а сосредоточиться на описании времени своего канцлерства.

Работа над собранным госпожой Понингой материалом и надиктовка комментариев к ним — то, что и составляет его собственный вклад в мемуары, — заняла вторую половину августа, весь сентябрь и половину октября. Автор один раз прошелся по рукописи, кое-что поправил, потом все было снова перепечатано, и на этом работа закончилась. Результат оказался соответственный. Книга получилась претенциозной и трудночитаемой. В ней тщетно искать что-либо хоть отдаленно

похожее на элегантность и увлекательность мемуаров Черчилля или де Голля. Аденауэр и сам признавал, что писал не «на конкурс по красоте стиля». Начало еще терпимо, но в дальнейшем все выливается в сборную солянку из не связанных друг с другом документальных фрагментов. Мемуарист, впрочем, усматривал в этом не порок, а достоинство своего опуса: мол, документы должны сами говорить за себя, никакого приукрашивания здесь не нужно. Вторая характерная черта аденауэровских мемуаров — сосредоточенность почти исключительно на внешнеполитических сюжетах. Внутренняя жизнь ФРГ осталась за кадром, что позволило благополучно исключить из текста фигуру Эрхарда.

К концу своего отдыха в Канденаббии Аденауэр завершил три главы из тринадцати запланированных для первого тома. Он и госпожа Попинга работали с присущими им упорством и систематичностью, хотя у обоих были проблемы со здоровьем. У Аденауэра вообще случилось несчастье: он упал, вылезая из ванны, и сломал три ребра. Тем не менее сразу по возвращении в Бонн 17 октября первая глава, окончательно доведенная до кондиции, была отослана издателям в качестве доказательства успешного хода выполнения контракта.

Боннская круговерть, впрочем, оказалась опять слишком сильным возбудителем для Аденауэра-политика и увела его в сторону от письменного стола. Он начал второй тур антиэрхардовской кампании. В опубликованном 1 ноября интервью газете «Бильд ам зоннтаг» он обвинил правительство в том, что оно ведет курс на ухудшение отношений с Францией, проявляет неуважение к ее президенту и т.д. Результатом всего этого, заключал он, будет переориентация Франции на Советский Союз, и все закончится новым окружением Германии. Выдав этот залп, он отправился в Париж получать звание академика. В речи, произнесенной там, он напомнил о своей политике франко-германского примирения, особо выделив имена двух французских государственных деятелей, которые были его самыми ценными союзниками в этом предприятии, — Робера Шумана и Шарля де Голля. Поскольку речь предназначалась для иностранной аудитории, Аденауэр решил предварительно согласовать ее текст с канцлером. Попутно он осведомился у Эрхарда, не может ли он помочь чем-либо, чтобы улучшить отношения с де Голлем. Тот воспринял вопрос вполне серьезно и устроил для него подробный брифинг по одному из самых острых вопросов тогдашнего европейского строительства — сельскохозяйственной политике ЕЭС.

Однако беседы между Аденауэром и де Голлем вышли далеко за рамки этих в общем-то технических проблем. Речь пошла о

том, сохранится ли надолго конфликт Востока и Запада. Оба согласились с прогнозом, согласно которому рано или поздно русские отойдут от своего коммунизма в его советском варианте и на этой основе наступит примирение между ними и остальной Европой. Однако де Голль пошел дальше. Он сказал, что Франция рассматривает вопрос о предоставлении экспортных кредитов Советскому Союзу, чтобы стимулировать этот процесс и заодно помочь французской промышленности. Тут Аденауэр забеспокоился. Встретившись по возвращении в Бонн с Кроне, он поделился с ним своими тревожными мыслями: де Голль «может пойти на связь с Москвой; именно ради того, чтобы предотвратить такой вариант и заблокировать ему путь к Москве через Германию, он, Аденауэр и пошел на заключение франко-германского договора». Эрхард и Шредер, в его восприятии, не понимают этого замысла и портят все дело.

Политические маневры (или, лучше сказать, интриги) всегда были излюбленным занятием нашего героя, и в данном случае нетрудно видеть, с каким наслаждением он вновь предался им. Но, увы, издатели упорно напоминали ему: сроки контрактов истекают, а где рукопись? В том же самом направлении на него «давила» Аннелиза Понинга, которая переехала в гостевую комнату рендорфского дома, чтобы не терять времени на разъезды и уплотнить график работы над мемуарами. В декабре 1964 года был готов спроектированный Аденауэром «литературный павильон», и все закрутилось по-серьезному. Сам мемуарист называл процесс своего творчества не иначе, как «исполнением тяжкого долга», «моей жуткой миссией». Действительно, темп был взят бешеный: первая половина каждого буднего дня и все выходные были выделены исключительно для авторской {ˆботы; если рвение мемуариста ослабевало и он начинал отставать от графика, госпожа Попинга тут же обращала на это внимание шефа; тот раздражался, но старался наверстать упущенное. Завершать работу пришлось уже во время весеннего пребывания в Канденаббии; там была чудесная погода, которая, видимо, сыграла свою роль в том, что опоздание но сравнению со сроками, предусмотренными в контракте, удалось свести до минимума. В конце апреля рукопись была вчерне готова, и после необходимой доработки была в середине июня отослана издателям.

Энергия и целеустремленность в выполнении сложной и кропотливой работы, проявленные человеком, приближавшимся уже к девяностолетнему юбилею, сами по себе поражают. Не менее поразительно и другое: мемуарист ни на минуту не забывал, что он прежде всего политик, и каким-то невероятным

образом сумел совместить заключительный этап своей авторской работы с подготовкой третьей по счету кампании против Эрхарда и Шредера. Исходным пунктом для нее стали высказывания де Голля на его пресс-конференции 5 февраля 1965 года, где генерал изложил концепцию «европеизации германского вопроса». Речь шла, в общем, о том, что Советы должны отказаться от своего тоталитарного режима и тогда Европа протянется «от Атлантики до Урала», Германия объединится на основе признания границы по Одеру — Нейсе, принятия статуса безъядерной зоны и установления дружеских отношений со всеми своими соседями. Во всем этом Аденауэра больше всего обеспокоило изменение отношения де Голля к Советскому Союзу: на ужине в честь отъезжавшего на родину советского посла тот даже поднял бокал за «традиционную дружбу между Францией и Россией».

Свои опасения бывший канцлер сформулировал в виде четких политических тезисов, с которыми выступил на очередном, XIII съезде ХДС, проходившем в марте в Дюссельдорфе. Он подверг недвусмысленной критике и официальный Бону, и официальный Париж. Нынешние правители ФРГ, по его мнению, не приложили достаточных усилий, чтобы поставить на разумную основу отношения с Францией; что же касается последней, то он бросил де Голлю мрачное предупреждение: «Наша судьба и судьба Франции неотделимы друг от друга. Если русские проглотят нас, они назавтра сожрут и французов». На съезде присутствовал, естественно, и Эрхард, но Аденауэр старательно избегал всяких контактов с ним. В прессе появилось немало фотографий, где оба деятеля засняты в странных позах: сидя рядом, они демонстративно смотрят в разные стороны.

Дело не ограничилось словесной критикой и символическими жестами; против Эрхарда был организован самый настоящий заговор. Все началось во время визита Кроне на виллу «Коллина», имевшего место с 30 апреля по 2 мая 1965 года. Были обсуждены последние новости: рейтинг Эрхарда падает, широко распространено мнение, что на предстоящих в сентябре выборах он потерпит поражение. Аденауэр предложил Кроне выставить свою кандидатуру на канцлерство, бросив прямой вызов Эрхарду; Кроне отказался, ссылаясь на свой преклонный возраст. Обсудили этот вопрос с Раснером; тот сообщил, что фракция не возьмет на себя инициативу по низложению Эрхарда, но если тот сам подаст в отставку, то они изберут взамен Барцеля. К кругу заговорщиков примкнул и Герстенмайер, не потерявший надежд самому добраться до канцлерского кресла; его шансы были, однако, ничтожны, в чем были уверены все,

кроме него самого.

Трудно сказать, чем бы все это закончилось, но вмешался случай: 7 мая скорый поезд «Рейнгольд-экспресс», на котором Аденауэр возвращался из Канденаббии, к северу от Кобленца столкнулся с застрявшим на переезде трактором. К счастью, скорость была небольшая, и толчок не такой уж сильный. Тем не менее несколько пассажиров получили травмы. В их числе оказался и Аденауэр, которому пришлось провести три недели прикованным к постели в своем рендорфском доме. За это время круг заговорщиков распался. Аденауэр не унимался: он нашел нового союзника в лице федерального президента Любке, который, как ему удалось узнать, не расположен поручать нынешнему канцлеру формирование нового кабинета после выборов. Аденауэр поспешил пригласить Любке к себе домой, и они провели там долгую беседу, обсуждая различные альтернативы Эрхарду.

В начале июня прошел очередной тур доверительных бесед между Гутенбергом и Венером на предмет создания «большой коалиции». Аденауэр знал о них и не возражал против их проведения. Как отмечено в дневнике Кроне (запись за 4 июня 1965 года), Аденауэр недвусмысленно отверг формулу «с социал-демократами — ни при каких условиях». Однако в начавшейся в июле избирательной кампании соображения конкурентной борьбы с СДПГ взяли верх над идеей блокирования с ней. К тому же рейтинг Эрхарда снова начал расти, и было разумнее укрыться за лозунгом партийной солидарности.

Аденауэр принял активное участие в предвыборном марафоне. Разумеется, возраст накладывал свой отпечаток: он уже не мог колесить но всей стране и ограничивался в основном выступлениями на митингах в городах своего родного Рейнланда (только однажды Штраусу удалось уговорить его произнести речь в Нюрнберге). Он говорил почти всегда на одну и ту же изрядно избитую тему «красной угрозы»: нет ничего худшего, чем правительство, в котором стали бы заправлять социал-демократы, это верный путь к тому, чтобы вся Германия стала советским сателлитом. Люди охотно слушали его не потому, что их привлекала его политическая программа, а из-за его острот, каламбуров и прочих штучек, которыми он обильно уснащал свои выступления. Только одному Эрхарду удавалось собирать такие большие аудитории. Результаты состоявшихся 19 сентября выборы стали триумфом для действующего канцлера. ХДС/ХСС набрал 47,6% голосов против 45,3% в 1961-м, ему не хватило трех мандатов, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в бундестаге. Всякие разговоры о том, как бы избавиться от

Эрхарда, потеряли свою актуальность. Заговор против него окончательно рухнул. Аденауэр решил довольствоваться меньшим — не допустить, чтобы портфель министра иностранных дел достался вновь Шредеру. Начались обычные столь любимые им закулисные игры. 10 ноября в «Вельт ам зоннтаг» было опубликовано его интервью, в котором он дал своеобразное толкование прерогатив федерального президента: по его мнению, тот имел право вето на назначение любого министра, если его не устраивали политические взгляды последнего. Ясно, что при этом мыслилась вполне конкретная ситуация: Любке должен был таким образом заблокировать вхождение в кабинет Шредера. Об этом Аденауэр прямо высказался в письме к Любке, посланном 19 октября. Любке, который, как уже говорилось, терпеть не мог Шредера, охотно последовал бы совету Аденауэра, но на всякий случай решил проконсультироваться в федеральном Конституционном суде. Оттуда он получил недвусмысленный ответ: федеральный президент действительно имеет право отвести кандидатуру того или иного министра, но только в случае, если на того имеются какие-либо компрометирующие данные личного порядка; отвод по политическим мотивам недопустим; если президент пойдет на это, его решение можно будет оспорить в судебном порядке, это дело он наверняка проиграет, после чего ему останется только подать в отставку. Антишредеровская интрига не удалась.

25 октября Аденауэр отбыл в Канденаббию. На следующий день стало известно, что переутверждение Шредера в его прежней должности прошло без всяких осложнений. Аденауэр заранее предвидел этот исход; провожавшим его на боннском вокзале Кроне и Глобке он заявил, что с него хватит и он на предстоящих в марте 1966 года выборах председателя ХДС не намерен снова выставлять свою кандидатуру. Горечь расставания с политикой скрашивал успех первого тома его мемуаров. И впрямь, поступивший две недели назад в магазины продукт его творчества раскупался вполне прилично. Финансовый успех стал компенсацией за политический проигрыш.

Оставалось, пожалуй, лишь одно актуальное политическое направление, по которому он продолжал действовать. В августе 1965 года Соединенные Штаты после длительных дискуссий с Советами внесли на повестку дня международной дипломатии проект договора о нераспространении ядерного оружия. Смысл его был ясен. Согласно статье 1-й проекта, государство — участник этого договора брало на себя обязательство отказывать в помощи государству, не обладающему ядерным оружием, в любых попытках последнего организовать производство такого оружия.

Принятие этого договора международным сообществом означало конец амбициям Аденауэра на обретение для Германии статуса державы первого ранга путем ее приобщения — прямым или косвенным образом — к ядерному арсеналу. Еще в сентябре, в ходе избирательной кампании, он развернул яростную пропаганду против договора о нераспространении ядерного оружия, характеризуя его как акт предательства со стороны союзников и как предвестник конца НАТО. Он продолжил кампанию и после выборов, выступая с пламенными речами, рассылая но редакциям письма протеста и т.д. Но никто его уже не слушал. Интерес к нему как к политику был утрачен отныне раз и навсегда.

5 января 1966 Аденауэр отпраздновал свое девяностолетие. Общественные и частные мероприятия по этому поводу длились два дня. Первый день — поток депутаций со всей Западной Германии с обычным ассортиментом подарков юбиляру. На второй день была отслужена торжественная месса, на которую пришли все близкие, затем последовал грандиозный прием в здании бундестага, на котором присутствовало свыше тысячи гостей, затем — ужин у президента Любке и торжественный парад в Хофгартене. Была уже почти полночь, когда Аденауэр и Любке появились вдвоем на балконе здания Боннского университета, чтобы приветствовать огромную толпу, собравшуюся внизу в надежде увидеть патриарха.

Казалось, достигнув столь почтенного возраста, наш герой должен был потерять вкус и интерес к политическому интриганству. Но нет, он ввязался еще в одно, последнее и притом кончившееся неудачей предприятие: попытался воспрепятствовать избранию Эрхарда на освобождающийся пост председателя ХДС и протолкнуть на него своего нового фаворита — упоминавшегося выше Райнера Барцеля. Эта затея была с самого начала обречена на провал: все знали, что Барцель — это человек Аденауэра и что его амбиции не ограничиваются рамками ведения организационной работы в собственной партии; у него было немало соперников из молодой поросли ХДС (в их число входил и тогдашний министр-президент Рейнланд-Пфальца, будущий канцлер Гельмут Коль); наконец, Барцель сам перечеркнул остававшиеся шансы на свое избрание, в самый решающий момент, в феврале 1966 года, уехав кататься на лыжах.

Выборы не принесли неожиданностей; председателем партии был избран Эрхард, Барцель — его заместителем.

Через два дня после этого, 25 марта 1966 года, Аденауэр вновь отправился на виллу «Коллина». Он был явно расстроен,

его нервы требовали покоя, который мог принести с собой теплый весенний воздух озера Комо. Именно тогда известный австрийский художник Оскар Кокошка создал его портрет, который впоследствии был вывешен в здании бундестага. Оба старца хорошо поладили друг с другом. Потянулись долгие дни, заполненные сеансами позирования и дружескими разговорами на самые разные темы. К Аденауэру вернулся душевный покой. Так прошло два месяца.

После Канденаббии — еще два последних в жизни зарубежных визита. Первый — в Израиль. Официальное приглашение израильского правительства организовал бывший премьер и старый знакомый Аденауэра Давид Бен-Гурион. Визит был трудным, но в целом успешным. Аденауэр, как и следовало ожидать, сумел соблюсти все нормы политической корректности. По прибытии в аэропорт Лод он заявил, что «это один из самых торжественных и чудесных дней в моей жизни», добавив, что, будучи впервые избранным канцлером ФРГ, «не смел и надеяться, что когда-либо получит приглашение посетить Израиль». Разумеется, были и антинемецкие демонстрации, был и акт намеренного неуважения со стороны преемника Бен-Гуриона — тогдашнего премьера Леви Эшкола, который без объяснения причин отказался прийти на устроенный в честь гостя прием. Аденауэр побывал в западном секторе Иерусалима, на горе Табор, в Назарете и даже в киббуце, где жил сам Бен-Гурион. Правда, он не мог удержаться — иначе это был бы не Аденауэр — от поучений по адресу местных политиков. Рано или поздно, заявил он, им придется научиться ладить со своими соседями; «вы не сможете вечно обходиться одной военной силой» — таков был его последний совет-предупреждение.

По возвращении его ожидали три занятия: мемуары (госпожа Попинга не ослабляла свою железную хватку), дети и внуки и, наконец, «бочча», постоянным партнером в которой для него стал сын Пауль, живший теперь постоянно в Рендорфе. Он без особого интереса следил за ходом избирательной кампании по выборам ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия, закончившейся, кстати сказать, катастрофическим поражением ХДС. В ноябре 1966 года рухнул кабинет Эрхарда, было образовано правительство «большой коалиции», канцлером стал Курт-Георг Кизингер, а министром иностранных дел — не кто иной, как Вилли Брандт. Все эти события прошли без участия нашего героя, которого в эти бурные недели политического кризиса республики больше всего, пожалуй, интересовало нечто не имевшее никакого отношения к политике, а именно: как расходится второй том его мемуаров, который появился на прилавках магазинов 27 октября.

Судя по всему, он понял, что пришло время смириться с неизбежным. Большая жизнь страны и мира отныне шла мимо него. Он стал проводить больше времени, просто сидя на скамеечке в своем саду — особенно в предвечерние часы, когда солнце медленно спускалось за хребты Эйфеля но ту сторону Рейна. Самую большую радость ему доставляли внуки, прогулки по саду, ежедневный осмотр розария. Как будто вновь вернулся тот добродушный старичок, каким он был в годы Второй мировой войны, мягкий, даже нежный, — яркий контраст с образом жесткого и не стесняющегося в средствах политического волка, каким он запомнился всем, кто его знал в расцвете карьеры. Он стал проводить больше времени и на своей любимой вилле «Коллина» в Канденаббии: в том же 1966 году его осенний отдых там длился с 5 сентября по 12 октября.

Больше ему уже было не суждено сюда вернуться. Тело все больше сковывало непреходящее чувство усталости, сердце начало давать сбои. Последнее пребывание на вилле «Коллина» было окрашено элегическими размышлениями о тщете мирской суеты. Погода была соответствующая — ясная, теплая, солнечная. По возвращении в Рендорф он сразу подхватил гриппозную инфекцию и на три недели слег в постель. Он уже не только ощущал усталость, но и выглядел бесконечно усталым человеком.

Тем не менее Аденауэр нашел в себе силы предпринять еще одно путешествие — в феврале 1967 года в Испанию. Тамошнее правительство организовало все на самом высшем уровне, немецкого отставного политика встречали как национального героя. На него большое впечатление произвела встреча с генералиссимусом Франко; он нашел его человеком скромным и мыслящим. Франко, в свою очередь, был рад визиту, поскольку Испания в то время находилась почти в полной дипломатической изоляции. Местная пресса, полностью контролируемая правительством, величала Аденауэра не иначе, как «великим старейшиной европейских политиков», а сам визит характеризовала как «апофеоз» его жизненных достижений. Везде его встречали с радушием и заботой: в Прадо, Долине павших, Толедском соборе. Его приняла молодая королевская чета — принц Хуан Карлос и принцесса София. Все было очень здорово.

Апогеем визита стала речь, произнесенная Аденауэром 16 февраля перед более чем тысячью слушателями, получившими специальные приглашения в мадридский клуб «Атенео». В качестве мишени для своих полемических стрел он избрал Советский Союз, который, как он торжественно внушал аудитории, никогда не был и не будет частью Европы. Сама Европа должна объединиться, дабы противостоять ядерному

диполю Советов и Америки, который представляет собой «величайшую угрозу для наций остального мира»; Испания не должна навечно остаться за пределами европейского сообщества. Все это были мысли, вполне созвучные настроению собравшихся, и неудивительно, что они проводили оратора долгими овациями.

Вряд ли, однако, было бы правильно, характеризуя взгляды нашего героя на закате его дней, ограничиваться только анализом этой речи. Есть кое-какие свидетельства, говорящие о том, что вопреки этой своей публичной риторике Аденауэр в частных беседах высказывал куда более трезвые и сбалансированные оценки отношений Восток — Запад, всерьез рассматривая, в частности, возможность какой-то принципиальной договоренности с Советским Союзом. Одно из таких свидетельств содержится в речи Брандта, произнесенной им в Висбадене 2 июня 1969 года. В устах человека, к которому наш герой не испытывал ни малейших симпатий и который, в свою очередь, отвечал ему тем же, довольно странно прозвучали такие слова: «Я встречался с Аденауэром в последние годы чаще, чем Кизингер. В одну из последних наших встреч Аденауэр сказал мне: «Мы должны разговаривать с русскими. Мы должны вести себя с Советами по-иному, чем это делают мои преемники. Господин Брандт, они делают все не так». Конечно, речь эта была произнесена в разгар избирательной кампании, где Кизингер был главным соперником Брандта, но вряд ли последний мог сильно исказить мысли Аденауэра. Если он изложил их правильно, то это позволяет нам отнести нашего героя к числу протагонистов того курса политики ФРГ, который вошел в историю под названием «новой восточной политики».

Возвращаясь к внешней канве событий последних месяцев жизни Аденауэра, отметим, что по пути из Испании он заглянул еще в Париж, где в последний раз повидался с де Голлем, а затем уже прочно осел в Рендорфе. Там он делал наброски для последнего тома своих мемуаров и развлекался партиями в «бочча» с Паулем. Ритм жизни замедлился. Обычными стали долгие разговоры с Паулем и музыкальные вечера, когда Аденауэр с удовольствием погружался в мир Гайдна, Моцарта и Шуберта (последнего он ценил больше других).

29 марта 1967 года у Аденауэра случился второй инфаркт. Как и первый, произошедший весной 1962 года, он был неглубокий, однако выздоровление затянулось из-за хронического бронхита. Врачи рекомендовали ему полный покой, но он не хотел лежать. Он написал длинное послание новому канцлеру, пригласив его приехать к нему в Рендорф и обсудить затронутые в письме вопросы. Кизингер навестил его 3 апреля.

Это был последний визит высокопоставленного официального лица к Аденауэру. На следующий день, 4 апреля, последовал третий инфаркт. Беда никогда не приходит одна: бронхит перешел в воспаление легких. Вызвали родственников. Прибыла команда из семи светил медицинской науки. Ничто не помогало. Он постепенно слабел. 12 апреля произошел четвертый инфаркт, после чего пациент впал в кому. На протяжении следующих двух дней он еще несколько раз приходил в себя; в один из тех промежутков времени, когда он был в сознании, Пауль совершил последние обряды, предусматриваемые канонами католической церкви для умирающих. Последние дни Аденауэр провел в глубокой коме. На языке медицинского бюллетеня это называлось «состояние критическое». Он скончался в час двадцать одну минуту пополудни в среду 19 апреля 1967 года.

Организацией похорон занялся верный Глобке. Траурная церемония, как он считал, должна была пройти на более высоком уровне, чем та, что имела место при прощании с первым президентом ФРГ Хейсом и лидером оппозиции Олленхауэром. Глобке тщательно изучил двухлетней давности фильм о похоронах Черчилля и решил в значительной степени взять за образец основные моменты британского церемониала — в частности, транспортировку гроба через реку и погребение на скромном деревенском кладбище.

Сценарий был разработан до мельчайших подробностей и осуществлен без каких-либо отклонений. Утром в субботу 22 апреля шестеро офицеров федеральной пограничной службы вынесли гроб с телом покойного из его рендорфского дома, где он прожил ни много ни мала — тридцать лет, и доставили его на наром, который медленно отчалил от пристани и отправился к другому берегу Рейна. До вечера следующего дня фоб находился в зале заседаний правительства во дворце Шаумбург. Десятки тысяч желающих проститься прошли через этот зал.

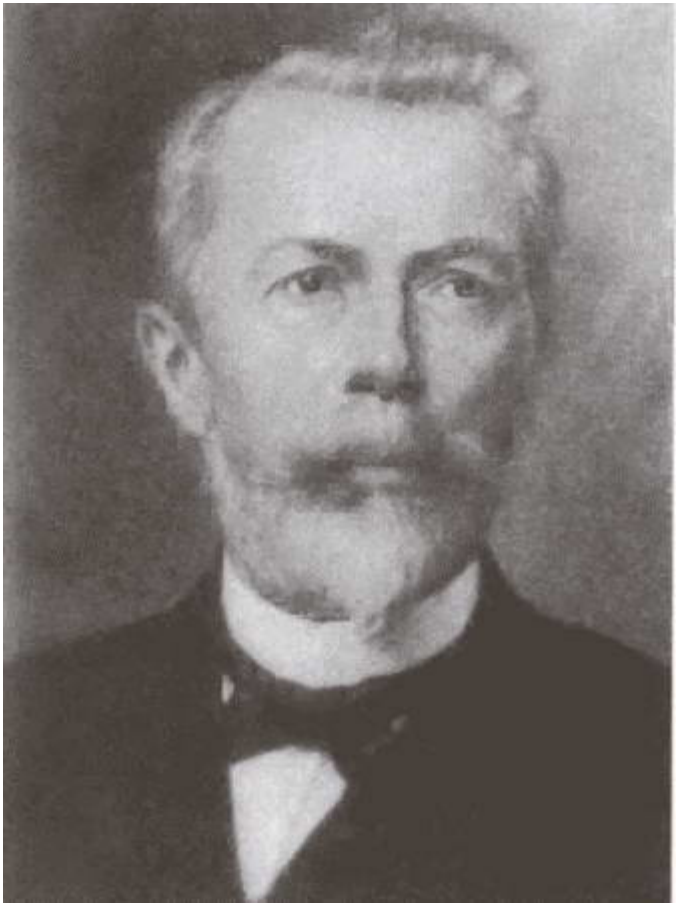
Из Бонна гроб с телом был доставлен в Кёльнский собор, где в течение суток последние почести покойному могли воздать его земляки. В это время начали съезжаться главы государств и правительств зарубежных стран. Прибыли де Голль, президент США Джонсон и заставивший себя забыть прошлые обиды Макмиллан. Самым неожиданным был приезд основателя государства Израиль Давида Бен-Гуриона. Всего на торжественной заупокойной мессе, которую 25 апреля отслужил на любимой покойным латыни его старый знакомый и единомышленник, кардинал Фрингс, присутствовало двадцать пять глав государств и больше сотни послов. Это было, без сомнения, самое величественное зрелище из тех, что когда-либо

имели место в Кёльнском соборе.

Служба закончилась, когда уже смеркалось. Гроб перенесли к берегу Рейна. Покрытый флагом бундесвера, он был поднят на борт моторного буксира и в сопровождении трех патрульных судов медленно двинулся вверх по реке. Тысячные толпы по обоим берегам Рейна в глубоком молчании провожали траурный кортеж. Когда он покидал черту города, раздался залп из четырех орудий и двенадцать истребителей пронеслись над рекой на бреющем полете. Позднее было подсчитано, что четыреста миллионов человек следили за церемонией у телевизоров.

Было совсем темно, когда процессия достигла Бад-Хоннефа. Гроб перенесли на сушу. Многотысячная толпа не расходилась, сопровождая траурный кортеж до самого Рендорфа. Он остановился у небольшого кладбища, которое все было ярко освещено и оцеплено полицией. Внутрь ограды были допущены только родственники и близкие покойного. Хор исполнил прощальный гимн. Пауль прочитал несколько псалмов. Гроб с телом Аденауэра опустили в приготовленную для него могилу между могилами обеих его жен, Эммы и Гусей. Все было очень просто и трогательно. Отец-основатель новой Германии обрел наконец вечный покой.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Иоганн-Конрад Аденауэр (1833–1906)



Елена-Кристина Аденауэр, урожденная Шарфенберг (1849–1919)



Ученик младшего класса



Первое причастие



Выпускники 1894 года (Аденауэр сидит третий справа)



Студент юридического факультета



На маскараде в Боннском университете (Аденауэр стоит в центре)



В теннисном клубе «Мокрые щенки» (Аденауэр стоит позади группы)



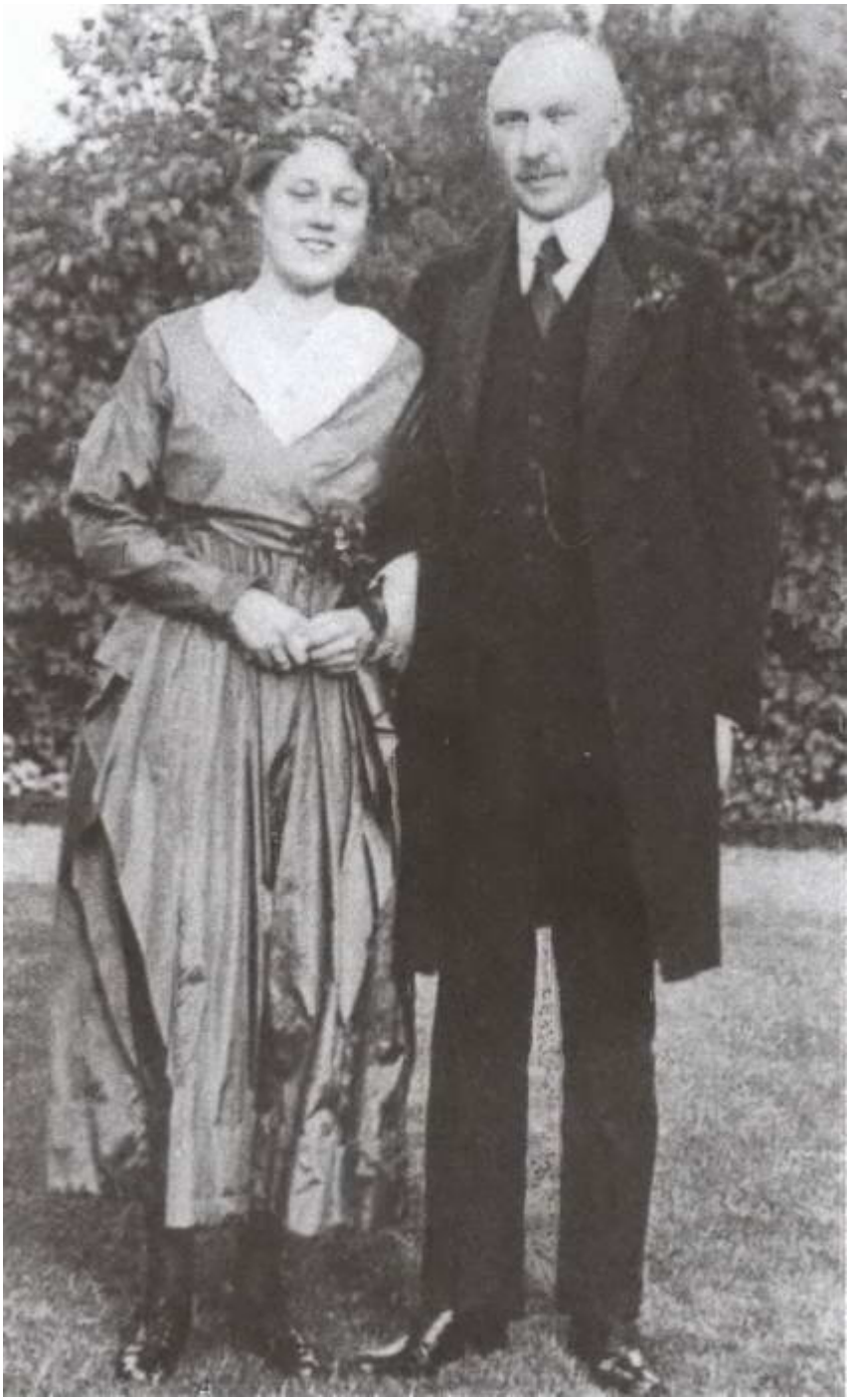
С Эммой в 1902 году



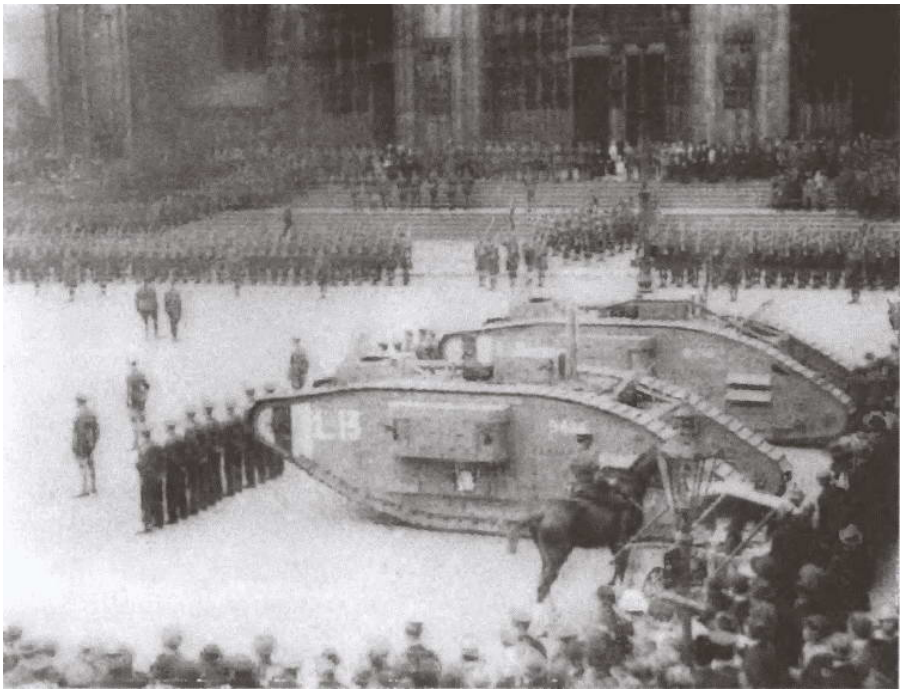
После кончины Эммы. Бургомистр Кёльна



Сестры Цинссер (Гусей справа) в 1918 году



Конрад и Гусси Аденауэр в 1919 году



Парад британского оккупационного контингента в Кёльне. 1920 год



Инфляция: купюра в один миллиард марок с подписью Аденауэра — бургомистра Кёльна



Президент Эберт посещает Кёльн в 1924 году



Гинденбург и Аденауэр во время визита президента в Кёльн в 1926 году



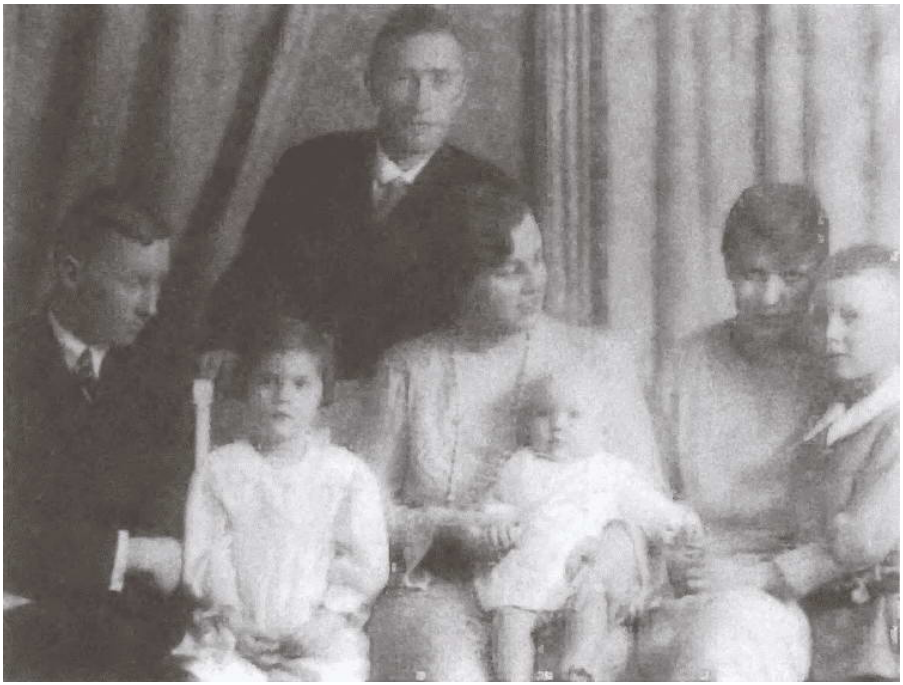
Открытие Мюльгеймского моста



Аденауэр комментирует план развития Кёльна. 1929 год



Нацисты захватывают кёльнскую ратушу. 19 марта 1933 года



Гусси с семьей



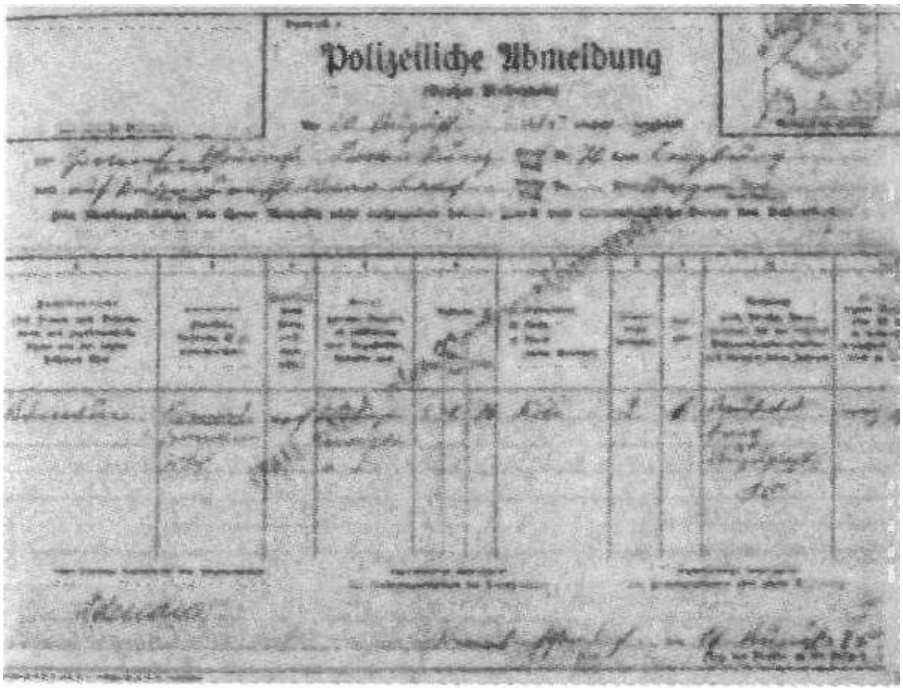
В поисках личной безопасности, у калитки монастыря Марии Лаах



Аденауэра навещают его дети



В берлинском изгнании


Polizeiliche Abmeldung

Полицейское донесение о перемене места жительства Аденауэра



Уход за садом



Постройка нового дома



Кёльн. 1945 год



Бригадный генерал Барраклоу



Первая послевоенная политическая речь. 12 мая 1946 года



С Куртом Шумахером и Карло Шмидом



Военные губернаторы западных зон: Клей, Кениг и Робертсон



Аденауэр с Робертом Пфердменгесом



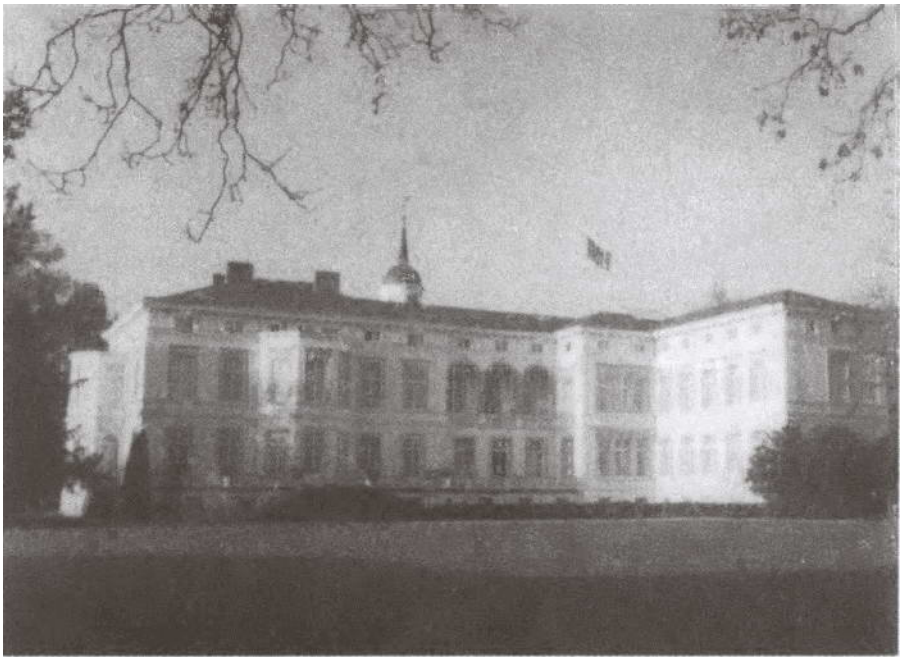
Первый кабинет министров Аденауэра



Первое выступление в качестве канцлера



Доверенные лица Аденауэра: Бланкенхорн, Хальштейн и Глобке



Дворец Шаумбург



Аденауэр в своем служебном кабинете



Канцлер за письменным столом



С министром иностранных дел Франции Шуманом



С президентом Эйзенхауэром



С государственным секретарем США Даллесом



Аденауэр в Москве. Сентябрь 1955 года



Хрущев, Булганин и Аденауэр. Булганин делает красноречивый жест



За молитвой



Ухаживая за розами



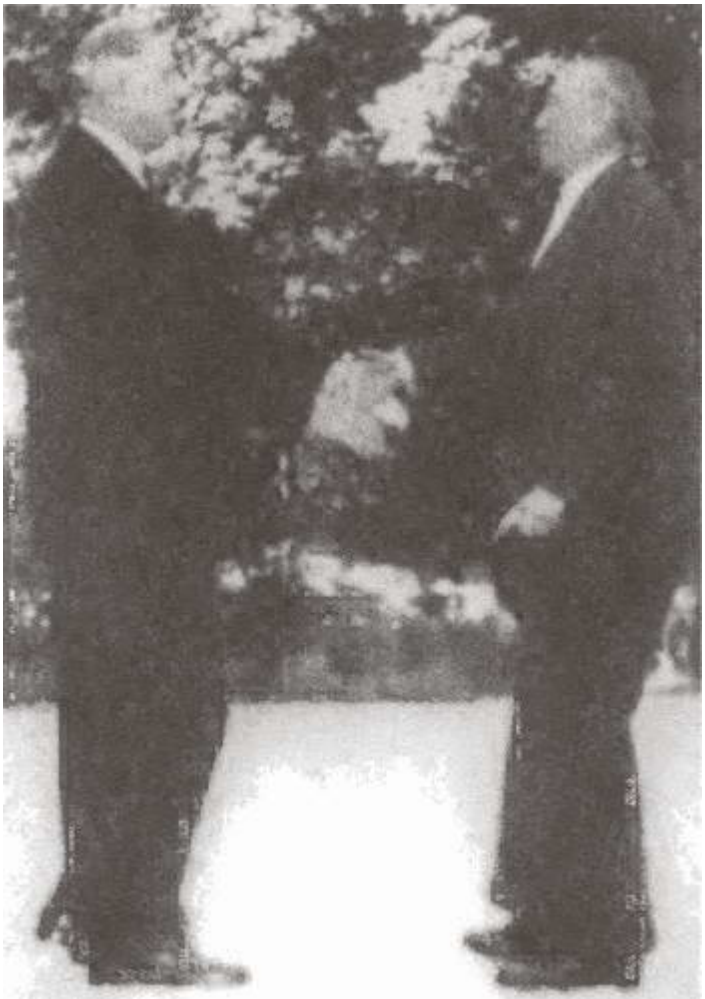
Со своим псом Цезарем



Вилла «Коллина» в Каденаббии



Подписание Римского договора. 1957 год



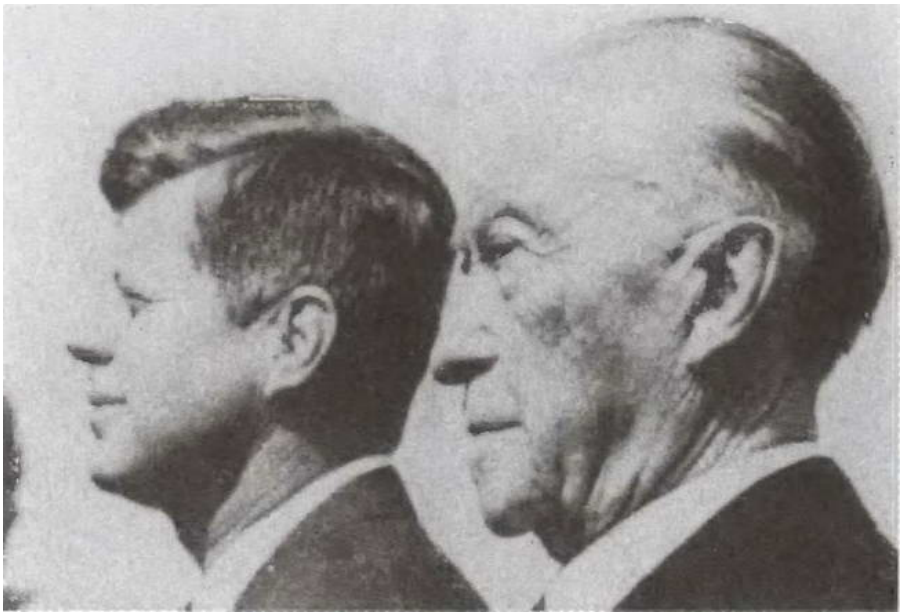
Первая встреча с де Голлем. Коломбей, сентябрь 1958 года



С Давидом Бен-Гурионом в Нью-Йорке. 1960 год



В Реймсском кафедральном соборе. 8 июля 1962 года



Аденауэр с Кеннеди



Аденауэр с государственным секретарем США Дином Раском



Де Голль и Аденауэр: объятия после подписания франко-германского договора. 1963 год



Канцлер отправляется в отпуск



Прощание в бундестаге



Прощание с де Голлем



Игра — дело серьезное



На отдыхе с Либет



Аденауэр со своим преемником, Людвигом Эрхардом



Раздумья над мемуарами



Почетный караул у гроба



Последний путь: вверх по Рейну

Конрад Аденауэр...

Один из крупнейших политических лидеров XX столетия...

Первый канцлер ФРГ, не только преобразивший свою страну, но и повлиявший на изменение политического ландшафта всей Европы...

Человек, благодаря энергии и созидательному дару которого после Второй мировой войны Германия добилась ошеломляющих успехов, по праву названных «экономическим чудом». Один из тех, кому удалось НЕВОЗМОЖНОЕ — в неправдоподобно короткие сроки «поднять» побежденную, лежавшую в руинах страну до уровня самых богатых, благополучных и могущественных держав мира...

Историческая библиотека

ISBN 5-17-012627-1



notes

Примечания

1

Веймар П. Конрад Аденауэр: Авторизованная биография. Мюнхен, 1955. С. 13.

2

«Будем веселиться, пока молоды» *(лат.)* — студенческая песня. — *Примеч. автора.*

3

Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 32.

4

Заключительная формула в церемониях присяги и бракосочетания. — *Примеч. автора.*

5

Речь идет о председателе бундестага ФРГ первого созыва Конраде Элерсе. — *Здесь и далее примеч. пер.*

Аденауэр о себе. (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 46).

7

Прусская избирательная система предусматривала раздельное голосование но трем куриям (или классам): в первую входили самые крупные налогоплательщики (примерно 3% населения), во вторую — люди среднего достатка (около 12%), в третью — все остальные (85%). От каждой курии, или класса, избиралось равное количество депутатов.

8

Аденауэр после смерти Эммы, 1916 г. (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 58).

9

Аденауэр — начальнику кельнского гарнизона 6 ноября 1918 г. (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 63).

10

Аденауэр в разговоре с генералом Лоусоном 6 декабря 1918 года (Веймар П. Конрад Аденауэр». С. 69).

11

Из речи Аденауэра на совещании рейнских политиков 1 февраля 1919 г. (Аденауэр К. Избранные речи, 1917–1967 п./Под ред. Г.-П. Шварца. Штутгарт, 1975. С. 27).

12

Аденауэр — одному из чиновников; в передаче его зятя, д-ра Зута (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 93).

13

Аденауэр — министру финансов Германии 13 ноября 1923 года (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 124).

Аденауэр. (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 132).

15

Речь идет о немецком историке Г.-П. Шварце.

16

Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 107. 184

17

Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 147.

18

Аденауэр в разговоре с Генрихом Бильштейном (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 151).

19

Аденауэр в разговоре с Генрихом Бильштейном (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 151).

20

Аденауэр в письме Хервегену от 17 апреля 1933 года с просьбой предоставить ему убежище в монастыре Мария Лаах.

21

Аденауэр в первые дни июля 1934 года (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 175).

22

Аденауэр — жене, 29 августа 1935 года.

23

Аденауэр — Шмиттманам, лето 1939 года (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 192).

24

Аденауэр — Доре Пфердменгес, 11 января 1941 г.

25

Аденауэр в разговоре с американскими офицерами — подполковником Тьюесом и капитаном Эмерсоном в марте 1945 года.

26

Из интервью Аденауэра корреспонденту Ассошиэйтед Пресс 5 октября 1946 года, по его собственным воспоминаниям (Веймар П. Конрад Аденауэр. С. 281).

В эти списки вносились лица, которые рассматривались как возможные помощники оккупационных властей — кандидаты на замещение административных постов, с которых должны были быть изгнаны те, кто скомпрометировал себя сотрудничеством с нацистами (последние фигурировали в «черных списках»).

28

Аденауэр К. Воспоминания. Т. 1. С. 52.

Главное содержание речи Бирнса состояло не в этих пышных и малосодержательных формулировках, а в отказе признать окончательность принятого в Потсдаме решения о новой западной границе по линии Одер — Нейсе, что прямо стимулировало реваншистские настроения в Германии.

30

Аденауэр К. Воспоминания. Т. 1. С. 145.

Отказ от референдума должен был подчеркнуть временный, переходный характер разрабатываемого министрами-президентами документа, что несколько нейтрализовало выдвигавшиеся против них обвинения в проведении сепаратной политики, направленной на цементирование раскола Германии. Эти обвинения выдвигались против них прежде всего западногерманскими коммунистами и пропагандистским аппаратом советской зоны, однако они находили отклик и в более широких кругах немецкой общественности как на востоке, так и па западе страны.

32

Аденауэр, 20 сентября 1949 г. (Аденауэр К. Избранные речи, 1917–1967 гг. С. 167).

33

Аденауэр К. Воспоминания. Т. 1. С. 382.

Соответствующая формулировка Пражского заявления от 22 октября 1950 года гласила: «Правительства СССР, Албании, Чехословакии, Болгарии, Польши, Румынии, Венгрии и Германской Демократической Республики считают неотложным…

35

Обычный ответ Аденауэра па вопросы политического характера (см.: Шварц Г.-П. Аденауэр. Т. 1. С. 660).

Так назывались немцы, у которых один из родителей, бабушка или дедушка были лицами еврейской национальности.

37

Из речи Аденауэра в бундестаге 3 декабря 1952 г.

38

Аденауэр К. Воспоминания. Т. 2. С. 310.

39

Аденауэр в разговоре с командующим НАТО генералом Лорисом Норстедом, запись в дневнике Бланкснхорна от 21 мая 1957 года.

Аденауэр К. Воспоминания. Т. 3. С. 434.

Немецкая партия получила на выборах 3,4% голосов по общефедеральному списку, менее требуемого минимума в 5%, однако се кандидаты сумели одержать победу в нескольких избирательных округах и полученные «прямые мандаты» обеспечили партии семнадцать мест в бундестаге.

42

Аденауэр но поводу провала совещания четырех держав на высшем уровне в мае 1960 года (Эккардт. Моя необычная жизнь. С. 614).

43

Аденауэр о высказывании Кеннеди во время их первой встречи 12 апреля 1961 года (Аденауэр К. Воспоминания. Т. 4. с. 91).

44

Так в США называют заканчивающего свой срок президента; обычно имеется в виду период с ноября, когда в стране проходят выборы и определяется преемник действующего главы государства, по январь, когда происходит инаугурация нового президента.

45

Аденауэр Герстенмайеру в мае 1963 года (см.: Ксрфер Д. Борьба за канцлерство: Эрхард и Аденауэр. Штутгарт, 1987. С. 745); под первой отставкой Аденауэр имеет в виду отрешение его от должности бургомистра Кёльна нацистами в 1933 году, под второй — тот же акт, совершенный англичанами в 1945-м.

46

Из последней речи Аденауэра на партийном съезде ХДС 23 марта 1966 года (Аденауэр К. Избранные речи, 1917–1967 гг. С. 167).